



Trauma und Intervention

Zum professionellen Umgang mit Überlebenden der Shoah
und ihren Familienangehörigen

ТРАВМА И ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ

О профессиональном обращении с людьми, пережившими Шоа и их близкими

- 3 **Vorwort** Benjamin Bloch
- 5 **Einführung** Doron Kiesel / Noemi Staszewski / Esther Weitzel-Polzer

Traumatische Erfahrungen im Kontext der Shoah

- 11 Kinder der Shoah - Konzepte der Extremtraumatisierung im Kindes- und Jugendalter
Ilka Quindeau / Marc Oliver Maier
- 29 Szenische Erinnerung der Shoah - Tradierung des Traumas an die nachfolgenden Generationen
Kurt Grünberg
- 45 Mehrfache Traumatisierung
Martin Auerbach
- 56 Trauma und seine Auswirkungen - Jüdische und psychologische Aspekte
David Pelcovitz
- 64 Kindheitslose Eltern im Alter, ältere child survivors und ihre nunmehr erwachsenen Kinder und heranwachsenden Enkelkinder
Miriam V. Spiegel
- 77 Opfer des Nazi- und des stalinistischen Terrors - Aspekte der Probleme und Fürsorge im Alter
Johan Lansén

Mehrfache Traumatisierung - Krieg, Shoah, Migration

- 88 Die Bedeutung der Migration in jüdischen Lebensentwürfen
Mario Erdheim
- 99 „Wollen Sie uns hier etwa über den Holocaust erzählen?“:
Mehrfache Traumatisierung ex-sowjetischer Juden im Nationalsozialismus und danach in den Gesprächen mit
(ex-sowjetischen jüdischen) Migranten in Deutschland
Julia Bernstein

Institutionen für die Betreuung Überlebender der Shoah - eine Schnittstelle zwischen Zuwendung und professioneller Verlässlichkeit

- 112 Abhängigkeit und Betreuung im Schatten der Shoah - Erfahrungen psychosozialer Betreuung von Überlebenden in Deutschland
Noemi Staszewski
- 133 Chaos und Muster
Die Entwicklung einer transkulturellen Organisation am Beispiel eines jüdischen Altenpflegeheims in Deutschland
Esther Weitzel-Polzer

Professionelle Standards im Umgang mit Überlebenden der Shoah

- 158 Jeder ist einzig. Arbeit mit Überlebenden der Shoah
Dalia Wissgott-Moneta
- 174 Mitverantwortliche Lebensführung als eine mögliche Antwort auf Traumatisierung
Andreas Kruse
- 187 Verletzte Helfer
Christian Pross
- 198 Strukturelle Ursachen von Helferbelastung in Traumazentren
Christian Pross und Sonja Schweitzer

- 4 **Вступительное слово** Беньямин Блох
- 8 **Введение** Дорон Кизель / Ноэми Сташевски / Эстер Вайтцель-Польцер

Травматический опыт в контексте Шоа

- 20 **Дети Шоа - Концепции экстремальной травматизации и детском и подростковом возрасте**
Илка Квиндо
- 37 **Сценические воспоминания Шоа Перенос травмы на последующие поколения**
Курт Грюнберг
- 53 **Травма и встречи с травмой**
Мартин Ауэрбах
- 70 **Лишенные детства родители в возрасте, старшие дети, пережившие Шоа, и их уже выросшие дети и растущие внуки**
Мириам Шпигель
- 82 **Жертвы нацистского и сталинского террора: аспекты проблемы и бережная забота в старости**
Йохан Лансен

Множественная травматизация - война, Шоа, эмиграция

- 93 **Значение миграции в еврейских жизненных планах**
Марио Эрдхайм
- 105 **«Вы нам что, о Холокосте что-то рассказать хотите?» Множественная травма бывших советских евреев в период национал-социализма а также на основе интервью с (экс-советскими еврейскими) иммигрантами в Германии**
Юлия Бернштайн

Учреждения по работе с людьми, пережившими Шоа - связующее звено между финансовой помощью и профессиональной надежностью

- 123 **Зависимость и опека в тени Шоа**
Опыт психосоциальной опеки людей, переживших Шоа, в Германии
Ноэми Сташевски

Профессиональные стандарты в работе с людьми, пережившими Шоа

- 166 **Каждый из них уникален. Работа с пережившими Шоа**
Далия Висготт-Монета
- 180 **Активная жизненная позиция как возможный ответ на травматизацию**
Андреас Крузе
- 192 **Травмированные помощники**
Кристиан Просс
- 211 **Структурные причины перегрузки помощников в центрах травмы**
Кристиан Просс и Соня Швайцер

Vorwort

Noch Jahrzehnte nach der nationalsozialistischen Terrorherrschaft und der systematischen Vernichtung der europäischen Juden müssen wir feststellen, dass die Bilder des Schreckens und die Erinnerung an Flucht und Erniedrigung bei den Shoah-Überlebenden weiterhin präsent sind oder mit zunehmendem Alter zurückkehren. Die traumatischen Erfahrungen der Überlebenden erfordern eine besonders hohe Sensibilität für deren individuellen Nöte. Daher sieht es die ZWST als ihr Ziel an, die professionellen Kompetenzen des mit Überlebenden arbeitenden Fachpersonals zu erweitern, um die bestmögliche Fürsorge für diejenigen Menschen zu gewährleisten, die unvorstellbares Leid ertragen mussten.

In den letzten Jahren sind auch die während des Holocaust überlebenden jüdischen Kinder und Jugendlichen in den Focus der psychosozialen und medizinischen Dienste gerückt. Der Grund hierfür sind zunehmende psychosoziale Auffälligkeiten, medizinische Problemlagen, Behinderungen sowie soziale Anpassungsschwierigkeiten. Von denjenigen Shoah-Überlebenden, die zum Zeitpunkt des Kriegsendes bereits erwachsen waren, unterscheiden sich child survivors dadurch, dass sie entweder versteckt, nicht selten unter falscher Identität in nichtjüdischen Institutionen oder Familien untergebracht waren, die Geschichte ihrer Familien oft nicht kennen und demnach häufig ohne jegliche Bindung zu ihrem ursprünglichen familiären Umfeld sozialisiert worden sind.

Während ihres aktiven Arbeitslebens gelang dieser Gruppe meist eine Verdrängung der traumatischen Erfahrungen, die mit dem Ende ihrer aktiven Berufstätigkeit aber umso stärker aufbrechen.

Die ZWST sieht es weiterhin als ihre Aufgabe an, die mit den traumatisierten child survivors arbeitenden Professionellen umfassend über historische, psychische, psychosomatische und soziale Aspekte der Lebensgeschichten der im Kinder- und Jugendalter überlebenden Juden aufzuklären. Daneben ist es unser Bestreben, dem mit Child Survivors beruflich befassten Personenkreis theoretisches Wissen und methodische Instrumente für ihre Arbeit zur Verfügung zu stellen und das Bewusstsein für die besonderen Bedürfnisse dieser Gruppe zu schärfen.

Mit der vorliegenden Veröffentlichung möchten wir uns an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Institutionen wenden, die sich Tag für Tag mit der Pflege, Therapie, medizinischer oder sozialpädagogischer Versorgung jüdischer Überlebenden befassen und dabei deren Familienangehörigen einbeziehen.

Die Zweisprachigkeit der Beiträge berücksichtigt die Tatsache, dass unsere Adressaten teilweise aus der ehemaligen Sowjetunion eingewandert sind und sie in der russischen Sprache beheimatet sind.

Ein besonderer Dank gebührt der ‚Claims Conference‘ für die finanzielle Unterstützung dieser Veröffentlichung und schließlich den Autoren und Herausgebern für ihre Mitwirkung bei der Realisierung der vorliegenden zweisprachigen Publikation.

Benjamin Bloch
Direktor der ZWST

Вступительное слово

Даже спустя десятилетия после нацистского террора и систематического уничтожения европейских евреев мы отдаем себе отчет в том, что образы ужаса и воспоминания об унижениях и преследованиях людей, переживших Холокост, по-прежнему присутствуют или возвращаются к ним по мере того, как они стареют.

Травматический опыт выживших требует проявления особенно высокой чувствительности к их индивидуальным потребностям. Таким образом, ZWST видит своей целью расширение профессиональных навыков работы с людьми, переживших Холокост для того, чтобы обеспечить наилучший уход за теми, кому пришлось пережить невыносимые страдания.

В последние годы в центре психосоциальных и медицинских услуг оказались люди, выжившие во время Холокоста в детском и подростковом возрасте. Причина этому - увеличение психосоциальных проблем, проблем со здоровьем, инвалидность и трудности социального характера. Те, кто пережил Холокост взрослыми на момент окончания войны, отличаются от тех, кто пережил Холокост детьми. Детей либо прятали, либо они скрывались в нееврейских учреждениях или семьях под чужими именами. Они зачастую не знают истории своей семьи и, следовательно, они были социализированы без всякой связи с их исконной семейной средой.

Во время своей активной трудовой жизни людям этой группы удавалось вытеснить из памяти травмирующие события, но по мере окончания трудовой деятельности эти воспоминания возвращаются с новой силой.

Одной из своих задач ZWST видит в предоставлении работающим специалистам всестороннего образования в области исторических, психических, психосоматических и социальных аспектов работы с людьми, пережившими Холокост детьми и подростками.

Кроме того, мы пытаемся дать людям, профессионально работающим с детьми, пережившими Холокост, теоретические знания и методологические инструменты для их работы и пробудить в них осознание особых потребностей этой группы.

Этой публикацией мы обращаемся ко всем сотрудникам учреждений, которые ежедневно ухаживают за людьми, пережившими Холокост, осуществляют терапевтические мероприятия, медицинскую или социально-педагогическую поддержку этих людей и их близких. То, что это издание выходит на двух языках, обязано тому факту, что многие читатели иммигрировали из бывшего Советского Союза и русский язык является для них родным. Особая благодарность Клеймс Конференц за финансовую поддержку этой публикации и, наконец, авторам и издателям за их участие в реализации настоящего двуязычного издания.

Беньямин Блох
Директор ZWST

Einführung: Nach dem Überleben

Im europäischen Kontext galt bis zum Aufkommen des Nationalsozialismus die deutsch-jüdische Geschichte durchaus als eine Erfolgsgeschichte. In kaum einem anderen Land war die Integration, aber auch die Assimilation so weit fortgeschritten wie in Deutschland.

Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus und dem millionenfach durchgeführten Mord an den europäischen Juden wurde nicht nur die deutsch-jüdische Geschichte zerstört; mit jenem Ereignis ging auch eine Umwertung der ihm vorausgegangenen jüdischen Geschichte in Deutschland einher.

Der bei aller Einschränkung beeindruckende Emanzipationsprozess wurde in der Geschichtsschreibung nach 1945 vielfach als Fehlentwicklung interpretiert.

Der Schatten des Nationalsozialismus, die Massenvernichtung blieb der Endpunkt deutsch-jüdischer Geschichte.

Als im Jahr 1945 nach dem Sieg über das nationalsozialistische Deutschland die nazistischen Verbrechen am europäischen Judentum voll enthüllt worden waren, herrschte bei Juden aller Länder die selbstverständliche Erwartung, dass Deutschland ein gebanntes Land sein werde, in dem niemals mehr Juden leben sollten. Robert Weltsch sprach für viele, als er 1946 nach einem Besuch im besiegten Deutschland schrieb:

„Wir können nicht annehmen, dass es Juden gibt, die sich nach Deutschland hingezogen fühlen. Hier riecht es nach Leichen, nach Gaskammern und nach Folterzellen. Aber tatsächlich leben heute noch ein paar Tausend in Deutschland. Dieser Rest jüdischer Siedlung soll so schnell wie möglich liquidiert werden. Deutschland ist kein Boden für Juden.“

Auch der Jüdische Weltkongress erklärte 1948, im Jahr der Gründung Israels, dass kein Jude mehr deutschen Boden betreten werde.

Die Vorstellung, dass Deutschland für Jahrhunderte ein Land ohne Juden sein werde, hat sich nicht bewahrheitet. Eine kleine Zahl deutscher Juden machte von der Möglichkeit der Rückkehr Gebrauch und eine entschieden größere Zahl osteuropäischer Juden flüchtete nach Deutschland. Diese durch ständige Zu- und Abwanderung fluktuierende Gruppe der Juden in Deutschland war einer doppelten Isolierung ausgesetzt:

Sie lebte im Lande der Mörder als ein beständiges Mahnmal deutscher Schuld und sie erfuhr gleichzeitig die Missbilligung von Juden aus aller Welt für ihr Verbleiben in Deutschland.

Entgegen ihren eigenen Erwartungen sind die Gemeinden weder ausgestorben noch haben sie sich durch Abwanderung aufgelöst.

Heute - 68 Jahre nach der Neugründung von jüdischen Gemeinden in Deutschland - ist ein Vertrauen in ihren Fortbestand entstanden.

Der Neubeginn jüdisch organisierten Lebens im Nachkriegsdeutschland wurde vor allem von polnischen, rumänischen und ungarischen Juden geleistet, die als Displaced Persons, als Flüchtlinge und Gestrandete aus den Arbeits-, Konzentrations- und Vernichtungslagern Osteuropas kamen.

Im Unterschied zu den deutschen Juden, die ihre Existenz im Nachkriegsdeutschland damit begründeten, die Nachfolge des einst so großen und bedeutenden Judentums in Deutschland anzutreten, kann bei dem Aufenthalt osteuropäischer Juden in Deutschland weder von dem bewussten Beginn einer neuen Existenzgründung noch von einer auch nur vorübergehenden Zwischenstation in Deutschland gesprochen werden. Subjektiv war es ein zeitlich begrenzter Aufenthalt in der französischen, englischen oder amerikanischen Besatzungszone – mit der Absicht, so schnell wie möglich in ein außereuropäisches Land auszuwandern.

Ein auf die Ausreise nach Palästina wartendes Mitglied einer jüdischen Organisation schrieb 1946:

„Die verfluchte deutsche Erde hat sich in ein zeitweiliges Heim für die jüdischen Massen verwandelt. Was soll man tun? In deutschen Fabriken arbeiten? Deutsche Häuser aufbauen? Die deutsche Erde bebauen? Das hat kein Jude gewollt und will es auch heute nicht, weil jeder es als Verbrechen betrachten würde, beim Aufbau der Wirtschaft des deutschen Volkes zu helfen, dessen bewaffnete Söhne ein drittel des jüdischen Volkes ermordet haben. Es wäre absurd, wenn Juden beim Wiederaufbau Deutschlands helfen würden.“

Der kleinste Teil von Juden, die sich zwischen 1945 und 1950 in Deutschland aufhielten, hat sich auch hier niedergelassen. Von den 200 000 Juden, die in diesem Zeitraum in den Besatzungszonen, hauptsächlich in DP-Lagern gelebt haben, sind 1955 kapp 17 000 in der Bundesrepublik geblieben.

Ungeachtet der Tatsache, wo sie sich eine neue Existenz einzurichten angingen, konzentrierten sie sich zunächst auf den Aufbau ihrer ökonomischen Existenz, meistens in Geschäftszweigen, in denen der Schein einer jederzeit möglichen Auswanderung aufrechterhalten werden konnte.

Psychisch gestaltete sich das Weiterleben nach den Erfahrungen von Tod, Demütigung und dem Verlust der Familie, des Eigentums sowie des gesamten bekannten Lebenszusammenhangs als Balanceakt zwischen der Genugtuung, den Mördern und dem sicheren Tod entgangen zu sein, und der Gefahr, das Weiterleben nicht in ein permanentes Überleben münden zu lassen.

Diejenigen, die die Lager überlebt haben, begleitet das Konzentrationslager ihr Leben lang. Die ehemaligen Häftlinge haben zwar die Lager verlassen, aber die Lager haben sie nicht verlassen. Solche Erinnerungen kennen keine Verjähmung. Die ermordeten Eltern, Geschwister, Kinder oder Freunde lassen sich nicht wieder zum Leben erwecken. Das gilt auch für diejenigen Überlebenden, die unter ständiger Angst im Versteck oder Exil überlebten, während ihre engsten Angehörigen und ihr gesamtes soziales Umfeld vernichtet wurden.

Die Erinnerung an die Lagererfahrung, das unglaubliche Leiden und die grenzenlose Zerstörung drängen sich den Verfolgten immer wieder von selbst auf. Zugleich sind viele mit ihren Erinnerungen über Jahrzehnte allein geblieben. Weder hofften sie gehört und verstanden zu werden, noch wollten sie, ihre Umgebung mit ihren Erfahrungen belasten. Selbst die eigenen Kinder sollten geschont werden. Für andere Verfolgte ist es geradezu eine Lebens- und Überlebensaufgabe geworden, die Erinnerung an die Shoah wach zu halten.

Die Shoah stand für die in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Juden im Zentrum ihrer Identitätskonstruktion: Ausgangspunkt ihres Hierseins, das auf Dauer gestellte Provisorium ihres Lebens auf ‚gepackten Koffern‘, das Selbstgefühl und die spezifische Selbst- und Fremdwahrnehmung der eigenen Gemeinschaft in Deutschland etablierten eine jüdische Gemeinschaft, die bei all ihrer Heterogenität auf diese - ihre Identität prägenden Erfahrungen und Überzeugungen – verweisen konnten.

Das Weiterleben der ehemals Verfolgten ist nicht nur von den eigenen Erfahrungen und Erinnerungen geprägt. Es ist stark davon beeinflusst, wie die neue Umgebung auf die Vergangenheit reagiert.

Die Möglichkeit einer Integration von Überlebenden in eine für sie neue Gesellschaft ist wesentlich davon abhängig, wie diese mit ihrer eigenen Verantwortung und Verstrickung in die Verbrechen des Nationalsozialismus umgeht.

Die Aufnahmegesellschaft wird im Wesentlichen danach beurteilt, wie sie sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt, welches Verhältnis sie zum Staate Israel pflegt und wie sie ihrer eigenen Schuld gedenkt.

Ausgangs- und Referenzpunkt in dem System der jüdischen Existenz in Deutschland war und ist die Shoah, was zu einer strukturellen und dauerhaften Ambivalenz im Verhältnis zu der deutschen Gesellschaft führt. Normalität

ist vor diesem Hintergrund weder vorstellbar noch lebbar. Die Einwanderung der Juden der ehemaligen Sowjetunion im Jahre 1989 veränderte nicht nur die gesamte Struktur der jüdischen Gemeinschaft, sondern auch deren Selbstverständnis in Hinsicht auf die Shoah.

Den Zuwanderern standen in der ehemaligen Sowjetunion ideologisch bedingte andere Deutungsmuster zur Einordnung ihrer Erfahrung mit dem Nationalsozialismus zur Verfügung.

Als Bewohner der Sowjetunion waren sie von der rassistischen Politik der Nationalsozialisten in erster Linie in denjenigen Landesteilen betroffen, die von den deutschen Truppen besetzt wurden. Ein Großteil der jüdischen Bevölkerung lebte jedoch in den von den sowjetischen Truppen kontrollierten Regionen.

Der Kampf gegen die Faschisten wurde als vaterländischer Krieg rezipiert und mit dem Sieg über die deutschen Truppen als nationaler Sieg aller in der Sowjetunion lebenden Menschen über die deutsche Wehrmacht und die NS-Verbrecher gedeutet.

So sehr die jüdische Bevölkerung also unmittelbar oder mittelbar von den Vernichtungsfeldzügen der Deutschen betroffen war, hatte sie die Option sich aktiv mit dem vaterländischen Krieg zu identifizieren, an dessen Ende eben ein glorreicher Sieg stand. Die jüdische Minderheit wurde in vielerlei Hinsicht in der ehemaligen Sowjetunion diskriminiert oder der Willkür einer antisemitischen bzw. antizionistischen Politik ausgesetzt. Doch die Erinnerung an den Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland diente als Grundlage der nationalen Integration aller nationalen und gesellschaftlichen Gruppen in der ehemaligen Sowjetunion.

Der nationalsozialistische Antisemitismus als eine der zentralen Triebkräfte der Besetzungs- und Vernichtungspolitik der deutschen Armeen wurde dem Begriff des ‚Imperialismus‘ untergeordnet und dementsprechend nur als eine von zahlreichen Varianten einer Aggressionsform der in Deutschland herrschenden politischen Klasse gewertet. Der rassistische Antisemitismus war zu keiner Zeit in der Sowjetunion eine zentrale Dimension der NS-Politik.

Dementsprechend stellte die sowjetische Gesellschaft den Juden keine Räume, Gedenktage oder ethnisch-kulturelle bzw. religiöse Institutionen zur Selbstvergewisserung zur Verfügung, in denen sie ihre jüdische Identität im Schatten der Shoah hätten ausbilden können.

Der Tag des Sieges - der 9. Mai - war eben der Gedenktag aller Sowjetmenschen, also auch der Juden, die häufig als Angehörige der sowjetischen Armee an der Zerschlagung der deutschen Truppen mitgewirkt haben.

War der 8. Mai 1945 für die in Deutschland alteingesessene jüdische Bevölkerung ein Tag der Realisierung der unvorstellbaren Zerstörung und Vernichtung jüdischen Lebens in Europa und der Einsicht, dass diese Verluste irreversibel sind, so stellt sich der Tag der Kapitulation der deutschen Truppen – der 9. Mai 1945 – für die jüdischen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion in einem ganz anderen Licht dar.

Sowohl divergierende Rezeptionen der Shoah als auch die jeweils individuellen Überlebenserfahrungen haben Auswirkungen auf die Fähigkeiten, bestehende psychosoziale Beratungs- und Betreuungs-Angebote wahrzunehmen. Wer in den 1960er Jahren in der Bundesrepublik (sowie West-Berlin) lebte oder dorthin eingewandert war, konnte die Möglichkeiten nutzen, die das 1952 in Kraft getretene Bundesentschädigungsgesetz (BEG) vorsah, um neben einer meist geringen Entschädigungszahlung medizinische Hilfsmittel, spezifische Therapien oder Kuren zu nutzen. Weitere Beratungs- oder Versorgungsleistungen wurden nur in Einzelfällen eingefordert, weil die bürokratischen Hürden hoch waren und die meisten Mitarbeitenden in den entsprechend Ämtern einer Generation angehörten, die die Nazizeit in Deutschland schon als Erwachsene erlebt hatten und damit jedem Überlebenden verdächtig waren. Zudem standen Leistungen aus dem BEG ohnehin nur einer kleinen Gruppe von Überlebenden zur Verfügung. Im Gegensatz zur DDR gab bzw. gibt es in der Bundesrepublik keinen speziellen Status für Opfer des Nationalsozialismus mit entsprechenden Privilegien, und so entstanden hier auch weder Überlebendenorganisationen¹ noch spezifische Beratungsstrukturen.

Nach 1989 bedeutete der Umstand, dass es auch im vereinigten Deutschland weder eine Anerkennung (sowjetischer) Kriegsveteranen, Kämpfer gegen den Faschismus oder Überlebender gab, eine identifikatorische Irritation für die aus der ehemaligen Sowjetunion zuwandernden Überlebenden. Diese Nichtanerkennung wurde teilweise als Kränkung empfunden und hat auch bei den Zuwanderern nicht unbedingt zum Vertrauensgewinn in bestehende Unterstützungs- und Beratungsstrukturen beigetragen. Eine weitere Gruppe von Überlebenden, denen bis in dieses Jahrzehnt weder ideelle noch materielle Anerkennung zuteil wurde, sind die child survivors. Selbst von älteren Überlebenden nicht wirklich mit ihren traumatischen Erlebnissen und Überlebensgeschichten wahr- und ernst genommen waren sie bei Entschädigungsverfahren entweder nicht anspruchsberechtigt oder wurden unter Verwaltungsakten von Eltern oder anderen Verwandten subsumiert. Dass sie eigene Bedürfnisse an Beratung, Betreuung oder Therapie haben könnten, wurde erst in den letzten Jahren zugestanden, nachdem sich erste child survivors Organisationen in den 1990er Jahren weltweit gegründet hatten.

Therapeuten, Sozialarbeiter und Pflegekräfte haben in den vergangenen Jahren gelernt, dass jede Überlebendengruppe, ob Ghetto- oder KZ-Überlebende, Partisanen, child survivors, Illegale oder vor den Nazis Geflohene, ihre eigenen posttraumatischen Symptome und damit auch bestimmte Verhaltensmuster und (Über)lebensstrategien entwickelt haben, denen nur mit jeweils an die individuellen Bedürfnisse adaptierten Beratungs- und Betreuungskonzepten begegnet werden kann. Die vorliegende Textsammlung soll diese Differenzierung sichtbar machen und Einblicke in unterschiedliche Aspekte gewähren, die Auswirkungen auf eine adäquate und erfolgversprechende Versorgung der Adressaten haben.

¹ Der VVN bestand in der BRD nur befristet

Введение

Жизнь после Шоа

Немецко-еврейская история в европейском контексте до самого наступления национал-социализма рассматривалась, как достаточно успешная. Мало в какой-нибудь другой стране интеграция, равно как и ассимиляция были так успешны, как в Германии.

С ростом национал-социализма и миллионами убитых европейских евреев была разрушена не только немецко-еврейская история; при всех своих ограничениях впечатляющий процесс эмансипации многократно признавался в историографии после 1945 года как патология развития. Тень национал-социализма, массового уничтожения осталась конечной точкой немецко-еврейской истории.

Когда после победы над нацистской Германией преступления нацистов над европейским еврейством полностью были раскрыты, у евреев всех стран стало считаться само собой разумеющимся, что Германия должна стать запрещенной страной, в которой евреи никогда не должны больше жить.

Роберт Велш выразил мнение многих, когда написал в 1946 году после посещения побежденной Германии: «Мы не можем предположить, что есть евреи, которые еще могут испытывать тягу к Германии. Здесь пахнет трупами, газовыми камерами и камерами пыток. Но в действительности в Германии еще живет пара тысяч евреев... Этот остаток еврейского присутствия должен быть ликвидирован как можно быстрее. Германия не может быть землей для евреев».

Еврейский Всемирный Конгресс в 1948 году, в год образования государства Израиль, объявил, что нога еврея никогда не должна больше ступать на землю Германии. Идея, что Германия должна стать землей без евреев на протяжении веков, не осуществилась. Небольшое число немецких евреев воспользовались возможностью возвращения, а значительно большее число восточноевропейских евреев бежали в Германию.

Эта группа евреев в Германии, непостоянная по численности из-за постоянных колебаний иммиграции и эмиграции, столкнулась с двойной изоляцией: они жили на земле убийц в качестве как бы постоянного памятника немецкой вины и в то же время знали о неодобрении евреями всего мира того факта, что они остались в Германии.

Вопреки ожиданиям, общины не прекратили свое существование и не исчезли в связи с эмиграцией. Сегодня, спустя 60 лет после восстановления еврейских общин в Германии, появилась вера в их дальнейшее существование.

Новое начало организованной еврейской жизни в послевоенной Германии было обеспечено в основном за счет польских, румынских и венгерских евреев, прибывших в качестве перемещенных лиц и беженцев из трудовых, концентрационных лагерей и лагерей смерти Восточной Европы.

В отличие от немецких евреев, которые обосновывали свое существование в послевоенной Германии тем, что они должны были стать преемниками некогда великого и значимого еврейства в Германии, восточноевропейские евреи на территории Германии не говорили ни о сознательном новом начале, ни даже о кратковременном пребывании в этой стране. Субъективно это было очень короткое время пребывания во французской, американской или английской зонах оккупации – с намерением как можно быстрее выехать в какую-либо неевропейскую страну.

Член одной еврейской организации, ожидавший выезда в Палестину, писал в 1946 году: «Проклятая немецкая земля превратилась для множества евреев во временный дом. Что им делать? Работать на немецких фабриках? Восстанавливать немецкие дома? Пахать немецкую землю? Этого не хотел делать ни один еврей и не хочет этого и сегодня, поскольку каждый рассматривает это как преступление - помогать восстановлению хозяйства немецкого народа, чьи вооруженные сыновья убили треть еврейского народа. Было бы абсурдно евреям помогать восстановлению Германии».

Самая малая часть евреев, которая оставались в Германии в 1945-1950 годах, расположилась здесь. Из 200 000 евреев, которые в этот период времени жили в зонах оккупации, в основном в лагерях для перемещенных лиц, лишь около 17 000 осталось в ФРГ в 1955 году.

Несмотря на то, где они собирались обустроить новую жизнь, люди вначале сконцентрировались

на строительстве своего экономического существования, главным образом, в различных отраслях бизнеса, который можно было сохранить и в случае постоянной вероятности выезда из страны. В психологическом плане, после пережитых смертей, унижений, после потери семьи, имущества и всего жизненного контекста дальнейшая жизнь стала своего рода балансированием между удовлетворением от того, что удалось избежать убийц и верной смерти, и опасности, что дальнейшую жизнь придется провести в постоянном страхе за выживание.

Тех, кто пережил концентрационный лагерь, он преследует всю жизнь. Бывшие заключенные оставили лагерь, но лагерь не оставили в покое их. Для этих воспоминаний не существует понятия срока давности. Убитых родителей, братьев и сестер, детей или друзей уже не вернуть к жизни. Это относится также и к тем выжившим, которые жили в постоянном страхе в укрытии или изгнании в то время, как уничтожались их самые близкие родственники и все их социальное окружение.

Воспоминания о пребывании в лагере, нечеловеческие страдания, безграничные уничтожения постоянно возвращаются к выжившим. Кроме того, многие в течение многих десятилетий оставались с этими воспоминаниями один на один. Они и не надеялись быть услышанными и понятыми и не хотели обременять окружающий мир своими воспоминаниями. Они оберегали от этого даже своих собственных детей. Для других преследуемых постоянная память о Шоа стала делом практически всей жизни.

Для евреев, живущих в Федеративной Германии, Шоа находилась в центре их идентификационной конструкции: исходная точка их пребывания, постоянная временность их жизни на «упакованных чемоданах», чувство собственного достоинства и специфическое восприятие собственной общности в Германии привели к возникновению в Германии еврейского сообщества, которое, при все своей неоднородности, может ссылаться на опыт и убеждения, выпестовавшие их идентификацию.

На дальнейшую жизнь когда-то преследовавшихся влияют не только их собственный опыт и воспоминания. Во многом это зависит и от того, как новая среда реагирует на прошлое. Возможность интеграции выживших в новое для них общество в значительной степени зависит от того, в какой степени это общество признает свою собственную ответственность и причастность к преступлениям национал-социализма.

Принимающее общество, по сути, оценивается по тому, как оно имеет дело с собственным прошлым, какие отношения оно поддерживает с государством Израиль и каким образом искупает свою собственную вину. Отправным пунктом и ориентиром в системе еврейского существования в Германии была и остается Шоа, что приводит к структурной и длительной амбивалентности в отношении по немецкому обществу. Нормальность на этом фоне как немыслима, так и не имеет право на существование.

Приезд еврейских иммигрантов из бывшего Советского Союза в 1989 году изменил не только всю структуру еврейского общества, но также и его самосознание с точки зрения Шоа.

В бывшем Советском Союзе иммигрантам были доступны идеологически различные модели интерпретации для классификации их собственного опыта национал-социализма. Как жители Советского Союза, они пострадали от расистской политики нацистов в первую очередь в тех частях страны, которые были оккупированы немецкими войсками. Однако, большая часть еврейского населения проживало в регионах, контролируемых советскими войсками.

Борьба против фашистов была воплощена в Отечественной войне и интерпретирована после поражения немецкой армии как национальная победа над немецкой вермахтом и нацистскими преступниками всех людей, живущих в Советском Союзе.

Еврейское население, прямо или косвенно страдавшее от наступательной компании вермахта, выбрало вариант активной идентификации с Отечественной войной, закончившейся великой победой. Еврейское меньшинство на территории бывшего Советского Союза подвергалось дискриминации во многих отношениях или зависело от милости антисемитской или антиссионистской политики. И тем не менее, воспоминание о борьбе против фашистской Германии служило основой общенациональной интеграции всех национальных и общественных групп в бывшем Советском Союзе.

Национал-социалистический антисемитизм, выбранный германской армией в качестве основной движущей силой политики оккупации и уничтожения, был занесен в категорию «Империализм» и соответственно, явился лишь одним из многочисленных вариантов форм агрессии правящего политического класса Германии.

Расистский антисемитизм в Советском Союзе никогда не являлся основной единицей измерения политики национал-социализма.

Соответственно, советское общество не предоставляло евреям для самовыражения никакого пространства, дней памяти, этническо-культурных или религиозных органов, в которых они могли практиковать свою еврейскую идентификацию в тени Шoa.

День Победы - 9 Мая – стал днем памяти всех советских людей, а также евреев, которые внесли свой вклад в разгром немецких войск на фронтах войны.

Если 8 мая 1945 для еврейского населения Германии стал днем осознания катастрофического разрушения и уничтожения еврейской жизни в Европе и пониманием того, что эти потери являются невозполнимыми, то 9 мая 1945 года, день капитуляции немецких войск, предстает для еврейских иммигрантов из бывшего Советского Союза совсем в другом свете.

Как дивергирующие восприятия Шoa, так и соответствующий индивидуальный опыт выживания оказывают влияние на способности воспринимать услуги в области психосоциальной заботы и ухода. Тот, кто жил в Федеративной Республике Германии (и в Западной Берлине) в 1960-ые годы, или переехал жить туда, мог воспользоваться возможностью, наряду с незначительными компенсационными выплатами, получить медицинскую помощь, специальную терапию или реабилитацию, которые стали возможны в связи с вступившим в силу в 1952 году Законом ФРГ «О возмещении вреда». Другие консультационные или бытовые услуги можно было получить только в некоторых отдельных случаях, поскольку бюрократические преграды были весьма сильными и большинство сотрудников и сотрудниц в соответствующих учреждениях принадлежали тому поколению, которое застало время национал-социализма в Германии уже взрослыми людьми и которые воспринимались каждым выжившим в годы Шoa с подозрением. Кроме того, выплаты в соответствии с Законом «О возмещении вреда» предназначались только для очень незначительной группы выживших.

В отличие от ГДР, в Федеративной Германии не было, и нет до сих пор особого статуса для жертв национал-социализма с наделением их соответствующими привилегиями и поэтому в ФРГ не возникли ни организации выживших в годы Шoa,¹ ни специализированные консультационные структуры.

После 1989 года это означало, что и в объединенной Германии не существовало ни признания (советских) ветеранов войны, борцов-антифашистов или выживших в годы Шoa, что явилось раздражающим для выживших, эмигрировавших в Германию из бывшего Советского Союза. Это непризнание воспринималось как своего рода оскорбление и не способствовало повышению доверия к организациям, осуществляющим помощь и консультации для этого круга людей.

Еще одна группа выживших, которой до последнего десятилетия как морального, так и материального признания не получала или получала крайне редко – это люди, пережившие Шoa детьми (*Child Survivors*). Они не воспринимались всерьез даже пожилыми выжившими с их травматическими воспоминаниями об опыте выживания. При выплатах компенсаций их или не учитывали совсем, или вписывали в акты их родителей или других родственников. Признание их необходимости получения консультаций, опеку или терапию стало появляться только в последние годы после того, как в 90-ые годы во всем мире стали появляться организации детей, переживших Шoa.

Терапевты, социальные работники и персонал по уходу поняли в последние годы, что каждая группа выживших, выжили ли они в гетто, концентрационном лагере, в партизанских отрядах, находились ли в укрытии, прятались ли от нацистов, имеет свои посттравматические симптомы и связанные с ними поведенческие модели и выработанные стратегии выживания. И концепции консультаций и ухода за такими людьми будут эффективными лишь в том случае, если они будут адаптированы к их индивидуальным особенностям. Последующие статьи должны прояснить необходимость такого дифференцирования и предоставить возможность познакомиться с различными аспектами, которые имеют влияние на адекватное и обещающее успех оказание помощи этим людям.

¹ Der VVN bestand in der BRD nur befristet

Kinder der Shoah

Konzepte der Extremtraumatisierung im Kindes- und Jugendalter

Die Gruppe der child survivors, der überlebenden Kinder der Shoah, stellt eine sowohl von wissenschaftlicher Seite als auch im Hinblick auf den Entschädigungsanspruch vernachlässigte Gruppe dar. Grund dafür war zunächst die Annahme, die Betroffenen seien zu jung gewesen, um sich an die Gräueltaten der Nazis erinnern bzw. um daran „leiden“ zu können. Dass dies keineswegs zutrifft, ergaben nicht zuletzt Forschungen in den 1970er Jahren. So stellte sich heraus, dass gerade ein junges Alter während der Verfolgung besonders starke Auswirkungen auf die Schwere der Traumatisierung mit sich brachte.¹

Im Folgenden möchte ich einige Marksteine der Forschung über child survivors skizzieren. Ich beginne mit einigen Überlegungen zum Konzept der Traumatisierung und stelle dann kurz die klassischen Studien von Anna Freud, Hans Keilson, Reinhart Lempp, Judith Kestenberg und Robert Krell vor. Die gegenwärtig avancierteste Theorie zur Traumatisierung von child survivors hat die schwedische Psychoanalytikerin Suzanne Kaplan vorgelegt. Bevor ich diese erörtere, werde ich noch auf einige neuere Konzepte eingehen, die in der allgemeinen Traumaforschung entwickelt wurden, sich jedoch gut eignen, um die Verarbeitung der Traumatisierung seitens der Betroffenen zu verstehen.

1. Traumakonzepte

Sigmund Freuds originäres Traumakonzept ist an seinem energetischen Modell des psychischen Apparats orientiert. Es lässt sich anschaulich mit der Metapher vom „lebenden Bläschen“ beschreiben. Das Bläschen wird vor Außenreizen durch eine Schutzhülle abgeschirmt, die nur erträgliche, verarbeitbare Energiequantitäten passieren lässt. „Hat diese Hülle einen ausgedehnten Einbruch erlitten, dann haben wir den Fall des Traumas.“² Aber auch ein das erträgliche Maß übersteigender Mangel an Stimulierung, wie er z.B. bei Deprivation vorliegt, wirkt traumatisierend und hemmt die normale Entwicklung.³ Gottfried Fischer und Peter Riedesser konzeptualisieren das Trauma als relationalen Begriff. Es besteht nicht lediglich in einem äußeren Ereignis (wie etwa Krieg, Unfall oder Erdbeben), sondern wird vor allem als „vitaler Diskrepanzerleben zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten“ beschrieben, „das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“.⁴ Folgen sind zunächst die

Erfahrung von Wirkungslosigkeit und das Gefühl, der Lebensbedrohung wehrlos ausgeliefert zu sein. Mit dieser Konzeptualisierung werden die bedrohliche Situation und die eigenen Ressourcen zur Bewältigung der Bedrohung in ein Verhältnis gesetzt. Dieses relationale Konzept bietet den Vorteil, dass es das Trauma nicht statisch als Ereignis, sondern als Prozess beschreibt. Wir können uns diesen Prozess an einem Verlaufsmodell veranschaulichen (vgl. Abb.1).

2. Wichtige Forschungsbeiträge zum Themenkomplex child survivor

Ich gebe nun kurz in chronologischer Reihenfolge die wichtigsten Studien zu den child survivors wider.

2.1 Anna Freud

Bereits während des Zweiten Weltkrieges untersuchten Anna Freud und Dorothy Burlingham (1949) Kinder, die ihre Eltern verloren hatten und in einem Kinderheim (Hampstead Nurseries) untergebracht waren. Sie stellten sich die Frage, welche Kriegserlebnisse – wie Fliegerangriffe, Nächte in Luftschutzkellern, Trennung von Eltern und Evakuierung – sich auf welche Weise körperlich und seelisch auswirkten.⁵

Einige Jahre später veröffentlichte Anna Freud gemeinsam mit Sophie Dann ihre Forschungsergebnisse über die von ihr untersuchten child survivors. Es handelte sich bei dieser Untersuchung um die Analyse von sechs Kindern im Alter zwischen drei und vier Jahren, die das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt hatten und deren Eltern umgebracht worden waren, als sie zwischen sechs und zwölf Monaten alt waren. Verwaist in diesem frühen Alter, besaßen sie keinerlei Erinnerung an ihre Vergangenheit. Die Autorinnen beschrieben folgende Symptomatik: Die Kinder seien äußerst empfindlich, ruhelos, aggressiv und schwierig im Umgang gewesen. Sie zeigten einen erhöhten Autoerotismus, und bei einigen von ihnen seien beginnende neurotische Symptome zu erkennen gewesen. Sie seien jedoch weder defizient noch delinquent oder psychotisch gewesen.⁶

Mehr als dreißig Jahre später wurden einige dieser ehemaligen Kinder nochmals untersucht. Die Ergebnisse wurden in der Moskowitz Follow-Up-Studie (1983) zusammengefasst.⁷ Demnach waren die 24 child survivors zu liebevollen

¹ Haim Dasberg, Adult Child Survivor Syndrome: On Deprived Childhoods of Aging Holocaust Survivors, in *Israel Journal of Psychiatry & Related Sciences* 38 / 1 (2001), 13-26.

² Jean Laplanche und Jean-Bertrand Pontalis, *Das Vokabular der Psychoanalyse*, Frankfurt am Main 1967, 514.

³ Leonard Shengold, *Soul Murder: Seelenmord – die Auswirkungen von Missbrauch und Vernachlässigung in der Kindheit*, Frankfurt am Main 1995, 15f.

⁴ Gottfried Fischer und Peter Riedesser, *Lehrbuch der Psychotraumatologie*, 3. Aktualisierte und erweiterte Auflage, München und Basel 2003, 82.

⁵ Dorothy Burlingham und Anna Freud, *Kriegskinder. Jahresbericht des Kriegskinderheims Hampstead Nurseries*, London 1949.

⁶ Anna Freud und Sophie Dann, An Experiment in Group Upbringing, in *Psychoanalytic Study of the Child* 6 (1951), 127-168.

⁷ Sarah Moskowitz, *Love Despite Hate: Child Survivors of the Holocaust and Their Adult Lives*, New York 1983.

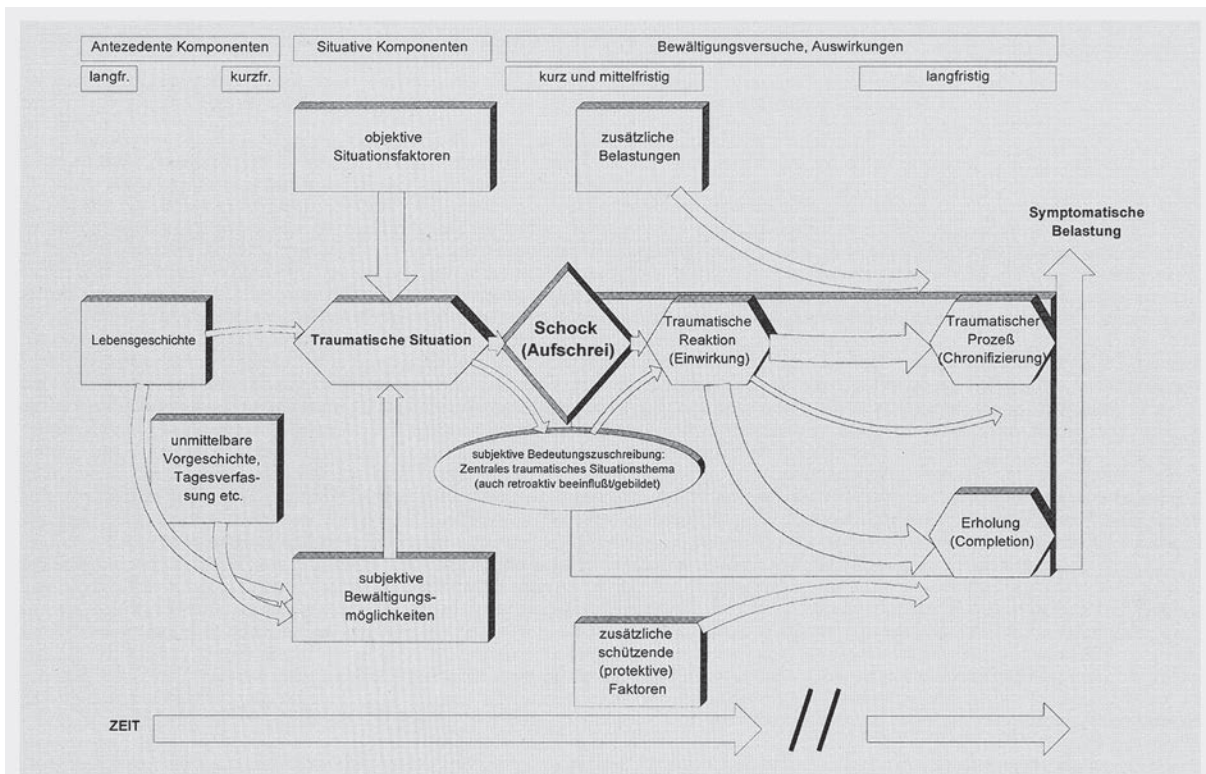


Abbildung 11: Überblick über das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung

Erwachsenen herangewachsen und hatten selbst Familien gegründet und Kinder großgezogen. Allerdings ergab sich aus den Interviews auch, dass erwachsene Kinderüberlebende noch immer das Gefühl hatten, nicht zugehörig zu sein, und unter den massiven Verlusten von Angehörigen litten, die während der Shoah ermordet worden waren. Diese Erinnerungen an früheste Trennungserfahrungen schienen mehr ans Tageslicht zu gelangen, wenn das Umfeld (geografisch) gewechselt wurde.⁸

2.2 Hans Keilson

2.2.1 Zur Studie

Die einzige vergleichend-systematische Studie über child survivors stammt aus der Feder Hans Keilsons, der die altersspezifische Traumatisierung bei einer Gruppe jüdischer Waisenkinder in den Niederlanden erforschte (1979).⁹ Er untersuchte eine Zufallsstichprobe von 204 Überlebenden aus einer Gruppe von 2040 Waisen. Die meisten von ihnen hatten den Krieg in Verstecken überlebt, eine kleinere Gruppe bestand aus Überlebenden der Konzentrationslager. Die erste Beobachtung dieser Kinder erfolgte unmittelbar nach der Befreiung. 25 Jahre später wurde diese Gruppe nochmals untersucht, wobei Keilson der Frage nach der Beziehung zwischen traumatischen Situationen und permanenten Persönlichkeitsveränderungen

bei Kindern verschiedener Altersgruppen nachging. Zwei Hypothesen wurden geprüft: Zum einen ging es um die Frage der altersspezifischen Traumatisierung, zum anderen wurde nach den Spätfolgen der Traumatisierung gefragt, genauer, danach, ob die Schwere der Traumatisierung während der Kindheit auch den Schweregrad einer Persönlichkeitsstörung beim späterem Erwachsenen bestimmte.¹⁰

Der von child survivors häufig geäußerte Eindruck, wichtige Entwicklungsschritte verpasst zu haben, deutete schon im Vorfeld an, dass mit der Traumatisierung eine Fixierung auf frühe Phasen der kindlichen Entwicklung stattgefunden haben könnte. Keilson macht darauf aufmerksam, dass im Unterschied zu den Arbeiten über erwachsene Verfolgte, in denen das Verfolgungsgeschehen unter dem Gesichtspunkt des Einbruchs in die gereifte Persönlichkeit erfasst wurde, die extreme Belastungssituation der Verfolgung bei child survivors der integrale Bestandteil der kindlichen Entwicklung gewesen ist.

2.2.2 Traumatische Sequenzen

Keilson konstatiert in seinem Modell einen Wandel der „extremen Belastungssituation“ im historischen Verlauf und unterscheidet drei Phasen der Verfolgung:

a) Die erste Phase bezeichnet er als „Schockphase“ nach einer häufig idealisierten Kindheit. Es handelt sich dabei um die Vorkriegsjahre bzw. um die Zeit zu Beginn des

⁸ Vicki Gordon, The experience of being a hidden child survivor of the Holocaust, Melbourne 2002.

⁹ Hans Keilson, Sequentielle Traumatisierung bei Kindern. Untersuchung zum Schicksal jüdischer Kriegswaisen, Stuttgart 1979.

¹⁰ Ders., Sequentielle Traumatisierung bei Kindern durch man-made-disaster. In: Endres, Manfred u. Biermann, Gerd (Hg.): Traumatisierung in Kindheit und Jugend. München 1998, S. 49.

Krieges, in der das Kind zwar noch bei den Eltern war, aber mit Einschränkungen der persönlichen Freiheit sowie mit dem Antisemitismus (z.B. Tragen des gelben Sterns, etc.) zu kämpfen hatte. Diese Phase lässt sich mit dem Bild des „Abbröckeln(s) des Rechtschutzes“ zusammenfassen.¹¹

b) Als zweite Phase ist die Zeit der Verfolgung („Einwirkungsphase“) während der Jahre 1939 bis 1945 (bzw. 1933 bis 1945 bei deutschen Juden) zu nennen, also jener Lebensabschnitt, der extreme traumatische Erfahrungen mit sich brachte. In Keilsons Untersuchungsgruppe der jüdischen Kriegswaisen aus den Niederlanden waren dies vor allem zwei Formen der Verfolgung – das Leben im Versteck oder die Internierung in einem Konzentrations- oder Vernichtungslager. Sie beginnt nach der Trennung des Kindes von der Familie. Das Überleben des Kindes war nun von anderen Personen abhängig. Gleichzeitig mussten die Kinder die gleichen grausamen Erfahrungen machen wie Erwachsene.

3) Die dritte Phase – die Zeitspanne nach dem Krieg als Existenz im Schatten der erlebten Verfolgung und mit allen Schwierigkeiten der Wiedereingliederung – nennt Keilson die „Erholungsphase“ und kennzeichnet sie als die wichtigste Phase bei der Verarbeitung des Traumas.¹² Sowohl bei den biologischen als auch bei den Pflegeeltern spiegelte sich eine emotionslose Interaktion wider, oft auch seitens der Kinder. Kinder, deren leibliche Eltern überlebt hatten, erkannten jene bei der Wiederbegegnung oft nicht.¹³ Andere, deren Eltern nicht überlebt hatten, waren mit einer massiven Verlust Erfahrung konfrontiert. Für alle galt es, sich möglichst schnell an die chaotischen Umstände der Nachkriegszeit anzupassen, oder gar – im Falle der Emigration – in einer neuen kulturellen Umgebung Fuß zu fassen.¹⁴

2.2.3 Altersspezifische Traumatisierung

Die Frage der altersspezifischen Traumatisierung von Kindern und Jugendlichen geht auf den von John Bowlby geprägten Begriff der *basic needs* zurück. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Zeitpunkt der „Trennung von der Mutter“ und damit der Herauslösung aus der Sicherung der elementaren Bedürfnisse.

Kinder, die in einem sehr frühen Alter eine Trennung erleben, sind in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit zu entwickeln. Meist ist dabei ein dauerndes Gefühl von Unsicherheit induziert. Auch die Vorstellung von Zeit ist häufig diffus. Der Mangel an Kontinuität hemmt die Entwicklung einer inneren Ordnung, eines Wissens darum, was man wann zu erwarten hat. Eine Spätfolge im Erwachsenenalter besteht – nach Keilson – häufig in einer fortgesetzten kindlichen Abhängigkeit von anderen Erwachsenen (etwa Partnern oder Eltern). Darüber hinaus kann es zu charakterneurotischen Entwicklungen kommen, die mit Kontaktschwierigkeiten sowie persönlicher und sozialer Verunsicherung verbunden sind.

Die älteren *child survivors* befanden sich zur Zeit der

Verfolgung in der Voradoleszenz und Adoleszenz, in der die Identitätsentwicklung ein wesentliches Thema darstellt. Alltäglich waren die Konfrontation mit dem Tod, die vielen Trennungen, der Verlust des Glaubens an moralische Werte, die ständige Wahrnehmung von Gefahr um sie herum und die schwere Last der Verantwortung für jüngere Geschwister (und manchmal auch für die Eltern). Im Gegensatz zu den jüngeren Kindern haben die älteren deutlichere Erinnerungen an ihre Eltern und ihre Kindheit, so dass ihre Sehnsucht nach den umgebrachten oder vermissten Familienangehörigen intensiver war. Sie nahmen die Grausamkeiten um sie herum bewusster wahr und verstanden deren Bedeutung besser. Symptomatisch war in der Gruppe der Adoleszenten Keilsons Erhebung zufolge die „chronisch-reaktive Depression“, während in der Gruppe der Voradoleszenten der Anteil der „angstneurotischen Entwicklung“ vorherrschend war.¹⁵ Diese Beobachtungen streichen heraus, dass die Modalität der Belastung in den verschiedenen Altersstufen variierte.

2.2.4 Besondere Erkenntnisse

Die Forschungsergebnisse Keilsons sind nicht allein für die Holocaustforschung bedeutsam, sie markieren auch einen Wandel in der Traumaforschung. Denn sie machen darauf aufmerksam, dass das Trauma kein abgeschlossener zeitlicher Vorgang ist, sondern ein (subjektiver) Prozess, der fortauern kann. Die klassische Begriffsbildung der posttraumatischen Belastungsstörung in der Traumaforschung erweist sich in diesem Zusammenhang auch als irreführend, da die Wortwahl nahe legt, das Trauma sei ein bereits vergangenes (abgeschlossenes) Ereignis.¹⁶ Gerade der günstige bzw. ungünstige Verlauf der dritten Phase (nach Keilson), d.h. der Nachkriegszeit und Wiedereingliederung, stellte sich in seinen Studien als äußerst wichtig für die Tragweite und das Ausmaß der folgenden traumatischen Entwicklungen heraus.

1.3 Reinhart Lempp

1.3.1 Zur Studie

Der Psychiater Reinhart Lempp veröffentlichte fast zeitgleich zu Keilson die Ergebnisse seiner Untersuchung von 45 Aktengutachten jüdischer Kinder und junger Erwachsener (bis zum Alter von 21 Jahren), die entweder im Versteck oder in den Konzentrations- und Vernichtungslagern überlebt hatten.¹⁷ Anhand seiner Ergebnisse konnte nachgewiesen werden, dass mit dem Alter des Kindes während der Verfolgung die Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung einer depressiven Symptomatik im späteren Verlauf stieg. Dieser Befund deckt sich mit der Untersuchung Keilsons. Lempps Ausführungen müssen daher hier nicht eingehender dargestellt werden.

¹¹ Ders. Sequentielle Traumatisierung, 56.

¹² Ebenda, 56.

¹³ Vyssoki, David; Tauber, Traude; Strusievici, Stefan u. Schürmann-Emanuel, Alexander, Trauma bei den Opfern der NS-Verfolgung. In: Friedmann, Alexander et al. (Hg.): Psychotrauma. Die posttraumatische Belastungsstörung. Wien, New York 2004, 197-212.

¹⁴ Gordon, The experience of being a hidden child survivor, 2002.

¹⁵ Keilson, Sequentielle Traumatisierung, 94.

¹⁶ Fischer und Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie, 63.

¹⁷ Reinhart Lempp, Extrembelastung im Kindes- und Jugendalter. Über psychosoziale Spätfolgen nach nationalsozialistischer Verfolgung im Kindes- und Jugendalter anhand von Aktengutachten, Bern 1979.

Äußerst interessant im Hinblick auf *child survivors* im fortschrittenen Alter ist allerdings ein Befund aus Lempps Langzeitstudie.¹⁸ Er konnte zeigen, dass *child survivor* in ihrem späten Leben psychische Beschwerden entwickelt hatten, die zur Zeit der Vorstudie von 1979 noch nicht aufgetreten waren. Der wichtigste Beitrag seiner Studien besteht demnach in der Einsicht in den reaktivierenden Einfluss des Alterungsprozesses im Zusammenhang mit dem Trauma der Shoah. Nach Lempp sind *child survivors* vom Erleben traumatischer Erinnerungen besonders während der kritischen mittleren Lebensphasen betroffen. In dieser Altersphase beginnt typischerweise der Versuch einer Aufarbeitung der lange verdrängten oder verschwiegenen Vergangenheit – im Sinne einer Integration in die eigene Biographie.

2.4. Judith S. Kestenberg

Die New Yorker Psychoanalytikerin Judith S. Kestenberg leistete einen wichtigen und äußerst umfangreichen Beitrag zum Verständnis der *child survivors*, indem sie unzählige Interviews sammelte und sich mit dem therapeutischen Effekt auf Kinder beschäftigte, die ihre Erinnerungen wiedererlangten. Auch in ihrer eigenen therapeutischen Arbeit als Analytikerin befasste sie sich intensiv mit den ehemaligen Kindern und Jugendlichen, die die Shoah überlebt hatten.

2.4.1 Der Konflikt zwischen Erinnern und Vergessen

Kestenberg konstatiert, für *child survivors* bestehe in vielerlei Hinsicht die Notwendigkeit zu vergessen, die Vergangenheit könne allerdings lebendig und erschreckend zurückkehren, so dass sie nur noch den Wunsch verspürten, in die Gegenwart zu flüchten. Zur Sicherung ihrer Lebenskontinuität brauchten sie jedoch die Erinnerung an die Geschehnisse während der Shoah. Aber die Erinnerung bringe auch die traumatische Vergangenheit zurück und damit Gefühle wie Wut und Zorn. Der Konflikt zwischen Erinnern und Vergessen sei eines der Hauptprobleme im Leben eines Menschen, der als Kind den Holocaust überlebt habe.¹⁹ In ähnlicher Weise findet sich dieser Konflikt bei den späteren Ausführungen Suzanne Kaplans wieder. Dort wird dieser Konflikt als Versuch der Affektregulierung dargestellt, der bei traumatisierten *child survivors* zu beobachten ist. Kestenberg macht darüber hinaus auf die Rolle der physischen Schmerzen bei Traumatisierungen aufmerksam. Physischer Schmerz verbindet sich mit psychischem Schmerz in einer physischen, körperlichen Erinnerung. Schmerz kondensiert auf diese Weise die Erinnerung an Hunger, Kälte, Vergiftungen und Verlustgefühle. Dabei spielt wiederum das Alter eine Rolle: Je jünger das

traumatisierte Kind, desto größer das Trauma und die Wahrscheinlichkeit, dass das Trauma im körperlichen Erleben wieder präsent wird.

2.4.2 Verlassenheit und Distanzierung

Kestenberg weist zudem darauf hin, dass *child survivors* mit Schwierigkeiten kämpfen, sich Menschen anzunähern, und Angst vor allzu großer mitmenschlicher Nähe haben. Da viele das Vertrauen zu ihren Eltern verloren haben, weil sie sie „verlassen“ hatten, lernten sie, sich durchzuschlagen und möglichst große Distanz zu anderen zu halten. Ihre Persönlichkeit ist von einem depressiven Kern bestimmt, der keinerlei intensive Freude zulassen könne. Heilsam könne es sein, sich das intensive Wohlgefühl ihrer frühen Kindheit zu vergegenwärtigen. In vielen Fällen könne das zu außergewöhnlichen Höchstleistungen antreiben. Oftmals könnten sich die Kinder aber an ihre frühe Kindheit und an glückliche Ereignisse aus der Zeit vor der Verfolgung nicht erinnern. Das Trauma, so scheint es, hat die Erinnerung an die früheren sensomotorischen lustvollen Erlebnisse ausgelöscht.²⁰

Child survivors, die niemals von ihren Eltern getrennt gewesen waren oder die nach dem Krieg ihre Eltern wieder gefunden hatten, haben ihre Wut häufig offen und unmittelbar auf ihre Eltern bezogen zum Ausdruck gebracht. Kestenberg weist darauf hin, dass Kinder die Abwertung ihrer Eltern während der Shoah miterleben mussten und dabei auch das Vertrauen in sie verloren. Sie vertritt die Auffassung, das Kind weise – im Falle einer Trennung von der Mutter – Störungen in der Entwicklung des Ichs und Über-Ichs auf.²¹ Manche seien dabei voller Zorn, weil ihre Eltern in der Verfolgungszeit die ihnen zugedachte Aufgabe als Versorger nicht erfüllt hatten. Sie hätten zugelassen, dass ihre Kinder hungerten und von den Verfolgern gequält worden seien. Sie hätten keinen Widerstand geleistet und ihre Kinder im Stich gelassen. Dabei übertrugen sie – im Sinne einer Identifikation mit dem Aggressor – ihren Glauben an die Omnipotenz ihrer Eltern auf die mächtigen Verfolger. Aufgrund dieser Identifikation neigten sie dazu, andere Menschen auszuschließen.²² So werde die Wut oft fehlgeleitet und richte sich auf die eigenen Eltern anstatt auf die Verfolger. Je jünger die Kinder gewesen seien, umso mehr lasteten sie ihren Eltern, besonders ihren Müttern, ihr ganzes Schicksal an. Viele wendeten die Wut infolge von Schuldgefühlen nach innen.

Kestenberg tritt auch entschieden der Annahme entgegen, die Kinder seien so jung gewesen, dass sie nicht sonderlich gelitten hätten, weil sie zu klein gewesen seien, um die Gefahren wirklich zu begreifen. Die Spiele etwa, die Kinder spielten, legten Zeugnis von der genauen Beobachtung der Kinder und von deren Wissen um das Wesen von Gefahren, Tod und Vernichtung ab. Kinder, so Kestenberg, seien während der traumatischen Zeit der Verfolgung nicht nur

¹⁸ Ders., Seelische Verfolgungsschäden bei Kindern in der Ersten und Zweiten Generation. In: Hartmann, Gertrud (Hg.): Spuren der Verfolgung, Seelische Auswirkungen des Holocaust auf die Opfer und ihre Kinder, Gerlingen 1992, 93-99.

¹⁹ Judith Kestenberg, Kinder von Überlebenden und überlebende Kinder. In: Stoffels, Hans (Hg.): Schicksale der Verfolgten, Berlin 1991, 115.

²⁰ Ebenda, 122.

²¹ Dies. und Ira Brenner, Children who survived the Holocaust. The Role and Routines in the Development of the Superego, in International Journal of Psycho-Analysis, 67, 1986, 311f.

²² Dies., Kinder von Überlebenden 1991, 120.

körperlich, sondern auch psychisch vorzeitig gereift. Menschen, die als Kinder die Verfolgung überlebt haben, leiden in sehr ausgeprägter Form unter dem Gefühl, nirgendwo hinzugehören.²³ Ihr Heimatland habe sie verworfen und ihre Religion sei ihnen eher eine Plage als eine Quelle des Stolzes. Diejenigen, die von ihren Eltern orthodox jüdisch erzogen worden waren, und denen die Liebe zu ihrem Erbe nicht abhanden gekommen war, erscheinen in ihrem späteren Erwachsenenleben am wenigsten verunsichert. Die Klage „ich gehöre zu niemandem“ findet sich oft bei Menschen, die als Kinder überlebt haben. Aus dem Gefühl heraus, anders als andere zu sein, versuchen sie besonders intensiv, sich nicht von den Kindern des Landes, in das sie eingewandert sind, zu unterscheiden.

2.4.3 Überleben und Anpassen

Kestenberg zufolge wurde Kindern, die die Shoah überlebt hatten, darüber hinaus von ihren Eltern und ihrer Familie ein „Auftrag“ erteilt: am Leben zu bleiben und den Bestand ihrer Familie und Ethnie zu sichern, indem sie selbst Kinder auf die Welt bringen. Jedes einzelne Kind, so Kestenberg, sei ein „Symbol des Sieges über Hitlers Völkermord“. Das Sprechen über die Verfolgung beginne daher meist erst, nachdem die Kinder erwachsen seien.

Viele unterlassen es auch, Wiedergutmachungsanträge an den deutschen Staat zu stellen, weil sie die Schuld nicht dort sehen, wo sie eigentlich liegt. Viele Eltern von *child survivors* wollten nicht, dass ihre Kinder durch die Art und Weise des dafür erforderlichen Interviews grausam und inhuman behandelt würden, und verzichteten stattdessen lieber auf das Einfordern einer Wiedergutmachung.²⁴

2.5 Robert Krell

Waren die bisher genannten Forscherinnen und Forscher zumeist selbst erwachsene Überlebende der Shoah, so beginnt nun mit Robert Krell ein *child survivor* selbst über dieses Thema zu arbeiten. In den 1980er Jahren konstituierten sich die *child survivors* auch selbst als eigene Gruppe von Überlebenden und entdeckten, dass das bisherige Schweigen und ein (bis dahin) oftmals vereinzelt Alltagsleben eine Gemeinsamkeit mit anderen *child survivors* darstellten. Krell formuliert die Verschwiegenheit und Unauffälligkeit mit folgenden Worten:

„Da das Überleben von der schnellen Anpassung des Kindes an die Laune des betreuenden Erwachsenen abhängig war, wurden die meisten Qualen in Schweigen und Angst ausgehalten und die Kinder blieben nach dem Krieg meistens still und versteckt. Um ein erfolgreicher und normaler Israeli, Amerikaner, Kanadier oder Australier zu werden, war es ungünstig, als Überlebender bekannt zu sein, weil die Menschen annahmen, dass ein Überlebender irreparabel beschädigt sei.“²⁵

Die (Selbst-)Entdeckung als *child survivor* erläutert Krell anhand seiner persönlichen Geschichte. Er schildert, dass die Shoah zwar ein fester Bestandteil seiner Selbstwahrnehmung war, ihn der Begriff *child survivor* jedoch erstmals zu dem Zeitpunkt berührte, als er 1981 am ersten Weltkongress der Shoah-Überlebenden in Jerusalem teilnahm. Eine Rede von Rabbiner Israel Meir Lau, Oberrabbiner in Natania, enthielt die Worte: „Ich denke, ich bin der jüngste Überlebende aus Buchenwald (acht Jahre alt bei der Befreiung). Mein Vater war der letzte Rabbiner von Piotrkow in Polen; er wurde in Treblinka umgebracht. Meine Mutter verhungerte im Konzentrationslager Ravensbrück.“²⁶ Und Krell fährt fort: „Genau in diesem Moment begriff ich, dass ich 1945 fünf [...] und Rabbiner Lau acht Jahre alt war. Wir waren Kinder! Die Kinder der Shoah! Es handelte sich nicht um die zweite Generation, welche im Buch *Die Kinder des Holocaust* von Helen Epstein beschrieben wird. Es gab uns bereits.“²⁷ Robert Krell schildert, wie er daraufhin 1983 begann, in Los Angeles eine *child-survivor*-Gruppe zu gründen. Es galt dabei auch eine Stigmatisierung zu überwinden, die – mit der pathologisierenden Zuschreibung von *child survivors* als per se „beschädigt“ – alle Kinderüberlebenden diffamierte: „Ein überlebender Freund“, so Krell, „erinnert sich, dort [bei der Befreiung als *child survivor* in Buchenwald] von einem Psychiater angesprochen worden zu sein. Es wurde ihnen gesagt, dass sie zu stark beschädigt seien, um sich jemals wieder zu erholen und als nützliches menschliches Wesen zu funktionieren.“²⁸

In den frühen 1980ern definierte Krell *child survivor* als Kinder, die bei der Befreiung 16 Jahre alt oder jünger waren. Bezüglich der Altersgrenze der Gruppe der *child survivors* gab es unterschiedliche Ansichten. Krell sieht sie bei 16 Jahren, Keilson bei 18 Jahren und Lempp sogar bei 21 Jahren. Krell begründet dies Altergrenze damit, dass der Lebensweg derjenigen unter 16 entscheidend anders verlief als der über 16-Jährigen. Diese Definition der Altersgrenze hat sich im Folgenden auch durchgesetzt. Die älteren Jugendlichen waren eher in der Lage, unabhängig zu sein, heirateten häufig in den DP-Lagern, zogen meistens in große Städte, wo sie Arbeit suchten, und lebten in der Nähe von anderen Überlebenden der Shoah, was ihnen erlaubte, wieder einen Sinn für Gemeinschaft zu entwickeln. *Child survivors* hingegen wurden in einem besonders verletzbareren Alter von ihren Eltern getrennt, und ihr Anteil am eigenen Überleben war weniger aktiv, so dass sie später auch nicht so stolz darauf sein konnten wie die Erwachsenen. Auf diese Weise betont Krell auch nochmals die Phase nach der Befreiung: Die Umstände des Lebens nach der Shoah spielen eine gewichtige Rolle bei Langzeitschäden infolge einer Traumatisierung.

Die ganz individuellen Lebensumstände sollen und müssen bei der Bewertung des traumatischen Erlebens Berücksichtigung finden: So ist das Herkunftsland eines

²³ Dies. und Milton Kestenberg, *The Sense of Belonging and Altruism in Children Who Survived the Holocaust*, in *Psychoanalytical Review*, 75, 1988, 533-560.

²⁴ Dies. und Eva Fogelman, *Children during the Nazi reign*, Westport 1994.

²⁵ Robert Krell, *Die nicht anerkannten und verborgenen Überlebenden der Shoa*. In: Rossberg, Alexandra.u. Larsen, Johan (Hg.): *Das Schweigen brechen*. Frankfurt a.M. 2003, 133.

²⁶ Ebenda, 132.

²⁷ Ebenda.

²⁸ Ders., *Reflexionen eines Child Survivors/Psychiaters*, 143.

child survivors unter Umständen entscheidend für Beginn und Dauer der Traumatisierung: „Ein Kind, das 1929 in Polen geboren wurde, hätte zehn Lebensjahre vor dem Holocaust gehabt und sechs Jahre, um während des Holocaust zu überleben, während ein Kind, das 1929 in Ungarn geboren wurde, 15 Jahre relative Ruhe hatte, bis zur Katastrophe 1944. Die älteren Kinder können sich an ihre Familien, Traditionen und Freunde erinnern“.²⁹ Das Wissen um die Umstände, unter denen er / sie zum ersten Mal die überwältigende Katastrophe der Shoah erlebte, trägt viel zum Verstehen bei.

Exkurs: Traumaschema (Fischer & Riedesser)

Das Trauma, so konzipieren es Fischer & Riedesser,³⁰ ist im Individuum als Schema repräsentiert: als unterbrochener Handlungsansatz mit Kampf- bzw. Fluchttendenz, oft in Verbindung mit fragmentierten Sinneseindrücken und Erinnerungsbildern, die als Traumaschema die traumatische Erfahrung im Gedächtnis speichern. Das Traumaschema und der zugeordnete Erlebniszustand zeichnen sich demnach durch überschießende Emotionen bei gleichzeitiger Schwäche der kognitiven Verarbeitungsmöglichkeit aus. Das Traumaschema drängt zur Wiederholung, wobei die Reproduktion des Traumaschemas allerdings eine Retraumatisierung bedeuten würde. Das Traumaschema muss also durch eine Gegenkraft dynamisch ausbalanciert werden, die als traumakompensatorisches Schema bezeichnet wird. Die betroffene Person entwickelt Hypothesen darüber, wie es zur Traumatisierung kam und was geschehen muss, um eine Wiederholung des Traumas oder anderweitige Traumatisierung zu vermeiden. Es werden also Konsequenzen aus der traumatischen Erfahrung gezogen und kompensatorische Gegenmaßnahmen entworfen, die der Kontrolle des Schreckens dienen und zukünftige Wiederholungen vermeiden sollen. Diese Reaktion beruht gleichsam auf einer Art naiver Traumatheorie, die durch die jeweilige kognitive Entwicklungsstufe bestimmt ist – bei Kindheitstraumata wird das traumakompensatorische Schema auf dem entsprechenden Niveau der kognitiven Entwicklung und der dadurch gegebenen Begrenzung ausgearbeitet. Daher sind das Schema und seine Komponenten oft durch eine magisch anmutende egozentrische Denkweise bestimmt, die dem frühen kognitiven Egozentrismus des Kindes entspricht. Das psychotraumatische Symptom erweist sich als – höchst fragiler – Kompromiss zwischen diesen beiden gegenläufigen Kraftfeldern – dem Traumaschema sowie dem traumakompensatorischen Schema. Demzufolge ist weniger die objektive Intensität der traumatischen Faktoren entscheidend als vielmehr die qualitative Eigenheit einer Bedrohung, die sich entweder an ein schon bestehendes Traumaschema anschließt oder zentrale Momente eines Lebensentwurfes oder auch erworbene

traumakompensatorische Strategien jäh in Frage stellt. Ein übergreifendes pathogenetisches Moment des Traumas aus Sicht dieser Traumadefinition ist die dauerhafte Erschütterung des eigenen Selbst- und Weltverständnisses. Als Reaktion auf das lebensbedrohende Ereignis folgen charakteristische – bipolare – Verhaltens- und Erlebensweisen, bei denen sich permanent die Zustände von Intrusion (d.h. wiederkehrenden Erinnerungsbildern, häufig in Form von Alpträumen oder flash-backs) und Verleugnung (im Englischen wird dafür sehr zutreffend der Begriff *psychic numbing* verwendet, der eine Art emotionaler „Dumpfheit“ oder Anästhesie bezeichnet) abwechseln. Die wiederkehrenden Erinnerungsbilder haben für die Betroffenen oft den Charakter einer unmittelbaren Wiederholung der traumatischen Situation. So kann nicht mehr zwischen Gegenwart und Vergangenheit unterschieden werden. Auch kann der panikartige Erregungszustand fortbestehen. Dann wird der Betroffene dauerhaft von unkontrollierbarer Erregung überflutet. Im Gegensatz zur Überflutung können auch sog. ‚frozen states‘ auftreten, das heißt eine Verfestigung der Verleugnungs- bzw. Vermeidungsphase, durch die eingefrorene Erlebniszustände mit psychovegetativen und psychosomatischen Reaktionen fixiert werden.³¹

2.6 Suzanne Kaplan

2.6.1 Zur Studie

Suzanne Kaplan ist eine schwedische Psychoanalytikerin für Kinder und Erwachsene und befasste sich sowohl mit überlebenden Kindern der Shoah als auch des Völkermords in Ruanda. Aus einer Vielzahl von Interviews entwickelte sie interessante theoretische Konzepte, um den Umgang mit extremtraumatischen Erfahrungen zu beschreiben.³²

2.6.2 Theoriebausteine

Fünf Begriffe fungieren in Kaplans Traumatheorie als tragende Pfeiler. Das Aufwachsen nach dem Völkermord ist von dem beeinflusst, was Kaplan als „Generationszerfall“ bezeichnet. Diesem Zerfall oder Bruch (*generational collapse*) steht die Generationenbindung (*generational linking*) gegenüber – beide bilden eine Grundlage für die Verarbeitung des Erlebten. Kinder, die die Shoah überlebt haben, haben nicht nur die Verbindung zu ihren Eltern und die Erfahrung der eigenen Kindheit verloren, sondern auch den Kontakt zu ihrer eigenen Familiengeschichte. Generationenzerfall bedeutet demnach eine Wegbewegung von der kulturellen Sphäre, zu der man gehört. Begleitet wird sie von Brüchen in Denkprozessen und dem Erleben des Selbst.

²⁹ Ders., Children who Survived the Holocaust: Reflections of a child survivor. In: Echoes of the Holocaust, Bd. 4, 1995. Zugriff am 20.01.11: <http://www.holocaustechoes.com/4krell.html>

³⁰ Fischer & Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie, 101f.

³¹ Ebenda, 128

³² Suzanne Kaplan, Kindheit im Schatten von Völkermord: Massives seelisches Trauma in der Kindheit und seine Folgen, Nierstein 2005.

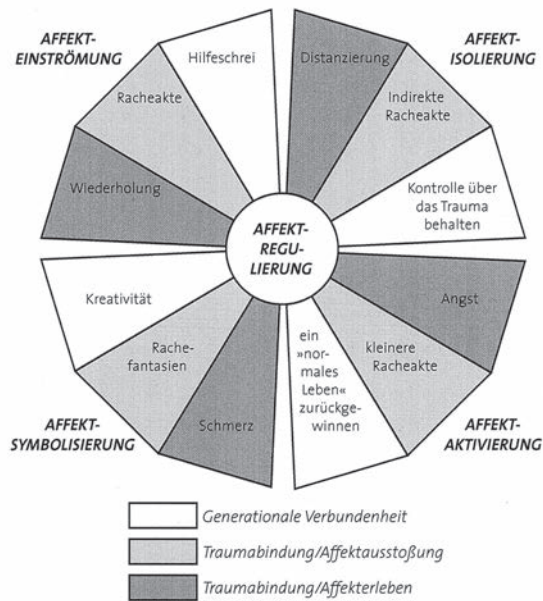
Affektregulierung					
Verbindung	Affektausstoßung	A Affekt- einströmung	B Affektisolierung	C Affektaktivierung	D Affekt- symbolisierung
Traumabindung	Transportierte Verbindung	A1 Affekt als Verbin- dung	B1 Eingekapselte Verbindung	C1	D1
(Perforieren)	Perzeption des Traumas – kann zu <i>Rache</i> führen	Perzeption des Traumas – Re- traumatisierung, die sich in Kör- persprache und <i>Wiederholung</i> zeigen kann	Perzeption des Traumas – Re- traumatisierung, die zu Somatisie- rung und <i>Distan- zierung</i> führen kann	Repräsentation des Traumas/ver- bal ausgedrückt – Perforierung in geringem Aus- maß – kann zu (optimaler) <i>Angst</i> führen	Repräsentation des Traumas/ver- bal ausgedrückt – Perforierung in geringem Aus- maß – kann zu (aushaltbarem) <i>Schmerz</i> führen
Generationale Verbundenheit		A2	B2	C2 Normalisierung als Verbindung	D2 Metapher als Verbindung
(Raumschaffen)	Illusionären Raum schaffen – Fordern von per- sönlicher Rehabi- litation – <i>Pseudo- normalisierung</i>	Geringes Raum- schaffen – <i>Hilferuf</i>	Teilweises Raum- schaffen – <i>Kon- trolle</i> über das Trauma <i>erlangen</i>	Das Raumschaf- fen erweitern – kann zum <i>Zu- rückgewinnen</i> eines »normalen« Lebens führen	Bewegliches Raumschaffen – kann zu <i>Kreativi- tät</i> führen

Tabelle 8.1: Affektdiagramm – Hypothesen über die Affektregulierung in Prozessen der Traumabindung und der Generationalen Verbundenheit in jedem Individuum (nach Kaplan 2005a, S. 176, © Iatros)

Generationenzerfall und Generationenbindung bilden die Basis für die Entwicklung der von Kaplan vorgestellten Theorie. Innerhalb dieses Bezugssystems entwickelt sie zwei Kernideen, die sie mit dem Begriff der „Perforation“ (*perforation*) und der „Er-schaffung von Raum“ (*space creation*) beschreibt. In Anlehnung an Freuds Traumatheorie spricht Kaplan von einem psychischen Schutzschild, der durch traumatische Sinneswahrnehmungen perforiert wird. Die psychische Membran wird im konkreten wie übertragenen Sinne „durchlöchert“, wenn die Sinne durchdrungen werden (etwas Zerstörerisches verschafft sich gewaltsam Eintritt, beispielsweise eine furchterregende Stimme), wenn etwas auseinander gerissen wird (etwas wird weggenommen und hinterlässt ein Vakuum: Familienmitglieder, bedeutsame Objekte oder Alltagsge-wohnheiten) oder wenn Körper gebrandmarkt werden (im konkreten wie im symbolischen Sinne, beispiels-weise bei Vergewaltigungen, aber auch beim Zwang, einen Davidstern tragen zu müssen). Diese sensorischen Wahrnehmungen hinterlassen im buchstäblichen Sinne „Ein-Drücke“, Eingravierungen in der Persönlichkeit. Das Konzept des „Raumschaffens“ nimmt Bezug auf einen psychischen Raum, den sich ein Individuum – auch schon im Kindesalter – gemäß seinen Bedürfnissen her-stellt. Das kann sich auch auf einen realen Raum beziehen, der etwa als Versteck dient. Es kann sich jedoch auch um

symbolische Räume handeln: Unter den Bedingungen, die während eines Völkermords herrschen, sind dies etwa Tagtraum-Erlebnisse oder Fantasiereisen (vgl. Roberto Benignis Film *Das Leben ist schön*). Auf diese Weise konnten sich Kinder und Erwachsene aus der furchtbaren Situation „hinausbewegen“ und für einen Moment „lebendig“ fühlen. Das Raumschaffen stellt einen kreativen Prozess dar, der selbst in traumatischen Situationen spontan aus existenziellen Bedürfnissen heraus entsteht. In der Auswertung der Interviews mit Betroffenen achtete Kaplan insbesondere auf den emotionalen Ausdruck. Wie etwas gesagt wurde, empfand sie als genauso wichtig wie das, was gesagt wurde. Auf der Grundlage dieser beobachteten Erinnerungsfragmente und Affekte entwickel-te sie Hypothesen zur Affektregulierung, die innerhalb des Kernprozesses des Generationenzerfalls im Mittelpunkt stehen. Auf dieser Basis sucht sie die psychischen Folgen der Prozesse der Perforierung und des Raumschaffens zu beschreiben. In einem dialektischen Modell entwickelt sie zwei gegenläufige Kräfte: Die eine nennt sie „Traumabindung“ (vgl. den oberen Teil der Abb.2).

Dies bedeutet, dass traumatische Erfahrungen assozi-ativ (in den Interviews und im Alltag) leicht „wieder-erweckt“ werden können. Die *child survivors* scheinen mit einer Art Verdopplung (einem vertikalen Riss) im Selbst zu leben. Vergangenheit und Gegenwart existieren nebeneinander ohne assoziative Verbindung.



Grafik 8.1: Der »Affektpropeller« als Instrument zur Analyse der Affektregulierung bei einzelnen Personen (nach Kaplan 2005)

Das Trauma, so Kaplan, bleibt in einem Teil des Selbst präsent, während das normale Leben scheinbar unverseht weitergeht. Im Schaubild findet sich dieser Modus bei Affekteinströmung (A) und bei der Affektisolierung wieder. (Im Falle A ist ein Affekt in der Interaktion spürbar, d.h. er ist mit dem Trauma verbunden, im Falle B nicht, da ist er isoliert, nicht spürbar; Fall A entspricht der Intrusion, Fall B der Verleugnung, dem *numbing*) Die Gegenkraft zur Traumabindung nennt Kaplan »generationale Verbundenheit« (vgl. den untereren Teil des Schaubilds). Sie ist Ergebnis erfolgreichen Raumschaffens. Das bedeutet, dass die Betroffenen ihre Aufmerksamkeit auf Personen und Objekte in ihrer Vergangenheit richten und dabei das Gefühl gestärkt wird, in Bezüge eingebunden zu sein, »dazu zu gehören«. Wie oben geschildert, ist dies Gefühl, nicht zugehörig zu sein, gerade ein oft genannter Mangel, unter dem *child survivors* leiden. Durch den Prozess des Raumschaffens können generationale Bezüge wieder hergestellt werden. Dominiert die Traumabindung, so ist zum Beispiel eine Affekteinströmung (A) zu beobachten (in unterschiedlicher Weise, es kann ein Angstgefühl, ein Schrecken ebenso sein wie Weinen). Die Möglichkeit des Raumschaffens ist in solchen Zuständen sehr begrenzt, die Affekte sind in der Regel zu stark (A2). Affektisolierung (B) artikuliert sich etwa im Interview in distanzierter Sprechweise. Eine solche Distanz kann aber auch im Sinne des Modus der Generationalen Verbundenheit als erworbene Kontrolle über das Trauma verstanden werden (Fall B2). Vollständig eingekapselte Affekte als Konsequenz bei chronischen Zuständen, so mutmaßt Kaplan, können sich als körperliche Symptome manifestieren (B1).

In den hinteren beiden Spalten werden die Prozesse der Affektaktivierung (C) und der Affektsymbolisierung (D) genannt. Dabei handelt es sich um gelungenere Verarbeitungsformen. Das Trauma fügt sich gewissermaßen in eine Zeitperspektive des eigenen Lebensprozesses und ist nicht mehr nur abgespalten und in einem abgeschlossenen Teil des Selbst aufbewahrt. Das führt dazu, dass sich die betroffene Person lebendig und kreativ fühlt. Aus Kaplans Sicht ist die Affektregulierung von A bis D, also von einem niedrigerem zu einem höheren Integrationslevel, zwar eine ideale Entwicklung, empirisch aber nur sehr schwer umsetzbar. Vermutlich liegt wohl eher ein Oszillieren zwischen Affekteinströmung und Affektsymbolisierung vor.

Um den Affektpropeller von Kaplan (vgl. Abb.3) zu verstehen ist es wichtig, die besondere Rolle nachzuvollziehen, die Kaplan der Rache als Affektentleerung zuschreibt. Diese fungiert als eine Form der Traumabindung (neben den vorher beschriebenen traumabezogenen Affekten). Mit Hilfe des Affektpropellers möchte Kaplan die verschiedenen Wege der Rache als Trauma-Affekt-Ausstoßung aufzeigen. Der Propeller soll – auch von der Form her – dazu dienen, den dynamischen Prozess zu verstehen, der in jedem Individuum bei der Affektregulierung stattfindet. Der Propeller besteht aus »Blättern«, die sich um den zentralen Punkt der »Affektregulierung« drehen. Jedes Blatt besteht aus drei verschiedenen Formen von Verbindungsprozessen. Auf jedem Blatt gibt es zwei Formen der Traumabindung: Eine hat mit den Vorgängen des Abreagierens zu tun (wie beschrieben, mit der Rache als Affektentleerung), die zweite befasst sich mit den erlebten traumabezogenen Affekten, und die dritte ist eher die konstruktive Generationale Verbundenheit. Manchmal herrscht die eine Affektkategorie vor, manchmal die andere, und bisweilen kommt es zu Mischformen. Dieses Modell beschreibt sehr angemessen die unterschiedlichen Zustände extrem traumatisierter Personen, die sich in schneller Abfolge immer wieder verändern können. Es verhält sich also nicht so, dass ein bestimmtes Niveau der Verarbeitung erreicht und gehalten werden kann. Vielmehr kann auf eine hohe psychische Integrationsform eine aufs Neue überwältigende Affekteinströmung folgen. Das könne man in Interaktionen mit *child survivors* immer wieder erleben und müsse bei der professionellen Arbeit mit dieser Gruppe berücksichtigt werden.

3. Schluss

Betrachtet man die Forschungen zu den überlebenden Kindern im Überblick, so lässt sich feststellen, dass sich der Fokus von der Pathologisierung hin zur Frage nach der Verarbeitung der Traumatisierung verschoben hat. Während die ersten Studien – von Anna Freud einmal abgesehen – im Zusammenhang mit den Entschädigungsverfahren entstanden, in denen ein Gesundheitsschaden nachgewiesen werden musste, befassen sich die neueren Untersuchungen zunehmend mit der Frage, wie die *child survivors* mit ihren extremtraumatischen Erfahrungen leben konnten. Dabei stellte sich heraus, dass sie keineswegs eine einheitliche Gruppe bilden. William Niederland hat Ende der 1960er Jahre das sogenannte „Überlebenden-Syndrom“ diagnostiziert, um die Spätfolgen der Shoah zu beschreiben. Zu Recht ist dieser Ansatz einer fundierten Kritik unterzogen worden. So wenig wie es ein „Überlebenden-Syndrom“ gibt, so wenig ist es sinnvoll, von einem „*child survivor*-Syndrom“ zu sprechen. All dies sind unzulässige Verallgemeinerungen und Vereinheitlichungen. Studien über Kinderüberlebende im Alter zeigen vielmehr, wie unterschiedlich sich der Umgang mit der extremen Traumatisierung über die Lebensspanne hinweg entwickelt hat. Die Traumatisierung stellt dabei einen Prozess dar, der lebenslang andauert und sich dabei fortlaufend verändert. Jede/r Überlebende entwickelt im Laufe ihres/seines Lebens eine Vielzahl von Traumaschemata und traumakompensatorischen Schemata, die jeweils von den unterschiedlichen individuellen Lebenswegen abhängen, etwa davon, ob jemand eine eigene Familie gegründet hat, sich eine berufliche Laufbahn aufbauen konnte oder Unterstützung durch Freunde und Angehörige fand. Wenn gleich die traumatischen Erfahrungen psychisch nicht integriert oder vollständig verarbeitet werden können, sondern immer wieder virulent werden, zeigt sich in den Studien die psychische Widerstandsfähigkeit von Kinderüberlebenden auf beeindruckende Weise. An ihnen wird sichtbar, dass es gelingen konnte, der unvorstellbaren Zerstörung und Vernichtung etwas entgegen zu setzen.

Literatur

- Burlingham, Dorothy und Freud, Anna: Kriegskinder. Jahresbericht des Kriegskinderheims Hampstead Nurseries, London 1949.
- Dasberg, Haim: Adult Child Survivor Syndrome: On Deprived Childhoods of Aging Holocaust Survivors, in: Israel Journal of Psychiatry & Related Sciences 38 / 1 (2001), 13-26.
- Freud, Anna und Dann, Sophie: An Experiment in Group Upbringing, In: Psychoanalytic Study of the Child 6 (1951), 127-168.
- Gordon, Vicki: The Experience of being a Hidden Child Survivor of the Holocaust, Melbourne 2002.
- Kaplan, Suzanne: Kindheit im Schatten von Völkermord: Massives seelisches Trauma in der Kindheit und seine Folgen, Nierstein 2005.
- Keilson, Hans: Sequentielle Traumatisierung bei Kindern. Untersuchung zum Schicksal jüdischer Kriegswaisen, Stuttgart 1979.
- Keilson, Hans: Sequentielle Traumatisierung bei Kindern durch man-made-disaster. In: Endres, Manfred u. Biermann, Gerd (Hg.): Traumatisierung in Kindheit und Jugend. München 1998, 44-58.
- Kestenber, Judith und Brenner, Ira: Children who survived the Holocaust. The Role and Routines in the Development of the Superego, in: International Journal of Psycho-Analysis, 67, 1986, 309-316.
- Kestenber, Judith und Fogelman, Eva: Children during the Nazi Reign, Westport 1994.
- Kestenber, Judith und Kestenber, Milton: The Sense of Belonging and Altruism in Children Who Survived the Holocaust, in: Psychoanalytical Review, 75, 1988, 533-560.
- Kestenber, Judith: Kinder von Überlebenden und überlebende Kinder. In: Stoffels, Hans (Hg.): Schicksale der Verfolgten. Psychische und somatische Auswirkungen von Terrorherrschaft, Berlin 1991, 110-126.
- Krell, Robert: Children who Survived the Holocaust: Reflections of a child survivor. In: Echoes of the Holocaust, Bd. 4, 1995. Zugriff am 20.01.11: <http://www.holocaustechoes.com/4krell.html>
- Krell, Robert: Die nicht anerkannten und verborgenen Überlebenden der Shoa. In: Rossberg, Alexandra.u. Larsen, Johan (Hg.): Das Schweigen brechen. Frankfurt am Main 2003, 129-136.
- Krell, Robert: Reflexionen eines Child Survivors/Psychiaters. Über Kinder, die den Holocaust überlebten, und die Psychiatrie nach 1945. In: Rossberg, Alexandra.u. Larsen, Johan (Hg.): Das Schweigen brechen. Frankfurt am Main 2003, 137-144.
- Fischer, Gottfried u. Riedesser, Peter (2003): Lehrbuch der Psychotraumatologie, 3. aktualisierte und erweiterte Auflage, München und Basel 2003.
- Lempp, Reinhart: Seelische Verfolgungsschäden bei Kindern in der Ersten und Zweiten Generation. In: Hartmann, Gertrud (Hg.): Spuren der Verfolgung. Seelische Auswirkungen des Holocaust auf die Opfer und Ihre Kinder, Gerlingen 1992, 93-99.
- Lempp, Reinhart: Extrembelastung im Kindes- und Jugendalter. Über psychosoziale Spätfolgen nach nationalsozialistischer Verfolgung im Kindes- und Jugendalter anhand von Aktengutachten, Bern 1979.
- Laplanche, Jean und Pontalis, Jean-Bertrand: Das Vokabular der Psychoanalyse, Frankfurt am Main 1967, 514.
- Moskovitz, Sarah: Love Despite Hate: Child Survivors of the Holocaust and Their Adult Lives, New York 1983.
- Shengold, Leonard: Soul Murder: Seelenmord – die Auswirkungen von Missbrauch und Vernachlässigung in der Kindheit, Frankfurt am Main 1995.
- Vyssoki, David; Tauber, Traude; Strusievici, Stefan u. Schürmann-Emanuel, Alexander: Trauma bei den Opfern der NS-Verfolgung. In: Friedmann, Alexander et al. (Hg.): Psychotrauma. Die posttraumatische Belastungsstörung. Wien, New York 2004, 197-212.

Дети Шоа

Концепции экстремальной травматизации и детском и подростковом возрасте

Группа выживших детей, которым удалось пережить годы Шоа, представляет собой как с научной точки зрения, так и с позиции прав на получение компенсаций группу, часто не принимающуюся в расчет. Причиной этого вначале было утверждение, что эти люди были слишком молоды, чтобы помнить о зверствах нацистов и затем «страдать» от этого. То, что это совершенно не соответствует действительности, показали исследования уже в 70-ые годы. Выяснилось, что именно в молодом возрасте преследования оказывали особенно сильное влияние на тяжесть травматизации.¹

В своей статье я хочу рассказать о некоторых вехах в обследованиях выживших детей. Я начну с некоторых соображений о концепции травмы, а затем кратко представлю классические работы Анны Фрейд, Ганса Кейлсона, Рейнхарта Лемппа, Джудит Кестенберг и Роберта Крелла. В настоящее время самую передовую теорию травмы выживших детей представила шведский психоаналитик Сюзан Каплан. Перед тем, как я о ней расскажу, я коснусь некоторых новых концепций, которые были разработаны в рамках общих исследования травмы, но также подходят и для понимания терапии травмы выживших детей.

1. Концепции травмы

Концепция первоначальной травмы Зигмунда Фрейда основана на его энергетической модели психического аппарата. Она может быть наглядно описана в виде метафоры «живой пузырь». Пузырь защищен от внешних раздражителей защитной оболочкой, которая может пропустить только допустимые, поддающиеся обработке количества энергии. «Если в этой оболочке происходит обширный прорыв, то тогда мы имеем случай травмы».² Но даже превышение допустимого уровня дефицитов стимуляции, как это присутствует в депривации, действует травмирующе и тормозит нормальное развитие.³

Готфрид Фишер и Питер Ридессер концептуализировали травму как относительный термин. Она представляется не только как результат внешних событий (например, война, авария или землетрясение), но прежде всего описывается как «жизненный опыт расхождения между угрожающими

факторами ситуации и индивидуальными стратегиями выживания», которая «сопровождается постоянным чувствами беспомощности и беззащитной капитуляции и тем самым вызывает нарушение понимания самого себя и окружающего мира».⁴ Последствиями являются вначале опыт невозможности влиять ни на что и ощущение сдачи на милость победителя. Такой реляционный подход имеет то преимущество, что он описывает травму не как статическое событие, а процесс. Мы можем его наглядно проиллюстрировать (см. Рисунок 1).

2. Значительные вклады в комплекс тем о выживших после Шоа детях

Я очень кратко хочу представить самые важные исследования по выжившим после Шоа детям в хронологическом порядке.

2.1. Анна Фрейд

Уже во время Второй мировой войны Анна Фрейд и Дороти Берлингэм (1949) обследовали детей, которые потеряли своих родителей и были помещены в детский дом (Hampstead Nurseries). Они задали себе вопрос, как события войны - такие, как (именно) воздушные налеты, ночи, проведенные в бомбоубежищах, разлучение с родителями и эвакуация подействовали на них физически и психически.⁵ Несколько лет спустя Анна Фрейд опубликовала результаты исследования по выжившим детям, проведенного совместно с Софи Дани. В данном исследовании речь шла об обследовании шестерых детей в возрасте от трех до четырех лет, которые пережили концлагерь Терезин, а их родители были убиты, когда они были в возрасте от шести до двенадцати месяцев. Став сиротами в таком раннем возрасте, у них не могло быть абсолютно никакой памяти об их прошлом. Авторы описали следующую симптоматику: дети исключительно чувствительны, беспокойны, агрессивны и с ними крайне трудно общаться. У них наблюдалось повышенное проявление аутоэротизма и у некоторых из них были отмечены начинающиеся невротические симптомы. Тем не менее, они еще не испытывали никаких дефицитов, не были правонарушителями или психотичными.⁶

¹ Haim Dasberg, Adult Child Survivor Syndrome: On Deprived Childhoods of Aging Holocaust Survivors, in *Israel Journal of Psychiatry & Related Sciences* 38 / 1 (2001), 13-26.

² Jean Laplanche und Jean-Bertrand Pontalis, *Das Vokabular der Psychoanalyse*, Frankfurt am Main 1967, 514.

³ Leonard Shengold, *Soul Murder: Seelenmord – die Auswirkungen von Missbrauch und Vernachlässigung in der Kindheit*, Frankfurt am Main 1995, 15f.

⁴ Gottfried Fischer und Peter Riedesser, *Lehrbuch der Psychotraumatologie*, 3. Aktualisierte und erweiterte Auflage, München und Basel 2003, 82.

⁵ Dorothy Burlingham und Anna Freud, *Kriegskinder. Jahresbericht des Kriegskinderheims Hampstead Nurseries*, London 1949.

⁶ Anna Freud und Sophie Dann, *An Experiment in Group Upbringing*, in *Psychoanalytic Study of the Child* 6 (1951), 127-168.

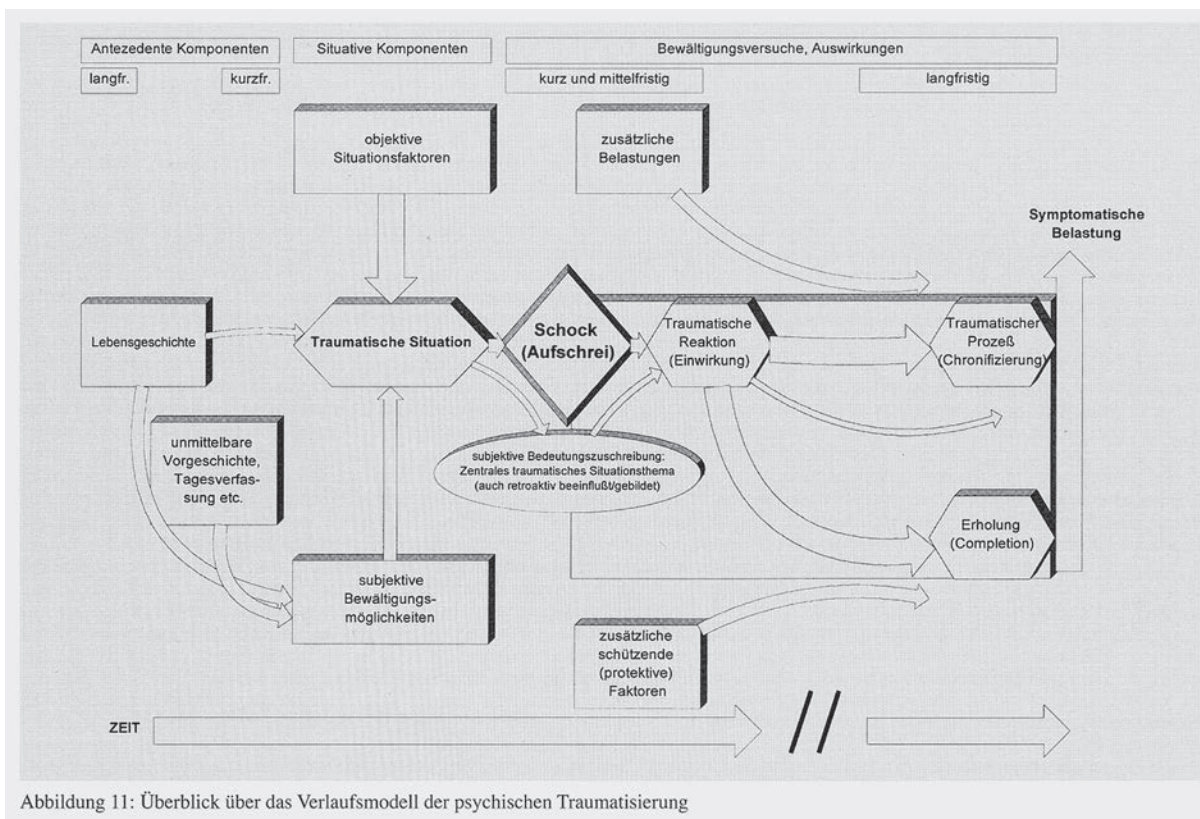


Abbildung 11: Überblick über das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung

Бо́лее тридцати лет спустя некоторые из этих бывших детей были вновь обследованы. Результаты были опубликованы в работе Москoviца (1983).⁷ В исследовании указывалось, что 24 выживших ребенка воспитывались в благополучных, любящих семьях, впоследствии они сами создали семьи и вырастили своих детей. Однако, как выяснилось из интервью, у этих уже взрослых выживших детей все еще было чувство отчужденности, они страдали от трагической потери своих близких, которые были убиты во время Шоа. Эти воспоминания об очень раннем опыте разлуки стали у них обнаруживаться, когда изменилась их (географическая) среда.⁸

2.2 Ханс Кейлсон

2.2.1 Об исследовании

Единственное сравнительно систематическое исследование выживших после Шоа детей принадлежит Хансу Кейлсону, который исследовал возрастные травмы в группе еврейских сирот в Нидерландах (1979).⁹ Он работал со случайной выборкой из 204 выживших детей, всего группа состояла из 2040 сирот. Большинство из них пережили войну в подполье, меньшая группа состояла из тех, кто пережил концентрационные лагеря. Первый осмотр этих детей состоялся сразу же после освобождения.

Через 25 лет эта группа вновь была обследована, при этом Кейлсон преследовал вопрос о связи между психотравмирующей ситуацией и постоянными изменениями личности у детей разных возрастных групп. Были проверены две гипотезы: во-первых, возник вопрос о возрастной травматизации, а во-вторых, вопрос о поздних последствиях травмы, в частности, относительно тяжести травмы в детстве, а также тяжести расстройства личности уже во взрослом возрасте.¹⁰

Выжившие дети с самого начала часто выражали мнение о том, что им пришлось пропустить важные шаги развития, и это свидетельствовало, что при травматизации на ранних стадиях развития ребенка может происходить фиксация. Кейлсон обращает внимание на то, что, что в отличие от работ по взрослым, преследовавшихся во время Шоа, когда это рассматривалось под углом вторжения уже в зрелую личность, у выживших детей экстремальная ситуация нагрузки преследования была неотъемлемой частью их развития в детском возрасте.

2.2.2. Травматические цепочки

Кейлсон констатирует в своей модели переход «экстремальной ситуации нагрузки» в историческом развитии и различает три фазы преследования:

⁷ Sarah Moskowitz, Love Despite Hate: Child Survivors of the Holocaust and Their Adult Lives, New York 1983.

⁸ Vicki Gordon, The experience of being a hidden child survivor of the Holocaust, Melbourne 2002.

⁹ Hans Keilson, Sequentielle Traumatisierung bei Kindern. Untersuchung zum Schicksal jüdischer Kriegswaisen, Stuttgart 1979.

¹⁰ Ders., Sequentielle Traumatisierung bei Kindern durch man-made-disaster. In: Endres, Manfred u. Biermann, Gerd (Hg.): Traumatisierung in Kindheit und Jugend. München 1998, S. 49.

а) Первый этап он называет «фазой шока» в связи с часто идеализируемым детством. Здесь речь идет о предвоенных годах, либо периоде в начале войны, когда ребенок был еще с родителями, но уже столкнулся с определенными ограничениями личной свободы и антисемитизмом (например, ношение желтой звезды и т.д.). Эта фаза может быть объединена с образом «разрушения («крошения», краха) правовой защиты».¹¹

б) Вторым этапом можно определить период преследований («фаза воздействия») с 1939 по 1945 год (либо, для немецких евреев, с 1933 по 1945), как период, который принес с собой исключительно травматический опыт. В обследовании группы еврейских сирот войны в Нидерландах, Кейлсоном были выделены в основном две формы преследования - жизнь в подполье или интернирование в концентрационный лагерь или лагерь смерти. Эта фаза начиналась после отделения ребенка от семьи. Выживание ребенка теперь зависело от других людей, в то же время у детей это был тот же самый ужасный опыт, как и у взрослых.

в) Третий этап - период после войны, как существование в тени пережитого преследования со всеми сложностями попытки реинтеграции - Кейлсон называет этот этап «фазой восстановления» и определяет его, как самый важный этап в лечении травм.¹² Как у биологических, так и у приемных родителей вновь наблюдалась безэмоциональная интеракция, зачастую и со стороны детей. Дети, чьи биологические родители выжили, часто не узнавали их при повторной встрече.¹³ Другие дети, родители которых не выжили, столкнулись с опытом массивным потерь. Для всех значило одно - нужно было как можно быстрее адаптироваться к хаотическим обстоятельствам послевоенного периода, или даже - в случае эмиграции - попробовать начать жизнь заново уже в новом культурном окружении.¹⁴

2.2.3. Травматизация, специфическая для отдельного возраста

Вопрос о возрастной травматизации детей и молодых людей обращает нас к Джону Боулби, который ввел термин «основных потребностей». Решающее значение в этом контексте играет вопрос о моменте «отделения от матери», и, таким образом, удаления от обеспечения основных потребностей. Дети, которые испытывают отделение в очень раннем возрасте, способны развивать чувства безопасности и защищенности. В большинстве же случаев, однако, при этом индуцируется постоянное чувство незащищенности. Понятие времени также зачастую

размыто. Отсутствие непрерывности тормозит развитие некоего внутреннего порядка, знания о том, что человек может ожидать. Одним из отдаленных последствий во взрослой жизни - по Кейлсону - часто является продолжение инфантильной зависимости от других взрослых (например, супругов или родителей). Кроме того, могут возникать характерноневротические проявления, связанные с трудностями установления контактов, а также чувство личной и социальной незащищенности.

Более старшие выжившие после Шоа дети находились во времена преследований в предподростковом и подростковом возрасте, в которых развитие идентичности является жизненно важным вопросом. Каждый день был противостоянием со смертью, столкновением с потерями, потерей, утратой веры в моральные ценности, постоянным восприятием окружающей опасности и тяжелым грузом ответственности за младших братьев и сестер (а иногда и за родителей). В отличие от детей младшего возраста, у более взрослых детей имеются четкие воспоминания о родителях и детстве, так, что их тоска по убитым или пропавшим членам семьи более интенсивна. Они серьезнее воспринимали творящиеся вокруг зверства и лучше понимали их значение. В определении Кейлсона, симптоматичной в группе обследованных подростков была «хроническая реактивная депрессия», в то время как в группе подростков преимущественными были «невротические развития в связи со страхом».¹⁵ Эти наблюдения подчеркивают, что модальность нагрузки в различных возрастных группах была различной.

Особые выводы

Результаты исследования Кейлсона важны не только для исследования Шоа, они также отмечают определенный поворот в исследованиях травмы. Результаты указывают, что травма не является неким завершеным временным процессом, но (субъективным) процессом, который может продолжаться. Классическое образование понятий посттравматического стрессового расстройства в исследовании травмы представляется в этом контексте вводящим в заблуждение, так как данный подбор слов подразумевает, что травма - это некое прошедшее (завершенное) событие.¹⁶ Именно благоприятный или неблагоприятный ход третьей фазы (по Кейлсону), то есть послевоенного периода и реинтеграции, был представлен в его исследованиях, как чрезвычайно важный для объема и масштаба последующих травматичных проявлений.

¹¹ Ders. Sequentielle Traumatisierung, 56.

¹² Ebenda, 56.

¹³ Vyssoki, David; Tauber, Traude; Strusievici, Stefan u. Schürmann-Emanuel, Alexander, Trauma bei den Opfern der NS-Verfolgung. In: Friedmann, Alexander et al. (Hg.): Psychotrauma. Die posttraumatische Belastungsstörung. Wien, New York 2004, 197-212.

¹⁴ Gordon, The experience of being a hidden child survivor, 2002.

¹⁵ Keilson, Sequentielle Traumatisierung, 94.

¹⁶ Fischer und Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie, 63.

1.3. Райнхарт Лемпп

1.3.1. Об исследовании

Психиатр Рейнхарт Лемпп практически одновременно с Кейлсоном опубликовал результаты своего обследования 45 еврейских детей и молодых взрослых (в возрасте до 21 лет), которые выжили либо в укрытии, либо пережили концентрационные лагеря и лагеря смерти.¹⁷ На основании его результатов появилась возможность доказать, что с возрастом ребенка во время преследований увеличивается вероятность образования депрессивных симптомов на поздних стадиях. Этот вывод совпадает с результатами исследования Кейлсона. В связи с этим рассуждения Лемппа нет смысла рассматривать более подробно.

Чрезвычайно интересным с точки зрения выживших детей, находящихся в пожилом возрасте, однако, является один результат длительных исследований Лемппа.¹⁸ Он смог показать, что у выживших детей на более позднем отрезке жизни проявлялись психические расстройства, которые во время предварительного исследования в 1979 года не наблюдались совсем. Наиболее важный вклад его исследований состоит в его постижении реактивирующего влияния процесса старения в связи с травмой Шоа. По Лемппу выжившие после Шоа дети особенно страдают от травматических переживаний в критических стадиях среднего возраста. В этом возрасте, как правило, начинается фаза попытки переработать прошлое, которое раньше задвигалось на задний план или о котором хранили молчание - в смысле интеграции в собственную биографию.

2.4. Джудит С. Кестенберг

Нью-йоркский психоаналитик Джудит С. Кестенберг сделала важный и исключительно объемный вклад для понимания выживших после Шоа детей, проведя огромное количество интервью и рассмотрев терапевтический эффект на детей, которые смогли восстановить свои воспоминания. И в своей собственной терапевтической работе в качестве аналитика она работала интенсивно с бывшими молодым людьми и детьми, пережившими Шоа.

2.4.1. Конфликт между запоминанием и забыванием

Кестенберг констатирует, что для выживших после Шоа детей во многом существует необходимость забыть прошлое, но это прошлое может, тем не менее, вернуться живым и пугающим, так что они почувствуют желание опять убежать в настоящее

время. Тем не менее, для обеспечения непрерывности их жизни они нуждаются в воспоминаниях о том, что произошло во время Шоа. Но память возвращает травматическое прошлое и вместе с ним такие эмоции, как гнев и ярость. Конфликт между забвением и памятью является одной из главных проблем в жизни человека, который в детстве пережил Шоа.¹⁹ Аналогичным образом этот конфликт проявляется в более поздних версиях Сюзан Каплан. Там этот конфликт представлен, как попытка регулирования аффекта, которое можно наблюдать у травмированных выживших детей.

Кестенберг обращает также внимание на роль физической боли при травматизации. Физическая боль в сочетании с психической сохраняется в памяти как физическое, телесное воспоминание. Боль конденсирует, таким образом, память от голода, холода, отравлений и чувства потерь. При этом возраст опять играет определенную роль: чем младше травмированный ребенок, тем сильнее травма и вероятность того, что травма вновь проявится в физической форме.

2.4.2. Покинутость и дистанцирование

Кестенберг также указывает, что выжившие дети борются с трудностями сближения с людьми и боятся слишком близкой связи с другими людьми. Поскольку многие из них потеряли уверенность в своих родителях, потому что они их «бросили», они решили постоять за себя самостоятельно и сохранить при этом максимально возможную дистанцию от других людей. Их личность определяется неким депрессивным «ядром», которое ни при каких обстоятельствах не может позволить интенсивного выражения радости. Целительным может стать перенос интенсивного чувства благополучия в их раннем детстве. Во многих случаях это может подтолкнуть их к невиданным достижениям. Часто, однако, дети не могли помнить своего раннего детства и каких-либо радостных событий в период до преследований. Травма, похоже, стала причиной воспоминаний о предыдущих приятных сенсомоторных переживаниях.²⁰

Выжившие дети, которые никогда не были разлучены со своими родителями или которые нашли их после войны, часто открыто выражали свой гнев, направленный на своих родителей. Кестенберг отмечает, что дети были вынужденными свидетелями уничтожения своих родителей во время Шоа, потеряв при этом доверие к ним. Кестенберг считает, что у ребенка - в случае отделения от матери - проявлялись нарушения в развитии эго и супер-эго.²¹ Некоторые были полны гнева, потому что во время преследования

¹⁷ Reinhart Lemp, Extrembelastung im Kindes- und Jugendalter. Über psychosoziale Spätfolgen nach nationalsozialistischer Verfolgung im Kindes- und Jugendalter anhand von Aktengutachten, Bern 1979.

¹⁸ Ders., Seelische Verfolgungsschäden bei Kindern in der Ersten und Zweiten Generation. In: Hartmann, Gertrud (Hg.): Spuren der Verfolgung, Seelische Auswirkungen des Holocaust auf die Opfer und ihre Kinder, Gerlingen 1992, 93-99.

¹⁹ Judith Kestenberg, Kinder von Überlebenden und überlebende Kinder. In: Stoffels, Hans (Hg.): Schicksale der Verfolgten, Berlin 1991, 115.

²⁰ Ebenda, 122.

²¹ Dies. und Ira Brenner, Children who survived the Holocaust. The Role and Routines in the Development of the Superego, in International Journal of Psycho-Analysis, 67, 1986, 311ff.

их родители не оправдали их ожиданий и не выполнили функции их защиты и кормильцев. Они допустили, что их дети голодали и вынуждены были терпеть мучения от их преследователей. Они не оказали ни малейшего сопротивления и бросили своих детей на произвол судьбы. При этом они переносили - в смысле идентификации с агрессором - их веру во всемогущество своих родителей на всемогущих преследователей. По причине такой идентификации, они, как правило, были склонны исключить других людей.²² Часто гнев ошибочно направлялся совсем не по адресу не на преследователей, а на своих собственных родителей. Чем младше были дети, тем больше они обвиняли своих родителей, особенно матерей, в их собственной судьбе. Многие в результате вины обращали ярость на самих себя, «внутри».

Кестенберг также решительно выступает против предположения, что дети не особенно страдали потому, что были слишком малы, чтобы понимать опасность. Игры, в которые играли дети, могут являться свидетельством их знаний о природе угроз, смерти и разрушения. Дети, согласно Кестенбергу, в годы преследований не только физически, но и морально созревали раньше. Люди, которые пережили преследования в детском возрасте, страдают в очень ярко выраженной форме от чувства полной непринадлежности.²³ Их родина отвергла их, а их религия принесла им скорее неприятности, чем стала источником гордости. Те, кто получил от своих родителей ортодоксальное еврейское воспитание, чувствовали себя наиболее уверенными в своей последующей взрослой жизни. Жалоба «Я никому не принадлежу», часто встречается у людей, которые пережили Шоа детьми. На эмоциональном уровне они наиболее интенсивно пытаются не отличаться от детей страны, в которую они иммигрировали.

2.4.3. Выживание и приспособляемость

Кестенберг считает, что дети, пережившие Шоа, получили от своих родителей и своих семей «задание» - остаться в живых и обеспечить выживание своей семьи и этноса, для чего они сами должны были родить детей. Каждый родившийся ребенок, согласно Кестенбергу, является «символом победы над гитлеровским геноцидом». Поэтому разговоры о преследованиях начинались обычно только тогда, когда дети выросли. Многие родители выживших после Шоа детей не хотели, чтобы с их детьми обращались жестоко, не по человечески и предпочитали в этой связи скорее отказываться от требований выплаты компенсаций, чем подвергать своих детей необходимой для этого процедуре опросам и интервью.²⁴

2.5. Роберт Крелл

Если упоминавшиеся ранее исследователи главным образом сами пережили Шоа будучи взрослыми людьми, то Роберт Крелл работает в этой области, пережив Шоа ребенком. В 1980-е годы выжившие после Шоа дети создали собственную отдельную группу, чтобы опыт предгествовавшего молчания и зачастую одинокой жизни связать с судьбами других выживших после Шоа детей. Крелл сформулировал скрытность и незаметность в следующих словах: «Поскольку выживание зависело от быстрого приспособления ребенка к настроению опекавших его взрослых, большинство страданий держались в себе в обстановке молчания и страха и дети и после войны в основном молчали и прятались. Чтобы стать успешным и нормальным израильянином, американцем, канадцем или австралийцем, было невыгодно признаваться частью категории «выжившим после Шоа», поскольку люди предполагали, что ущерб, нанесенный оставшимся в живых был непоправим».²⁵

Самообнаружение в качестве выжившего после Шоа ребенка Крелл объясняет на примере его собственной истории. Он описывает, что Шоа действительно была неотъемлемой частью его самовосприятия, но первый раз он соприкоснулся с термином «выживший после Шоа ребенок», когда он принял участие в первом Всемирном конгрессе переживших Шоа в Иерусалиме в 1981 году. В речи раввина Израэля Меира Лау, главного раввина Нетании, были слова: «Я думаю, что я самый молодой переживший Бухенвальд (при освобождении ему было восемь лет). Мой отец был последним раввином Пиотркова в Польше, его убили в Трешлине. Моя мать умерла от голода в лагере Равенсбрюк».²⁶ И Крелл продолжает: «И в этот самый момент я понял, что в 1945-ом мне было пять лет [...], а раввину Лау было восемь лет. Мы были детьми! Дети Шоа! Речь здесь шла не о втором поколении, которое описывается в книге Елены Эпштейн «Дети Холокоста». Мы уже были».²⁷ Роберт Крелл описывает, как в 1983 году он начал создавать в Лос-Анджелесе группу детей, выживших после Шоа. Необходимо было преодолеть стигматизацию, которая - с патологизированным приписыванием всем без исключения выжившим детям диагноза «поврежденных» - порочила всех выживших детей. «Один мой выживший друг», говорит Крелл, вспоминает, что там [во время освобождения в Бухенвальде] с ними разговаривал один психиатр. Им сказали, что они были слишком сильно повреждены, чтобы когда-либо восстановиться и функционировать как полезное человеческое существо».²⁸

²² Dies., *Kinder von Überlebenden* 1991, 120.

²³ Dies. und Milton Kestenberg, *The Sense of Belonging and Altruism in Children Who Survived the Holocaust*, in *Psychoanalytical Review*, 75, 1988, 533-560.

²⁴ Dies. und Eva Fogelman, *Children during the Nazi reign*, Westport 1994.

²⁵ Robert Krell, *Die nicht anerkannten und verborgenen Überlebenden der Shoah*. In: Rossberg, Alexandra u. Larsen, Johan (Hg.): *Das Schweigen brechen*. Frankfurt a.M. 2003, 133.

²⁶ Ebenda, 132.

²⁷ Ebenda.

²⁸ Ders., *Reflexionen eines Child Survivors/Psychiaters*, 143.

В начале 1980-х годов Крелл определял категорию выживших детей как людей, кому на момент освобождения было 16 лет или меньше. Относительно возраста выживших детей высказывались различные мнения. Крелл определяет этот возраст как 16 лет, Кейлсон – как 18 лет, а Лемпп – даже как 21 год. Крелл объясняет этот возрастной предел тем, так что жизненный путь тех, кому было 16 лет, существенно отличается от жизненного пути более старших детей. Такое определение возраста в принципе и было признано в дальнейшем. Подростки более старшего возраста, более вероятно, имели больше возможности быть независимыми, они часто женились и выходили замуж в лагерях для перемещенных лиц, переезжали в основном в большие города, где они искали работу и жили в непосредственной близости от других людей, переживших Шоа, что позволило им снова найти смысл жизни в обществе. Выжившие после Шоа дети, однако, были отделены от своих родителей в особенно уязвимом возрасте и их доля в собственном выживании была менее активной; они не могли позднее гордиться этим так, как более взрослые подростки. Таким образом, Крелль вновь выделяет период жизни после освобождения: обстоятельства жизни после Шоа играют важную роль в длительных повреждениях в результате травматизации.

Особые индивидуальные обстоятельства могут и должны учитываться при оценке травматического опыта: страна происхождения выжившего ребенка имеет, возможно, решающее значение для начала травматизации и ее продолжительности: «У ребенка, который родился в 1929 году в Польше до Шоа было десять лет жизни и еще шесть лет, чтобы выжить во время Шоа, а ребенок, который родился в 1929 году в Венгрии, до катастрофы 1944 года жил 15 лет относительно спокойно. Старшие дети могут вспомнить свои семьи, друзей и традиции».²⁹ Знание обстоятельств, при которых он/ она испытали весь ужас Шоа в первый раз, вносит большой вклад в понимание проблемы.

Экскурс: Схема травмы (Фишер и Ридессер)

Травма, как это представляют Фишер и Ридессер,³⁰ представлена в личности как схема: как прерывистый подход с тенденцией борьбы или ухода, часто в сочетании с воспоминаниями ощущений и картинок прошлого, которые в виде травматического опыта хранятся в схеме травмы. Схема травмы и связанное с ней состояние переживания, следовательно, характеризуется чрезмерными эмоциями при одновременной слабости когнитивной возможности переработки. Схема травмы вынуждает к повторению, при этом воспроизведение схемы травмы, однако,

будет означать повторное травмирование. Таким образом, схема травмы должна быть динамически сбалансирована противодействием, которое можно определить, как травмокомпенсирующую схему. Пострадавший развивает гипотезы о том, как он пришел к травме и что должно быть сделано, чтобы избежать повторения такой травмы или других травм. Из травматического опыта делаются выводы и создаются противодействия, которые служат для управления ужасами прошлого и для того, чтобы в будущем избежать их повторения.

Эта реакция основана на своего рода наивной теории травмы, которая определяется соответствующей когнитивной ступеней развития - при детских травмах травмокомпенсирующая схема вырабатывается на соответствующем уровне когнитивного развития и связанных с ним ограничений. В связи с этим схема и ее компоненты часто кажутся волшебным, магически прелестным эгоцентричным образом мышления, что соответствует раннему когнитивному эгоцентризму ребенка.

Психотравматический симптом оказывается - крайне хрупким - компромиссом между этими двумя противоположными силовыми полями - схемой травмы и травмокомпенсирующей схемой. Вследствие этого, решающим является скорее не объективная интенсивность травмирующих факторов, а в большей степени качественная особенность угрозы, которая либо присоединяется к уже существующей схеме травмы или центральному моменту картины жизни или внезапно ставит под сомнение приобретенные травмокомпенсирующие стратегии. Смежный патогенетический момент травмы с точки зрения такого её определения - это долгосрочное потрясение и нарушение понимания себя и окружающего мира.

В качестве ответа на угрожающие жизни события следуют типичные - биполярные - формы поведения и переживания, при которых постоянно наблюдается смена состояния интрузии (т.е. повторяющихся картинок прошлого, часто в виде кошмаров или флэшбэков) и отрицания (в английском языке для этого используется очень точное выражение, «физическое онемение», обозначающее состояние своеобразного эмоционального «притупления» или анестезии). Повторяющиеся образы в памяти пострадавших часто носят характер немедленного повторения травматической ситуации. Человек больше не в состоянии различать настоящее и прошлое. Может также сохраняться похожее на панику состояние возбуждения. При нем человек длительное время буквально переполнен

²⁹ Ders., Children who Survived the Holocaust: Reflections of a child survivor. In: Echoes of the Holocaust, Bd. 4, 1995. Zugriff am 20.01.11: <http://www.holocaustechoes.com/4krell.html>

³⁰ Fischer & Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie, 101f.

Affektregulierung					
Verbindung	Affektausstoßung	A Affekt- einströmung	B Affektisolierung	C Affektaktivierung	D Affekt- symbolisierung
Traumabindung	Transportierte Verbindung	A1 Affekt als Verbin- dung	B1 Eingekapselte Verbindung	C1	D1
(Perforieren)	Perzeption des Traumas – kann zu <i>Rache</i> führen	Perzeption des Traumas – Re- traumatisierung, die sich in Kör- persprache und <i>Wiederholung</i> zeigen kann	Perzeption des Traumas – Re- traumatisierung, die zu Somatisie- rung und <i>Distan- zierung</i> führen kann	Repräsentation des Traumas/ver- bal ausgedrückt – Perforierung in geringem Aus- maß – kann zu (optimaler) <i>Angst</i> führen	Repräsentation des Traumas/ver- bal ausgedrückt – Perforierung in geringem Aus- maß – kann zu (aushaltbarem) <i>Schmerz</i> führen
Generationale Verbundenheit		A2	B2	C2 Normalisierung als Verbindung	D2 Metapher als Verbindung
(Raumschaffen)	Illusionären Raum schaffen – Fordern von per- sönlicher Rehabi- litation – <i>Pseudo- normalisierung</i>	Geringes Raum- schaffen – <i>Hilferuf</i>	Teilweises Raum- schaffen – <i>Kon- trolle</i> über das Trauma <i>erlangen</i>	Das Raumschaf- fen erweitern – kann zum <i>Zu- rückgewinnen</i> ei- nes »normalen« Lebens führen	Bewegliches Raumschaffen – kann zu <i>Kreativi- tät</i> führen

Tabelle 8.1: Affektdiagramm – Hypothesen über die Affektregulierung in Prozessen der Traumabindung und der Generationalen Verbundenheit in jedem Individuum (nach Kaplan 2005a, S. 176, © Iatros)

неконтролируемым возбуждением. В отличие от такого рода переполнения могут наступать так называемые «замороженные состояния», то есть могут фиксироваться замороженные состояния опыта с психовегетативными и психосоматическими реакциями.³¹

2.6. Сюзан Каплан

2.6.1. Об исследовании

Сюзан Каплан - шведский психоаналитик детей и взрослых, занимавшаяся как детьми, выжившими во время Шоа, так и жертвами геноцида в Руанде. По результатам целого ряда интервью она разработала интересные теоретические концепции для описания экстремального травматического опыта.³²

2.6.2. Модули теории

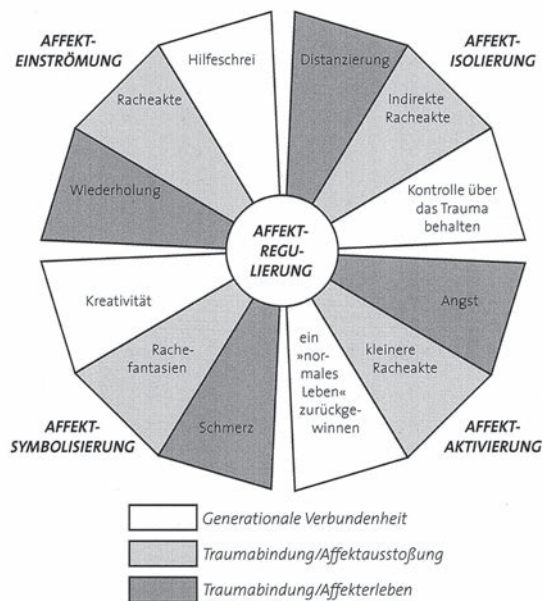
В качестве несущих конструкций в теории травмы Каплан фигурируют пять терминов. Выросшие после геноцида находятся под влиянием того, что Каплан называет «распадом поколения». Этот распад или перелом (генерационный коллапс) сравнивается со связью поколений (генерационная связь) - и образует своего рода основу для переработки пережитого. Дети, которые пережили Шоа, потеряли не только связь со своими родителями и переживаниями своего детства,

но и связь со своей собственной семейной историей. Распад поколения означает уход от культурной сферы, к которой человек принадлежит. Этот уход сопровождается разрывами в умственных процессах и восприятии самого себя. Генерационный коллапс и генерационная связь формируют основу для теории, представленную Каплан. В этой системе отсчета она выделяет две ключевые идеи, которые описываются понятиями «перфорация» и «создание пространства».

В поддержку теории травмы Фрейда Каплан говорит о психическом защитном «экране», который перфорируется чувственными восприятиями. Психическая мембрана «продырявлена», изречена как в прямом, так и в переносном смысле, когда чувства оказываются «пробуренными», - (что-то разрушительное прорывается, как, например, вызывающий страх голос), или когда что-то разрывается на части (что-то отнимается и оставляет после себя вакуум: члены семьи, значимые предметы или привычный уклад повседневной жизни), или когда тело подвергается своего рода клеймению (как в буквальном, так и в символическом смысле, например, в случае изнасилования или принуждения носить звезду Давида). Эти чувственные восприятия оставляют в буквальном смысле «печати», гравировки в личности.

³¹ Ebenda, 128

³² Suzanne Kaplan, *Kindheit im Schatten von Völkermord: Massives seelisches Trauma in der Kindheit und seine Folgen*, Nierstein 2005.



Grafik 8.1: Der »Affektpropeller« als Instrument zur Analyse der Affektregulierung bei einzelnen Personen (nach Kaplan 2005)

Понятие «создание пространства» относится к психическому пространству, которое - еще в детском возрасте - индивид создает себе в соответствии со своими потребностями. Это может относиться к реальному пространству, служащему в качестве укрытия. Это также может представлять символическое пространство: при условиях, которые существовали во время геноцида, это были в основном кратковременные события или воображаемые поездки (см. фильм Роберто Бенини «Жизнь прекрасна»). Таким образом, дети и взрослые могли «избавиться» на мгновение от страшной ситуации и почувствовать себя «живыми». Создание пространства представляет собой творческий процесс, который даже при травматических ситуациях возникает спонтанно из экзистенциальных потребностей.

При анализе интервью с пострадавшими Каплан уделяла особое внимание выражению эмоций. Она считала, что важно не только то, что было сказано, а и то, как это было сделано. На основе этих наблюдаемых фрагментов памяти и аффектов появились гипотезы по регулированию аффектов, которые находятся в самом центре основного процесса генерационного коллапса. Исходя из этого, она пытается описать психологические последствия процессов перфорации и создания пространства. В одной диалектической модели она разработала две противоположные силы: одну она называет «связь с травмой» (см. верхнюю часть рис. 2). Это означает, что травматические переживания могут быть ассоциативно легко (в беседах

и в повседневной жизни) «воскрешены». Выжившие дети, кажется, живут как бы в двойственном (трещина по вертикали) положении. Прошое и настоящее существуют рядом без ассоциативной связи. Травма, как считает Каплан, остается в одной части своего «я», в то время как нормальная жизнь продолжается, казалось бы, невредимо. На схеме этот режим имеет место при наступлении аффекта (А) и вновь при изоляции аффекта. (В случае «А» аффект ощутим в интеракции, то есть он связан с травмой, а в случае «В» нет, поскольку он изолирован. Случай «А» соответствует интрузии, случай «В» - отрицанию (оцепенению). Силу, препятствующую образованию травмы, Каплан называет «генерационной привязанностью» (см. нижнюю часть диаграммы). Она является результатом успешного создания пространства. Это означает, что пострадавшие обращают свое внимание на людей и предметы их прошлого и при этом усиливается чувство оставаться в этой связи, «принадлежать» этому. Как уже описано выше, это чувство, быть ничему не принадлежащим, часто относится к дефицитам, от которых страдают выжившие дети. Через процесс создания пространства генерационные связи могут быть восстановлены. Если связь с травмой доминирует, то наблюдается наступление аффекта (А) (в различных формах это может быть чувством страха, испуга, или плачем). Возможность создания пространства в таких условиях очень ограничено, аффекты, как правило, слишком сильны (А2). Изоляция аффекта (В) выражает себя в интервью в дистанцированной речи. Такая дистанция с точки зрения генерационной связи может быть понята, как приобретенный контроль над травмой (случай В2). Полностью инкапсулированные аффекты как следствие хронических заболеваний, как предполагает Каплан, могут проявляться в виде физических симптомов (В1).

В обеих задних колонках обозначаются процессы активации аффекта (С) и его символизации (D). Это необходимо для того, чтобы добиться лучших форм обработки. Травмы добавляются в определенной степени во временной перспективе собственного жизненного процесса и далее не только расщеплены, но и хранятся в закрытой части своего «я». В результате получается, что человек ощущает себя жизнерадостным и творческим. С точки зрения Каплан, регулирование аффектов от А до D, то есть с более низкого на более высокий уровень интеграции, является в принципе идеальным видом развития, но эмпирически реализовать это очень трудно. Существуют, вероятнее всего, колебания между наступлением аффекта и его символизацией. Для того, чтобы понять влияние аффекта как пропеллера

Каплан (см. рисунок 3), важно понять особую роль, которую Каплан придает мести как эффекту разгрузки аффекта. Это действует как форма связи с травмой (в дополнение к ранее описанным аффектам, связанным с травмой). С помощью аффекта как пропеллера Каплан хотела показать различные виды мести, как способ вымещения аффекта.

Пропеллер должен – что и подразумевает его форма – служить для понимания динамического процесса, который происходит в каждом человеке при регулировании аффекта. Пропеллер состоит из «лопастей», которые вращаются вокруг центральной точки «регулирования аффектов». Каждая лопасть состоит из трех различных форм связующих процессов. На каждой лопасти есть две формы связи с травмой: одна имеет отношение к процессу абреакции (как описано: с мстью, как вымещение аффекта), вторая имеет дело с пережитыми аффектами, связанными с травмой, а третья – скорее с конструктивной генерационной привязанностью. Иногда преобладает какая-нибудь одна категория аффекта, иногда другая, а иногда дело доходит и до смешанных форм. Эта модель очень наглядно описывает различные состояния людей с экстремальной травматизацией, причем эти состояния могут меняться по несколько раз в быстрой последовательности. Эта модель не ведет себя так, что может быть достигнут и поддерживаться определенный уровень переработки. Скорее, на основании высокой психологической интеграции формы следует ожидать наступление мощного аффекта. Это может быть испытано снова и снова в интеракции с выжившими детьми и должно быть учтено при профессиональной работе с этой группой.

3. Заключение

Изучая исследования выживших детей, в целом можно сказать, что акцент сместился с вопросов патологизации к вопросу переработки травматизации. В то время как первые исследования – за исключением Анны Фрейд – появились в связи с компенсационными выплатами, когда необходимы были доказательства повреждения здоровья, последние исследования все больше занимаются вопросом о том, как выжившие дети могли жить с их экстремально травмированным опытом. Оказалось, что эта группа лиц ни в коем случае не образуют единую группу. Уильям Нидерланд в конце 1960-х диагностировал так называемый «синдром выживших» для того, чтобы описать отдаленные последствия Шоа. Такой подход правомерно был подвергнут критике. Так же, как и нет «синдрома

выжившего», вряд ли имеет смысл говорить о «синдроме выжившего ребенка». Все это является совершенно недопустимыми обобщениями и типизациями. Исследования выживших детей в возрасте показывают, как по-разному развивалась переработка тяжелой травматизации на протяжении всей жизни.

Таким образом, травма представляет собой процесс, который длится всю жизнь и при этом постоянно изменяется. Каждый выживший создал в ходе своей жизни множество схем травм и травмокомпенсирующих схем, которые зависят от различных индивидуальных образов жизни, как, например, создал ли кто-то свою собственную семью, смогли выстроить карьеру, или нашел поддержку своих друзей и родственников. Травмирующие события не могут быть психологически интегрированы или полностью переработаны: они вновь оказываются вирулентными, о чем впечатляющим образом свидетельствуют исследования психологической устойчивости выживших детей. На их примере можно увидеть, что попытка противопоставить что-то невообразимым разрушениям и истреблениям может иметь успех.

Szenische Erinnerung der Shoah

Tradierung des Traumas an die nachfolgenden Generationen

Dieser Beitrag beleuchtet aus der Perspektive der Opfer und deren Nachkommen die Spätfolgen und transgenerationalen Wirkungen des zentralen Geschehens des Nationalsozialismus, der systematischen Verfolgung und industriell betriebenen Vernichtung der Juden in Europa. Zunächst werde ich mich – und zwar sehr kursorisch in Form des Skizzierens einiger Vorannahmen, die für das Verständnis unseres Arbeitsansatzes wesentlich sind – mit den psychosozialen Spätfolgen der Nazi-Verfolgung auf Seiten der Überlebenden befassen (vgl. Grünberg 2000a und b, 2004a und b). Unter Einbeziehung der Täter- und Mitläuferseite beziehen sich diese Prämissen gleichermaßen auf die in Deutschland vorherrschende Erinnerungskultur, die seit einigen Jahren bedeutsamen Veränderungen unterworfen ist. Sodann werde ich das Arbeitskonzept der „szenischen Erinnerung“ darlegen, dies zunächst in Gestalt einiger theoretischer Erläuterungen. „Szenische Erinnerungen“, die sich ausdrücklich nicht auf die verbale Vermittlung reduzieren lassen, ermöglichen ein Erkunden latenter Bedeutungen von Erinnerungsarbeit in doppelter Hinsicht: Zum einen verdichten Menschen in „Szenen“, die sie bewusst oder unbewusst erinnern, komplexe und oftmals belastende Erfahrungen in sehr prägnanter Form. Zum anderen konstellieren sich in der Darstellung dieser Vermittlungsversuche ebenfalls unbewusste „Szenen“, in denen individuelle wie kollektive Erinnerungsprozesse psychodynamisch eindrucksvoll verdichtet sind.

Die im Folgenden benannten szenischen Erinnerungen der Shoah in einer Überlebenden-Familie stammen zum Teil aus meiner eigenen Familie. Eine solche Erinnerung, die „Küchen-Szene“ mit meinem Vater, die ich später ausführlicher schildern werde, war in mir durch die Begegnung mit einer 23-jährigen Studentin geweckt worden. Die Szene in der Küche hatte sich zugetragen, als ich im Alter dieser Studentin war. Mein Vater wiederum mag durch mein damaliges Alter mit eigenen Erinnerungen konfrontiert worden sein an eben diese Zeit in seinem Leben. Zuweilen sind es solche Schnittstellen, an denen transgenerationale Wirkungen traumatischer Verletzungen szenisch in Erscheinung treten.

Einige Szenen werde ich ausführlich darstellen, aber auch immer wieder innehalten, um theoretische Aspekte oder Informationen anzuführen, die erst verständlich machen können, welche Bedeutung ein bestimmtes Geschehen im familiären Kontext hatte.

Mit einigen Ausführungen zum Thema „vergiftete Generativität“ (Grünberg 2007) werde ich meinen Beitrag beschließen. Die nationalsozialistische Vernichtung der Juden in

Europa wird nämlich insbesondere auch darüber „szenisch erinnert“ und tradiert, dass es vermutlich keine überlebenden Juden gab und gibt, die nicht zu Zeugen der Ermordung jüdischer Kinder wurden. Die Juden sollten begreifen, dass es für sie selbst wie für ihr Volk keinerlei Aussicht gab auf eine Zukunft. Und überlebten sie wider Erwartung doch, so vermittelten sie genau diese existentielle Erfahrung auf die eine oder andere Art und Weise an ihre eigenen Kinder, die somit ebenfalls zu Trägern einer „vergifteten Generativität“ wurden.

Insgesamt möchte ich mich mit meinem Beitrag einer zunehmenden Tendenz zu begrifflichen Entdifferenzierungen entgegenstellen. Wenn alles Mögliche als „traumatisch“ bezeichnet wird, wenn alles mit dem Begriff „Holocaust“¹ in Verbindung gebracht werden darf, sind wir mit einem „Banalisieren des Traumas in Deutschland“ (Grünberg 2001) konfrontiert. Aufgabe der Wissenschaften hingegen ist es, die Shoah in angemessene begriffliche Beziehung zu anderen und aktuellen Ereignissen der Geschichte zu setzen. Die Wahrheit der affektiven Bedeutung dieser Ereignisse muss dabei adäquat berücksichtigt werden.

Ich beginne mit vier Prämissen:

1. Die nationalsozialistische Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden hat auf Seiten der überlebenden Opfer unwiederbringlich tiefe seelische Spuren hinterlassen, die sich weder „beseitigen“ noch psychisch „integrieren“ lassen. Auch Jahrzehnte nach der Befreiung bleiben den Überlebenden ihre Erinnerungen wie beständig vorhandene Fremdkörper präsent, mit denen sie zu leben haben, ob sie wollen oder nicht, am Tage wie auch in der Nacht. Plädoyers mancher Psychotherapeuten für eine – vermeintliche – „Heilung“ oder „Integration“ sollten eher als Manifestation ihrer Abwehr verstanden werden, sich die Realität des extremen Traumas zu vergegenwärtigen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Psychotherapeuten und Psychoanalytiker hätten sich viel früher – und anders als geschehen – auf die Begegnung und Arbeit mit Überlebenden der Shoah einlassen müssen. Doch erst wenn man zu begreifen und akzeptieren bereit ist, dass es hier nicht um Heilung geht, können fruchtbare psychotherapeutische Arbeitsansätze entwickelt werden, wie wir dies etwa im Treffpunkt für Überlebende der Shoah, im Jüdischen Beratungszentrum oder in der Arbeit mit den sogenannten child survivors seit Jahren erforschen.

¹ Zur Problematik der Begriffe Holocaust, Shoah, dritter Churb'n, nationalsozialistische Judenvernichtung etc. vgl. Grünberg (2000a, 15f).

2. Die Tatsache, dass man Überlebende der Shoah jahrzehntelang mit ihren Leiden allein ließ, hat ihnen im Sinne des Konzepts der „sequentiellen Traumatisierung“ von Hans Keilson (1979) weiteren Schaden zugefügt. Keilson zufolge sind nicht nur verschiedene Stadien der Verfolgungserfahrung selbst zu unterscheiden, sondern auch die Zeit nach der Befreiung sei für die traumatisierende Wirkung der Verfolgung höchst bedeutsam. Das schließt die gesellschaftlichen Verhältnisse ein, mit denen Überlebende in ihrem Alltag konfrontiert wurden und immer noch werden (vgl. dazu auch Giordano 1987: Die zweite Schuld). In der Bundesrepublik Deutschland sei hier etwa das Nichtbestrafen der meisten Nazi-Täter genannt, der Friedensschluss über SS-Gräbern in Bitburg, der Historikerstreit, die Walser-Friedenspreis-Rede oder die aktuellen Versuche der Entsorgung der deutschen Geschichte durch das Gerede etwa vom „Bomben-Holocaust“, das exemplarisch steht für einen leider zu verzeichnenden Paradigmenwechsel hin zu der Vorstellung, als seien wegen der Kriegszerstörungen und aufgrund von Flucht und Vertreibung die Deutschen die eigentlichen Opfer des Nationalsozialismus.

3. Damit soll keineswegs bezweifelt werden, dass diejenigen, die zu Zeiten des Krieges Kinder bzw. Töchter oder Söhne von Nazi-TäterInnen und Nazi-MitläuferInnen waren, nicht gelitten hätten; das Gegenteil ist der Fall: Diese Kinder haben mit Sicherheit gelitten – und es sei auch konstatiert, dass ein Zugang zu eigenem Leiden Voraussetzung dafür sein kann, sich dem Leiden anderer zuzuwenden –, aber eben nicht „nur“ unter den direkten Kriegseinwirkungen oder darunter, dass sie Eltern, Geschwister oder Verwandte verloren haben, sondern insbesondere daran, dass ihre Eltern den Krieg durch eigenes Mittun oder Unterlassen mit zu verantworten hatten. Dies gilt selbst dann, wenn diese Zusammenhänge nicht bewusst zugänglich sind. Die „Herrenmenschen“ gefährdeten am Ende eben auch die eigenen Kinder (Wolfgang Leuschner spricht in diesem Zusammenhang von einer unbewussten Infantilizität-Absicht). Und nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ wollten und wollen dieselben Väter und Mütter von alledem nichts gewusst haben... Im Gegensatz zu dem, was gern behauptet wird, haben diese Eltern ihre Erfahrungen nicht verdrängt, sondern sie verschwiegen oder verharmlosten die eigene Beteiligung am Nationalsozialismus (vgl. Grünberg 1997), sie belogen und – wie man in vielen Analysen oder Psychotherapien erfahren muss – sie schlugen ihre Kinder (was selbstverständlich kein Spezifikum für diese Gruppe darstellt). In manchen Familien gab es Bestrafungsrituale, die einen schaudern lassen. Viele Heranwachsende wurden somit von der Frage geplagt, wie sie solche gewaltbereiten Lügner – als die sich ihre Eltern zuweilen entpuppten – lieben, achten und wie sie ihnen Vertrauen schenken konnten. Auf eine vielleicht

allzu schlichte „Formel“ gebracht ist zu konstatieren, dass die Kinder der Opfer vor allem mit der Angst leben, ebenfalls zu Opfern zu werden, während die Nachfahren von TäterInnen und MitläuferInnen Gefahr laufen, einer ihnen innewohnenden Tat-, Unterwerfungs- oder Anpassungsbereitschaft zu folgen, falls sie sich der aufrichtigen und schmerzlichen Analyse solcher Prozesse verweigern.²¹

4. Seit geraumer Zeit haben wir in Deutschland die Entsorgung der „jüngsten Vergangenheit“ zu bezeugen. Insbesondere seit der Thematisierung des 50. Jahrestages der deutschen Niederlage, die für die übriggebliebenen Opfer die Befreiung darstellte, gibt es eine spezielle Variante der „Vergangenheitsbewältigung“: nämlich die Eliminierung des Nationalsozialismus, um sich nur noch mit „dem Krieg“ beschäftigen zu müssen (woraus selbstverständlich nicht geschlossen werden sollte, dass man dies zu unterlassen habe). Der entscheidende Diskurs, die Auseinandersetzung mit den Themen Schuld und Verantwortung, wird mit diesem Ansatz unterlaufen. Hier wird eine Verharmlosung, wenn nicht Entsorgung des Nationalsozialismus betrieben; übrig bleibt der Zweite Weltkrieg.

Begegnung mit einer 23-jährigen Studentin

Eine 23-jährige Studentin fragte mich vor einigen Monaten im Kontext einer Tagungsvorbereitung, was es eigentlich mit dem Begriff der „Szene“ im Tagungstitel auf sich habe. Ich holte weit aus, suchte ihr die Bedeutung der unbewussten „Szene“ im psychoanalytischen Erstgespräch nahezubringen. Die „Kunst“ der Psychoanalytiker, so führte ich aus, bestehe darin, das, was sich bei jedem Menschen ganz spezifisch und vor allem unbewusst in seinen Beziehungen zum Anderen psychodynamisch sowie auf der Ebene des Körperlichen zutrage, was dessen Persönlichkeit und individuelle Eigenart auf besondere Weise widerspiegele, bereits in der ersten Begegnung mit den Patienten zumindest teilweise zu erfassen und es probeweise zu deuten, um auf diese für die meisten Menschen unübliche Art und Weise mit den Patienten bzw. mit deren Unbewussten in Berührung zu kommen. Dies wiederum eröffne den Patienten die Chance einer tieferen Selbsterkenntnis, über das zuvor bereits Gewusste hinaus etwas über sich (und die Übertragung auf Andere) zu erfahren. Ich erwähnte die klassischen Arbeiten von Hermann Argelander (1967, 1968, 1970a,b, 1979) zur „Szene“ im psychoanalytischen Erstinterview und sprach über Alfred Lorenzer (1970a, 1970b), der den Begriff des „szenischen Verstehens“ geprägt hat, war es doch letzterer, der mit seinen Arbeiten die Dynamik der menschlichen Triebkonflikte um die Dimension des Gesellschaftlichen erweitert und exemplifiziert hat. Im Verlauf des Gesprächs mit der Studentin näherten wir uns allmählich dem Thema der psychosozialen Spätfolgen der Shoah. Ich berichtete von der Alltagserfahrung zahlreicher Überlebender, sich von anderen nicht

²¹ Im Sinne einer Abwehr dieser Angst existiert eine Projektion von Täterschaft auf die Juden, die auch als Angst vor Rache oder Bestrafung der Deutschen durch die Juden verstanden werden kann. Im antisemitischen Klischee der Macht der Juden erscheinen die Juden als Täter, denen die Deutschen zum Opfer fallen.

richtig verstanden zu fühlen, wenn es um die Zeit des Nationalsozialismus geht. Dies überrascht nicht, gibt es doch traumatische Erfahrungen, wie Hans Keilson einmal sehr zutreffend formulierte, „wohin die Sprache nicht reicht“ (Keilson 1984, 1998).

Das extreme Trauma entzieht sich der unmittelbaren sprachlichen Vermittlung, denn es gibt keine Möglichkeit, die Verfolgungserlebnisse kohärent zu speichern. Als vor-sprachliches Phänomen wird das traumatische Geschehen sehr häufig in einem dem bewussten Erinnern unzugänglichen Gedächtnisbereich aufbewahrt, das sich allenfalls in unwillkürlichen Aktivitäten (Freud bezeichnet dies als „agieren“) zu äußern vermag. Abzugrenzen wären diese Handlungen vom „Enactment“ (als Ausdruck von projektiven Identifizierungen; Theodore J. Jacobs 1986; vgl. Kogan 2000) bzw. vom „Handlungsdialog“ (Rolf Klüwer 1995). So entstünden in der Begegnung mit Überlebenden prägnante „Szenen“, die es zu entschlüsseln gilt, denn das Trauma der nationalsozialistischen Verfolgung findet seinen Ausdruck in bestimmten Handlungen, in der Mimik und in Gesten, im Tonfall, in Alpträumen oder einem bestimmten Blick, in der Trauer, in Tränen, in einem Seufzer oder Schrei, in der Depression, einem aggressiven Ausbruch, in der Erstarrung, im ängstlichen Aufgeschrecktsein oder in schweren, bildlosen Panikattacken. In solchen Szenen vermitteln sich bestimmte Modi von Beziehungen, denen sich vor allem die Kinder von Überlebenden kaum entziehen können. Es sind die Kinder der Opfer, denen die Aufgabe obliegt, die ihnen szenisch vermittelten Fragmente des extremen elterlichen Traumas zusammen zu fügen. Sie müssen gewissermaßen Konzepte erstellen, mit denen die meist nonverbalen Aussagen ihrer traumatisierten Eltern, die szenisch zum Ausdruck gebrachten fragmentierten Erinnerungsspuren, zu einem sinnvollen Ganzen formiert werden. Zuweilen verdichten sich die Szenen zum Vorherrschen einer bestimmten familialen „Atmosphäre“, die eher benannt werden kann.

Seit vielen Jahren fällt auf, so setzte ich meine Ausführungen fort, dass man sich insbesondere in Deutschland darauf verständigt habe, die verbale Vermittlung lebensgeschichtlich bedeutsamer Erfahrungen in den Mittelpunkt des Diskurses zu stellen. Schnell sei der nächste Schritt vollzogen: die Alten würden „vereint“, indem man herausstellt, dass doch eigentlich so gut wie alle – Opfer, Täter wie Mitläufer – wenig über ihre „schwierigen Erfahrungen in einer schwierigen Zeit“ berichteten. Die meisten, so hört man dann, hätten geschwiegen; dies sei doch „menschlich“ und „Ausdruck der Verdrängung“. Logischerweise erscheinen dann auch die nachfolgenden Generationen als mit einer gemeinsamen Erbschaft konfrontiert: Letztlich saßen wir doch alle in einem Boot.

Dass dies mitnichten der Wahrheit entspricht, habe ich in zahlreichen Vorträgen und Publikationen zu erläutern und belegen versucht. Während das an der Oberfläche

vorzufindende Schweigen von Überlebenden als Versuch verstanden werden muss, sich selbst wie den Anderen vor dem Überwältigtwerden durch die Wiederkehr unerträglicher Erinnerungen zu schützen, verschweigen Nazi-Täter und -Mitläufer aus ganz anderen Gründen ihre äußere wie innere Beteiligung am menschenverachtenden System des Nationalsozialismus (Grünberg 1997): Sie verschweigen oder verharmlosen die Wahrheit, um für ihr damaliges Handeln oder die eigene Haltung nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sehr viele waren damit erfolgreich; die meisten Nazi-Täter blieben – wie bereits angedeutet – straf-frei, ihre Taten blieben ungesühnt. Sie suchten der Schuld - Frage zu enttrinnen.

Das – vermeintliche – Schweigen der Überlebenden hingegen stellt in Wirklichkeit das Medium dar, in dem sich ihre traumatische Verfolgungsgeschichte erst „entfaltet“, und dies vor allem szenisch. Es kommt also darauf an, die darin enthaltenen nonverbalen Botschaften über das stets Präsen-te, das wie ein beständig vorhandener Fremdkörper immer wieder in das aktuelle Leben der früheren Opfer eindringt, zu entschlüsseln, eine notwendige Voraussetzung für jed-weden Versuch der Rekonstruktion dieser Vergangenheit.

Dabei gäbe es jedoch, so erklärte ich meiner geduldigen Zu-hörerin, einen zusätzlich verkomplizierenden Sachverhalt: Das extreme Trauma zerstöre die Schutzhülle der Opfer, dies selbst bei Menschen, die aufgrund stabiler Objektbe-ziehungen der frühen Kindheit ein tiefes Urvertrauen in die Welt bewahrt hatten. Das Trauma zerstöre die Grundla-gen des Vertrauens, ihm wohne die destruktive Kraft inne, selbst die verlässlichen Zusammenhänge zu zerschlagen. Weder im Moment des traumatischen Geschehens noch im Nachhinein sei es daher möglich, das Extremtrauma inner-lich angemessen „abzubilden“. Ein solcher Prozess der Dis-soziation träte unweigerlich zutage (vgl. Leuschner 2004). Es handele sich um einen unwillkürlichen Versuch der Opfer, das Erlebte zu ertragen. Manchen Verfolgten gelang dies nicht, sie sind daran zerbrochen. In den Konzentrati-onslagern gab es die sogenannten „Muselmänner“, die wie lebendige Leichname erschienen. Andere hätten versucht, sich trotz der jahrelang erlittenen Verfolgung an dem zu orientieren, was zumindest das Erleben des nächsten Au-genblicks sicherzustellen schien. Die Fragmentierung der traumatischen Erfahrung setze sich im Leben „danach“ fort; dieses Leben „danach“ ende erst mit dem Ende des Lebens. Und mehr noch: es endet nicht in der eigenen Ge-neration, sondern wird unweigerlich an die nachfolgenden Generationen tradiert.

So sei die Zweite Generation mit einer schwierigen Aufgabe betraut, gehe es doch einerseits darum, ihre schutzbedürf-tigen Eltern zu schonen und das labile familiale Gleichge-wicht nicht zu stören, dabei aber andererseits die Entwick-lung einer eigenen Identität nicht zu behindern oder gar aufzugeben.

Die Studentin und ich schwiegen eine Zeit lang.

Unerträgliche „Musik“ während einer nächtlichen Busreise

Dann erzählte sie mir, zunächst zögerlich, von einem Erlebnis, das sie sehr beschäftigte. Vor einiger Zeit hätte sie zusammen mit ihrem Freund und ihrer besten Freundin eine Reise nach Algerien unternommen, wo sich alle sehr wohl fühlten, habe die Freundin, selbst aus Algerien stammend, der kleinen Gruppe doch vielfältige interessante Erfahrungen ermöglicht. Eines Nachts seien sie in einem Bus unterwegs gewesen. Während die anderen einschliefen, habe sie keine Ruhe gefunden. Die laute Musik störte sie. Sie suchte den Geräuschpegel zu ignorieren, vergeblich. Es funktionierte einfach nicht. Selbst als sie sich ein großes Handtuch um den Kopf wickelte, vermochte ihr das nicht zu helfen. Die Musik, es handelte sich um islamische Gebetsgesänge, sei für sie unerträglich gewesen. Plötzlich sei sie aufgesprungen, nach vorn zum Busfahrer gerannt und habe ihn derart angeschrien, dass die Mitreisenden erwachten. Sie habe ihn aufgefordert, sofort die Musik abzustellen, sei außer sich gewesen, habe die Kontrolle verloren. „So etwas habe ich noch nie getan. Ich war mir selber fremd“, meinte sie zu mir.

Erst später habe sie zu diesem nächtlichen Ereignis einen Einfall gehabt, der sich auf ihre frühesten Lebenserfahrungen in einem fundamentalistischen Land bezieht: sie sei nämlich in einem Gefängnis zur Welt gekommen, wo sie die ersten Monate ihres Lebens verbrachte, weil ihre Eltern dort aus politischen Gründen inhaftiert waren. Bewusste Erinnerungen an diese Zeit habe sie nicht. Doch dann – und dies war ihr Einfall – habe sie sich erkundigt, ob es vielleicht möglich sei, dass das Gefängnis mit solcher „Musik“ beschallt wurde. Und genau diese Vermutung sei ihr bestätigt worden.

Mit meinem Vater am Küchentisch

Von diesen Schilderungen der Studentin wie von der selbst gedeuteten „Inszenierung“ ihrer unbewussten Erinnerungen war ich sehr beeindruckt. Ich dachte: Dies erzählt mir eine Studentin im Alter von 23 Jahren.

Und plötzlich tauchte, wie ein Erinnerungsstimulus, eine Erinnerung aus meiner eigenen Studienzeit auf:

Während der Semesterferien im Jahr 1981 war ich zu Besuch bei meinen Eltern in Norddeutschland. Eines Nachmittags saß ich am großen Küchentisch, an dem wir in unserer Familie mit meinen fünf Geschwistern viele gemeinsame Mahlzeiten eingenommen hatten. Hinter mir im Regal das Kofferradio, mit dem mein Vater samstags – für mich kaum nachvollziehbar – gern Fußball hörte.³ Mein Vater, Jahrgang 1922, war wie schon sein Vater und Großvater Viehhändler. Er setzte sich zu mir. „Sag mal“, hörte ich ihn fragen, „wie alt bist Du eigentlich?“ „Dreiundzwanzig“, antwortete ich ein wenig schmunzelnd, denn natürlich wusste er, wie alt ich war. Sein Vergessen war der

unbewusste, allerdings nur kurzfristig wirksame Versuch, dem Eigenen zu entrinnen, dem, was dieses Alter für ihn bedeutete.

Nach einem Moment des Zögerns erzählte er mir dann, was er im Alter von dreiundzwanzig Jahren erlebt hatte.

Bevor ich meine Schilderung fortsetze, sollte ich einige Informationen anfügen, die zum Verständnis der „Küchen-Szene“ von Bedeutung sind. Gleichzeitig kann ich dabei aber auch zahlreiche kleinere Szenen vor Augen führen, die zusammengenommen eine bestimmte familiäre Atmosphäre in meinem Elternhaus erzeugten. Nur auf diese Weise kann ich verdeutlichen, welche notwendigen Verdichtungsprozesse in beiden Generationen unaufhörlich stattfinden, um mit einer unerträglichen Geschichte zu leben.

Mein Vater gehörte zur Gruppe derjenigen Überlebenden, die Jahrzehnte lang kaum über ihre Verfolgungserfahrungen sprach, zumindest was die verbale Mitteilung anging. Das war anders, wenn Überlebende zu Besuch waren. Untereinander sprachen sie wohl über „die Lager-Zeit“, und man hörte sie lachen, wenn einer von ihnen irgendeine komische Geschichte „aus dem Lager“ zum Besten gab. Überhaupt war mein Vater nicht nur ein intelligenter, sondern vor allem auch ein sehr humorvoller Mensch, dem leider in seinen letzten Lebensjahren, in denen er zunehmend von traumatischen Erinnerungen geplagt wurde, sein Humor abhanden kam. Die Nazis hatten ihm die höhere Schulbildung unmöglich gemacht, sonst wäre er, wie er mir einmal erzählte, „aufs Gymnasium gekommen“. Mein Vater hörte fast stündlich die Nachrichten, „seid mal stille“, zischte er, wenn wir ihm zu laut waren. Er musste immer wissen, „ob etwas mit Israel ist“, und las, für einen Viehhändler gewiss eher ungewöhnlich, regelmäßig den „Spiegel“. Obwohl ich angeblich zur einen Hälfte der Geschwister gehörte, die „Mamas Kinder“ genannt wurden, war es mein Vater, von dem ich seinen zuweilen schwarzen Humor „geerbt“ habe (beim Viehhandel war ich weniger erfolgreich). Bis zu seinem schweren Herzinfarkt kurz nach seinem 70. Geburtstag arbeitete er sehr viel. Er war eigentlich meist ungeduldig, auch beim Essen. Nach Beendigung der Mahlzeit sprang er zuweilen mit der Bemerkung auf: „Irgendjemand muss Euch ja am Kacken halten“, um wieder „auf die Mase-matten“, „auf den Handel“ zu gehen. Nur wenn die Familie auswärts aß, musste er notgedrungen auf uns warten. Um den Vorgang des Nach-Hause-Gehens zu beschleunigen, pflegte er gern zu sagen, und zwar wenigstens so laut, dass man es ringsherum im Lokal hören konnte: „Juden raus“. Ich war wohl der einzige, der darüber mit ihm lachen konnte.

Bis auf Kümmel-Gerichte, die ihn an die Suppe im KZ erinnerten, aß mein Vater alles, sogar meine Gemüsesuppe, die ich im Alter von etwa 16 Jahren nach einem Rezept aus dem Kochbuch zubereitet hatte. Den dortigen Hinweis auf eine Knoblauch-Zehe hatte ich so verstanden, als sei die ganze

³ Nachdem ich das Interesse meines Vaters für den Fußball assoziativ anführte, fiel mir doch auch ein tieferer Grund ein, weshalb mir dieser Einfall kam. Er hörte bzw. schaute sich die Spiele eher ruhig-gelassen an. Als ich ihn während eines Länderspiels einmal fragte, zu wem er eigentlich „halte“, meinte er etwas verlegen, er wünsche sich, dass „die Jeckes“ (die Deutschen) gewinnen. Seine Distanz wie seine Nähe zu ihnen war unausgesprochen ein beständiges Thema.

Knolle gemeint. Während sich die anderen weigerten, meine Suppe zu essen, sagte er: „Ich habe schon Schlimmeres gegessen“ – und aß. Alle verstanden sogleich, was er damit meinte.

Das Gewürz Kümmel erhielt im Sinne einer Metonymie (einer Namensvertauschung) durch Verschiebung auf ein winziges Detail die Mitteilung über unerträgliche Zustände im KZ. Selbst für uns Kinder schien der Kümmel gewissermaßen KZ-Geschmack zu erzeugen.

Seit ich mich erinnern kann, war unser Familienleben von der Gegenwärtigkeit des Verfolgungstraumas geprägt. Eigentlich herrschte stets eine gespannte, angstvoll-bedrohliche Atmosphäre, eine vom „Verlust des Weltvertrauens“ (Jean Améry 1977) geprägte Stimmung, nicht nur freitagabends, wenn meine Eltern den üblichen „Schabbes-Krach“ hatten. Nach antisemitischen Ereignissen wurde jeweils die Notwendigkeit der Auswanderung nach Israel thematisiert, wovon keiner in der Familie überrascht schien. Als Kind habe ich meinem Freund gegenüber wohl des öfteren solche allerdings folgenlos bleibenden Ankündigungen erwähnt. Am Ende wurde diese Delegation des Nach-Israel-Gehens von drei der sechs Geschwister zumindest zeitweise übernommen.

Auf das Einhalten der jüdischen Gesetze wurde in unserer Familie großer Wert gelegt. Vor dem Essen wurde ein Segenspruch gesprochen, nach dem Essen folgte das Tischgebet. Die Feiertage wurden gehalten, insbesondere der Schabbat, was bedeutete, dass mein Vater nicht arbeitete und wir weder schreiben oder mit der Schere schneiden noch während der Grundschulzeit den Unterricht besuchen durften. Man aß kein Schweinefleisch, Milch- und Fleischgerichte wurden streng getrennt. Mein Vater, obwohl er mir einmal „gestand“, dass er nicht an die Existenz Gottes glaube, legte bis an sein Lebensende jeden Morgen Tefillin, die Gebetsriemen.

Mir scheint, dass er in diesen Ritualen eine Form gefunden hatte, seiner ermordeten Vorfahren und Geschwister zu gedenken. Auf diese Weise blieb er ihnen treu. Und wir Kinder erfuhren in der gelebten Tradition die Schwere des erlittenen Traumas. Das Ritual enthielt die nonverbale Information über die Verfolgung, das Ritual war Gedenken. Auch ein anderer Überlebender, der bis heute regelmäßig den Gottesdienst besucht, erklärte mir vor einigen Monaten, und zwar eher beiläufig⁴, warum er nicht mehr an Gott glauben könne, nämlich spätestens seit er von seiner Schwägerin erfuhr, was sie im Alter von etwa 14 Jahren, im Schrank versteckt, zu bezeugen hatte: in die Wohnung eingedrungene SS-Männer quälten ihren Vater. Dieser war ein sehr religiöser Mann, ein „Sofer Thora“, jemand, der die ehrenvolle Aufgabe hat, Thorarollen zu schreiben. Sie hätten ihm nicht – wie häufig geschehen – den Bart abgeschnitten oder abrasiert, sondern die Barthaare ausgerissen und ihn dabei mehrfach gefragt, ob er immer noch denke, dass sein Gott ihm beistehe.

Wir Kinder wussten um die besondere Empfindlichkeit unseres Vaters, spürten sehr wohl, wann und was ihm zu nahe ging, wagten nicht, ihn mit Themen zu konfrontieren, die sein labiles Gleichgewicht hätten beeinträchtigen können. Meine Mutter, selbst als sogenannte „Halb-Jüdin“, als „jüdischer Mischling ersten Grades“ diskriminiert und verfolgt stellte sich immer schützend vor ihren Mann. Sie war von Oktober 1944 bis April 1945 aufgrund einer Verordnung des Reichssicherheitshauptamtes in einem der Gestapo unterstellten „erweiterten Polizeigefängnis“ in Hagen-Haspe inhaftiert, um in diesem „Arbeitsumziehungslager“ für die Klöckner-Werke Zwangsarbeit zu leisten, was von willkürlichen Erschießungen und davon begleitet war, dass die „Nicht-Arier“ bei Bombenangriffen nicht in den für die „Arier“ reservierten Bunker durften. Dass sie auf diese Weise auch ihr eigenes Leid zu verbergen trachtete, verstand ich erst viel später; etwa den sicherlich konflikthaften Bruch, den meine Mutter konsequent betrieb, als sie sich vollkommen vom nicht-jüdischen Teil ihrer Verwandtschaft lossagte, weil der ihren Vater – ein Bergarbeiter, der sehr jung „an Staublung“ starb und nach dem ich benannt wurde – zum Glück erfolglos dazu bringen wollte, sich von seiner jüdischen Ehefrau scheiden zu lassen (was vermutlich das Leben meiner Großmutter im Jüdischen Krankenhaus in Berlin, damals ein Gestapo-Gefängnis, gerettet hat).

Und da waren die vier Bilder der beiden Geschwister und Eltern meines Vaters an einer Wand im „kleinen Wohnzimmer“, die in Wirklichkeit gar keine Fotografien waren, sondern Zeichnungen, angefertigt nach Vorlage eines kleinen Fotos, das mein Vater wohl hat retten können. Präsent waren seine ermordeten Familienangehörigen auch in Form der Namen meiner Geschwister, wurden doch Helga, Heinz und Helen nach ihnen benannt.

Kurz, wir Kinder hatten die Aufgabe, Erinnerungen (im Sinne des von Wilfred Bion beschriebenen Containments) zu bewahren und unsere Eltern zu schützen. Die an uns tradierten Delegationen haben wir alle, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise, angenommen.

Rückkehr in den „Heimatort“

Doch jetzt endlich zurück zur „Küchentisch-Szene“ des Jahres 1981. Ein Jahr zuvor, im Sommer 1980, hatte ich während eines psychiatrischen Praktikums am Long Island Jewish Hillside Medical Center in New York, das Buch „Children of the Holocaust“ von Helen Epstein gelesen. Ihre Darstellung der Zweite-Generation-Thematik hatte mich tief beeindruckt, entdeckte ich doch sehr viele Parallelen zur eigenen Geschichte. Zugleich spürte ich, dass Juden gerade in Deutschland doch auch ganz anders lebten als Überlebenden-Familien in den USA oder in Kanada. Die große Nähe zur Tat wie zu den TäterInnen in Deutschland hat auf das jüdische Leben in diesem Land wie auf das Verhältnis der Juden zu den anderen Menschen einen enormen Einfluss.

⁴ Szenische Erinnerungen von Überlebenden treten, zumindest oberflächlich betrachtet, meistens „beiläufig“ in Erscheinung, wie etwa folgende Szene demonstriert, als eine Überlebende beim Kaffeetrinken ganz unvermittelt auf ihre Serviette weist und zu mir sagt: „Genau diese Farbe hatte mein Winterpullover, den ich immer zum Schlittschuhlaufen trug. Ich hatte ihn mitgenommen, als wir deportiert wurden, weil er mich so schön warm hielt. Gleich nach der Ankunft in Auschwitz wurde er mir abgenommen. Ich entdeckte ihn später wieder, allerdings an einer anderen Frau.“ Die „Beiläufigkeit“ dieser Szene ist aber zugleich eine scheinbare. Dies wird deutlich, wenn man die Vorgeschichte unserer Begegnung genauer analysiert. Die Überlebende hatte schon länger in mir ein Gefühl starker Schutzbedürftigkeit erzeugt. So war es für mich selbstverständlich, ihr mein Jackett zu überlassen, als wir einmal vom Regen überrascht wurden. In der Folge war ich gewissermaßen der „Ausgelieferte“, der keine Hilfe erfuhr. Damit konnte ich etwas wahrnehmen, was im Kontext des früheren Ungeschütztseins dieser Überlebenden von Bedeutung ist. Folgerichtig entdeckte sie eine Woche später also die Farbe der Serviette und erinnerte dabei den wärmenden Pullover, den man ihr in Auschwitz abgenommen hatte. Die scheinbare Beiläufigkeit entpuppt sich als bedeutsame Inszenierung einstmals erlebter Schutzlosigkeit.

So hatte ich damals eine sehr folgenreiche Entscheidung getroffen, nämlich meine Diplomarbeit über die Zweite Generation in der Bundesrepublik Deutschland zu schreiben. Mein Vater wusste davon, gesprochen hatten wir darüber wohl kaum.

Am besagten Nachmittag begann mein Vater seine Schilderungen mit der Darstellung seiner Rückkehr nach Sögel, in dieses Dorf im Emsland, in dem bis zu ihrer Deportation am 13. Dezember 1941 nach Riga⁵ über siebzig Juden gelebt hatten. In Sögel besuchte mein Vater eine jüdische Schule, bis zur sogenannten Reichskristallnacht stand dort eine Synagoge, und am Ortsrand befindet sich noch heute ein jüdischer Friedhof, auf dem mein Vater genau an der Stelle beerdigt liegt, die er sich selbst ausgesucht hat.

„Damals“ in Riga habe er mit seinen Eltern und Geschwistern vereinbart, sich in Sögel zu treffen, sollte man „diese Zeit“ überstehen. Deshalb sei es für ihn vollkommen klar gewesen, sich nach der Befreiung auf den Weg in seinen „Heimatort“ zu machen. Darüber habe er „überhaupt nicht weiter nachgedacht“. Erst im etwa 25 Kilometer entfernten Meppen sei ihm wirklich bewusst geworden, dass er möglicherweise niemanden derer jemals wieder treffen würde, die er so gern am Leben gewusst hätte. „Dann habe ich meinen Mut verloren“, meinte er. Und so habe er sehr lange gebraucht, noch die letzten Kilometer zu bewältigen. Am Ortsrand angekommen, bekam er in der dort befindlichen Gaststätte ein Glas Milch: „Die haben mich erst gar nicht wiedererkannt. Und ich mochte doch keine Milch“.

Im Zentrum von Sögel befand sich am Ort der einstigen Synagoge ein Misthaufen; das väterliche Elternhaus direkt nebenan wurde von einer anderen Familie bewohnt; der frühere Nachbar, ein Bäcker, der noch an Juden Brot verkauft hatte, als „Arier“ das schon nicht mehr durften, gewährte ihm Unterkunft; ein anderer Nachbar hielt in einem Hohlraum unter der Treppe seines Hauses eine Thorarolle versteckt, die er aus der schon brennenden Synagoge gerettet hatte.

In einem weiteren kleinen Exkurs möchte ich vom Nazi-Mörder Bernhard Rakers berichten, einem Onkel des gleichnamigen Getränkehandlers, der bis heute meiner Mutter Getränke ins Haus bringt. Dieser ist ebenfalls, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, einige Jahre später in seinen Heimatort zurückgekehrt.

An eine „Szene“ Jahre zuvor kann ich mich noch gut erinnern. Damals kam mein Vater in großer Aufregung nach Hause, rot im Gesicht, aufgelöst, ohnmächtig, sprachlos. Mein Bruder Michael war damals mit im Auto, als mein Vater diesen berüchtigten Nazi auf der Straße entdeckte. Rakers' „Spezialität“ habe darin bestanden, Juden anzuordnen, sich auf den Rücken zu legen, um sie dann mit seinem Handstock zu erwürgen, indem er sich breitbeinig auf die Stockenden stellte.⁶

Mein Vater hielt den Wagen an, er wollte wohl auf ihn los. Michael hielt ihn davon ab, suchte ihn mit den Worten „das bringt doch nichts“ zu beruhigen.

Noch Stunden danach sah ich den Schrecken, der meinem Vater ins Gesicht geschrieben stand.

Miteinander gesprochen haben wir damals nicht. Es hatte auch gar keiner Worte bedurft.

„Küchentisch-Szene“ Teil II: Vor der Befreiung

Neben der Inhaftierung im Ghetto von Riga war mein Vater auch in den Konzentrationslagern Kaiserwald, Salaspils und in Stutthof bei Danzig. Die Familie, zu der er an irgendeinem Punkt den Kontakt verloren hatte, und seine Verwandten sind fast alle ermordet worden.

Aus der Großeltern-Generation gab es zwar eine kleine Zahl Überlebender, doch wie es sich anfühlte, einen „richtigen“ Onkel oder eine „richtige“ Tante zu haben oder gar Cousins und Cousinen, konnte und kann ich mir bis heute nicht vorstellen.

Mein Vater zögerte abermals. Es wurde schwieriger für ihn zu sprechen, wie es mich zunehmend belastete, ihm zuzuhören.

Da sei noch etwas, was er nicht vergessen könne. Er mache sich immer noch Vorwürfe. Wenn er doch nur.

Mein Vater erinnerte sich an die sogenannten Todesmärsche Richtung Westen, deren Ziel es war, die KZ-Häftlinge zu ermorden, bevor sie von den Alliierten befreit werden konnten. Wenn die ausgemergelten, bereits halb verhungerten Häftlinge es nicht mehr vermochten, den nächsten Schritt zu tun und aufgaben, so wurden sie von den Wachhabenden sogleich erschossen. Mein Vater, sein Cousin Walter und der etwa gleichaltrige ebenfalls aus dem Hümmling stammende David de Haas (den ich als 16-Jähriger während meines Austauschschuljahres in den USA ausfindig gemacht und besucht habe; er war ebenfalls Viehhändler) marschierten zusammen. Walter habe sich zunehmend beklagt. Er könne sich nicht mehr auf den Beinen halten. Mein Vater und David haben ihm immer wieder Mut gemacht, ihn zwischen sich genommen und untergehakt. Eine Weile sei das gegangen, bis Walter abermals anfang. Dann sei Walter zusammengesunken und wurde sogleich erschossen.

Nur Minuten später, so mein Vater, haben sich die Wachmannschaften ganz plötzlich aus dem Staub gemacht:

David und er waren befreit worden.

Widerstehen und Authentizität

Zum Glück brach mein Vater hier nicht ab.

Nach einem Moment beiderseitigen Schweigens meinte er, eines wolle er mir unbedingt noch sagen. Damals, als seine Familie den Deportationsbefehl erhalten hatte, sei man den staatlichen Anordnungen gefolgt, ging es um das zulässige Gepäck oder auch darum, sich zum vorgeschriebenen Zeitpunkt am Marktplatz einzufinden. „Für uns war das einfach so.“

Dies, daran glaube er ganz fest, sei heute anders: „Ihr würdet das nicht mehr mitmachen“.

⁵ Fotos dieses Deportationszuges Münster/Osnabrück/Bielefeld sind im Informationszentrum des Berliner Denkmals für die ermordeten Juden Europas ausgestellt.

⁶ Bei der Recherche Bernhard Rakers betreffend fand ich zu meinem Erstaunen heraus, dass der gebürtige Sögeler Aufseher in mehreren Konzentrationslagern war, u.a. in Esterwegen, Sachsenhausen, Auschwitz und Buchenwald. Er gehörte zunächst der SA an, wurde dann Mitglied der SS, avancierte vom SS-Scharführer zum SS-Ober- und zuletzt zum SS-Hauptscharführer. Er sei wegen seiner Brutalität berüchtigt gewesen. Die Tatsache, dass er von einem früheren KZ-Häftling wiedererkannt wurde, führte dazu, dass der erste bundesdeutsche Schwurgerichtsprozess gegen einen Auschwitz-Täter vor dem Landgericht Osnabrück im Jahr 1952/1953 gegen ihn geführt wurde (Renz 2008).

Den Mut aufzubringen, tatsächlich zu widersprechen, wenn es angebracht erscheint, verbinde ich mit seinen Erfahrungen, vor allem aber auch mit seinen Hoffnungen, die er in die Zweite Generation gesetzt hat.

Den Widerspruch wagen berührt jedoch zugleich die Frage, inwieweit man sich in der Lage sieht, den eigenen Vorstellungen entsprechend zu leben, d.h. die Frage nach der Authentizität zu stellen. Ich habe viele Überlebende kennengelernt, die mir sehr authentisch begegneten. Im Widerspruch zu manchen Darstellungen in der Fachliteratur habe ich Überlebende gerade nicht als abgestumpfte Menschen kennengelernt, die mechanisch dem Erwartbaren folgten, sondern in einer Weise authentisch waren, die man bei den meisten „Durchschnittsmenschen“ wohl vergeblich suchte.

Möglicherweise haben Menschen, die durch eine nicht vorstellbare Hölle gingen (vgl. Anja Lundholm 2007), einen besonderen Sinn für das Wesentliche, das Notwendige, das, worauf es im Leben wirklich ankommt.

Vergiftete Generativität

Schließen möchte ich mit einem Themenbereich, an dem sich die im Historikerstreit infrage gestellte „Einzigartigkeit“ der Shoah wie auch die generationenübergreifende Trauma-Tradierung in Deutschland in ganz besonderer Weise manifestiert, nämlich mit der Frage nach den Kindern und Kindes-Kindern der Überlebenden, der Frage nach der Generativität. Es ist die Existenz von Kindern, die unbewusst für die tiefe Sehnsucht nach einem unendlichen Leben und nach der Fortführung von Traditionen der Völker steht. Im Kontext der nationalsozialistischen Judenvernichtung spreche ich diesbezüglich von einer „vergifteten Generativität“ (Grünberg 2007), ist es den Nazis doch „gelingen“, bei den Überlebenden wie bei deren Nachkommen in das kostbarste Gut der Menschen einzugreifen, nämlich in die Visionen ihrer Zukunft. Die Juden sollten sich nicht „nur“ wie Ungeziefer fühlen, das ausgerottet werden muss – Zyklon B war ein Blausäurepräparat zur Schädlingsbekämpfung –, sondern ihnen wurde auch vermittelt, dass es eine Zukunft der Menschheit nur ohne Juden geben werde. So gab es Überlebende, die sich nichts weniger vorstellen konnten, als nach der Befreiung Kinder zu gebären, und zugleich solche, die im Gegenteil alles taten, um Hitler eben diesen Triumph „der Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa“ nicht zu „gönnen“.

Vermutlich gab und gibt es keinen einzigen KZ-Überlebenden, der nicht Zeuge der Ermordung jüdischer Kinder wurde. „Etwa ein viertel aller ermordeten Juden Europas waren Kinder“ (Tych et al. 2008, 37). In Polen lebten vor dem Krieg etwa eine Million jüdischer Kinder bis zum Alter von 14 Jahren. Von ihnen überlebten nur etwa 5.000, d.h. ein halbes Prozent (ebenda). Mütter mit Kindern waren die ersten, die „ins Gas gingen“. Es gibt unzählige Berichte darüber, wie man auf barbarische Weise Kinder

ermordete, „am besten“ vor den Augen ihrer Eltern. Dies etwa mit dem Hinweis auf die grausame „Natur“ der Menschen abzutun oder damit, es habe unter den nationalsozialistischen Peinigern jeweils einen gewissen Prozentsatz von Sadisten gegeben, die ihre Opfer grausam quälten, verkennte die tiefe Wirkung, die diese Art des Mordens tatsächlich „erzielte“.

Eine Überlebende berichtete mir in einer eigentümlichen „Szene“, als nämlich im Nebenraum jiddische und israelische Lieder gespielt und gesungen wurden, von einer grausamen Beobachtung im Ghetto von Krakau. Sie sah, wie das dortige Waisenhaus liquidiert wurde, sie sah mit an, wie sich die Nazis „Arbeit“ ersparten, indem sie Babys und kleine Kinder aus den oberen Stockwerken einfach aus dem Fenster warfen.

[Anja Lundholm (2007) beobachtete folgende „Szene“: ein KZ-Aufseher in Ravensbrück wendet sich väterlich freundlich einem kleinen Kind zu, spielt mit ihm „Hochwerfen“, bevor er es an der „Kremowand“ zerschmettert. „Ohne die leiseste Gemütsbewegung trägt der Mörder die kleine Leiche zu seiner Mutter hinüber, hält sie an den Füßen gepackt wie ein geschlachtetes Huhn. Schlenkerbewegungen seines Arms zeigen uns: da, wo eben noch ein bezauberndes Gesichtchen war, ist nichts mehr. Eine flache, blutige Masse. Er wirft der Frau mit verachtungsvoller Geste ihr Kind vor die Füße, hindert sie daran, über ihm zusammenzubrechen, indem er sie roh zum Ort des Verbrechens zerrt, auf den widerwärtigen Fleck zeigt und kommandiert: Erst saubermachen. Dann kannst du flennen!“ (a.a.O., 315).]

Mein Vater erzählte einmal in einem Interview, wie er noch gerade der Ermordung durch einen berüchtigten Lagerkommandanten entkam, aber Zeuge einer „Szene“ wurde, die ihn tief erschütterte. Ein Häftling, dem es nicht so schnell wie meinem Vater gelungen sei, irgendeine „Beschäftigung“ vorzutauschen, wurde „mit freundlicher Stimme“ nach seinem Namen gefragt und danach, woher er stamme. Darauf der Kommandant: „Bück dich“, dann: „Bück dich tiefer“. Sodann habe der Lagerkommandant sein Opfer in unmittelbarer Nähe zu meinem Vater erschossen: „Du hast dich nicht tief genug gebückt“.

Was meinen Vater danach so sehr beschäftigt habe, sei, „dass dieser Verbrecher sein Opfer nicht mal angeschaut hat, er hat nach dem Schuss nicht mal geschaut, ob der Häftling wirklich tot ist, so wie das selbstverständlich jeder Jäger macht, der ein Tier erlegt hat“...

Die Juden sollten begreifen, dass sie nicht einmal den „Wert“ eines Tieres hätten.

Um etwas Ähnliches ist es wohl im Lager Kaltschund gegangen, das Aharon Appelfeld (1999) in seiner „Geschichte eines Lebens“ erwähnt. Appelfeld bezeugt den Bericht eines Überlebenden aus diesem Arbeitslager, in dem nur Platz für kräftige Männer gewesen sei. Frauen nahm man nicht auf; alte Frauen wurden gleich nach ihrer Ankunft

ermordet. Als Jugendlicher erfuhr Appelfeld, was sich in Kaltschund zugetragen hatte. Er hörte vom dortigen „Zwinger, den man, ‚Käfer‘ nannte [...], ein Gehege für Schäferhunde, die als Wachhunde und zum Jagen gehalten wurden. Vor allem für die Jagd auf Menschen“ (S. 77). Der Lagerkommandant hatte angeordnet, wie man mit den ins Lager eingelieferten kleinen Kindern zu verfahren habe: man zog sie aus und warf sie den Hunden zum Fraß vor... Einige seien nicht gleich gefressen worden, sondern hätten bis zu ihrem Tod zuweilen Wochen im Zwinger „gelebt“; zwei Kinder haben „den Käfer“ überlebt. – Der Zwinger, so Appelfeld, habe das Arbeits- zum Todeslager gemacht: „In Kaltschund gab es keine Hinrichtungen, aber der Anblick der kleinen Kinder, die in den Tod gestoßen wurden, war unser Bankrott. Kein Wunder, daß es in Kaltschund viele Selbstmorde gab“ (ebd., 78). Solchen Schilderungen kann man sich nicht entziehen. Man wird von ihnen förmlich „angesteckt“. So erstaunt es sicher nicht, dass ich während der Beschäftigung mit diesem letzten Teil meines Beitrags in der Nacht aus einem Alptraum erwachte, in dem meine jüngere Tochter bei einem Sturz ums Leben kam. Für meinen Vater war die Sicherheit seiner Kinder vielleicht das Wichtigste. Mit seinen letzten Worten, die er am Vorabend seines Todes zu mir sprach, verabschiedete er sich von mir. Er hat gesagt: „Pass‘ auf die Kleine auf“.

Literatur

- Améry, Jean (1977), *Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten*. Stuttgart: Klett, 1980
- Appelfeld (1999), *Geschichte eines Lebens*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2006
- Argelander, Hermann (1967),
- Argelander, Hermann (1968), *Der psychoanalytische Dialog*. *Psyche* 22, 326-339
- Argelander, Hermann (1970a), *Das Erstinterview in der Psychotherapie*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
- Argelander, Hermann (1970b), *Die szenische Funktion des Ichs und ihr Anteil an der Symptom- und Charakterbildung*. *Psyche* 24, 325-345
- Argelander, Hermann (1979), *Die kognitive Organisation psychischen Geschehens*. Stuttgart: Klett-Cotta
- Giordano, Ralph (1987), *Die zweite Schuld oder Von der Last, Deutscher zu sein*. Hamburg: Rasch und Röhring
- Grünberg, K. (1997), *Schweigen und Ver-Schweigen. NS-Vergangenheit in Familien von Opfern und von Tätern oder Mitläufern*. *psychosozial* 20, Heft 2 (Nr. 68), 9–22
- Grünberg, K. (2000a), *Liebe nach Auschwitz. Die Zweite Generation*. Tübingen: Edition diskord
- Grünberg, K. (2000b), *Zur Tradierung des Traumas der nationalsozialistischen Judenvernichtung*. *Psyche* 54, 1002–1037
- Grünberg, K. (2001), *Vom Banalisieren des Traumas in Deutschland. Ein Bericht über die Tradierung des Traumas der nationalsozialistischen Judenvernichtung und über Strategien der Verleugnung und Rationalisierung der Shoah im Land der Täter*. In: K. Grünberg & J. Straub (Hrsg.) (2001), *Unverlierbare Zeit. Psychosoziale Spätfolgen des Nationalsozialismus bei Nachkommen von Opfern und Tätern*. Tübingen: Edition diskord, 181–221
- Grünberg, K. (2004a), *Vom Mythos objektiver Forschung nach Auschwitz. Unbewußte Verstrickungen in die NS-Vergangenheit bei der Untersuchung psychosozialer Spätfolgen der Shoah in der Bundesrepublik Deutschland*. In: M. Leuzinger-Bohleber, H. Deserno, S. Hau (Hrsg.), *Psychoanalyse als Profession und Wissenschaft*. Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer, 285–303
- Grünberg, K. (2004b), *Erinnerung und Rekonstruktion. Tradierung des Traumas der nationalsozialistischen Judenvernichtung und Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland*. *Trumah. Zeitschrift der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg*, 14, 37-54
- Grünberg, K. (2007), *Contaminated Generativity. Holocaust Survivors and their Children in Germany*. *The American Journal of Psychoanalysis* 67,82-96
- Jacobs, Theodore J. (1986),
- Klüwer, Rolf (1983), *Agieren und Mitagieren*. *Psyche* 9, 826-837
- Klüwer, Rolf (1995),
- Kogan, Ilany (2000),
- Leuschner, W. (2004), *Dissoziation, Traum, Reassoziation*. In: A. Eckhardt-Henn & S.O. Hoffmann (Hrsg.), *Dissoziative Bewusstseinsstörungen. Theorie, Symptomatik, Therapie*. Stuttgart/New York: Schattauer, 60–73
- Lorenzer, Alfred (1970a), *Kritik des psychoanalytischen Symbolbegriffs*
- Lorenzer, Alfred (1970b),
- Lundholm, Anja (2007), *Höllentor*. München: LangenMüller
- Renz, Werner (2008), *Selektive Sühne. Anmerkungen zum ersten westdeutschen Prozess gegen einen Auschwitz-Täter*. In: *Newsletter zur Geschichte und Wirkung des Holocaust. Informationen des Fritz Bauer Instituts*. Newsletter Nr. 32, 17.Jg., 10-14
- Tych, Feliks, Alfons Kenkmann, Elisabeth Kohlhaas, Andreas Eberhardt (2008) (Hg.), *Kinder über den Holocaust. Frühe Zeugnisse 1944-1948*. Berlin: Metropol

Сценические воспоминания Шоа

Перенос травмы на последующие поколения

В моей статье я хотел бы остановиться на отдаленных и трансгенерационных последствиях национал-социализма, систематическом преследовании и поставленном на конвейер уничтожении евреев Европы с перспективой жертв и их потомков. Вначале я представлю – в очень краткой форме в виде набросков – некоторые предпосылки, которые являются существенными для понимания нашей работы – психосоциальные отдаленные последствия нацистских преследований у переживших Шоа (см. Грюнберг 2000а и б, 2004а и б). Рассматривая сторону палачей и их пособников, эти предпосылки в равной степени относятся к культуре памяти, практикуемой в Германии и в которой в последние годы происходят заметные изменения.

Затем мне бы хотелось представить концепцию «сценических воспоминаний», вначале в образе некоторых теоретических комментариев. «Сценические воспоминания», которые не сводятся к вербальному опосредованию, позволяют выявить латентные значения работы по воспоминаниям с двух точек зрения: во-первых, в «сценах», о которых люди сознательно или бессознательно вспоминают, они собирают воедино сложный зачастую отягощающих их опыт в очень точной форме. Во-вторых, в представлении этих попыток опосредования появляются также и непроизвольные, подсознательные «сцены», в которых как индивидуальные, так и коллективные процессы памяти сгущаются психодинамическим, впечатляющим образом.

В своей статье я бы хотел поделиться с вами сценическими воспоминаниями в одной пережившей Шоа семье, а именно (но не исключительно) в моей. Одно такое воспоминание, «сцена на кухне» с моим отцом, на чем я подробно остановлюсь позднее, пробудила во мне встреча с одной 23-летней студенткой. Сцена на кухне произошла как раз тогда, когда мне было столько же лет, сколько и студентке. Мой отец, в свою очередь, сталкивался со своими собственными воспоминаниями, которые происходили в этом возрасте в его собственной жизни.

Некоторые сцены я представлю самым подробным образом, но при этом буду делать отступления на теоретические аспекты или информацию, которые помогут понять, какое значение один конкретный случай может иметь в семейном контексте.

Закончу я свою статью некоторыми выдержками по теме «отравленная генеративность» (Грюнберг, 2007). Уничтожение евреев Европы национал-социалистами имеет особые «сценические воспоминания» и означает, что наверняка, не было и нет выживших евреев, которые стали бы свидетелями убийств еврейских детей. Евреи должны были понять, что для них самих и для их народа не было никаких шансов на будущее. И выжили они вопреки всем ожиданиям и именно этот экзистенциальный опыт тем или иным способом евреи пытаются передать своим детям, которые поэтому поневоле становятся носителями «отравленной генеративности».

В целом я бы хотел противопоставить свою статью нарастающей тенденции к индифференцированию аналитических категорий. Если все, что угодно, обозначается словом «травматичный», если все привязывается к термину «Холокост»¹, то тогда мы вынуждены конфронтировать с «банализацией травмы в Германии» (Грюнберг, 2001). Задачей науки является определить роль Шоа в соразмерном отношении к другим событиям истории, как прошлым, так и современным. Истина аффективного значения этих событий должна быть адекватно учтена.

Я начну с четырех посылок:

1. Национал-социалистическое преследование и убийство европейских евреев оставило у выживших людей неизгладимые глубокие душевные следы, которые нельзя ни «устранить», ни психически их «интегрировать». Даже спустя десятилетия после освобождения у выживших остаются воспоминания, подобные прочно присутствовавшим инородным телам, с которыми приходится жить как днем, так и ночью, хотя бы они этого или нет. Призывы некоторых психотерапевтов к кажущемуся «исцелению» или «интеграции» должны пониматься, скорее, как манифестация их самозащиты, некоего сопротивления представить себе, визуализировать реальность экстремальной травмы. Чтобы предотвратить недоразумения, психотерапевты и психоаналитики должны были гораздо раньше и совершенно по-другому быть готовыми к встречам с пережившими Шоа и к работе с этими людьми. Потому что только когда человек готов понять и принять, что речь здесь идет не об исцелении, могут быть разработаны успешные психотерапевтические

¹ Zur Problematisierung der Begriffe Holocaust, Shoah, dritter Churb'n, nationalsozialistische Judenvernichtung etc. vgl. Grünberg (2000a, 15f).

мероприятия. Так, например, мы уже много лет работаем в Треффпункте для переживших Шоа, в Еврейском консультационном центре, а также с так называемыми выжившими после Шоа детьми (Child Survivors).

2. Тот факт, что пережившие Шоа люди десятилетиями оставались один на один со своими страданиями, привел к тому, что в соответствии с концепцией «последовательной травматизации» Ханса Кейлсона (1979), у них появились новые повреждения. По Кейлсону, следует различать не только различные фазы опыта преследования, но также и срок после освобождения, который имеет важное значение для травматических последствий преследования. Это включает в себя также общественные обстоятельства, с которыми выжившие сталкивались и будут сталкиваться в повседневной жизни (см. также Джордано 1987: «Die Zweite Schuld»). В Германии к этому можно отнести безнаказанность большинства нацистских преступников, заключение мирного договора на могилах эсэсовцев в Битбурге, споры историков, речь Мартина Вальзера на вручении ему премии мира или сегодняшние попытки обезвреживания немецкой истории разговорами о «бомбовом холокосте». Все эти примеры наглядно показывают, к сожалению, смену парадигм, ведущую к тому, что в связи с военными разрушениями, бегством и изгнанием немцы являются истинными жертвами национал-социализма...

3. При этом ни в коем случае не следует полагать, что те, кто во время войны были детьми – сыновьями или дочерьми нацистских преступников и их приспешников – не страдали: как раз наоборот, дети наверняка страдали – уже доказано, что доступ к собственным страданиям может быть условием причинения страдания другим – причем не «только» в условиях прямого действия войны или факта потери родителей, братьев и сестер или других родственников, а как раз то, что их родители несут ответственность за свои действия или, наоборот, бездействие. Это действует и тогда, когда к этим ссылкам обращаются подсознательно. «Люди-господа» наносили вред в конце концов также и своим собственным детям (Вольфганг Лейшнер говорит в этой связи о произвольном намерении детоубийства). И после краха «Третьего Рейха» эти матери и отцы не хотели и до сих пор не хотят ничего и ни о чем знать... В отличие от того, как это часто утверждается, эти родители не вытеснили свои переживания, а замалчивают или умаляют свое собственное участие в национал-социализме (см. Грюнберг 1997). Они обманывали и – как это часто можно узнать в многочисленных

исследованиях и от психотерапевтов – били своих детей (что, безусловно, для этой группы не является чем-то экстраординарным). В некоторых семьях существовали ритуалы наказаний, от которых бросает в дрожь. Многих подростков мучал вопрос – как таких склонных к насилию лжецов – как они уже определили своих родителей – можно любить, уважать и как им в конце концов, можно оказывать доверие. Если свести все к лаконичной «формуле», то можно констатировать, что дети жертв жили прежде всего со страхом самим стать жертвами, в то время как отпрысков палачей и их приспешников и приспешниц ждала опасность имманентной готовности к пособничеству преступлений, смиренному подчинению или адаптации в том случае, если они отказывались от проведения откровенного и болезненного анализа этих процессов.²

4. В течение продолжительного времени мы в Германии сталкиваемся с попытками устранения «недавнего прошлого». Это стало особенно заметно во время тематизирования 50-ой годовщины поражения Германии в войне, которое для жертв, оставшихся в живых, означало освобождение; появился особый вариант «преодоления прошлого», в частности, изъятие темы национал-социализма для того, чтобы заниматься исключительно «войной» (при этом, само собой разумеется, не следует исключать важность и этой темы). Решающий дискурс, критическое рассмотрение темы вины и ответственности будет, разумеется, присутствовать. При этом будет умаляться, а порой и отрицаться национал-социализм; остается только II мировая война.

Встреча с 23-летней студенткой

Несколько месяцев назад одна 23-летняя студентка спросила меня в рамках подготовки к конференции, что, собственно, означает понятие «сцены» в названии конференции. Я попытался ей подробнее объяснить значение бессознательных «сцен» во время первичного психоаналитического разговора. «Искусство» психоаналитика, объяснил я, состоит в том, что в каждом человеке особенно и прежде всего бессознательно в его отношениях с другими людьми психодинамически, а также на физическом уровне проявляется его личность. Индивидуальная особенность проявляется уже при первом контакте с пациентом. Её надо хотя бы частично понять и выделить с тем, чтобы этим, для многих пациентов необычным способом, соприкоснуться с их подсознательным. Это, в свою очередь, открывает пациенту возможность более глубокого самопознания, возможность узнать о себе гораздо больше (и передать эти знания другим). Я упомянул классические работы Германа Аргеландера

² Im Sinne einer Abwehr dieser Angst existiert eine Projektion von Täterschaft auf die Juden, die auch als Angst vor Rache oder Bestrafung der Deutschen durch die Juden verstanden werden kann. Im antisemitischen Klischee der Macht der Juden erscheinen die Juden als Täter, denen die Deutschen zum Opfer fallen.

(1967, 1968, 1970a,b, 1979) по «сценам» при первичном психоаналитическом интервью и поговорил с ней об Альфреде Лоренцере (1970a, 1070b), который выделил понятие «сценического понимания» и был последним, кто своими работами расширил и проиллюстрировал примерами динамику конфликтов человеческих влечений в контексте социума, общества.

В ходе разговора со студенткой мы потихоньку приблизились к теме психосоциальных последствий Шoa. Я рассказал ей о многочисленных беседах с пережившими Шoa, которые считали, что их не понимали тогда, когда речь шла о временах национал-социализма. Это было неудивительно, ведь существуют травматический опыт, как его в свое время точно сформулировал Ханс Кейлсон: «когда простого языка не хватает» (Кейлсон, 1984, 1998).

Экстремальная травма отнимает непосредственное речевое опосредование, поскольку не существует возможности когерентно сохранить в памяти события, происходившие в годы преследования. Как довербальный феномен траматические события очень часто хранятся в области памяти, недоступной для осознанных воспоминаний, и непроизвольно проявляются в действии (Фрейд обозначает это, как «агирование» - действие, поступок). Эти действия следует отделять от «ролевого исполнения» (как выражения проективных идентификаций; Теодор Дж.Якобс 1986; см. Коган 2000), либо от «диалога действий» (Рольф Клювер 1995). Поэтому при встречах с пережившими Шoa возникают выразительные «сцены», которые надо расшифровывать таким образом, что травма национал-социалистического преследования находит свое выражение в определенных действиях, в мимике и жестах, в интонации, в кошмарах или определенном взгляде, в трауре, в слезах, в столах или крике, в депрессии, приступе агрессии, в ригидности, в боязливом испуге или в тяжелых, неопикуемых приступах паники. В таких сценах проявляются различные типы отношений, из которых прежде всего детям выживших очень трудно выйти. Именно детям жертв вменено в обязанность склеить воедино сценически представленные фрагменты экстремальной травмы родителей. Они должны определенным образом создать концепции, с помощью которых в основном невербальные выступления их травмированных родителей, сценически выразившие свои фрагментарные воспоминания, можно склеить в единое целое. Иногда сцены концентрируются и доминируют в определенной семейной «атмосфере», о чем надо тоже сказать.

Уже много лет, продолжал я разъяснять студентке, бросается в глаза, что особенно в Германии так сложилось, что вербальное опосредование

значительных событий в жизни должно стоять в центре дискурса. Следующий шаг делается быстро: все старики «объединяются», и выясняется, что все они – жертвы, палачи, пособники – очень мало рассказывали о своем «тяжелом опыте в трудное время». Большинство, как выясняется, молчали; это, в конце концов, «человечно» и «выражает вытеснение». Вполне логично, что и последующие поколения конфронтируют с общим наследием: в конце концов мы все находились в одной лодке...

То, что это никак не соответствует действительности, я пытался представить и доказать в многочисленных выступлениях и публикациях. В то время как лежащее на поверхности молчание переживших Шoa может быть интерпретировано, как попытка защитить себя и других людей от одолевающих, постоянно возвращающихся невыносимых воспоминаний, нацистские преступники и их пособники молчат (замалчивают) по совсем другим причинам – из-за их как реального, так и ментального участия в нечеловеческой системе национал-социализма (Грюнберг 1997). Они молчат (замалчивают) или пытаются сделать так, чтобы остаться в стороне от тогдашних деяний и расплаты за них. Очень многие преуспели в этом: большинство нацистских преступников остаются - как уже было сказано – безнаказанными. Они просто ускользнули от вопроса вины.

Кажущееся молчание переживших Шoa, напротив, в действительности представляет среду, в которой их травматическая история преследования впервые «раскрывается» и, прежде всего, сценически. Смотря по обстоятельствам, содержащиеся в них невербальные послания, как непрерывно возникающие инородные тела, постоянно вторгаются в жизнь бывших жертв. Их необходимо расшифровать с тем, чтобы создать предпосылки для любой попытки реконструкции этого прошлого. При этом существует, как я объяснял моей терпеливой слушательнице, дополнительные усложненные обстоятельства: экстремальная травма разрушила защитную оболочку жертв даже у людей, которые из-за стабильных объектных отношений раннего детства сохранили первичное доверие к окружающему их миру. Травма разрушает основы доверия, ей присуща деструктивная сила разбивать даже надежные отношения. Ни в момент траматического события, ни по прошествии определенного времени адекватно «отобразить» суть экстремальной травмы не предоставляется возможным. Такой процесс диссассоциации был бы неизбежен (см. Лейшнер 2004). Речь здесь идет о непроизвольных попытках жертвы перенести все пережитое. Некоторым преследовавшимся это не удалось, они на этом «сломались». В концлагерях были

так называемые «мусульмане», которые выглядели, как обтянутые кожей живые скелеты. Другие пытались, несмотря на длившиеся годами преследования, ориентироваться на то, что позволяло выжить хотя бы в самый ближайший момент. Фрагментирование трагического опыта продолжилось и в жизни «после» Шоа; это «после» прекращалось только со смертью. И еще: это не прекращается в своем поколении, а неизбежно передается последующим. Поэтому Второе поколение имеет очень трудную задачу: бережно обходиться со своими родителями, нуждающимися в защите и не нарушать шаткое семейное равновесие; при этом, с другой стороны, не препятствовать развитию собственной идентичности или совсем не отказаться от нее.

Студентка и я надолго замолчали.

Невыносимая «музыка» во время ночной автобусной поездки

И она начала рассказывать мне, вначале несколько задумчиво, об одном событии, которое ее очень занимало. Некоторое время назад она отправилась в поездку в Алжир со своим другом и лучшей подругой. В Алжире они прекрасно себя чувствовали, поскольку подруга сама была оттуда родом и благодаря ей поездку удалось сделать еще более интересной. Однажды во время поездки ночью они ехали в автобусе. Многие спали, но ее подруга никак не могла уснуть. Причиной этому была громкая музыка. Она попыталась было не обращать внимания на громкие звуки, но ничего не получалось. Даже когда она повязала на голову платок. Музыка, а речь шла об исламской религиозной музыке, была для нее совершенно невыносимой. Внезапно она вскочила со своего места, бросилась к водителю автобуса и заорала на него так, что разбудила весь автобус. Она потребовала от водителя немедленно выключить музыку, она совершенно себя не контролировала, была вне себя. «Такого со мной никогда раньше не было. Я казалась чужой даже самой себе» сказала она.

Только позже у нее появилась идея, которая имеет отношение к ее прежнему жизненному опыту в фундаменталистской стране. Она появилась на свет в тюрьме, где она провела первые месяцы своей жизни, поскольку ее родители были арестованы по политическим мотивам. Она не имела никаких отчетливых воспоминаний о том времени. Но потом – это и была ее идея – она попыталась узнать, могла ли в тюремных камерах транслироваться такая музыка. И именно эта догадка нашла свое подтверждение.

Со своим отцом за кухонным столом

Я был очень впечатлен описаниями студентки и толкованием «инсценировки» ее произвольных воспоминаний. Я подумал: и это рассказывает мне 23-летняя студентка.

И вдруг в моей памяти всплыло одно воспоминание из моих собственных студенческих времен.

В 1981 году во время каникул я гостил у своих родителей на севере Германии. Однажды днём я сидел за большим кухонным столом, где наша семья, пятеро моих братьев и сестер, всегда обедали и ужинали. Позади меня на полке стоял радиоприемник, по которому мой отец – что для меня всегда было непонятно – слушал футбольные репортажи.³ Мой отец, родившийся в 1922 году, также, как и его отец, был скотопромышленником. Он подсел ко мне. «Скажи-ка, а сколько тебе, собственно, лет?» «Двадцать три» – ответил я с легкой усмешкой, поскольку отец естественно знал, сколько мне было лет. Его мнимая забывчивость была неосознанной, кратковременной попыткой убежать от самого себя, от того, что означал этот возраст для него.

Немного помедлив, он рассказал мне, что ему самому пришлось испытать в возрасте двадцати трех лет.

Перед тем, как я продолжу свой рассказ, мне необходимо довести до вас информацию, которая имеет значение для понимания сцены «на кухне». Одновременно я бы хотел передать вам некоторые сцены из жизни моей семьи, которые, все вместе взятые, позволят передать ту атмосферу, которая царила в нашей семье. Только таким образом я смогу показать вам, какие важные многочисленные процессы постоянно накладываются друг на друга в обоих поколениях, чтобы жить с невыносимой историей.

Мой отец принадлежал к группе тех людей, переживших Шоа, которые десятилетиями ничего не рассказывали о своем опыте выживания, во всяком случае, это не происходило в устной форме.

Когда у нас были в гостях другие люди, тоже пережившие Шоа, все было по-другому. Между собой они разговаривали о «лагерных временах» и можно было услышать их смех, когда рассказывалась какая-нибудь смешная история «из лагеря». Мой отец вообще был не только умным человеком, но и обладал прекрасным чувством юмора, которое, к сожалению, в последние годы его жизни, наполненные травмирующими воспоминаниями, все чаще покидало его. Нацисты не позволили ему получить хорошее образование, иначе, как он мне говорил, «он бы наверняка закончил гимназию».

Мой отец практически ежечасно слушал новости: «ну-ка, потише вы там!» – ругался он, когда мы слишком шумели. Он регулярно читал «Шпигель», что для

³ Nachdem ich das Interesse meines Vaters für den Fußball assoziativ anführte, fiel mir doch auch ein tieferer Grund ein, weshalb mir dieser Einfall kam. Er hörte bzw. schaute sich die Spiele eher ruhig-gelassen an. Als ich ihn während eines Länderspiels einmal fragte, zu wem er eigentlich „halte“, meinte er etwas verlegen, er wünsche sich, dass „die Jeckes“ (die Deutschen) gewinnen. Seine Distanz wie seine Nähe zu ihnen war unausgesprochen ein beständiges Thema.

скотопромышленника было уже довольно необычно. Хотя я в принципе принадлежу к той половине своих сестер и братьев, которые считались «маминными детьми», чувство черного юмора я унаследовал как раз от своего отца (в делах продажи скота я был гораздо менее успешным). Отец работал очень много до тех пор, пока сразу же после его 70-летия у него не случился инфаркт. Отец всегда был нетерпеливым, даже когда он ел. По окончании еды он моментально вскакивал на ноги со словами «Вас же еще на горшок высадить надо!» или «пора заняться финансовыми махинациями!», «за дело!» Только когда мы ели вне дома, он был вынужден подолгу ждать нас. Чтобы ускорить процесс ухода домой, он иногда говорил, причем так громко, что во всем ресторане это было хорошо слышно: «Евреи, на выход!».

И я был практически единственный, кто мог смеяться вместе с ним.

Мой отец ел все, кроме блюд, в которых содержался тмин, который напоминал ему вкус супа в концентрационном лагере. Он ел даже мой овощной суп, который я в 16 лет приготовил по рецепту из поваренной книги. «Зубчик чеснока» в книге я понял неправильно и положил в суп всю головку. В то время как все остальные суп есть отказались, отец заметил: «в лагере приходилось есть и на такое» и суп съел. И все сразу поняли, о чем идет речь.

Тмин в качестве специи стал из-за метонимии (замены слов «по смежности», образ, обозначающий нечто в переносном смысле, когда качества обозначающего не имеют напрямую ничего общего с качествами обозначаемого) синонимом жутких условий в концентрационных лагерях. Даже для нас, детей, казалось, что вкус тмина определенным образом создает вкус концлагеря.

С тех пор, как я себя помню, на жизнь нашей семьи был наложен отпечаток травмы преследования. На самом деле напряженная, боязливо-угрожающая атмосфера, настроение «потери веры в человечество» (Жан Амери 1977) царствовала не только в пятницу вечером, когда мои родители устраивали обычный «шаббатная суета».

После очередных антисемитских выступлений постоянно возникал вопрос об отъезде в Израиль, что никого в семье особо не удивляло. Ребенком я часто сообщал своему другу – и каждый раз за этим ничего не следовало – что мы вот-вот уедем. В конце концов это миссию уехать в Израиль трое из шестерых детей в семье по крайней мере на какое-то время осуществили.

В нашей семье очень серьезно относились к соблюдению еврейских законов. Перед едой читалось благословление, после еды – застольная молитва. Соблюдались праздники, особенно Шаббат, что

означало, что отец не работал, мы ничего не писали и не вырезали ножницами, а во время начальных классов не ходили на уроки. Мы не ели свинину, молочное и мясное строго разделялось. Мой отец, хотя он как-то признался мне, что в Бога не верит, до самого конца жизни каждое утро накладывал тфиллин, ремешок для молитвы.

Мне кажется, что в этом ритуале он нашел своеобразную форму поминания своих убитых предков, братьев и сестер. Так он оставался им верен. А мы, дети, были живыми свидетелями тяжести полученной травмы. Этот ритуал нес в себе бессловесную информацию о годах преследования, ритуал был своего рода поминанием.

Один из людей, переживших Шоа, который и до сегодняшнего дня регулярно посещает синагогу, объяснил мне несколько месяцев назад, как бы случайно, почему он больше не может верить в Бога. Это началось с того события, которое испытала его золовка, когда ей было примерно 14 лет, прячась в шкафу в собственном доме: ввалившиеся в дом эсэсовцы издевались над ее отцом. Ее отец был очень религиозным человеком, сойфером – тем, кто имел почетное право писать свитки торы. Эсэсовцы не сбрили и не обрезали ему бороду, как об этом часто писали, они выдергивали у него из бороды по одному волоску и при этом постоянно спрашивали его, верит ли он еще в то, что Бог – на его стороне.

Мы, дети, хорошо знали об исключительной чувствительности нашего отца, чувствовали, когда лучше не касаться таких тем, чтобы не нарушать и без того хрупкое состояние его души. Моей мать, как она сама себя называла «полу-еврейка», как «еврейскую помесь первой степени» также дискриминировали и преследовали – с октября 1944 года по апрель 1945 она по распоряжению Главного управления имперской безопасности, находилась в гестаповской «расширенной тюрьме» в Хаген-Хаспе, и работала в «трудовом исправительном лагере» на фабрике Клокнер. Лагерь был известен постоянными дикими расстрелами и тем, что «неарийцам» запрещалось во время воздушных налетов прятаться в бомбоубежищах, предназначенных исключительно для «арийцев». Мать всегда защищала своего мужа. То, что она таким образом стремилась скрыть и своё собственное горе, я понял лишь гораздо позже; несомненно сопряжённый конфликтами разрыв отношений, который моя мать предприняла, когда она полностью отказалась от нееврейской части своих родственников, потому что они пытались, к счастью безуспешно, повлиять на ее отца, умершего очень рано от пневмонии и в честь которого назвали меня, развестись со своей еврейской женой. (Что, вероятно, спасло жизнь моей бабушки в еврейской больнице в

⁴ Szenische Erinnerungen von Überlebenden treten, zumindest oberflächlich betrachtet, meistens „beiläufig“ in Erscheinung, wie etwa folgende Szene demonstriert, als eine Überlebende beim Kaffeetrinken ganz unvermittelt auf ihre Serviette weist und zu mir sagt: „Genau diese Farbe hatte mein Winterpullover, den ich immer zum Schlittschuhlaufen trug. Ich hatte ihn mitgenommen, als wir deportiert wurden, weil er mich so schön warm hielt. Gleich nach der Ankunft in Auschwitz wurde er mir abgenommen. Ich entdeckte ihn später wieder, allerdings an einer anderen Frau.“ Die „Beiläufigkeit“ dieser Szene ist aber zugleich eine scheinbare. Dies wird deutlich, wenn man die Vorgeschichte unserer Begegnung genauer analysiert. Die Überlebende hatte schon länger in mir ein Gefühl starker Schutzbedürftigkeit erzeugt. So war es für mich selbstverständlich, ihr mein Jackett zu überlassen, als wir einmal vom Regen überrascht wurden. In der Folge war ich gewissermaßen der „Ausgelieferte“, der keine Hilfe erfuhr. Damit konnte ich etwas wahrnehmen, was im Kontext des früheren Ungeschütztseins dieser Überlebenden von Bedeutung ist. Folgerichtig entdeckte sie eine Woche später also die Farbe der Serviette und erinnerte dabei den wärmenden Pullover, den man ihr in Auschwitz abgenommen hatte. Die scheinbare Beiläufigkeit entpuppt sich als bedeutsame Inszenierung einstmals erlebter Schutzlosigkeit.

Берлине, которая в то время была тюрьмой гестапо). И на стене в «маленькой гостиной» висели четыре фотографии братьев и сестер и родителей моего отца, которые на самом деле были не фотографиями, а рисунками, выполненными с маленьких фотографий, которые моему отцу удалось спасти. Убитые родственники отца тоже присутствовали - в виде имен, которыми были названы мои братья и сестры - Хельга, Хайнц и Хелен.

Мы, дети, получили задание хранить воспоминания (как в описанной Вилфредом Бионом оболочке) и защищать своих родителей. Все из нас приняли, в том или ином виде, эту передачу обязанностей.

Возвращение в родные места

И все же я возвращаюсь к сцене за «кухонным столом» в 1981 году. За год до этого, летом 1980 года, во время своей практики по психиатрии в еврейском медицинском центре Хиллсайд на Лонг-Айленде в Нью-Йорке я прочитал книгу Хелен Эпштейн «Дети Холокоста». Ее представление тематики второго поколения произвело на меня сильнейшее впечатление: я обнаружил в книге очень много общего со своей собственной историей. Одновременно я понял, что семьи переживших Шoa в Германии жили совсем по другому, чем такие же семьи в США или Канаде. Значительная близость к месту преступления и палачам в Германии, также, как и отношение евреев к другим людям имели огромное влияние.

И тогда я принял решение, а именно: писать свою дипломную работу о втором поколении в Федеративной республике Германии. Мой отец знал об этом, но на эту тему мы практически не разговаривали.

В тот самый день мой отец начал рассказывать о своем возвращении в Зёгель, деревушку в Эмсланде, в которой более 70 лет тому назад он жил до момента депортации в Ригу 13 декабря 1941 года. В Зёгеле отец ходил в еврейскую школу, до хрустальной ночи там стояла синагога, а на краю деревни до сих пор находится еврейское кладбище, где похоронен мой отец, на том самом месте, которое он сам для себя выбрал...

«Тогда» в Риге он договорился со своими родителями, братьями и сестрами, встретиться в Зёгеле, если удастся пережить «это время». Поэтому для него было само самым разумеющимся сразу после освобождения отправиться в Зёгель. Он даже «не представлял себе, что может быть иначе». Только в Меппене, находящимся в 25 километрах от Зёгеля, ему вдруг стало понятно, что, вполне вероятно, он никогда там уже не встретит тех, кого бы он так хотел увидеть в живых. «Тогда я потерял свое мужество» - сказал он. И ему понадобилось еще очень много времени, чтобы

проделать оставшиеся километры... Когда он оказался в ресторанчике на окраине деревни, он заказал там стакан молока. «Они меня вначале вообще не узнали. А молоко мне не нужно было».

В центре Зёгеля на месте бывшей синагоги была куча мусора. Отцовский дом, расположенный по соседству, был занят живущей там другой семьей. Бывший сосед, булочник, который продавал евреям хлеб, хотя, как «ариец», не имел на это права, приютил его; другой сосед прятал в тайнике под лестницей своего дома свиток Торы, который ему удалось спасти из уже пылавшей синагоги...

Еще одну короткую историю мне хотелось бы вам поведать. Это история о нацистском убийце Бернхаде Ракерсе, дяде торговца напитками с такой же фамилией, который до сегодняшнего дня привозит напитки в дом моей матери. Он также, как и мой отец, вернулся в свою деревню после своего освобождения из тюрьмы. Одну «сцену», которая произошла годами раньше, я очень хорошо помню до сих пор. В тот день отец пришел домой очень возбужденный, с красным лицом, опустошенный, беспомощный, потерявший дар речи. Мой брат Михаэль был с отцом в автомобиле, когда отец узнал этого зловещего нациста на улице. Любимым «занятием» Ракерса было приказать еврею лечь на спину и попытаться задушить его, используя длинную палку, для чего он вставал на ее концы обеими ногами. Отец остановил машину и уже собирался броситься на нациста. Михаэль с трудом удержал отца, попытался успокоить его словами «это ничего не даст».

Еще несколько часов я мог видеть ужас, написанный на лице отца.

Тогда мы ни о чем с ним не разговаривали. Слова, собственно, были и не нужны.

«Сцена за кухонным столом», часть II: до освобождения

Кроме рижского гетто, мой отец был также в концентрационных лагерях Кайзервальд, Саласпилс и Штуттхоф под Данцигом. В семье, с которой он в какой-то момент потерял всякую связь, практически все его родственники были убиты.

Из поколения бабушек и дедушек осталось несколько человек, которым удалось выжить, и тем не менее, у меня и до сегодняшнего дня, так, по крайней мере, мне кажется, нет ни «настоящего» дяди или «настоящей» тети или даже двоюродных братьев и сестер.

Отец опять медлил. Ему становилось тяжелее говорить, а мне становилось все тяжелее его слушать. Было что-то еще, что он никак не мог забыть. Он все время себя упрекал. Если бы он только...

Мой отец вспомнил так называемый марш смерти в западном направлении, цель которого была убить

⁵ Fotos dieses Deportationszuges Münster/Osnabrück/Bielefeld sind im Informationszentrum des Berliner Denkmals für die ermordeten Juden Europas ausgestellt.

⁶ Bei der Recherche Bernhard Rakers betreffend fand ich zu meinem Erstaunen heraus, dass der gebürtige Sögelener Aufseher in mehreren Konzentrationslagern war, u.a. in Esterwegen, Sachsenhausen, Auschwitz und Buchenwald. Er gehörte zunächst der SA an, wurde dann Mitglied der SS, avancierte vom SS-Scharführer zum SS-Ober- und zuletzt zum SS-Hauptscharführer. Er sei wegen seiner Brutalität berüchtigt gewesen. Die Tatsache, dass er von einem früheren KZ-Häftling wiedererkannt wurde, führte dazu, dass der erste bundesdeutsche Schwurgerichtsprozess gegen einen Auschwitz-Täter vor dem Landgericht Osnabrück im Jahr 1952/1953 gegen ihn geführt wurde (Renz 2008).

заключенных концлагеря до того момента, как их смогут освободить союзники. Когда изможденные, полуголодные узники были не в состоянии сделать следующий шаг и сдавались, охранники колонны их моментально расстреливали. Мой отец, его двоюродный брат Вальтер и примерно такого же возраста Давид де Хаас и Хюммлинга (которого я нашел и посетил в США во время своего года по школьному обмену; он тоже был скотопромышленником) были на марше вместе. Вальтер постоянно жаловался на нехватку сил. Он практически больше не мог стоять на ногах. Мой отец и Давид его постоянно подбадривали, в конце концов они подхватили его с обеих сторон под руки. Некоторое время это проходило, пока Вальтер опять не начал... Он осел на землю и был моментально расстрелян.

И вдруг буквально несколько минут спустя, как рассказывал отец, все охранники в одно мгновение как будто испарились: Давида и отца освободили.

Сопrotивление и аутентичность

К счастью, отец не прекратил на этом месте рассказ.

Спустя несколько минут взаимного молчания он произнес, что ему еще кое-что надо обязательно рассказать. Тогда, когда его семья получила приказ на депортацию, они последовали всем предписаниям, шла ли речь о допустимом багаже или установленном месте встречи на Маркtplац. «Для нас это было совершенно естественно».

Это, и отец в этом убежден, сейчас все было бы по-другому: «Вы бы этого никогда не сделали».

Проявить мужество и действительно послушаться, когда тебе это подсказывает совесть, я связываю с его опытом и прежде всего, надеждами, которые он видел во Втором Поколении.

Мужество возразить сразу поднимает вопрос о том, насколько человек в состоянии жить в соответствии со своими собственными установками, то есть вопрос об аутентичности. Я познакомился с многими людьми, которые пережили Шоа и встречались со мной вполне аутентично. В противовес некоторым представлениям в специальной литературе, в выживших после Шоа я встретил не «подкошенных», «потускневших» людей, которые механически следуют указаниям, а людей в своем роде аутентичных, которых среди «средних, обычных людей» искать бесполезно.

Вполне вероятно, что люди, которым пришлось пройти сквозь непредсказуемый ад (см. Аня Лундхольм, 2007), имеют особое чувство к самому важному необходимому, чему, собственно и посвящена жизнь.

Отравленная генеративность

Я бы хотел завершить свое выступление темой, которая в споре историков об «уникальности» Шоа, а также распространяющийся на несколько поколений перенос травмы в Германии звучит совершенно особенно – это вопрос о деталях и детях детей переживших Шоа, вопрос генеративности. Это вопрос о существовании детей, которые после невыносимых страданий страстно стремились продолжить традиции своего народа. Евреи должны были чувствовать себя не только «паразитами», подлежащими уничтожению – Циклон Б был, по сути, препаратом на основе синильной кислоты для борьбы с вредителями – им также сообщалось, что будущее человечества представляется возможным только без евреев.

Были выжившие, которые не представляли себе ничего другого, как начать рожать детей после освобождения, таких детей, которые сделают все, чтобы «доказать», Гитлеру что его триумф «уничтожения еврейской расы в Европе» потерпел крах.

Вероятно, не было и нет ни одного человека, пережившего концлагерь, который не был бы свидетелем убийств еврейских детей. «Примерно одна четверть всех убитых евреев Европы были дети» (Тых и др., 2008, 37). В Польше перед войной было около одного миллиона еврейских детей в возрасте до 14 лет. Из них в живых осталось примерно 5 000 детей, то есть около половины процента (там же). Матери с детьми были первыми, кто отправлялся в газовые камеры. Есть бесчисленные рассказы о том, какими варварскими способами убивали детей, «лучше всего» на глазах своих родителей. Объяснять это, например, ссылкой на жестокую «природу» людей или тем, что среди национал-социалистских мучителей был определенный процент садистов, которые жестоко мучили свои жертвы, это значит, не осознать глубокого воздействия, которого действительно «достигал» этот вид убийства.

Одна выжившая рассказывала мне об одной «сцене», когда под неусыпным наблюдением сотрудников краковского гетто в небольшой комнатке пели израильские песни и песни на идише. Она видела, как ликвидировался краковский дом для сирот и была свидетельницей того, как нацисты экономили на «работе», просто выкидывая из окон верхних этажей дома младенцев и детей.

[Аня Лундхольм (2007) наблюдала следующую сцену: один надсмотрщик в концентрационном лагере Равенсбрюк по-отечески обращается с одним маленьким мальчиком, «подбрасывает» его несколько раз в воздух, ловит, а затем разбивает его голову о стену крематория. «Без единой эмоции он приносит

труп убитого ребенка его матери и держит его за ноги, как обезглавленную курицу. Покачивающиеся движения его руки показывают нам: там, где было милое детское личико, ничего нет. Кровавое месиво. Покровительственным жестом он бросает труп ребенка к ногам матери, но не дает ей склониться над ним. Он волоком тащит ее к месту убийства, указывает на кровавый след на стене и командует: сначала все вымыть! А потом можешь рыдать!» (то же, 315).]

Однажды мой отец рассказывал в интервью, что ему чудом удалось избежать смерти от руки жестокого коменданта лагеря, но он стал свидетелем одной «сцены», потрясшей его до глубины души. Один узник, которому не так быстро, как моему отцу, удалось получить рабочее место, «приветливым голосом» был вызван из строя и спрошен, откуда он был родом. Затем комендант скомандовал: «Нагнуться!», а через мгновение «Сильнее нагнуться!». И затем комендант лагеря застрелил свою жертву в непосредственной близости от моего отца: «Ты недостаточно нагнулся!» Что моего отца действительно сильно потрясло, так это то, что «этот палач даже не взглянул на свою жертву, после выстрела он даже не убедился, убил ли он этого узника, как это обычно делает любой охотник, убивший какого-нибудь зверя»...

Евреи должны были понять, что они не обладали даже «ценностью» какого-нибудь зверя.

Что-то подобное происходило и в лагере Кальтшунд, о чем рассказывает Ахарон Аппельфельд (1999) в своей «Истории одной жизни». Аппельфельд рассказывает о беседе с одним выжившим, который находился в трудовом лагере только для очень сильных мужчин. Женщин в лагере не было совсем, старых женщин убивали сразу по прибытии. Молодым человеком Аппельфельд стал свидетелем того, что происходило в лагере. Он слышал о «тюрьме», которую называли «клетка» [...] вольере для овчарок, которые использовались как сторожевые псы и для охоты. Прежде всего, для охоты на людей (с.77). Комендант лагеря распорядился, как следовало обходиться с маленькими детьми, поступившими в лагерь: их вырывали из толпы и бросали собакам на растерзание... Некоторые дети в растерзанном состоянии оставались какое-то время в этой «клетке» живыми. Двое детей чудом выжили. Эта тюрьма, как считает Аппельфельд, превратила трудовой лагерь в лагерь смерти: «в Кальтшунде казни не проводились, но вид маленьких детей, которых бросали псам на растерзание, были уже своего рода нашей казнью. Не удивительно, что в Кальтшунде было много самоубийств. (там же, 78).

Описания такого рода невозможно изъять. Ими буквально «заражаются». Поэтому неудивительно, что во время подготовки этой последней части своего доклада я проснулся ночью от кошмара: мне приснилось, что моя младшая дочь разбилась насмерть.

Для моего отца безопасность его детей была, вероятно, важнее всего на свете. Его последними словами вечером накануне его смерти, были: «позаботься о маленько дочери!»

Mehrfache Traumatisierung

Wir wissen in der Traumalogie, das heißt in der Forschung zu den Traumafolgen, dass es Traumata gibt, die auf einzelne Ereignisse zurückgehen: ein Autounfall, ein Erdbeben oder irgendein anderes Ereignis, das stattgefunden hat. Das sind *singuläre Traumata*, zu deren Auswirkungen es viele Theorien gibt. Fachleuten zufolge ist es nicht dasselbe, wenn man ein Trauma hinter sich hat oder aber wenn man *mehrfach traumatisiert* ist. „Mehrfach“ bedeutet nicht, dass sich dasselbe Trauma immer wiederholt, was etwa vorkommt, wenn man als Kind in Familien aufwächst, in denen der Vater Alkoholiker ist, ständige Wutausbrüche hat und gewalttätig wird. Das wäre eine mehrfache Traumatisierung, die darauf zurückgeht, dass dasselbe Trauma immer wieder eintritt. Aber es gibt auch Traumata, die länger andauern, die chronisch sind. Betrachtet man es auf diese Weise, so sind eigentlich alle Kinder-Überlebende, alle *child survivors*, Menschen, die als Kinder mehrfacher Traumatisierung ausgesetzt waren – und zwar in verschiedener Hinsicht: Sie hatten mehrfache traumatische Erlebnisse zu verkraften, und die Lebensgefahr oder Verfolgung bestand über viele Jahre hinweg.

Das hat natürlich Auswirkungen, die über die Folgen eines singulären Traumas weit hinausgehen. Die Amerikanerin Judith Herman nennt das „Chronic Complex PDST“, eine chronisch-komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das ist weitaus gravierender, als wenn ich nur ein einzelnes Trauma zu verarbeiten habe, und zieht zudem Persönlichkeitsveränderungen nach sich, die mich mein ganzes Leben lang begleiten können. Eine andere Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (ICD-10) spricht von einer chronischen Persönlichkeitsveränderung in Folge einer Extrembelastung. Das ist genau das, was hier beschrieben wird. Wenn ich lange Zeit oder wiederholt einem traumatischen Ereignis ausgesetzt bin, dann hat das tiefgreifende Auswirkungen auf mein psychisches Innenleben.

Die Frage lautet: Wie reagieren, wie verhalten sich, wie fühlen sich Überlebende der Shoah, und wie kommen sie damit zurecht, wenn sie noch einmal traumatisiert werden? Ich spreche jetzt von den Traumata nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Verfolgung während der Shoah. Wie wir wissen, bringt das Leben wiederholte Traumatisierungen mit sich. Wir können nicht leben, ohne wiederholt schwierige Situationen durchzumachen. Wir sind Stresssituationen ausgesetzt, aber wir haben auch

wiederholte Traumata, vor allem im Alter. Mittlerweile sind nicht nur die Überlebenden der Shoah überhaupt, sondern auch die *child survivors* alte Menschen, und das Alter bringt vielfach erneute Verluste mit sich. Ich fasse die Ergebnisse der wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema kurz zusammenfassend.

Man hat versucht, zu verstehen, ob eine wiederholte Traumatisierung und eine erneute Traumatisierung von Überlebenden der Shoah zu einer stärkeren Verwundbarkeit führen als bei anderen Menschen, die dieses Trauma erleben. Das heißt: Sind Überlebende der Shoah, insbesondere *child survivors*, verletzlicher oder nicht? Sind sie es nicht, dann nennt man das *resilient* – sie haben also eine Resilienz, eine Widerstandskraft entwickelt.

In einem Vortrag hieß es, viele *child survivors* empfänden Wut. Das stimmt natürlich. Überlebende haben äußerst komplexe Verhaltensformen, Verhaltensverläufe und Adaptationsmöglichkeiten. Wir wissen, dass das Bild sehr komplex ist, und wir kennen viele Überlebende, die sensibler auf neuen Stress reagieren. Sie empfinden den neuen Stress als eine Retraumatisierung. Das heißt, aus ihrer Sicht widerfährt ihnen erneut, was ihnen schon einmal geschehen ist. Andere sind dagegen sehr widerstandsfähig und besitzen eine äußerst hohe Widerstandsfähigkeit.

Ich gebe einige Beispiele aus den Berichten über die Bedeutung von Krankheit und erzähle vor allem aus Israel. E. L. Edelstein, ein Psychiater am Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem, hat dort schon vor 30 Jahren als Konsiliararzt und Psychiater in einer neurochirurgischen Abteilung gearbeitet und ist wiederholt Überlebenden der Shoah begegnet, die vor einer neurochirurgischen Operation standen und denen man die Nacht zuvor die Kopfhare rasierte, weil man für Operationen eine kahle Kopfhaut braucht. Sie wurden in Pyjamas gesteckt, die vor 30 Jahren nicht so aussahen wie heute, sondern sehr oft an die Kleidung erinnerten, die man als KZ-Insasse trug. Damals ging es in der Medizin sehr unpersönlich zu – man war ein Fall und besaß keinen Namen, keine Persönlichkeit. Viele Überlebende der Shoah reagierten darauf auf extreme Weise, mit Angstzuständen und bisweilen mit psychoseähnlichen Zuständen. Edelstein hat so ein typisches Beispiel beschrieben, wie eine erneute Stresssituation eine Retraumatisierung für einen Überlebenden bedeuten kann.

Nicht für alle, aber für manche!

Psycho-Onkologen sind Fachleute, die als Psychologen oder Psychiater auf onkologischen Stationen – also auf Stationen für Krebspatienten – arbeiten. Die Onkologinnen Lea Baider und Tamy Beritz haben in Jerusalem beschrieben, wie weibliche Überlebende der Shoah auf Brustkrebs reagieren, und dies mit ähnlich alten oder gleichaltrigen Frauen einer Kontrollgruppe verglichen, die ebenfalls Brustkrebs hatten, aber keine Überlebenden waren. Das Ergebnis war vergleichbar: Überlebende der Shoah waren empfindlicher in ihrer Reaktion und haben stärker reagiert als andere weibliche Betroffene. Allerdings muss man hier sagen, dass sich eines immer wieder wiederholt hat: Beide Gruppen haben nachher in gleicher Weise mit ihrem Schicksal, mit ihrer Krankheit, mit der Operation und der Wiederherstellung umgehen können. Sie haben beide gleich gut „funktioniert“. Der einzige Unterschied kam zutage, wenn man nach Alpträumen, Angstzuständen oder posttraumatischen Symptomen gefragt hat. Diese waren bei den Überlebenden stärker ausgeprägt. Das ist etwas, was wir auch sonst sehen.

Bezüglich des Terrors und Krieges in Israel wurde Ähnliches berichtet. Einschlägig sind vor allem die Arbeiten Zehava Salomons, einer israelischen Psychologin, die in Dair gearbeitet hat und jetzt an der Universität von Tel Aviv lehrt. Während des Golfkrieges und danach gab es Berichte über den Terror in Israel. Hier ergibt sich ein ähnliches Bild: Überlebende der Shoah sind sensibler. Aber auch hier gilt eine ähnliche Einschränkung: Beide Gruppen haben gleich gut mit dem Stress umgehen können. Das heißt, nach außen hin hätte man nicht sagen können, dass es sich um eine Gruppe von Überlebenden oder um eine Gruppe von anderen Betroffenen handelte. Beide Gruppen haben alle praktischen Belange gleich gut bewältigt.

Als letztes möchte ich berichten von meiner Arbeit, an der Haim Dasberg, der Präsident von AMCHA (des nationalen israelischen Zentrums für psycho-soziale Unterstützung von Überlebenden der Shoah und Kindern der zweiten Generation), Danny Brom, der Leiter des Psycho-traumazentrums in Jerusalem, und Motti Cohen, der jetzt in Holland und in Israel lebt, beteiligt waren. Sie haben eine Gruppe von *child survivors* untersucht. Und zwar haben sie diese nicht über Holocaustorganisationen identifiziert, sondern aus dem Personenregister, das heißt, sie haben keine klinische Gruppe etabliert. Vielmehr nahmen sie das staatliche Personenregister zur Hand und schauten nach, wer zu welchem Zeitpunkt in diesen Jahren in Europa geboren worden und nach 1945 nach Israel eingewandert war. Daraufhin stellten sie eine Gruppe von 50 *child survivors* und eine Vergleichsgruppe – oder Kontrollgruppe – mit 50 anderen Menschen zusammen.

Die Ergebnisse fielen ähnlich aus: Was Depressionen und andere psychische Symptome betrifft, war gar kein großer Unterschied sichtbar. Der eigentliche Unterschied wurde, wie fast zu erwarten, nur bei den posttraumatischen Symptomen deutlich. Beide Gruppen waren genau gleich adaptiert – persönlich, beruflich und sozial. Da gab es keine Unterschiede. Bedeutendere Unterschiede kamen erst ans Tageslicht, als man die Gruppen fragte, wie sie mit den Kriegen in Israel zurechtkamen. Die Studie wurde 1995 durchgeführt, da hatte es seit 1945 schon einige Kriege gegeben. Von den 50 *child survivors* sagten 37, die Kriege haben sie stark oder sehr stark belastet. In der Kontrollgruppe waren es nur 18. Hier liegt ein ganz starker Unterschied vor. Auf erneuten Stress, der eine persönliche Gefährdung mit sich bringt, reagieren Überlebende der Shoah demnach im Durchschnitt empfindlicher. „Im Durchschnitt“ sage ich deshalb, weil es viele Überlebende gibt, die ganz anders reagieren, die aussagen, es sei für sie kein großes Problem und sie kämen damit gut zurecht. Die Forscher haben aber noch etwas gefragt, nämlich wie es mit der Einstellung zum Leben bestellt sei, welches Lebensbild die Betroffenen hätten. Auf Englisch nennt man das *world assumption*, das heißt, es geht um die kognitiven Grundeinstellungen dem Leben gegenüber. Und da gab es überraschende Berichte. Die Überlebenden der Shoah behaupteten zu einem viel höheren Prozentsatz als die andere Gruppe, es gebe Gerechtigkeit in der Welt, die Welt sei ein relativ guter Ort, Glück habe in ihrem Leben eine positive Rolle gespielt und sie hätten als Menschen relativ viel Kontrolle über ihr Leben. Intuitiv würde man sagen, das Gegenteil wäre zu erwarten gewesen. Wir würden erwarten, dass eine Gruppe von Menschen, die als Kinder eine extreme Traumatisierung erlebt haben, sagen würde, für sie sei die Welt viel gefährlicher, viel unberechenbarer, sie glaubten nicht mehr an die Menschheit, an das Gute im Menschen oder an das Glück im Leben.

Die viel zitierte amerikanische Psychologin Ronnie Janoff-Bulman hat ein Buch geschrieben mit dem Titel *Shattered Assumptions: Towards a New Psychology of Trauma* (1992). Es geht also um „erschütterte Grundannahmen“. Sie hat in diesem Zusammenhang nicht mit Überlebenden der Shoah gearbeitet, sondern mit Universitätsstudierenden, die beraubt worden waren oder etwa sexuelle Belästigung oder eine Vergewaltigung erlitten hatten. Und sie postuliert Folgendes: Bei der Gruppe der Menschen, die Traumata erlebt haben, sind die Grundannahmen in ihrem Leben erschüttert, sie haben sich verändert. Dabei betont sie etwas, was für mich überraschend ist. Eigentlich sind die meisten Menschen von folgenden drei Grundannahmen überzeugt, obwohl sie das gar nicht zugeben würden, wenn man sie danach fragte.

Erstens: Ich glaube, dass ich unverletzbar bin. Oder zumindest, dass mir nichts passieren wird. Die zweite Grundannahme lautet: Die Welt ist bedeutungsvoll, verständlich und kontrollierbar. Wir haben alle in unserem Kopf Schemata oder einen Plan, der uns sagt, was in der nächsten halben Stunde oder in der nächsten Stunde passieren wird. Wir leben mit der Grundannahme, dass wir eine relativ kontrollierbare Welt haben, obwohl wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Und wir wissen auch, dass wir nicht unverletzbar sind. Aber wir brauchen diese Grundannahmen, um leben zu können.

Die dritte Grundannahme lautet: Wir selbst empfinden uns als positiv und wertvoll, wenn jedoch jemand stark traumatisiert ist, dann wird ein Teil seiner Grundannahmen erschüttert. Die traumatisierte Person erfährt sich selbst als verletzbar. Jemand, der einen Autounfall hatte, ist danach oft sehr ängstlich, wenn er wieder zum Auto geht. Er hat irgendwie das Gefühl, das könne noch einmal passieren, obwohl sich, wie ich einem meiner Patienten einmal gesagt habe, die Statistik seit dem Unfall nicht wesentlich geändert hat. Der Traumatisierte hat aber jetzt das Gefühl, die Gefahr, dass dies noch einmal geschehen könne, sei wesentlich realer. Die Welt wird als feindlich und gefährlich empfunden, und die Person selber empfindet sich oft als beschädigt oder wertlos. Die Arbeit von Moti Cohen, Dani Brom und Haim Dasberg zeigt jedoch im Grunde etwas ganz Anderes, Gegensätzliches.

Wie können wir so etwas verstehen?

Was uns helfen kann, ist ein Begriff, der in den letzten 15 Jahren in der Literatur über das Trauma häufig vorkommt, und zwar der Begriff des „posttraumatischen Wachstums“ (*posttraumatic growth*), oder besser, der „posttraumatischen Reifung“. Folgende Überlegung dazu möchte ich anstellen. Vielleicht zunächst ein Wort über Viktor E. Frankl, einen Überlebenden der Shoah. Er war kein *child survivor*, denn er war schon erwachsen, als Österreich besetzt wurde oder als er ins Lager kam. Aber er sagt selbst in seinen Büchern, er habe sich aktiv damit beschäftigt, was ihm im Krieg und im KZ widerfahren sei, und habe einen Sinn darin gesucht. Es gehe darum, in dieser schwierigen Situation Vorbild für Andere zu sein, etwas zu tun, was einen aus dieser Krise herausbringen könne, auch wenn man die Situation selbst nicht zu ändern vermöge. Viele Theoretiker, wie Gerald Caplan, der über die Krisenintervention gearbeitet hat, schreiben auch darüber, dass nicht nur irgendwann die Krise vorbei sein kann, sondern dass man auch aus einer Krise herauswachsen oder herausreifen kann. Wir kennen das von Menschen, denen ein schwerer Schicksalsschlag widerfahren ist und die meistens später sagen, sie empfänden das Leben nach überstandener Krise jetzt als wertvoller. Sie haben das Gefühl, wenn sie sich die Natur anschauen, wenn sie menschliche Kontakte pflegen,

dass ihnen das Leben nun reicher vorkomme. Auch wenn es ein großer Verlust ist, wenn jemand an Krebs erkrankt ist, wenn jemand einen anderen großen Verlust erlitten hat oder trauert, kann man aus dieser Krise herauswachsen. Daher der Begriff des „posttraumatischen Wachstums“ oder der „posttraumatischen Reifung“.

Wie ist das definiert? Richard G. Tedeschi und Lawrence G. Calhoun haben sich in ihrem 1995 erschienenen Buch *Trauma & Transformation: Growing in the Aftermath of Suffering* mit diesem Thema beschäftigt. Es geht darum, dass die subjektive, persönliche Erfahrung eine positive Veränderung nach dem Trauma mit sich bringt. Es kann das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit dem Verlust oder dem Trauma sein, aber auch ein Prozess des Lernens, während man sich mit dem Trauma auseinandersetzt. Es gibt da mehrere Dimensionen.

Eine Dimension kann darin bestehen, dass man das Leben mehr schätzt, dass man eine stärkere Verbindung zu anderen Menschen entwickelt, mehr Selbstvertrauen hat, persönliche Stärke besitzt. Nachdem ich mit dieser Situation zurechtgekommen bin, habe ich mehr Vertrauen in mich selbst, schätze ich mich mehr, und auch andere schätzen mich mehr. Manche machen spirituelle oder religiöse Veränderungen durch, andere verändern ihr Interesse im Leben und sagen, dass sie 50 Jahre mit sich selbst beschäftigt waren und jetzt eine große Veränderung erleben. Sie machen eine Änderung in ihrem Berufsleben durch, suchen einen neuen Sinn in ihrem Leben. Und viele sagen, sie spürten diese Veränderungen, nachdem sie ein Trauma erlebt haben.

Dabei stellt sich folgende Frage: Bedeutet das, dass Verwundbarkeit, Resilienz, posttraumatisches Wachstum und Reife auf einer Skala liegen? Verwundbarkeit heißt: Ich habe viele negative Folgeerscheinungen eines Traumas. Das sind die negativen Traumafolgen, oft posttraumatische Symptome. Resilienz bedeutet, ich komme nach der Bewältigung des Traumas aus der traumatischen Situation heraus und bin wie zuvor in der Hinsicht, dass ich weiter unverändert derselbe Mensch bin und keine negativen Folgen zu befürchten habe.

Posttraumatische Reifung heißt, dass ich sogar darüber hinausgewachsen bin. Das würde bedeuten, dass im Falle von posttraumatischem Wachstum auch die posttraumatischen Symptome stark nachlassen. Das wäre die logische Folge. Sehr oft ist das jedoch nicht der Fall. Die posttraumatische Reifung hängt relativ wenig mit der Anzahl der Symptome zusammen. Manchmal ist es gerade – paradoxerweise – umgekehrt so, dass die Menschen, die am meisten Veränderungen in ihrem Leben und ihrer Lebenseinstellung erfahren, ein wesentlich höheres Maß an posttraumatischer Reifung zeigen oder zumindest davon berichten. Anhand von Fragebögen wird erhoben, wie

die Menschen ihr Leben heute empfinden. Wertvoller oder weniger wertvoll? Hat sich da etwas geändert? Es gibt standardisierte Fragebögen, und da stellt sich oft heraus, dass es bisweilen eine erhöhte Symptomatologie gibt. Das heißt, dass stärkere Traumafolgen oft mit stärkerer Reifung in Zusammenhang stehen.

Der in der Schweiz lebende deutsche Wissenschaftler Andreas Maercker hat im deutschen Sprachraum am meisten darüber geschrieben und kommt zu dem Ergebnis, es könne auch sein, dass es zwei Seiten der Reifung gebe. Einerseits könne das etwas sein, was wirklich stattfindet. Andererseits könne es aber auch eine Illusion sein. Ein Mensch könne sagen: „Nachdem ich vom Schicksal so geprüft wurde, muss das für etwas gut sein. Irgendeinen Sinn muss ich doch darin finden. Das kann doch auch eine illusorische Komponente sein, das kann doch etwas sein, was nur kurzfristig anhält und mir nicht auf Dauer weiterhilft.“ Das ist eine Frage, über die es nachzudenken gilt. Hier will ich noch zwei oder drei Berichte aus Israel anführen, bevor ich zu den Fallbeispielen komme. 2009 berichtete Zahava Salomon von Jugendlichen während des Terrors in Israel in den letzten 10 Jahren und von Zivilisten und Soldaten nach dem zweiten Libanonkrieg vor vier oder fünf Jahren. Sie stellte fest, dass die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz und die posttraumatische Reifung miteinander negativ korrelierten. Je höher die Resilienz war und je mehr Widerstandskraft die Soldaten oder die Zivilbevölkerung zeigten, desto weniger ist von posttraumatischer Reifung zu berichten. Um das zu verstehen, kann man sich das Trauma als eine Art Erdbeben vorstellen. Je stärker das Trauma, je stärker die Auswirkung des Traumas auf unsere Seele, desto stärker ist das Erdbeben. Und je stärker das Erdbeben, desto stärker werden unsere Grundfesten erschüttert. Je stärker aber die Grundfesten erschüttert werden, desto mehr haben wir einen Antrieb, Sinn darin zu finden, und daraus etwas Positives im Wachstum zu machen. Daher ist es nachvollziehbar, dass die Menschen, die am stärksten von dem Trauma und der posttraumatischen Reifung betroffen waren, auch davon berichtet haben.

Es gibt nur zwei Berichte über Überlebende der Shoah, vor allem *child survivors*, die sich mit „posttraumatic roles“ befassen. Das ist deshalb interessant, weil in den vergangenen 15 Jahren mit Blick auf andere Gruppen zahlreiche Artikel über „posttraumatic roles“ veröffentlicht wurden. Der eine Bericht stammt aus dem Jahre 2003, ebenfalls aus Israel, und zwar von Rachel Lev-Wiesel und Marianne Amir. Je mehr Hypererregbarkeit vorliege, berichten sie, je mehr „arousal“, das heißt, je stärker eine posttraumatische Komponente sei, desto mehr posttraumatische Reifung gäbe es bei den *child survivors*. Ein weiterer Bericht aus dem Jahr 2008 beschreibt ebenfalls einen positiven Zusammenhang zwischen posttraumatischen Symptomen

und der posttraumatischen Reifung. Es gab 2004 und 2007 zwei große Artikel in zwei Zeitschriften, in denen alle Experten aufgefordert wurden, diese Fragen zu diskutieren. Es ist sehr spannend, den Hauptartikel zu lesen und dann zu sehen, wie alle diese Diskussionsartikel die Argumente des ersten Artikels zerpflücken. Dort geht es um eine Gruppe von Forschern, die untersucht haben, wie die befragten Personen mit Terror zurechtkommen. Im Gazastreifen wurde die jüdische Bevölkerung 2005 von Ariel Sharon evakuiert, das war ein stark traumatisierendes Ereignis. Interessant ist, dass nur diejenigen, die aktiven Widerstand geleistet haben, von posttraumatischer Reifung berichteten, während das bei den Anderen nicht der Fall war. Ich zitiere Frankl auf Englisch und übersetze dann ins Deutsche:

„It did not really matter what we expected from life but rather what life expected from us (,Es kam nicht wirklich darauf an, was wir uns von unserem Leben erwarteten, sondern eher darauf, was unser Leben von uns erwartete‘). We needed to stop asking about the meaning of life (,Wir mussten aufhören, über den Sinn des Lebens nachzudenken‘). And instead to think of ourselves as those who were questioned by life, daily and hourly (,und uns stattdessen selbst als solche verstehen, die das Leben jeden Tag und jede Stunde fragt, welchen Sinn wir ihm geben wollen‘).“ Es geht demnach nicht um Meditation, darum, über die Dinge nachzudenken oder zu reden, sondern um Aktion, um Handeln. Und Frankl führt dann den Artikel an, in dem Bruno Bettelheim, ein Überlebender der Shoah, beschreibt, wie er bei einer Dinner Party war und vor dem Buffet stand und der Gastgeber sich dachte, dies sei eine heikle Situation, und zu ihm sagte: „Wollen sie nicht zuerst essen, vielleicht sind sie hungrig?“ Darauf erwiderte Bettelheim: „Machen Sie sich keine Umstände, in Treblinka hatte ich immer ein bisschen Brot auf die Seite gelegt. Wenn jemand anders hungrig war, konnte ich ihm ein wenig davon abgeben. Es war nicht viel, aber ich hatte immer ein bisschen auf der Seite. Ganz egal, wie wenig wir bekommen haben, wie klein unsere Rationen waren, ich habe sie immer mit jemandem geteilt, und seit damals bin ich sehr selten richtig hungrig. Mein Hunger ist nicht so stark. Jemand anderem etwas zu geben, das hat mich am Leben gehalten.“

Hans Hopf urteilt, dabei handele es sich um posttraumatische Reifung. Man kann nur dann wirklich wachsen, wenn man nicht nur darüber nachdenkt und seine Einstellung ändert, sondern diese Einstellungsänderung zugleich in ein Aktionspotenzial übersetzt. Richard G. Tedeschi widerspricht dem. Frankl betont, dass Überlebende im Grunde nicht sehr oft handeln konnten, weil sie in der Verfolgung, im Lager, im KZ, im Ghetto sehr oft daran gehindert waren, Widerstand zu leisten, und sie sich vielfach damit zufrieden geben mussten, im Kopf „Freiraum zu

schaffen“. Ich glaube, dass wäre genau das – nämlich dass wir, wenn wir nicht aktiv handeln können, wenigstens in unserem Kopf, in unsere Seele, in unserer Psyche einen Freiraum schaffen müssen.

Ich erzähle an dieser Stelle von einer Überlebenden der Shoah, bei der mir ganz klar wurde, dass posttraumatische Reifung oder posttraumatisches Wachstum nicht mit psychischer Leidensfreiheit zusammenhängen, sondern manchmal gerade mit dem Gegenteil. Das war eine Dame um die 75 Jahre alt, deren 40-jähriger Sohn an Herzversagen gestorben war. Sie befand sich in ganz tiefer Trauer, einer äußerst schweren Trauer, die immer komplexer wurde und nicht vergehen wollte. Über Monate halfen weder die Gesprächstherapie noch antidepressive Medikamente, bis sie einmal erzählte, sie fühle sich sehr schuldig. Monatlang hatte sie verschwiegen, dass sie in der Nacht – ab 20 Uhr oder wenn es dunkel wurde – wieder in Auschwitz war. Sie war zwei Jahre lang in Auschwitz, und viele ihrer Verwandten wurden dort umgebracht. Sie sagte: „Ich habe 10, 20, 30 Jahre lang kaum an Auschwitz gedacht. Ich habe das verdrängt, verschoben. Dieser vertikale Riss – ich konnte und wollte damit nicht zurechtkommen und ich wollte mich nicht daran erinnern. Und ich habe es geschafft, aber jetzt, da mein Sohn gestorben ist, fühle ich mich schuldig, weil ich seinen Tod nicht richtig betrauerere. Am Abend, wenn es dunkel wird, kommen die Bilder von Auschwitz, und ich traure oder bin mit den Verlusten meiner Brüder, Schwestern und Verwandten beschäftigt.“ Was sich hier bot, war – nachdem dies in der Therapie geklärt worden war – eine neue Gelegenheit, eine sehr traurige, sehr tragische Gelegenheit, aber doch eine Gelegenheit. Die aktuelle Trauer um den Sohn ermöglichte eine Trauer um die verstorbenen Verwandten damals, eine Trauer, die ihr in den vergangenen 40 Jahren nicht zugänglich gewesen war. Das war erst jetzt möglich, weil sie einen so starken Verlust erlitten hatte. Dann aber schritt der Trauerprozess fort, und sie betrauerte nicht nur ihren Sohn, sondern auch zum ersten Mal intensiv die im Krieg erlittenen Verluste. Posttraumatisches Wachstum ist also nicht Leidensfreiheit. Das ist nicht dieselbe Skala.

Und nun ein anderer Fall – jemand, der Wut hat, ein *child survivor*. Auch das gibt es natürlich. Er wurde in Polen geboren, kam im Alter von 13 Jahren ins Ghetto. Da er sich für einen 15-jährigen ausgab, wurde er nicht deportiert und schaffte es, zu überleben, indem er angab, den Beruf des Schusters erlernt zu haben. Er hat es dann ganz schnell von anderen abgeschaut und sehr rasch eine große Handfertigkeit entwickelt. Er war in mehreren Konzentrationslagern, wurde 1945 befreit und hat dann 35 bis 40 Jahre lang nicht darüber erzählen wollen, nicht seinen Kindern, auch nicht anderen Menschen. Nach einem Schlüsselerlebnis begann er von seiner Geschichte zu erzählen, wurde

Zeitzeuge und fuhr mit Gruppen nach Polen. Im Alter von 80 Jahren beginnt er nun eine Therapie, weil er sich in den letzten 10 Jahren wesentlich schlechter zu fühlen begonnen hat. Er ist jähzornig, wütend und nervös geworden, und seine Frau sagt, es sei zu Hause schwer auszuhalten. Er weist sehr viele Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung auf – Alpträume und so weiter. Wir beginnen also eine Psychotherapie, und dort geschieht Folgendes: Auch in der Therapiestunde hat er überhaupt keine Geduld. Das heißt, ich habe kaum eine Möglichkeit, etwas zu sagen. Er erzählt Dinge, und wenn ich etwas ausführen will, unterbricht er mich relativ schnell und wir arbeiten am Hier und Jetzt, also mit diesen Ereignissen in der Therapie. Er sagt, dass es genauso ist, wie bei ihm zu Hause. Er führt andere Beispiele an: In der Warteschlange und im Flugzeug ist es ähnlich. Mein erster Eindruck ist, dass hier aus verschiedenen Gründen eine Reaktivierung eines posttraumatischen Belastungsbildes im Alter vorliegt. Vielleicht auch deshalb, weil er sich jetzt intensiver damit auseinandersetzen kann. Aber es sind noch mehr Symptome da, und man sollte hier irgendwie zu helfen versuchen. Er sagt aber: „Sie verstehen etwas nicht.“ Wenn wir so genau analysieren, was in der Warteschlange passiert, warum wird er so wütend? Oder er will zu Hause eine Dose aufmachen und es geht nicht. Beim zweiten Mal reißt er sie mit Gewalt auf und ist nachher stundenlang aufgewühlt. Er sagt: „In der Warteschlange und im Flugzeug, wenn ich mich mit der Stewardess auseinandergesetzt habe, da rege ich mich nicht richtig auf. Ich kämpfe um mein Recht.“ Ich frage ihn: „Was bedeutet das?“ Und dann sagt er zu mir: „Meine Grundeinstellung dem Leben gegenüber hat sich nach dem Krieg natürlich geändert. Was sich geändert hat, ist Folgendes: Die Welt ist ungerecht, die Welt ist gefährlich, man fügt mir Unrecht zu, immer wieder.“ Das scheint eher Janoff-Bulman zu bestätigen als die Forschungsergebnisse, von denen ich zuvor berichtet habe. Andererseits sagt er aber: „Ich schweige nicht mehr. Es gibt Recht, aber man muss darum kämpfen. Ich wachse eigentlich aus meiner Verfolgung hinaus. Was ich nicht machen konnte, als ich im Lager war, das kann ich jetzt machen.“ Er tut dies jedoch auf aggressive, kompromisslose Weise und lautstark und bezahlt dafür einen sehr hohen Preis: die Symptomatik des Jähzorns und der Nervosität. Besonders deutlich wird dies, als er eine überhöhte Stromrechnung bekommt. Als er sich beschwert, gibt ihm die Firma Recht und sagt: „Wir haben den Stromzähler falsch abgelesen, und Sie haben Recht. Sie bekommen das Geld zurück. In den nächsten Monaten, wenn Sie die Stromrechnung bekommen, wird das wieder ausgeglichen.“ Das ist ihm aber zu wenig: „Das bedeutet nicht, dass ich Recht bekomme. Wenn ich Recht bekomme, dann müssen Sie mir jetzt alles bis auf den letzten Groschen zurückzahlen.“ Die Stromfirma sagt: „Das geht nicht, das ist zu kompliziert.“ Darauf erwidert er: „Das gibt es bei mir nicht.“ Er geht zum höchsten

Beamten in dieser Behörde und sagt: „Ich gehe hier nicht raus, bis sie mir nicht das Geld an Ort und Stelle zurück gezahlt haben, und wenn Sie die Sicherheitsleute holen.“ Und er schafft es. Aber er zahlt dafür einen hohen Preis. Er ist, was die israelische Traumatinologin Yael Danieli als Typ des „Kämpfers“ bezeichnet. Sie hat die Überlebenden und ihre Familien in vier Typen eingeteilt. Es gibt die „fighter“, die Kämpfer sind. Dann gibt es eine Familie, die „numb“ ist, das heißt, eine Familie, die gefühlсанästhesiert ist und in der man über Gefühle nicht spricht oder nicht miteinander gefühlsmäßig kommunizieren kann. Der vierte Typus sind „those who made it“ – also die Familie, die sagt, dass sie mit dem Holocaust fertig geworden ist. Sie haben es geschafft, sie wollen sich damit nicht allzu stark auseinandersetzen. Das sind die, die am besten mit ihrer Umwelt zurechtkommen. Der Überlebende, von dem ich berichte, gehört eindeutig zum Typus des „fighter“ – er ist im Leben ein Kämpfer. Man muss im Leben immer wieder kämpfen, diese Einstellung ist die Folge seines veränderten Weltbildes.

Ich erzähle dem Überlebenden von einem Artikel des kanadischen Psychiaters Robert Krell, in dem dieser schreibt: „Die Befreiung hat mich nicht richtig befreit. Ich führe ein Doppelleben, oder wir *child survivors*, wir überlebenden Kinder, führen ein Doppelleben.“ Darauf sagt der Mann, das stimme, er spüre das auch. Ich sage dann zu ihm: „Wenn Du so streitest oder Dich in einer Auseinandersetzung mit der Stewardess oder mit dem Leiter der Stromfirma befindest, dann weißt Du kognitiv, dass Du nicht in der Situation der Shoah bist. Aber Dein Körper weiß das nicht. Dein Körper benimmt sich so, als sei er in einer lebensgefährlichen oder bedrohlichen Situation, obwohl Du weißt, dass es nicht so ist.“ Diese zwei Systeme sind häufig nicht in Kontakt miteinander. Wir können aber weiter differenzieren, weil er mir erzählt, dass er immer sehr hastig esse. Das ist ebenfalls etwas, was oft als typisch beschreiben. Ich belasse es aber nicht dabei, sondern frage ihn, ob er sich immer so verhalte. Am Freitagabend, bei Familientreffen oder wenn man sich am Shabbat treffe, esse er nicht so hastig. Dann esse er langsam oder so wie alle anderen. Das überrascht ihn: „Ich bin eigentlich nicht dauernd ein Kämpfer. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, ich habe eine Flexibilität, manchmal so und manchmal anders zu sein.“ In einer Forschungsarbeit aus der Feder von Hans Hopf wird erörtert, dass es gar nicht darum gehe, welche Einstellung man habe, sondern wie flexibel sie sei. Hier geht es wiederum um den Freiraum. Ich versuche ihm in der Therapie zu sagen, dass ich seine Lebenseinstellung nicht verändern kann. Wir streiten uns oft und er sagt: „Du denkst ganz anders, Du warst nicht im Krieg. Was würdest Du machen?“ Darauf sage ich: „Ich würde die Stromrechnung so lassen, und nach 6 Monaten ist das Geld wieder zurück.“ Darauf fragt er: „Aber warum kämpfst du nicht?“

Unser Weltbild ist sehr verschieden. Hat er Recht? Sind das erschütterte Weltbildkonstruktionen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat er Recht. Vielleicht sollte man, wenn es Faschismus gibt, nicht nur sagen, man sei dagegen, sondern aktiv dagegen eintreten. Vielleicht hat er eher Recht als ich. Vielleicht kann man das aber auch gar nicht richtig entscheiden. Das Entscheidende ist wohl nicht, wer Recht hat, ob hier eine posttraumatische Reifung stattgefunden hat oder ob posttraumatische Symptome auftreten. Die entscheidende Frage lautet, wie flexibel man damit umgehen kann, wie viel Freiraum man hat, um sich zwischen den einzelnen Einstellungen zu bewegen.

Ich möchte den Fall einer weiteren Überlebenden beschreiben, weil sie mir sehr nahe steht, da die Therapie lange gedauert hat. Vor einigen Jahren kam eine Überlebende zu mir in die Therapie. Sie war damals 50 Jahre alt und hatte zwei jugendliche Kinder. Sie begann die Therapie, weil es sehr viele Schwierigkeiten mit ihrem Mann und mit ihren Kindern gab. Sie kam, um sich beraten zu lassen, wie sie damit umgehen könne. Eine Therapeutin hatte ihr gesagt, das Beste sei eine Familientherapie. Doch niemand in ihrer Familie wollte sich darauf einlassen, so dass sie alleine kam. Der Ehemann war sehr zurückgezogen, selbst ein *child survivor*, sehr scheu im sozialen Umgang. Der Sohn zog sich auch immer mehr zurück. Er war damals ungefähr 14 oder 15 Jahre alt. Die Tochter hatte Essstörungen. In den folgenden Jahren spitzte sich die ganze Situation weiter zu. Der Ehemann blieb weiter genauso schwach und hatte seine Probleme. Die Tochter litt weiterhin an der Essstörung, einer anorexischen Bulimie, die dann auch therapiert wurde, der Sohn dagegen entwickelte eine paranoide Schizophrenie, also eine Geisteskrankheit. Das alles passierte innerhalb mehrerer Jahre.

Ich berichte hier etwas über die Frau, weil sie enorme Resilienz an den Tag legt, eine enorme posttraumatische Reifung, und uns zeigt, wie man mit solchen Lebensumständen zurechtkommen kann. Sie wurde in Polen geboren, etwa 1938 oder 1939. Während der Besetzung durch die Nazis wurde ihr Vater gezwungen, in seinem Spezialgebiet für die Deutschen zu arbeiten. Er musste längere Zeit von zu Hause weg. Die Familie blieb im Ghetto, und alle anderen Familienmitglieder wurden erschossen oder sind umgekommen. Sie blieb allein mit ihrer Mutter zurück. Sie war drei, vier oder fünf Jahre alt. Die Mutter war im Widerstand tätig und half anderen zu fliehen. Die Tochter, also die Frau in Behandlung, war stunden- und tagelang allein im Keller und wartete auf die Rückkehr der Mutter.

Die Mutter gab ihr eine kleine Puppe, mit der sie spielen sollte, und versprach ihr, sie werde zurückkommen. Damit begann ein Fantasieleben, in dem sie mit der Puppe Spiele spielte. Es gab ein ganz kleines Fenster, aus dem sie ausschließlich Schuhe vorbeigehen sah. Was sie von der Welt sah, waren nur die Schuhe, die oben vorbeigingen. Sie hat ganze Lebensgeschichten erdacht – dies sind solche Schuhe und jenes sind andere Schuhe, und nur einmal, so erzählt sie, hat es nicht funktioniert. Da war sie sehr bedrückt, denn ein Paar Schuhe hatten sich nicht bewegt. Erst später ist sie darauf gekommen, dass das wahrscheinlich jemand war, der oben lag und gestorben war. Das war für sie zum Beispiel ein traumatisches Erlebnis. Monate gingen so vorbei, und immer kam die Mutter zurück. Sie hatte tiefes Vertrauen zur Mutter, aber eines Tages kam die Mutter dann nicht zurück – einen Tag lang, dann zwei Tage lang. Sie war schon sehr hungrig, es klopfte an der Kellertür: es war nicht die Mutter, sondern ein Jugendlicher, dem sie nicht aufmachen wollte. Er sagte, ihre Mutter sei schwer verletzt und sei im „arischen Teil“ mit falschen Papieren festgenommen worden, er sei gekommen, um sie abzuholen. Es dauerte eine längere Zeit, aber sie akzeptierte es, und so wurde sie in einen Kohlsack gesteckt und aus dem Ghetto hinausgetragen. Nachdem sie schon den Großteil des Weges hinter sich hatten, begann sie zu schreien, was äußerst gefährlich war. Sie kam aus dem Sack heraus, und der Jugendliche fragte, warum sie schreien würde. Darauf antwortete sie, sie habe ihre Puppe im Keller vergessen – eine Mutter lässt ihr Kind nicht alleine. Der Jugendliche brachte sie – mit unbegreiflichem Mut – zurück ins Ghetto, sie fanden die Puppe, und er schaffte sie wieder hinaus. Die Puppe befindet sich heute in Yad Vashem.

Das Mädchen musste mit der Erfahrung zurechtkommen, dass ihre Mutter das Versprechen, sie nicht alleine zu lassen, nicht zu halten vermocht hatte. Aber sie selbst hat die Mutter nicht alleine gelassen. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Sie war damals schon in einer Retterfunktion. Sie musste retten, und das ist etwas, was sie ihre ganze Therapie und ihr ganzes Leben lang beschäftigte. Sie musste ihren Ehemann retten, sie musste ihre Kinder retten. Diese Retterfunktion zeigte sie auch in der Therapie. In der Therapiestunde sprach sie immer wieder von ihren Familienmitgliedern, aber nie von sich selbst. Ich sagte, es wäre viel besser, wenn sie auch manchmal – nicht immer, aber doch bisweilen – auch von ihren eigenen Wünschen sprechen könnte. Dafür gab es keinen Freiraum, vielmehr

entwickelte sie eine negative therapeutische Reaktion. Das heißt, sie legte mir gegenüber eine zunehmend negative Einstellung an den Tag und wollte die Therapie abbrechen. Wir versuchten lange Zeit, dies zu besprechen und zu verstehen, was dort geschah. Das gelang erst, nachdem ich verstehen und akzeptieren konnte, dass sich ihre Retterrolle aus ihrem Weltbild erklären ließ, in dem nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart Gefahren lauerten. Für sie war die Gefahr nicht vorbei. Sie musste immer auf der Hut sein, dass nicht etwas passierte. Sie hatte als Mutter in ihrer Familie die Rolle übernommen, dafür zu sorgen, dass es den anderen besser geht. Daher hatte sie keinen Freiraum für ihre eigenen Bedürfnisse mehr. Sie empfand mein Drängen, sie solle sich ein wenig Freiraum nehmen, als eine Gefährdung, als eine Retraumatisierung: Ich habe sie sozusagen in Sicherheit gewogen, und wenn sie das akzeptiert und mehr über sich selbst gesprochen hätte, wäre vielleicht etwas mit ihren Familienmitgliedern passiert – und das galt es zu verhindern. Nachdem wir das über mehrere Jahre immer wieder besprochen hatten, stellte ich fest, dass sie öfters auch von sich selbst sprechen konnte. Interessant ist, dass ihre Mutter nach dem Krieg einige Jahre später an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben ist, für sie aber weiterhin präsent blieb. Sie führte Gespräche mit ihrer Mutter, und obwohl sie praktisch wusste, dass die Mutter nicht mehr da war, halluzinierte sie, dass die Mutter ihr zuhören konnte und ihr antwortete. Das Interessante ist, dass sie eine Retter- oder Mutterrolle übernommen hatte, aber in sich selbst die Mutter weiterhin als Retterin trug. Hier liegt eine illusorische Komponente vor. Illusionen können manchmal adaptiv sein und weiterhelfen. Andreas Maercker schreibt in einem Artikel, Illusionen seien ein integraler Bestandteil in der Anfangsphase nach der Traumatisierung, da wir sie da am meisten bräuchten. Erst später wird dies immer weniger. Im beschriebenen Fall haben wir aber eine Illusion, die über Jahrzehnte hinweg anhält: Die Mutter ist für sie immer wieder präsent.

Es ist so schwierig zu sagen, dass *child survivors* so oder so sind. Es gibt so viele verschiedenartige Formen der Verarbeitung. Das heißt nicht, dass es keine typischen Verlaufsformen gäbe. Typisch ist etwa, wenn Essen gehortet wird. Es ist aber auch typisch, wenn man sagt: „Ich will mich mit diesem Essen jetzt nicht beschäftigen.“ Genauso wie es typisch ist, dass nach dem Krieg alle gesagt haben, die Deutschen oder Österreicher seien Nazis. Ich brauche meinen Pass in der Schublade, weil jederzeit etwas passieren

kann. Das ist typisch, aber es ist genauso typisch, wenn jemand hier leben kann und sagt, dass man hier nicht leben könne, als wäre man noch im Versteck. Ich darf mich nicht verstecken, weil das meine psychische Gesundheit stören kann. Es gibt verschiedene Verlaufsformen. Sehr viele Überlebende der Shoah, sehr viele *child survivors*, kommen mit ihrem Leben gut zurecht und haben sich gut entwickelt. Viktor E. Frankl und andere betonen, dies bedeute nicht, einen leidensfreien Weg zu gehen. Viele haben sehr viel Leid, bis heute. Viele aber auch nicht. Daher müssen wir in der Therapie oder im Umgang mit unseren Klienten, mit den Kinderüberlebenden, davon ausgehen, dass es eine mehrfache Traumatisierung war. Es gibt die Möglichkeit einer Sensibilisierung, einer Verletzbarkeit gegenüber neuen Traumata. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn Klienten viel Resilienz zeigen. Wir sollten auch nicht überrascht sein, wenn sie eine Mischung aus Verletzbarkeit und Resilienz an den Tag legen. Und wir sollten nicht überrascht sein, wenn ihr Weltbild ganz anders aussieht, als wir uns das vorstellen. Wichtig ist, dass wir als Therapeuten mit ihnen diese Themen ansprechen. Denn wenn wir sie nicht ansprechen, dann erzählen sie sie uns oft nicht. Und wenn sie sie uns nicht erzählen, dann vermissen wir manchmal den Schlüssel, ohne den wir in therapeutischen Engpässen nicht wieder herauskommen. Manchmal überreichen uns die Überlebenden den Schlüssel und wir erkennen es, und manchmal übersehen wir ihn. Bei der ersten Patientin war es so, dass sie mir den Schlüssel überreichte und ich nicht wusste, wie sie aus der Sackgasse wieder herauskommen sollte aus dieser unmöglichen Situation der Trauer über den Verlust ihres Sohnes. Sie schaffte es nicht mehr, es ging nicht weiter, aber sie überreichte mir den Schlüssel, indem sie sagte, dass sie noch etwas beschäftige – die Trauer über ihre Verwandten, an die sie vorher nicht denken konnte. Da ich ihr zuhören und mit ihr darüber reden konnte, ist es besser geworden.

Der Patient, der wütend wird, stellt eine Herausforderung dar, denn es lässt sich nicht einfach feststellen, ob dieser aktive oder hyperaktive Gerechtigkeitssinn adaptiv ist und ob er gut für ihn oder für andere ist. Liegt eine Reifung vor oder eine Fixierung auf eine Opferrolle bzw. eine Kämpferrolle? Manchmal ist es all dies zusammen, und bisweilen muss man differenzieren. Es war so erleichternd für meinen Klienten, als er merkte, dass er auch anders essen konnte als mit Hast. Er wusste es ja, aber er musste mit mir darüber reden. Für ihn war Essen immer etwas, was er schnell erledigen musste, weil das ja weg sein kann.

Und dann war er überrascht, denn er sagte: „Das stimmt aber nicht, denn wenn ich auf eine Hochzeit gehe und es dort ein Buffet gibt, da dränge ich mich nicht vor. Da habe ich Zeit. Kann ich beides? Kann ich flexibel sein?“ Wenn Analytiker mit Überlebenden arbeiten, dann arbeiten sie an dieser Flexibilität, dann versuchen sie, Freiräume zu vergrößern, Freiräume zu schaffen. Dann merken sie sehr oft, wie stark das auch sie selbst als Therapeuten betrifft. Sie werden herausgefordert, weil sie sich fragen, wie ihr Weltbild aussehen würde, wenn sie das miterlebt hätten, was der Patient miterlebt hat, was seine Mutter miterlebt hat. Wie würden wir als Therapeuten in Extremsituationen entscheiden? Welche Wege wären wir gegangen? Diese Auseinandersetzung ist keine leichte, aber sie ist eine sehr erleichternde. Weil es eben diese Vielfalt an Reaktionen gibt, haben wir auch als Therapeuten viel Freiheit. Wir können viel freier therapieren, als wir geglaubt haben.

Das ist nicht so wie bei jemandem, der einen Autounfall hatte und jetzt eine Vermeidungsreaktion hat, so dass er nicht mehr ins Auto steigen oder nicht von seinem Autounfall berichten will. Hier besteht ein therapeutisches Konzept darin, dass man die Person langsam daran gewöhnen soll, wieder ins Auto zu steigen. Am Anfang nur für kurze Zeit, dann für einen längeren Zeitraum, oder so, dass man sich dies am Anfang erst einmal vorstellt und erst danach wirklich hingeht. Langsam kommt so eine Habituation zustande und das Vertrauen in das Autofahren kann wieder wachsen. Der Betroffene kann auch die Geschichte häufiger erzählen – auf diese Weise wird sie weniger virulent oder bedrängend. Bei komplexen Traumata funktioniert das jedoch nicht, weder bei Überlebenden der Shoah noch bei *child survivors*, denn die Auswirkungen, die Erschütterungen des Weltbildes, sind hier wesentlich weitflächiger, so dass auch das Bild viel weitflächiger ist. Das bringt uns als Therapeuten aber in die positive Lage, offen demgegenüber zu sein, was uns die Patienten berichten. Wir lernen von ihnen, nicht weniger als sie von uns lernen. Vielleicht entsteht dann ein Prozess, in dem beide Teilnehmenden gemeinsam zu reifen beginnen, und das ist erfreulich.

Ich hoffe, ich konnte in meinem Beitrag auch die positive Seite deutlich machen und zeigen, dass mit der Shoah verbundene Traumata die Überlebenden nicht nur zerstört haben. Sie haben ihnen schwere Narben zugefügt, ihnen aber oft auch ein sehr sinnvolles und reiches Leben ermöglicht.

Травма и встречи с травмой

На этой конференции сведены в одну интересную концепцию биографические записи и исторические обзоры с клиническим опытом. Предыдущие ораторы говорили об истории своей жизни и страданий. Я хотел бы в своем докладе остановиться на некоторых из моих впечатлений и опыте в области разработок и изменений, появившихся за последние двадцать лет в области лечения людей, столкнувшихся с травмой. При этом я постараюсь, со ссылкой на концепцию этой конференции, установить историческую, личную и профессиональную ссылки на эту тему. Я спросил себя, что означает термин «травма» для меня - в моем развитии как терапевта, а также и в моей собственной жизни? Где я встречал травмы в моей работе терапевта и как травматический опыт повлиял на меня в моей биографии?

Встречи с травмой в качестве терапевта

В середине 1980-х, когда начал свою профессиональную подготовку в качестве психиатра и психотерапевта, для многих моих коллег «посттравматическое стрессовое расстройство» (ПТСР) имело репутацию крайне трудно поддающееся лечению. Многие терапевты не хотели проводить лечение таких пациентов. На хронические посттравматические осложнения, которые часто наблюдаются у ветеранов войны и у некоторых людей, переживших Холокост, терапевтические вмешательства, казалось, совсем не действовали. Кроме того, усилия понять симптомы пациента путем психоанализа часто не приводили к какому-либо клиническому улучшению.

В последующие 25 лет многое принципиально изменилось. Со времени концептуализации «посттравматического стрессового расстройства» в 1980 году в качестве клинического диагноза, который - независимо от лежащих в его основе множественных травм - описывает аналогичную картину симптомов, психологическая травматология переживает возрождение. Терапевтический скептицизм и пессимизм привели к повышенному интересу к новым подходам и внушили умеренный оптимизм. Профессионально во время терапии я встречался как с ветеранами Шестидневной войны так и войны Судного дня, а также и людьми, пережившими Холокост.

В 1990/91 году кризис в Персидском заливе превратился в войну, в результате которой Израиль подвергся угрозам и бомбардировкам. Именно в это

время я наблюдал у некоторых людей, переживших Холокост и ветеранов войны реактивацию старых травм, но в то же время обнаружил, что многие выжившие также - и, возможно, преднамеренно - в этой опасной ситуации показали большой потенциал к оказанию сопротивления и гибкости. Запуганная, сложная картина.

Солдатам, которые реагировали на острую опасность со стрессом и тревогой, мы пытались помочь с помощью психологической подготовки и распознать их симптомы, как нормативные реакции на фоне чрезвычайного стресса и опасной ситуации. Я был поражен, что это минимальное вмешательство удивительно часто помогало многим солдатам и лишь небольшому числу из них понадобилась более интенсивная терапия.

До этого времени мое терапевтическое образование было сосредоточено в основном на долгосрочной психоаналитической и психодинамической психотерапии. Но теперь у меня пробудился интерес к расширению моих терапевтических навыков. В последующие годы я узнал методы кризисного вмешательства, психодинамической краткосрочной терапии, гипноза, когнитивно-поведенческой и травма-центрированной терапии. В последующие годы я работал прежде всего в социально-психологических центрах и поликлиниках. Вместе с моими единомышленниками мы расширили обучение терапевтов, а также спектр различных форм терапии. Терапевты проходили не только основательную психодинамическую подготовку, но и занимались также вышеупомянутыми вариантами терапевтической практики.

«Войны» различных терапевтических подходов, которые в прошлом часто враждовали, постепенно уступили место различным практикам, которые дополняют друг друга, оказывают взаимное влияние, стимулирование, а иногда и могут быть объединены. Это изменение улучшило лечебный климат и спектр предложений для клиентов - а также и для терапевтов. Постмодернистская плюралистическая картина мира внесла в это изменение свой значительный вклад. Исследования доказали эффективность различных форм психотерапии, тем самым подтвердив изменение этой парадигмы.

По моему мнению, наиболее важные предложения по необходимости различных форм

терапии травмы исходят от врачей, которые в своей практике нуждаются в широком диапазоне терапевтических инструментов.

Терапия травмы стала той областью, в которой различные терапевтические модели и подходы могут теперь довольно гармонично дополнять друг друга. Понимание травмы и процессов травматизации, а также последующие терапевтические возможности в настоящее время строятся на ряде дополнительных и расширенных подходов: подключение биологического подхода с признанием важности гормона стресса, кортизона и генетики, исследования мозга прежде всего в области памяти, а также нейроанатомии и нейрофизиологии.

Нарративный подход, который подчеркивает вербализацию, новое формирование и формулирование нарратива травматических событий и опыта, а также психодинамические, поведенческие и связанные с работой организма подходы предлагают самые разнообразные возможности, которые могут адаптированы индивидуально к каждому клиенту. Еще одним методом является экзистенциальная терапия с поиском смысла. Помощь общества, поддержка, понимание и солидарность, которые травмированные люди получают в своем окружении, также доказаны, как центральные факторы процесса психологического заживления. Тем не менее, это не так легко, потому что все эти теории и концепции остаются не просто теоретическими. Как травматерапевт, человек также очень активно участвует лично в этом процессе. Собственный жизненный опыт и пережитая травма терапевта являются решающим источником терапевтической креативности и одновременно его проблемой при сложной терапии. Как же мой личный опыт повлиял на мою работу в качестве психотерапевта?

Личные встречи с травмой

В сентябре 1992 года я работал в психосоциальной поликлинике в Иерусалиме. Совершенно неожиданно в один день один из пациентов появился с автоматом и расстрелял четверых моих коллег. Совершенно случайно меня в то время в поликлинике не было - я приехал только двумя часами позже. Для нас, терапевтов, началась длительная фаза преодоления этой тяжелейшей психологической травмы. Мы чувствовали шок, оцепенение, затем нас опять охватило горе и растерянность, чувство вины, что мы

выжили и чувство пустоты. Тем не менее, мы сделали это - как личности и как терапевты - мы выполняли свои обязанности. Сначала мы чувствовали себя роботами, но постепенно это ощущение исчезло. Мы чувствовали, что каждый час, каждый день и каждая неделя являются для нас новым вызовом.

Для меня - и я думаю, также и для всех - солидарность и понимание других коллег и окружающей среды - это наиболее важный фактор в преодолении травмы. Для меня это был очень важным уроком и выводом: чуткое, внимательное присутствие и поддержка других людей являются для травмированных людей одной из самых важных потребностей - особенно в острой фазе после травмы, но также и на более поздних стадиях. В последующие годы я столкнулся с людьми с очень тяжелой травматизацией и проводил лечение переживших Холокост в АМСНА, ветеранов с травмой войны, жертв гражданских травм и прежде всего жертв терактов в Иерусалиме во время первой и второй интифады, а также жертв среди гражданского населения, пострадавших в последние годы от бомбардировок на севере и на юге Израиля.

Снова и снова мне становилось мучительно ясно: как терапевт я не просто защищен и нахожусь в безопасности. Я тоже жил в Израиле в эти годы в опасном окружении - в контексте интифады, а также во время ужасного расстрела в больнице, что я уже описывал ранее. И я думаю снова и снова о терапевтических встречах с травмированными клиентами и говорю себе: «Это могло случиться и со мной...» Но потом я стал испытывать чувство, что я чего-то достиг: один ветеран войны, который более 30 лет страдал тяжелым посттравматическим стрессовым расстройством, почувствовал после интенсивного, но кратковременного курса лечения терапией модели «продолженной терапии выражением» по Эдне Фоа значительное облегчение своих симптомов; один уже почти отчаявшийся человек, переживший Холокост, нашел новый смысл жизни, еще один человек, жертва террора, сумел вновь обрести равновесие в семье и на работе.

Во время профессиональных встреч с пациентами с травмами постоянно накапливался опыт, которые помогал перерабатывать и свои личные травмы. Возможность научиться лучше справляться с ними расширили и обогатили мою терапевтическую практику. На семинар-тренинге для врачей мы практиковали один метод, который касался травматических воспоминаний, которые нельзя выразить словами и для которых есть только воспоминания тела, с тем, чтобы с помощью

этих воспоминаний распознавать и лечить травмы – «соматический опыт». Впервые мне удалось приблизиться к одному из моих детских воспоминаний и переработать его.

В детстве я получил серьезный ожог и попал на несколько недель в больницу. Мое единственное сознательное воспоминание была связано с пребыванием в больничной палате. Палату и ее стены я воспринимал как нечто сдавливающее, болезненное и таящее угрозу. Во время дыхательных упражнений как части «соматического опыта» я внезапно воспринял движение моей грудной клетки при вдохе и выдохе, как движение стен в больничной палаты. Опыт бессилия в моей памяти сменился некоторым облегчением – «стены могут быть перемещены...»

Встречи с людьми, пережившими Холокост

Встреча и лечение людей, переживших Холокост и травмы поколения родителей означали на протяжении многих лет одно из самых важных воздействий на эффективность моей работы в качестве травмотерапевта. О каких травматических воспоминаниях из времен Холокоста говорили выжившие в ходе своей жизни, о чем и как они молчали? Насколько важно было раньше и сегодня для выживших признание их травмы и их страданий? Что помогло им после войны жить дальше и строить новую жизнь?

Вышеупомянутая запутанная и сложная картина сочетания уязвимости и устойчивости выживших в свете подавляющей травматизации и больших потерь во время Холокоста представляет собой очень важное учение об преодолении массивных травм другого происхождения. В АМСНА мы снова и снова узнаем, что некоторые выжившие даже в возрасте 80 или 90 лет в первый раз ищут терапевтическую помощь и терапевты часто находят способы, чтобы облегчить их страдания.

В заключение я прихожу к выводу, что терапия травмы сегодня сделала позитивное развитие по сравнению с ситуацией, которая была 25 лет назад. Мы - врачи - теперь имеем больше опыта, знаний и понимания различных последствий травмы и сегодня в нашем распоряжении имеется множество различных форм лечения. Эмоциональный контакт со своим собственным травматическим опытом и встречами и их преодоление представляют собой один из наиболее важных источников наших терапевтических способностей.

Trauma und seine Auswirkungen

Jüdische und psychologische Aspekte

In meinen Beitrag möchte ich Überlegungen vorstellen, wie man jüdische und psychologische Perspektiven beim Verstehen von Traumata miteinander verbinden kann, insbesondere wenn es um das psychologische Verständnis der Arbeit mit jenen geht, die die Shoah als Kinder überlebt haben. Bei jeder der folgenden Betrachtungen werde ich zum einen etwas vom Standpunkt der psychologischen Forschung aus sagen, zum anderen aber auch darüber nachdenken, was sich aus der Perspektive traditioneller jüdischer Quellen dazu anmerken lässt. Schließlich möchte ich die daraus resultierenden Konsequenzen für unsere praktische Arbeit bedenken.

Ich beginne mit einem faszinierenden Widerspruch, der im Talmud begegnet. Es ist fast zwei Jahrtausende her, und es geht um folgende Aussage, die in Sprüchen ausgedrückt wird: Im *Midrasch Mischle* (12,25) heißt es: „Sorge im Herzen eines Menschen drückt ihn nieder, doch ein gutes Wort macht ihn froh.“ Einen weiteren Spruch: „Trägst Du eine Sorge im Herzen, so unterdrücke sie“, erklärt der Babylonische Talmud wie folgt: „R. Ammi und R. Assi deuten diesen Vers unterschiedlich: Der eine gibt ihn wieder mit: ‚Lass ihn die Sorge aus seinem Geist verdrängen‘, der andere mit: ‚Lass ihn die Sorge mit anderen besprechen‘“ (Joma 75a). Ein Gelehrter sagt also, man solle, wenn man Sorgen im Herzen trage, einfach nicht daran denken, sondern sie wegschieben und versuchen, sich abzulenken. Der andere hingegen sagt, wenn man Sorgen im Herzen trage, solle man jemanden finden, einen guten Freund, einen Kollegen, jemanden, dem man vertraut, und mit ihm darüber sprechen. Interessant ist, dass in allen Fällen, in denen der Talmud über diese Unstimmigkeit spricht, nie entschieden wird, welcher der beiden vorgeschlagenen Wege der Richtige bzw. der Falsche ist. Beide Ansichten erlauben eine gleichberechtigte Annäherung an den Umgang mit Stress, Unsicherheit und Lebensangst. Mit Blick auf die Forschung der letzten Jahrzehnte ist zudem interessant zu erwähnen, dass die Traumaforschung einen umfassenden Beweis dafür liefert, dass es in der Tat riskant ist, zu glauben, es gebe bei der Bewältigung von Traumata eine Universallösung, die für alle gültig sei. Und so verhält es sich tatsächlich: Einige Menschen bewältigen etwas, indem sie es aussprechen, andere wollen einfach nicht darüber nachdenken. Wie wir alle wissen, vollzieht sich Bewältigung auf sehr

unterschiedliche Weise. Es gibt viele verschiedene Wege, wie Menschen mit etwas fertig werden. Die medizinische Psychologie forscht etwa zu der Frage, wie Menschen sich verhalten, wenn sie eine schmerzhafte Spritze bekommen sollen: die einen, indem sie sich ablenken, die anderen, indem sie mit anderen Menschen reden.

Ich war viele Jahre lang beratender Psychologe in einem Krebs-Zentrum für Kinder. Dort gab es Kinder, von denen wir wussten, dass es nicht gut war, mit ihnen zu sprechen, wenn sie sich einer schmerzvollen medizinischen Behandlung unterziehen mussten, da sie nicht wissen wollten, was sie hatten und warum sie sich dieser Behandlung unterziehen mussten. Sie wollten einfach nicht darüber nachdenken. Wir pfl egten ihnen die neueste Spielkonsole zu zeigen, und solange sie das aktuellste elektronische Spiel spielen konnten, schienen sie gar nicht zu bemerken, dass sie eine schmerzhafte Spritze bekamen. Andere Kinder waren – so würde es die Literatur nennen – „Teilnehmende“. Die einen waren also abwesend und lenkten sich ab, die anderen nahmen teil und wollten wissen, warum sie diese Spritze bekamen, ob sie wirklich nötig sei, ob nicht ein anderer Arzt kommen könne und ob sie sich die Spritze nicht selbst geben könnten. Würde man die Spielkonsole den „Teilnehmenden“ in die Hand drücken, also denen, die darüber sprechen möchten, würden sich diese bei der Behandlung viel schwerer tun. Umgekehrt, würde man den „Sich-Ablenkenden“ einen Internet-Artikel über die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten zu lesen geben, ginge es ihnen viel schlimmer. Es war erforderlich, sich dem jeweils persönlichen Bedürfnis anzupassen.

Nun möchte ich all dies anhand einiger Geschichten illustrieren. Mein Hauptforschungsgebiet der letzten Jahre war die Untersuchung der unterschiedlichen Aspekte von Traumata im Zusammenhang der Zweiten Intifada in Israel. Auf dem Höhepunkt der Anschläge in Israel wurde ich von Danny Brom, dem Direktor des Latner Institutes, eines Jerusalemer Trauma-Zentrums, eingeladen und gebeten, zu etwa 40 Trauma-Therapeuten zu sprechen. Ich hielt also einen Vortrag und zeigte gerade eine Power-Point-Präsentation, als wir die Nachricht erhielten, dass es auf dem Campus der Hebrew University und in der Frank-Sinatra-Cafeteria zu einem Bombenanschlag gekommen war, bei

dem 7 bis 9 Menschen getötet wurden, es war furchtbar. Sofort begannen die Handys im Trauma-Zentrum zu klingeln. Israel ist eine stark vernetzte Gesellschaft, jeder kennt jeden, und auf einmal waren alle 40 Therapeuten verschwunden. Sie waren allesamt in die verschiedenen Teile des Landes gefahren, um dort zur Stelle zu sein. Dr. Brom kam mit einem israelischen Kollegen zu mir und sagte: „Wir haben gerade erfahren, dass der überaus beliebte beratende Leiter eines Sommercamps in der Mitte des Landes bei dem Anschlag umgekommen ist.“ Er fragte mich, ob ich dorthin fahren könne, um mit den Kindern – israelischen Teenagern – zu reden, da sie zu wenig Personal hätten. Selbstverständlich fuhr ich mit und zwar in Begleitung einer Kollegin, Dr. Ruth Pat Horencyk, einer bekannten Trauma-Expertin. Ich ging davon aus, die Geschehnisse würden als furchtbare Tragödie aufgefasst werden, wie dies etwa in New York in einer solchen Situation der Fall wäre. Aber nicht so in Israel. Der Direktor des Camps begrüßte uns, und wir versammelten uns in einer Ecke des Raums. Dann sprach er zu den Kindern: „Hört mal, ich habe schreckliche Nachrichten. Unser geliebter Machane-Leiter ist gerade bei einem Bombenanschlag getötet worden. Und ich habe nun fünf Räume zu Eurer Verfügung, damit Ihr das Geschehene verarbeiten könnt. In dem einen Raum werdet Ihr Briefe an die Eltern des Leiters schreiben. In dem anderen Raum könnt Ihr, wenn Ihr wollt, Eure Gefühle mit künstlerischen Mitteln ausdrücken. Es gibt dort verschiedene Materialien. In einem anderen Raum gibt es Musikinstrumente und in einem weiteren könnt Ihr beten. Der fünfte Raum ist ein Gesprächsraum, dort könnt Ihr mit mir oder meiner Kollegin sprechen.“

Faszinierend daran war, dass die Kinder oder Teenager im Prinzip von Raum zu Raum gehen durften, den ganzen Tag lang. Doch keines der Kinder wechselte den Raum. Die Kinder, die sich künstlerisch ausdrücken wollten, verbrachten den ganzen Tag nur damit. Das war ihr Verarbeitungsmechanismus. Die „Briefeschreiber“ schrieben, die „Musik-Kinder“ machten Musik und die „Gesprächs-Kinder“ sprachen mit uns. Wir hatten einen unglaublichen Tag. Wir führten Gespräche mit ihnen, und sie erzählten uns von ihren bereits zuvor erlebten Verlusten. Niemand wählte den Gebetsraum, also den Raum für das innere Gespräch, was bei Teenagern nicht überrascht. Aber ich lernte eine unglaubliche Lektion: Bewältigung tritt in verschiedenen Varianten auf und lässt sich nicht ritualisieren. Wir müssen die Lektion des Talmuds über die unterschiedlichen Formen der Bewältigung schwieriger Gefühle lernen.

In der darauf folgenden Woche kehrte ich nach New York zurück, es war, der erste Jahrestag des 11. Septembers 2001. Ich hatte viel mit Menschen gearbeitet, die Angehörige oder Freunde bei dem Anschlag auf das World Trade Center verloren hatten. Deshalb wurde ich gebeten, am Jahrestag zu sprechen. Ich erzählte die Geschichte, die ich gerade in Israel erlebt hatte, die Geschichte von den fünf Verarbeitungsräumen. Diese Erfahrung hatte mich wirklich verändert, vor allem meine Ansicht darüber, wie man Menschen durch harte Zeiten hindurch hilft, und wie wir unser Verständnis erweitern und die Tatsache anerkennen müssen, dass es unterschiedliche Wege der Bewältigung gibt. In der anschließenden Diskussion erzählte mir eine Frau aus dem Publikum als Antwort auf den Bericht über die fünf Bewältigungsräume die folgende unglaubliche Geschichte:

Ihr Vater, so die Frau, sei ein chassidischer Jude, ein Verfolgter der Shoah, der im KZ in der Koje neben Elie Wiesel gelegen habe. Sie seien zusammen auf dem berühmten Bild von Elie Wiesel zu sehen, er sei einer von denen, die aus den Baracken strömten. Sie sei eine Woche zuvor bei einem Vortrag von Prof. Wiesel gewesen, und ihr Vater, der noch am Leben sei, habe ihr aufgetragen: „Richte bitte Elie meine Grüße aus!“ Also wartete sie nach dem Vortrag, bis sie an die Reihe kam, und sagte: „Ich weiß nicht, ob Sie sich an meinen Vater erinnern, aber er schickt Ihnen Grüße.“ Elie Wiesel schossen die Tränen in die Augen, und er sagte: „Ihr Vater hat Ihnen wohl nicht erzählt, dass er mir das Leben gerettet hat, dass er der einzige Grund dafür ist, dass ich heute hier stehe!“ Und sie erwiderte: „Nein, er hat kein Wort darüber gesagt.“ Elie Wiesel erzählte ihr daraufhin die folgende Geschichte:

„Es war ein furchtbarer Tag, auch wenn jeder Tag im KZ furchtbar war, dieser war es noch mehr. Die emotionale Verfälschung aller war an einem Tiefpunkt. Eine Gruppe russischer Kriegsgefangener hatte es offenbar geschafft, sich Rattengift zu besorgen, und sie wollten ihr Leben beenden. Sie standen in einer Reihe an, um sich ihre Portion abzuholen, sie zu nehmen und zu sterben. Alle anderen, Erwachsene und Jugendliche aus dieser Baracke, schauten sich an und sagten: ‚Wisst ihr was, es ist eine gute Idee. Lasst es uns beenden. Lasst uns auch Rattengift nehmen.‘ Und Elie Wiesel und alle seine Freunde warteten in der Reihe, um sich das Gift geben zu lassen. Alle standen in der Reihe, nur einer nicht, Ihr Vater, der Chassid! Er bewahrte seinen Glauben sogar dort. Er stellte sich an die Seite der Reihe und begann ‚Ani Ma’amin‘ zu singen, ein chassidisches Lied, in dem es heißt: ‚Ich glaube mit all meinem Vertrauen an die endgültige Erlösung.‘

Das brach unseren selbstmörderischen Bann. Einer nach dem anderen kapitulierte vor Ihrem Vater und stimmte in den Gesang ein.“

Das ist Bewältigung. Manchmal ist es Musik, manchmal ist es Kunst, manchmal sind es Gespräche, manchmal hilft es einfach, sich in etwas anderes hineinzustürzen. Es gibt kein Richtig oder Falsch. Der Schlüssel liegt darin, dass wir einander die jeweils eigene Form der Bewältigung zugestehen müssen, so wie es der Talmud tut, das heißt die eigene Art, sich im Laufe der Zeit zu verändern. Nur wenige Menschen nutzen bloß einen Bewältigungsmechanismus.

Was mein bei der Behandlung stark traumatisierter Erwachsener tun kann, ist Folgendes: Wir bereiten einen Tisch mit 13 Bewältigungsmöglichkeiten vor. Da gibt es etwa Flüssigkeiten, die beruhigen, wenn man daran riecht. Es gibt Comicbücher, Sportbücher und vieles mehr. Wir zeigen ihnen einen zehnminütigen erschütternden Film und schicken sie dann als Gruppe los, vier oder fünf der Bewältigungsmechanismen auszuprobieren. Und sie gehen los, erzählen uns danach, was sie probiert haben, und tauschen sich darüber aus, was bei ihnen wirkt und was nicht. Unser Ziel im Zuge dieses Teils der Behandlung besteht darin, dass sich die Teilnehmenden einen „Werkzeugkoffer“ mit Bewältigungsmechanismen zusammenstellen, die ihnen helfen.

Es ist nie das Gleiche und es lässt sich auch nicht voraussagen. Ich habe Sportler gesehen, große und breite durch American Football gestählte Kerle, die sich durch das Riechen an Parfüm beruhigten. Und es ist niemals der gleiche „Werkzeugkoffer“. Jeder hat seinen eigenen. „Trägst Du eine Sorge im Herzen, so unterdrücke sie oder sprich darüber mit jemandem.“ Denke an die alte jüdische Weisheit, die, wie unsere Forschung zeigt, bis heute ihre Gültigkeit hat. Ich zitiere eine Autorin, die über wachsende Resilienz oder Stabilität schreibt: „Bewältigen wir etwas mit Hilfe von Kunst, so machen wir Etwas aus Nichts. Mit Humor dagegen machen wir Nichts aus Etwas.“ Humor ist sehr häufig ein unglaublich wichtiger Bewältigungsmechanismus. Ich habe nur über sechs Bewältigungsmechanismen gesprochen, aber es gibt weitaus mehr.

In Frankfurt hat der wohl bekannteste Rabbiner der neueren jüdischen Geschichte gewirkt: Samson Raphael Hirsch, er war von 1851 bis 1888 Rabbiner der orthodoxen Gemeinde Frankfurts. Er war ein brillanter Mann, der vielfach unglaubliche psychologische Erkenntnisse hatte.

Ich werde mit der ersten dieser Einsichten beginnen, seiner Aussage über den Psalmvers *Eli, Eli lama asaftani* („Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“, Ps. 22,2). Hirsch betonte, das Hebräische werde falsch gelesen. „Wir sollten es nicht so lesen, sondern anders aussprechen, nämlich nach der Vokalisierung *Eli, Eli lema asaftani?* („Mein Gott, mein Gott, wozu hast Du uns verlassen?“). Fragt man nach dem Warum, so zieht es einen hinunter. Fragt man dagegen nach dem Wofür oder Wozu, dann hat es eine stärkende Wirkung.

Rabbiner Hirsch hat diese Bemerkungen in seiner Frankfurter Zeit geschrieben. Als ich also hier durch die Straßen ging und an den verschiedenen Orten Spuren seines Geistes sah, hatte ich das Gefühl, ich müsse einige meiner Folien zugunsten seiner Gedanken ändern, denn sie sind von großer Brillanz. Eine seiner bekanntesten Aussagen betrifft das hebräische Wort für Trost – *nechama*. Betrachtet man sorgfältig die biblischen Quellen, so bedeutet es gar nicht Trost, sondern Perspektivwechsel. Hirsch gibt sehr klare Beispiele für solche Perspektivwechsel und zeigt uns auf diese Weise, dass Trost mit der Zeit dank einer Verschiebung der Perspektive zustande kommt. Das hebräische Wort *nissajon*, das „Versuch“, „Test“, „Prüfung“ oder „Kummer“ bedeutet, aber auch „Flagge“ oder „Banner“, birgt zwei Dinge in sich. Zum einen die Tatsache, dass es ein *nes* ist, ein Wunder, wenn man durch eine „Prüfung“ wächst (*nes* ist ein Teil des Wortes *nissajon*), zum anderen aber das Bild eines *nes*, einer Fahne, die man voller Stolz hochhält. Der Midrasch sagt über die Prüfung, der sich Abraham unterziehen muss: „Du gabst jenen, die Dich fürchten, ein Banner (*nes*), das Du in die Höhe heben sollst zu Deinem Schmuck (Psalm 60), *nissajon* (Prüfung) um *nissajon*, um geschmückt zu werden, d.h. Wachstum um Wachstum, um sie in der Welt aufzurichten“ (*Midrasch Rabbah* 55,1). Eine Prüfung nach der anderen, ein Wachstum nach dem anderen, um sich aufzurichten. Erstaunlich! Posttraumatisches Wachstum, das ist die Erkenntnis einer wundervollen Forschungsarbeit, die auch außerhalb von Israel geleistet wird, ist in vielen Situationen die Norm, nicht immer, aber doch häufig.

Vor langer Zeit sagte Ramban (Mose ben Nachman) in seinem Bibelkommentar zum Buch Genesis (22,1) mit Blick auf diese Idee der „Prüfung“: „Gott prüft einen Menschen, um dessen Potential aufzurufen, so dass der Einzelne, der geprüft wird, sich die Belohnung durch eine gute Tat verdienen kann, nicht nur durch ein gutes Herz. [...] Alle Prüfungen, denen wir in der Tora begegnen, sind zum Wohle des Geprüften.“

Ich möchte damit nicht sagen, dass Therapeuten diese Aussage in Therapiesitzungen verwenden und einem Menschen, der durch die Schrecken der Shoah gegangen ist, sagen sollen: „Dies war eine Prüfung und dadurch sind Sie

gewachsen!“ Das würden sie selbstverständlich niemals tun. Aber diese Idee bietet eine Annäherung, auf welche Weise Therapeuten vielleicht einen Menschen zu diesem Punkt, zu dieser Erkenntnis bringen können. Im spätmittelalterlichen ethischen Traktat *Orchot Zaddikim* („Pfade der Gerechten“) steht über posttraumatisches Wachstum Folgendes: „Kümmernisse dienen dem langfristigen Wohl des Menschen. Wie es heißt: ‚Frohlocke nicht über mich, mein Feind; denn wenn ich falle, werde ich aufstehen; wenn ich im Dunkeln sitze, wird Ha-Schem mir ein Licht sein‘ (Micha 7,8). Unsere Rabbinen gesegneten Andenkens haben uns gelehrt: ‚Wäre ich nicht gefallen, hätte ich mich nicht wieder aufgerichtet; hätte ich nicht im Dunkeln gesessen, so hätte ich das Licht nicht gesehen‘“ (*Orchot Zaddikim, Scha'ar ha-Teschuva, Pforte 26*). „Ilu nafalti...“ – Wenn ich nicht gefallen wäre, hätte ich die Erfahrung des Aufstehens nicht gemacht. „Ilu jaschawti...“ – Hätte ich nicht in der Dunkelheit gesessen, hätte ich nicht das Licht schätzen gelernt. Der Text ist aus meiner Sicht einfach großartig, er birgt eine wunderbare Aussage über posttraumatisches Wachstum, und sie ist so wahr.

Ich habe die vergangenen 35 Jahre mit traumatisierten Überlebenden der Shoah, mit Trauma-Patienten in Israel nach dem Tsunami in Sri Lanka und kürzlich auch mit Amerikanern gearbeitet, die unmittelbar von den Terroranschlägen vom 11. September 2001 betroffen waren. Und immer wieder kommt mir dieser Spruch aus dem Mittelalter in den Sinn, unglücklich!

In einer Studie wollten wir uns mit Familien befassen, die ein krebskrankes Kind hatten. Gemeinsam mit jungen Familien erarbeitete ich eine Reihe psychologischer Maßnahmen, die mir sehr gut erschienen. Wir untersuchten alle möglichen Aspekte der Problematik des Umgangs mit der schrecklichen Erfahrung, dass das eigene Kind lebensbedrohlich erkrankt. Diese Maßnahmen wurden in fünf verschiedenen Regionen der USA durchgeführt, doch es dauerte nicht lange, bis mich meine Forschungsassistenten von überall anriefen und mich beschimpften. Sie sagten: „Pelcovitz, Sie haben es vergeigt!“ Was war falsch gelaufen? Ihre Antwort lautete: „Schauen Sie, die Leute sagen, Sie hätten in Ihren Fragebögen keine einzige Frage darüber vorgesehen, was das Gute daran sei, ein krebskrankes Kind zu haben.“ Ich erwiderte: „Was ist denn das für eine Chuzpe? Wie könnte ich so etwas tun, eine Mutter oder einen Vater eines krebskranken Kindes zu fragen, welche gute Seite diese furchtbare Erfahrung habe?“ Sie sagten: „Schauen Sie, wir sind nur die Boten, nicht diejenigen, die es sagen. Doch die Leute sind verärgert.“ Also fügte ich einen entsprechenden Abschnitt zu meinem Fragenkatalog hinzu, und natürlich wurde dies der wertvollste Teil der Studie. Ich zitiere die Antwort einer Frau, bei deren Sohn ein Jahr zuvor eine akute lymphoblastische Leukämie diagnostiziert worden war. Sie sagte: „Vor einem Jahr war das

Wichtigste in meinem Leben, meinen Tennisaufschlag zu verbessern.“ Sie stammt aus einem Teil der USA, wo ein ausgezeichnetes Tennisspiel Sinn stiftet. „Das bedeutete mir am meisten.“ Sie sagte weiter: „Als dann die Krankheit bei meinem Sohn diagnostiziert wurde, änderte sich alles. Meine Welt brach zusammen. Vor einigen Wochen gab es bei uns ein furchtbares Gewitter, und der Sturm wehte einen Baum um, der zwischen meinem Haus und dem der Nachbarin stand. Der Baum fiel auf das Auto der Nachbarin und verursachte einen Totalschaden. Es war sieben Uhr morgens, und ich wollte gerade ins Krankenhaus fahren, um meinen Mann abzulösen, der die ganze Nacht am Bett unseres 15-jährigen Sohnes gewacht hatte. Da klingelte es an der Tür. Es war die Nachbarin, die hysterisch berichtete, ihr Auto sei komplett zerstört worden, und fast einen Nervenzusammenbruch erlitt. Also setzte ich mich mit ihr hin, wir riefen zusammen die Versicherung an, und ich brachte sie zu ihrer Arbeitsstelle. Während sie in ihr Bürogebäude hineinging und ich ins Krankenhaus fuhr, begann ich zu lachen, denn ich musste daran denken, was passiert wäre, wenn der Baum in die andere Richtung gefallen wäre. Angenommen, letzte Nacht hätte der Sturm aus einer anderen Richtung geweht und der Baum wäre auf mein Auto gefallen. Wissen Sie, was ich dann gemacht hätte?“ Sie beantwortete die Frage selbst: „Ich werde Ihnen sagen, was ich gemacht hätte. Ich hätte gesagt: Na, dann sollte ich wohl besser ein Taxi rufen. Das hätte ich getan. Und vielleicht hätte ich mich ein paar Wochen später entschlossen, ein neues Auto zu kaufen oder das alte reparieren zu lassen. Ich weiß jetzt, was wichtig ist. Es ist wichtig, dass ich zu meinem Sohn ins Krankenhaus komme. Wichtiger als alles andere auf der Welt ist, bei der Familie zu sein. Das allein zählt.“ Und sie fügte hinzu: „Das ist das Gute, was aus der Krankheit meines Sohnes erwachsen ist.“ Das ist der Perspektivwechsel. Wie es dazu gekommen ist? Es kam nicht durch den Therapeuten, der Dich zur *nechama* gebracht hat, zu diesem Trost. Es kam durch das innere Empfinden eines Wachstums. Was also macht ein Berater, ein Sozialarbeiter oder eine Person, die mit Überlebenden arbeitet, deren Verantwortung es ist, Trost zu spenden? Die Antwort lautet: Nichts. Man hört zu, hört immer wieder zu und ist einfach da. Du hilfst ihnen, wenn sie es herausfinden wollen.

Hier ist noch ein jüdischer Gedanke, eine sehr ungewöhnliche Erkenntnis aus der antiken jüdischen Literatur. Zwei Rabbinen werden von den Römern zur Hinrichtung geführt. Die Römer waren damals nicht gerade Freunde der Juden. Sie waren die Vorläufer dessen, worüber wir heute gesprochen haben. Also diese beiden bedeutenden Rabbinen werden zur Hinrichtung geführt. Einer wendet sich zum anderen und sagt: „Ich kann nicht glauben, dass ich wie ein gewöhnlicher Krimineller hingerichtet werde. Ich kann nicht glauben, dass es so enden soll.“

Der andere, der auch kurz vor der Hinrichtung stand, sagte: „Nun, vielleicht hast du ja mal etwas falsch gemacht? Vielleicht hast Du einer Witwe nicht genügend Achtung entgegengebracht. Sehr seltsam.“

Ein Freund von mir, der viel mit Trauma-Arbeit beschäftigt ist und auch Rabbiner ist, sagte mir dazu Folgendes: „Geh ins Internet und schau nach, wo überall im Talmud das Wort *nichamtani* („Ich werde getröstet“) vorkommt.“ „Ich werde getröstet.“ Es geht stets um Trost durch eine andere Person, die zwar keine Antwort gibt, aber die Dinge so formuliert, dass es jemanden, der bestürzt und verwirrt ist, zum Denken anregt. Dadurch wird ein „Vielleicht-Ort“ geschaffen. Und Du bist nur für andere da, damit sie auf Ideen kommen. Und dann fühlen sie sich zutiefst verstanden, und das bringt Dich mit der Zeit zu einem tief tröstenden Ort. Das kann möglicherweise nicht für viele Jahre sein, nicht für lange Zeit. Letztlich besteht unsere Rolle darin, respektvoll zuzuhören, uns auf die Zunge zu beißen und einfach da zu sein wie ein guter Resonanzboden.

Das hebräische Wort *ozen* („Ohr“) und das hebräische Wort *moznajim* („Waage“) sind angeblich etymologisch verwandt: das Wort *ozen* ist in *maznajim* eingebettet. Denn es liegt etwas sehr Ausgleichendes darin, wenn man jemandem zuhört. Jemandem zuzuhören hat etwas sehr Tröstendes. Das Innenohr ist tatsächlich der Ursprung des Gleichgewichts.

Eine weitere Geschichte über einen Perspektivwechsel illustriert, dass ein Perspektivwechsel in zweierlei Richtung erfolgen kann.

Eine Frau kommt zur Sprechstunde. Sie ist durch die Straßen von Manhattan gelaufen, als ein Mann von hinten aus dem Gebüsch sprang und sie zu vergewaltigen versuchte. Sie schrie, schimpfte und kämpfte gegen ihn an, und er war überrascht, mit welcher Intensität sie ihn zurückdrängte. Schließlich kamen ihr ein paar New Yorker zu Hilfe und vertrieben ihn. Er war also nicht erfolgreich gewesen bei dem Versuch, sie zu vergewaltigen. Sie ging darauf zum Arzt zur Gesundheitskontrolle und fühlte sich gut. Sie war ihrer dunkelsten Angst begegnet und als Siegerin hervorgegangen. Bis sechs Monate später zwei New Yorker Polizisten an ihrer Tür klingelten und sagten: „Wir denken, wir haben den Typen, der versucht hat, Sie zu überfallen.“ Sie bringen die Frau zu einer Gegenüberstellung, und sie identifiziert ihn. Nachdem der Fall abgeschlossen ist, ruft man sie noch einmal an, um ihr zu danken, und lässt sie wissen: „Sie haben wirklich Glück. Es gibt noch vier andere Leute, die er überfallen hat, und Sie haben als Einzige überlebt.“

Daraufhin entwickelt sie eine ausgewachsene posttraumatische Stressstörung, die sie vollkommen handlungsunfähig macht. Was hat sich geändert? Nicht das Ereignis, sondern ihre Wahrnehmung des Ereignisses. Damit haben

wir alle zu tun. Jeder, der mit Überlebenden arbeitet, wirkt auf Wahrnehmungen ein und verändert sie entweder in eine gute oder schlechte Richtung. Das ist wiederum eine unglaubliche Verantwortung! Doch das ist die Idee der *nechama*, des Trostes, oder, um diesen Teil mit dem zu beenden, was der Ba'al Schem Tow vor langer Zeit sagte: „Du willst wissen, wo die Person ist, doch es geht nicht darum, wo sie ist, sondern wo ihre Gedanken sind. Richtig? Eine Person findet sich dort, wo ihre Gedanken sind. Damit ist das Entscheidende gesagt.“

Im Folgenden knüpfe ich an die Gedanken von Rabbi Jerucham Levovitz an, der vor der Shoah im weißrussischen Mir lebte. Er starb 1946. Seine Studenten konnten sich fast alle retten, sie flüchteten nach Shanghai und dann weiter nach Israel, wo sie eine Reihe von Jeschiwot gründeten. Bei der Auslegung eines Thora-Abschnittes hat er eine brillante psychologische Einsicht. Es geht um einen Schemel Gottes. Das ist offensichtlich metaphorisch gemeint. Der Schemel Gottes, so heißt es dort, ist aus reinem Saphir, doch in diesen Schemel ist ein Ziegel eingelassen. Der Ziegelstein symbolisiert das Leiden der Juden während der Zeit der Sklaverei.

Rabbi Levovitz stellt Fragen, die sich ganz selbstverständlich ergeben: Welche symbolische Bedeutung besitzt Euer Leid während der Sklaverei nach der Erlösung? Warum redet Ihr über die Vergangenheit? Ist es so wichtig, über die alten Geschichten zu reden? Welche Lehre lässt sich daraus ziehen? Und dies ist seine Antwort, an die ich bei meiner Arbeit mit Überlebenden so oft gedacht habe: „Es soll uns lehren, dass wir uns, wenn uns in der Vergangenheit furchtbare Dinge widerfahren sind und es uns später im Leben gut geht, an die Lektion mit den Ziegeln erinnern, selbst wenn unser Leben nun von Saphiren umgeben ist. Unser Leben könnte ein Leben des Lichtes, ein Leben der Freude sein. Aber wenn uns – und sei es in ferner Vergangenheit – die Erfahrung des Ziegels widerfahren ist, so müssen wir sie in unser jetziges Leben integrieren, müssen wir einen Weg finden, dies nicht zu vergessen. Wir müssen dem Leiden einen Sinn geben, müssen das Ungeheuer beim Namen nennen, müssen darüber reden und daraus möglichst viel lernen.“

Im Zuge meiner Arbeit wird mir oft folgende Frage gestellt: „Wissen Sie, vor der Shoah war ich verheiratet und hatte fünf Kinder. Sie wurden alle umgebracht. Auch meine Frau wurde getötet. Dann habe ich wieder geheiratet und habe nun einen Sohn. Sollte ich ihm erzählen, dass er fünf Halbgeschwister hat?“ Eine ganz alltägliche Frage. Noch alltäglicher ist eine andere Frage: „Mein Sohn/meine Tochter hatte mit einem Jahr Krebs. Mit zwei Jahren konnte er/sie sich an nichts erinnern. Er/sie erinnert sich auch an nichts, als er/sie als geheilt galt. Soll ich ihm/ihr davon erzählen?“

Rabbi Levovitz zufolge müssen wir die anderen in Kenntnis setzen. Das Vergangene muss Teil ihrer Lebensgeschichte werden. Ich denke, dies steht vollkommen im Einklang mit dem, was jeder Psychologe sagen würde.

Der Ziegelstein und der Saphir. Der Ziegelstein und das Licht. Jedes Mal, wenn ich mit Familien gearbeitet habe, die das erlebt haben, habe ich festgestellt, dass die Lehren der tragischen Zeiten den Sinn der Zeiten von Glück und Licht formen. Wir müssen diese Erfahrung von schweren Zeiten machen und dann wieder aufstehen. Niemand wünscht sich so etwas, aber es hilft zu wachsen.

Eine andere Geschichte handelt von einer generationsübergreifenden Übertragung:

Ein Mann hat einen chronischen motorischen Tick entwickelt. Damit ist ein äußerst schmerzhafter neurologischer Zustand gemeint, bei dem der Patient den Kopf zurückwirft und dadurch schlimme Nackenschmerzen hat. Er geht zum Neurologen oder Orthopäden, aber die können nicht herausfinden, was ihm fehlt. Sie schicken ihn zu einem Psychiater, der ihn von Kopf bis Fuß untersucht und sagt: „Sie sind normal.“ Das passiert nicht sehr oft, aber der Psychiater kommt zu keiner Diagnose, sondern sagt: „Sie scheinen völlig normal zu sein. Sie sind ein toller Typ, Sie sind ein wunderbarer Mensch. Ich kann nichts Unnormales an Ihnen finden.“ Doch er sagt auch: „Bevor ich Ihnen eine einwandfreie geistige Gesundheit attestiere, habe ich eine Frage. Sie haben mir erzählt, dass ihr Vater ein Überlebender ist, der nie mit Ihnen über die Vergangenheit gesprochen hat. Nur um alles auszuschließen, gehen Sie und sprechen Sie. Vergewissern Sie sich, dass es kein Geheimnis gibt, das er uns verschweigt.“ Also fliegt der Patient nach Florida, wo sein Vater in einem Altersheim lebt, und er sitzt mit seinem Vater zusammen und erzählt ihm von seinem Symptom, das ihm unaufhörlich Schmerzen bereitet. Und sein Vater fängt an zu weinen und sagt: „Ich dachte, ich könnte Dich davor beschützen, ich dachte, ich müsste es Dir nicht erzählen. Aber ich sehe, dass ich es tun muss.“ Er erzählt: „Ich war schon einmal verheiratet, bevor ich Deine Mutter heiratete, und ich hatte sechs Kinder. Als meine Frau und Deine sechs Halbgeschwister nach links – zu den Gaskammern – gezerrt wurden, drehte ich mich um und sah, wie sie weggebracht und in den Tod geschickt wurden. Dann kam ein Kapo und schlug mich bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, wurde ich nach rechts geschickt.“ Der Mann kehrt nach Hause zurück und spricht mit seinem Therapeuten. Sein motorischer Tick wird besser und ist schließlich verschwunden. Mein Freund, Dr. Bessel van der Kolk, der viel Arbeit in diesem Bereich geleistet hat, sagt: „Der Körper vergisst nicht.“ Wie genau sich solche Erfahrungen übertragen, muss hier außen vor bleiben.

Die Forscherin Efrat Barel kommt in einem Bericht über Überlebende im Kindersalter zu der Schlussfolgerung, dass ein Faktor für Resilienz bei *child survivors* offenbar in der Tatsache bestehe, dass sie in Israel lebten. Es gibt keinen handfesten Beweis dafür, aber doch Hinweise darauf, dass Überlebende, die in Israel leben, besser mit ihrem Trauma umgehen können. Warum ist das so? Der Talmud sagt: „Wenn du leidest, sollte deine Antwort eine innere Selbsterforschung sein.“ Unsere Rabbinen deuten es so, dass niemand erklären kann, warum einem etwas Böses widerfährt. Wir müssen selbst herausfinden, welcher Sinn sich dahinter verbirgt. Es gilt herauszufinden, was es ist, das ich seit gestern vernommen habe. Eine Schlüsselerkenntnis zur Frage der Resilienz besteht darin, dass alles, was aus der Passivität heraus und ins Aktive führt, zu einem besseren Umgang mit dem Trauma verhilft. Rabbi Joseph Soloveitchik, der darin dem Frankfurter Samson Raphael Hirsch folgt, sagt Folgendes: „Die Aufgabe der Menschen in der Welt besteht nach jüdischer Auffassung darin, das Schicksal in Bestimmung umzuwandeln, das ist Dein Ziel. Du siehst dich selbst nicht als Holzsplitter, das auf dem Wasser treibt. Du siehst dich als Mann oder Frau der Bestimmung. Das ist die jüdische Auffassung.“ Er sagt: „Du bist nicht gefangen, sondern aus einem Grund heraus in der Position, in der Du Dich befindest.“ Wir fragen weder nach dem Grund für das Böse noch nach seinem Zweck, sondern danach, wie es verbessert und behoben werden könnte. Wie soll ein Mensch in schweren Zeiten handeln, was sollte ein Mensch tun, damit er nicht an seinem Elend zugrunde geht? Die Antwort der Halacha darauf ist sehr einfach: Dass Leiden kommen, um den Menschen dazu zu erheben, seinen Geist zu reinigen und zu heiligen. Das Wesentliche des jüdischen traditionellen Verständnisses liegt darin, das passive Dahintreiben in aktive Annahme der eigenen Bestimmung zu verwandeln. Wir haben immer die Wahl! Die psychologische Forschung zeigt stets aufs Neue, dass es uns besser ergeht, wenn wir etwas als Herausforderung statt als Bedrohung auffassen.

Dr. Bessel van der Kolk hatte einen Patienten, der bei den Anschlägen auf das World Trade Center in New York im September 2001 im Treppenhaus überrascht worden und nur knapp dem Tode entronnen war. In einem Versuch machte Dr. van der Kolk mit Hilfe einer bestimmten Aufnahmetechnik ein Bild vom Gehirn dieses Mannes, und zwar genau in dem Moment, in dem der Mann – in einer Rückblende zum schlimmsten Augenblick seines Lebens – das Geschehene wieder erlebte. Das Bild zeigt, wie ein Gehirn aussieht, wenn ein Mensch den schlimmsten Augenblick seines Lebens erlebt: Das Sprachzentrum ist ausgeschaltet! Wirklich erstaunlich – die Antwort eines Gehirns auf ein Trauma ist die Abschaltung des Sprachzentrums. Gibt man dem Ungeheuer dann einen Namen, lässt man den Schmerz zu Wort kommen, dann setzt die Heilung ein.

Menschen tun dies auf unterschiedliche Weise. Aber der Schlüssel besteht darin, das Sprachzentrum zu erleuchten. Es ist interessant, dass die Tora für die Erfahrung Aarons, als dieser plötzlich und auf tragische Weise seine beiden Söhne verlor, ein seltsames hebräisches Wort verwendet und seine Reaktion mit *vajidom* („Er verstummte“) beschreibt. *Vajidom* ist nicht das übliche hebräische Wort für Stille oder Schweigen. Der mittelalterliche Philosoph Abrabanel fragt sich: „Weshalb wird das Wort *vajidom* verwendet?“ Die Antwort lautet, es handle sich um ein spezielles Wort für ein extremes Trauma. Geschieht etwas Gewöhnliches, woraufhin jemand beschließt, nicht mehr zu sprechen, so lautet das Wort dafür *sheket* („Stille“). Im Hebräischen bedeutet das Wort *dimimus* die Situation, in der einen etwas sprachlos werden lässt. Einer der Vorfahren meiner Frau, Rabbi Charlop aus Jerusalem, schreibt in einem seiner bekannten Bücher über Pessach: „Das Leiden der Sklaverei, das die Juden vor langer Zeit erleiden mussten, hat ihnen die Macht der Sprache genommen. Unsere Antwort auf die Sprachlosigkeit besteht darin, dass wir in der Sedernacht alle um den Tisch herumsitzen, und unseren Schmerz wie unser Gefühl der Freiheit zur Sprache bringen. Wir geben dem Ungeheuer einen Namen. Das hebräische Wort *pessach* lässt sich auch als Verbindung zweier anderer Wörter deuten: *peh* („Mund“) und *sach* („Rede“). Pessach hat uns dazu gebracht, unseren Mund zu öffnen und zu sprechen. Das war stets die jüdische Antwort auf Verfolgung: sich zu verbinden, sich einander zuzuwenden und sich mitzuteilen, mit oder ohne Worte.

Weitere Geschichten zu diesem Thema sind folgende: Die erste ist eine Parabel aus dem Munde des Dubner Maggid, die Juden geholfen hat, andere Juden in schweren Zeiten zu inspirieren: „Es war einmal ein König, der eine Krone besaß. Im Zentrum der Krone befand sich ein Diamant, der größte Diamant der Welt. Und der König, ein unsicherer Mann, hatte enorme Freude daran, den größten und besten Diamanten im Lande zu besitzen. Eines Tages wachte er auf und sah, dass sich mitten im Zentrum des Diamanten, ganz unten, ein Makel gebildet hatte. Er war völlig entsetzt und betrachtete dies als schreckliches Omen. Als er merkte, dass er den Makel allein nicht entfernen konnte, ließ er im Königreich verkünden, dass derjenige, der den Diamant wieder in Ordnung bringen könne, unermesslich reich werden würde. Juweliere aus aller Welt kamen und versuchten, den Diamanten zu reparieren, schafften es aber nicht. Eines Tages kam ein kleiner alter Chassid, nahm ein Gravurwerkzeug und gravierte prachtvolle Blätter um den Makel herum, so dass dieser nun wie ein Baumstamm aussah und den Diamanten sogar noch schöner als vorher erscheinen ließ.“ Man kann die furchtbaren Dinge, die geschehen sind, nicht einfach loswerden. Eine verlorene, gestohlene Kindheit lässt sich nicht wiederbringen, doch man kann Blätter eingravieren und das Trauma

in einen prachtvollen Baum umformen, der einen das Leben noch stärker schätzen lehrt.

Die zweite Geschichte thematisiert die Kraft des Optimismus. Es gibt im Gehirn zwei Arten eines neurologischen Kreislaufs. Bei dem einem handelt es sich um die Liebesdimension, bei dem anderen um die Angstdimension der Beziehung zu Gott. Wenn wir durch Liebe eine positive Bindung zu Gott eingehen, also durch die Dimension der *ahava*, dann wird Religion mit guten Dingen in Verbindung gebracht: weniger Depression, ein längeres Leben, ein geringeres Maß an Sorgen. Beruht Religion auf Angst, so ist das weder für die Seele noch für den Körper gut. Ein Teil dieser neurologischen Kreisläufe besteht in einem Gefühl des Optimismus. Als ich einmal in einem Vortrag über diese Dinge sprach, kam danach jemand aus dem Publikum zu mir und sagte, er glaube fest daran, dass Optimismus angeboren sei.

Er fuhr dann fort: „Meine Mutter war eine der jüngsten Überlebenden von Auschwitz. Sie stand in der Reihe derer, die selektiert wurden, und sie muss älter ausgesehen haben, als sie tatsächlich war – jedenfalls ist sie irgendwie durchgekommen. Und dann stand sie in einer Gruppe von Menschen, die darauf warteten, dass ihr Arm tätowiert wurde. Seit meiner Kindheit hat sie mir erzählt, dass sie in Auschwitz gewesen ist. Sie war damals zehn Jahre alt, also sehr, sehr jung. Und sie sagte zu sich selbst: ‚Ich werde ein langes glückliches Leben haben, ich werde hier rauskommen. Ich werde die Tätowierung bis ans Ende meines Lebens haben, also will ich die schönste Tätowierung haben, die ich bekommen kann.‘ Deshalb suchte sie sich die längste Reihe aus, denn sie dachte: ‚Das muss ein toller Künstler sein, wenn dort so eine lange Schlange steht.‘“ Und dann erzählt er weiter: „Du musst Dir das ansehen, wenn Du sie siehst – sie hat die schönste Tätowierung, die jemals ein Überlebender hatte.“ Das ist Optimismus. Im Angesicht der Hölle, nach meinem Empfinden des furchtbarsten Orts in der Geschichte der Welt, ist da ein Kind, das zu diesem angeborenen Optimismus fähig ist.

Ich möchte mit einer weiteren Geschichte schließen: Der Onkel meiner Frau kam während des Zweiten Weltkriegs als amerikanischer Soldat nach Europa. In ganz Europa verteilten die amerikanischen Soldaten damals Schokoladenriegel an Kinder, sie warfen ihnen die Süßigkeiten zu. Einmal kamen sie zu einem Konzentrationslager, und der kommandierende Offizier sagte zu seinen Soldaten: „Wir haben gehört, dass es eine Reihe von Kindern gibt, die das Lager überlebt haben, deren Verdauungssystem aber sehr unterentwickelt ist. Gebt ihnen also bitte keine Schokolade oder andere Süßigkeiten.“ Der Offizier fuhr fort: „Ein einziger Schokoladenriegel kann tödlich sein – gebt ihnen also bloß nichts.“ Daraufhin ging der Onkel in das Lager. Er ging direkt in die Baracken der Kinder und

sah diesen furchtbaren Anblick wandelnder Skelette. Er wusste nicht, was er tun sollte. Er wusste, dass er ihnen kein Essen geben durfte. Also ging er spontan auf ein Kind zu und umarmte es. Er erzählte, dass sich daraufhin von einem Ende der Baracke bis zur anderen eine Schlange von Kindern bildete, die darauf warteten, umarmt zu werden.

Eine rabbinische Weisheit sagt: *Kleine Funken von Licht können viel von der Dunkelheit vertreiben.* Und das ist es, was alle in der Arbeit mit Überlebenden tun: Sie schenken kleine Lichtfunken. Entfernt es den Makel des Diamanten? Nein. Aber es hilft, den prachtvollen Baum zu schaffen.

Kindheitslose Eltern im Alter, ältere child survivors und ihre nunmehr erwachsenen Kinder und heranwachsenden Enkelkinder

Wir haben es hier mit komplexen Traumata und auch mit komplexen Menschen zu tun. Ich möchte zudem betonen, dass jede dieser Geschichten, die uns in der Praxis begegnen, einmalig ist. Das gilt im Grunde für jede der Bewältigungsstrategien, die wir kennenlernen. Manchmal weisen sie Ähnlichkeiten auf, aber es sind alles individuelle Geschichten, und deswegen ist jede unserer psychotherapeutischen Begleitungen auch auf die betreffende Person zugeschnitten und wird gemeinsam mit ihr entwickelt. Ich erlebe es als einen gemeinsamen, sehr kreativen Prozess, bei dem wir Vertrauen zueinander aufbauen und uns einander öffnen. Das muss sehr intim, aber auch sehr flexibel sein. Mein Thema ist die Frage, wie die *child survivors*, die nunmehr Eltern sind, und ihre Kinder, die sogenannte second generation, miteinander zurechtkommen und wie sie sich gegenseitig herausfordern. Dazu werde ich zuerst ein wenig über die *child survivors* sprechen, über ihre Situation – während und nach der Shoah – und natürlich über ihre Erfahrungen im Erwachsenenleben als Eltern. Dann möchte ich auch über die Situation ihrer Kinder reden, darüber, wie sie nach dem Krieg geboren und aufgewachsen sind und wie sie heute als Erwachsene mit ihren Eltern zurechtkommen oder vielleicht auch nicht zurechtkommen. Abschließend möchte ich ein paar Szenarien anbieten, die zum Nachdenken anregen.

Ich möchte zunächst eine Metapher benutzen und bitte den Leser, sich vorzustellen, dass ich jetzt zwei starke Magnete in Händen halte. Wenn sich die Magnete annähern, kommt es zu einer starken Anziehung. Wenn ich aber einen dieser Magnete umdrehe, dann kommt es zur Abstoßung. Und wenn ich beide umdrehe, dann verstärkt sich die Wirkung noch einmal. Nennen wir diese Magnete jetzt *child survivors* und second generation, so kommt es – je nachdem – zu der einen oder der anderen Wirkung. Child survivors sind Menschen, die zum Kriegsende jünger als 16 Jahre alt waren und die in sehr unterschiedlichen Situationen den Krieg oder die Verfolgung erlebt haben, meist in Europa. Dabei möchte ich betonen, dass nicht alle Eltern den Krieg überlebt haben. Und ich denke, es ist auch entscheidend, wie sie überlebt haben und was für Bewältigungsstrategien sie danach entwickeln konnten. Ich würde auch gerne über die Eltern dieser *child survivors* sprechen, weil sie ihre Kinder, um sie zu retten, häufig wegschicken oder verstecken mussten. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass diese Eltern vielfach enorme Opfer gebracht haben, um ihre Kinder in Sicherheit zu bringen – nicht selten auch mit der Vorahnung, dass für sie selbst keine Rettung

möglich sein würde. Für die Kinder war das jedoch schwer zu verstehen, sie fühlten sich abgeschoben, wenn sie wegeschickt wurden. Sie fühlten sich von ihren Eltern verlassen. Das ist eine unvermeidliche Reaktion. Kinder vermochten diese Handlung kognitiv nicht zu erfassen und einzuordnen.

Es geht mir im Folgenden darum, zu zeigen, dass die Bewältigungsstrategien, die im Krieg und in der Verfolgungszeit entwickelt wurden, sehr vielfältig und auch mehrheitlich nachvollziehbar sind. So ist etwa vollkommen verständlich, dass ein Kind, das sich verlassen fühlt, sich gegen dieses Gefühl wehrt. Würde es nämlich dieser Verlassenheitstrauer verfallen, so wäre es nicht mehr handlungsfähig und könnte nicht schnell genug auf die Beine kommen und überlegen, was es jetzt zu tun habe, wie es sich am besten unsichtbar machen und aus dieser Situation retten könnte. Die eigenen Empfindungen und Bedürfnisse wurden also häufig schon im sehr frühen Alter abgewehrt bzw. abgestumpft. Kinder, die die Shoah in einer eher sicheren Situation überlebt haben, gemeinsam mit ihren Eltern oder bei zuverlässigen Pflegeeltern, die also in ihrem Versteck nicht täglich Todesangst ausstehen mussten, haben eventuell eine andere Ausgangslage. Interessanterweise bezeichnen sich insbesondere diese Kinder häufig nicht als Überlebende. Überlebende – das sind jene, die im KZ waren oder aber die Erwachsenen. Sie selbst fühlen sich dagegen fast wie Mitläufer der Shoah und nicht als Betroffene. Und nach dem Krieg ergab sich kaum die Gelegenheit nachzutruauern. Es war auch nicht erwünscht. Die Überlebenden – und auch die Kinder – sind nicht in ein Trauerseminar geschickt worden, sie haben keine Therapeuten zur Verfügung gehabt. Die Therapeuten hatten keine Ahnung von posttraumatischen Belastungsstörungen. Es war alles Selbstversorgung. Sie selbst mussten – ganz alleine – eine Neuorientierung finden und Anpassungsleistungen erbringen: Emigrationserfahrungen verarbeiten, die Schule nachholen, Bildung anstreben, eventuell dann später Beruf und Familie auf sich nehmen. Ob überhaupt noch Familie vorhanden war, war von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Wie wir wissen, haben mehr Erwachsene als Kinder überlebt. Dennoch gab es auch die Situation, dass man in einer intakten oder fast intakten Familie aufwuchs, und in dieser Situation gab es auch die Erfahrung, dass man in einer doppelten Identität lebte, nämlich sowohl *child survivor* als auch second generation war. Was ich später über die second generation sagen werde, trifft zum Teil auf die *child survivors* zu.

Nur kurz erwähnen möchte ich, dass es auch die Konstellation von Ersatzfamilien gab. In England gibt es „the boys“. Dabei handelt es sich um Jugendliche, die nach dem Krieg aus KZs nach England gekommen sind – also nicht um die Kinder der „Kindertransporte“. Es sind jene, die erst nach dem Krieg dorthin eingewandert sind und zwischen denen bis heute ein Zusammenhalt besteht. Sie sind sich gegenseitig eine Ersatzfamilie. Sie haben regelmäßige Treffen, korrespondieren miteinander und sind 65 Jahre nach Kriegsende immer noch miteinander eng verbunden. *child survivors* sind meiner Erfahrung nach Menschen mit sehr viel Resilienz und von großer Resoluität, Menschen, die ihr Leben wirklich brillant gemeistert haben. Äußerlich stimmt also alles. Sie sehen gut aus, sie haben interessante Berufe erlernt, zum Teil auch große Leistungen erbracht. Aber sie haben sich auch sehr bemüht, ihre Kinder mit dem, was sie selbst erlebt haben, zu verschonen. Zum Teil ging das so weit, dass sie dafür darauf verzichtet haben, ihre eigene – jüdische, polnisch-jüdische oder ungarisch-jüdische – Identität zu leben. Die Kinder sind dann identitätslos aufgewachsen, ohne Wissen um die Shoah, ohne zu wissen, dass sie jüdisch sind. Teilweise bis heute. Diese Kinder spüren es jedoch, weil sie sensibel sind. Sie sind irritiert und suchen Antworten. Das führt unter Umständen dazu, dass zum Teil die Eltern, mindestens nach außen, besser stabilisiert wirken als ihre eigenen Kinder. Im Erwachsenenleben haben sie sich ein interessantes Leben aufgebaut mit Hobbys, Sport, Familie. All das hat eine wichtige Rolle gespielt – auch Arbeit ist eine wichtige Ablenkungserfahrung. Unabhängigkeit und Autonomie sind für die *child survivors* im Erwachsenenleben sehr wichtig. So lange jung und fit zu bleiben wie möglich, Krankheit und kranken Menschen aus dem Weg zu gehen, und, wie wir immer wieder erfahren, Therapien zu vermeiden. Es wird sogar fast als kränkend erlebt, wenn man sie dazu anregt, eine Therapie zu machen. „Eigentlich sind die anderen therapiebedürftig, nicht ich.“

Meines Erachtens ist die Situation von *child survivors*, die ohne Eltern überlebt haben und dann aufgewachsen sind, eine besondere, weil sie keine Vorbilder dafür hatten, wie man Eltern oder wie man Partner zu sein hat. Allenfalls bringen sie ganz frühe Erinnerungen an die eigene Kindheit mit und daran, wie ihre Eltern diese Rollen ausgefüllt haben. Zudem gilt es zu erwähnen, dass sehr häufig große Ängstlichkeit vorhanden ist. Die Kinder spüren immer, dass sie gefährdet sind und man Angst um sie hat, wenn sie aus dem Haus gehen. Sie werden übermäßig behütet, vermissen aber zugleich eine gewisse Innigkeit. Häufig zu beobachten ist ein Mangel an Empathie und Einfühlungsvermögen. Diese fehlende Empathie ist darauf zurückzuführen, dass die *child survivors*, obschon sie nicht so wirken, einerseits durchaus stark traumatisiert sind und andererseits ihre Kinder um ihre unbeschwertere Kindheit beneiden. Dazu kommt die Thematik der nicht ausgelebten

Trauer, weil die Kinder, die nach dem Krieg überlebt haben, kein Grab zum Trauern hatten. Sie haben nie das Kaddisch gesagt, und es gab keine Schiwa, keine rituelle Trauerzeit. Alle diese Trauerrituale, die im Judentum und in anderen Religionen so wichtig und wertvoll sind, um schreckliche Verluste zu verarbeiten, waren während oder nach der Shoah nicht möglich. Ich denke in diesem Zusammenhang an ein bestimmtes Ehepaar, dessen Fall mich an die Grenzen meiner Professionalität geführt hat. Das Paar kam zu mir, beide Mitte 70, mit einem ähnlichen beruflichen Hintergrund und gemeinsamer Herkunft. Was sie trennte, war, dass der Ehemann – David – als Kind gemeinsam mit seinen Eltern im KZ war und, im Gegensatz zu den Eltern, überlebt hat. Bei der Befreiung war er neun Jahre alt und allein auf der Welt. Die Ehefrau, Ursula, hatte die Zeit der Shoah im Versteck verbracht, immer gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern. Sie kamen zu mir, weil sie sehr viel Streit hatten und zwar stets über die gleichen Sachen. David fand, dass Ursula beim Abwasch zu heißes Wasser verwendete, was seiner Meinung nach nicht umweltfreundlich war. Sie dagegen fand, dass das Geschirr nicht sauber wurde, wenn man es nicht heiß genug abwusch. Immer wieder haben sie über diese belanglosen Dinge gestritten. Ich spürte zunehmend, dass es eigentlich um einen ganz anderen Vorwurf ging: „Du hast mit deinen Eltern überlebt und ich nicht, und ich habe meine Eltern nie betrauern können.“ Dieser Verlust, diese Unterscheidung, hat sie sehr intensiv getrennt, und als ich das dann mit der Zeit anzusprechen versuchte, brachen sie die Therapie ab, David war dafür, nicht mehr zu kommen. Wenn man die eigene Kindheit als Vorbild hat, wenn man also eine Vorstellung davon hat, wie eine Kindheit auszusehen hat, dann möchte man dies, so meine ich, gewöhnlich auch seinen eigenen Kindern anbieten. Wo die *child survivors* etwas anbieten konnten, das sie als positiv empfanden, haben sie das sicherlich auch getan. Sie haben jedoch auch erlebt, dass ihre Eltern vor ihren Augen verängstigt, erniedrigt, gedemütigt, mitunter sogar ermordet worden sind oder aber sie verlassen haben. Sie haben also in ihrer eigenen Einordnung von Kindheit erfahren, dass Eltern ihre eigenen Kinder nicht schützen und ihnen keine oder nur wenig Geborgenheit geben konnten. Und wenn wir uns fragen, wieso nach der Shoah geschwiegen wurde und wird, so ist ein Beweggrund sicherlich der Versuch, sich vor schmerzlichen Erinnerungen zu schützen und nach dem Krieg eher vorwärts statt rückwärts zu schauen. Viele haben festgestellt, dass es keine adäquate Sprache für diese Erlebnisse gibt. Auch deswegen, weil niemand gefragt hat, damals nicht und zum Teil auch heute noch nicht. Dadurch kommt es zu dem Eindruck, die Angehörigen interessierten sich nicht, da sie ja keine Fragen stellten. Ein weiterer Beweggrund besteht in dem Wunsch, die eigenen Kinder zu schützen. Wovor? Manchmal ist es nicht sehr rational. Sicherlich vor einer weiteren Verfolgung, die

manchen nach wie vor als reale Bedrohung erscheint. Die Kinder sollen nicht wissen, dass sie jüdisch sind, damit sie keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Oftmals ist es auch so, dass Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder wissen, wie schutzlos und verletzlich sie einmal waren, und sie möchten die Kinder nicht in diesen Zustand sehen, da dies unangenehme Empfindungen auslöst.

Es gibt ein Modell, das mich begleitet: Eines der wichtigsten beruflichen Vorbilder für mich ist Dan Bar-On, der leider vor zwei Jahren verstorben ist. Er hat von einer „doppelten Mauer“ gesprochen. Sie erklärt, weshalb die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern nicht stattfindet. Demnach erzählen die Eltern nicht und die Kinder fragen nicht. Auf diese Weise haben beide eine Mauer des Schweigens aufgebaut. Nun kann es vorkommen, dass die Eltern eventuell doch etwas erzählen möchten und in dieser Mauer ein Fenster aufmachen, doch wenn sie die Mauer vis-à-vis sehen, schließen sie ihr Fenster wieder. Oder es kann sein, dass die Kinder ein Fenster aufmachen und zu fragen versuchen, aber dann sehen sie nur die Mauer vis-à-vis und geben es auf. Nur wenn beide diese Fenster gleichzeitig, im gleichen Zeitraum, aufmachen würden, könnte es eventuell zu einer Kommunikation kommen.

Im späteren Leben gibt es für *child survivors* vielleicht eher kritische Momente. Sie haben sich jahrelang, jahrzehntelang mit Beruf, Familie, Hobbies beschäftigt, mit allem, was angestanden hat und womit sie sich befassen konnten. Und dann kommt eines Tages etwas, das unvorhergesehen ist, wie ein Todesfall – die Partnerin oder der Partner stirbt oder eventuell sonst jemand, der einem sehr nahe steht. Oder sie gehen in Rente und haben nicht mehr so viel zu tun. Vielleicht führt auch eine Krankheit oder ein Unfall oder einfach der normale Alterungsprozess dazu, dass sie sich weniger stark fühlen. All diese kritischen Momente sind Situationen, welche die Berührung mit der eigentlichen Trauer und der Einsamkeit wieder auslösen können. Die Bewältigungsstrategien sind dann in dieser Lebensphase so brüchig wie die Knochen. Die Menschen funktionieren einfach nicht mehr wie früher und werden von dem, was sie jahrzehntelang erfolgreich abgewehrt haben, emotional oder in ihrer Erinnerung eingeholt. Sie erleben Kontrollverlust, Ohnmacht, Zerbrechlichkeit. Und dann kommt noch dazu, dass schlicht ihr Kurzzeitgedächtnis schwächer wird. Es bedeutet auch, dass Erinnerungen, die lang und weit weggeschoben und vergessen worden sind, wieder gegenwärtiger werden. Was mir bei den *child survivors* auch auffällt, ist, dass sie ungern Hilfe annehmen. Sie haben wirklich sehr früh gelernt, eigenständig zu sein, sehr stark und erfolgreich. Hilfsangebote – wie auch Mitleid oder Mitgefühl – erleben sie deshalb fast als eine Kränkung oder Beleidigung, weil damit suggeriert wird, dass sie nicht mehr die sind, die sie gerne seien möchten.

Ich beobachte noch ein weiteres interessantes Phänomen: Gelegentlich hat mir ein *child survivor* gesagt: „Wo warst Du, als ich Dich gebraucht hätte, beispielsweise nach dem Krieg? Nach der Shoah hätte ich eine Therapie gebraucht, wo warst Du damals?“ Ich habe dann natürlich zuerst gedacht, dass ich doch gar nicht alt genug war, um das anzubieten. Ich habe das also wortwörtlich verstanden. Jetzt habe ich jedoch darüber nachgedacht und denke, dass hier eine Übertragung vorliegt und die eigentliche Botschaft lautet: „Wo warst Du als Mutter, als ich Dich gebraucht hätte, nach der Shoah?“ Oder wenn mir jemand sagt: „Ich brauche Deine Hilfe nicht“ oder „Ich möchte Dich nicht mit meiner Geschichte belasten“, dann sehen sie in mir eines ihrer Kinder, weil ich doch jünger bin und dieser Generation angehöre.

Wie kommt man aus dem Versteck? Ich kenne Menschen, die leider nicht in eine jüdische Gemeinde integriert sind oder sich sonst in irgendeinem Zusammenhalt eingefunden haben, wo sie nicht mehr im Versteck leben müssen, sondern die sich immer noch sehr allein und bedroht fühlen. Als der Kongress der „Hidden Children“ 1991 stattfand, hatte das eine große Bedeutung. Viele sind zu diesem Zeitpunkt aus dem Versteck gekommen. Als in den 1980er Jahren AMCHA gegründet wurde, hatte dies in Israel eine große Breitenwirkung, weil es plötzlich nicht mehr nur beschämend war, anzusprechen, dass man die Shoah überlebt hatte. Es gibt auch sehr viele Bücher und ich finde es schön, dass immer wieder neue Bücher verfasst werden. Das Schreiben hat großen therapeutischen Wert, vermittelt uns aber auch wichtige Informationen, weil es zumeist um Einzelgeschichten geht, die einen Wert in sich haben.

In der psychosozialen Beratungsstelle für Überlebende der Shoah und ihre Angehörigen in der Schweiz (Tamach), wo ich arbeite, sprechen wir von Opferneid. Bei unserer allerersten Begegnung mit einer Gruppe von Überlebenden war das fast wie schwarzer Humor. Denn auf Grund des Opferneids haben dann zwei Überlebende ein Streitgespräch darüber geführt, wer die schlimmeren Erfahrungen hatte, der Mann, der 4 Jahre lang in einem Internierungslager – nicht im KZ – und dann 15 Jahre lang im Gulag war, oder eine Frau, die zuerst im Gulag war und dann in Auschwitz. Und sie haben sich beide an den Kopf gefasst: „Das war ein Luxushotel, Dein Gulag war ein Luxushotel im Vergleich zu meinem Auschwitz.“ So haben wir diesen Opferneidbegriff damals entwickelt. Aber inzwischen denke ich, dass dies eine andere Bedeutung hat. Meiner Ansicht nach gibt es vielleicht eine ganz unbewusste Form der Missgunst zwischen *child survivor*-Eltern und ihren eigenen Kindern, weil letztere doch dank der Bemühungen ihrer Eltern eine eher unbeschwertere Kindheit führen konnten. Etwas war ihnen nicht möglich. Das ist natürlich etwas, was man nie richtig zugeben könnte. Aber ich ahne,

dass so etwas existiert. Menschen aus der Generation der *child survivors* könnten durch Therapie etwas Positives erfahren – sie könnten Einsamkeit loswerden und Trauerarbeit leisten. Ich habe eine ganze Reihe von Dingen aufgezählt. Genauso wichtig wäre sicherlich die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft für Menschen, die sich alleine fühlen.

Jetzt möchte ich gerne auf die Zweite Generation zu sprechen kommen. Ich werde das weniger ausführlich tun, da wir uns heute vor allem auf die *child survivors* konzentrieren. Ich habe mich sehr gefreut, als Ende der 1970er Jahre Helen Epstein ihr Buch über die *second generation* veröffentlicht hat, weil ich plötzlich gemerkt habe, dass ich nicht allein bin. Aber es ist schon so, dass es, wenn wir als Fachleute und als Gesellschaft unsere Aufmerksamkeit auf die Überlebenden richten, schwierig ist, die Zweite Generation überhaupt zu beachten. Die Eltern sagen: „Was hast Du überhaupt für ein Problem? Du weißt nichts, Du kannst Dir nicht einmal vorstellen, was ich alles erlebt habe.“ Insofern erachte ich die Thematisierung der Probleme der Zweiten Generation in vielen Familien als eine Art Tabubruch. Dass sie es überhaupt wagen, die Aufmerksamkeit auf ihr Leiden oder auf ihre Probleme zu richten. Es gibt viele Theorien darüber, wie Traumata über Generationen hinweg übertragen werden. Ich erlaube mir, einige Gedanken dazu darzulegen. Zum Teil kann es vorkommen, dass die Kinder, wenn sie selbst durch zu viele Informationen überflutet werden, diese nicht sortieren können und nicht wissen, dass sie Grenzen setzen können, sondern vielmehr glauben, dass sie alles in sich aufnehmen müssen. Zur Übertragung von Traumata kann es zudem kommen, wenn die emotionale Enthaltsamkeit der Eltern gespürt wird, aber nicht eingeordnet werden kann. Oder wenn Menschen glauben, sie seien vielleicht nicht liebenswert oder gut genug. Kinder von Überlebenden, also die Zweite Generation, haben außerdem häufig viele Fantasien darüber, was in der Shoah passiert ist. Sie wissen vieles, und in Familien, wo nicht darüber gesprochen wird, erraten sie sehr viel. Diese Fantasien prägen dann ihren Alltag und ihre Wahrnehmung, so dass sie überall Gefahren lauern sehen. Es kann aber auch so sein, dass in betroffenen Familien Grenzen zwischen Eltern und Kindern fehlen. Deswegen habe ich das Beispiel der Magnete angeführt. Es gibt in vielen Familien keine Grenzen zwischen Eltern und Kindern.

Es gibt zudem so etwas wie eine Rollenkonfusion. Die Eltern, die selbst keine Kindheit hatten, und die Eltern, die irgendwie immer noch in der Kindheit steckengeblieben sind. Auf der einen Seite sind sie Eltern und Kinder zugleich und dann auch Kinder, die parentifiziert sind, die das Gefühl haben, sie müssten für ihre Eltern sorgen. Die haben damit ebenfalls zwei Rollen. „Parentifizierung“ ist ein Fachbegriff für das Phänomen, dass *child survivors*

meistens sagen: „Ich brauche keine Hilfe. Ich kann auf eigenen Füßen stehen, ich hab das früh gelernt“, dabei aber dennoch eine bestimmte Botschaft ausstrahlen, die die Kinder im Sinne von „Sorge für mich!“ verstehen. Und dann kann es natürlich zu einer Rollenkonfusion kommen, wenn ich für meine Eltern sorgen muss und sie die eigentlichen Traumatisierten sind. „Wo bleibe ich?“

Eine Folge der Parentifizierung besteht außerdem darin, dass sich die meisten Kinder der Zweiten Generation nicht altersgerecht von ihren Eltern ablösen. Heute sehen wir in Familien, wie Teenager sehr schnell ihre Eltern angreifen können: „Du bist blöd!“, „Du weißt nichts!“, „Du hast keine Ahnung!“, „Lass mich in Ruhe!“ – alle diese Dinge, die sich ihre Kinder und Enkelkinder eventuell leisten, hat sich die Zweite Generation nicht leisten können.

Mir ist auch immer wieder aufgefallen, in welchem Maße das „Katastrophendenken“, wie ich es nenne, in der Wahrnehmung der Welt für einen Teil der Zweiten Generation eine Rolle spielt. Alles ist katastrophal, überall lauern Gefahren, Panik und Stress sind ständige Begleiter. Auch Grenzen zu setzen, ist für viele aus der Zweiten Generation sehr schwierig. Die Regulierung von Nähe und Distanz fällt ihnen sehr schwer. Sie erleben das manchmal, wenn es in einer Therapiesituation angesprochen wird, als rätselhaft, als willkürlich. „Wieso Grenzen setzen? Was sind Grenzen überhaupt?“ Das überträgt sich dann natürlich auch in Erwachsenenbeziehungen, auch mit den Partnern und den eigenen Kindern.

Für die Zweite Generation war ein Leben ohne Shoah nie möglich. Diese Kinder wurden – auch nach dem Völkermord – in die Shoah hineingeboren. Das ist auch etwas, das sie von den Erlebnissen ihrer Eltern trennt, die manchmal vor der Shoah noch eine sehr kurze Kindheit genießen konnten. Die Eltern haben häufig vor der Shoah noch eine Welt gekannt, in der das Leben einigermaßen geregelt war. Auch wenn sie sich später sehr darum bemüht haben, ihren eigenen Kindern ein geregeltes Leben anzubieten – die Shoah war immer gegenwärtig.

Ich habe die nicht erfolgte Ablösung, die oft daraus resultiert, bereits beschrieben und berichtet, dass die Kinder zum Teil bis ins hohe Alter mit ihren Eltern sehr eng, gleichsam in einer magnetischen Beziehung, verbunden bleiben. Wenn in der Therapie das Thema „Ablösung“ angesprochen wird, was im Falle von Erwachsenen ja sehr naheliegend ist, so bedeutet das natürlich ein großes Dilemma, weil die Betroffenen mit den Eltern so verstrickt sind und meinen, sie dürften ihre Eltern im Ghetto oder im KZ nicht allein lassen – auch heute nicht. Dazu treten andere Dilemmata, die mir bei der Zweiten Generation mit Blick auf ihre Eltern über diese Jahre aufgefallen sind. Zum Beispiel die Schuldfrage. Ich als Therapeutin suche, vielleicht dank meiner systemischen Orientierung, nicht nach Schuldigen. Es liegt

jedoch nahe, dass jemand, der eine Entbehrung erlebt hat, nach Schuldigen sucht. Und wenn ein Kind nicht genügend Schutz oder Geborgenheit erfahren hat, kann es sich fragen: „Habe ich das verdient?“ „Haben meine Eltern mir das verweigert?“ „Wer ist schuld?“ Und dann kann man schnell sagen: „Hitler ist Schuld“, und vielleicht ist das ja eine angemessene Antwort, vielleicht hilft das.

Zudem kann es dazu kommen, dass sich die Kinder wirklich nicht geliebt fühlen, sondern das Gefühl entwickeln, nicht zu genügen, anstatt ihre Eltern in irgendeiner Art und Weise zu beschuldigen. Das ist ebenfalls ein Dilemma, weil von diesen Selbstzweifeln nur schwer wegzukommen ist. Darüber hinaus gibt es das Problem der Entflechtung von den Eltern. Wenn ich so eng mit meinen Eltern verbunden bin, wie kann ich dann leben, ohne mich selbst dabei aufzuopfern oder aufzugeben? Dann stellt sich die Frage: Kann ein Kind die Erinnerung an die Shoah wachhalten, ohne die eigene Lebendigkeit zu opfern? Manche Menschen sehen sich als das, was Dina Wardi „memorial candle“ nennt – als Jahrzeitkerze für die ermordeten Angehörigen und für die verlorene Kindheit der Eltern. Aber dabei kann die eigene Lebendigkeit als Mensch verloren gehen.

Ich vermute, dass meine abschließenden Bemerkungen ein großes Thema ansprechen, weil die Kinder sich so häufig als ungenügend fühlen und die Eltern nicht so recht verstehen können, dass sie nicht so innig mit ihnen sind. Natürlich sind sie eng miteinander verbunden, aber nicht immer innig. Und wegen dieser fehlenden Innigkeit, weil die Eltern so traumatisiert und in ihren Gedanken oder Gefühlen woanders sind, so denke ich, suchen die Kinder den Segen ihrer Eltern – und zwar ein Leben lang. Das ist etwas, was wir gut verstehen können. Jeder von uns möchte vom ersten Tag an bedingungslos geliebt werden. Spüren die Kinder diese bedingungslose Liebe nicht, so bleiben sie ratlos und hilflos und sehnen sich immer danach, dies endlich zu bekommen: Wenn sie nur das Richtige tun, wenn sie nur innig genug mit ihren Eltern verbunden bleiben, wenn sie nur irgendwie ihre Sorgen mittragen oder nicht mittragen, wenn sie nur den richtigen Weg finden, ihren Eltern zu genügen, so hoffen sie, dann werden sie endlich diesen Segen empfangen.

Noch einige Gedanken zu Helferinnen und Helfer. Wie hilfreich sind Sie überhaupt? Wie können wir den Prozess unterstützen, der sicher stellt, dass die *child survivors*, die *second generation* und wir alle ein Anrecht auf ein Leben in Würde, Zufriedenheit, Sicherheit und Geborgenheit haben? Ich habe mich gefragt, inwiefern wir erwarten, dass die Überlebenden zu uns kommen. Wenn sie jedoch nicht kommen, haben wir dann eine Bring- und Holschuld ihnen gegenüber oder an wem liegt es? Können wir, die wir vor 50 oder 60 Jahren nicht da waren, heute noch etwas anbieten? Ich weiß, dass Therapie für viele, die ihr Leben lang überzeugt

waren, sie bräuchten keine Therapie, ein Schimpfwort ist, sobald man es nur ausspricht. Es war schwer, sich auf eine Therapie einzulassen oder Hilfe anzunehmen. Es kann sein, dass wir als Helfer als allwissend und allmächtig angesehen werden, aber in Wirklichkeit nichts als hilflos sind. Häufig verhält es sich so, dass wir Berührungängste gegenüber diesen großen, komplexen Traumatisierungen haben. Wenn wir diesbezüglich nicht viel Routine haben, wenn wir nicht über ein hohes Maß an Mitgefühl und Offenheit verfügen, kann es schon sein, dass wir uns mit Blick auf dieses Thema eher hilflos denn allwissend fühlen. Ich möchte jedoch noch einen anderen Aspekt erwähnen: Ich denke, und vielleicht kennen meine Kollegen aus der Zweiten Generation das auch, dass sich „die doppelte Mauer des Schweigens“, von der Dan Bar-On spricht, auch auf die Beziehung zwischen Helfern und Überlebenden beziehen könnte. Besonders wenn wir etwas jünger und auch noch jüdisch sind, so dass wir als Helfer wie die Kinder der Überlebenden gesehen werden können. Das war eher mit Blick auf die älteren Überlebenden der Fall. Ich gehöre nahezu der Generation der *younger child survivors* an, vielleicht gleicht sich das ein wenig aus. Aber es ist auch für uns als Helfer eine Herausforderung, wirklich signalisieren zu können, dass wir auszuhalten vermögen, was sie zu uns bringen. Ich bin interessiert, ich bin offen dafür, ich bleibe da – und auch wenn es in der Familie oder im Bekanntenkreis schwierig ist, die Dinge auszusprechen: Ich bin da.

Im Alter ist die Situation zwischen *child survivors* und deren Kindern, der *second generation*, oft ebenfalls schwierig. Bisweilen kommt man sich nicht näher. Es sieht so aus, als sei man sich nahe, aber gefühlsmäßig ist es so, dass man sich nicht so nah fühlt. Ich frage mich: Ist für *child survivors* Zufriedenheit im Alter in der Familie noch möglich? Sie haben das Schlimmste im Leben schon lange hinter sich und haben einen ruhigen Lebensabend verdient. Dennoch stellt sich die Frage, ob sie mit ihren Kindern Frieden schließen können, so dass beide von sich aus das Gefühl bekommen: „Ich werde akzeptiert, so wie ich bin.“ Ich habe mir deshalb folgende drei Szenarien überlegt.

Da ist einmal das Szenario, dass sich die Kinder der *second generation* auf Grund ihres Entwicklungsprozesses doch allmählich von ihren Eltern abgelöst und eine gewisse Distanz in der Beziehung zu ihnen entwickelt haben, zumal die Eltern sie ohnehin nicht als Helfende brauchen. Und nun sind die Eltern plötzlich doch Bedürftige: Jetzt sehen sich die Kinder in einer Situation, aus der sie sich erfolgreich herausgelöst haben, und nun werden sie doch gebraucht, und das kann natürlich wiederum Schamgefühle bei den Eltern auslösen, auch Ärger über sich selbst, weil sie auf diese Hilfe angewiesen sind. Es kann aber auch sein, dass die Kinder verärgert sind und die Situation zwiespältige Gefühle auslöst. Ich habe keine Antwort auf dieses Szenario und möchte es vorerst so stehen lassen.

Und hier das zweite Szenario: Die Kinder bleiben weiterhin mit den Eltern sehr intensiv verstrickt und dann kommt plötzlich dieser Einbruch bei den Eltern. Die Kinder denken oder spüren dann, vielleicht immer noch unbewusst, dass sie ihre Eltern eigentlich immer retten wollten. Und nun haben sie vielleicht die Gelegenheit, etwas anzubieten, das in diese Richtung gehen könnte, etwas, das sie vielleicht gar nicht bewusst realisiert haben. Gleichzeitig bedeuten diese Rettungsfantasien jedoch natürlich für beide Seiten eine Überforderung und können lähmend wirken.

Das sind eher die weniger optimistischen Szenarien. Ich möchte jedoch noch ein drittes Szenario in den Raum stellen, dem zufolge die Eltern (die *child survivors*) und ihre Kinder (die Zweite Generation) ihre eigenen Unzulänglichkeiten akzeptieren. Ich akzeptiere, dass ich eine schwere Kindheit hatte, die sich auf mein späteres Leben ausgewirkt hat. Ich akzeptiere, dass ich nach bestem Vermögen versucht habe, mit Verlust, mit Trennungsängsten, mit Verlassenheitserfahrungen umzugehen, dass ich meine Bewältigungsstrategien danach ausgerichtet habe, so gut wie möglich mit dieser Situation zurechtzukommen und dass ich darüber kommunizieren kann. Dass beide Generationen sich offen gegenüber stehen, diese Unzulänglichkeiten miteinander anschauen, darüber sprechen, einen Dialog miteinander aufnehmen und eventuell, und das kann eine sehr starke Ressource sein, die Enkelkinder der *child survivors*, die dritte Generation, mit einbeziehen, kann dazu beitragen, auch ohne Therapie große Schritte zu leisten. Dann kann es sein, dass sich die Schuldfrage in Trauer verwandelt und die Trauer endlich geleistet werden kann. Ich denke, wir kommen nicht darum herum. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es irgendwie zum Leben gehört, endlich Kaddisch zu sagen und Schiwa zu sitzen – auch im übertragenen Sinne. Es gibt verschiedene Formen von Trauerritualen. Das kann auch bedeuten, eventuell einen Grabplatz für den Angehörigen einzurichten oder die Orte des Geschehens zu besuchen, wenn man das aushalten kann. Ich glaube, jede Familie kann dann für sich überlegen, wie sie es halten will.

Hiermit komme ich zum Schluss meiner Ausführungen. Ich empfinde es als tragisch, wenn ich Geschichten darüber höre, wie in einer Familie die Shoah nicht nur ihre Spuren hinterlässt, sondern vielleicht sogar immer noch starke Auswirkungen hat, und ich bin auch selbst sehr betroffen, wenn ich sehe, wie die Angehörigen der „Second Generation“ an ihren Erfahrungen leiden, vor allem wenn ihre Eltern für sie unerreichbar sind. Das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern mit Unvermögen. Dann denke ich, dass diese Tragik endlich ein Ende finden darf und muss und dass wir als Menschen, als Familien und als Gesellschaft dafür sorgen müssen, dass die Shoah endlich zu Ende kommen darf, auch wenn wir uns als Opfer sehen.

Dass wir eine neue Form finden uns zu definieren und unseren Kindern eine Welt weitergeben können, die Sicherheit und Geborgenheit verspricht statt Unsicherheit und Bedrohung.

Лишенные детства родители в возрасте, старшие дети, пережившие Шоа, и их уже выросшие дети и вырастающие внуки

и сложными людьми. Я хотела бы также подчеркнуть, что каждая из историй людей, которые мы встречаем на практике, уникальна. Это в принципе верно и для каждой из известных нам стратегий работы. Иногда у них есть сходство, но все они являются отдельными историями, и именно поэтому каждое из наших психотерапевтических сопровождений обязательно учитывает конкретную личность и совместно с этой личностью разрабатывается. Я воспринимаю это, как некий общий, очень творческий процесс, в котором мы выстраиваем доверие и открываемся друг другу. Это должно быть одновременно как очень интимным, так и очень гибким процессом.

Сегодня моей темой является вопрос о том, как выжившие дети, которые сейчас уже сами являются родителями и их дети, так называемое второе поколение выживших после Шоа, ладят друг с другом и как они бросают друг другу вызов.

Для этого мы сначала немного поговорим о детях, выживших в Шоа, об их положении - во время и после Шоа - и, конечно, об их опыте во взрослой жизни как родителей. Затем я хотела бы поговорить о положении их детей: о том, как они родились после войны, выросли и как они сегодня, уже взрослыми, строят отношения со своими родителями или, может быть, эти отношения не складываются совсем. Наконец, я бы хотела предложить несколько сценариев, которые, как я надеюсь, заставят нас задуматься и вызовут желание к дискуссии.

Прежде всего я хотела предложить вам одну метафору и попросить вас представить, что я держу в руках два мощных магнита. При приближении магнитов друг к другу существует сильное притяжение. Но когда я переворачиваю один из этих магнитов, то они начинают с силой отталкиваться друг от друга. А если я переворачиваю оба магнита, то эффект притяжения возникает с новой силой. Это именно и есть метафора, которая для меня связана с данной темой. А если бы мы эти один магнит назвали выжившим ребенком и представителем второго поколения, то они - в зависимости от обстоятельств - действовали бы соответствующим образом. Кто такие дети, пережившие Шоа, мы уже поняли. Я говорю о людях, которые в конце войны были моложе 16 лет и которые перенесли самые разные ситуации войны или преследований, в основном в Европе.

Я хочу подчеркнуть, что во время войны не все пережили своих родителей. Мне кажется, важно также и то, каким образом этим людям удалось выжить и какие стратегии выживания они смогли развить впоследствии. Я хотела бы поговорить о родителях этих переживших Шоа детей, поскольку они часто вынуждены были расставаться со своими детьми, и отправлять их куда-нибудь, чтобы спасти их или были вынуждены скрывать их. Мы должны определенно сознавать, что эти родители часто шли на огромные жертвы, чтобы обеспечить безопасность своим детям - нередко с предчувствием, что для них самих никакое спасение уже не будет возможно. Детям тогда это было трудно понять, они чувствовали себя изгнанными, когда их куда-нибудь отправляли. Они чувствовали себя детьми, от которых отказались родители. Это была неизбежная реакция. Детям не удавалось когнитивно понять такие действия и классифицировать их. Это, однако, также играет роль в этой истории.

Далее я хотела бы отметить, что стратегии преодоления, которые были разработаны во время войны и во время преследования, весьма разнообразны и в основном понятны. Так в принципе совершенно понятно, что ребенок, который чувствует себя покинутым, борется с этим чувством. Если у него будет отсутствовать именно это горе покинутости, то он больше не будет способен действовать и не сможет быстро встать на ноги и будет задаваться вопросом, что ему следует делать и как выходить из этой ситуации. Их собственные восприятия и потребности блокируются или притупляются часто уже в очень раннем возрасте. Дети, которые пережили Шоа в относительно более безопасной ситуации, вместе со своими родителями или с надежными приемными родителями, которым не пришлось испытывать ежедневный смертельный страх, имеют совершенно другую исходную ситуацию. Интересно, но я заметила, что часто этих детей вообще не относят к категории выживших.

Выжившие - те, кто были в концлагере, а также взрослые люди. Сами выжившие ощущают себя почти попутчиками Шоа, а не жертвами. И после войны едва ли была возможность пребывать в горе. Это было также нежелательно. Как мы уже много раз слышали, а также знаем из собственного опыта,

выжившие – в том числе и дети - не посещали никаких семинаров по трауру, не было у них и никаких терапевтов. Терапевты не имели никакого понятия о посттравматических стрессовых расстройствах. Это все действительно было пущено на самотек. Им пришлось – практически в одиночку - найти новое направление и самостоятельно подстраиваться под него: переработать опыт эмиграционного процесса, восстановить школьные знания, добиваться получения образования, и затем, вероятнее всего, взвалить на себя работу и семью. Существовала ли эта семья вообще, было очень различно от случая к случаю. Как мы знаем, выжило больше взрослых, чем детей. Однако, существовала и ситуация, когда человек вырос в нетронутой или почти нетронутой войной семье, и в этой ситуации был также опыт, что человек жил, находясь как бы в двойной идентичности, а именно и как выживший ребенок, и как представитель второго поколения. То, что я позже буду говорить о втором поколении, относится частично и к выжившим детям.

Я хотела бы кратко упомянуть, что существовала и констелляция замещающих семей. Меня очень впечатлил доклад коллеги из Руанды, как они сейчас создают новые замещающие семьи там, где нужно поддержать травмированных детей и предоставить им достаточно интактное окружение после того, как они потеряли своих родителей. В Англии есть понятие «The Boys». Речь идет о подростках, которые после войны из концлагерей попали в Англию – не с «детскими транспортами», а о тех мальчишках, которые иммигрировали в Англию после войны, и между которыми по сей день существует единство. Они и являются той самой замещающей семьей друг для друга. Они проводят регулярные встречи, переписываются друг с другом и все еще тесно связаны и через 65 лет после окончания войны.

Выжившие дети, по моему собственному опыту, являются людьми с очень большой жизнестойкостью и решительностью, людьми, которые действительно смогли блестяще устроить свою жизнь. Так что внешне у них все в порядке. Они хорошо выглядят, они обучились интересным профессиям, зачастую добились очень больших успехов. Но они были очень заняты тем, чтобы отгородить своих детей от всего происшедшего. В частности, это зашло так далеко, что они отказывались от своей собственной идентичности - еврейской, польско-еврейской или венгерско-еврейской. Дети росли затем без идентичности, без знаний о Шоа, даже не зная о том, что они евреи. Иногда и до сегодняшнего дня. Эти дети, однако, чувствуют это, поскольку они очень

чувствительны. Они сбиты с толку и ищут ответы. Я знаю это по Швейцарии. Есть, например, родители, которые до сих пор – практически девяностолетними – отказываются давать детям эти знания. Это при определенных обстоятельствах может привести к тому, что некоторые из родителей выглядят более стабилизированными, чем их собственные дети.

Во взрослой жизни они, как я уже говорила, смогли создать действительно интересную жизнь с увлечениями, спортом, семьями. Все это играло важную роль – работа тоже является своего рода отвлечением. Независимость и самостоятельность очень важны для выживших детей в их взрослой жизни. Оставаться молодыми и здоровыми, насколько это возможно, избегать на своем пути болезней и больных людей, и, как мы снова и снова узнаем, избегать терапии. Необходимость пройти какую-либо терапию будет восприниматься крайне болезненно. «На самом деле, остальные нуждаются в лечении, но не я».

Я считаю, что положение детей, которые выжили во время Шоа без родителей и потом выросли, совершенно особое, так как у них не было образцов для подражания: как стать родителями или партнерами. В лучшем случае, они приносят совсем ранние воспоминания о своем детстве, и то, как их родители эти роли заполняли. Кроме того, важно отметить, что очень часто присутствует своего рода боязнь. Дети постоянно чувствуют, что они находятся в опасности, и испытывают боязнь, когда они выходят из дома. Их чрезмерно опекают и в то же время им не хватает определенной интимности. Этот недостаток эмпатии можно объяснить тем, что выжившие дети, хотя они такими и не кажутся, с одной стороны, серьезно травмированы, а с другой стороны, завидуют своим детям в связи с беззаботным детством последних. Появляется так же вопрос о несостоявшейся работе скорби, потому что у детей, которые выжили после войны, не было могил, у которых они могли бы оплакивать своих близких.

Они никогда не читали Кадиш, не сидели Шиву, у них не было никакого ритуального траура. Всех эти траурных ритуалов, которые так важны и ценны в иудаизме и других религиях для работы скорби, что было невозможно во время и после Шоа. В этом контексте я думаю об одной конкретной паре, в чьем случае я натолкнулась на пределы своего профессионализма. Пара пришла ко мне, обоим супругам было примерно по 75 лет, у них был аналогичный профессиональный опыт и общее происхождение. Что их разделяло, было то, что муж - Давид - в детстве со своими родителями

был в концлагере и, в отличие от своих родителей, выжил. В момент освобождения ему было девять лет, и он был совершенно один на целом свете. Его жена, Урсула, во время Шоа была в укрытии, все время вместе со своими родителями, братьями и сестрами. Они пришли ко мне, потому что у них было много споров, и всегда об одних тех же вещах. Дэвид считал, что Урсула использовала слишком горячую воду, когда мыла посуду; воду, которая, по его мнению, экологически была недостаточно чистой. Она, в свою очередь, считала, что посуда останется не совсем чистой, если вода будет недостаточно горячей. Снова и снова они ссорились по поводу этих тривиальных вещей. Я все больше и больше чувствовала, что на самом деле споры идут по совершенно другому поводу: «Ты выжила со своими родителями, а я нет и у меня никогда не было возможности оплакивать моих родителей». Эта потеря, это различие очень интенсивно отдаляло их друг от друга, и когда я спустя некоторое время попыталась с ними еще раз поговорить, они прекратили терапию - Дэвид был уверен, что приходить больше не следует.

Если человек рассматривает свое детство в качестве модели, так что у него есть представление о том, как детство должно выглядеть, то, на мой взгляд, как правило, именно такую модель хотят предложить своим собственным детям. Там, где выжившие дети были в состоянии предложить что-то, что они сами приняли как положительное, они, безусловно, это делали. Однако, они также испытали, что их родители в их глазах были испуганными, униженными, безропотными, их иногда даже убивали у них на глазах, или они их оставляли. Таким образом, они испытали свою собственную классификацию детства, тот факт, что родители не могли защитить своих детей и дать им достаточно чувства защищенности или вообще никакого. И если мы спросим себя, почему они после Шоа молчали и молчат до сих пор, то это, безусловно, попытка защитить себя от болезненных воспоминаний и после войны смотреть больше вперед, а не оглядываться назад. Многие обнаружили, что для этого пережитого опыта нет адекватного языка. Поэтому что (это я знаю по своей собственной семье и, вы, возможно, по опыту своих), никто ни о чем не спрашивал, тогда не спрашивал и частично не спрашивает и сегодня. При этом создается впечатление, что родственники совершенно ни в чем не заинтересованы, так как они не задают вопросов. Другой мотивацией является желание защитить своих собственных детей. От чего? Иногда это не очень рационально. Конечно, прежде всего от вероятного преследования, которое для некоторых представляется до сих пор реальной угрозой. Дети не

должны знать, что они евреи, чтобы не привлекать к себе внимание. Часто также происходит, что родители не хотят, чтобы их дети знали, насколько беззащитны и уязвимы они сами были когда-то и они не хотят видеть детей в таком состоянии, поскольку это вызывает неприятные ощущения.

Существует модель, которая всегда меня сопровождает: одним из самых важных профессиональных примеров для меня является Дан Бар-Он, который к сожалению, умер два года назад. Он рассказывал о так называемой «двойной стене». Это во многом объясняет, почему отсутствует связь между родителями и детьми. Соответственно, родители не рассказывают, а дети не спрашивают. Таким образом, и дети, и родители возводят стену молчания. Теперь может случиться так, что родители, тем не менее, захотят все-таки что-то рассказать, и прорубить в этой стене окно, но когда они увидят тех, кто находится по другую сторону стены, они его снова захлопывают. Или может быть так, что это окно открывают дети и пытаются что-то спросить, но затем они увидят своих визави и сдаются. Только если оба эти окна будут открыты одновременно, может возникнуть связь между родителями и детьми.

В дальнейшей жизни для выживших детей могут быть более критические моменты. Они в течение многих лет, нескольких десятков лет занимались работой, семьей, хобби, словом, всем, что у них было и с чем они могли иметь дело. И вот однажды происходит нечто неожиданное, как, например, смерть – умирает супруг или супруга или, возможно, кто-то еще, очень близкий человек. Или они выходят на пенсию и занятий становится у них немного. Может быть, болезни, несчастные случаи или просто нормальный процесс старения приводят к тому, что они чувствуют себя менее сильными. Все эти критические моменты – это те ситуации, которые непосредственно могут вызвать повторный контакт с горем и вновь вызвать чувство одиночества.

Стратегии преодоления являются на данном этапе жизни хрупкими, как и кости человека. Люди просто не могут функционировать так, как раньше и тех воспоминаний, которых в течение многих десятилетий удавалось избегать, возвращаются в памяти на эмоциональном уровне. Люди испытывают потерю контроля, чувство беспомощности, ранимости. И, наконец, к этому добавляется тот факт, что ослабевают кратковременная память. Нам это хорошо знакомо - но это также означает, что воспоминания, которые уже давно и полностью были отвергнуты и забыты, вновь возвращаются. Я заметила также,

что выжившие дети очень неохотно принимают помощь. Они действительно в очень раннем возрасте приучились быть самостоятельными, очень сильными и успешными. Предложения о помощи - также как жалость или сочувствие - они воспринимают почти как оскорбление, поскольку это предполагает, что они уже не те, кем бы они хотели видеть себя сами.

Я наблюдаю еще один интересный феномен: иногда выживший ребенок говорит мне: «Где ты была, когда я так в тебе нуждался, например, после войны? После Шоа мне была нужна терапия, где ты была тогда?» Конечно, я сначала подумала, что я не была достаточно взрослая для того, чтобы что-то предложить. То есть, я все поняла буквально. Теперь, однако, я вновь размышляю об этом и считаю, что здесь происходит передача и фактическое сообщение гласит: «Где ты была, как мама, когда я нуждался в тебе после Шоа?» Или когда кто-то говорит мне: «Мне не нужна твоя помощь» или «я не хочу обременять тебя своей историей», то они видят во мне одного из своих детей, потому что я все-таки моложе их и принадлежу к этому поколению.

Как выбраться из укрытия? Я знаю людей, которые, к сожалению, не интегрированы ни в одну еврейскую общину или которые находятся в таком состоянии, что несмотря на то, что им не надо больше скрываться, они все равно чувствуют себя очень одинокими и ощущают некую угрозу. Поэтому такие конференции, как наша, очень важны - также, как и съезд «Hidden Children», о котором здесь говорилось. Когда он был проведен в 1991 году, это имело очень большое значение. Многие к этому времени вышли из укрытия. Когда в 1980-х годах была основана АМ-СНА, это было крайне важным событием в Израиле, потому что люди неожиданно перестали стыдиться говорить, что они пережили Шоа. Существует также много книг, и я думаю, что это очень хорошо, что на эту тему появляются новые книги. Написанное не только имеет большую терапевтическую ценность, но и дает нам важную информацию, потому что оно обычно складывается на отдельных историях, которые уже сами по себе имеют ценность.

В психологической консультации для жертв Шоа и их семей в Швейцарии (Tamach), где я работаю, мы говорим о зависти жертв. Во время нашей самой первой встречи с группой выживших это звучало почти, как черный юмор. Потому что на основе зависти жертв двое оставшихся в живых завели спор о том, кто пострадал больше - тот, кто в течение 4 лет находился в лагере для интернированных - не в концлагере - а затем в течение 15 лет был в ГУЛАГе,

или женщина, которая вначале была в ГУЛАГе, а затем в Освенциме. И она схватилась за голову: «Это был роскошный отель, ваш ГУЛАГ был роскошью по сравнению с моим Освенцимом». И тогда мы ввели такое понятие, как зависть жертвы. Но теперь я думаю, это имеет совсем другое значение. На мой взгляд, может существовать (и я говорю это очень осторожно) вполне бессознательная форма обиды между ребенком выживших родителей и его собственными детьми, поскольку последние именно благодаря усилиям их родителей смогли прожить достаточно беззаботное детство. Что-то было для них невозможно. Это очевидно то, что никогда не признавалось. Но я подозреваю, что такое явление существует. Мне любопытно, как это произойдет позже во время нашего обсуждения. Люди из поколения детей-жертв, могли, по крайней мере, мне этого хотелось бы, с помощью лечения узнать что-то позитивное - они могли бы избавиться от одиночества и провести работу скорби. Я перечислила некоторые вещи. Не менее важно, конечно, принадлежность к сообществу людей, которые чувствуют себя одинокими.

Теперь я хотела бы начать разговор о втором поколении. Я буду менее многословна, поскольку мы сегодня ориентированы прежде всего на выживших детей. Я была очень рада, когда конце 1970-х Хелен Эпштейн опубликовала свою книгу о втором поколении, потому что вдруг поняла, что я не одинока. А вчера наша коллега из Парижа рассказала, что она испытала в группе, что она также не одинока. Но получается так, что когда мы как профессионалы и как общество обращаем наше внимание на переживших Шоа, становится очень трудно наблюдать за вторым поколением. Родители говорят: «Какая у вас вообще есть проблема? Вы ничего не знаете, вы даже не можете себе представить, что мы испытали». В этой связи я считаю, что тематизация проблем второго поколения во многих семьях - это своего рода нарушение табу. То, что они вообще осмелились обратить внимание на их страдания и их проблемы. Есть много теорий о том, как травма переносится из поколения в поколение. Позвольте мне изложить здесь некоторые мысли.

Иногда может случиться, что дети, когда они ошеломлены слишком большим объемом информации, не могут в ней правильно разобраться и не знают, что они могут установить определенные границы, а, напротив, считают, что они должны принять всю имеющуюся информацию целиком. Перенос травмы может также произойти, когда ощущается эмоциональная воздержанность родителей, но она не может быть правильно определена. Или, если люди думают, что, может быть, они непривлекательны

или недостаточно хороши. Дети выживших, то есть второе поколение, кроме того, часто имеют много фантазий о том, что произошло во время Шоа. Они многое знают, и в семьях, где об этом не говорят, они о многом пытаются догадаться. Эти фантазии занимают всю их повседневную жизнь и формируют их восприятие, при этом они чувствуют, что повсюду таится опасность. Но как часто бывает в семьях, которых это касается, граница между родителями и детьми отсутствует. Вот почему я привела в пример магниты. Во многих семьях никаких границ между родителями и детьми не существует.

Существует также некое смешение ролей. Родители, у которых не было своего собственного детства, и родители, которые определенным образом все еще застряли в своем детстве. С одной стороны, они являются родителями и детьми одновременно, но также и детьми, которые парентифицированы, которые чувствуют, что они должны заботиться о своих родителях. Родители, в свою очередь, тоже играют две роли. «Парентификация» - это термин для объяснения явления, когда выжившие дети часто говорят: «Я не нуждаюсь в помощи. Я могу хорошо стоять на собственных ногах, я этому рано научился», но тем не менее, еще передают определенное сообщение, которое дети понимают как «позаботься обо мне!» И тогда, естественно это приводит к смешению ролей: если мне придется заботиться о моих родителях, а они, собственно и являются травмированными, то «где же тогда нахожусь я?»

Одним из следствием парентификации является то, что большинство детей второго поколения совершенно по-особому относятся к своим родителям. Сегодня мы видим в семьях, как быстро подростки могут нападать на своих родителей: «Ты тупишь!», «Ты ничего не знаешь», «Ты понятия об этом не имеешь», «Оставьте меня в покое!» - все эти вещи, которые их дети и внуки могут себе позволить и которые люди второго поколения позволить себе не могут. Я также заметила, в какой степени «мысли о катастрофе» как я это называю, играют для некоторых представителей второго поколения роль в восприятии окружающего мира. Все катастрофично, повсюду скрывается опасность, постоянными спутниками являются паника и стресс. Кроме того, для многих представителей второго поколения очень трудно установить границы. Для них крайне тяжело регулирование близости и дистанции. Они испытывают это иногда, когда присутствуют на терапевтических сеансах, и считают это непонятным и произвольным. «Зачем устанавливать границы? Что вообще представляют из себя эти границы?»

Это переносится, конечно, позднее во взрослые отношения, как с супругами, так и со своими собственными детьми. Для второго поколения жизнь без Шоа никогда не была возможна. Эти дети - и после геноцида - буквально выросли в Шоа. Это также то, что отделяет их от опыта своих родителей, которые до Шоа смогли прожить только очень короткое детство. Родители до Шоа часто знали другой мир, в котором жизнью можно было разумно управлять. Даже если они позднее очень старались предложить своим собственным детям налаженную жизнь - тень Шоа постоянно присутствовала.

Я уже сообщала о неосуществленном разрыве и описала его, что часто является результатом того, что дети остаются до самой старости очень близки со своими родителями, как бы магнетически притягиваясь друг к другу. Когда в терапии рассматривается тема «разрыв», которое совершенно очевидно в случае взрослых, то это означает, конечно, большую дилемму, потому что дети настолько связаны со своими родителями и даже сегодня думают, что они не должны оставлять своих родителей в гетто или концлагере. Затем появляются другие дилеммы, которые я наблюдала в последние годы в отношении второго поколения. Например, вопрос о вине. Я, как терапевт, не ишу, может быть, из-за моей системной ориентации, виновных. Само собой разумеется, что те, кто пережил лишения, ищут виновных в этом. А если ребенок не имел достаточно защиты или безопасности, то он может спросить: «Разве я это заслужил?» «Мои родители мне это не предоставили». «Кто виноват?» И тогда можно быстро ответить: «Гитлер во всем виноват» - и возможно, это и есть правильный ответ - может быть, это и поможет. Более того, может случиться, что дети действительно не только не чувствуют себя любимыми, но и развивают чувство неполноценности вместо того, чтобы обвинять каким-то образом своих родителей. Это также является дилеммой, потому что из этой неуверенности в себе выходить очень трудно. Кроме того, существует проблема освобождения родителей. Если я так близко связан со своими родителями - как я тогда могу жить, не жертвуя собой и не сдаваясь? Тогда возникает вопрос: Может ли ребенок сохранять память о Шоа, не жертвуя собственной жизненной силой? Некоторые люди видят себя своего рода «поминальной свечой», как это называет Дина Варди - свечой памяти по убитым членам семьи и потерянным детстве родителей. Но в этом случае личность может потерять свою жизнеспособность.

Я подозреваю, что мои заключительные замечания касаются очень обширной темы, потому что дети часто не ощущают себя самодостаточными и не могут

по-настоящему понять своих родителей, которые с ними не так искренны. Конечно, они тесно связаны между собой, но искренности хватает не всегда. И из-за этого отсутствия искренности, поскольку родители настолько травмированы и в своих мысли и чувствах находятся где-то совсем в другом месте, я думаю, дети ищут благословения своих родителей - в течении всей жизни. Это то, что мы можем очень хорошо понять. Каждому из нас хочется с самого первого дня быть безоговорочно любимым. Если же дети этой безусловной любви не чувствуют, они остаются недоумевающими и беспомощными и стараются эту любовь в конце концов получить: если они делают все только правильно, если они остаются искренне связанными со своими родителями, если они в какой-то форме проникаются их заботами и решают их, если они находят правильный путь, чтобы удовлетворить своих родителей, то они надеются, что им, наконец, удастся получить это благословение.

Вот некоторые мысли относительно помощников: насколько мы вообще полезны? Как мы можем поддержать процесс, который определяет, что выжившие дети, второе поколение и все мы имеем право на достойную жизнь, удовлетворенность и безопасность? Мне было интересно узнать: что мы ожидаем, когда выжившие приходят к нам? Однако, если они не приходят, обязаны ли мы собирать и приводить их или кто-то другой должен это делать? Можем ли мы, которых не было 50 или 60 лет тому назад, предлагать что-то сегодня? Я знаю, что терапия для многих, которые при жизни были убеждены, что не нуждаются ни в какой терапии, является ругательным словом, как только кто-то его произносит. Было очень трудно участвовать в терапии или принимать помощь. Вполне возможно, что в качестве помощников, нас видят всеведущими и всемогущими, но на самом деле мы зачастую беспомощны. Часто помощники ведут себя, как будто у них есть страх контакта с этими большими, сложными травмами. Если мы в этом отношении не так опытны, если мы не будем иметь высокую степень сострадания и открытости, то вполне может быть, что мы почувствуем себя в этом вопросе скорее беспомощными, чем всеведущими. Тем не менее, я хотела бы отметить еще один аспект: я думаю, и, возможно, мои коллеги из второго поколения думают также, что двойная стена молчания, о которой говорит Дан Бар-Ор, может относиться и к отношениям между помощниками и пережившими Шоа. Особенно, когда мы немного моложе и еще чувствуем в себе еврейское, то нас можно рассматривать одновременно и как помощников, и как детей, переживших Шоа. Это скорее относится к самым старым людям, пережившим Шоа. Я

принадлежу к более младшему поколению выживших детей, поэтому ситуация несколько выравнивается. Но это также вызов для нас в качестве помощников: иметь возможность действительно сигнализировать, что мы в состоянии справиться с тем, с чем к нам обратятся. Мне интересно, я открыта ко всему, я на месте - и даже если это трудно выговорить в семье или в кругу друзей - я здесь.

В пожилом возрасте ситуация в отношениях между выжившими детьми и их детьми, вторым поколением, часто также оказывается сложной. Сблизиться с ними подчас не удастся. Выглядит это так, как будто вы находитесь рядом, но эмоциональной близости не наблюдается. Я спрашиваю себя: возможно ли вообще удовлетворение для выживших людей в семье в пожилом возрасте? Самое страшное в их жизни осталось давно позади и они заслужили спокойную старость. Тем не менее, возникает вопрос, могут ли они заключить мир со своими детьми так, чтобы и одни, и другие получили ощущение: «Меня будут принимать таким, как я есть». Поэтому я определила для себя следующие три сценария. Они не единственно возможные сценарии, но это как раз те три, которые приходят мне на ум. Во-первых, это сценарий, при котором дети второго поколения в связи с их процессом развития значительно удалились от родителей и держат в отношении с ними определенную дистанцию, тем более, что в любом случае родители не нуждались в них, как в помощниках. И теперь родителям вдруг требуется помощь - ой, вей! Теперь дети оказываются в ситуации, из которой они успешно вышли, но теперь в них по-прежнему нуждаются, и, конечно, это может, в свою очередь, пробудить у родителей чувства стыда, даже гнев на себя, потому что они зависят от этой помощи. Также может быть, если дети расстроены и ситуация может вызывать смешанные чувства. У меня нет ответов на этот сценарий и я хотела бы его на некоторое время оставить.

А вот второй сценарий: дети по-прежнему очень интенсивно связаны с родителями, а потом в отношениях вдруг наступает какой-то провал. Дети думают или чувствуют, возможно подсознательно, что они на самом деле всегда хотели спасти своих родителей. И теперь у них, вероятно, есть возможность предложить что-то, что может идти в этом направлении, что-то, что они реализовали совершенно несознательно. В то же время, однако, эти фантазии спасения означают для обеих сторон конечно, чрезмерную нагрузку и могут иметь негативные последствия. Я хотела бы представить вам сейчас эти два сценария, потому что я надеюсь, что мы сможем вернуться к ним во время обсуждения,

что будет полезным как тем, кого это касается, так и их помощникам. Это притяжение и отталкивание, если отставаться в примере с магнитом, очень часто встречается в семьях, и это делает ситуацию еще более сложной, так как действия противоположных силовых полей являются для пациентов и членов их семей практически непреодолимыми.

Это, скорее, менее оптимистические сценарии. Тем не менее, я хотела бы поговорить о третьем сценарии, по которому родители (выжившие дети) и их дети (второе поколение) принимают свою собственную недостаточность. Я признаю, что у меня было трудное детство, которое оказало влияние на мою дальнейшую жизнь. Я признаю, что по мере сил и возможностей я старалась справиться с потерями, страхом перед разлукой, опытом покинутости (и говорю это, имея в виду оба поколения), что я приспособила свои стратегии выживания, чтобы наилучшим образом справиться с этой ситуацией и что я собираюсь разговаривать на эту тему. То, что оба поколения открыто говорят друг с другом на эту тему, пытаются разрешить недомолвки при общении, привлекают к этому внуков выживших детей, третье поколение, то это, в конце концов, может быть очень мощным ресурсом для того, чтобы добиться больших успехов и без терапии. Тогда может оказаться, что вопрос о вине перейдет в траур и можно будет наконец провести работу скорби. Я лично убеждена, что это относится к жизни - наконец, прочитать Кадиш и сидеть Шиву – также и в переносном смысле. Существуют различные формы траурных ритуалов. Это может также означать устройство могилы для погибших членов семьи или посещение места трагических событий, если человек в состоянии это выдержать. Я считаю, каждая семья может потом думать о том, как она хочет это сделать.

Я считаю, что это очень трагично, когда я слышу истории о том, как Шоа не только оставила свой след в семье, но, возможно, по-прежнему имеет очень сильные последствия, и я очень обеспокоена, когда я вижу, как члены «второго поколения» страдают от собственного пережитого опыта, особенно, когда их родители находятся для них вне досягаемости. Это не имеет ничего общего с чувством вины, а скорее бессилием. И я думаю, что этот трагизм может, и, наконец, должен подойти к концу и что мы, как люди, как семьи и как общество должны обеспечить то, чтобы Шоа, наконец, подошла к концу, даже если мы и видим себя в качестве жертв. Мы должны найти новую форму самоопределения и должны передать своим детям мир, который обещает безопасность и защищенность и не будет восприниматься ненадежным и угрожающим.

Opfer des Nazi- und des stalinistischen Terrors

Aspekte der Probleme und Fürsorge im Alter

Unsere Zielgruppe und das Alter

Was für eine Zielgruppe haben wir eigentlich?

Ein großer Teil der Zielgruppe gehört zu den Senioren. Das jüngste Baby aus der Nazi-Zeit ist jetzt 63 Jahre alt. Für die Stalinistische Periode kann man dazu etwa 10 Jahre rechnen, und das bringt uns zu einem Alter von 53 Jahren.

Senioren werden oft eingeteilt in die Kategorien von jüngeren Senioren (55-75 Jahre) und älteren Senioren (älter als 75 Jahre). Für ‚unsere‘ Senioren gilt das was ich sagen möchte in zunehmendem Maße ab etwa 55 Jahre.

Was kann man im Allgemeinen über das sagen was die Franzosen „le troisième âge“, das dritte Alter, nennen?

Senioren befinden sich auf einer abfallenden Lebenslinie, sie bauen ab.

Es gibt weniger Bestätigung darin, notwendig nützlich und produktiv zu sein. Es gibt also oft eine Abnahme der externen Gratifikationen.

Früher oder später erfolgt die Konfrontation mit dem physischen Abbau und der erhöhten Verletzbarkeit.

Auch im sozialen Beziehungsgefüge tritt eine Abnahme der Intensität ein, weil auch Freunde, Verwandte und andere stützende Personen wegfallen.

Man erfährt zunehmend eine Konfrontation mit der Endlichkeit des eigenen Lebens.

Im Allgemeinen trifft Folgendes zu

(*Krystal: Aging Survivor 1989*):

- Man hat mehr Vergangenheit und weniger Zukunft.
- Man hat mehr Zeit für das Denken und braucht weniger Zeit für das Tun.
- Es gibt mehr Rückblick und weniger Planen.

Eine solche – sicher nicht vollständige – Charakterisierung ist insofern irreführend, als sie suggeriert, dass die Phase des dritten Lebensabschnitts hauptsächlich ein passives Erleiden sei. Gerade diese Lebensphase enthält doch eine wichtige Herausforderung. Henry Krystal nennt in dieser Hinsicht die Integration als eine wesentliche Aufgabe.

Wo in der Vergangenheit so viel passiert ist, das eigentlich außerhalb von „Verarbeitbarem“ liegt, kann man voraussetzen, dass Integration und das Empfinden von Ganzheit und Zusammenhang viel stärker bedroht sind; die Verletzbarkeit ist erhöht. *Yael Danieli (Achievement of Integration*

1981) sagt mit Recht, dass das Älterwerden für Überlebende ein traumatisches Geschehen ist, und meint dabei nicht die Krisenhaftigkeit, die zur dieser Phase gehört, sondern die Konfrontation mit dem existentiellen Trauma, welchem diese Gruppe ausgesetzt wurde.

Die zusätzliche Belastung und das zusätzliche Risiko durch existentielle Traumatisierung werden klar anhand von folgenden Aspekten:

- Der zum Seniorenalter gehörende Rückblick führt bei dieser Gruppe zur Konfrontation mit Ereignissen, gegen deren Erinnerung man sich gewehrt hat, um sie so weit wie möglich von sich weg zu halten.
- Die Akzeptanz der eigenen Vergangenheit kann bedeuten, dass man sich mit ihr versöhnt. Das birgt aber die Gefahr, dass man sich erneut machtlos und gedemütigt unterwirft und so den Aggressor nachträglich triumphieren lässt.
- Manchmal kann man die Vergangenheit akzeptieren, aber mit dem Auftrag, Zeuge zu bleiben – ein Auftrag, der das Überleben rechtfertigt. Die Vergangenheit darf anwesend sein, solange gekämpft und Zeugnis abgelegt wird. Wenn dies aber aus irgendeinem Grund nicht mehr geht, droht die Dekompensation.
- Viele haben ihr Leben nie mehr als ein Ganzes, als ein Kontinuum erlebt. Es ist sozusagen aufgespalten in eine Periode vor, während und nach der Verfolgung. Das sind Welten, die strikt getrennt gehalten werden, so als ob sie nicht zueinander gehörten; es findet eine Abspaltung des traumatischen Geschehens statt.

Es wird jetzt vielleicht klar, dass Verfolgte im Allgemeinen mit viel größerer Verletzbarkeit ins Seniorenalter eintreten, in die Lebensphase, in der gerade Integration und Synthese so wichtige Aufgaben sind.

Auf der anderen Seite muss man hervorheben, dass Überlebende, die das Seniorenalter ohne ernsthafte psychische Dekompensation erreicht haben, auch zeigen, dass sie eine starke Persönlichkeit haben, belastbar und mit Lösungsfähigkeit ihrer Probleme ausgestattet sind. Gerade durch angemessen errichtete Abwehr haben sie sich gut stabilisieren können. Sie sind also nicht nur verletzbar, sie haben auch ihre Stärken.

Zur Bedeutung des Älterwerdens für verfolgte Menschen

Was hat das Älterwerden für Folgen? Viele Autoren haben angenommen, dass ein Abbau der körperlichen und mentalen Energie im Alter eine Ursache der Dekompensation des psychischen Gleichgewichts sei. Dieser Abbau, zusammen mit stressbelastenden Lebensereignissen wie Pensionierung, das Selbständigwerden der Kinder, Krankheit und anderes, würde psychische und körperliche Beschwerden hervorrufen, zusammenhängend mit den unverarbeiteten traumatischen Ereignissen aus der Nazizeit.

Es gibt aber jetzt viel relevante Literatur, in der die These abgelehnt wird, dass die ‚coping mechanisms‘ und die Affektregulation von Senioren als Folge von neurophysiologischer Degeneration zurückgehen (bei einer Krankheit wie Alzheimer Demenz ist das natürlich anders). Das Kurzzeitgedächtnis geht zurück, aber nicht die ‚coping mechanisms‘. Der späte Anfang – nach einer Latenzphase - von posttraumatischen Belastungsstörungen nach der Pensionierung und anderen normalen Lebensereignissen muss also einen anderen Grund haben.

Die oft festgestellte Dekompensation des psychischen Gleichgewichts bei schwer traumatisierten Holocaust-Überlebenden, nach einer langen Latenzphase auftretend, hat keine Ursache an sich, sondern ist eine Neuinszenierung eines alten Konflikts (Aarts et al. Late Onset 1997). Das alte Trauma wird wieder aktualisiert, anders gesagt: vitalisiert. Es handelt sich also auch um die Bedeutung des Älterwerdens und um soziale Veränderungen, die das Älterwerden mit sich bringt. Dabei treten die Verluste von damals wieder in den Vordergrund: Verlust von Verwandten und Freunden, Gütern, Status, Zukunftsperspektiven und noch vielem mehr. Der Kummer und ganz besonders die Wut wegen dieser Verluste ist in den Augen der Hilfeleistenden unerwartet stark. Man muss auch der Tatsache Rechnung tragen, dass das Trennungstrauma in den meisten Fällen niemals geheilt ist.

Ein Überlebender hat oft nicht nur geliebte Personen verloren, sondern alles, was vor dem Holocaust existierte – eine ganze Welt. Die Intensität dieses Verlustes würde unerträglich sein, wenn es nicht auch ein anderes Gefühl gäbe: ‚survival triumph‘, das Gefühl, ein Sieger zu sein. Man ist zur gleichen Zeit schuldig und stolz darauf, überlebt zu haben. Das Triumphgefühl auf der einen Seite und die Gefühle von Verlust und Schuld auf der anderen Seite halten sich in Balance.

Beim Älter werden verschwindet das Triumphgefühl unter dem Einfluss des näher kommenden Todes und die Gefühle von Verlust und Schuld gewinnen die Oberhand. Zudem wird die Identifikation mit den Toten mehr in den Vordergrund treten. Aber diese Toten sind keine Menschen, die ihren Lebenszyklus vollendet haben, sie wurden ermordet.

Das erhöht das Gefühl der Wut. Das alles führt zu viel Angst, zu Verstimmung und zu verschiedenen Krankheitszeichen.

Besondere Aspekte in der Hilfeleistung

Symptomatologie reicht niemals aus, um die störenden Phänomene und die Problematik bei älteren Überlebenden zu beschreiben. Es ist aber möglicherweise von gewissem Nutzen für alle, die in diesem Bereich als Mediziner, Psychologen, Sozialarbeiter, Pflege- und Versorgungskräfte tätig sind.

Bei der Arbeit mit Senioren im Allgemeinen gibt es einige Fallstricke. Unwillkürlich stigmatisiert man den älteren Menschen als schwach und gebrechlich - und dies aus einem eigenen Gefühl der Stärke heraus: Der Hilfeleistende ist stark, der bejahrte Empfänger der Hilfe ist schwach. Wer bereit ist zur Selbstreflexion, wird erkennen, wie man sich oft unmerklich gegenüber dem bejahrten Patienten infantilisierender, stützender und toleranter benimmt, als vielleicht angemessen ist. Man vergisst dabei, dass das Ehret-das-Alter nicht bedeutet, tolerant und stützend zu sein, sondern Selbstbestimmung, Selbstachtung und Selbstbestätigung zu respektieren.

Oft begnügen Hilfeleistende sich auch mit dem Status quo und den beschränkten Möglichkeiten zur Änderung.

Im Gegensatz dazu ist man bei jungen Personen viel eher erfinderisch und kreativ bei der Suche nach Alternativen, wenn eine Behandlung nicht voran kommt. Bei Älteren findet man sich eher ab, deckt zu, den Rückgang akzeptierend, manchmal verwendet man auch die Maske der Vorsicht mit dem zerbrechlichen Klienten. Natürlich muss man diesen Aspekten Rechnung tragen. Es gibt hier bestimmte Realitäten. Doch lauert die Gefahr im Automatismus und in der Selbstverständlichkeit, welche die Haltung der Hilfeleistenden beeinflussen können und einen stigmatisierenden Effekt auf den Klienten haben.

Für die traumatisierten Verfolgten gilt zusätzlich: Sie sind Menschen, für die es eine wesentliche Bedrohung ihrer Existenz darstellt, schwach, abhängig und hilflos zu sein. Wenn man sich jemandem gegenüber sieht, den man als stark wahrnimmt, der mit der Macht ausgestattet ist, über einen zu entscheiden, und wenn man denjenigen als respektlos erlebt, dann beschwört das erneut die Erinnerung an Vernichtung und Entmenschlichung herauf. Die oft mit so viel Mühe erkämpfte Struktur und Balance der Persönlichkeit droht zusammenzubrechen. Durch diese kognitive Verzerrung kann jede noch so freundlich und gut gemeinte Hilfe als äußerst bedrohlich erlebt werden. Dies führt zu gegenseitiger Enttäuschung und Hilflosigkeit.

Es gibt noch weitere Aspekte, welche bei traumatisierten Verfolgten einen zusätzlichen Druck hervorrufen oder aufgrund der Vergangenheit eine besondere Wichtigkeit

bekommen. Meistens sind wenige Verwandte, beziehungsweise stützende Personen vorhanden. Wenn Kinder da sind, haben sie oft eine sehr ambivalente Beziehung zu den Eltern. Diese Ambivalenz durfte lange Zeit nicht sichtbar werden; im Seniorenalter sieht man gerade oft diesen Zustand dekompenziert.

Normale Lebensereignisse können eine schwerere Belastung bedeuten. Zum Beispiel heißt Loslösung der Kinder: Sie werden weggenommen, die Trennung ist endgültig. Umziehen kann heißen: auf Transport gehen, alles zurücklassen. Auch wenn andere – in guter Absicht – alles regeln. Eine Krankenhausaufnahme kann sehr beängstigend wirken, besonders wenn dies von anderen nicht erkannt wird.

Verluste

Die Verarbeitung von Verlusten verlangt besondere Aufmerksamkeit. Es ist normal, dass man im Alter zunehmend mit dem Verlust von Freunden, Verwandten, dem Partner und anderen konfrontiert wird. Wir wissen jedoch, dass jeder Abschied frühere Verluste wieder aktiviert. Dabei geht es oft um Verluste, bei denen eine Trauerarbeit nicht stattfinden konnte. Entweder weil sie so zahlreich waren oder weil der Affekt erloschen war oder in einer Fixierung auf ohnmächtige Wut bzw. im Hass erstarrt ist. Dass oft keine richtige Trauerarbeit stattfinden konnte, hat Folgen für die Verarbeitung von späteren Verlusten: Aktivierung von Ängsten und Depression, aber auch Äußerungen von heftiger Wut und Hilflosigkeit nehmen neben Schuld- und Schamgefühlen viel Raum ein.

Sinnegebung

Man kann Trauma m.E. auch sehen als ein Zusammenbruch basaler Sicherheiten, und Erholung definieren als Wiederfindung neuer kognitiven Rahmen. Bei Opfern der Nazi-Diktatur und der Stalinistischen Verfolgung ist nämlich oft die Rede von mehreren länger andauernden traumatischen Ereignissen, die zu einer komplexen traumatischen

Störung führen können (Herman, 1992). Dazu können wir auch die beschädigenden sozialen Umstände und die Existenzunsicherheit rechnen, sowohl in Konzentrationslagern der Nazis als auch in Gulags und manchmal auch später. Es ist naiv zu erwarten, dass die modernen Behandlungsmethoden für das Trauma Typ I ausreichend sind, um älteren traumatisierten Immigranten zu helfen. Sie nützen nur in bescheidenem Maß für diese Zielgruppe.

Die Behandlung von Holocaust-Opfern und von Opfern der Stalin-Verfolgung aus Russland umfasst also mehr als

die Behandlungen für das Trauma Typ I. Man soll sich auch kümmern um die depressiven Bilder, die psychosomatischen Krankheiten, chaotischen Krisen in den Familien, Anpassungsprobleme und auch alles, was Folge ist der heutigen Lebenssituation.

In der Behandlung hat Sinnegebung einen bedeuteten Platz. „The search for meaning“, das fundamentale Suchen nach einem Sinn, ist eine primäre Kraft im Leben (Frankl 1996). Menschen suchen in erster Linie nach einer Erklärung für das, was ihnen passiert ist, und fragen nach dem Warum. Es geht dann meistens über Ursachen und Zusammenhänge (Sinn als Begreifbarkeit). Parallel dazu oder in zweiter Linie, folgt Sinnegebung im Licht der heutigen Existenz (Sinn als persönliche Bedeutung). Dieses Letztgenannte betrifft den Platz, den die Erfahrungen im persönlichen oder familiären Leben einnehmen. Es geht um die Bedeutung der Änderungen, die diese Erfahrungen mit sich gebracht haben.

Es gibt also mehrere Wege von Sinnegebung. Sinnegebung bedeutet, dass die vielen sich aufdrängenden Bilder, Gedanken und Gefühle in Bezug auf die überwältigenden Ereignisse miteinander verbunden sind und im Langzeitgedächtnis gespeichert sind. (Von dort sind sie leicht abzurufen).

Bemerkungen in Bezug auf das soziale Umfeld traumatisierter Senioren

Im Vorhergehenden sind Aspekte besprochen worden, die im Behandlungskontakt mit ehemals verfolgten Senioren wichtig sind. Behandlung und weitere Hilfe für diese Menschen muss eigentlich in einem Kontext von gesellschaftlicher Anerkennung und Unterstützung stattfinden. In diesem Kontext spielt auch die Frage eine Rolle, inwieweit Krankenhäuser, Pflegeheime und Altersheime diesen Menschen eine geeignete Gesundheits- und Sozialfürsorge anbieten können. Diese Frage nach einem besonderen Milieu lässt sich in gedrängter Form nicht beantworten. Es können jedoch hier einige Bemerkungen gemacht werden. Aufnahme in eine Klinik, ein Pflegeheim oder Altersheim kann für ehemalige verfolgte Senioren beängstigend sein. Während der Nazizeit bedeuteten Stärke von Körper und Geist, dass man wenigstens etwas zu haben meinte, mit dem man hoffte, mehr Überlebenschancen zu haben. Die tatsächliche Abmagerung wegen mangelndem Essen und mancher Krankheit war oft fatal. Der Rückgang körperlicher und psychischer Kapazität erinnert an diese beängstigende Verletzbarkeit. Zeitlebens hat man krampfhaft versucht, seine Unabhängigkeit zu handhaben; jetzt kommt eine vielleicht längere oder auch definitive Zeit, in der man von Entscheidungen und gutem Willen anderer abhängig ist. Kognitiv weiß man schon, dass „die Anderen“ meistens wohlwollende Menschen sind, aber man

hat im Leben gelernt, z.B. während der Zeit des Untertauchens, dass auch wohlwollende Leute Menschen mit ihren Beschränkungen und Launen sind. Menschen, die an einer Demenz leiden, können die kognitive Selbstregulierung oft nicht mehr ausreichend leisten und fürchten im Mitmenschen manchmal einen Verfolger.

Der Verlust der vertrauten Wohnumgebung, im Alltag weniger Verwandte oder Freunde oder gar keine mehr zu sehen, ist für jeden schwierig. Er ist besonders schwierig für diejenigen, die die großen Verluste von damals nicht in einem normalen Trauerprozess haben verarbeiten können, was für den Großteil der Verfolgten der Fall war. Stationäre Aufnahme im erweiterten Sinn kann eine Reaktivierung von Ängsten und Trauer bedeuten. Darum ist es wichtig, dass die Verfolgten bei solcher Aufnahme, vor allem bei einem länger dauernden Verbleib, in einem sozialen Umfeld unterkommen, das sich für das Auffangen eignet. Dort sollte auch das Milieu schützend sein. In solch einem Milieu muss es ausreichend Kenntnis und Bewusstsein über Schicksale dieser Menschen im Allgemeinen geben, über die geschichtlichen Ereignisse, über Langzeitfolgen und über die Bedeutung von Alltagsereignissen in diesem Umfeld für diese Menschen. Die Mitarbeiter am Bett müssen wissen, was für Symptome sie bei Menschen mit dieser Problematik erwarten dürfen. Flash-backs darf man nicht als Halluzinationen deuten, Ängste nicht automatisch als neurotisches Verhalten, Verhaltensschwierigkeiten nicht automatisch als etwas Psychopathisches; und man muss Dissoziationsphänomene erkennen. Ärzte und Pflegepersonal müssen lernen, dass derartige und andere Symptome nicht automatisch in andere, von der Ausbildung her eher vertraute Krankheitsbilder eingeordnet werden.

Diese und andere Ereignisse muss man als empfindsamer Reaktionen auf aktuelle Vorfälle sehen können, verstehbar aus der Aktualität der traumatischen Vergangenheit. Auch beim Fernsehen im Saal, bei der Tagesschau, kann man auf unerwartete Reaktionen bei Menschen treffen, die z.B. Nazi-Skinheads auf dem Bildschirm sehen.

In Altersheimen und in Abteilungen von Pflegeheimen gibt es einen guten Brauch, Lieder, Bilder, Filme usw. aus der Geschichte der Gegend oder des Landes innerhalb von Tagesaktivitäten und Unterhaltungsprogrammen anzubieten. Bei traumatisierten Senioren sollte man Acht geben, da es für sie diese „gute alte Zeit“ in ihrer Jugendzeit kaum gab. Oder wenn es sie gab, war ihnen diese alte Zeit nicht auf natürliche Weise, sondern aufgrund von Verfolgung und Entrechtung verloren gegangen.

In Pflegeheimen und in Altersheimen darf man nicht erwarten, dass jeder neue Mitarbeitende diese Tatsachen bis in Detail kennt. Aber die Leitung muss sie kennen und wissen, wie wichtig Nachschulung in diesem Bereich für die Mitarbeitenden ist, und sie muss bereit sein, das zu organisieren. In einer Gegend, wo man viele ältere Nazi-verfolgte oder auch andere Schwertraumatisierte erwarten

kann, sollte man diesen Umständen Rechnung tragen. Weiterbildung in den Folgen von schweren Traumata kann Ärzten und Pflegepersonal helfen, diejenigen Signale zu empfangen, die sonst überhaupt nicht gesehen oder falsch interpretiert werden.

Gesellschaftliche Anerkennung von ‚Care und Cure‘

Psychotrauma-Schaden der durch menschliche Gewalt verursacht ist und vom Staat organisiert (Verfolgung, Folter, Konzentrationslager), verbunden mit allen Verlusten, Angst und Trauer, braucht einen Kontext gesellschaftlicher Anerkennung. Er bedarf auch der Anerkennung aller weiteren positiven Maßnahmen, deren Ziel Hilfe und Erholung ist.

Eine fürsorgliche Gesellschaft stellt dazu einen finanziellen Rahmen bereit. Sie kümmert sich um ‚care und cure‘.

‚Cure‘ bedeutet ambulante oder klinische Behandlung durch Ärzte und Psychologen usw.. Care bedeutet die nicht-klinische psychosoziale Hilfe, die von Sozialarbeitern und teilweise auch von Freiwilligen in Instituten und auch draußen in der Gesellschaft organisiert wird in Selbsthilfegruppen, Vereinen, Cafés, Zeitschriften, auf Hilfe bei Gedenkveranstaltungen usw.. ‚Care‘ ist oft noch wichtiger als ‚cure‘. Die Erfahrung in Holland, - wo es mehrere Kategorien von Opfern der Nazis gab und dazu noch immigrierte Opfer des Krieges aus Indonesien, - ist, dass die komplementäre Existenz von ‚Care- und Cure‘-Einrichtungen in der Hilfeleistung ziemlich gut geregelt ist. Wenn wir nicht die ‚Care‘-Einrichtungen gehabt hätten, wären die ‚Cure‘-Einrichtungen überflutet gewesen mit Menschen, die eigentlich andere Lösungen für ihre Probleme brauchen als die das ‚Cure‘-System bieten kann. Und umgekehrt: ohne spezialisiertes ‚Cure‘-System hätten viele Patienten nicht die Fürsorge bekommen, die sie brauchten.

Die Bundesrepublik Deutschland, wo die Dimensionen natürlich anders sind als in Holland, könnte eine eigene Lösung finden für ‚Care- und Cure‘ Einrichtungen und die Zusammenarbeit mit ihnen.

Care

Die Arbeit mit Selbsthilfegruppen ist nicht automatisch nur positiv. Schicksalsgenossen empfinden die positiven aber auch die negativen Folgen ihrer gegenseitigen Identifikation. Es können dadurch auch Entgleisungen stattfinden in der Form unfruchtbarer Konflikte oder negativer Stellungnahmen in Bezug auf ‚die Gesellschaft‘ und auf die Hilfeleistung. Die Freiwilligen brauchen oft eine Art Ausbildung und Begleitung bei ihrer Arbeit. Wenn sie die

bekommen haben, sind sie manchmal besser im Zuhören als professionelle Hilfeleistende.

Sie müssen aber ihre Grenzen in der Arbeit gut beachten, weil sie sonst schnell überfordert werden und dann aussteigen. In dieser Hinsicht sind Kurse für Freiwillige zu empfehlen. In solchen Kursen kann man auch erfahrene Therapeuten aus dem ‚Cure‘-System einschalten.

Psychische Dolmetscher

Es wird zu selten gesehen, dass Hilfeleistende aus ‚Care- und Cure‘-Einrichtungen trainiert werden müssen, um als psychische Dolmetscher zu fungieren. Die Signale, die von den Klienten ausgestrahlt werden, sind oft undeutlich: Aufzufallen und Schwäche zu zeigen war während der Verfolgung gefährlich. Das wirkt noch immer fort, und deswegen ist das Verhalten von damals Traumatisierten manchmal für Außenstehende schwierig zu verstehen. Die traumatischen Reaktionen werden nicht erkannt. Wenn man einmal Erfahrungen gesammelt hat in der Deutung solcher Signale, dann wird die Notwendigkeit, dass man als Hilfeleistende auch eine Art Übersetzungsfunktion bekommt, verständlich: übersetzen von Aspekten der Problematik für Familienmitglieder, für Sozialhilfe-Instanzen und für andere. Diese Übersetzungsfunktion wird im Laufe der Jahre zunehmen, denn die Tendenz des Schweigens ist in der Gesellschaft noch immer da. Und die nächste Generation ist nicht automatisch besser. Schon jetzt sehen die Jugendlichen in Holland, auch in jüdischen Kreisen, die Ereignisse während der Zeit der Nazi-Besatzung 1940-45 als längst vergangen an. In Holland bedeutet das, dass leitende Personen in Krankenhäusern, Altersheimen und Pflegeheimen darauf achten müssen, dass die psychische und körperliche Versorgung und Behandlung für die traumatisierten Menschen von damals nicht gut möglich ist, ohne Formen von Fortbildung und Konsultation. Letztere werden meistens von den Experten aus dem ‚Care- und Cure‘-System gegeben. In Holland findet das alles statt mit Hilfe eines privaten Instituts, das vom Staat subventioniert wird. Der Name war ICODO, jetzt Cogis genannt. Anderenfalls droht die Gefahr einer langsamen professionellen Entfernung vom Thema, diese geht einher mit einer falschen Diagnostik und einer falschen Beurteilung von Verhaltensmustern.

Es wird auch zu wenig gesehen, dass gegenseitige Konsultation zwischen Mitarbeitenden im ‚Care- und Cure‘-System so befruchtend ist für die Arbeit. Ich habe selbst die Erfahrung von Konsultation für Teams von Sozialarbeitern im ‚Care‘-System gemacht. Ich habe viel von ihnen gelernt und sie von mir.

Gefahren für die Arbeit

Zum Abschluss stelle ich noch einige Überlegungen über Psychohygiene für Hilfeleistende an. Die Arbeit mit traumatisierten Menschen hat ein gewisses Risiko für die psychische Gesundheit der Hilfeleistenden und ihr Funktionieren im Team. Dieses Phänomen ist relativ spät erkannt worden und hat allerhand Namen bekommen, wie Burnout, Charity Fatigue, Vicarious Traumatization und Sekundärer Traumatischer Stress. Die Kunst, mit maximaler Empathie zu arbeiten und zugleich Distanz zu bewahren, ist wichtig.

Diese Phänomene bedrohen nicht nur die hilfeleistenden Personen, sondern auch die Qualität der Hilfeleistung und die Zusammenarbeit im Team. Es ist ein Phänomen, das besonders bei Menschen auftritt, die isoliert traumatisierten Menschen Hilfe leisten, und in Teams und Organisationen. Die Gefahr wird grösser, falls ein Team oder eine Organisation unter einem Mangel an Mitarbeitern leidet oder wenn die Leitung nicht angemessen reagieren kann. Jedenfalls darf man an dieser Gefahr nicht blind und harmlos vorbeigehen.

Жертвы нацистского и сталинского террора: аспекты проблемы и бережная забота в старости

Наша целевая группа и возраст

Какая, собственно, у нас целевая группа?

Большая часть людей в этой группе относится к людям пожилого возраста. Самому юному ребенку со времен национал-социализма сейчас 63 года. Если говорить о периоде сталинизма, то можно прибавить около десяти лет, что дает нам возраст 53 года. Сейчас я не буду говорить о нанесенном вреде детям, родившимся уже в послевоенное время, втором поколении; вред этот значителен, но потребует нашего пристального внимания уже в другом контексте. Целевая группа, которую мы наблюдаем сегодня, представляет собой группу, состоящую практически только из пожилых людей. Как вы знаете, среди пожилых людей часто выделяют категорию более молодых (55-75 лет) людей и другую, более старых (старше 75 лет). Для «наших» пожилых то, о чем я буду далее говорить, относится к людям примерно с 55 лет.

Что можно в общем сказать о том, что французы называют *le troisième âge*, третьим возрастом? Все эти люди находятся на ниспадающей линии жизни, и это означает, несмотря на жизнеспособность многих из них, что наступает ослабление. Все реже требуется подтверждение быть необходимым, полезным и продуктивным. Зачастую происходит ослабление эмоций от внешних удовольствий.

Рано или поздно приходится конфронтировать с физическим ослаблением и повышенной ранимостью. Интенсивность ослабевает и в структуре социальных отношений, поскольку друзья, родственники и другие поддерживающие персоны уходят, конечно все это достаточно относительно и имеет отношение к прошлому.

Постепенно люди начинают узнавать все больше о конфронтации с бренностью собственной жизни. Как правило, наступает следующее (Krystal: *Aging Survivor* 1989):

- Человек имеет больше прошлого и меньше будущего
- У человека появляется больше времени думать и меньше времени, чтобы что-нибудь делать
- Появляется больше ретроспекции и меньше планов на будущее

Такое – безусловно неполное – описание в той мере вводит в заблуждение, что фаза третьего возраста характеризуется в основном пассивным терпением. Как раз этот отрезок жизни содержит в себе важные вызовы. Генри Кристал называет в этом аспекте интеграцию существенно важным заданием.

Как это выглядит у «наших» пожилых людей? У наших «выживших»?

Там, где в прошлом произошло очень много событий и что в принципе находится вне «поддающегося обработке», предполагается, что интеграция и восприятие цельности и связанности подвержены угрозе; повышается ранимость. Яээль Даниели (*Achievement of Integration* 1988) по праву считает, что старение для переживших Шоа является травмирующим процессом и при этом имеет в виду не кризисное состояние, которое типично для этой фазы, а конфронтацию с экзистенциальной травмой, которой эта группа людей подвержена.

Дополнительная нагрузка и дополнительный риск в связи с экзистенциальной травматизацией могут стать понятны с помощью следующих аспектов:

- Ретроспекция, присущая этому пожилому возрасту, ведет ее к конфронтации с событиями, от воспоминаний о которых люди старались дистанцироваться, держать их как можно дальше от себя.
- Принятие собственного прошлого может означать, что человек примиряется с ним. Это, однако, скрывает ту опасность, что человек вновь становится беспомощным и униженным и агрессор как бы заново одерживает над ним победу.
- Иногда человек может принять свое прошлое, но с определенной задачей – оставаться свидетелем – задача, которая оправдывает выживание. Прошлое может присутствовать до тех пор, пока с ним борются и это документируется. Когда же это в силу каких-то причин больше не работает, наступает опасность нарушения компенсации.
- Многие рассматривают свою жизнь не как единое целое, континуум. Жизнь, если можно так сказать, расщеплена на отдельные периоды, во время преследования и после. Это миры,

которые необходимо хранить по отдельности, как будто они совсем никогда не соприкасались; происходит диссоциация травматических событий.

Сейчас, вероятно, станет ясно, что преследовавшиеся в целом с гораздо более высокой степенью ранимости вступают в пожилой возраст – жизненную фазу, в которой как раз интеграция и синтез являются такими важными заданиями. С другой стороны, следует отметить, что пережившие Шoa, достигшие пожилого возраста без серьезного физического нарушения компенсации, также показывают, что они – сильные личности, они выносливы и в состоянии самостоятельно решать свои проблемы. Как раз благодаря достаточно стабильным защитным способностям они смогли себя стабилизировать. Они не только уязвимы, у них есть и сильные стороны.

Несколько слов о значении процесса старения для людей, преследовавшихся в прошлом.

Какие же последствия имеет процесс старения? Многие авторы полагают, что ослабление физической и ментальной энергии с возрастом является причиной нарушения компенсации физического равновесия. Это ослабление, наряду со стрессовыми событиями в жизни, как, например, выходом на пенсию, взрослением и независимостью собственных детей, болезнью или чем-либо иным приводит к физическим и соматическим жалобам, накладывающимся на переработанные травматические события времен нацизма.

Сегодня, правда, существует много литературы, в которой не принимается утверждение, что «копирующие механизмы» и регуляция аффекта пожилых людей становятся ограниченными в результате нейрофизиологической дегенерации (при деменции и болезни Альцгеймера это выглядит, разумеется, по-другому). Кратковременная память ослабевает, но это нельзя сказать о механизмах копирования. Позднее начало – после латентного периода – посттравматических стрессовых расстройств после выхода на пенсию и других обычных жизненных событий должно, очевидно, иметь другую причину.

Часто диагностируемое нарушение компенсации физического равновесия у тяжело травмированных людей, переживших Шoa, наступающее после длительной латентной фазы, не является причиной, речь идет о новой инсценировке

какого-либо старого конфликта (Aarts et al. Late Onset 1997). Старая травма вновь актуализируется, другими словами: оживает. Речь здесь также идет о значении старения и социальных изменениях, которые приносит с собой старость. При этом потери прошлого вновь выходят на первый план: потеря родственников и друзей, имущества, статуса, перспектив на будущее и многого другого. Скорбь и особенно гнев в связи с этими потерями в глазах помощников невероятно сильны. Следует также отдавать себе отчет, что травма разлуки во многих случаях является неизлечимой.

Люди, пережившие Холокост, часто теряли не только любимых людей, но и все, что у них было до Холокоста – целый мир. Интенсивность этих потерь была бы совершенно невыносима, если бы не существовало другого чувства – «триумфа выживания», чувства быть победителем. Человек одновременно скорбит об этом времени и гордится тем, что ему удалось выжить. Чувство триумфа, с одной стороны и чувство потерь и вины – с другой находятся в состоянии баланса. В процессе старения под влиянием приближающейся смерти чувство триумфа исчезает и на первое место выходит чувство потерь и вины. На первый план выдвигается идентификация с мертвыми. Но эти мертвые – это не люди, которые просто мирно завершили свой жизненный цикл – этих людей убили. Это усиливает чувство гнева. Все это приводит к значительным страхам, депрессии и различным признакам заболеваний.

Лечение: особые аспекты оказания помощи

Симптоматологии всегда оказывается недостаточно для описания дискомфортных явлений и проблематики пожилых людей, переживших Шoa. Но в определенном плане она оказывается полезной для всех тех, кто работает в этой области как медики, психологи, социальные работники, специалисты по уходу и обслуживанию.

В работе с пожилыми людьми в целом есть определенные ловушки. Пожилые люди непроизвольно стигматизируются как старые и хрупкие – все с позиции собственного чувства силы: тот, кто оказывает помощь силен, а пожилой получатель этой помощи слаб. Тот, кто готов к саморефлексии, распознает, как часто в отношении престарелых пациентов он непроизвольно ведет себя инфантильнее, толерантнее, с большей готовностью к поддержке, чем это в принципе требуется.

При этом забывается, что принцип «Почитай возраст» означает быть не только толерантным и оказывать поддержку, но также и проявлять уважение к самоопределению, самоуважению и самоутверждению.

Часто люди, которые оказывают помощь, довольствуются status quo и ограниченными возможностями к изменениям. Наоборот, молодые люди скорее более изобретательны и креативны при поиске альтернативы, если лечение не дает результатов. С пожилыми людьми быстрее соглашаются, угодничают, иногда и под маской осторожности работы с хрупкими клиентами. Естественно, эти аспекты следует принимать в расчет. Существуют определенные реальности. И тем не менее, опасность скрывается в автоматизме и самоочевидности, которые могут оказать влияние на позицию тех, кто оказывает помощь и привести к стигматизирующему эффекту у клиентов.

Для травмированных преследовавшихся людей еще важно то, что они являются людьми, для которых слабость, зависимость и беспомощность представляют значительную угрозу их существованию. Если оказаться перед кем-то, кого воспринимаешь как сильного, кто оснащен властью кем-либо распоряжаться, и если увидеть имярека в непочтительной ситуации, то это вновь порождает опасность уничтожения и обезчеловечивания. Часто с таким трудом завоеванная структура и баланс личности грозят распасться. Из-за этого когнитивного искажения любая так дружески и по-доброму предлагаемая помощь может восприниматься, как угроза. Это ведет к взаимному разочарованию и беспомощности. Существуют также другие аспекты, которые оказывают дополнительное давление на травмированных клиентов или которые получают особое значение в связи с прошлым. В основном существует немного родственников или людей, которые могут оказать поддержку. Если есть дети, то у них часто оказывается весьма двойственное отношение к своим родителям. Эту двойственность в течение многих лет было не заметно; в пожилом возрасте достаточно часто необходима декомпенсация. Обычные жизненные события могут, как уже ранее говорилось, означать сильный стресс. Например, когда дети начинают жить отдельно: всё, детей у нас забирают, разлука неизбежна. Переезд может означать: отправка транспортом, все имущество следует бросить. Даже в том случае, когда другие – из добрых побуждений – все делают за пожилых. Госпитализация, к примеру, может вызвать сильный страх, особенно если этот страх не будет распознан другими.

Потери

Переработка потерь требует особого внимания. Совершенно нормально, что человек с возрастом все чаще вынужден конфронтировать с потерей друзей, родственников, супругов и других людей. Мы, тем не менее, знаем, что каждая новая потеря активизирует старые. При этом часто речь идет о потерях, при которых работа скорби не могла состояться. То ли из-за того, что эти потери были слишком многочисленны, то ли аффект погас, либо заостренел в фиксации на безграничной ярости или ненависти. То, что не была проведена работа скорби, имеет последствия для переработки более поздних потерь: усиление страхов и депрессия, а также проявления частой ярости и беспомощности занимают, наряду с чувством долга и стыда, все больше места.

Толкование

Травму можно также рассматривать, как крушение основной безопасности, а выздоровление – как повторное обнаружение когнитивных рамок. У жертв нацистской диктатуры и сталинских преследований, в частности, речь часто идет о множественных длительных травматических событиях, которые могут привести к сложному травматическому расстройству (Герман, 1992). К этому можно также отнести причиняющие ущерб социальные обстоятельства и необеспеченность существования как в концлагерях нацистов, так и в лагерях ГУЛАГа, а может быть и позднее. Наивно будет ожидать, что современные методы лечения для травмы I типа будут достаточны, чтобы помочь пожилым травмированным иммигрантам. Эти методы годятся для этой целевой группы только в очень ограниченных рамках.

Терапия жертв Холокоста и сталинских преследований из России требует нечто большего, чем терапия травмы I типа. Следует также беспокоиться о депрессивных образах, психосоматических заболеваниях, хаотических кризисах в семье, проблемам приспособления и всем, что может стать следствием актуальной жизненной ситуации.

При терапии значительное место занимает толкование. «Поиск смысла», фундаментальный поиск смысла, является ведущей движущей силой жизни (Франкль, 1996). Люди ищут в первую очередь объяснение тому, что с ними произошло и почему. В основном речь идет о причинах и взаимосвязях (смысл как осознание). Параллельно этому, или во второй линии, следует толкование в свете сегодняшнего существования

(смысл как личное значение). Последнее означает место, которое занимает опыт личной или семейной жизни. Речь идет о значении изменений, которые привносит с собой этот опыт.

Существует много путей толкования. Толкование означает, что многие навязчивые картины, мысли и чувства, связанные с потрясающими событиями, связаны между собой и сохранены в долговременной памяти (откуда их легко вызвать).

Несколько замечаний относительно социального окружения травмированных пожилых людей

Ранее мы обсуждали аспекты, которые являются важными в терапевтических контактах с когда-то преследовавшимися пожилыми людьми. Терапия и дальнейшая помощь для этих людей должны находиться в контексте общественного признания и поддержки. В этом контексте важную роль играет также тот вопрос, насколько больницы, дома для инвалидов и престарелых могут предоставить этим людям соответствующий медицинский и социальный уход. На этот вопрос об особой социальной среде коротко ответить невозможно. В этой связи следует сделать несколько замечаний.

Поступление в больницу, дом инвалидов или престарелых может вызвать страх у людей, которые когда-либо преследовались. Во времена национал-социализма сила тела и духа означали, что у человека есть определенные силы, чтобы выжить. Похудение в связи с нехваткой еды и некоторые заболевания часто оказывались фатальными. Снижение телесной и физической силы напоминает об этой угрожающей уязвимости. В течение всей жизни человек судорожно пытался управлять своей независимостью: теперь же наступает длительный или напротив, вполне определенный период, когда человек начинает зависеть от решений и доброй воли других людей. Когнитивно человек уже знает, что «другие» - это в основном люди, желающие добра, но человек во время своей жизни научился, как, например, во время жизни в укрытии, что и благожелательно настроенные люди могут иметь какие-либо ограничения и разные настроения. Люди, страдающие деменцией, не в состоянии осуществлять когнитивную саморегуляцию и иногда даже в своих близких подозревают преследователей.

Потеря привычной жизненной обстановки, невозможность видеть в течение длительного времени родственников или детей или вообще никого, очень тяжела для каждого человека. Это

особенно тяжело для тех, кто в свое время не имел возможности провести нормальную работу скорби, а к их числу относится большая часть когда-либо преследовавшихся людей. Помещение в стационар в широком смысле может означать реактивацию страхов и горя. Поэтому очень важно, чтобы выжившие при помещении в стационар, особенно если это происходит на длительный срок, попадали в социальную среду, пригодную для их приема. Эта социальная среда также должна быть защищена. В ней должно быть достаточно соответствующих знаний и сочувствия к судьбам таких людей. Сотрудники, находящиеся у постели клиентов, должны знать, каких симптомов можно ожидать от клиентов с такой проблематикой. Вспышки прошлого не следует обязательно трактовать, как галлюцинации, страхи – как невротическое поведение, трудности в поведении не являются автоматически чем-то психопатическим, следует также различать явления диссоциации. Врачи и медицинский персонал должны научиться тому, чтобы симптомы такого рода и другие автоматически не зачислялись в категории, более привычные по работе в стационаре.

Это и другие события необходимо распознавать, как рщутимые реакции на текущие события, понятные с позиции травматического прошлого. Например, при просмотре телевизора в холле, во время передачи новостей можно ожидать неожиданных, но тем не менее явных реакций у людей, которые, например, увидят на экране телевизора нацистских скинхедов. В домах престарелых и отделениях домов для инвалидов есть хорошая традиция предлагать в течение дня или в рамках развлекательных программ песни, картинки, фильмы и т.п. из истории города или страны. При работе с травмированными людьми следует помнить, что эти «старые, добрые времена» в их юности практически отсутствовали. Если же они и присутствовали, то они были утеряны не естественным путем, а в результате преследований и бесправия.

Не стоит ожидать, что в домах для инвалидов и домах престарелых каждый новый сотрудник в деталях владеет всей этой информацией. Руководство, однако, должно знать, насколько важна подготовка и обучение сотрудников и должно быть готовым организовать это в своем учреждении. Повышение квалификации при работе с последствиями тяжелых травм может помочь врачам и персоналу, осуществляющему уход, распознать сигналы, которые в обычном случае можно или просмотреть совсем, либо неправильно их интерпретировать.

Общественное признание «заботы и лечения»

Повреждения от травмы, вызванной человеческим насилием и организованной государством (преследования, пытки, концлагерь), связанные со всеми потерями, страхом и горем, требуют определенного контекста общественного признания. Признания также для всех последующих позитивных мероприятий, которые направлены на оказание помощи и выздоровление. Заботливое общество создает для этого финансовые условия. Речь идет не только о личных, индивидуальных вещах, таких, как особая поддержка и социальная помощь, но и о возможности создания рамок, которые я называю «заботой» и «лечением». Лечение – это комплекс лечебных мероприятий, проводимых врачами, психологами и т.д. амбулантно или в стационаре. Забота – это неклиническая психосоциальная помощь, организуемая социальными работниками и частично добровольными помощниками в учреждениях или вне и в самом обществе. Речь идет о группах самопомощи, об особых объединениях и кафе, специализированных журналах, помощи при проведении памятных мероприятий и т.д. «Забота» часто оказывается важнее «лечения». Опыт, полученный в Голландии – где было множество различных групп жертв нацизма и к тому же иммигрировавшие жертвы войны в страну, которая теперь называется Индонезия – дополнительное существование учреждений заботы и лечения – все это функционирует достаточно надежно. Если бы у нас не было кафе, то лечебные учреждения были бы переполнены людьми, которым, в принципе, нужны другие решения их проблем, чем те, которые предлагает система лечения. И наоборот – без специализированной системы лечения многие пациенты не получили бы того ухода, который им требуется. ФРГ, в которой масштабы, несомненно, иные, чем в Голландии, смогла найти решения для заведений заботы и лечения и их взаимодействия. Это также требует признания и готовности искать решения.

Забота

Работа с группами самопомощи не является автоматически только позитивной. Товарищи по судьбе принимают не только позитивные, но и негативные последствия их взаимной идентификации. В связи с этим могут возникать «сходы с рельсов» в виде непродуктивных конфликтов или негативного мнения относительно «общества» и его помощи. Волонтерам требуется своего рода обучение и сопровождение

во время их работы. Если они получают это, то они оказываются иногда более чуткими к просьбам клиентов, чем профессиональные помощники. Они, однако, внимательно должны следить за пределами возможностей своей работы, в противном случае они оказываются перегруженными и бросают эту работу. В этой связи целесообразным видится организация специальных курсов для волонтеров. На эти курсы могут привлекаться и опытные терапевты из системы лечения.

Перевод

Не часто обращается внимание на то, что помощники из заведений, где осуществляется лечение и уход, должны получать подготовку в их функции переводчиков. Сигналы, которые поступают от клиентов, часто оказываются неразборчивыми. Быть заметным в годы преследования было опасно и признаком слабости. Это можно наблюдать и сейчас и поэтому поведение людей, травмированных в те годы, посторонним людям понять крайне сложно. Травматические реакции остаются нераспознанными. Когда человек становится опытным в распознавании таких сигналов, выясняется, что оказывающий помощь принимает на себя своеобразную функцию переводчика: перевод аспектов проблематики для членов семьи, для социальных и прочих инстанций. Эта переводческая деятельность с годами будет только набирать силу, поскольку тенденция соблюдать молчание присутствует в обществе до сих пор. И новые поколения, приходящие на смену старым, не являются автоматически лучше. Уже сегодня молодежь в Голландии, даже в еврейских кругах, события фашистской оккупации 1940-1945 годов видит, как события времен Наполеона. В Голландии это означает, что руководящие работники в общих больницах, домах престарелых и домах для инвалидов должны понимать, что физический и соматический уход и обращение с людьми, имеющими давнюю травматизацию, невозможен без определенных форм переподготовки и консультаций. Инициатива должна в основном исходить от экспертов системы лечения и ухода. В Голландии это происходит с помощью самостоятельного института, финансируемого государством. Ранее он назывался ICODO, а сейчас носит имя Cogis.

Если всего этого не делать, существует опасность медленного удаления, сопровождаемого неправильной диагностикой, неправильной оценкой поведения, недостаточной компенсацией и другими неадекватными мероприятиями.

Слишком мало обращается внимания на то, что взаимные консультации между сотрудниками системы лечения и заботы являются для работы весьма плодотворными. У меня самого есть опыт консультирования команды социальных работников в системе лечения. Я многому научился у них, а они – у меня. Мне не пришлось много консультировать клиентов, поскольку социальные работники, на мой взгляд, сами могли дать точные и правильные советы.

Опасности во время работы

В заключение я бы хотел сказать несколько слов о психогигиене тех, кто оказывает помощь. Работа с травмированными людьми несет определенный риск для психического здоровья работников и функционеров команды. Этот феномен был раскрыт относительно недавно и получал самые различные названия: синдром эмоционального выгорания, усталость от благотворительности, чужая травматизация и вторичный травматический стресс. Эта болезнь имеет дело с эмпатией и дистанцией людей, оказывающих помощь. Очень важно умение работать с максимальной эмпатией и одновременно сохранять с клиентом дистанцию.

Этот феномен представляет собой опасность не только для тех, кто оказывает помощь, но и для качества оказываемой помощи и совместной работы в группах по нашей специальности. Это феномен, который особенно затрагивает людей, которые в одиночку оказывают помощь травмированным, а также работают в командах и учреждениях. Опасность становится больше, если в команде или учреждении существует нехватка сотрудников или отсутствие надлежащего руководства.

Сегодня, пожалуй, не следует подробным образом рассматривать мероприятия, которые проводятся при таких обстоятельствах профилактически или терапевтически. По крайней мере, нельзя просто пройти мимо этой угрозы с закрытыми глазами.

Die Bedeutung der Migration in jüdischen Lebensentwürfen

1. Migration als Lebensentwurf

Lebensentwürfe beinhalten Vorstellungen, wie das Leben verlaufen soll; sie künden von den Hoffnungen und Ängsten, die die Menschen bewegen. Lebensentwürfe orientieren sich an den zentralen Wertvorstellungen einer Gesellschaft und beziehen ihre Kraft aus dem Glauben an Ideale. Schon ein erstes oberflächliches Nachdenken zeigt, dass die Thematik der Migration im Geschichtsbild der Juden eine wichtige Rolle spielt. Migration setzt Sesshaftigkeit voraus: Nur wer sesshaft ist, das heißt, eine Heimat hatte und diese verlassen musste, ist ein Migrant. Die zentrale Geschichte, die sich mit diesem Thema beschäftigt, erzählt bekanntlich von der Einwanderung in Ägypten, der Fronarbeit dort und der von Gott selber befohlenen Auswanderung. Zentrale Inhalte des jüdischen Glaubens werden auf diese Wanderbewegung bezogen: Die Übergabe der Gesetzestafeln an Moses, die vierzigjährige Wanderung durch die Wüste und schließlich die Eroberung des gelobten Landes. Ein kurzes Zitat von Joseph Roths Aufsatz „Juden auf Wanderschaft“¹ beleuchtet den Zusammenhang mit jüdischen Lebensentwürfen. Von einer Begegnung mit einer jüdischen Theatergruppe schreibt er: „Es ist immer noch der Auszug aus Ägypten, der schon Jahrtausende anhält. Man muss immer auf dem Sprung sein, alles mit sich führen, das Brot und eine Zwiebel in der Tasche, in der anderen die Gebetsriemen. Wer weiß, ob man schon in der nächsten Stunde nicht schon wandern muss“. Das Leben muss also so organisiert, so entworfen werden, dass man jederzeit in die Emigration, ins Exil aufbrechen könnte. Der jüdische Lebensentwurf ist sehr stark auf Migration bezogen. Der 1135 in Cordoba geborene jüdische Philosoph Maimonidas stellt fest², dass derjenige, der wegen seines Glaubens verfolgt und erschlagen werde, Gottes Namen heilige. Wen man aber dazu zwingt, Gottes Namen zu entweihen, der lade keine schwere Sünde auf sich, denn Gott spreche den unter Zwang Handelnden frei. Und Maimonidas fährt fort: „Mein Rat aber und die Meinung, die ich für mich, für meine Freunde und für jeden vertrete, der mich um Rat befragt, geht dahin, dass man jene Gegenden (wo man nicht, oder nur schwer nach dem Gesetz leben könne, M. E.) verlasse und dahin ziehe, wo man ohne Glaubenszwang das Gesetz erfüllen und die Gebote der Tora einhalten könne. Man soll ohne Furcht sein Haus, seine Kinder und seinen Besitz verlassen, denn das Glaubensgesetz, das Gott uns zu eigen gab, ist groß und seine Verpflichtung geht allen Zufällen vor ...“. Maimonides rät, sich dort niederzulassen, wo die besten Bedingungen für

die Erfüllung des Gesetzes gegeben seien. „Auch wenn die Gottesleugner keinen nötigen, ihren Taten nachzutun, soll man aus ihrer Mitte auswandern. Doch wenn sie einen Menschen nötigen, eines der Gebote zu übertreten, dann ist es verboten, an diesem Orte zu verbleiben, sondern man muss ausziehen, all das Seine verlassen, bei Tag und bei Nacht wandern, bis man einen Ort gefunden hat, wo man sein Gesetz erfüllen kann – die Welt ist groß und weit.“ Es ist also nicht wichtig, wo man lebt, es kommt nur darauf an, wie man lebt, nämlich nach dem Gesetz. D.h. die Ausrichtung des Lebens auf die Erfüllung des Gesetzes bringt den jüdischen Lebensentwurf in Einklang mit der Möglichkeit der Migration. Von daher ist es kein Zufall, dass zwei weitere Säulen des Judentums, der Talmud ebenso wie das Prophetentum, aufs Engste mit der Erfahrung des Exils verbunden sind.

Es ist der jüdische Glaube, der das Individuum befähigt, die Migration, also eine Bewegung, zu einer Grundlage des jüdischen Lebens zu machen. Dabei entsteht ein sehr spezifisches Verhältnis zu dem, was Kultur ist. Der französisch-jüdische Philosoph Emmanuel Lévinas³ umschreibt dieses Verhältnis in der Gegenüberstellung von Kultur als Verwurzelung und Kultur als Überlieferung. Verwurzelung entsteht durch materiellen Besitz, der das Individuum in seiner Gesellschaft verankert. Überlieferung hingegen ermöglicht Bewegung. Überlieferungen kann man zwischen zwei Buchdeckeln versorgen und auf die Reise mitnehmen. Überlieferung und allgemeiner: Wissen ermöglichen - im Gegensatz zu Landbesitz - dem Individuum mobil zu bleiben. Die Bereitschaft zur Mobilität, zur Migration, wird, – wenn Gefahr im Anzug ist –, zu einem wichtigen Mittel des Überlebens.

2. Glaubensinhalte verwandeln sich in Lebensentwürfe, die in den Dienst des Überlebens gestellt werden können

Der Historiker Jacob Katz⁴ verweist darauf, dass ein besonderes Kennzeichen der Lage der Juden in Europa darin bestand, „dass Juden nicht einmal das Recht besaßen, an dem Ort zu leben, an dem sie geboren waren, es sei denn, es wurde ihnen durch einen besonderen gerichtlich-legislativen Akt gewährt. (...) Die Lehren der Kirchen, zu denen komplizierte politische und rechtliche Faktoren hinzu traten, führten schließlich zu einer Situation, in der sich die Stellung der Juden allmählich von der eines Bürgers zu der eines Fremden wandelte, dessen Wohnrecht von

¹ Roth, J. (o. J.) Juden auf Wanderschaft. In: Roth, J. Werke in drei Bänden. Klepenheuer & Witsch, Köln, Berlin 1956 S. 625–689. Zitat S. 668.

² Maimonides, M. Ein Querschnitt durch das Werk des Rabbi Mosche ben Maimon. Auswahl und Übertragung von Glatzer, N. N. Hegner. Köln 1966. S. 162ff.

³ Lévinas, E. (1963) Schwierige Freiheit. Versuch über das Judentum. Jüdischer Verlag, Frankfurt a. M. 1992.

⁴ Katz, J. (1958) Tradition und Krise. Der Weg der jüdischen Gesellschaft in die Moderne. Verlag C. H. Beck, München 2002.

einem besonderen, vom Herrscher gewähren Privileg abhing⁵. Die Juden waren Diener jener Machthaber, die das Wohnrecht gewähren konnten. „Auch die Juden selbst stellten diese Prämisse nicht in Frage. (...) Das Judentum lehrte auch das einzige Recht der Juden in der Diaspora sei das vom Wohlwollen der Herrscher erkaufte und gewährte. Selbst wenn keine erkennbare Gefahr bestand, der Herrscher könne seine Gunst entziehen und das Niederlassungsrecht aufheben, warteten die Juden (...) immer darauf, dass Gott in seiner Gnade den Messias sandte, um sie zu erlösen und in ihre Heimat zurückzubringen. Diese Hoffnung auf zukünftige Erlösung verstärkte das Selbstbild der Juden als ‚zeitweilige Einwohner‘, und als solche erschienen sie auch den Nichtjuden. Die Christen nutzten ihrerseits die spirituelle Bindung der Juden an das Land ihres historischen Ursprunges als zusätzliche Rechtfertigung dafür, dass sie die Juden nicht als Teil der einheimischen Bevölkerung betrachteten“⁵.

Führen wir diese Überlegungen des Historikers weiter aus: Weil das Judentum „im Schatten der Vertreibung“ lebte, musste es eine Lebensform entwickeln, die eine besondere Mobilität erforderte. Um diese zu gewährleisten, war es notwendig, sich immer wieder Situationen in Erinnerung zu rufen, in denen Migration die rettende Lösung geboten hatte. Entscheidend war dabei aber eine weitere Prämisse: die Juden lebten in „bodenständigen“, also nicht in nomadischen Kulturen, das heißt, sie mussten nicht nur mobil sein, um sich aus immer wieder auflodernden gefährlichen Situationen zu retten, sondern sie mussten auch kulturelle Elemente schaffen, die sie im Verhältnis zu den „verwurzelten“ Gesellschaften konkurrenz- und damit auch überlebensfähig machten. So kommt es zur Konzentration auf Handel, Medizin, Wissenschaft (wie in Spanien), also auf Tätigkeiten, die den Geist und seine Beweglichkeit besonders herausforderten. Sesshaftigkeit galt nicht nur als unerreichbares, sondern als ein gefährliches Ziel. Gefährlich deshalb, weil die Sesshaftigkeit die Lebensform der Gruppe der dominanten Umwelt anpasst und so auch erstarren lässt. Einen Ausweg bietet, das Verhältnis zwischen Sesshaftigkeit und Migration neu zu definieren, nämlich als Exil. Im Unterschied zu den Völkerwanderungen, in denen es darum ging, ein Gebiet zu erobern und zu unterwerfen, definierten die Juden ihre Wanderungen als Exil, das heißt als eine Bewegung, die sie einst, vielleicht sogar erst am Ende aller Zeiten wieder in die Heimat zurückführen würde: Erst wenn der Messias kommt, werden die Juden ein Zuhause finden.

3. Geschichte als Geschichte von Katastrophen

Die Idee des Exils hat viele Variationen, und die biblische Geschichte des Menschen fängt schon damit an: die Vertreibung aus dem Paradies wird interpretiert als selbstverschuldeter Verlust von Heimat und als Aussetzung des Menschen in eine Geschichte der Gewalt, die mit Kain und Abel ihren Anfang nimmt. Hierher gehört noch ein weiterer wesentlicher Baustein der jüdischen Geschichtsauffassung: Geschichte als Geschichte von Katastrophen, die erinnert werden sollen. „Deshalb ist für Israels Glauben, ja für seine Existenz überhaupt, die Erinnerung von entscheidender Bedeutung“, schreibt Yosef Yerushalmi in seinem Buch „Zachor: Erinnere Dich! Jüdische Geschichte und jüdisches Gedächtnis“⁶. Und zu Recht hat man darauf hingewiesen, dass auch die Psychoanalyse sich dieser Anstrengung des Erinnerns verdankt, und insofern ein jüdisches Denkmodell der Problematik unserer Gegenwart anpasst. Entscheidend ist, dass ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen Katastrophe, Trauma und Erinnerung.

Die erste Katastrophe ist die Missachtung des göttlichen Verbotes vom Baum der Erkenntnis zu essen, daraus folgt die Vertreibung, die als traumatisches Geschehen zu verstehen ist: der Engel mit dem flammenden Schwert, der die Rückkehr zur paradiesischen Heimat für immer verhindert. Die Strafe: die Schmerzen der Frau bei der Geburt und die Mühsal der Arbeit – im Körper eingeschriebene Erinnerung an die erste Verfehlung. Von vielen anderen, ebenfalls selbstverschuldeten Katastrophen ist die Rede. Was aber haben sie mit Migration zu tun? Verkürzen und verdichten wir den Zusammenhang folgendermaßen: Hinter jeder Migration steht eine Katastrophe. Und wenn die Katastrophe nicht erwartet wurde, erfolgt auch eine Traumatisierung: das Individuum wird von den Reizen, die auf es einwirken, überrollt, es kann sie nicht verarbeiten und bricht zusammen.

Eine Religion, die immer wieder an die überstandenen Katastrophen erinnert, versucht das Individuum auf die kommenden Katastrophen so vorzubereiten, dass es nicht gelähmt und handlungsunfähig ist, sondern sich retten kann. Yerushalmi zitiert aus dem Talmud den Spruch, der sich auf Pessach bezieht: „In jeder einzelnen Generation ist ein Mensch verpflichtet, sich selbst so zu betrachten, als ob er aus Ägypten gezogen sei“⁷. Auch Joseph Roths Zitat am Anfang meines Vortrages erinnern an diese Talmudstelle. Indem der heutige Jude sich mit den Juden, die einst aus Ägypten auszogen, identifiziert, soll er befähigt werden, jederzeit emigrieren zu können.

Der Bezug auf die Bibel verweist auf einen wichtigen Aspekt dieses jüdischen Migrationskonzepts. Migration ist nicht als individueller Akt gedacht. Es ist ja das ganze Volk, das Ägypten verlassen musste, das heißt: Migration

⁵ Op. cit.: 27

⁶ Yerushalmi, Y. H. (1982) Zachor: Erinnere Dich! Jüdische Geschichte und jüdisches Gedächtnis. Verlag Klaus Wagenbach. Berlin 1988. S. 22.

⁷ Op. cit.: 57.

ist als Gruppenprozess konzipiert. Als Gruppe hat man die größeren Überlebenschancen, und zwar deshalb, weil man dann die Gruppenstruktur, die Kehila, die Gemeinde retten und für das Weiterleben einsetzen kann. „Die jüdische Gemeinde, das heißt die Vereinigung aller am selben Orte wohnenden Juden, war überall in der Diaspora die Trägerin des jüdischen Kultus. Die Gemeinde war dem Juden sein Vaterland und seine Zuflucht inmitten einer feindlichen Umwelt. Ohne den Rückhalt einer festen Gemeindeorganisation hätten die Juden die Jahrhunderte der Verfolgungen nicht überstehen können“, schreibt 1931 der Soziologe Arthur Ruppin⁸.

Die Juden hatten eine eigene soziale Grundstruktur entworfen, um von der jeweiligen staatlichen Struktur unabhängig zu sein. Die Krankenpflege ebenso wie das Rechtswesen mussten organisiert werden und für Ehe- oder Geldschwierigkeiten mussten Lösungen angeboten werden. Aber auch für die Beziehungen nach „außen“, die sprachliche, juristische und politische Konsequenzen nach sich zogen, mussten Verfahrensweisen gefunden und durchgesetzt werden. Diese Organisation des Gemeindelebens erwies sich als so effizient, dass sie sich bis in die Gegenwart erhalten konnte. Was die Kehila zusammenhielt, war aber nicht nur ihre Funktionalität, sondern auch das rituelle Leben der Gemeindemitglieder. Die Rituale banden das Individuum ein, schufen einen engen Bezug zur Gemeinschaft und schränkten das Individuelle ein. Die Rituale einhalten, bedeutet immer auch den Vorrang der Gemeinschaft anzuerkennen. Die Gemeinschaft ist das Primäre, das Individuum (und seine Wünsche) das Sekundäre. Die Kehilla federte einerseits die Keulenschläge der Geschichte ab und machte sie andererseits bewusstseins- und erinnerungsfähig für das Individuum.

4. Migration und das Fremde

Migration führt immer in die Fremde. Man kann dann die Auseinandersetzung mit ihr möglichst vermeiden oder sie vorantreiben. Je nachdem, welche Strategie man verfolgt, ergeben sich mindestens zwei völlig verschiedene Formen von Lebensentwürfen. Je abgeschlossener eine Gruppe ist, desto wichtiger wird die Rolle der Rituale, denn es sind die Rituale, die die Grenzen gegen außen ziehen. Die Rituale sind die wichtigste Form, um die Gemeinschaft als geschlossene aufrecht zu erhalten. Das hat ziemliche Konsequenzen für die Lebensentwürfe: der rituelle Lebensentwurf stellt die Verbindung des Individuums zur Gemeinschaft in das Zentrum. Was fremd ist, gilt als unrein und davor muss man sich schützen. Bemerkenswerterweise gilt das nicht nur für die Abgrenzung von der nicht-jüdischen Umwelt, sondern auch für die Abgrenzung von anderen jüdischen Gruppierungen. Ein anonym deutscher Aschkenase beschrieb 1838 die in Hamburg lebenden Sepharden

und hob hervor, wie sehr sich diese Abkömmlinge der aus Spanien vertriebenen Juden von den deutschen Juden abgrenzten. Ehen zwischen Sepharden und Aschkenasen galten als verpönt, solche Ehemänner – also gab es diese Ehen doch! – wurden als unverheiratet betrachtet. Der Autor erklärte diesen Umstand damit, „dass so viele Familien von Rang Reichtum und Weltbildung, angetan mit aller castillischen Grandezza und mit der nie ersterbenden Hoffnung einer baldigen Rückkehr (!) in das unvergessene Vaterland, plötzlich unter Glaubensbrüder versetzt wurden, die sie noch weit tiefer unter sich stehend fanden, als wir etwa die Juden in Podolien in einem ähnlichen Fall finden würden“⁹. Die Kränkung, die mit jeder Migration verbunden ist, scheint nur dann wieder gut gemacht werden zu können, wenn man eine verwandte Gruppe entwertet. Die Sepharden in Hamburg konnten ihr Selbstbewusstsein nur aufrechterhalten, indem sie die deutschen Juden total entwerteten und sich von ihnen abgrenzten.

Wo hingegen die Auseinandersetzung mit der fremden Umwelt direkt aufgenommen wird, da werden die Strukturen der Gemeinde aufgebrochen und aufgeweicht. Auch dafür bietet die Geschichte der Juden im maurischen Spanien eindruckliche Beispiele. Bekanntlich kam es dort zwischen Islam, Christentum und Judentum zur intensiven Wechselwirkung. In der Durchdringung der hebräischen und der arabischen Sprachkultur entstanden die Meisterwerke der Dichtung und Philosophie, die auch die spätere europäische Kultur zutiefst beeinflussten. Ibn Gabirol (1020-1057) verknüpfte platonische Gedanken mit sprachlichen Inhalten der hebräischen Bibel und der sprachlichen Form des arabischen Korans zu einer neuen Synthese¹⁰. Ich habe bereits Maimonides (1135-1204) zitiert, der ebenfalls griechische Philosophie mit jüdischem Denken zu verbinden versuchte. Maimonides löste damals im 12. Jahrhundert einen ähnlichen Streit aus wie im 19. Jahrhundert in Deutschland zwischen Aufklärern und Traditionalisten. Die Verunsicherungen, die die neue rationale Interpretation biblischer Geschichten 1233, also dreißig Jahre nach Maimonides Tod auslöste, führte dazu, dass Rabbi Salomo ben Abraham aus Montpellier tatsächlich glaubte, nur mit Hilfe der katholischen Kirche die Rechtgläubigkeit im Judentum durchsetzen zu können: er forderte die kirchlichen Autoritäten auf, die Bücher von Maimonides als ketzerisch zu verbrennen. Aber dessen rationale Systematisierung des talmudischen Gedankengutes setzte sich durch, und Maimonides gilt auch heute noch als einer der größten Lehrer des jüdischen Volkes¹¹. Die Auseinandersetzung mit dem Fremden ist eine Herausforderung. Sie kann die Gemeinde sprengen. Als sich mit der Französischen Revolution die Gleichberechtigung der Juden allmählich durchsetzte, kamen mächtige Assimilationsprozesse in Gang. Während es lange Zeit so war, dass jemand entweder orthodox blieb oder durch religiöse Konversion den Glauben wechselte, vergrößerte sich im

⁸ Ruppin, A. (1931) *Soziologie der Juden*. Jüdischer Verlag, Berlin. S. II., 193.

⁹ Vgl. Anm. 10. Zitat S. 11.

¹⁰ Vgl. Bossong, G. (2008) *Die Sepharden. Geschichte und Kultur der spanischen Juden*. C. H. Beck, München.

¹¹ Op. cit.: 37.

Verlauf des 19. Jahrhunderts die Gruppe derjenigen, die als Juden nicht mehr die orthodoxen Traditionen einhielten, aber sich weiterhin als Juden verstanden. Man bemühte sich um neue Definitionen des Judentums und des Verhältnisses zwischen Glauben und religiöser Praxis.

Das Neue bestand im Prozess der Säkularisierung, der die nicht-jüdische Gesellschaft zunehmend erfasste. Damit erreichte die Auseinandersetzung mit der nichtreligiösen Fremde eine neue Stufe, und auch die Juden wurden davon betroffen, dass ihre Bereitschaft abnahm, ein religiöses Leben führen zu wollen, dass zunehmend Mischehen eingegangen wurden, und dass jüdisches Gemeindeleben immer weiter schrumpfte. Mit dieser Emanzipation von der Kehila entwickelte sich aber ein besonderes Interesse der Juden an Wissenschaft, Philosophie und Kunst. Sie wurde Experten für das Fremde: Heine, Marx und Freud sind wichtige Exponenten dieser Entwicklung, aber nur Freud legte besonderen Wert auf sein Judentum, und zwar als Voraussetzung seiner Entdeckungen: es sei die Exzentrizität seiner kulturellen Position, die ihm ermöglicht habe, das Unbewusste zu erforschen.

Wer die Bedeutung der Migration für jüdische Lebensentwürfe studieren will, kommt nicht umhin, das größte und für unsere Fragestellung schier unausschöpfbare historische Experiment zu berücksichtigen: Die Auswanderung nach Amerika¹². Sie beginnt schon im 16. Jahrhundert, als vorwiegend spanische und portugiesische Juden auf der Flucht vor der kolonialen Inquisition in New York Zuflucht suchen und auch finden. Aber es handelte sich um eine sehr kleine Gemeinde. Erst im 19. Jahrhundert kam es zu den großen Auswanderungswellen.

Um 1820 gab es in den USA ca. 2000 Juden, die vorwiegend aus Portugal, Holland und England stammten. Sie betrieben kleinere Geschäfte, waren aber auch im Bankwesen tätig. Ab 1830 wanderten vermehrt deutsche Juden ein. Viele kamen aus Bayern und Franken¹³. Im Zeitraum von 1820 bis 1860 stieg die Anzahl der Juden auf 150 000. Der Wandel der Lebensentwürfe wird deutlich, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass 1850 200 orthodoxe jüdische Gemeinden 8 Reformgemeinden, 1880 jedoch 200 Reformgemeinden nun nur noch 8 orthodoxen Gemeinden gegenüberstanden. Was das bedeutet, wird deutlich, wenn ich kurz auf das Leben von Isaac Meyer Wise zu sprechen komme. Geboren wurde er in Böhmen um das Jahr 1820. Er studierte kurz an der Universität in Prag und dann wanderte er in die USA aus. Er machte sich daran, das Judentum zu reformieren. Sein Leitspruch war: die jüdische Religion inhaltlich so zu bestimmen, dass das Judentum in Amerika zu Hause sein konnte. Wise arbeitete an Ritualen, die ausschließlich für die Neue Welt gedacht waren. „Er und die anderen Einwanderer waren mit einer Religion voll des Kummers großgeworden als Jude in einer feindlichen Welt zu leben. Hier in Amerika, davon war Wise überzeugt, war die Zeit für ein Judentum ohne Tränen

gekommen“¹⁴. Wer das liest, denkt vielleicht an das goldene Zeitalter in Spanien, das solch ein schreckliches Ende nahm, aber Wise dachte offensichtlich nicht mehr an die Katastrophen: Er war ein Migrant, der überzeugt war, nun endlich angekommen zu sein. 1865 weihte er eine neue Synagoge ein, die tatsächlich im maurischen Stil erbaut worden war. Bewusst vermied Wise den Ausdruck „Synagoge“ und nannte das Gebäude „Tempel“, und zwar mit folgender Begründung: „denn der Gottesdienst solle dort ‚im Geiste der Freude und nicht der Trauer wie in der Synagoge abgehalten werden“¹⁵. Weitere Überlegungen von Wise waren: Die Juden seien in den USA gleichberechtigt und das sei ein Hinweis darauf, dass das Judentum sich auf dem Weg zur Gleichberechtigung in der ganzen Welt befinde. Also seien die Juden in den USA zu Hause und könnten deshalb kein Heimweh haben. Die Juden wollten deshalb auch nicht nach Palästina zurückkehren, sie glaubten deshalb auch nicht an das Kommen des Messias. Wise sagte: „Wir sind amerikanische Bürger israelitischer Religion“ (69). Die aus Deutschland stammenden Juden waren außerordentlich erfolgreich, schufen gut dotierte Wohlfahrts-einrichtungen, Schulen, Spitäler und Universitäten. Kein Wunder also, dass sie die Führung der amerikanischen Juden beanspruchten.

Solche säkularisierten Entwicklungen mussten denen unheimlich werden, die an den Traditionen festhielten. Abraham Rice kam 1840 nach Baltimore als Rabbiner. Er hatte seine Ausbildung als Rabbiner in Bratislava erhalten. 1849 schrieb er an einen Freund in Deutschland: „Ich verweile in höchster Dunkelheit ohne einen Lehrer oder Gefährten ... Das religiöse Leben in diesem Land befindet sich auf niedrigstem Niveau; die meisten Leuten essen verbotene Speisen und entweihen öffentlich den Sabbat ... Unter diesen Umständen ist mein Geist verwirrt, und ich frage mich, ob es einem Juden überhaupt erlaubt ist, in diesem Land zu leben“ (71). Die orthodoxe Kritik verschärfte sich, Rabbiner warnten davor, nach Amerika auszuwandern. Israel Meir Ha-Cohen erlässt eine Verfügung gegen Massenauswanderung: „Man muss von jedem Ort fortgehen, der von den Wegen des Herrn ablenkt, auch wenn man weiß, dass man dort großen wirtschaftlichen Erfolg haben wird“ (88). Die europäisch-jüdische Orthodoxie verurteilte die Auswanderung in die USA auch in der Zwischenkriegszeit. Elazar Shapira, Rebbe von Munkacs: „Es gebe drei Tore zur Hölle: ‚Die Ungläubigkeit mancher Elemente der europäischen Judentum, die absolute Unterwerfung unter das Geld in Amerika und der in Jerusalem um sich greifende weltliche Zionismus‘. Das Schlimmste von diesen dreien sei aber für einen religiösen Juden, in die Vereinigten Staaten zu gehen, denn von dort gebe es keine Umkehr“ (88). Von Chaim Halberstam, Rebbe von Súdpolen, wird die Auffassung überliefert, dass nun die Zeit des amerikanischen Exils gekommen sei, und das sei das letzte Exil vor der Ankunft des Messias.

¹² Hertzberg (1992) Shalom Amerika. Die Geschichte der Juden in der Neuen Welt. Jüdischer Verlag, Frankfurt a. M. 1996.

¹³ Zum Beispiel die Herren Lehmann, Goldmann und Sachs. Vgl. Süddeutsche Zeitung Nr. 220 vom 20./21. September 2008.

¹⁴ Hertzberg, op. cit.: 68.

¹⁵ Op. cit.: 69.

Moshe Weinberger schreibt über New York 1887 (90): Amerika sei das Land der verlorenen Seelen, der Untergang der jüdischen Kultur finde dort statt. All diese Warnungen nützten nichts und gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es zur großen Einwanderungswelle der Ostjuden. Insgesamt wanderten 50 Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 35 Millionen Europäer ein, zwei Millionen davon waren Juden. Die entscheidende Ursache für die Auswanderung war die Armut, es handelte sich also um das, was man heute „Wirtschaftsflüchtlinge“ nennt, um sie von den „echten“, den „wirklich“ Verfolgten zu unterscheiden. Aber manches spricht dafür, dass man sich eher mit Antisemitismus oder politischer Verfolgung arrangieren kann (wenigstens in nicht totalitären Gesellschaften), als mit Armut¹⁶. Hertzberg schreibt: „Die Juden aus Russland kamen ohne ein Pfennig in den Vereinigten Staaten an. Die meisten hatten keinerlei Ausbildung, auch nicht in Religion und Tradition. Aber in weniger als zwei Generationen schafften sie es, an die Spitze der amerikanischen Gesellschaft zu gelangen“ (82).

Die neu zugewanderten osteuropäischen Juden stellten die dort bereits lebenden deutschen Juden vor das Problem, wie man Fremde aufnehmen sollte. Dabei setzte sich eine alte Tendenz wieder durch: die fremden Juden wurden von den „sesshaften“ Juden als Gefahr betrachtet. Ein Phänomen, das immer wieder beobachtet werden kann¹⁷. Die eingesessenen Juden befürchteten, dass die Masse der Neu eingewanderten die jüdische Substanz sozusagen verdünnen und den amerikanischen Antisemitismus wieder beleben würden. Sie glaubten tatsächlich, dass es ihnen durch ihr vorbildliches Verhalten gelungen sei, die nicht-jüdische Bevölkerung mehr oder weniger zu überzeugen, Antisemitismus sei nichts als ein dummes Vorurteil. Die neu hinzugekommenen Ostjuden jedoch, die nichts vom „American way of life“ wussten, die würden die Beweise liefern, dass halt doch etwas dran sei am Antisemitismus. Worum es ging, war jedoch, dass ein zentrales Thema der ansässigen Juden die Anerkennung in Amerika war. Um anerkannt zu werden, mussten sie sich den Lebensvorstellungen der dominanten Klasse anpassen und sich mit ihnen identifizieren. Die Fremden störten diesen Prozess und erinnerten die Sesshaften daran, dass sie einst selber Fremde gewesen waren. Die deutschen Juden in Amerika hatten weniger Mühe mit der nicht-jüdischen Umwelt als die Ostjuden. Sie empfanden sich als besser, nicht so sehr als Juden als als Deutsche. Die russischen Juden hatten ein viel negativeres Verhältnis zur christlichen Umwelt, und dies übertrug sich auch auf Amerika (105). Wer die Romane von John Updike oder Philipp Roth liest, stößt auch heute noch auf diese Problematik.

Ich erwähne dieses amerikanische Beispiel, um die Schwierigkeit des Umgangs mit dem Fremden zu beleuchten. Die Angst der damaligen deutschen Juden in den USA, dass die Ostjuden die Entwicklung des Judentums in Amerika

bedrohen oder gar beenden würden, erwies sich als falsch. Im amerikanischen Experiment entstand eine Vielfalt neuer jüdischer Lebensentwürfe, die der Entwicklung des Judentums neue Räume erschlossen.

Damit Traditionen von Generation zu Generation weiter gegeben werden können, müssen sie auch veränderbar sein. Das klingt zwar logisch paradox, aber der Lebensprozess selber löst diesen Widerspruch auf, – die vieltausendjährige Geschichte des Judentums mit all ihren Katastrophen ist ein Beleg dafür.

Zusammenfassung

Welche Bedeutung hat die Migration in jüdischen Lebensentwürfen? Manchmal hatte sie eine große, manchmal eine geringe Bedeutung. Wir können aber sagen: Wenn die Migration eine geringe Bedeutung hatte, erwies sich das früher oder später als eine Illusion, die böse Auswirkungen hatte.

Die Integration der Migration in die jüdische Identität scheint mit einer wesentlichen Voraussetzung dafür zu sein, um sich mit dem Fremden und Neuen, das uns im Laufe des Lebens begegnet, auseinander setzen zu können. Bekanntlich gibt es dafür mindestens zwei Modelle:

- das Integrationsmodell: Die Fremden werden integriert, indem sie sich den bereits Sesshaften anpassen, und
- das Anerkennungsmodell: die Sesshaften anerkennen die Fremdheit der Fremden und beide akzeptieren den notwendigen Prozess des Wandels schon durch die Tatsache des Zusammenlebens. Um diese zweite Lösung zu realisieren, muss sich das Bewusstsein der Migration als Teil der Identität etablieren.

¹⁶ Obwohl es in Russland immer wieder zu Pogromen und Verfolgungen kam, stieg die Anzahl der Auswanderungen nur geringfügig an. Die Juden zogen es vor, in größere Städte, wenn möglich zu Verwandten zu ziehen. Aus Österreich-Ungarn, wo keine Pogrome stattfanden, wanderten mehr Leute gegen Westen aus als aus Russland.

¹⁷ Ich denke zum Beispiel auch an die Schweizer Juden, die vor und nach dem ersten Weltkrieg streng gegen die Einwanderung von Ostjuden waren und ihre Haltung auch während der Nazi-Zeit vertraten. Aber aus Wien oder Berlin wären ähnliche Abgrenzungsgeschichten zu erzählen.

Значение миграции в еврейских жизненных планах

Миграция как жизненный план

Жизненные планы содержат в себе представления, как должна протекать жизнь: они сообщают о надеждах и страхах, которые движут человеком. Жизненные планы ориентируются на представления об основных ценностях общества и черпают силу из веры в идеалы. Уже самые поверхностные размышления показывают, что тема миграции играет важную роль в еврейском понимании истории. Миграция предполагает оседлость: только тот, кто был оседлым, имел родину и покинул ее, считается мигрантом. Основная история, которая связана с этой темой, как известно, повествует о переселении в Египет, подневольный труд там и исход из Египта, предначертанный Богом. Центральное содержание еврейской веры покоится на этой истории: передача скрижалей Моисею, сорокалетнее странствование по пустыне и, наконец, завоевание обетованной земли. Короткая цитата из сочинений Джозефа Рота «Евреи в странствовании»¹ определяет связь с еврейскими жизненными планами. Перед встречей с одной еврейской театральной труппой он писал: «Постоянно, уже на протяжении тысяч лет, упоминается исход из Египта. Человек все время должен был быть наготове, чтобы быстро собрать все свои пожитки, положить луковицу и хлеб в суму, не забыв и тфиллин. Кто знает, может уже через час странствовать и не придется». Жизнь, таким образом, должна быть организована так, что в любой момент человек готов отправиться в эмиграцию, в изгнание.

Еврейские жизненные планы очень тесно связаны с миграцией. Вот еще одна цитата, на этот раз из Маймонида. Еврейский философ, родившийся в Кордобе в 1135 году,² утверждает, что тот, кого преследуют и бьют из-за его веры, прославляет имя Божье. Если же оскорблено будет имя Божье, то человек не берет на себя тяжелый грех, поскольку Бог оправдывает того, кто действует по принуждению. И он продолжает: «Мой совет однако, и мнение, которое имею я, мои друзья и любой человек, как я полагаю, заключаются в том, что человек должен покинуть любое место (где жить по закону человек совсем не может или может с большим трудом, М.Э.) и переселиться туда, где он может исполнять законы веры и заповеди Торы. Человек должен без всякого страха покинуть свой дом, своих детей и

свое имущество, поскольку закон веры, данный нам Богом, всемогущен и его выполнение имеет приоритет над всем остальным...». Маймонидес советовал переселяться туда, где имеются наиболее благоприятные условия для выполнения закона. «Даже когда неверующие никого не заставляют следовать их поступкам, следует покинуть эту группу людей. А если они принуждают человека нарушить одну из заповедей, то запрещается оставаться жить в этом месте; следует уйти, оставить все, странствовать день и ночь до тех пор, пока не будет найдено место, где можно соблюдать закон – мир велик и широк». Таким образом, неважно, где человек живет, а важно, как он живет, а именно – по закону. Поэтому ясно, что ориентирование жизни на исполнение закона созвучно возможности миграции. Поэтому нет никакой случайности в том, что два других столпа еврейской религии, Талмуд, также, как и пророчества, теснейшим образом связаны с опытом изгнания.

Именно еврейская вера позволяет индивиду определять миграцию, некое движение, в качестве основы еврейской жизни. При этом определяется очень специфическое отношение к тому, что является культурой. Французско-еврейский философ Эммануэль Левинас³ описывает это сопоставление с культурой, как укоренение, а культуру – как традицию. Укоренение происходит в связи с материальным обладанием, которое укрепляет индивида в его обществе. Традиция и в более широком смысле: знания позволяют – в отличие от владения землей – индивиду оставаться мобильным. Готовность к мобильности, к миграции становится – когда наступает опасность – важным средством выживания.

Содержание веры преобразуется в жизненные планы, которые могут служить для выживания

Историк Якоб Кац⁴ обращает внимание, что особая отличительная черта положения евреев в Европе означала, что «у евреев не было даже права жить в том месте, где они родились, за исключением случаев, когда это право предоставлялось им судебным-исполнительным актом. (...) Учение церкви, к которым относились сложные политические и правовые факторы, вело в итоге к такой ситуации, при

¹ Roth, J. (o. J.) Juden auf Wanderschaft. In: Roth, J. Werke in drei Bänden. Klempner & Witsch, Köln, Berlin 1956 S. 625–689. Zitat S. 668.

² Maimonides, M. Ein Querschnitt durch das Werk des Rabbi Mosche ben Maimon. Auswahl und Übertragung von Glatzer, N. N. Hegner. Köln 1966. S. 162ff.

³ Lévinas, E. (1963) Schwierige Freiheit. Versuch über das Judentum. Jüdischer Verlag, Frankfurt a. M. 1992.

⁴ Katz, J. (1958) Tradition und Krise. Der Weg der jüdischen Gesellschaft in die Moderne. Verlag C. H. Beck, München 2002.

которой положение евреев невольно превращалось из положения гражданина в положение инородца, чье право на проживание зависело от привелегии, которую мог даровать властитель». Евреи были слугами властелина, который мог дать им право на проживание... «И сам еврей не подвергают сомнению эти условия (...) Еврейская религия учила тому, что единственное право евреев в диаспоре зависело от благосклонности властелина, будь то купленной или дарованной. Даже тогда, когда явной угрозы не существовало, властитель мог отказаться от своей благосклонности и отобрать право на проживание. Евреи всегда ожидали (...) что Бог смилостивится и пошлет Мессию, чтобы освободить их и привести обратно на родину. Эта надежда на будущее освобождение еще больше усиливала представление евреев о себе, как «временных жителей» и именно такими их неевреи и представляли. Христиане, со своей стороны, использовали духовную близость евреев к земле их исторического происхождения в качестве дополнительного оправдания того, что они не хотели считать евреев частью местного населения».⁵

Если расширить представления историка, то получается, что поскольку еврейская вера жила «в тени изгнания», должна была появиться особая форма жизни, которая требовала особой мобильности. Для обеспечения этого было необходимо постоянно вызывать в памяти различные ситуации, в которых миграция была единственным вариантом для спасения. Решающим при этом было другое условие: евреи жили в «оседлых», а не в кочевых культурах; это означает, что они должны были быть не только мобильными, чтобы спастись в угрожающей ситуации, но и создавать культурные элементы, которые в сравнении с «пустившими корни» обществами были конкурентноспособны и могли выжить. Поэтому упор делался на торговлю, медицину, науку (как в Испании), то есть на род занятий, который особенно стимулировал силу духа и мобильность. Оседлость была не только недостижимой, но опасной целью. Опасной, поскольку оседлость приспособляет жизнь группы к доминантной окружающей среде и позволяет ей окрепнуть. Предлагает новый выход для того, чтобы определить соотношение между оседлостью и миграцией, а именно – эмиграцию. В отличие от переселений народов, когда речь шла о том, чтобы завоевать определенную местность и подчинить ее себе, евреи определяли свои странствия как изгнание, то есть как движение, при котором они когда-нибудь, может в самом конце времен, вернуться на свою родину: только, когда придет Мессия, евреи обретут свой дом.

История как история катастроф

Идея изгнания имеет много вариаций, и библейская история человеческого рода начинается именно с этого: изгнание из Рая интерпретируется, как потеря родины по собственной вине и как оставление людей в мире насилия, начавшегося с Каина и Абея. Сюда относится также и другой важнейший элемент еврейского понимания истории: истории как истории катастроф, о которых следует помнить. Йозеф Йерушалми в своей книге «Захор: Помни! Еврейская история и еврейская память»⁶ пишет: «Для Израиля и для его существования вера имеет решающее значение». И по праву указывается, что и психоанализ обязан этому напряжению памяти и в этом еврейский образ мышления подходит проблематике нашего времени. Решающим является тот факт, что между катастрофой, травмой и памятью устанавливается определенная связь.

Первая катастрофа – это несоблюдение божьего запрета есть с древа познания: после этого следует изгнание, которое следует понимать, как травматическое событие – ангел с огненным мечом, который навсегда запрещает возвращение на райскую родину. Наказание: страдания и боль женщины во время родов – запечатленное в ее теле напоминание о первом проступке. Речь идет и многих других катастрофах, которые возникали по собственной вине. Но что общего они имеют с миграцией? Попробуем сократить и сконцентрировать эту связь следующим образом: за каждой миграцией кроется катастрофа. И если эту катастрофу не ждали, то следует и травматизация: индивид не в состоянии справиться с тем, что на него обрушивается, он не может это переработать и надламывается.

Религия, которая постоянно напоминает о пережитых катастрофах, пытается подготовить индивида к грядущим катастрофам таким образом, чтобы он не оказывался парализованным и был в состоянии действовать, другими словами, мог спастись.

Йерушалми цитирует из Талмуда отрывок, который имеет отношение к Пасхе: «В каждом отдельном поколении человек обязан рассматривать себя так, будто он вышел из Египта».⁷ Цитата Йозефа Рота, приведенная выше, напоминает об этом месте в Талмуде – если сегодняшний еврей идентифицирует себя с выходцем из Египта, то он должен быть готов в любой момент эмигрировать.

Эта ссылка на Библию относится к очень важному аспекту еврейской концепции миграции. Миграция не рассматривается, как некий индивидуальный акт. Весь народ должен был покинуть Египет, что означает:

⁵ Op. cit.: 27

⁶ Yerushalmi, Y. H. (1982) *Zachor: Erinnere Dich! Jüdische Geschichte und jüdisches Gedächtnis*. Verlag Klaus Wagenbach. Berlin 1988. S. 22.

⁷ Op. cit.: 57.

миграция сконципирована как групповой процесс. В группе у человека было гораздо больше шансов выжить, и не в последнюю очередь потому, что человек спасает в этом случае групповую структуру, кехиллу, общину и может участвовать в дальнейшей жизни. «Еврейская община, то есть объединение всех евреев, живущих в одном месте, была носителем еврейского культа во всей диаспоре. Община была для евреев Родиной и убежищем в окружении враждебного мира. Без сохранения прочной организации общины евреи не смогли бы выстоять в периоды многовековых преследований» - писал в 1931 году социолог Артур Руппин.⁸

Евреи создали собственную социальную базовую структуру для того, чтобы быть независимыми от соответствующих государственных структур. Уход за больными, также, как и юридические службы должны были быть организованы, следовало предложить решения семейных и финансовых проблем. Также и в отношениях с «внешним миром» должны были быть найдены языковые, правовые и политические решения, необходимо было найти пути решения и способы их претворения в жизнь. Такая организация жизни общины доказала свою эффективность, именно поэтому она сохранилась и до нынешних дней. То, что сохраняло Кехиллу, было не только функциональностью, но и ритуальной жизнью членов общины. Ритуалы привязывали людей к общине, прокладывали для них тропинку к ней и определяли пределы индивидуальности. Соблюдение ритуалов означало также признание приоритетности общины. Община первична, индивид (и его желания) – вторичен. Кехилла, с одной стороны, смягчала оглушительные удары истории, а с другой – напоминала о них индивиду.

Миграция и чужбина

Миграция всегда ведет на чужбину. Человек может попытаться избежать этого конфликта или отсрочить его. В зависимости от того, какими именно стратегиями пользуется человек, определяются две совершенно различных формы жизненных планов. Чем больше сплочена группа, тем важнее становится роль ритуалов, поскольку это те ритуалы, которые служат своего рода границей от внешнего мира. Ритуалы являются важнейшей формой сохранения закрытого общества. Это имеет довольно значительные последствия для жизненных планов: ритуальный жизненный путь, в первую очередь, устанавливает связь индивидуума с обществом. Чужак определяется, как нечистый и от него следует

защищаться. Следует отметить, что это служит не только для обособления от нееврейского окружения, но и для размежевания с другими еврейскими группировками. Один анонимный немецкий ашкенази описывал в 1838 году сефардских евреев, проживавших в Гамбурге и отмечал, насколько сильно эти потомки изгнанных из Испании евреев старались обособиться от немецких евреев. Браки между сефардскими и ашкеназскими евреями были запрещены под угрозой наказания – мужья из таких браков – а они все-таки заключались! – считались неженатыми. Автор объясняет такое состояние тем, что «такое большое количество состоятельных и образованных семей, пораженных величавостью Кастильи и надеждой скорого возвращения (!) на Родину, оказалось среди братьев по вере, которые были необычайно сплоченными, какими бы мы, скажем, нашли, евреев в Подолии».⁹ Далее будут показаны аналогичные реакции и у американских евреев. Речь прежде всего идет о жизненных планах внутри таких закрытых групп. Заболевания, которые несет с собой любая миграция, могут быть излечимы лишь в том случае, если человек попадает в группу родственных с ними людей. Сефардские евреи в Гамбурге смогли сохранять свое самосознание только потому, что они полностью девальвировали немецких евреев и отгородились от них.

Там, где напротив, конфликт с чуждой окружающей средой становится осязаемым, структуры общины вскрываются и лишаются силы к сопротивлению. Еврейская история и на этот счет имеет убедительные примеры из мавританской Испании. Хорошо известно, что там между исламом, христианством и иудаизмом было очень сильное взаимодействие. При введении ивритской и арабской языковой культуры появились шедевры поэзии и философии, которые позднее в очень значительной степени оказали влияние на европейскую культуру. Ибн Габриоль (1020-1057) связал платонические взгляды с языковым содержанием еврейской Библии и речевую форму арабского Корана в новый синтез.¹⁰ Уже приводилась цитата из Маймонидеса (1135-1204), который тоже пытался соединить греческую философию с еврейским образом мышления. Маймонидес тогда, в XII веке породил те же споры, которые были в XIX веке в Германии между просветителями и традиционалистами. Смятение, которое было вызвано в 1233 году новой рациональной интерпретацией библейских историй, то есть спустя тридцать лет после смерти Маймонидеса, привело к тому, что Раввин Салома бен Абраам действительно поверил, что лишь с помощью католической церкви возможно добиться ортодоксии в еврейской вере и

⁸ Ruppin, A. (1931) *Soziologie der Juden*. Jüdischer Verlag, Berlin. S. II., 193.

⁹ Vgl. Anm. 10. Zitat S. 11.

¹⁰ Vgl. Bossong, G. (2008) *Die Sepharden. Geschichte und Kultur der spanischen Juden*. C. H. Beck, München.

потребовал от церковной верхушки сожжения всех книг Маймонидеса, как ереси. Но эта рациональная систематизация талмудического богатства идей пробила себе дорогу, и Маймонидес и сегодня считается одним из крупнейших учителей еврейского народа.¹¹

Противоборство с чужими всегда является определенным вызовом. Оно может взорвать общину. Когда с французской революцией повсюду было признано равноправие евреев, начались мощные процессы ассимиляции. В течение длительного времени было так, что человек или оставался ортодоксальным, либо после религиозного конвертирования менял веру. В ходе XIX столетия увеличилась группа тех, кто не считал себя приверженцами ортодоксальных еврейских традиций, но по-прежнему считал себя евреями. Проводились попытки новых определений еврейской веры и соотношения между верой и религиозной практикой.

Новизна заключалась в процессе секуляризации, который все чаще и чаще проводило нееврейское сообщество. При этом противоречия с нерелигиозными чужими достигли новой ступени. Евреи при этом тоже не остались в стороне, поскольку их готовность вести религиозную жизнь и активно участвовать в жизни общин сокращалась, во многом из-за большого количества смешанных браков. С такой эмансипацией Кехиллы развился особый интерес евреев к науке, философии и искусству. Они стали для чужих своего рода экспертами: Гейне, Маркс и Фрейд являются важнейшими составными частями этого развития, но только Фрейд особо ценил свою принадлежность к еврейству, причем он видел в этом основное условие его открытий: за исключением эксцентричности его культурной позиции, которая позволяла ему исследовать неизвестное.

Тот, кто хочет изучать значение миграции для еврейских жизненных планов, не сможет обойтись без обращения к самому значительному историческому эксперименту: эмиграции в Америку.¹² Она началась в XVI веке и это были преимущественно испанские и португальские евреи, которые бежали от колониальной инквизиции и искали убежище в Нью-Йорке. Они его там нашли. Но речь здесь идет об очень малочисленной общине. Значительные волны эмиграции начались только в XIX столетии. В 1820 году в США проживало около 2000 евреев, преимущественно голландского, португальского и английского происхождения. Они содержали небольшие магазинчики, занимались банковским бизнесом. Начиная с 1830 года, усилился

поток евреев из Германии. Многие приехали из Баварии и Франконии.¹³ В период с 1820 по 1860 годы количество евреев в США достигло 150 000 человек. Преобразование жизненных планов станет особенно наглядным, если мы примем во внимание, что в 1850 году было 200 ортодоксальных еврейских общин и 8 реформистских, а уже в 1880 году на 200 реформистских общин приходилось лишь 8 ортодоксальных. Значение этого преобразования станет ясным, если привести несколько фактов из жизни Исаака Меира Визе. Он родился в Богемии в 1820 году. Некоторое время он учился в Пражском университете и затем уехал в США. Он поставил задачу реформировать еврейскую веру. Его основной идеей было определить содержание еврейской веры таким образом, чтобы она чувствовала себя в Америке, как дома. Визе работал над ритуалами, которые предназначались для Нового Света. «Он и другие иммигранты выросли с религией, приносившей горе, как евреи в чуждом для них мире. Здесь, в Америке, и в этом Визе был полностью убежден, настало время для евреев жить без слез».¹⁴ Тот, кто читает эти строки, вероятно, думает о золотом времени в Испании, которое закончилось трагическим концом, но Визе, совершенно очевидно, не думал о катастрофах – он был мигрантом, который был убежден, что приехал в правильное место. В 1865 году он открывает новую синагогу, выстроенную в мавританском стиле. Совершенно сознательно Визе избегает слова «синагога» и называет здание «храмом», причем со следующим обоснованием: «Богослужение должно проводиться в том месте, где царит дух радости, а не траур, как это было в синагогах».¹⁵ Другими убеждениями Визе были: евреи в США равны со всеми остальными жителями и это отчетливое признание того, что еврейская вера находится на пути признания равноправной верой во всем мире. Из-за этого евреи в США должны чувствовать себя, как дома и не испытывать никакой ностальгии. Поэтому евреи не хотели возвращаться в Палестину, поэтому они не верили в приход Мессии. Визе говорил: «Мы - американские граждане еврейского вероисповедания». Евреи, прибывшие из Германии, были исключительно успешными: создали хорошо спонсируемые благотворительные организации, школы, богадельни для престарелых, университеты. Неудивительно, что правительство поддерживало американских евреев.

Секуляризированные развития такого рода должны были стать зловещими для тех, кто соблюдал традиции. Абрахам Райс приехал в Балтимор в качестве раввина в 1849 году. Раввинское образование он получил в Братиславе. В 1849 году он писал одному своему другу в Германию: «Я пребываю в кромешной

¹¹ Op. cit.: 37.

¹² Hertzberg (1992) Shalom Amerika. Die Geschichte der Juden in der Neuen Welt. Jüdischer Verlag, Frankfurt a. M. 1996.

¹³ Zum Beispiel die Herren Lehmann, Goldmann und Sachs. Vgl. Süddeutsche Zeitung Nr. 220 vom 20./21. September 2008.

¹⁴ Hertzberg, op. cit.: 68.

¹⁵ Op. cit.: 69.

темноте, без учителей или наставников... Религиозная жизнь в этой стране находится на самом низком уровне; большинство евреев едят запрещенные продукты и откровенно игнорируют шаббат... В таких условиях дух мой смущен и я задаю себе вопрос, разрешено ли вообще еврею проживать в этой стране». Критика со стороны ортодоксов усиливалась, раввины предостерегали людей, чтобы те не ехали в Америку. Израэль Мейр Ха-Коэн издает распоряжение относительно массового выезда в Америку. «Человек должен покидать то место, к которому у него не лежит сердце и уезжать туда, где его может ждать большой экономический успех». Европейско-еврейская ортодоксия осудила выезд в США и в период между мировыми войнами.

Элазар Шапиро, раввин Монкаса: «Есть трое ворот, ведущие в преисподнюю: невероятность некоторых элементов европейского еврейства, абсолютное смиренное подчинение деньгам в Америке и мировой сионизм с центром в Иерусалиме». Но самое страшное из этих трех зол для религиозного еврея – отправиться в Соединенные Штаты, поскольку отуда пути назад уже нет». Хаим Хальберштам, раввин Цунца из южной Польше, считает, что настало время американского исхода, и это будет последним исходом перед приходом Мессии.

Моше Вайнбергер писал в 1887 году о Нью-Йорке: Америка – это страна потерянных душ, именно там происходит закат еврейской культуры. Все эти предупреждения ни к чему не привели и примерно в конце XIX века настало время мощной волны эмиграции евреев из стран Восточной Европы. Всего за 50 лет после окончания Гражданской войны в США из Европы приехало 35 миллионов европейцев, из них 2 миллиона евреев. Решающей причиной эмиграции была бедность, и это были те, кто сегодня считаются «экономическими беженцами» и этим отличаются от «настоящих», «реально» преследуемых людей. Но некоторые вещи указывали на то, что люди ссылались скорее на антисемитизм или политические преследования (по крайней мере, в нетоталитарных государствах), чем на бедность.¹⁶ Герцберг писал: «Евреи из России приезжали в США без единого гроша в кармане. У многих за плечами не было никакого образования, в том числе и религиозного или традиционного. Но менее, чем за два поколения они смогли пробиться на самую вершину американского общества».

Новые восточноевропейские эмигранты поставили уже живущих там немецких евреев перед проблемой, как им принимать чужаков. И старая тенденция

вновь проявилась: «чужие» евреи были восприняты «оседлыми» евреями,¹⁷ как определенная угроза. Это тот феномен, с которым постоянно приходится встречаться. Евреи, приехавшие в США раньше и уже осевшие там, боялись, что масса новопривывших как бы разбавит еврейскую субстанцию и даст толчок новым проявлениям американского антисемитизма. Они действительно думали, что за счет их образцового поведения им удалось в большей или меньшей степени убедить нееврейское население Америки, что антисемитизм – это не что иное, как глупое предубеждение. Однако новопривывшие восточноевропейские евреи, которые понятия не имели об «американском образе жизни», по мнению «старожилов», могли пробудить антисемитизм. Эта тема была важнейшей для евреев, поселившихся в Америке. Для того, чтобы быть признанными, они были вынуждены приспособиться к жизненным представлениям доминантного класса и идентифицировать себя с ним. Чужаки мешали этому процессу и напоминали оседлым евреям, что они сами когда-то были в таком же положении. Немецкие евреи в Америке имели меньше проблем с нееврейским окружением, чем восточноевропейские евреи. Выходцы из Восточной Европы не считали себя евреями настолько, как это было в случае с немецкими евреями. Русские евреи имели гораздо более негативное отношение к христианскому окружению и это перенеслось с ними и в Америку. Тот, кто знаком с романами Джона Апдайка или Филиппа Рота, наверняка встречал в них эту проблематику.

Американский пример приводится с целью подчеркнуть проблематику обхождения с чужаками. Страх тогдашних немецких евреев в США, что евреи из Восточной Европы несут угрозу развитию еврейства в Америке или вообще приведут его к концу – это необоснованный страх. В американском эксперименте возникла целая палитра еврейских жизненных планов, создавшие новые пространства для развития еврейской веры.

Для того, чтобы традиции могли передаваться из поколения в поколение, они должны изменяться. Это звучит достаточно парадоксально, но сам жизненный процесс разрешает это кажущееся противоречие – многотысячелетняя история еврейского народа со всеми ее катастрофами – лучшее тому доказательство.

¹⁶ Obwohl es in Russland immer wieder zu Pogromen und Verfolgungen kam, stieg die Anzahl der Auswanderungen nur geringfügig an. Die Juden zogen es vor, in größere Städte, wenn möglich zu Verwandten zu ziehen. Aus Österreich-Ungarn, wo keine Pogrome stattfanden, wanderten mehr Leute gegen Westen aus als aus Russland.

¹⁷ Ich denke zum Beispiel auch an die Schweizer Juden, die vor und nach dem ersten Weltkrieg streng gegen die Einwanderung von Ostjuden waren und ihre Haltung auch während der Nazi-Zeit vertraten. Aber aus Wien oder Berlin wären ähnliche Abgrenzungsgeschichten zu erzählen.

Заключение

Какое значение имеет миграция в еврейских жизненных планах? Иногда большое значение, иногда не очень. Мы, однако, можем сказать: если миграция имеет небольшое значение, то рано или поздно это окажется иллюзией, которая может иметь серьезные последствия.

Интеграция миграции в еврейскую самоидентификацию является важным условием для того, чтобы контактировать со всем новым и чужим, с чем нам приходится встречаться в жизни. Как известно, для этого имеются две модели:

- Интеграционная модель. Чужаки интегрируются за счет того, что они приспосабливаются к «старожилам», или
- Модель признания: «старожилы» признают отчужденность чужаков и обе группы признают необходимый процесс перемен уже из-за самого факта совместного проживания. Для реализации этого второго решения необходимо, чтобы осознание миграции утвердилось, как часть идентификации.

„Wollen Sie uns hier etwa über den Holocaust erzählen?“: Mehrfache Traumatisierung ex-sowjetischer Juden im Nationalsozialismus und danach in den Gesprächen mit (ex-sowjetischen jüdischen) Migranten in Deutschland

Meinen Beitrag möchte ich mit einem Beispiel beginnen, das sowohl das gesellschaftliche Klima im heutigen Russland widerspiegelt, das seine Wurzeln in der sowjetischen Rhetorik und Politik hat, als auch das Thema der mehrfachen Traumatisierung sowjetischer Juden gut beleuchtet. Im neuen Film eines der prominentesten und der beliebtesten Regisseure Russlands, Nikita Michalkov, „12“ - eine russische Version des Hollywood Films „12“ - gibt es zwei charakteristische Szenen. Einmal versucht ein antisemitischer Protagonist, den anderen als „Jude“ [im Filmkontext als Synonym gebraucht für einen nationalen Verräter] zu erkennen, spricht: „zu entlarven“. „Ich bin halb jüdisch“, versucht sich der letzte zu rechtfertigen, worauf der pathetisch vorgetragene Schlüsselsatz des Regisseurs folgt: „Halbjuden gibt es nicht!“ [Das heißt im sowjetischen kulturellen Habitus: ein einziger jüdischer Blutstropfen macht die ganze Person zum Juden.] Später folgt die zweite Szene, in der ein anderer Protagonist, gewählt nach allen Stereotypen von schwarzhäarigen und krummnasigen Juden - anfängt, über seinen Vater im KZ zu erzählen. Derselbe antisemitische (aber patriotische, „volksnahe und einfache“) Darsteller unterbricht gleich, als er das Wort „Lager“ hört und fragt pathetisch: „Wollen Sie uns hier etwa [schon wieder] etwas über den Holocaust erzählen [im Sinne von „aufklären“]?“

Die letzte Szene zeigt interessanterweise, wie dem Holocaustphänomen, das sich kaum in der postsowjetischen Öffentlichkeit verbreitet hat, ein abgedroschener und uninteressanter Charakter zugeschrieben wird. (Übrigens war das für mich auch der erste Film, in dem das im Russischen unübliche Wort „Holocaust“ genannt wurde).

Das Ziel meiner Darlegung besteht darin, unterschiedliche Verfolgungserfahrungen ex-sowjetischer Juden als wesentlicher Teil ihrer jüdischen Identität zu analysieren und damit die innere Welt dieser Gruppe besser kennenzulernen, um einen fruchtbaren Dialog sowie ihre würdige Partizipation in den Gemeinden durch das Wissen über den „Anderen“ zu erleichtern.

Es geht vor allem darum, die mitgebrachte Perspektive der Neuangekommenen besser zu verstehen, um über weitere Wege des Zusammenlebens innerhalb der jüdischen Gemeinden reflektieren zu können.

Der gesellschaftliche Kontext mit seinen soziokulturellen und politischen öffentlichen Diskursen beeinflusst die Art und Weise, wie sich seine unterschiedlichen Mitglieder mit

den Ereignissen auseinander setzen, sie erinnern, verstehen und interpretieren. Die neu angekommenen Migranten bringen unvermeidlich Interpretationsmuster mit, die durch das Ursprungsland stark geprägt sind und sich von den lokalen Diskursen häufig unterscheiden. Dabei muss in Betracht gezogen werden, dass die Migranten destabilisierenden Herausforderungen des Migrationsprozesses und klaffenden Diskrepanzen ausgesetzt werden. So können sie oft nicht ihre mitgebrachten Vorstellungen und wertvollen, aber häufig schmerzhaften, Erfahrungen adäquat den vorhandenen Diskursen und den in Deutschland üblichen Kategorien „übersetzen“. Auch wenn viele Ähnlichkeiten zwischen den neu angekommenen und den ansässigen Juden vorhanden sind, gehen häufig auf Grund der deutlichen (und oft betonten) Unterschiede und der fehlenden Übersetzungsarbeit kulturelle Besonderheiten verloren.

Spricht man im Westen über den Holocaust als beispielloses, einzigartiges, für sich stehendes Phänomen¹ bzw. als erklärungsbedürftige oder rätselhafte Erscheinung², so wurde in der SU (und wird nun in Russland) das Leiden des gesamten sowjetischen Volkes während des Großen Vaterländischen Krieges als beispielloses Opfer der friedlichen sowjetischen Bürger, als übermenschlicher Einsatz, Widerstandskraft und Beharrlichkeit ohne Präzedenz thematisiert. Der Begriff „Holocaust“ hingegen blieb bis zu den 90er Jahren unbekannt. Historisch gesehen waren sowjetische, polnische sowie deutsche Juden Holocaustopfer.³ In diesem Zusammenhang bricht die mitgebrachte sowjetische Siegherrhetorik die im Westen breit akzeptierten Diskurskategorien. Die Kategorie „jüdische Sieger“, von denen viele von deutscher Sozialhilfe unterstützt werden, kann als besonders widersprüchlich, verwirrend, konfliktträchtig bzw. übersetzungsproblematisch wahrgenommen werden.

Erst nach der Perestroika wurden die Begriffe „Katastrophe“, „Cholokaust“ oder „Vernichtung“ [уничтожение, катастрофа европейского еврейства]⁴ bezüglich jüdischer Opfer verwendet⁵. Bis dahin war das Thema „Holocaust“ explizit nie Gegenstand von Diskussionen in der sowjetischen Historiographie – auch kaum nach der Perestroika. Einige Gründe hierfür sollen benannt werden: Erstens gab es ein politisches Interesse daran, den gemeinsamen internationalen Kampf gegen den Faschismus zu betonen, sich als ein internationales Volk der Sieger zu präsentieren und keine einzelne Gruppe speziell als Opfer zu markieren. Dann wollte man der Nazi-Propaganda hinsichtlich der jüdisch-bolschewistischen Verschwörung

¹ Dan Diner, 2006, Öffentlicher Vortrag in der jüdischer Gemeinde Frankfurt

² Gitelman, 1994; Kandel, 2006; Lustiger, 1998.

³ Adar 2004; Gitelman 1994; Kandel 2006; Lustiger 1998.

⁴ Zvi Gitelman, „Politics and the Historiography of the Holocaust in the Soviet Union“, in Bitter Legacy: Confronting the Holocaust in the USSR, ed. Zvi Gitelman (Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press, 1997), 18-19.

⁵ Zvi Gitelman, 1994: 117.

entgegengetreten, indem das Ziel der Vernichtung des jüdischen Volkes als eines der Hauptziele des Krieges erklärt wurde.⁶ Außerdem wurde versucht, das Kollaborationsausmaß der sowjetischen Bürger bei der Massenvernichtung von Juden „herunterzuspielen“, um den Zusammenhalt, die brüderliche Gesinnung und den Patriotismus des gesamten sowjetischen Volkes zu akzentuieren und zu kultivieren.⁷ Auch der nach Perestroika und Glasnost „freigesetzte Prozess der Entsakralisierung beeinflusste nicht den Kult des Großen Vaterländischen Krieges“.⁸ Bis heute wird das Thema „Holocaust“ kaum und nur am Rande des Diskurses über die kollektive Erinnerung erwähnt, denn das Hauptinteresse fokussiert sich nun auf „das Erbe und die Verbrechen des Kommunismus“ oder auch auf nationsstiftende und stärkende Prozesse.⁹

In der neuen Forschung von Ksenia Polouektova (2009), die die Rolle des Holocaust in den post-sowjetischen Geschichtsbüchern analysiert, enthielt keines der analysierten Büchern ein separates Kapitel bzw. Unterkapitel über den Holocaust.¹⁰ Einigen Autoren, wie im Beispiel des vom Ministerium empfohlenen Geschichtsbuchs für die 11. Schulklasse von Arutiune Ulunyan and Evgeny Sergeev (2005) ist es gelungen, „über die Vernichtungspolitik der Nazis gegen die Juden zu diskutieren, ohne das Wort „Holocaust“ auch nur einmal zu erwähnen“.¹¹

Entsprechend den Interviews in meiner Forschung (und ähnlich den Forschungsbefunden von Zvi Gitelman über ex-sowjetische jüdische Migranten in Detroit) basierte das dezente und selektive Wissen über den Holocaust hauptsächlich auf den fragmentarischen, familiären Geschichten sowie auf wenigen literarischen Werken wie Rybakovs „Schwerer Sand“ (1978) oder Kuznetzovs „Babij Jar“ (1966).¹² Als Resultat der totalitären sowjetischen Politik und der Angst vor Bestrafung für die „falschen Tradierungen“ haben die Eltern der befragten jüdischen Migranten versucht, ihre Kinder durch das Verschweigen familiärer Biographien der im Holocaust ermordeten Familienmitglieder vor dem sowjetischen Regime sowie vor dem Leiden zu beschützen.

Tamara: „*Sie [vermutlich die nicht russisch Sprechenden] verstehen es nicht, dass uns alle Wurzeln weggenommen wurden. Ich gehe hier [in Deutschland] auf der Strasse und sehe ein Haus aus dem Jahr 1341 und ich, ich weiss selbst den Namen meiner Oma nicht*“.

Als Resultat des häufigen Schweigens in der Familie kombiniert mit fehlendem öffentlichen Diskurs über den Holocaust wussten die Befragten sehr wenig außer der Anzahl ihrer ermordeten Familienmitglieder und thematisierten diese in der Regel im Kontext allgemein gefallener Kriegsoffer. Oder wie es Sandomirskaya in ihrer Analyse unterschiedlicher Kanones des Vaterlandes formulierte: „A private biography is inserted in this collective mega-project...“

[in which]... identity turn[s] into simulacra of the state.“¹³ Es könnte leicht missinterpretiert werden, dass die ex-sowjetischen Juden nicht viel gemein mit dem Holocaust haben, oder wie eine israelische Forscherin mir auf einer Konferenz sagte: „Ma lahem veleschoah!“ [„der Holocaust geht an ihnen vorbei“, „Sie habem mit dem Holocaust nichts im Sinn] In jeder der befragten Familien waren die Familienmitglieder vom Holocaust betroffen, auch wenn es die Interviewpartner anders formuliert haben (wie zum Beispiel von „Nazis im Drobezki Jar ermordet“ oder im „Stetl gefallen“). Es handelt sich also eher um einen besonderen Zustand der Teilhabe an der Holocaustgeschichte, die die Migranten nicht artikulieren und über die sie nicht argumentieren können, weil sie es in ihrer Sozialisation nie getan haben. Eine berechtigte Frage ist, unter welchen Bedingungen sich die fehlenden Denkkategorien für den notwendigen Dialog entwickeln. Der Kontext jüdischer Einwanderung ins Land der Täter scheint ein besonders konflikträchtiger Kontext für die Entwicklung der Reflektionskategorien zu sein. Ich möchte behaupten, dass für die jüdischen Migranten aus der SU in Deutschland das neue Artikulieren des Holocaustnarrativs zu zusätzlichen inneren Konflikten und Widersprüchen führen kann. Denn dieses Narrativ schließt sich den anderen negativ beladenen Kategorien wie „Russen“ und „Ausländer“ an. Die häufig gebrauchte Darstellung, sie seien in ein bereits verändertes (also nicht mehr nazistisches) Land immigriert, konfrontiert sie mit den Auseinandersetzungen über die Auswanderung. Die imaginierten inneren Dialoge von Migranten mit den verstorbenen Verwandten, die Zeugen des Krieges und des Holocaust gewesen sind, verbildlichen die inneren Konflikte.

Im folgendem Beispiel erwähnt Katja (70 Jahre alt) in ihrer sehr persönlichen Beschreibung die doppelt illegitime Entscheidung, nach Deutschland auszuwandern: als Jüdin, Enkelin einer Großmutter, die im Holocaust ermordet wurde und als Tochter eines Vaters, der als Soldat im Krieg gefallen ist. Sie erwähnt, dass sie bei der Einreise an der Grenze einen „deutschen jungen Burschen mit aufgekremelten Ärmeln mit Schäferhund“ gesehen habe, obwohl ihr Sohn, der beim Interview anwesend war, sich an keinen Hund an der Grenze erinnern konnte.

Katja (versunken in ihren Gedanken): „*Ich habe öfter gedacht und denke immer noch, was hätte meine Mutter dazu gesagt, wenn sie am Leben gewesen wäre. Es war ganz am Anfang der Perestroika, dass mein Bruder [der später nach Israel auswanderte] ihr gesagt hat, dass es einige Menschen gibt, die nach Deutschland gehen. Sie sagte: „Wie konntest Du daran denken? Wie sind ja Juden! Hast Du vergessen, dass wir deinen Vater dort verloren haben? Sie haben deine behinderte Oma im Hof ermordet... Und wir haben dieses Thema nicht mehr berührt...“ [Katja ist ausgewandert, nachdem ihre Mutter verstorben war].*

⁶ Ksenia Polouektova, 2009 The Holocaust in Post-Soviet Russian History Textbooks: Texts and Contexts, Vortrag auf der Konferenz „Neue Stimmen, erster Kongress der Nachwuchswissenschaftler im Bereich Ost-Mittel Europa, Russland und Eurasia, Universität Tel Aviv, Geschichtsschule Institut Kimerling zur Forschung von Russland und Osteuropa, 18-19.11.2009, S.2.

⁷ Ibid. · ⁸ Ibid. S.5. · ⁹ Ibid. S.3. · ¹⁰ Ibid. S.13. · ¹¹ Ibid.

¹² Gitelman, Zvi, „Politics and the Historiography of the Holocaust in the Soviet Union“, in Bitter Legacy: Confronting the Holocaust in the USSR, ed. Zvi Gitelman (Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press, 1997), 15-42.

¹³ Sandomirskaya 2004:131.

Berechtigt ist zu ergänzen, dass die einzige Information, die Katja jemals über die Lebensgeschichte ihrer Großmutter gehört hatte, darin bestand, dass diese gelähmt war, dass es keine Möglichkeit gegeben hatte, sie im letzten Moment vor der spontanen Evakuierung zu transportieren, dass sie mit einer russischen Pflegerin zurückblieb und im Hof ermordet wurde. Wie in den meisten interviewten Familien hatte die Mutter von Katja nie über die Großmutter gesprochen.

Nach der Auswanderung nach Deutschland „springen“ die fragmentarischen, emotional beladenen Assoziationen sowie durch die sowjetischen Kriegsfilmindustrie internalisierten Bilder besonders oft für die ältere Generation mitten in die Gegenwart, und so werden „die Deutschen“ in den wenigen informellen Interaktionen jenseits der russischen Enklave leicht auf die Kategorie „ex-Nazis“ reduziert.

Varja (68 Jahre alt): „Oft werden wir [von den Freunden in Russland] gefragt: „Wie ist es in Deutschland?“ Aber eigentlich kennen wir nur [das] russischsprachige Deutschland [meint die Enklave]. Ich war noch nie in einem deutschen Haus. Nein, einmal doch. Eine deutsche Frau wollte Russisch lernen und ich wollte von ihr Deutsch lernen. Sie zeigte mir ihr[en] Familienfotoalbum mit ihrem Bruder in Hitlers Uniform. Mir wurde es schlecht“.

In diesem Zusammenhang kann der Sieger narrativ eine kompensatorische Rolle in besonders schweren Situationen der Desorientierung im neuen Land spielen, zum Beispiel wenn Menschen sich besonders machtlos oder rechtlos fühlen bzw. wenn sie sich in der neuen Realität nicht auskennen. So können übliche Alltagssituationen, in denen es keine offensichtliche Verbindung zwischen dem Handeln einer deutschen Person und dem Krieg zu geben scheint, dazu führen, dass auf Assoziationen mit dem Krieg zurückgegriffen wird. Sveta (48 Jahre alt, Musiklehrerin, die von der Sozialhilfe unterstützt wird) erzählt aufgeregt im Interview über eine Begebenheit, die sich ein Tag zuvor zugetragen hat.

„Gestern, bin ich mit meinem [9-jährigen Sohn] zu der Bushaltestelle gegangen. Wir sind zum Bus gerannt, als er gerade abfahren wollte. Der Busfahrer hat uns gesehen, aber hat nicht gewartet. Er hat die Tür geschlossen und ist weggefahren, gerade vor unseren Gesichtern, als wir angekommen sind. [Pause] Dann habe ich meinem Sohn alles über den Krieg und den Holocaust erzählt!“

Die Reaktion von Sveta kann etwas absurd erscheinen, dennoch versteckt sich hinter jeder Absurdität eine bestimmte Logik. Solche Reaktion kann eine eigene Art der Bewältigung einer neuen und fremden Situation darstellen. Sveta scheint die lokale Regel, strikt dem Fahrplan zu folgen, nicht geläufig zu sein. Dementsprechend interpretiert

sie das Handeln des Busfahrers als unmenschlich, respektlos und sogar feindselig - ein Handeln, das sie in den Augen ihres Sohnes entwürdigt. Als Resultat findet sie die praktische Lösung einer starken Zuschreibung. Sie generalisiert das Handeln des Busfahrers und ordnet es in die Makrokategorie der „Deutschen“ ein, die durch ihre historische Schuld stigmatisiert ist und zieht die Parallele zu der unmenschlichen Behandlung der Juden im Holocaust - dies trotz der Möglichkeit, dass der Busfahrer in der konkreten Situation eventuell auch ein Migrant aus der Türkei sein könnte.

Der Holocaust in einer Reihe mit anderen Diskriminierungserfahrungen

Eine wichtige Komponente im Versuch, Erfahrungen ex-sowjetischer Juden besser zu verstehen ist der Umstand, dass die Verfolgungen und Traumatisierungen nicht mit dem Holocaust begonnen haben und bei weitem nicht mit Ende des Krieges beendet wurden. Die Vernichtung des jüdischen kulturellen und traditionellen Lebens hatte bereits nach der Revolution begonnen. Jüdische Unterdrückung und Verfolgung wurde nach den zaristischen Zeiten, nach den Zeiten der Repressionen (in den 30er Jahren), nach dem Holocaust bis zum Zeitpunkt der Ausreise der Juden aus der SU nach der Perestroika fortgesetzt und war nie zum Stillstand gekommen. Wir haben es hier historisch gesehen mit einer kontinuierlichen Reihe erlittener Diskriminierungen und Verfolgungen während einiger (3-4) Generationen zu tun. Für jede interviewte Familie besteht der Begriff „jüdische Verfolgung“ aus den lebendigen Erinnerungen an die von Stalins Repressionen betroffenen Familienmitgliedern, an die Ermordung der Familienmitglieder in der Nazizeit und unendlich zahlreichen Beispielen erlebter Diskriminierungserfahrungen der jüdischen Migranten während ihres Leben in der SU. Biographisch gesehen können Menschen zwischen den als Soldaten oder als Holocaustopfer oder in den Repressionen ums Leben gekommenen Familienmitgliedern nicht trennen oder entscheiden, um welche sie „mehr trauern sollen“. Wenn die Interviewpartner das Thema „Holocaust“ in den Interviews erwähnten, geschah das immer im Kontext des mehrfachen jüdischen Leidens und der langen geschichtlichen jüdischen Verfolgung. Dabei sollte der Außenstehende nicht dadurch irritiert werden, dass die ex-sowjetischen jüdischen Migranten mehr die Auswirkungen der Repressionen Stalins als die des Holocaust artikulieren können, da es ein Thema ist, das sie aus dem langen öffentlichen Diskurs verinnerlichen konnten.

Antisemitische Ethnisierung als signifikante Kategorie jüdischer Zugehörigkeit

Nun möchte ich mehr darüber ausführen, wie die Migranten über ihre eigene Diskriminierungserfahrungen in den Interviews erzählen. Im Fall der sowjetischen Juden beobachten wir eine tragische Situation, da sie sich einerseits ihrer jüdischen Zugehörigkeit wegen des Vermerks im Ausweis (unter der Kategorie „jüdische Nationalität“) nicht entziehen oder diese auch nicht verbergen konnten, aber andererseits im Praktizieren jüdischer Sprache, Kultur, Tradition oder Religion fast 70 Jahre politischen Beschränkungen unterworfen waren. Aus der Feldforschung geht deutlich hervor, dass Menschen oft mit antisemitischen Ethnisierungen als „essenziellem Stigma“¹⁴ durch zugeschriebene physische Merkmale, als sozialer Ausgrenzungsmechanismus des „nicht normal“ und „Nicht-ganz-zugehörig-Seins“, aber auch als signifikante (wenn auch negativ besetzte) Kategorie eigener jüdischer Zugehörigkeit konfrontiert wurden.

In jedem meiner Interviews wurden Erfahrungen des direkten institutionellen bzw. alltäglichen (domestic) Antisemitismus in der SU aufgezeichnet.

Unabhängig davon, welche Bewältigungsstrategien des Antisemitismus jede Person für sich entwickelt hat, hat sich ein kollektives Bewusstsein der Juden als stigmatisierte, verfolgte und ausgegrenzte Gruppe herauskristallisiert, was von anderen Forschern als „inländische“ oder „interne Fremde“ oder „Ausländer zu Hause“ bezeichnet wurde¹⁵ auch wenn 75% (entsprechend der Forschung von Gitelman) sich in der SU das ganze oder fast das ganze Leben „zu Hause“ gefühlt haben.¹⁶

Sergei: „Sicher habe ich mich da [in der SU] zu Hause gefühlt, alles um Dich herum ist eigentlich ein Teil von Dir: die Sprache, Menschen, Natur ... aber Du wusstest immer, wenn etwas passieren sollte, wirst Du als erster zum Sündenbock gemacht ...“

Ähnlich den Forschungsergebnissen von Sternschis in den USA und Kanada¹⁷ haben viele Interviewpartner über einen inneren Konflikt erzählt, der mit jüdischer Identität verbunden war, da sie in der SU gezwungen waren, zu akzeptieren, unfreiwillig „in ein schlechtes Schicksal“ hineingeboren worden zu sein, nämlich als Teil des jüdischen Volkes.

Wie eine Interviewpartnerin Lora meint: „Jüdischsein impliziert eine schreckliche Geschichte und ein schweres Leben. Es ist ein Brandmal auf Dir - eine Charakteristik, die dich das ganze Leben verfolgt.“ [Das ganze Leben schließt die Zeit vor sowie nach der Emigration mit ein.]

Außer der sowjetischen Vorstellung vom angeborenen Jüdischsein hat die jüdische Zugehörigkeit der Interviewpartner im sowjetischen Kontext vor allem Hindernisse

zur Folge, wie z.B. die Zugangsbeschränkungen zu einem Universitätsstudium und zu prestigeträchtigen Arbeitsbereichen oder permanente Zweifel an der Loyalität und am treuen Patriotismus dem Staat gegenüber, in dem Juden oft als sogenannte „neblagonadezhnye elementy“ [„unzuverlässige Elemente“, Russ.], die jederzeit „die Heimat verraten“ können, stigmatisiert wurden. Viele mussten für ihre Verwandten, die in den 70er Jahren nach Israel oder in die USA ausgewandert sind, in der Institutsversammlung öffentlich Abbitte tun, wurden allerdings in den Augen der nicht-jüdischen Arbeitskollegen nicht als loyal, sondern eher als noch verdächtiger angesehen. Jeglicher Bezug zu Israel wurde bestraft.

Naum: „Einmal wurde in meinem Institut Geld für die Palästinenser gesammelt. Ich sagte: „Ich zahle nicht. Sie töten Menschen in meinem Volk.“ „Nein, Du musst zahlen“ und dann „Du bist nicht würdig, sowjetischer Ingenieur zu sein“ und dann musste ich zahlen, um von der Arbeit nicht gefeuert zu werden. Und stellt Dir vor, es waren die 80er Jahre!“...

Auch wenn objektiv keine kulturellen oder sprachlichen Unterschiede zwischen den sowjetischen Juden und z.B. Russen oder Ukrainern vorliegen, kann man, durch die künstlich konstruierten, den Juden zugeschriebenen Merkmale Ausgrenzungen erzeugen, so etwa durch auf den ersten Blick „naive“ Fragen wie: „Sprichst Du jiddisch zu Hause?“ oder „Arbeitest Du am Samstag?“. Das entspricht der Behauptung Adornos: „Der faschistische Antisemitismus muss sein Objekt gewissermaßen erst finden“.¹⁸

Mila erzählt: „Ich habe mal Plätzchen für die Kollegen in die Arbeit gebracht und sie fragten lachend: „Sie sie koscher?“ [wobei es allen klar war, dass sie nicht koscher sein dürfen]. Natürlich habe ich mich geschämt. Ich sagte: „Was geht Dich das an?“ [winkt mit der Hand mit der Geste: es ist nichts mehr zu ergänzen] All diese jüdischen Dinge [Pause] haben einen wunden Punkt berührt.

Darüber hinaus haben einige Migranten den äußeren Antisemitismus und dessen Rhetorik verinnerlicht, indem sie zugestehen, dass sie sich während ihres Lebens in der SU geschämt haben, das Wort „jevrei“ („Jude“) auf Russisch zu sagen bzw. indem sie auf die mit diesem Wort verbundenen, deutlich negativen Assoziationen hingewiesen haben. Wie Slezkin es in seiner Forschung formuliert hat: „Die Aussage: „Ich bin Jude“ war entweder ein Eingeständnis von Schuld oder eine Geste der Herausforderung/ des Widerstands“.¹⁹

Der Begriff „Jude“ wurde in meinen Interviews von einigen Migranten unter anderem mit Verschmutzung/Unreinheit bzw. sogar mit Geschlechtskrankheiten verbunden, oder

¹⁴ Rapoport, Lomsky-Feder und Heider, 2002.

¹⁵ Für den Begriff „domestic foreigners“, siehe Levinson, Alexej (1997). „Attitudes of Russians towards Jews and their Emigration 1989-1994“, In: Lewin-Epstein, Noah, Roi, Yaacov & Ritterband, Paul (eds.) *Russian Jews on Three Continents Migration and Resettlement*. London: Frank Cass, pp.: 222-233. Für den Begriff „internal strangers“ or being „abroad at home“ vgl. Slezkin, Yuri (2004). *The Jewish Century*, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

¹⁶ Gitelman, Zvi (1994). „The Reconstruction of Community and Jewish Identity in Russia“, *European Jewish Affairs*, 24 (2): 35-56.

¹⁷ Sternschis Anna (2006) *Soviet and Kosher. Jewish Popular Culture in the Soviet Union, 1923-1939*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

¹⁸ (Horkheimer and Adorno 1997 (1947):237).

¹⁹ Slezkin 2004:108.

ähnlich der Beschreibung aus der 18. Jahrhundert von Juden in Frankfurt als „unerfreuliches schmutziges, unharmonisches Ganzes“²⁰ [ergänzt schlau-listiges] beschrieben. Auch die russische Sprache, in der sowjetische Juden sozialisiert wurden, für die sie sehr sensibel sind und die einen „exakten Indikator des intellektuellen und psychologischen Klimas in der Gesellschaft“²¹ widerspiegelt, verbildlicht die antisemitischen Stereotypen durch besondere Konstruktionen wie z.B. durch pejorativ besetzten Begriffe wie „Zhidy“ [Saujuden], „Jevrejschata“ oder „Zhidki“ [Diminutiv der Pluralform „Zhidy“], „zhiditsja“- ein Verb, das „geizig sein“ bedeutet, abgeleitet von „Zhidy“, „listige Juden“, „Krummnasige“ als Synonym für Juden, oder „Hajka“- vom jüdischen Namen „Haja“ für die Bezeichnung einer Jüdin. Es gibt auf Russisch auch den Begriff „jüdischer Akzent oder jüdische Aussprache“, der sich vor allem auf eine Aussprache mit grassiertem „r“ im Gegensatz zum russischem harten („rollenden“) „r“ bezieht.

Naum, einer der wenigen Interviewpartner, die mit grassiertem „r“ sprechen, erzählt: „Wir haben vor ein paar Tagen unsere Freundin in einer Kommunalwohnung in Russland angerufen. Eine Frau war dran [Ich habe nur gefragt: „Kann ich bitte mit Vera sprechen?“] und sie sagte dann „Vera Michailovna, gehen Sie bitte ans Telefon, da ruft Sie irgendein Jude an!“ Weisst Du, meine ganze Nostalgie war gleich weg!“

Nicht verblüffend ist der Befund der Verinnerlichung einiger antisemitischer Kategorien im Selbstethnisierungs- und Selbstabwehrprozess. So wurde ich bei meiner Forschung damit konfrontiert, dass einige Migranten nicht nachvollziehen konnten, dass manche deutsche Eltern freiwillig bereit sind, ihren Töchtern „so einen jüdischen Namen wie Sarah“ zu geben, denn diese stark negativ beladene antisemitische Kategorie „Sarah und Abraham“ stellt auch eine der mehrfachen Traumatisierungen dar, die sich auch nach der Auswanderung nicht leicht auflösen lässt.

Sergei, dessen Familienname übrigens so jüdisch wie Rabinowitsch, lautet, vermerkt erstaunt: „Meine Tochter hat eine Freundin in der Schule- Sarah! [lacht] Ich sagte ihr, wo ist Dein Abraham? [lacht] Wie können sie nur [die Deutschen], ihre eigenen Kinder so nennen? Ich kann es nicht verstehen. Stell Dir das nur vor, weisst Du, sie sind generell schon komisch - die eigene Tochter, Sarah zu nennen! Ich weiss es nicht ...“

Misha, - ein anderer Interviewpartner, artikuliert seine Selbstscham und seine damalige Scham für alle sowjetische Juden, „die nicht normal wie die Russen“ sein können, ganz deutlich: „Meine Eltern haben im jüdischen Viertel in Kishinev gelebt und sie haben nicht sooo gut Russisch gesprochen. Die Antisemiten schrien: „Kurrrotschka!“ [Hähnchen

mit grassiertem „r“], meinten aber nicht nur meine Eltern, sondern auch mich. Ich habe mich vor mir selbst geschämt, wie kann es sein, dass SIE [betont- die Juden, so klug aber] so minderwertig sind und können kein normales „R“ [sagt hart russisch] aussprechen?

50 Jahre später kam ich nach Deutschland und habe dieses [grassierte] „r“ noch mal gehört, aber hier ist es normal! Vielleicht kam das jiddische „r“ von den Deutschen.“

Die Traumatisierungserfahrungen hatten zur Folge, dass viele Interviewpartner das Interview damit begonnen haben, dass eigentlich nichts Jüdisches mit ihnen verbunden sei, doch während des gesamten Interviews stellte sich heraus, dass Jüdischsein eine signifikante, wenn auch schmerzliche und kontroverse Kategorie ihrer eigenen Identität ist. Durch das folgende Zitat aus dem Interview mit Elianora, wird der widersprüchliche Charakter der essenziellen, aber unerwünschten jüdischen Zugehörigkeit nachvollziehbar:

„Es ist kein großes Glück, jüdisch geboren zu sein. Eigentlich bin ich in keinem Sinne jüdisch. Ich bin Tochter meiner Mutter und meines Vaters und ich wollte so sehr, meine Tochter vor dem Judentum retten [benutzt retten statt: schützen], aber sie hat dann einen religiösen Juden geheiratet. [Pause] Ja, ich weiss natürlich über Pessach und Jom Kippur Bescheid, und ich habe schon immer jiddisch verstanden, habe aber auf Russisch geantwortet. Ich wollte damit nichts zu tun haben, aber ich konnte es nicht verbergen, dass ich jüdisch bin. Jetzt würde ich auch gerne in Israel leben, wenn ich da einen Mann kennenlernen würde ...“

Die jüdische Selbstidentifizierung der Beteiligten, die in ihrem Leben in der SU so viele Schwierigkeiten und Schmerzen bereitete und als „schlechtes Schicksal“ aufgefasst wurde, „am falschen Ort in der falschen Haut geboren zu sein“, wurde im Zusammenhang mit der Immigration nach Deutschland aus der Außenperspektive gerade darauf reduziert, als „Ausreisefahrkarte“ benutzt worden zu sein, was solche paternalistischen Aussagen erzeugte wie „die Gemeinde muss sie vor allem zu echten Juden machen!“²² Oft ist die Meinung zu hören, dass erlebter Antisemitismus oder auch ein formaler Vermerk als „jüdisch“ in den Pässen noch bei weitem nicht ausreichen würde, um „richtig“ jüdisch zu sein. Für die jahrzehntelange sowjetische Unterdrückung, direkte Diskriminierung und antisemitischen Erfahrungen werden die Migranten oft noch „bestraft“, indem ihre fehlenden Kenntnisse über jüdische Religion und Kultur und die verinnerlichten Bestandteile des russisch-sowjetischen Habitus als Beweis ihres Nicht-jüdisch-Seins dargestellt (und gegen sie ausgespielt) werden.

²⁰ Diemling 2005:80.

²¹ Malachov 2001:106.

²² wie Haris Riebsamen im Artikel „Kleine Jüdische Wunder“ in FAZ, 11 November 2006, S.1 schreibt.

Zum Schluss: Unüberbrückbares zu verbinden

Die „Paradoxien in den gelebten Wir-Bezügen“²³, um mit Roswitha Breckner zu sprechen, zeigen sich besonders deutlich, wenn die Migranten der Notwendigkeit ausgesetzt werden, die Widersprüche zu bewältigen, die Zugehörigkeitsnarrative zu legitimieren und Loyalitäten zu mehreren sich widersprechenden Narrativen aufrechtzuerhalten (zum Beispiel als jüdische Sieger und Opfer gleichzeitig).

Oft werden viele der selbstverständlichen Annahmen über kollektive Narrative, die innerhalb der unterschiedlichen Migrantengruppen sozialisiert wurden und in der Herkunftsgesellschaft eine unterstützende, positive und identitätsstärkende Rolle spielten, nun, nach der Immigration nach Deutschland, zu widersprüchlichen, prekären bzw. negativ beladenen Narrativen. Statuskonflikte, wie sie im Leben jedes sozialen Individuums zu finden sind (wie zwischen dem Status als „Mutter“ und als „Frau in einer professionellen Karriere“) werden meiner Ansicht nach in bestimmten Situationen wie der Migration bzw. bei bestimmten Gruppen wie Minderheiten besonders sichtbar und können sich durch die transnationale Praxis sogar verschärfen. So ist der Fall der russischsprachigen Juden als jüdische Minderheit in der SU, als Menschen, die den Zerfall der SU als Umbruch einer sozialen Wirklichkeit erlebt haben und schließlich in Deutschland leben, als eine vierfach stigmatisierte Gruppe anzusehen: als ex-sowjetische, russische, jüdische Immigranten.

Im folgenden provokativen Zitat kombiniert Rita - eine Interviewpartnerin, die vor allem aus medizinischen Gründen nach Deutschland eingewandert ist, drei widersprüchliche Narrative, nämlich den Holocaust und das Schicksal des Jüdischseins, das Siegenarrativ mit dem Versuch, Loyalität für Deutschland als Aufnahmeland zu zeigen:

„Mein Vater kämpfte [als Soldat gegen die Nazis], er schrieb seinen Namen auf das Reichstagsgebäude [Rita bezieht sich auf das in der SU gut bekannte Ereignis, als die sowjetischen Soldaten ihre Namen als Zeichen des Sieges auf die Wände des Reichstags geschrieben haben]. Aber die Katastrophe hat fast alle betroffen. Die meisten unserer Verwandten sind in den Stetls gefallen. [Pause] Aber wir hatten keinen Zweifel über das hierher Kommen weil sie [die Deutschen] haben noch mehr gelitten. Der Krieg wurde eine Tragödie für die Deutschen. Hier wurden sie von den Amerikanern und Engländern bombardiert. Und jetzt wenn sie für ihre Großeltern antworten müssen, dann müssen wir auch für die unsrigen antworten: für die Repressionen, für die Revolution [Pause, merkt vermutlich mangelnde Logik ihrer Aussage und schließt dann ab] Das Wichtigste für Juden ist zu überleben, egal wo.“

Sicherlich auffällig ist, dass Rita das Wort „gefallen“ und nicht „ermordet“ oder „getötet“ wählt, wenn sie ihre im Holocaust ermordeten Verwandten im Stetl erwähnt. Diese Wortwahl entspricht unterbewusst dem Ziel, zwischen wesentlich unterschiedlichen Narrativen auszugleichen. Dabei werden die Holocaustdimensionen durch den Vergleich mit anderen Kriegsoptionen (wie sowjetischen Soldaten oder sogar den Deutschen) stark relativiert. Als Tochter eines Soldaten und Verwandte der Holocaustopfer, die sich und den anderen ihre Entscheidung erklären muss, ins Land der ehemaligen Täter und Feinde eingewandert zu sein, konstruiert sie eine Legitimierungsbrücke, und zwar behauptet sie in ein anderes Land eingewandert zu sein, in dem auch die „Deutschen“ unter der Kriegstragödie gelitten und ein historisches Fazit gezogen haben. Wenn sie das Argument der unter dem Krieg leidenden und bombardierten Deutschen aufgreift, erwähnt sie interessanterweise nicht die sowjetischen „Anderen“, unter denen ihr Vater gekämpft hat, sondern die Amerikaner und Engländer. Dieses Konstrukt entspricht der sowjetischen Rhetorik von absoluten und nicht in Frage gestellten Siegern. Doch die klaffenden Uneinstimmigkeiten und Diskrepanzen unterschiedlicher Narrative lassen sich schwer überwinden. Rita, die an eine schweren Krankheit leidet und erhofft hat, sich in Deutschland behandeln zu lassen, und vor allem deshalb nach Deutschland immigriert ist, beendet ihre widersprüchliche Rede mit einem für die jüdische Geschichte sehr charakteristischen Satz: „Das Wichtigste für Juden ist zu überleben, egal wo“.

«Вы нам что, о Холокосте что-то рассказать хотите?» Множественная травма бывших советских евреев в период национал-социализма а также на основе интервью с (экс-советскими еврейскими) иммигрантами в Германии

Мне хотелось бы начать свой доклад с одного примера, который во-первых, отражает общественный климат современной России, уходящий своим корнями в советскую реторику и политику, и во-вторых, наглядно освещает обсуждаемую здесь тему множественной травмы советских евреев.

В новом фильме самого известного и самого любимого российского кинорежиссера, Никиты Михалкова, «12» - русской версии голливудского фильма «12 разгневанных мужчин» - есть две характерные сцены. Вначале один антисемитский протагонист пытается раскрыть другого, как «еврея» [в контексте фильма - синоним предателя Родины], другими словами: «разоблачить». «Я еврей наполовину» пытается защититься последний, после чего следует патетически представленная ключевая фраза режиссера: «Евреев наполовину не бывает!» [что в советском культурном габитусе означает: одна единственная капля еврейской крови превращает человека в еврея]. Затем следует вторая сцена, в которой другой протагонист, выбранный в соответствии со всеми стереотипами черноволосым и с горбатым носом – начинает рассказывать о своем отце и концлагере. Тот же самый антисемитский (но патриотичный, «простой и близкий к народу») персонаж сразу же перебивает, как только слышит слово «лагерь» и патетически спрашивает: «Вы нам что, о Холокосте [в очередной раз] что-то рассказать хотите [в смысле «разъяснить»?»

Что интересно, вторая сцена показывает, как феномен Холокоста, который в постсоветском пространстве практически не присутствовал в общественном информационном поле, представлен как банальный и неинтересный феномен. (Кстати, для меня это был первый фильм, в котором было произнесено совершенно непривычное для русского языка слово «Холокост»).

Цель моей статьи состоит в том, чтобы проанализировать различный опыт преследования бывших советских евреев как важную часть их еврейской идентификации с тем, чтобы лучше понять внутренний мир этой группы людей и способствовать более плодотворному диалогу: это важно еще для того, чтобы облегчить их достойное участие в жизни общин где они зачастую воспринимаются, как «другие». Речь идет прежде всего о том, чтобы лучше понять

привнесенные перспективы новопривывших, чтобы в рамках еврейских общин можно было дискутировать о совместном существовании.

Общественный контекст с его социокультурными и политически публичными дискурсами влияет на то, как различные члены общин справляются с событиями, вспоминают их, осмысливают и интерпретируют. Новопривывшие иммигранты обязательно/неизбежно вносят с собой новые интерпретационные образцы, которые четко определены страной исхода и часто отличаются от местных дискурсов. При этом должно быть принято во внимание, что иммиграция может иметь дестабилизирующий эффект и люди зачастую переживают иммиграцию, как экзистенциальный. Поэтому они часто не могут «перевести» привезенные с собой представления и ценный, но зачастую болезненный опыт адекватно имеющимся дискурсам и принятым в Германии категориям. Даже в том случае, когда между новопривывшими евреями и «старожилами» существует очень много общего, восприятие общего между разными группами часто теряется из-за часто подчеркиваемых различий и отсутствия необходимого «культурного» перевода.

Если на Западе говорят о Холокосте как о беспримерном, уникальном, обособленном феномене¹, либо как о загадочном и требующем объяснений явлении², то в Советском Союзе (и теперь в России) страдания всего советского народа во время Великой Отечественной войны тематизировались без приоритетов, как беспримерная жертва мирных советских жителей, как нечеловеческие усилия, стойкость и упорство. Термин «Холокост» вплоть до 90-ых годов оставался неизвестным. В историческом смысле советские, польские и немецкие евреи были жертвами Холокоста³. В этом контексте привнесенная советская реторика победителей ломает широко признанные на Западе категории дискурса. Категория «еврея-победителя», культивируемая многими иммигрантами, которые живут за счет немецкой социальной помощи, может восприниматься особенно противоречивой, конфузной, чреватой конфликтами, а также проблемной для «культурного» перевода.

¹ Dan Diner, 2006, Öffentlicher Vortrag in der jüdischer Gemeinde Frankfurt

² Gitelman, 1994, Kandel, 2006, Lustiger, 1998.

³ Adar 2004; Gitelman 1994; Kandel 2006; Lustiger 1998.

Термины «Катастрофа», «Холокост» или «уничтожение» [*европейского еврейства*]⁴ стали употребляться по отношению к еврейским жертвам только после перестройки⁵. До этого периода тема «Холокоста» никогда не была предметом обсуждений в советской историографии – и практически им не стала даже и после перестройки. Необходимо назвать в этой связи несколько причин: во-первых, имелся политический интерес подчеркнуть характер совместной интернациональной борьбы против фашизма, представить страну как интернациональный народ победителей, не обособляя при этом никаких групп меньшинств в качестве жертвы. Далее необходимо было выступить против нацистской пропаганды в отношении так называемого еврейско-большевистского заговора, в котором цель уничтожения еврейского народа объявлялась главной целью войны.⁶ Кроме того, были попытки приуменьшить размах коллаборационизма советских граждан при массовом уничтожении евреев с тем, чтобы подчеркнуть и культивировать единство, братский дух и патриотизм всего советского народа.⁷ Даже после наступления перестройки и гласности «запущенный процесс десакрилизации не поставил под сомнение культ Великой Отечественной войны».⁸ До сегодняшнего дня тема «Холокоста» упоминалась вскользь и лишь только касательно дискурса о коллективной памяти, поскольку основной интерес зачастую теперь фокусируется на «наследии и преступлениях коммунизма» или на процессах, объединяющих и укрепляющих нацию.⁹

В новом исследовании Ксении Полуэктовой (2009), которая анализирует роль Холокоста в пост-советских учебных историях, указывается, что ни одна проанализированная ею книга не содержит ни одного раздела или отдельной главы о Холокосте.¹⁰ Некоторым авторам, как, например в учебнике по истории для 11 класса (Арутюн Улунян и Евгений Сергеев, 2005) рекомендованном Министерством, удалось «дискутировать о политике уничтожения евреев нацистами, ни разу не употребляя при этом слова «Холокост».¹¹

Согласно интервью в своем исследовании (аналогично результатам исследований Цви Гительмана среди бывших советских евреев – иммигрантов в Детройте) незначительные и выборочные знания о Холокосте базировались в основном на фрагментарных семейных историях, а также на нескольких литературных произведениях, как, например, «Тяжелый песок» (1978) Рыбакова или «Бабий Яр» (1966) Кузнецова.¹² Как это не парадоксально, в результате тоталитарной советской политики и страха наказания за «неправильные традиции» родители опрошенных еврейских иммигрантов пытались защитить своих

детей от советского режима и страданий посредством скрытия биографий членов семей убитых во время Холокоста.

Тамара: «Они [вероятно, не говорящие по-русски] не понимают, что у нас были вырваны все корни. Я иду здесь [в Германии] по улице и вижу дом, построенный еще в 1341 году, а я не знаю даже имени своей бабушки»

Как результат частого замалчивания в семье биографий убитых во время Холокоста в сочетании с отсутствием общественного дискурса о Холокосте в целом, респонденты обладали очень незначительными знаниями о судьбах и жизни своих погибших еврейских родственников, за исключением числа убитых членов их семьи и тематизировали это, как правило, в общем контексте жертв и советского народа в течении войны в целом.

Сандомирская сформулировала в своем анализе различных канонов Отечественной войны: «Приватная биография политически была как бы вброшена в этот коллективный мега-проект... [в котором]... личная самоидентификация превращается в подобие государства».¹³

Легко можно сделать неправильные выводы, что бывшие советские евреи не имеют много общего с Холокостом, или как мне сказала одна израильская ученая на одной из конференций «Ma lahem veleschoah!» [«Холокост миновал их стороной», «Какое они вообще имеют отношение к Холокосту?»] На самом деле в каждой из опрошенных семей их члены так или иначе пострадали от Холокоста, даже если интервьюируемые формулировали это иначе (как, например «фашисты убили в Дробецком Яру» или «павшие в еврейском местечке»). Здесь речь идет скорее об особых условиях дискурсивного участия в истории Холокоста, которое иммигранты не могут ни артикулировать, ни аргументировать, поскольку в своей социализации они этого никогда не делали. Правомерным представляется вопрос, при каких условиях развиваются отсутствующие категории мышления для необходимого диалога. Контекст еврейской иммиграции в страну палачей представляется особо конфликтогенным контекстом для развития категории рефлексии. Хотелось бы утвердить, что для еврейских иммигрантов из бывшего Советского Союза в Германии тема Холокоста в целом и новая артикуляция личных повествований о Холокосте может привести к дополнительным внутренним конфликтам и противоречиям. К чрезвычайно конфликтной категории «евреи, иммигрировавшие в страны палачей Холокоста» прибавляются другие «русские

⁴ Zvi Gitelman, „Politics and the Historiography of the Holocaust in the Soviet Union“, in *Bitter Legacy: Confronting the Holocaust in the USSR*, ed. Zvi Gitelman (Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press, 1997), 18-19.

⁵ Zvi Gitelman, 1994: 117.

⁶ Ksenia Polouektova, 2009 *The Holocaust in Post-Soviet Russian History Textbooks: Texts and Contexts*, Vortrag auf der Konferenz „Neue Stimmen, erster Kongress der Nachwuchswissenschaftler im Bereich Ost-Mittel Europa, Russland und Eurasia, Universität Tel Aviv, Geschichtsschule Institut Kimerling zur Forschung von Russland und Osteuropa, 18-19.11.2009, S.2.

⁷ Ibid. S.5. - ⁸ Ibid. S.3. - ⁹ Ibid. S.13. - ¹⁰ Ibid.

¹¹ Gitelman, Zvi, „Politics and the Historiography of the Holocaust in the Soviet Union“, in *Bitter Legacy: Confronting the Holocaust in the USSR*, ed. Zvi Gitelman (Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press, 1997), 15-42.

¹² Sandomirskaya 2004:131.

в Германии» или «иностранцы» (в отрицательном смысле слова) «Ausländer» [чужаки, нем]. Обычно используемое представление, что они иммигрировали в уже изменившуюся (то есть больше не нацистскую) страну, конфронтирует с рассуждениями об эмиграции в «ту» Германию, с которой воевал Советский Союз. Так, воображаемые внутренние диалоги иммигрантов с умершими родственниками, которые были свидетелями войны и Холокоста, образно представляют внутренние конфликты.

В приводимом далее примере Катя (70 лет) в своем очень личном повествовании описывает решение эмигрировать в Германию как неправомерное вдвойне: как еврейки, внучки своей бабушки, убитой во время Холокоста и как дочери своего отца, погибшего на войне. Она говорит, что при въезде на границе она увидела «молодого немецкого молодчика с засученными рукавами и овчаркой», хотя ее сын, присутствовавший при интервью, не смог вспомнить никакой овчарки на границе, а также никаких образов нацистов с засученными рукавами.

Катя (погруженная в свои мысли): «Я часто думала и думаю до сих пор, что сказала бы мне моя мама, если бы она была жива. В самом начале перестройки мой брат [который позднее эмигрировал в Израиль] сказал ей, что есть люди, которые уезжают в Германию. Она ответила: «Как ты только можешь даже думать об этом? Мы же евреи! Ты что, забыл, что мы потеряли там твоего отца? Они убили во дворе твою бабушку-инвалида... И мы этой теме больше ни разу не касались...» [Катя уехала после того, как умерла ее мать].

Будет справедливым добавить, что единственная информация, которой Катя когда-либо располагала об истории жизни ее бабушки, состояла в том, что бабушка была парализована и транспортировать ее в последний момент перед спонтанной эвакуацией не было никакой возможности. Она осталась с русской женщиной, которая за ней ухаживала, и немцы убили бабушку прямо во дворе ее дома. Как и во многих семьях, с которыми проводились интервью, мать Кати никогда не рассказывала никаких подробностей жизни бабушки. Для Кати образ бабушки связан с единственной ассоциацией - ее убили немцы во дворе ее дома и мать всю жизнь не могла себе простить, что бабушку не удалось взять в эвакуацию с собой.

Из исследования хочется отметить еще одно наблюдение: после выезда в Германию у многих иммигрантов активируются фрагментарные, эмоционально негативно заряженные ассоциации с немцами, как нацистами, как впитанные, заученные

образы, созданные советскими кинофильмами о войне. Это нередко относится к поколению пожилых людей и зачастую в течении короткого неформального общения с немцами за пределами русского анклава. В этих коротких и поверхностных встречах «немцы» легко превращаются в категорию «бывших фашистов».

Варя (68 лет): «Часто нас [друзья в России] спрашивают: «Ну, как там в Германии?». Но в принципе мы знакомы только с русскоязычной Германией [имеет в виду анклав]. Я еще никогда не была в немецком доме. Хотя нет, один раз была. Одна немка захотела изучить русский язык, а я хотела с ее помощью выучить немецкий. Она показала мне семейный фотоальбом, где на одной из фотографий был ее брат в гитлеровской униформе. Мне стало плохо» [общение и изучение языков быстро прервалось].

В этой связи чувство победителя может играть повествовательно компенсирующую роль в особо тяжелых ситуациях дезориентации в новой стране, например, когда люди чувствуют себя особенно беспомощными или бесправными, либо они не в состоянии справиться с новой реальностью. Так обычные ежедневные ситуации, в которых, казалось бы, не существует никакой очевидной связи с немцами и войной, могут привести к тому, что ассоциации с войной могут внезапно возникнуть. Света (48 лет, учитель музыки, живет на социальное пособие) взволнованно рассказывает в интервью о случае, происшедшем с ней днем раньше.

«Вчера я со своим [9-ти летним сыном] подошла к автобусной остановке. Мы бросились к автобусу, который вот-вот собирался отъехать. Водитель автобуса видел нас, но не подождал. Он закрыл двери буквально у нас перед носом и автобус отъехал. [пауза] Ну тогда я уж и рассказала своему сыну все о войне и Холокосте!»

Реакция Светы может показаться несколько абсурдной, но, тем не менее, за любой абсурдностью проглядывает определенная логика. Такая реакция может представить своего рода разрешение новой и необычной ситуации. Местные правила следования автобуса строго по расписанию представляются Свете непривычными. Поэтому она интерпретирует действия водителя автобуса как не гуманные, неуважительные и даже враждебные - действия, которые унижают ее в глазах ее сына. В результате она находит практическое решение: она обобщает действия водителя автобуса и определяет его в макрокатегорию «немцев», которая стигматизирована исторической виной немцев как нацистов и проводит

параллели с безчеловеческим обращением с евреями во время Холокоста - и это несмотря на возможность того, что водитель автобуса в данной конкретной ситуации в принципе мог оказаться иммигрантом из, скажем, Турции.

Холокост в одном ряду с опытом других типов дискриминации

Важной составляющей попытки лучше понять опыт экс-советских евреев является то обстоятельство, что преследования и травмы начались не с наступлением периода Холокоста и тем более не прекратились с окончанием войны. Уничтожение еврейской культурной и традиционной жизни началось уже сразу после революции. Унижение и преследование евреев продолжались после царских времен, после периода репрессий (в 30-ые годы), после Холокоста до момента выезда евреев из СССР, по наступлению перестройки и никогда не прекращались. Мы видим это исторически в виде бесконечного ряда дискриминаций и преследований на протяжении нескольких (3-4) поколений. Для каждой интервьюируемой семьи существует понятие «преследование евреев» в качестве живых воспоминаний о членах семьи, которые были репрессированы в сталинские времена, убиты в период нацизма, а также бесконечных примеров еврейских иммигрантов о дискриминации во время их жизни в бывшем Советском Союзе. С биографической точки зрения эти люди не могут разделить членов их семей на погибших как солдаты, как жертвы Холокоста или репрессий или принять решение, о ком они «должны скорбеть больше». Когда участники интервью касались темы «Холокост», это происходило всегда только в контексте множественных еврейских страданий и исторически длительного периода преследований евреев. При этом непосвященных не должно смущать, что бывшие советские еврейские иммигранты могут скорее артикулировать последствия сталинских репрессий, чем Холокоста, поскольку это является темой, с которой их связывает опыт привычных дискуссий в рамках советского и постсоветского дискурса.

Антисемитская этнизация как важная категория еврейской принадлежности

Теперь мне хотелось бы представить, как иммигранты рассказывают в интервью о собственном опыте дискриминации. В случае советских евреев мы наблюдаем трагическую ситуацию, поскольку они, с одной стороны, не могли избавиться от своей

принадлежности к еврейству из-за отметки в паспорте (в пункте «еврейская национальность») и даже скрыть это, а с другой стороны, на практикование еврейского языка, культуры, традиций или религии почти 70 лет были наложены политические запреты. Из полевых исследований отчетливо видно, что люди часто были подвержены с анисемитской этнизацией как «регулируемой стигмой»¹⁴ посредством приписанных им как евреям физических характеристик. Этот процесс можно рассматривать, как изолирующий с социальным механизмом создания «ненормальности» или «не полной принадлежности», который одновременно становится значимым для собственной самоидентификации как евреев.

В каждом из своих интервью я сталкивалась с опытом прямого государственного либо ежедневного (бытового) антисемитизма в Советском Союзе.

Независимо от того, какие стратегии совладания с антисемитизмом каждый человек избирал для себя лично, коллективное сознание евреев выкристаллизовалось в стигматизированную, преследуемую и отверженную группу, которую другие исследователи определяли как «внутренние чужие» или «чужаки у себя дома»¹⁵, это несмотря на то, что 75% евреев (в соответствии с исследованиями Ительмана) чувствовали себя в СССР всю или почти всю свою жизнь «дома».¹⁶

Сергей: *«Конечно я себя там [в СССР] чувствовал, как дома, все в той стране было частью меня: язык, люди, природа...но ты всегда знал, что если что-нибудь произойдет, козлом отпущения сделают именно тебя...»*

Аналогичны результаты исследования Анны Штерншис в США и Канаде¹⁷: многие интервьюируемые рассказывали о своих внутренних конфликтах, связанных с их еврейской самоидентификацией, поскольку в Советском Союзе они были вынуждены произвольно признавать, что они уже родились с «тяжелой судьбой», а именно, как часть еврейского народа.

Вот что думает Лора в одном из интервью: *«Еврейство означает страшную историю и тяжелую жизнь. Это как клеймо у тебя на видном месте: он преследует тебя всю жизнь»* [вся жизнь разделяется на период до и после эмиграции]

Кроме советского представления о врожденном еврействе, еврейская принадлежность партнеров по интервью была сопряжена в советском контексте к таким препятствиям, как, например, ограничения при поступлении в высшие учебные заведения и

¹⁴ Rapoport, Lomsky-Feder und Heider, 2002.

¹⁵ Für den Begriff „domestic foreigners“, siehe Levinson, Alexej (1997). „Attitudes of Russians towards Jews and their Emigration 1989-1994“, In: Lewin-Epstein, Noah, Roi, Yaacov & Ritterband, Paul (eds.) *Russian Jews on Three Continents Migration and Resettlement*. London: Frank Cass, pp.: 222-233. Für den Begriff „internal strangers“ or being „abroad at home“ vgl. Slezkine, Yuri (2004). *The Jewish Century*, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

¹⁶ Gitelman, Zvi (1994). „The Reconstruction of Community and Jewish Identity in Russia“, *European Jewish Affairs*, 24 (2): 35-56.

¹⁷ Sternschis Anna (2006) *Soviet and Kosher. Jewish Popular Culture in the Soviet Union, 1923-1939*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

назначения на престижные должности, а также с постоянными сомнениями в лояльности и должном чувстве патриотизма к государству, когда евреев зачастую характеризовали как «неблагонадежных элементов», готовых в любую минуту «предать Родину». Многие на открытых институтских собраниях были вынуждены осуждать своих родственников, которые в 70-ые годы уезжали на постоянное место жительства в Израиль или США, но тем не менее, в глазах нееврейских коллег по работе становились не только лояльными, а наоборот, еще более подозрительными. Связь любого рода с Израилем наказывалась.

Наум: «Однажды у меня в институте собирали деньги на палестинцев. Я сказал: «Я ничего не дам. Они убивают мой народ». «Нет, ты обязан сдать деньги» и затем «Ты недостойн носить звание советского инженера». Чтобы меня не выгнали с работы, мне все-таки пришлось сдать деньги. И только представь себе, это были 80-ые годы!»...

Даже если объективно практически не существовало никакой культурной или языковой разницы между советскими евреями и, например, русскими или украинцами, можно было посредством искусственно сконструированных, приписываемым евреям особенностей создать ситуацию дискриминации, например, «наивными», на первый взгляд, вопросами типа «Ты дома на идише разговариваешь?» или «А по субботам ты работаешь?». Это соответствует выводу Адорно: «Фашистский антисемитизм должен в определенном плане вначале придумать свой объект»¹⁸

Рассказывает Мила: «Как-то я испекла пирожки для своих коллег по работе и одна из них со смехом спросила меня: «А они кошерные?» [хотя всем было и так понятно, что кошерными они не могут быть никаким образом] Естественно, мне стало стыдно. Я сказала: «А тебе-то какое дело?» [машет рукой, как бы говоря: добавить тут нечего] Все эти еврейские шуточки [пауза] всегда сыпали соль на раны

Кроме того, некоторые иммигранты впитали в себя антисемитизм и его ретиорику, они признаются, что во время жизни в Советском Союзе, со словом «еврей», произнесенному на русском языке, были связанные с этим словом негативные ассоциации. Как сформулировал в своем исследовании Слезкин: «Высказывание: «я – еврей» являлось или признанием вины, или проявлением вызова».¹⁹ Понятие «еврей» в моих интервью с некоторыми иммигрантами, кроме всего прочего, ассоциировалось с грязью/нечистотой, и даже с венерическими

заболеваниями, или представлялось аналогично описаниям евреев во Франкфурте в 18 веке «хитрой, мрачной, грязной и негармоничной массой».²⁰

Тот факт, что русский язык, в котором советские евреи были социализированы, был для них очень чувственным и являлся одним из «точнейших индикаторов интеллектуального и психологического климата в обществе»²¹, наглядно представляют антисемитские стереотипы. Это делалось с помощью особых языковых конструкций, как, например, уничижительные слова «жиды», «еврейчата» или «жидки», «жидиться»; «хитрые евреи», «горбоносые» как синонимы евреев, или «хайка»- от еврейского имени «Хая» для обозначения еврейской женщины. В русском языке есть понятие «еврейский акцент или еврейский выговор», которое прежде всего основывается на произношении с грассирующим «р», в отличие от твердого русского («раскатистого») «р», употребляемого остальными.

Наум, один из немногих интервьюируемых, который говорит с грассирующим «р», рассказывает:

«Пару дней назад мы позвонили нашей подруге в коммунальную квартиру в Россию. Подошла соседка [Я только спросил: «Пожалуйста, могу я поговорить с Верой?») и сказала: «Вера Михайловна, возьмите, пожалуйста, трубку – Вам тут какой-то еврей звонит: представляешь, всю мою ностальгию как рукой сняло!»

Неудивительными представляются результаты интернализации некоторых антисемитских категорий в процессе самоэтнизации и самообороны. Так, во время своего исследования я столкнулась с тем, что отдельные иммигранты никак не могли понять, что некоторые немецкие родители были готовы добровольно дать своим дочкам «такое типичное еврейское имя, как Сарра», поскольку сильно отрицательная антисемитская категория «Сарра и Абрам» также представляет одну из травм, которую и после эмиграции не всегда удается осознать и преодолеть.

Сергей, чья фамилия, кстати, звучит вполне по-еврейски: Рабинович, с удивлением замечает: «У моей дочери есть подружка в школе- Сарра! [смеется] Я спросил ее: а где же твой Абрам? [смеется] Как это они [немцы] могут давать своим собственным детям такие имена? Я этого понять не могу. Ты только представь, знаешь, они такие странные – назвать свою собственную дочь Саррой! Ну, я не знаю...»

¹⁸ (Horkheimer and Adorno 1997 (1947):237).

¹⁹ Slezkin 2004:108.

²⁰ Diemling 2005:80.

²¹ Malachov 2001:106.

коснулась практически всех. Большинство наших родственников погибли в еврейских местечках. [пауза] Но у нас не было ни тени сомнения, когда мы ехали сюда, потому что они [немцы] страдали еще больше. Война обернулась для немцев большой трагедией. Их подвергали бомбардировкам англичане и американцы. И теперь, если они должны отвечать за своих предков, то мы тогда тоже должны отвечать за своих: за репрессии, за революцию [пауза, замечает, что логика ее высказывания вероятно нарушена и потом заключает]. Самое главное для евреев - выжить, неважно где».

Заметно, что Рита выбирает слово «пали» а не «убиты», когда она говорит о своих родственниках, убитых в еврейском местечке. Этот выбор слов подсознательно соответствует цели в значительной степени уравнивать противоречивые повествования. При этом масштаб Холокоста сильно принижен за счет сравнения с другими жертвами войны (советские солдаты или даже немецкие). Как дочь солдата и родственница жертвы Холокоста, которая должна объяснять себе и другим людям свое решение переехать в страну бывших преступников и врагов, она создает некий легитимный мостик и считает, что приехала в другую страну, в которой и «немцы» страдали от войны и сделали для себя исторический вывод. Когда она обращается к аргументу о страдавших под бомбардировками немцам, она, что интересно, употребляет не советское понятие «другие», на чьей стороне воевал и ее отец, а говорит об американцах и англичанах. Этот конструкт соответствует советской риторике абсолютных и не подвергающихся ни малейшему сомнению победителей. Но зияющие противоречия и несоответствия различных нарративов очень трудно преодолеть. Рита, которая страдает от серьезного заболевания и надеется вылечиться в Германии, из-за чего, собственно, и эмигрировала, заканчивает свое противоречивое интервью весьма характерной для еврейских рассказов фразой: «Самое главное для евреев-выжить, неважно где».

Abhängigkeit und Betreuung im Schatten der Shoah

Erfahrungen psychosozialer Betreuung von Überlebenden in Deutschland

1. Einleitung

Nach der Shoah¹ und der Schließung der *Displaced Persons (DP)* Lager zu Beginn der 1950er Jahre war das Leben der Juden in Deutschland – neben den alltäglichen Überlebenssorgen - von Diskussionen darüber geprägt, ob man im Land der Täter bleiben könne oder nicht. In dieser Ambivalenz wurden die ersten jüdischen Gemeinden und Institutionen (wieder) aufgebaut. Gleichzeitig prägte die Debatte um sogenannte Wiedergutmachungszahlungen und die Rückgabe jüdischen Eigentum im Kontext des aufstrebenden Wirtschaftswunderlandes (BRD), der Stunde-Null-Ideologie in beiden Deutschen Staaten und der damit einhergehenden Schlussstrich-Debatte das Mit- oder Gegeneinander jüdischen Lebens in Deutschland. Es dominierte die Denkweise, nach vorne zu blicken, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein neues Leben aufzubauen. Da es die Norm für in Deutschland lebende Juden war, den Nazi-Terror überlebt zu haben, war die spezifische Beschäftigung mit den erlebten Traumata und seinen Nachwirkungen kein besonderes Thema. Die Floskel *„er ist von dorten“* erklärte jegliches abweichend erscheinende Verhalten und war Legitimation für Nachsicht und Akzeptanz von Sonderlichkeiten im Umgang mit anderen. Der Beitrag beschreibt die Entwicklung von Konzepten psychosozialer Betreuung von Überlebenden der Shoah in Deutschland und deren Anpassung an die unterschiedlichen Überlebens- und Verfolgungserfahrungen und kulturellen Hintergründen. Sozialarbeiter, Therapeuten und Betreuer mussten die verschiedenen Verhaltensweisen, Erwartungen und Bedürfnisse der Überlebenden aus der ehemaligen Sowjetunion und denjenigen, die nach Kriegsende bis in die 1980er Jahre nach Deutschland einwanderten, unterscheiden lernen. Der Text setzt sich mit dem dringenden Bedarf nach Professionalisierung auf diesem Arbeitsfeld auseinander und stellt die sich verändernden Bedürfnisse in den Mittelpunkt, die sich aus den zunehmenden Anfragen von *child survivors*² ergeben. Dabei umreißt er verschiedene Gesichtspunkte, Mechanismen und Konzepte, die dringend verändert oder angepasst werden müssen, um eine angemessene Betreuung für die verschiedenen Gruppen von Überlebenden der Shoah zu gewährleisten.

Mit dem Älterwerden dieser Generation veränderte sich nicht nur die Perspektive, sondern auch der Alltag. Mit dem Ende des aktiven Arbeitslebens und dem altersbedingten Verlust von Freunden, Weggefährten und Partnern fiel es Überlebenden immer schwerer, die

traumatischen Erlebnisse zu verdrängen. Die ‚Gespenster‘ klopfen unerbittlich an die Türen und Fenster und die Erinnerungen ließen sich nicht mehr so leicht vertreiben. Die *Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST)* schätzt die Anzahl der Überlebenden der Shoah heute auf ungefähr 30.000 – 40.000 unter den 104.000 Mitgliedern jüdischer Gemeinden in Deutschland. Die Anzahl nicht registrierter in Deutschland lebender Juden wird ähnlich hoch angenommen, ist aber nicht dokumentiert. Erst in den 1990er Jahren entstanden die ersten Initiativen für Überlebende bzw. deren Kinder, der 2. Generation. 2002 richtete die ZWST das erste psychosoziale Zentrum für Überlebende der Shoah in Deutschland ein. Basierend auf dem Wissen um Lücken bei der Betreuung, aber ohne systematisierte Erfahrungen, den wachsenden Bedarf älter werdender Überlebender zu decken, versuchten Fachleute aus den Erfahrungen in anderen Ländern zu lernen. Dabei waren sie sich der Unterschiede bewusst, die sich aus den sozioökonomischen, kulturellen und psychosozialen Bedingungen ergeben, unter denen Überlebende im Land der Täter leben. Der Aufsatz versucht einen Überblick über die bislang in diesem und anderen in der Zwischenzeit initiierten Projekten gemachten Erfahrungen zu skizzieren.

2. Historischer Hintergrund der jüdischen Gemeinden nach dem 2. Weltkrieg

Nach dem 2. Weltkrieg stellten die Alliierten fest, dass ungefähr 17.000 Juden außerhalb der Konzentrationslager in Deutschland geblieben waren. Die meisten von ihnen waren durch Familienmitglieder ihrer nichtjüdischen Ehepartner geschützt bzw. versteckt worden. Mehrheitlich stammten diese Überlebenden aus weitgehend assimilierten Familien mit geringem Bezug zu und wenig Kenntnis der jüdischen Tradition und Religion. Neben dieser Gruppe meist deutscher Juden lebten zwischen 1945 und 1950 zeitweilig ungefähr 200.000 sogenannte jüdische DPs in Deutschland, die durch die Alliierten aus den verschiedenen Konzentrationslagern befreit worden oder 1946 aus Osteuropa in den westlichen Teil Deutschlands nach dem ersten antisemitischen Pogrom in Kielce/Polen (Richarz 1986: 16f) eingewandert waren. Als 1952 die meisten DP Lager aufgelöst wurden, hatte die Mehrheit der Überlebenden bereits ihren Weg in die USA, nach Israel, Australien oder in andere Länder gefunden. 1950 wurde die Dachorganisation der jüdischen Gemeinden in Deutschland, der Zentralrat der Juden in Deutschland, 1951 die

¹ Shoah ist das hebräische Wort für die Verfolgung der Juden durch die Nazis während des 2. Weltkrieges. Da sich mein Artikel mit jüdischen Überlebenden befasst, benutze ich diesen Begriff, der im jüdischen Kontext weltweit gebräuchlich ist. Der Begriff Holocaust bezieht alle anderen Gruppen von Verfolgten wie Sinti und Roma, Behinderte, Homosexuelle usw. ein.

² Überlebende, die nach der Definition der Claims Conference zum Ende des 2. Weltkrieges nicht älter als 16 Jahre alt waren.

ZWST gegründet. Sie vertraten ungefähr 50 Gemeinden mit rund 15.000 Mitgliedern ([http://www.zentralradjuden.de/de/topic/; 2/25/2012](http://www.zentralradjuden.de/de/topic/;2/25/2012)). Die meisten dieser Gemeinden verstanden sich als zeitlich befristete Einrichtungen, die den Exodus der verbliebenen europäischen Juden aus dem Land der Täter organisieren sollten, weil sie weder eine Zukunft für jüdisches Leben in Deutschland sahen, noch den Deutschen über den Weg trauten. Die hier verbliebenen Juden wurden darüber hinaus weltweit von ihren Glaubensgenossen verurteilt, weil man nicht akzeptieren konnte, dass Juden nach der Shoah in diesem Land bleiben konnten. Wer die Gelegenheit hatte, das Land zu verlassen, tat dies. Wer es sich leisten konnte, schickte seine Kinder auf Internate nach England, Frankreich, in die Schweiz usw. Auf gepackten Koffern zu sitzen, war die vorherrschende Einstellung. In den ersten drei Jahrzehnten nach dem Krieg erlebte diese neue und fragile Gemeinschaft vor allem auf Grund der verschiedenen politischen Umbrüche in Osteuropa, z.B. in Ungarn, der Tschechoslowakei, Rumänien, Polen usw. mehrere Migrationswellen. Die meisten dieser Immigranten waren Überlebende der Shoah mit ihren Kindern. Bis zum Ende der 1980er Jahre nannte die ZWST in ihrer zentralen Gemeindestatistik 54 jüdische Gemeinden mit fast 28.000 Mitgliedern (in der Bundesrepublik Deutschland). Im ersten Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1989 und der Auflösung der Sowjetunion wurden mehr als 103.000 jüdische Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion in die jüdischen Gemeinden in Deutschland aufgenommen oder gründeten neue. 2010 gab es 130 Gemeinden mit ca. 107.000 Mitgliedern.³

Diese Zahlen vermitteln einen ersten Eindruck der Schwierigkeiten, denen sich jüdische Gemeinden von Anfang an gegenüber sahen. Nach dem Krieg eine Infrastruktur Sozialer Arbeit auf den Ruinen einer einst lebendigen und vielschichtigen Gemeinschaft aufzubauen, war kein einfaches Ziel, noch dazu bei einer Fluktuation von ungefähr 200.000 Menschen in 6 Jahren. Hauptaugenmerk lag damals auf dringenden Anliegen wie Ernährung und Unterkunft, der Unterstützung bei Emigrationsverfahren sowie dem Aufbau von Erziehungs- und Kultusangeboten. Sich mit psychosozialen Fragen zu befassen, gehörte nicht dazu. Als 1951 die ZWST die Soziale Arbeit der neu gegründeten jüdischen Gemeinden zu koordinieren begann, stellte der *JOINT*, der zusammen mit anderen internationalen jüdischen Organisationen bis dahin den Großteil jüdischer Wohlfahrtsarbeit in Deutschland geleistet hatte, fest, dass 60 % der in Berlin lebenden Juden bedürftig waren (Scheller 1992: 146). Jüdisches Leben in Deutschland als nur provisorisch zu betrachten, war immer noch die vorherrschende Meinung. Der sogenannte Wiedergutmachungsvertrag von 1952 brachte bis 1959 ungefähr 9000 Juden deutscher Herkunft wieder zurück nach Deutschland

(Maor 1961:32), von denen die meisten nur einige Jahre bleiben wollten. Sogar für diese deutschen Juden war es unvorstellbar, sich in Deutschland nach dem Albtraum der Shoah wieder zu Hause zu fühlen. Umso mehr galt dies für die DPs aus Osteuropa oder anderswo, die im ‚Land der Nazis‘ gestrandet waren. Ihre Kinder, die 2. Generation, wuchsen mit der Vorstellung auf, am falschen Ort zu leben, und warfen ihren Eltern vor, dieses Land nicht in Richtung Israel oder Vereinigte Staaten verlassen zu haben. Sie zeigten wenig Interesse daran, am Aufbau einer neuen, demokratischen deutschen Gesellschaft teilzunehmen. Als der Architekt des neuen Gemeindezentrums in Frankfurt/Main, Salomon Korn, bei der Einweihung 1986 bemerkte *„Wer ein Haus baut, will bleiben“* (Korn 1999:73), wurde diese Aussage in den Medien als begierig erwarteter Beweis dafür gewertet, dass Jüdisches Leben in Deutschland wieder seinen Platz gefunden hat. Mit zwei zerbrochenen Gesetzestafeln an der Fassade symbolisierte er die nie endende Erinnerung an die Zerstörung und die noch herrschende ambivalente Einstellung gegenüber einem respektierten und sicheren Leben im Land der Täter. Nicht jeder stimmte zu. Zu Beginn der 1990er Jahre, im Nachklang der Vereinigung beider Deutscher Staaten, wuchs die Anzahl rassistischer und antisemitischer Übergriffe deutlich an. Viele Gemeindemitglieder kauften sich damals Wohnungen in Israel oder bewarben sich um eine Green Card, um in die USA auszuwandern. Besonders bei den Überlebenden der Shoah riefen diese Übergriffe unweigerlich Flashbacks und Retraumatisierungen hervor.

Im selben Zeitraum wanderte eine gewaltige Zahl von Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland ein, die auf soziale, finanzielle und institutionelle Hilfe angewiesen waren. Einer Statistik der ZWST aus dem Jahr 2010 zufolge waren 1989 11.999 Gemeindemitglieder (ausschließlich in der BRD) 51 Jahre und älter, was 44% der Mitglieder aller Gemeinden entsprach⁴. Ca. zwanzig Jahre später (2010) waren 26.466 Mitglieder der wiedervereinten deutschen Gemeinden älter als 70 Jahre (25 %), 44.016 Mitglieder waren älter als 60 Jahre (42 %) (ZWST 2004:9 und 2010: 3). Dies bedeutet, dass in ca. 21 Jahren die Anzahl der Mitglieder im Alter von Überlebenden der Shoah um mehr als 20.000 Personen angewachsen war. Nicht jeder dieser Altersgruppe ist ein Überlebender nach den Richtlinien der Claims Conference (JCC) und nicht jeder Überlebende der Shoah in Deutschland ist Mitglied einer jüdischen Gemeinde. Da es weder für Überlebende der Shoah noch für Opfer der Nazi-Verfolgung eine zentrale Datenbank gibt, basieren Angaben zur Anzahl von Überlebenden auf Hochrechnungen und Schätzungen. Dies verursacht Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Konzepten, bei Verhandlungen und der Bereitstellung finanzieller Mittel.

³ Der Jahresbericht von 2010 der ZWST registriert nur 108 Gemeinden. Es gibt 22 weitere Gemeinden, die in der Union der progressiven Juden in Deutschland organisiert sind.

⁴ 1989 war ein Überlebender der Shoah 45 Jahre und älter, 2010 waren Überlebende mindestens 66 Jahre alt.

3. Wer ist Überlebender der Shoah?

Zur Definition der Zielgruppe

Aufgrund unterschiedlicher Geschichtsrezeptionen, den Folgen des 2. Weltkrieges sowie den Auswirkungen der Shoah auf Jüdisches Leben und Soziale Arbeit in Europa ist es notwendig, eindeutig zu definieren, wer die Zielgruppe psychosozialer Betreuung für Überlebende der Shoah ist.

Als die deutschen Behörden (BRD) 1953 das Bundesentschädigungsgesetz (BEG) verabschiedeten, benutzten sie auch den Begriff „Verfolgte“ für die Opfer des Nazi-Terrors im ersten Absatz.

„Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung ist, wer aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt worden ist und hierdurch Schaden an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, in seinem beruflichen oder in seinem wirtschaftlichen Fortkommen erlitten hat (Verfolgter).“ (BEG § 1,1)

In einem weiteren Artikel verbanden sie dieses Gesetz mit dem Bundesvertriebenengesetz und verknüpften die Entschädigung für die Verfolgung durch die Nationalsozialisten mit den Ansprüchen der deutschen Bevölkerung, die während des Krieges oder direkt danach vor der russischen Armee geflohen oder durch sie vertrieben worden war. Da nur Bewohner der BRD Anspruch auf Leistungen im Rahmen des Gesetzes hatten, waren die meisten Anspruchsberechtigten deutsche Kriegsflüchtlinge; eine bittere Pille, welche die Überlebenden zu schlucken hatten und ein Grund dafür, dass einige Tausend Überlebende in den 50er Jahren nach Deutschland (ihrer Meinung nach vorübergehend) einwanderten.⁵

Im Jahresbericht von 2002 veröffentlicht die *Conference of Jewish Material Claims Against Germany* (Claims Conference - JCC) eine Definition für Überlebende der Shoah, die von den meisten Organisationen, die mit Überlebenden arbeiten, übernommen worden ist.

Demnach ist ein Überlebender der Shoah

„ein Jude, der in einem Land lebte während dieses sich unter einem Nazi-Regime, einer Besatzung durch die Nazis oder einem Regime von Nazi-Kollaborateuren befand, oder der in ein Land oder eine Region, die sich nicht unter nationalsozialistischer Herrschaft oder Besatzung befanden, aufgrund der nationalsozialistischen Herrschaft oder Besatzung geflüchtet war.“ (Claims Conference 2002)

Diese Definition, die auch AMCHA in Israel benutzt, basiert auf der Annahme, dass sich jede jüdische Person, ungeachtet ihres Alters, Geschlechts, religiöser oder politischer Orientierung, sozialen oder wirtschaftlichen Lage, im Einflussgebiet des „Dritten Reiches“ aufgrund der rassistischen Ideologie und der Gesetze, die von der nationalsozialistischen Regierung in Kraft gesetzt worden waren, in Lebensgefahr befand. Diese Definition eines Überlebenden macht keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Varianten des Überlebens der Shoah. Wem es gelang zu überleben und den oben genannten Kriterien entspricht, ist ein Überlebender.

Was die Überlebenden selbst betrifft, so macht es einen Unterschied, auf welchem Gebiet der Welt ein Jude während des 2. Weltkrieges lebte (und in einigen Teilen Europas bereits vor dem Krieg). Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Besetzung Nordafrikas durch die von Rommel angeführte Armee oder die Existenz eines Ghettos in Shanghai. Zum Beispiel ist ein Jude, der von Deutschland 1930 in die USA oder nach Palästina auswanderte (auch diese Person verließ ihre Heimat aufgrund des wachsenden Bedrohung durch die Nazis), laut der oben genannten Definition kein Überlebender. Wäre dieser Mensch in die Niederlande oder nach Frankreich ausgewandert, wäre die Lage möglicherweise anders.

Es kann allgemein vorausgesetzt werden, dass ein Jude, der zwischen

1933/35 – 1945	in Deutschland
1937 – 1945	in Österreich oder der Tschechoslowakei
1939 – 1944/45	in Polen
1939 – 1943/44	in Italien
1940 – 1945	in Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen
1941/42 – 1943/44	in der Sowjetunion
1941 – 1944	auf dem Balkan und
1941 – 1943	in Nordafrika

lebte oder von dort geflüchtet war, vom Nazi-Regime, dessen Agenten oder Verbündeten verfolgt oder bedroht wurde und sich demzufolge in Lebensgefahr befand.⁶

⁵ <http://www.gesetze-im-internet.de/be/index.html>

⁶ Vgl. *Second_world_war_europe_animation_large_de.gif*, 12/27/2011

Derartige Abgrenzungen sind vor allem im Kontext juristischer Auseinandersetzungen wie etwa bei Entschädigungsverhandlungen von Bedeutung. Da eine große Anzahl Überlebender im Kindesalter immer noch nicht entschädigt bzw. als ‚Verfolgte‘ im Sinne der Gesetze anerkannt wurden, gelang der JCC die Definition derjenigen, die ein Anrecht auf spezielle Entschädigungsprogramme haben, zu erweitern. In Verhandlungen mit der deutschen Regierung wurden die entschädigungsrelevanten Lebensräume ausgedehnt und der Begriff der ‚fetus cases‘⁷ eingeführt. Für die tägliche psychosoziale Unterstützung und Hilfe für Überlebende stellen diese Kriterien eine Richtlinie dar. Sozialarbeiter müssen sich aber mit individuellen Schicksalen, dem vielschichtigen sozialen Leben und den Familienstrukturen ihrer Adressaten auseinandersetzen. Dies bedeutet, dass in der Realität Sozialer Arbeit derartige Abgrenzungen verschwimmen. Trotzdem sind exakte Definitionen notwendig, um den Rahmen zu beschreiben, in dem u.a. Sozialarbeiter bei der Betreuung und Begleitung von Überlebenden agieren. Hierbei wird die Relevanz umfassenden historischen Wissens über die Shoah für Soziale Arbeit deutlich. Detaillierte Kenntnisse der Geschichte bieten einen wichtigen Hintergrund, um Menschen zu verstehen, die traumatische Erlebnisse nur andeuten, die damit überlebt haben, sich zu schützen, zu vergessen bzw. zu verdrängen und ihre Erfahrungen weitgehend für sich zu behalten.

4. Adressatengruppen der Zentren für Überlebende

Im Rahmen psychosozialer Versorgung von Überlebenden im hohen Alter haben wir es mit zwei Hauptgruppen zu tun: den Überlebenden selbst und ihren Angehörigen. Beide Gruppen werden im Folgenden noch differenziert. Diese Differenzierung ist sinnvoll, weil die Kenntnis verschiedenartiger, mehrfach-traumatisierender Erlebnisse und möglicher daraus folgender posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) Sozialarbeitern, Pflegepersonal, Therapeuten usw. helfen können, besser auf überraschende Verhaltensmuster in ihrer Arbeit vorbereitet zu sein.

Überlebende der ersten Generation

Ältere Überlebende haben je nach ihrem Herkunftsland Diskriminierung, Aufenthalt in Ghettos, Konzentrations- oder Arbeitslager, Sklavenarbeit, Deportation, Todesmärsche, Flucht, Verstecke, Illegalität und/oder falsche Identitäten durchlebt und/oder kämpften gegen die Nazis und ihre Verbündeten, indem sie sich Partisanengruppen oder Armeen anschlossen.

„Ältere Überlebende des Holocaust leiden in zunehmendem Maße unter einer Kombination von post-traumatischen Symptomen wie intrusiven Gedanken und Gefühlen über ihre Erfahrungen während des Holocaust, unter wachsenden Gefühlen der Depression und Isolation, die durch den Verlust an Kontrolle über ihre körperlichen und geistigen Funktionen ausgelöst werden. Als Folge hiervon werden viele von Schuldgefühlen, Trauer, schrecklichen Alpträumen und entsetzlichen Ängsten vor drohenden Gefahren und Katastrophen heimgesucht. Zusätzlich zu diesen post-traumatischen Reaktionen, reagieren Überlebende auch traumatisch auf Veränderungen, die als Folge des Älterwerdens eintreten: Partnerverlust, Einsamkeit und physische Beeinträchtigung. Solche Veränderungen verschlimmern die post-traumatischen Symptome häufig und erhöhen die Anzahl älterer Überlebender, die psychologische und soziale Unterstützung benötigen.“ (AMCHA Webseite 3/2/2012)

Nach dem Krieg in Deutschland ‚gestrandet‘ und dazu gezwungen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, hatten sie nur eingeschränkte Möglichkeiten, die Landessprache zu lernen und fühlten sich oft hilflos und überfordert gegenüber bürokratischen Anforderungen, wenn es um Anträge auf Genehmigungen oder Unterstützung ging. Hinzu kam, dass die Vertreter deutscher Bürokratie als potentiell feindlich empfunden wurden. Schließlich konnte jeder Angestellte hinter dem Schreibtisch ein ehemaliger Nazi sein. Das Leben im Land der Täter war vor allem in den ersten Jahren von Ambivalenzen, Ängsten und schlechtem Gewissen geprägt.

Child Survivors

Nach 1928 geborene Überlebende werden *child survivors* genannt. Nur eine kleine Gruppe von ihnen, hauptsächlich die älteren, machten Konzentrations- und Arbeitslager durch, eine sehr große Anzahl war in Ghettos gefangen, oder getrennt von ihren Familien, bei christlichen Nachbarn oder Helfern, in Klöstern oder Waisenhäusern, auf dem Land, in Wäldern und sonst irgendwo versteckt. Sie lebten mit falschen Identitäten, wurden auf ‚Kindertransporten‘ in andere Länder verschickt oder von hilfsbereiten Menschen adoptiert. Die Schrecken des Krieges und der Verfolgung erlebten viele von ihnen in frühester Kindheit, manchmal ohne zu wissen, woher sie stammten und mit dem Gefühl, schutzlos und allein zu sein, ohne zu wissen warum.

„Als Kinder verlassen zu sein und keinen Schutz Erwachsener zu genießen, scheint Konflikte mit ihrer eigenen Identität hervorgerufen zu haben. Viele von ihnen haben eine Vielzahl unterschiedlicher und außergewöhnlicher Überlebensstrategien entwickelt, um mit den extremen Deprivationen fertig zu werden. Wie zu erwarten klingt eine solche Traumatisierung in der gesamten Lebensspanne des

⁷ Ungeborene, die im Mutterleib die Verfolgung überlebten und nach Beendigung des Krieges geboren wurden

überlebenden Kindes nach und viele der früh entwickelten Strategien werden das ganze Leben hindurch beibehalten. Trotz des oft ausgezeichneten Funktionierens im Berufsleben, leiden viele Child Survivors seelische Not und ihre Lebenskraft schwindet, wenn sie sich dem Rentenalter nähern. Das allgemein mit diesem Alter einhergehende Nachlassen der Funktionen aktiviert möglicherweise die Ängste aus der Vergangenheit, die aufgeschobene Trauer um die bedeutsamen Verluste in der Kindheit und ruft Depressionen hervor.“ (AMCHA Webseite 3/2/2012)

Wer von ihnen in christlicher Umgebung überlebte, kam nach dem Krieg oft nicht mit Jüdischem Leben in Kontakt, entweder durch Eheschließung mit Nichtjuden oder weil sie sich von älteren Überlebenden und jüdischen Institutionen nicht anerkannt fühlten, da sie ihren jüdischen Hintergrund nicht verifizieren konnten. Bis ins hohe Alter leben sie in einer Ambivalenz in Bezug auf ihre Zugehörigkeit und Identität und haben Probleme, im Ruhestand die nötige Unterstützung für ihre psychologischen und sozialen Bedürfnisse zu erhalten, weil sie ihre wahre Identität immer noch verbergen.

Hinzu kommt, dass diejenigen, die das Glück hatten nach dem Krieg ihre Eltern (oder auch nur einem Elternteil) oder enge Familienmitgliedern wieder zu finden, nicht nur durch ihre eigenen Erlebnisse traumatisiert waren. Als versteckte Kinder wurden sie von älteren Überlebenden mit ihren traumatisierenden Erlebnissen meist nicht ernst genommen und litten zusätzlich zu ihrem eigenen Trauma ähnlich der zweiten Generation unter der transgenerativen Übertragung der Traumata und Re-Traumatisierungen der mit ihnen lebenden Erwachsenen (vgl. Grünberg 2009: 39). Bezugnehmend auf die Rede Robert Krells vor dem World Council of Jewish Communal Service von 1998 definiert Alexandra Rossberg auch diejenigen als child survivors, denen es gelungen war zu überleben, weil sie einer sogenannten gemischten Ehe entstammten, sowie Kinder, die von ihren Eltern vor der Nazi-Herrschaft aus Europa weggeschickt worden waren oder fliehen konnten, aber ihre gesamte Familie verloren hatten, sowie diejenigen, die aus dem Territorium der Sowjetunion in unbesetzte Gebiete geflüchtet und unterwegs Waisen geworden waren (Rossberg 2003: 101).

Ehe- oder Lebenspartner

Wenn Überlebende psychologische und soziale Hilfe benötigen, hat man es implizit auch mit Familienmitgliedern und Angehörigen zu tun. Den Begriff der Angehörigen benutzen wir hier nicht nur für Ehe- oder Lebenspartner, Kinder, Geschwister oder entfernte Verwandte, sondern auch für Angestellte und Betreuer, die täglich den Haushalt von Überlebenden versorgen.

Lebenspartner von Überlebenden sind häufig selber Überlebende oder deren Kinder und haben – wie bereits

ausgeführt – ihre eigenen traumatischen Erfahrungen, die im Falle einer Krise posttraumatische Symptome auslösen können. Aber auch Partner, die selbst nicht Überlebende sind – seien sie jüdisch oder nicht – können unter sekundärer Traumatisierung leiden. Sie leben seit Jahren oder Jahrzehnten mit traumatisierten Menschen zusammen und sind die ersten, die mit den Alpträumen und Ängsten ihrer Liebsten konfrontiert werden. Sie leiden unter deren Depressionen, aggressiven Ausfällen, Panikattacken oder unverständlichen Reaktionen. Für gewöhnlich besteht ihr soziales Umfeld ebenfalls aus Überlebenden. Wenn ihre Partner von Hilfe abhängig werden, ruft dies ein massives Retraumatisierungspotenzial hervor und gefährdet die eheliche Gemeinschaft. Manchmal sind die Partner die einzigen Menschen, die die gehüteten Geheimnisse und das stille Leid ihrer Liebsten kennen.

Die zweite Generation

Kinder von Überlebenden, die meist nach dem Ende des 2. Weltkriegs geboren wurden, leiden oft selbst unter sekundärer Traumatisierung. Aufgrund der sequenziell erzählten Erinnerungen oder des Schweigens ihrer Eltern (vgl. Kurt Grünberg 2001: 185) und der besonderen Form der Beziehung haben Kinder von Überlebenden ihr eigenes Paket an Traumata zu tragen. Meist in frühen Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland eingewandert oder in DP Lagern geboren, mussten sie zusätzlich die Aufgaben von Migrantenkindern erfüllen. Sie waren Dolmetscher, Pflegekraft und Mediator für ihre Eltern bei den Behörden, mit denen in Kontakt zu treten ihre Eltern nicht in der Lage oder willens waren. Neben der Bürde der Nachkriegsrealität in Deutschland war dies ein Schlag für jedes ‚normale‘ Eltern-Kind-Verhältnis. Zusätzlich fühlten sie sich verantwortlich, „die Lücken, die die ermordeten Verwandten hinterlassen hatten, zu füllen und ihre Eltern wegen der vielen Verluste zu trösten“ (AMCHA Webseite 3/2/2012). Viele von ihnen wurden nach ermordeten Familienmitgliedern ihrer Eltern benannt. Überlebende in Deutschland schickten ihre Kinder oft zu Beginn der Adoleszenz zur ‚besseren‘ Erziehung auf Internate ins Ausland. Heute begründen das viele damit, den Kontakt zwischen ihren Kindern und den Kindern der Täter nicht ausgehalten zu haben. Sie befürchteten zudem, ihre Kinder nicht richtig erziehen zu können und/oder wollten sie vor der Übertragung ihrer eigenen Traumata schützen.

Ob sie die Überlebengeschichte ihrer Eltern nun kennen oder nicht, das einzige Kind sind, ein Geschwister oder ein Elternteil durch Krankheit oder Selbstmord verloren haben, ob sie behindert sind, mit einem Überlebenden verheiratet oder anderes mehr; sie benötigen oft selber psychosoziale Unterstützung oder Hilfe und Beratung, vor allem wenn sich ihre Verwandten in einer Krise befinden. Von ihrer persönlichen Lebenssituation und ihren Fähigkeiten hängt oft ab, ob Fachleute zur Unterstützung eines sich in einer Krise befindlichen Überlebenden kontaktiert werden und ob diese angemessene Angebote für die Betreuung zu

Hause oder in einer Einrichtung, für die Nutzung von Sozial- und Pflegediensten oder gegebenenfalls für Palliativpflege erhalten.

Weitere Angehörige

Neben Ehepartnern, Kindern oder entfernten Verwandten von Überlebenden brauchen Angestellte, Haushaltshilfen oder persönliche Betreuer der Überlebenden Unterstützung. In Deutschland kommen sie häufig aus osteuropäischen Ländern, haben keinen jüdischen Hintergrund und oft einen geringen Bildungsstand. Sie arbeiten und leben tagtäglich mit den Überlebenden zusammen, oft ohne oder mit nur geringen Deutschkenntnissen. Sie sind getrennt von ihren eigenen Familien und haben wenig Kenntnis von den besonderen Herausforderungen, die mit der Betreuung von älteren, mehrfach traumatisierten Menschen einhergehen. Sie benötigen Erklärungen, Coaching oder Mediation im Hinblick auf das manchmal beängstigende oder merkwürdige Verhalten der Menschen, um die sie sich kümmern müssen.

Bei allen Überlegungen muss uns bewusst sein, dass der größte Teil der Überlebenden, die heute in Deutschland leben, in den letzten 20 Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion (SU) eingewandert ist. Diese Menschen sind mehrfach traumatisiert, nicht nur weil die Immigration ihren früheren sozialen Status von hoch gebildeten Akademikern zu Sozialhilfeempfängern mit wenig Anerkennung und geringen Kommunikationsfähigkeiten in der Landessprache verändert hat. In der SU litten sie oft auch nach dem Ende des 2. Weltkrieges unter antisemitischer Diskriminierung und/oder wurden Opfer des Stalinistischen Terrors. Die biographische Rezeption der Relevanz der Shoah ist eingebettet in die nachfolgenden Erfahrungen von Diskriminierung und Verfolgung nach dem 2. Weltkrieg und unterscheidet sich gänzlich vom Schicksal der Überlebenden, die nach der Shoah bis zum Ende der 1970er Jahre nach Deutschland einwanderten (vgl. Julia Bernstein 2010: 73). Ihre Erfahrungen, ihr kultureller und politischer Hintergrund und ihre Erwartungen an Sozialhilfe und den Pflichten der Gesellschaft ihnen gegenüber haben einen wichtigen Einfluss auf die Anforderungen an Soziale Arbeit mit diesem Adressatenkreis. Er unterscheidet sich von anderen Überlebenden-Gruppen.

5. Das ‚Treffpunkt‘ Projekt der ZWST in Frankfurt am Main

Anders als in den Niederlanden oder England, wo bald nach dem Krieg mit der psychosozialen Versorgung von Überlebenden und deren Dokumentation begann (vgl. Keilson 1979; Lanser 2003; Hasan 2003), brauchten die jüdischen Institutionen in Deutschland lange, um die

Notwendigkeit spezifischer Hilfsangebote für Überlebende und deren Familien zu erkennen. Vereinzelt entstanden private Initiativen, meistens durch Überlebende oder Angehörige der 2. Generation wie Esra in Berlin in den 1980ern. Ende der 1980er Jahre entwickelte der Psychoanalytiker Isidor J. Kaminer das Konzept eines mobilen Beratungsdienstes im Rahmen der ZWST, das aber nicht umgesetzt wurde⁸. 1990 wurde der Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte in Köln gegründet, der vor allem von Nicht-Juden genutzt wird. Ende der 1990er Jahre begann eine anhaltende Debatte innerhalb jüdischer Wohlfahrtsorganisationen und -einrichtungen über professionelle Wege, Überlebende zu unterstützen und sich ihren wachsenden Bedürfnissen anzunehmen. Seit 1999 werden regelmäßig Seminare zur Arbeit mit Überlebenden für Sozialarbeiter, Pflegekräfte und Betreuer im Rahmen der Schulungsprogramme der ZWST abgehalten. Erst 2001 gründete sich mit dem Verein der Child Survivors Deutschland eine politisch unabhängige jüdische Überlebenden-Organisation⁹.

Zu dieser Zeit wurden auch die ersten Schritte zur Einrichtung einer Initiative unternommen, die Programme zur Unterstützung von Überlebenden der Shoah im Rahmen der ZWST entwickeln sollte. Unter Leitung von Benjamin Bloch, dem Direktor der ZWST, diskutierten Psychoanalytiker, Ärzte, Sozialarbeiter und Wissenschaftler, alle Vertreter der Zweiten Generation, über Anforderungen und unterschiedliche Betreuungs-Konzepte. Die ersten Vorstellungen konzentrierten sich zunächst auf Ausbildungs- und Netzwerkprogramme für Fachleute, weil konstatiert wurde, dass jeder Spezialist Dienste und Lösungen nur für Teilaspekte der Probleme und Herausforderungen anbieten könne, mit denen Überlebende konfrontiert seien. In den Augen der Fachleute kamen die meisten Überlebenden, mit Ausnahme der Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion, selten mit Sozialdiensten in Berührung, obwohl ihre Bedürfnisse wegen ihres Alters oder des Aufkommens von Symptomen der Retraumatisierung immer größer wurden. Durch den Erfahrungsaustausch mit Vertretern von Wohlfahrtsorganisationen für Überlebende in anderen Ländern, insbesondere Israel, Österreich und den Niederlanden, wurde der Kreis der Fachleute durch Überlebende erweitert, u. a. durch Karl Brozik sel.A., den damaligen Leiter des europäischen Büros der Claims Conference und Trude Simonsohn, eine Überlebende des KZ Theresienstadt. Der Psychoanalytiker Nathan Durst sel.A., selbst Überlebender und damals medizinischer Direktor von AMCHA Israel, begleitete einige Diskussionen und stellte die Frage, warum man über Überlebende redet und nicht mit ihnen. Sein Beitrag sowie das Konzept des „Café 84“ von Hedi Fried (1997), das 1984 von ihr in Stockholm initiiert wurde, waren die Grundpfeiler für das Anfangskonzept des Pilotprojekts der ZWST für Überlebende, den „Treffpunkt“ in Frankfurt am Main.

⁸ Vgl. Jahresbericht der ZWST von 1989/90

⁹ Der 1947 gegründete VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) war vor allem durch politisch Verfolgte geprägt und erlebte auf Grund der Teilung Deutschlands in zwei Staaten diverse Veränderungen. Vgl. z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigung_der_Verfolgten_des_Naziregimes (11.08.13)

Erste Schritte in Richtung eines Zentrums für Überlebende

2002 wurde ein erstes Konzept für ein psychosoziales Zentrum für Überlebende und ihre Angehörigen formuliert und die ersten Überlegungen und zu erwartenden Herausforderungen diskutiert.

Um die Anforderungen an die Einrichtung und die psychosoziale Situation von Überlebenden gegenüber potentiellen Förderern zu verdeutlichen, wurden eine Reihe von Thesen aufgestellt:

- *Überlebende der Shoah leiden in erheblichem Maß unter diversen posttraumatischen Syndromen, haben häufig eine depressive Grundstimmung, leiden unter Stimmungswechseln, Angst- und Erregungszuständen, Schlaflosigkeit und Albträumen und reagieren auf jede Form der Verunsicherung mit Rückzug, Apathie oder auch kurzfristigen Wutausbrüchen. Diese Syndrome verstärken sich mit fortschreitendem Alter durch die Erfahrung zunehmender Hilflosigkeit und Abhängigkeit.*
- *Jede Form von Erkrankung, besonders aber eigene Krankenhausaufenthalte oder die der Partner, führen zu einer Retraumatisierung. Auf Grund ihrer Erfahrungen während der Shoah wird Krankheit fast immer mit Tod assoziiert und führt zu neurotischen oder auch paranoiden Symptomen.*
- *Viele Überlebende haben in Deutschland keine oder nur wenige Familienangehörige. Oft fehlt den Angehörigen auch die soziale Kompetenz und/oder sie benötigen selber psychosoziale Unterstützung. Dies verstärkt die altersbedingte Isolation und erschwert die Organisation effektiver Betreuung bzw. notwendiger Pflege.*
- *Überlebende haben ein grundsätzliches Misstrauen jeder Form von Behörde oder offizieller Einrichtung gegenüber, was die gezielte institutionalisierte Betreuung schwierig macht. In den seltensten Fällen nehmen Überlebende selbständig Kontakt zu einer offiziellen Einrichtung auf, um Hilfe zu beantragen. Nichtjüdische Einrichtungen bzw. Behörden werden häufig als bedrohlich und feindselig empfunden und deshalb gemieden.*
- *Überlebende fühlen sich häufig nur in Gesellschaft anderer Überlebender sicher genug, um über eigene Schwierigkeiten und Probleme zu reden.*

- *Professionelle Betreuer bzw. Therapeuten benötigen eine spezifische Schulung, um Überlebende und ihre Reaktionen richtig einschätzen zu können und sie adäquat zu versorgen (Treffpunkt 2002, unveröffentlicht).*

Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten ist die Entscheidung getroffen worden, die Aktivitäten vor allem auf Überlebende zu konzentrieren, obwohl unbestritten war, dass Angebote für Angehörige, die sich um Überlebende kümmern, und sicher auch für die Zweite Generation integriert werden müssen.

5.3. Das ursprüngliche Konzept

Das erste Konzept des Projektes war in drei Segmente gegliedert:

1. Das ‚Café‘
2. Aufbau eines Netzwerkes von Fachleuten zur Unterstützung von Überlebenden
3. Die Einrichtung von Fortbildungsseminaren für Sozialarbeiter, Pflegepersonal, Therapeuten und Ehrenamtliche

Dieses Konzept war als Grundlage gedacht und sollte je nach den sich entwickelnden Erfordernissen und Bedürfnissen der Überlebenden weiterentwickelt und angepasst werden.

Das Kernstück des Konzepts war die Schaffung eines einmal wöchentlich geöffneten Kaffeehauses, in dem neben Gebäck und Getränken eine ‚heimische‘ Atmosphäre geschaffen werden sollte, in der Überlebende bei ansprechendem kulturellem Programm mit Vorträgen über jüdische, politische, historische oder medizinische Themen einen geschützten Raum vorfinden, in dem sie andere Gleichgesinnte treffen könnten. Eines der Ziele dieses Cafés war es, die zunehmende soziale Isolation der Älteren zu bekämpfen und ihnen dabei eine Möglichkeit zu bieten, Bekannte zu treffen oder neue Menschen kennenzulernen. Dieses Konzept einer Einrichtung, die wenig Schwellenangst hervorruft, sollte sowohl gegenüber den hier arbeitenden Fachleuten als auch gegenüber der Institution selbst Vertrauen schaffen.

Ähnlich den Konzepten des „Café 84“ und des „Café Europa“ in Tel Aviv, das ein Jahr zuvor eingerichtet wurde, wurde das „Treffpunkt“-Café von Sozialarbeitern und Ehrenamtlichen betreut und begleitet. Im Gegensatz zu den beiden anderen Modellen standen hier auch Psychoanalytiker zur Verfügung, die Gesellschaft, lockere Gespräche oder, wenn gewünscht, professionelle Unterstützung anboten. Aufgrund der Erfahrungen grundsätzlicher

Abneigung gegenüber Ämtern und ihrer Bürokratie ging man von der Annahme aus, die konstatierte Schwellenangst dadurch zu überwinden, dass informelle Kontaktmöglichkeiten angeboten wurden, um so Vertrauen in die Mitarbeitern zu schaffen. Hauptziel war, bestehende Bedürfnisse, Schwierigkeiten und Notlagen zu erkennen, Lösungen anzubieten oder die Überlebenden bzw. ihre Angehörigen mit den regional bestehenden Versorgungsangeboten zu in Verbindung zu bringen.

Um dieses Ziel zu erreichen, war es notwendig, neben dem Café, welches im Herbst 2002 eröffnete, Räumlichkeiten für Beratungsarbeit, Gruppenaktivitäten oder therapeutische Interventionen zu finden. Als Anfang 2003 tägliche Sprechstunden eingeführt wurden, war der Grundstein für ein Zentrum für Überlebende gelegt.

Mit dem zweiten Segment des Projektes sollte ein Netzwerk von Fachleuten und Einrichtungen, die mit Überlebenden arbeiten, etabliert werden, die bei Bedarf entweder von Überlebenden selbst, ihren Angehörigen oder Betreuern oder auch anderen Fachkräften kontaktiert werden konnten. Ein solches Netzwerk zu etablieren, stellte sich als langfristiges Projekt dar. Es entwickelte sich langsam aber stetig und war erfolgreich.

Der dritte Komplex konzentrierte sich auf die Professionalisierung der Mitarbeiter, Fachleute in jüdischen Institutionen und Gemeinden, Betreuer und Personal für die häusliche Pflege, die mit Überlebenden arbeiten. Parallel zur Projektentwicklung wurden zusätzliche Seminare für Sozialarbeiter im Rahmen der Fortbildungsprogramme der ZWST eingerichtet, die sich mit Fragen der Unterstützung und Betreuung Überlebender beschäftigten. An diesen Fortbildungen nahmen vor allem Sozialarbeiter, Gemeindegewerkschaften sowie Pflegepersonal jüdischer Altenheime und Pflegekräfte aus der ambulanten Versorgung teil. Eine Vision des Treffpunkt-Konzepts war es, als Pilotprojekt nach einer gewissen Probezeit zum Modell ähnlicher Einrichtungen in anderen Gemeinden Deutschlands zu fungieren. Sozialarbeiter aus kleineren Gemeinden, (die im Wesentlichen aus Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion bestanden), sollten geschult und mit professionellem Fachwissen ausgestattet werden, um besser mit traumatisierten Adressaten arbeiten zu können und in die Lage versetzt werden, Interessen und Bedürfnisse der Überlebenden zu erkennen und adäquate Angebote für sie bereitzustellen. Parallel entwickelte sich ein wachsendes Interesse, auf internationaler Ebene Ideen und Erfahrungen auszutauschen, aus Programmen außerhalb Deutschlands zu lernen und bewährte Modelle in die eigenen Konzepte zu integrieren.

5.4. Erfahrungen und Entwicklungen im „Treffpunkt“

Die ersten zwei Jahre waren als Erprobungsphase geplant. Ziel war, die Interessen und Bedürfnisse der Überlebenden zu evaluieren, die Akzeptanz der angebotenen Programme und Leistungen zu überprüfen und das Konzept dem Bedarf der Adressaten anzupassen. Da keine Datenbanken zu Überlebenden in den jüdischen Gemeinden existieren und andere Quellen, wie die Claim Conference, Ärzte, Therapeuten, Rechtsanwälte usw. keine persönlichen Details preisgeben dürfen, wurden die ersten Einladungen über Flyer, Handzettel in Praxen jüdischer Ärzte und Therapeuten, Büros jüdischer Organisationen, Synagogen und Altenheime verteilt. Hinweise wurden in der jüdischen Presse publiziert und mündlich weitergegeben. Am ersten Treffen nahmen fast 60 Personen teil. Nach zwei Jahren wurden über die wöchentlichen Kaffeemittage und fast täglichen Sprechstunden mehr als 200 Überlebende regelmäßig kontaktiert und von Mitarbeitern des Zentrums betreut. Nachdem das Zentrum seine Arbeit aufgenommen hatte, trafen sich die Mitglieder der Initiativgruppe anfangs noch regelmäßig, um die Entwicklung des Projekts zu diskutieren und Reaktionen der Überlebenden zu überdenken. Nach einem Jahr wurde diese Struktur zugunsten eines regelmäßigen Mitarbeitertreffens der im Projekt arbeitenden Sozialarbeiter, Therapeuten und Ehrenamtlichen verändert. In diesem Zeitraum wurden auch die ersten strukturellen Änderungen vorgenommen.

So wurden z.B. aufgrund der Erfahrungen die Rahmenbedingungen für therapeutische Gespräche geändert. Anfangs war angenommen worden, dass Überlebende, die eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Psychotherapeuten haben, derartige Angebote nur anonym nutzen würden. Deshalb boten die Therapeuten ihre Beratungen außerhalb der Öffnungszeiten des Cafés an oder aber parallel dazu in einem anderen Stockwerk, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten. Bis auf einen Therapeuten, der parallel zum Wochenprogramm arbeitete und viele Überlebende persönlich kannte, wurden alle anderen nicht aufgesucht. Allerdings wurde regelmäßig nach deren Verfügbarkeit gefragt. Das Team frustrierte diese Entwicklung und begann über eine frühere Bemerkung Nathan Dursts zu diskutieren, nicht allzu viel Zeit mit therapeutischen Angeboten in diesem Kontext zu verlieren, sondern sich auf die Soziale Arbeit zu konzentrieren. Aber die Therapeuten im Team gaben nicht auf. Aufgrund ihrer Erfahrungen waren sie sich des großen Bedarfs an psychologischer Unterstützung bewusst. Es wurden Veränderungen in den Settings vorgenommen und die Therapeuten begannen die wöchentlichen Kaffeemittage zu begleiten. Damit wurde das Eis gebrochen. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen fanden viele Einzelgespräche innerhalb des Kaffeehauses, im Korridor auf dem Weg nach draußen und damit für

jeden sichtbar statt. Schritt für Schritt entwickelten die Überlebenden ein Vertrauensverhältnis gegenüber den Therapeuten. Es wurden Termine verabredet, Familienmitglieder baten um psychologischen Rat.

Vertrauen war ebenfalls ein Thema in Bezug auf die Angebote der Sozialarbeiter. Viel früher als die Therapeuten testeten die Überlebenden die Sozialarbeiter. Hielten sie wirklich ihre Versprechen? Im Unterschied zur Sozialabteilung oder dem Sozialamt war der „Treffpunkt“ nicht für finanzielle oder institutionelle Hilfe zuständig. Aber nach der ersten erfolgreichen Intervention in Verwaltungsangelegenheiten, der Suche nach vermissten Familienangehörigen und der Vermittlung von Pflegepersonal, ging es wirklich voran. Im zweiten Jahr des Projekts wurden etwa 1670 Kontakte zu Überlebenden von zwei halbtags arbeitenden Sozialarbeitern registriert. In den Folgejahren wurden die Dienstleistungen erweitert. Häusliche Pflege und Hausbesuche wurden eingerichtet, Überlebende bei Arztbesuchen oder Krankenhausaufenthalten begleitet, Anträge für Pflegestufen, häusliche Betreuung oder Entschädigungen unterstützt und Kontakte zu Pflegeeinrichtungen hergestellt. Bis 2010 wurden mehr als 17.000 Dienstleistungen durch Mitarbeiter im Zentrum erbracht. Der „Treffpunkt“ wurde zu einem psychosozialen Zentrum für Überlebende und deren Familien.

Die Idee, niedrigschwellige Programme einzurichten, machte sich bezahlt. Aber sehr schnell erwies sich auch, dass das Café nicht das richtige Angebot für alle Überlebenden war. Insbesondere die child survivors waren an anspruchsvolleren Programmen interessiert. Männer, die das Zentrum anfangs selten besuchten, fühlten sich nicht wohl, nur zum Kaffeeklatsch zu kommen. Deshalb wurden die Kaffeenachmittage durch Vorträge und kulturelle Veranstaltungen erweitert, Treffen zwischen Überlebenden und der 3. Generation organisiert, Gruppen für Gedächtnistraining, Literatur oder Hebräisch-Kurse eingerichtet. Um die Kommunikationsfähigkeiten der Teilnehmer untereinander zu verbessern, wurden Exkursionen und regelmäßige Ausstellungsbesuche angeboten. Sozialarbeiter und Ehrenamtliche begleiteten diese Aktivitäten und festigten damit ihre Beziehung zu den Überlebenden. Im Ergebnis erreichte man unterschiedliche Überlebenden-Gruppen, die sonst eher wenig miteinander zu tun haben. Das Team lernte, verschiedene Dienste für verschiedene Adressatengruppen anzubieten. Die nie endende Herausforderung bestand darin, Menschen, die es nicht aushielten, abhängig zu sein oder die Kontrolle zu verlieren, zu überzeugen, professionelle Hilfe und regelmäßige Betreuung anzunehmen. Die Erfahrung des Älter-und-Schwächer-Werdens, fortschreitende Erkrankungen sowie der Verlust an Selbstvertrauen erzeugen Flashbacks und Retraumatisierungen, verursachen Albträume, ängstigen traumatisierte Überlebende und machen das Leben fast unerträglich (vgl. Barnefeld 2003: 188).

Über die Jahre wuchs das Interesse an Unterstützung. Verwandte von Überlebenden, meist deren Kinder, baten um Unterstützung, wenn ihre Eltern von täglicher Pflege abhängig wurden oder im Sterben lagen. Kriseninterventionen und Palliativpflege mussten entwickelt bzw. vermittelt und verbessert werden. Die Einrichtung einer 2. Generation-Gruppe wurde dringend notwendig.

6. Vom Pilotprojekt zum Modell

Das Pilotprojekt von 2002 wurde wie geplant zu einem Modell für andere Gemeinden. 2006 startete das erste Folgeprogramm für Überlebende in Hannover als Kooperationsprojekt zwischen der jüdischen Gemeinde und der ZWST. Weitere Einrichtungen folgten¹⁰. Andere Organisationen wie der *Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte* (<http://www.nsberatung.de> 3. 6. 2012) übernahmen Teile des Konzepts und/oder passten sie ihren Bedürfnissen an. Die Zielgruppen in den neuen Zentren unterscheiden sich wesentlich von denen des Frankfurter Modells. Während in Frankfurt die meisten Überlebenden, die den „Treffpunkt“ aufsuchen, zu den ehemaligen DP's zählen oder bis in die 1970er Jahre nach Deutschland eingewandert sind, kamen die meisten Adressaten der neuen Zentren nach 1989 als Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion mit einem vollkommen anderen kulturellen, bildungsmäßigen und finanziellen Hintergrund und waren im Durchschnitt viel jünger als die Frankfurter Gruppe. Für sie mussten die Angebote adaptiert, die Programme geändert und – im Gegensatz zu Frankfurt – Fachleute eingestellt werden, die auch Russisch sprachen. Ihre Erwartungen an die Sozialdienste und die Rezeption ihrer Überlebengeschichte unterscheiden sich erheblich. Während sie auf Grund ihrer aktuellen Lebenssituation meist guten Kontakt vor allem zu den Sozialabteilungen der lokalen jüdischen Gemeinde haben, gehört ihre Überlebengeschichte zu den eher gut gehüteten Geheimnissen. Gleichzeitig haben sie mit der Emigration ihre gesellschaftliche Anerkennung nicht nur als Kriegshelden verloren.

Das Anfangskonzept des Frankfurter Zentrums beinhaltete aus zwei Gründen als drittes Segment Schulungsprogramme für Fachpersonal:

Sozialarbeit gehörte nicht zu den traditionellen Lieblingsberufen jüdischer Mütter. Selbst für die relativ kleine jüdische Gemeinschaft vor 1989 gab es kaum ausreichend gut ausgebildete Sozialarbeiter, die die Sozialabteilungen und Institutionen in den Gemeinden betreiben konnten. Mit der enormen Welle an Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion musste die Infrastruktur der Wohlfahrtseinrichtungen vervielfacht werden. Angestellte mit

¹⁰ 2013 existieren bereits an 10 Standorten in Deutschland Angebote für Überlebende und ihre Angehörigen, die sich an das Frankfurter Modell anlehnen.

unterschiedlichem professionellem Hintergrund und wenig psychosozialen Wissen wurden beauftragt, Sozialdienste zu leisten. Dadurch entstand die Notwendigkeit an Fortbildung und zusätzlicher Qualifizierung, was die Unterstützung mehrfach traumatisierter Überlebender und ihrer Familien anging. Ein Ziel der Schulungsprogramme der ZWST für Sozialarbeiter war es daher, Mitarbeiter der Gemeinden weiter zu professionalisieren. Verschiedene Schulungsseminare, Austauschprogramme für Fachleute und internationale Konferenzen zur Arbeit mit Überlebenden wurden in den letzten Jahrzehnten organisiert (vgl. Bloch 1992: 174). 2010 wurde in Zusammenarbeit mit der ZWST und dem Zentralrat der Juden in Deutschland das erste Institut für jüdische Sozialarbeit an der Fachhochschule Erfurt eingerichtet. Die ersten Absolventen dieses Studienganges haben bereits ihre Arbeit im jüdischen Wohlfahrtssystem begonnen und Angebote professionalisiert.

7. Schlussfolgerung

Der Grund, warum spezialisierte Zentren für Überlebende der Shoah in Deutschland erst 50 Jahre nach dem Ende des Naziterrors eingerichtet wurden, könnte von Sozialwissenschaftlern und Psychologen diskutiert werden. Nach einem Jahrzehnt an Erfahrungen ist es Zeit, die Prämissen, die vor dem ersten Konzept aufgestellt wurden, zu überdenken und sie den unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen der verschiedenen Gruppen von Adressaten anzupassen. Die immer wieder zu lösende Aufgabe wird es sein, diese sich ändernden Bedürfnisse zu erkennen, den psychologischen Hintergrund ihrer Ansprüche zu verstehen und angemessene Lösungen für ihre Probleme zu finden. Menschen, die durch von Menschen gemachte Katastrophen traumatisiert sind, haben oft von der Mehrheit abweichende Handlungsmuster. Ihre Unterstützer, ob Sozialarbeiter, Pflegepersonal oder Therapeuten, müssen lernen, wie mit unerwartetem Verhalten umzugehen ist, geduldig zu bleiben und Techniken zu entwickeln, die es sowohl ihnen als auch den Überlebenden ermöglichen, mit deren Ängsten umzugehen und fähig zu werden, notwendige Unterstützung anzunehmen. Die meisten Sozialarbeiter oder Psychologen in jüdischen Wohlfahrtseinrichtungen sind Angehörige der 2. Generation. Ein Ziel der Professionalisierung Sozialer Arbeit mit Überlebenden der Shoah besteht darin, bei den Professionellen ein Bewusstsein für ihre eigene Motivation und ihre Erwartungen an ihren Beruf zu schaffen. Hierfür sind ständige Weiterbildung und Supervision wichtige Pfeiler.

8. Anhang

8.1 Namen und Abkürzungen

AMCHA	Organisation für psychologische und soziale Unterstützung für Überlebende der Shoah und ihre Angehörigen in Israel. 'Amcha' bedeutet im Hebräischen "dein Volk".
BEG	Bundesentschädigungsgesetz
Brozik, Karl	ehemaliger Repräsentant der Claims Conference in Deutschland, Überlebender
Child Survivors	Überlebende der Shoah, die zu Kriegsende nicht älter als 16 Jahre waren (bisher hat sich in der Fachliteratur kein deutschsprachiger Begriff für diese Überlebendengruppe durchgesetzt)
Claims Conference	Conference on Jewish Material Claims Against Germany (JCC)
DP	Displaced Person – mit diesem Begriff wurden nach dem 2. Weltkrieg vor allem in Westeuropa Kriegsflüchtlinge und Überlebende des Holocausts bezeichnet, die heimatlos geworden waren und daher zunächst in diversen Lagern (DP Camps) oder öffentlichen Wohnanlagen untergebracht wurden.
Durst, Nathan	Psychoanalytiker und Therapeut, Mitbegründer sowie ehemaliger Medizinischer Direktor und Mitglied des Vorstandes von AMCHA Israel
Esra	hier eine in den 1980er Jahren in Berlin gegründete Selbsthilfe-Initiative von Überlebenden und Angehörigen der 2. Generation um Alexandra Rossberg. 'Esra' bedeutet in Hebräisch "Hilfe" und wird häufig für jüdische Hilfseinrichtungen oder Organisationen verwendet
Fried, Hedi	Überlebende, Psychotherapeutin, Gründerin des Café 84 in Stockholm / Schweden
JCC	s. Claims Conference
JDC	s. JOINT
JOINT	Das 1914 in New York gegründete American Jewish Joint Distribution Committee (JDC)
PTBS	Posttraumatische Belastungsstörung
Simonsohn, Trude	Überlebende, Mitglied des Überlebendenrats des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt, langjähriges Mitglied des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde Frankfurt sowie der ZWST
SU	Sowjetunion
Zentralrat der Juden in Deutschland	Dachorganisation der Jüdischen Gemeinden in Deutschland
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST)	Jüdischer Wohlfahrtsverband, Dachverband der Sozialen Arbeit und Jugendarbeit jüdischer Gemeinden in Deutschland, Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrt (BAGFW)

8.2 Literaturverzeichnis

- Barneveld, Chris
Behandlung von Verfolgten im Seniorenalter, in: Rossberg, A., Lansen, J. (Hrsg.), Das Scheigen brechen. Berliner Lektionen zu Spätfolgen der Schoa, Frankfurt 2003
- Bernstein, Julia
Zur mehrfachen Traumatisierung ex-sowjetischer Juden im Nationalsozialismus und danach in: ZWST, Trauma und Intervention. Zum professionellen Umgang mit Überlebenden der Shoah und ihren Familienangehörigen, Frankfurt 2010
- Bloch, Benjamin
Die ZWST – Ausblick in die neunziger Jahre, in: Jüdisches Museum Frankfurt und ZWST (Hrsg.): ZEDAKA Jüdische Sozialarbeit im Wandel der Zeit, Frankfurt 1992
- Claims Conference
Bericht des Planungskomitees, The Conference On Jewish Material Claims Against Germany, 2000
German Pensions for Work in Ghettos (ZRBG). A Claims Conference Handbook, New York 2003
- Durst, Nathan
Psychotherapie mit Überlebenden der Shoah: eine Herausforderung für Therapeuten, in: Ludewig-Kedmi, R., Spiegel, M.V. & Tyrangie, S (Hrsg.): Das Trauma des Holocaust zwischen Psychologie und Geschichte. Zürich 2002
Psychotherapie mit Child Survivors der Shoah, Psyche 64/4, Stuttgart 2010
- Fried, Hedi
Café 84 A Social Daycare Center for Survivors and their Children, in: Past Trauma in Late Life, L.Hurt, M.Marshall Ch.Rowlings, Jessica Kingsley (Hrsg.) London, 1997
- Grünberg, Kurt
Szenische Erinnerung der Shoah. Tradierung des Traumas an die nachfolgenden Generationen, in: ZWST, Rezeptionen der Shoah und ihre Auswirkungen auf die Praxis, Frankfurt 2009
Vom Banalisieren des Traumas in Deutschland, in: Grünberg, K. und Straub, J. (Hrsg.), Unverlierbare Zeit. Psychosoziale Spätfolgen des Nationalsozialismus bei Nachkommen von Opfern und Tätern, Tübingen 2001
- Hasan, Judith
A House Next Door to Trauma, London 2003
- Keilson, Hans
Sequenzielle Traumatisierung bei Kindern, Stuttgart 1979
- Korn, Salomon
Geteilte Erinnerungen, Berlin 1999
- Krell, Robert
Child Survivors of the Holocaust Approach Old Age. Would Council of Jewish Communal Service, Jerusalem 1998
- Lansen, Johan
Spätfolgen bei Überlebenden des Naziterrors und anderen Verfolgten der Jahre 1933-1945, in: Rossberg, A., Lansen, J. (Hrsg.), Das Scheigen brechen. Berliner Lektionen zu Spätfolgen der Schoa, Frankfurt 2003
- Maor, Harry
Der Wiederaufbau der Jüdischen Gemeinden in Deutschland, Diss. Mainz 1961
- Richarz, Monika
Juden in der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik seit 1945, in: Brumlik, M.; Kiesel, D. u.a.: Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945, Frankfurt 1986
- Rossberg, Alexandra
Die Zeit heilt die Wunden nicht, in: Rossberg, A., Lansen, J. (Hrsg.), Das Scheigen brechen. Berliner Lektionen zu Spätfolgen der Schoa, Frankfurt 2003
- Scheller, Bertold
Zedaka in neuem Gewand. Neugründung und Neuorientierung der „Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland“ nach 1945, in: ZEDAKA Jüdische Sozialarbeit im Wandel der Zeit, Frankfurt/M. 1992
- Staszewski, Noemi
Der „Treffpunkt“ in Frankfurt – ein Pilotprojekt der ZWST im Wandel, in: ZWST (Hrsg.): Rezeptionen der Shoah und ihre Auswirkungen auf die Praxis, Frankfurt 2009
Aspekte Sozialpädagogischer Interventionen bei Überlebenden der Shoah, in: ZWST (Hrsg.), Nach dem Überleben. Psychosoziale und medizinische Auswirkungen der Shoah auf die Generation der Child Survivors, Frankfurt 2012
- Treffpunkt Dokumente
Förderantrag (Treffpunkt Frankfurt 2002, unveröffentlicht)
Projektbeschreibung des „Treffpunkt“ für Überlebende der Shoah und ihre Angehörigen im Rhein-Main-Gebiet (Treffpunkt Frankfurt 2003, unveröffentlicht)
- ZWST
Mitgliederstatistiken der Jüdischen Gemeinden und Landesverbände, Frankfurt 2004 und 2010

8.3 Webseiten

- <http://www.zentralratjuden.de/de/topic/18.html>; 2/25/2012
<http://www.amcha.org/aboutus/PopulationsEn.asp#up>; 3/2/2012
http://www.claimscon.org/forms/Ghetto_Pension_Handbook.pdf; 3/2/2012
<http://www.gesetze-im-internet.de/beg/index.html>; 3/2/2012
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Second_world_war_europe_animation_large_de.gif; 12/27/2011
<http://www.nsberatung.de/>; 3/6/2012

Зависимость и опека в тени Шоа

Опыт психосоциальной опеки людей, переживших Шоа, в Германии

1. Введение

После Шоа¹ и закрытия оставшихся лагерей для перемещенных лиц в начале 1950-ых годов в едва заметной еврейской жизни в Германии постоянно рассуждали о том, стоит ли оставаться в стране палачей или нет, занимались проблематикой ре- и организации еврейских общин и организаций и боролись за получение компенсаций от немецких государственных структур. Основной идеологией было стремление вперед, уход от событий прошлого и строительство новой жизни. Поскольку быть выжившим в годы нацистского террора было нормой для евреев, проживавших в Германии, темы травмы и ее последствий не существовало.

В настоящей работе описывается развитие концепций социального и психологического ухода за людьми, пережившими Шоа в Германии и модификация этих концепций с учетом различного опыта выживания² и культурного происхождения. Социальные работники, терапевты и лица, ухаживавшие за больными, должны были понять различные типы поведения, ожидания и нужды выживших людей, приехавших в Германию из бывшего Советского Союза и тех, кто оказался в Германии с 1950 по 1980 годы. В работе обсуждается неотложная необходимость улучшения профессионализации в этой области и выделяются изменяющиеся потребности, определяемые увеличением притязаний выживших детей, тем самым намечаются различные пункты, механизмы и концепции, которые требуются изменить при организации эффективного ухода за различными категориями людей, переживших Шоа.

Сегодня, по оценке Центральной благотворительной организации евреев в Германии (ZWST) среди примерно 104 000 членов еврейских общин Германии насчитывается 30 000 – 40 000 человек, переживших Шоа.

Предполагается, что число евреев, проживающих в Германии и не являющимися членами еврейских общин, примерно такое же. Начиная с 1990 года появились первые инициативы для выживших и для так называемого второго поколения. В 2002 году ZWST организовала первый из пяти ныне существующих психосоциальных центров в Германии для переживших Шоа. Начав работу и зная о различных недостатках в области ухода, но не имея систематизированного опыта, социальные

работники попытались обучиться международному опыту такой работы, отдавая себе отчет в различиях в социальной, экономической и психологической ситуации переживших Шоа в стране палачей, а также испытывая нехватку профессионалов.

Источниками информации служат документы и опыт, накопленный социальными работниками, терапевтами и другими профессионалами в рамках структуры ZWST, другими нееврейскими социальными организациями и академическая исследовательская работа, в основном проведенная в Германии. Данная моя работа – эта значительная часть моей диссертации, которая касается необходимости и альтернатив концепций социального ухода за людьми, пережившими Шоа с травматическим опытом и необходимости специализированной профессиональной подготовки по проблематике ПТСР, а также межкультурных связей.

2. Историческая справка о еврейских общинах после II Мировой войны

По окончании II мировой войны союзные войска обнаружили примерно - 17 000 евреев, проживавших в Германии (без учета тех, кто был в концентрационных лагерях). Большинство из них находились под защитой нееврейских членов семьи. Многие из тех, кто принадлежал к этой группе, имели значительный опыт семейной ассимиляции с маргинальной связью с еврейскими традициями и религией. Кроме этой группы, состоящей в основном из немецких евреев, с 1945 по 1950 год примерно 200 000 евреев проживали в Германии в качестве так называемых перемещенных лиц. В основном они были освобождены из различных концлагерей войсками союзников, либо прибыли на грузовиках из Восточной Европы в Западную Германию после первого антисемитского погрома в польском Кильце в 1946 году (Richarz 1986:16f). Когда в 1952 году большая часть лагерей для перемещенных лиц была закрыта, большинство переживших Шоа отправились в США, Израиль, Австралию или другие страны. В 1950 году была создана головная организация еврейских общин в Германии (Zentralrat der Juden in Deutschland), а в 1951 году - Центральная благотворительная организация евреев в Германии (ZWST). Эти организации представляли около пятидесяти общин

¹ Шоа – слово на иврите, используемое для обозначения преследования евреев нацистами во время II Мировой войны. Говоря о выживших евреях, я использую этот термин, который, как правило, употребляется в еврейском контексте во всем мире. Термин «Холокост» служит для обозначения всех других групп выживших, как, например, цыган, инвалидов, гомосексуалистов и пр.

² Пережившие Шоа, которым, по определению Клеймс Конференц, на конец войны было не более 16 лет.

во всех четырех оккупационных секторах с общей численностью 15 000 евреев (<http://www.zentralratjuden.de/de/topic/;2/25/2012>). Большинство этих общин определяли себя, как временные учреждения, занятые организацией исхода оставшихся европейских евреев из страны палачей, поскольку они никаким образом не представляли возможность будущей жизни евреев в Германии и не доверяли немцам. Кроме этого, общины натолкнулись на полное непонимание евреев всего мира, недоумевающих, как евреи могут жить в Германии после Шоа. Каждый, у которого была возможность уехать, сделал это. Кто мог себе это позволить, отправил своих детей в интернаты Англии, Швейцарии, Франции и других стран. Самым часто встречающимся вариантом была жизнь «на упакованных чемоданах». В первые три десятилетия по окончании войны эта новая и очень хрупкая общность людей испытала несколько волн миграции из различных, в основном восточноевропейских стран. В связи с различными политическими переворотами, как, например, в Венгрии, Чехословакии, Румынии, Польше и т.п. многие евреи со своими детьми покинули эти страны. В конце восьмидесятых годов на территории Западной Германии по статистике ZWST насчитывалось 54 еврейские общины с общим числом членов – 28 000 человек (речь идет о Западной Германии). В первое десятилетие после объединения Германии в 1989 году и развала Советского Союза более 103 000 евреев из бывшего СССР стали членами уже существующих общин или создали новые. В 2010 году в 130 общинах насчитывалось около 107 000 членов.²

Эти цифры наглядно показывают, с какими трудностями сталкивались еврейские общины в Германии с самого начала.

Строительство социальной инфраструктуры в Германии после войны на руинах когда-то живого и многоликого еврейского общества с флуктуацией около 200 тысяч человек за 6 лет было непростой целью и главное внимание уделалось основным моментам: таким, как процедура эмиграции, питание, поиск жилья, обеспечение образования и религиозная служба. Когда в 1951 году ZWST начала координировать для вновь созданных в Германии еврейских общин благотворительную деятельность организации Joint, которая до этого осуществляла ее в Германии, выяснилось, что 60 % евреев в Берлине были экономическими нуждающимися (Scheller 1992:146). Многие по-прежнему считали, что жизнь евреев в Германии должна быть временной. С 1952 года по 1959 год Договор о выплате компенсаций (Wiedergutmachungsvertrag) привел к тому, что

около 9 000 евреев немецкого происхождения вернулись в Германию (Maor 1961:32), большинство из них планировали оставаться в Германии только несколько лет. Даже для этих немецких евреев было немыслимо после кошмара Шоа чувствовать себя в Германии, как дома. То же самое относилось и ко всем перемещенным лицам из Восточной Европы и евреям, находящимся на территории страны нацистов. Их дети, так называемое второе поколение, выросли с сознанием проживания не в той стране, обвиняя родителей в том, что они не уехали в Израиль или Соединенные Штаты. Они не проявляли практически никакого желания принимать участие в строительстве нового демократического немецкого общества. Когда архитектор нового центра общины во Франкфурте на Майне Саломон Корн на церемонии открытия сказал: «тот, кто строит дом, обязательно останется в нем жить» (Korn 1999:73), эта формулировка была встречена в прессе как долгожданное свидетельство того, что в Германию вновь вернулась еврейская жизнь. Две разбитые скрижали на фасаде здания символизировали бесконечную историю разрушения еврейской жизни и все еще существующую противоречивость в отношении нормальной и безопасной жизни в стране преступников. С этим согласились не все. В начале 90-ых годов, когда сразу же после объединения Германии число расистских и антисемитских выступлений стало значительным, многие члены общины приобрели недвижимость в Израиле или подали заявление на получение вида на жительство в США, чтобы уехать туда. У переживших Шоа эти события вызвали живые воспоминания о травмирующих переживаниях в прошлом и привели к новым травмам.

В это же самое время мощная волна эмигрантов из бывшего Советского Союза прибыла в Германию, рассчитывая на социальную, финансовую и ведомственную поддержку. Согласно статистике ZWST от 2010 года, в 1989 году 11 999 членов общины (речь идет только о Федеративной Германии) были в возрасте 51 года или старше, что составляло 44% всех членов общин.³ В 2010 году 26 466 членов уже объединенной Германии были старше 70 лет (25%), 44 016 членов еврейских общин были старше 60 лет (42%) (ZWST 2004:9 и 2010:3). Это означает, что примерно через 21 год число членов еврейских общин в возрасте переживших Шоа вырастет более, чем на 20 000 человек. Эти цифры включают 17 825 человек, умерших в период с 1990 по 2010 годы. Не все люди в этом возрасте пережили Шоа, согласно определению Клеймс Конференц (JCC) и не каждый человек, переживший Шоа, является членом еврейской общины. Поскольку централизованной базы данных по людям, пережившим Шоа, а также жертвам

³ Ежегодная статистика ZWST насчитывает 108 еврейских общин. Существует также другие 22 общины, организованные Союзом Прогрессивных евреев Германии.

⁴ В 1989 году пережившему Шоа было 45 лет и старше, в 2010 году 66 лет и старше.

нацистских преследований не существует, любые приводимые цифры являются приблизительными. Это вызывает определенные сложности при разработке концепций, проведении переговоров и сборе средств. По оценке ZWST в Германии в настоящее время проживает около 30 000 – 40 000 человек, переживших Шоа.

3. Кто считается пережившим Шоа? К определению целевой группы

В связи с различными оценками истории и последствий II Мировой войны, влияния Шоа на еврейскую жизнь и социальную помощь в Европе в послевоенный период, необходимо точно определить целевую аудиторию для психосоциальной помощи людям, пережившим Шоа. Далее я объясню причины этого требования.

Когда немецкие власти (Западная Германия, ФРГ) в 1953 разработали Федеральный закон о возмещении ущерба (BEG) и начали выплачивать компенсации жертвам национал-социалистических (нацистских) преследований, для жертв нацистского террора они применяли термин «преследуемые».

«Нацистский преследуемый - это человек, который из-за политической оппозиции или по расовому признаку, религии или идеологии подвергся преследованиям со стороны нацистской репрессивной системы и вследствие этого потерял жизнь, получил физические увечья или потерял здоровье, свободу, собственность, имущество, или профессиональную или экономическую занятость». (Клеймс Конференц 2003)

В более поздней статье этот закон был увязан с Федеральным законом об изгнанниках, сочетая компенсации за нацистские преследования с претензиями о возмещении немецкому населению, которое спасалось или было выслано русской армией во время или непосредственно после войны. Поскольку только жители ФРГ имели право на выплаты по этому закону, большинство бенефициаров были немцами, что явилось горькой пилюлей для выживших и причиной для тысяч пострадавших иммигрировать (по их мнению, временно) в Германию в 50-ые годы. (<http://www.gesetze-im-internet.de/beg/index.html>)⁵

В ежегодном отчете за 2002 год Комиссия по еврейским материальным искам к Германии (Клеймс Конференц), опубликовала определение людей, переживших Шоа, которое признается практически всеми организациями, имеющими дело с выжившими.

«Евреи, которые жили в стране в то время, когда она находилась под нацистским режимом, под нацистской оккупацией, или под режимом нацистских коллаборационистов, или евреи, которые бежали в страну или регион, свободные от нацистского режима или нацистской оккупации». (Клеймс Конференс 2002)

Это определение, которое также используется израильской организацией АМХА, основано на предположении, что жизнь каждого еврея, независимо от возраста, пола, религиозной или политической ориентации, а также социально-экономической ситуации, на территории влияния «Третьего Рейха» находилась в опасности из-за расистской идеологии и законов, насаждаемых германским национал-социалистическим правительством. Это определение выжившего не делает отличий между различными путями выживания в годы Шоа. Все, кому удалось выжить и все, кто отвечают вышеприведенным критериям, считаются пережившими Шоа.

Что касается выживших, то есть определенные различия, где именно проживали евреи во время II Мировой войны (и в некоторых частях Европы до войны). Таким образом, я бы хотела напомнить об оккупации Северной Африки армией Роммеля или о существовании гетто в Шанхае. Например: еврей, который эмигрировал в Соединенные Штаты или Палестину (покидал родину в связи с растущей политической активностью нацистской партии) не является выжившим по определению, данному выше. Если же еврей выехал в Нидерланды или Францию, то ситуация может измениться.

В принципе еврей может быть признан преследовавшимся нацистским режимом, их приспешниками или союзниками и подвергал свою жизнь угрозе, если он жил в следующие отрезки времени в следующих странах:⁶

1933/35 – 1945	в Германии,
1937 – 1945	в Австрии и Чехословакии,
1939 – 1944/45	в Польше,
1939 – 1943/44	в Италии,
1940 – 1945	во Франции, Нидерландах, Дании и Норвегии,
1941/42 – 1943/44	в Советском Союзе,
1941 – 1944	на Балканах, и
1941 – 1943	в Северной Африке

⁵ <http://www.gesetze-im-internet.de/be/index.html>

⁶ См. [Second_world_war_europe_animation_large_de.gif](#), 12/27/2011

Такая классификация важна, прежде всего, для юридических переговоров относительно претензий, например, в контексте процедуры выплат компенсаций. Понимая, что огромное количество детей, переживших Шоа, еще не получили никакой компенсации или признания, Клеймс Конференс либерализовала определение лиц, которые могут пользоваться специальными программами компенсаций. В переговорах с правительством Германии они расширили регионы проживания евреев во время войны и ввели понятие «эмбрионных случаев».⁷ Для ежедневной психосоциальной помощи и поддержки выживших эти критерии дают определенный ориентир, но социальные работники имеют дело с отдельными судьбами, сложной общественной жизнью и семейными структурами своих клиентов. Это означает, что критерии в некоторых случаях размыты. Тем не менее точная формулировка необходима для уточнения контекста, в котором социальные работники действуют, поддерживая выживших. Это свидетельствует о том, что профессионалам необходимо владеть всеобъемлющей информацией об исторических деталях Шоа. Эти знания обеспечивают значительный фон для понимания людей, которые хотят защитить, забыть свои воспоминания, но не делиться ими.

4. Группы клиентов в центрах для переживших Шоа

Работа в психосоциальных рамках с выжившими пожилого возраста означает встречи с двумя основными группами клиентов: самими выжившими и их родственниками. Обе группы будут определены далее. Дифференцировать различные группы выживших и их родственников необходимо, потому что знания о разнообразных мульти-травматических переживаниях, которые могли испытать клиенты и вследствие этого посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), помогают социальным работникам, медсестрам, терапевтам и т.д., лучше подготовиться к неожиданным моделям поведения при оказании помощи выжившим.

Выжившие

В этой группе мы различаем первое поколение выживших и выживших детей.

Первое поколение

Пожилые выжившие, в зависимости от их родной страны, сталкивались с дискриминацией, содержались в гетто, в концентрационных и трудовых

лагерях, испытали рабский труд, депортации, марши смерти, бегство, скрывались, жили под фальшивыми документами и / или боролись против нацистов и их союзников в рядах партизанских отрядов или армий.

«Пожилые люди, пережившие Холокост, все больше страдают от сочетания посттравматических симптомов, таких как навязчивые мысли и чувства своего опыта во время Холокоста и увеличения чувства депрессии и изоляции, вызванного потерей контроля над физическими и психическими функциями. В результате многие из них перегружены чувством вины, печали, ужасными кошмарами и катастрофическими страхами о надвигающейся опасности и неминуемой катастрофе. В дополнение к таким посттравматическим реакциям выжившие также травматически реагируют на изменения, которые происходят в процессе старения: потеря супруга и старых друзей, безработица и нехватка финансовых ресурсов, социальная изоляция, одиночество и физические недостатки. Такие изменения, как правило, усугубляют посттравматические симптомы и приводят к увеличению числа пожилых выживших, требующих психологической и социальной поддержки» (сайт АМСНА 3/2/2012)

Оставшись на мели в Германии после войны, будучи вынужденными работать, чтобы иметь средства к существованию, у них было меньше шансов стать грамотными в местном языке, они часто чувствуют себя беспомощными и подавленными, когда сталкиваются с бюрократическими требованиями при обращении к официальной помощи.

Дети, пережившие Шоа

Люди, родившиеся после 1928 года и пережившие Шоа, определяются как дети, пережившие Шоа. Лишь небольшая группа этих людей, в основном старшего возраста, была в концентрационных и трудовых лагерях, в то время как большая часть была заперта в гетто, изолирована от своих семей, скрывалась соседями-христианами в монастырях и сиротских домах, в лесах или в других местах, жила под чужими документами или была отправлена в другие страны «детскими транспортом», либо была усыновлена сочувствующими людьми. Они страдали от ужасов войны и преследований в раннем детстве, иногда без каких-либо воспоминаний об их происхождении, с чувством незащищенности и одиночества, не понимая, почему это происходит.

«Состояние покинутых детей, оставшихся без защиты взрослых, создало конфликт их идентичности. Кроме того, многие приняли

⁷ Дети, которые пережили преследования в утробе матери и родившиеся уже после окончания войны

различные и чрезвычайные стратегии выживания в борьбе с крайними лишениями. Как и ожидалось, такая ранняя травматизация имеет широкий резонанс на выживших детей и многие из этих ранних стратегий проносятся через всю жизнь. Несмотря на часто отличную профессиональную деятельность, многие, пережившие Шoa детьми, страдают от психических расстройств и упадка сил, когда возраст приближается к пенсионному. Обычные функциональные расстройства на этом этапе жизни могут активировать из прошлого страх, сдерживаемое горе от значительных потерь своего детства и вызвать депрессию». (сайт АМСНА 3/2/2012)

Те, кто выжил в христианской среде, зачастую не возвращались к еврейской жизни после войны или из-за брака с неевреями, либо из-за чувства неприязни старшими выжившими и еврейскими организациями, в связи с невозможностью проверить их еврейское происхождение. До самой старости они скрывают свою реальную личность, они не в состоянии найти надлежащую поддержку для своих психологических и социальных потребностей после выхода на пенсию.

Кроме того, те, кому посчастливилось воссоединиться после войны со своими родителями (или одним из них) или близкими членами семьи были травмированы не только своим собственным опытом. Как прятавшиеся дети, они зачастую не признавались более старшими оставшимися в живых как выжившие, и страдали, в дополнение к их собственной травме, от межпоколенческого переноса травм и повторного травмирования (см. Грюнберг, Курт 2009: 39) как представители второго поколения (см. ниже). Ссылаясь на выступление Роберта Крелла на Всемирном совете еврейских общественных служб в 1998 году, Александра Россберг достаточно спорно заявила, что детьми-жертвами считаются и те, кому удалось выжить в Германии из-за смешанного происхождения брака, но и те, кто были отправлены родителями во время нацистского правления за пределы Европы или им удалось бежать, но потеряли всю свою семью, и те, которые бежали с территории Советского Союза в неоккупированные районы и стали сиротами по дороге (Александра Россберг 2003:101).

Родственники

В случае необходимости для оказания психологической или социальной помощи выжившим необходимо иметь дело с членами семьи и помощниками. В этом случае под родственниками понимаются не только

такие члены семьи, как супруги, дети, братья, сестры или дальние родственники, но также помощники и домработницы, которые работают в течение всего дня, помогая выжившим дома.

Супруги или сожители

Супруги выживших могут сами являться выжившими, либо быть детьми некоторых выживших и могут иметь в соответствии с моим объяснением свой собственный травматический опыт в случае кризиса. Но также и супруги, которые сами не являются выжившими независимо от того, евреи они или нет, могут страдать от вторичной травматизации. Живя годы, а иногда и десятилетия с травмированными партнерами, они являются первыми, кто имеет дело с кошмарами своих любимых, страдающих от депрессии, приступов агрессии или паники или непредсказуемыми реакциями. Обычно большая часть их социального окружения среды состоит из выживших.

Когда их партнеры становятся зависимыми от помощи, это запускает огромный потенциал повторного травмирования и ставит супружеские отношения под угрозу. Иногда супруги являются единственными лицами, которые знают о нерассказанных историях и тихих страданиях своих близких.

Второе поколение

Дети оставшихся в живых, в основном родившиеся после окончания II мировой войны, сами часто страдают от вторичной травматизации. Из-за последовательно рассказанных воспоминаний или молчания (см. Курт Грюнберг 2001: 185) их родителей и особой форме отношений, которые они могут выполнять, дети выживших должны справиться с собственным комплексом травмы. В основном иммигрировавшие с родителями в Германию в раннем возрасте или родившиеся в лагерях для перемещенных лиц, они должны были выполнять, кроме того, обязанности детей-мигрантов, являясь переводчиками, опекунами и посредниками для своих родителей в общении с властями, с которыми родители были не в состоянии входить в контакт. Кроме бремени реальности в Германии после Шoa это был удар для каждой «нормальной» детско-родительской поведенческой роли. Кроме того, они чувствовали себя ответственными, «чтобы заполнить пустые места убитых родственников и утешить своих родителей после их многочисленных потерь» (АМСНА сайт 3/2/2012). Многие из них были названы в честь убитых членов семьи своих родителей. Выжившие в Германии часто посылали

своих детей в начале подросткового возраста «для лучшего» образования в школы-интернаты в другие страны. Сегодня многие из них признаются, что они не выдерживают контактов между их детьми и детьми их мучителей, боялись, что были не в состоянии их воспитать, и/или хотели защитить их от переноса своих травм на них.

Независимо от того факта, знают ли они об истории выживших родителей или нет, будучи единственным ребенком, потеряв родного брата или одного из родителей в результате болезни или самоубийства, будучи инвалидами, женатыми на выжившем и т.д., они могут потребовать социально-психологической поддержки для себя или испытывать нужду в поддержке, потому что их родственники находятся в кризисе. При обращении членов семьи за поддержкой к профессионалам их личные планы и способности имеют важное значение для создания надлежащих предложений для ухода дома или в учреждениях, социальных услуг или при уходе за умирающими.

Помощники

Кроме супругов и детей, оставшихся в живых или дальних родственников, часто также сотрудники, домработницы или личные опекуны выживших нуждаются в поддержке. Большинство из них прибыли из стран Восточной Европы, не являются евреями, имеют в основном невысокий уровень образования, но они живут и работают с выжившими каждый день. Нередко они не владеют немецким языком, отделены от своей собственной семьи и не всегда понимают специфические проблемы заботы о пожилых людях со множественной травмой. Им нужны объяснения, почему человеку, за которым они ухаживают, вдруг становится страшно, их необходимо обучить, чтобы сделать их работу легче.

Кроме всего, мы должны знать, что большая часть оставшихся в живых, живущих сегодня в Германии, эмигрировала в эту страну в последние 20 лет из бывшего СССР. Эти люди имеют множественную травму не только из-за того, что иммиграция изменила их социальный статус с прекрасно образованных специалистов в бывшем Советском Союзе до получателей социальной помощи с низким уровнем притязаний и незначительными навыками общения на немецком языке. Пережившие Шоа, они часто страдали от антисемитской дискриминации и/или стали жертвами сталинского террора у себя на родине. Их принятие биографической актуальности Шоа уже встроено в их опыт дискриминации и преследования после II мировой войны и полностью отличается от выживших, которые прибыли в Германию после Шоа до конца 1970-х годов (см. Юлия Бернштейн 2010:73).

Их опыт, культурный и политический фон, и их ожидание социальной помощи и долга государства имеют важное влияние на рамки требований социальной работы и это отличает их от других групп выживших.

5. Проект ZWST «Treffpunkt» во Франкфурте на Майне

Идея создания психосоциального центра для переживших Шоа и их семей родилась из простого места встречи пожилых людей.

История создания

В отличие от ситуации в Нидерландах или Англии, где вскоре после войны началась психосоциальная работа и ее документирование (см. Кейлсон 1979; Лансен 2003 и Хазан 2003), в Германии даже у еврейских организаций ушло много времени, чтобы осознать необходимость специальных учреждений для переживших Шоа и их семей. Инициативы периодически возникали у выживших второго поколения, как, например, Esra в Берлине в 1980 году. В конце 80-ых годов психоаналитик Исидор Дж. Каминер в рамках ZWST сформировал концепцию мобильной консультационной службы, но она не была воплощена в жизнь. Ежегодный отчет ZWST упоминал семинар для социальных работников и руководителей домов престарелых по вопросам последствий Шоа (ZWST 1989/90).⁸ В 1990 году в Кёльне было создано Федеральное агентство по информации и психологическому консультированию жертв национал-социализма, которое занималось всеми категориями преследовавшихся во время нацизма, в основном неевреями. В 1992 году была создана Ассоциация детей, переживших Шоа.⁹ Но лишь в конце 90-ых годов в еврейских социальных организациях и структурах начались длительные дебаты о профессиональных путях поддержки выживших и их растущих потребностях. Начиная с 1999 года, ZWST в рамках профессионального обучения проводит регулярные семинары по работе с выжившими для социальных работников, медсестер и опекунов.

На этом этапе в рамках работы ZWST были сделаны первые шаги в поддержку программ для переживших Шоа. Под руководством Бени Блоха, директора ZWST, психоаналитики, врачи, социальные работники и ученые обсуждали необходимость и варианты концепций помощи выжившим, причем все они являлись представителями второго поколения.

⁸ См. статистику ZWST за 1989/90 гг.

⁹ Образованное в 1947 г. VVN (Объединение людей, преследовавшихся нацистским режимом), в основном занималось преследовавшимися по политическим мотивам и в связи с разделением Германии на два независимых государства претерпело различные изменения. См. например, https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigung_der_Verfolgten_des_Naziregimes (11.08.13)

Первые идеи касались в основном программ подготовки и координирования для профессионалов, при этом считалось, что каждый специалист в состоянии предложить услуги и решения лишь для незначительной части проблем и вызовов, перед которыми оказываются выжившие. По мнению профессионалов, большинство выживших, за исключением группы иммигрантов из бывшего Советского Союза, редко вступали в контакт с социальными службами, несмотря на то, что у них в связи с развитием симптомов повторной травмы увеличивалась потребность в помощи. В процессе обмена мнениями с представителями социальных организаций, занимающимся выжившими в других странах, особенно в Израиле, Австрии и Нидерландах, в инициативе стали принимать участие другие выжившие, среди них Карл Брожик, Директор европейского филиала Клеймс Конференс, а также Труде Симонсон, известная выжившая из Терезина. Натан Дурст, сам являющийся выжившим, ныне директор АМХА в Израиле, курировал некоторые дискуссии и задал вопрос – почему надо разговаривать о выживших, а не непосредственно с ними. Его вклад и концепция Геди Фрид «Safe 84», осуществленная в Стокгольме в 1984 году, заложили краеугольный камень первой концепции пилотного проекта ZWST для выживших, «Треффпункта» во Франкфурте на Майне.

Первые шаги к созданию центра для выживших

В 2002 году первая концепция психосоциального центра для выживших и их родственников была сформулирована и прошли первые обсуждения концепции и ожидаемых проблем.

Чтобы объяснить спонсорам потребности и психологическую ситуацию выживших, были сформулированы некоторые определения:

- Пережившие Шоа сильно страдают от симптомов ПТСР, часто находятся в депрессивном настроении, подвержены частой смене настроения, беспокойности, смятению, бессоннице и ночным кошмарам и реагируют на любую неопределенность отстраненностью, апатией или внезапной вспышкой гнева. С возрастом в связи с прогрессирующей беспомощностью и зависимостью эти симптомы обостряются.

- Любое заболевание, особенно в случае госпитализации переживших Шоа или их супругов, вызывает повторную травму. Из-за их опыта Шоа болезнь непосредственным образом ассоциируется со смертью и вызывает невротические или параноидные симптомы.
- Значительная часть переживших Шоа живет в Германии с очень небольшим числом родственников или совсем одиноки. Часто отсутствие членов семьи означает отсутствие социальной поддержки и они вынуждены сами себе ее оказывать. Это усиливает изоляцию, связанную с преклонным возрастом и препятствует созданию необходимых условий для помощи и ухода.
- Прежившие Шоа демонстрируют недостаток уверенности при обращении в какие-либо инстанции или официальные организации, затрудняя осуществление официального профессионального ухода. Эти люди крайне редко самостоятельно обращаются в официальные организации за помощью. Они часто чувствуют себя отвергнутыми и рассматривают нееврейские организации или заведения как враждебные или даже опасные для них самих и настойчиво стараются их избегать.
- Пережившие Шоа часто чувствуют себя достаточно безопасно при обсуждении личных проблем и возникающих трудностей только в обществе таких же людей, как они сами.
- «Профессиональным опекунам или терапевтам требуется специализированная подготовка, чтобы правильно обращаться с пережившими Шоа и их реакциями и ухаживать за ними надлежащим образом» (Сташевски 2002, неопубликовано).

В связи с ограниченными возможностями было принято решение сделать в проекте акцент на переживших Шоа (первое поколение и выжившие дети), даже хотя было бесспорно, что понадобится интегрирование служб помощи для филиалов, которые осуществляли уход за пережившими Шоа и за Вторым поколением.

Первоначальная концепция

Начальная концепция проекта выделила три основных части:

1. Кафе
2. Создание группы специалистов для оказания помощи пережившим Шоа, а также
3. Проведение семинаров по подготовке социальных работников, медсестер, терапевтов и волонтеров.

Идеей концепции было предложение своего рода фундамента и его последующей адаптации к нуждам и требованиям целевых групп.

Центральной частью проекта было создание кафе, которое работало бы один раз в неделю и предоставляло, кроме пирожных и напитков, «домашнюю» атмосферу, культурные программы, лекции на еврейские, политические, исторические или медицинские темы, было бы своего рода защищенной территорией для переживших Шоа, где бы они могли встречаться друг с другом. Одной из целей создания такого кафе была необходимость борьбы с возрастающей социальной изоляцией пожилых людей, предоставление им шанса вновь общаться с теми, кого они знают или познакомиться с новыми людьми. Созданная, как низкопороговая инициатива, эта концепция должна была создать уверенность в необходимости как использования профессионалов, так и создания организации.

Аналогично концепциям «Safe 84» (см. выше) и «Safe Europe» в Тель Авиве, созданном годом ранее, кафе курировали социальные работники, волонтеры, но также и психоаналитики, которые при желании предлагали свою компанию, беседу или профессиональную поддержку. Зная о замкнутости переживших Шоа при общении с официальными лицами, основной идеей было сломать лед недоверия за счет неформальных контактов, создать уверенность при общении с работниками кафе. Главной задачей было выявление потребностей, сложностей и проблем, предложение решений или привлечение уже существующих служб в месте проживания переживших Шоа для оказания помощи.

Для достижения этой цели было необходимо, кроме самого кафе, которое начало работу осенью 2002 года, найти помещения для бюро, групповых встреч и терапевтических мероприятий. Когда в начале 2003 года были предложены ежедневные консультационные

часы, фундамент для центра переживших Шоа был, таким образом, заложен.

Второй составляющей частью проекта было создание сети учреждений и профессионалов, к которым могли бы обратиться за помощью сами пережившие Шоа, их родственники или другие специалисты. Эта задача превратилась в долгосрочный проект в связи с необходимостью придания этому новому проекту профессионального имиджа. Но это сработало.

Третья задача состояла в дальнейшей профессионализации сотрудников, специалистов еврейских учреждений и общин, лиц, осуществляющих уход и медсестер из учреждений, работающих с пережившими Шоа. Параллельно развитию проекта ZWST предлагала образовательные семинары для социальных работников, на которых рассматривались вопросы поддержки и ухода за пережившими Шоа. В этих семинарах принимали участие в основном социальные и медицинские работники из еврейских домов престарелых, а также медицинские сестры, обслуживающие больных на дому. Одной из идеологий концепции «Треффпункта» было создание пилотного проекта и после определенного испытательного периода его последующее внедрение в других общинах Германии. Еще одной целью была подготовка социальных работников из небольших еврейских общин (состоящим в основном из иммигрантов из бывшего СССР), передача им профессиональных знаний по работе с травмированными клиентами и одновременная проверка интереса и потребности реализации специальных проектов для переживших Шоа. Существовал значительный интерес в обмене идеями и опытом на международном уровне, ознакомлении с программами в других странах и адаптации целесообразных программ к собственным концепциям.

Полученный опыт и развитие «Треффпункта»

Первые два года были выделены на проверку правильности концепции проекта. Целью было выявление интересов и потребностей переживших Шоа, определение приемлемости предложенных программ и услуг и адаптация проекта к требованиям клиентов. Поскольку в еврейских общинах базы данных по пережившим Шоа не существовало, а другие организации, как, например, Клеймс Конференс, а также врачи, терапевты, юристы не имели права разглашать личные данные клиентов, первые приглашения в кафе рассылались на листовках и приглашениях, выложенных в кабинетах еврейских

врачей и терапевтов, офисах еврейских организаций, синагогах и домах престарелых. Приглашения были опубликованы в еврейской прессе, информация передавалась из уст в уста. На первой встрече присутствовало около 60 человек. Спустя два года еженедельных встреч и 4-х разовых консультаций в неделю удалось установить постоянный контакт с более чем 200 людьми, пережившими Шоа.

Вначале члены инициативной группы специалистов принимали участие в проекте на добровольной основе. Три раза в год они встречались для того, чтобы обсудить ход проекта и заново оценить сформулированные заявления, касающиеся реакций и ожиданий переживших Шоа. Однако, примерно через год эта структура изменилась и стали проводиться уже периодические встречи занятых в проекте социальных работников, терапевтов и новых волонтеров. В этот период произошли первые изменения в ежедневном расписании работы.

Исходя из приобретенного опыта, расписание психологических консультационных часов было изменено. Вначале предполагалось, что пережившие Шоа, которые в основном скептически относятся к психотерапевтам, согласятся на такого рода консультации только в режиме анонимности. Поэтому терапевты предлагали часы консультаций отдельно от часов работы кафе, либо в то же самое время, но на другом этаже, чтобы сохранить конфиденциальность. Но за исключением одного психотерапевта, работающего параллельно еженедельной программой и которого посетители кафе хорошо знали, к другим терапевтам никто не обращался. Задавали лишь вопросы об их роде деятельности и возможности обратиться к ним. Расстроенные этим фактом, руководители кафе обсудили предложение, сделанное уже упоминавшимся Натаном Дурстом. Он предложил не тратить много времени на терапию в рамках этого проекта, а сосредоточиться на социальной помощи. Но терапевты, работавшие на проекте, не сдавались. Исходя из своего профессионального опыта, они полагали, что существует значительная потребность в психологической поддержке. Были произведены определенные изменения и спустя чуть больше года терапевты стали присутствовать на еженедельных собраниях в кафе. Лед был сломан. В отличие от первоначальных ожиданий, начальные «частные» беседы проводились в отдельных местах внутри кафе или в коридоре, ведущем к выходу, на глазах у всех посетителей. Шаг за шагом пережившие Шоа начинали обретать веру в терапевтов. Назначались встречи, члены семей начали обращаться за психологической поддержкой.

Уверенность была тоже своего рода важным элементом в отношении предложений социальных работников. Гораздо быстрее, чем психотерапевтов, посетители кафе проверяли их. Сдержат ли они обещание? В отличие от отдела материальной социальной помощи «Треффпункт» не занимался финансовыми или организационными вопросами. Но после первого же успешного вмешательства в административные дела начала набирать обороты работа по поиску пропавших родственников, назначении опекунов. На второй год существования проекта было проведено около 1670 консультаций с пережившими Шоа, которые проводили два социальных работника, работающих на полставки. К 2010 году число такого рода консультаций составило более 17 000 (Сташевски, неопубликовано). Появилась медицинская помощь и посещения на дому, клиентов сопровождали к врачам или в больницу, оказывались различные медицинские услуги, проверялись социальные консультации и выплата компенсаций, устанавливались контакты с фирмами, осуществляющими уход. «Треффпункт» превратился в психосоциальный центр для переживших Шоа и их семей.

Идея воплощения низкопороговой программы себя полностью оправдала. Но очень скоро выяснилось, что кафе стало подходящим местом встречи не для всех переживших Шоа. Особенно выжившие дети были заинтересованы в более сложных программах. Мужчины, которые вначале нечасто посещали центр, не чувствовали себя уютно там, где собирались просто поболтать за чашечкой кофе. Поэтому к постоянным встречам в кафе добавились лекции и культурные мероприятия, организовывались встречи между пережившими Шоа и третьим поколением, появились группы по тренировке памяти и изучению иврита, литературные кружки. С целью улучшения коммуникативных способностей клиентов организовывались экскурсии и поездки на различные выставки. Социальные работники принимали участие во всех этих мероприятиях, укрепляя, таким образом, связь с клиентами. В результате удалось добиться внимания разных групп клиентов, которые ранее между собой не пересекались. Работники «Треффпункта» научились предлагать для различных групп клиентов самые разнообразные программы. Постоянным оставалось желание убедить людей, которые не могли быть самостоятельными и теряли контроль, принять профессиональную помощь и ежедневный уход. Реальность старения и страданий от прогрессирующей слабости, болезни и потеря уверенности в своих силах приводят к ретроспекции и повторным травмам, вызывает ночные кошмары, пугает травмированных людей, переживших

Шоа, и делает их жизнь практически невыносимой (Барнефельд 2003:188;).

С годами интерес к оказанию помощи стал шире. Родственники переживших Шоа, в основном их дети, просили совета в случаях, когда их родители становились зависимыми от ежедневного ухода, либо находились при смерти. Необходимо было улучшить кризисные вмешательства и уход за умирающими. В связи с этим появилась группа Второго поколения.

6. От пилотного проекта к модели

Пилотный проект 2002 года оказался, как это и ожидалось, моделью для других еврейских общин. При содействии еврейской общины и ZWST в 2006 году в Ганновере начала действовать еще одна программа для переживших Шоа. Затем открылись еще пять центров.¹⁰ Другие организации, как, например, *Федеральный союз по информации и консультациям для жертв национал-социализма* (www.nsberatung.de, 3/6/2012), приняли некоторые части концепции и применили их уже в своих целях. Но целевая группа в новых группах была совершенно отличной от франкфуртской модели. В то время как большинство переживших Шоа, пользующееся услугами «Треффпункта» принадлежат к перемещенным лицам или к тем, кто иммигрировал в Германию до 70-ых, подавляющее большинство клиентов вновь созданных центров – иммигранты из бывшего Советского Союза с совершенно другим культурным, образовательным и финансовым статусом, которые в среднем моложе посетителей франкфуртского «Треффпункта». Для этих людей требовалась адаптация услуг, изменение программ и, в отличие от Франкфурта, привлечение специалистов, говорящих по-русски. Их ожидания в отношении социальных услуг и их оценка собственного опыта выживания были совершенно отличными.

Когда я упоминала в описании начальной концепции о необходимости программ подготовки специалистов, это было связано с двумя основными вызовами:

У еврейских матерей социальная работа никогда не заносилась в традиционный список предпочитаемых профессий. Даже в достаточно небольших еврейских общинах до 1989 года очень редко можно было встретить хорошо подготовленных и сертифицированных социальных работников, которые могли бы работать в социальных отделах еврейских общин. С появлением мощной волны

иммигрантов из бывшего СССР инфраструктура социальной сферы увеличилась в четыре раза. Сотрудники с совершенно другими профессиями стали привлекаться для оказания социальной помощи, практически не обладая знаниями в психосоциальной области. В это время существовала очевидная потребность обучения для работы с пережившими Шоа с множественными травмами и членами их семей. Одной из целей учебных программ ZWST для социальных работников была профессионализация сотрудников еврейских общин. Различные учебные семинары, программы обмена для специалистов и международные конференции по социальной работе с пережившими Шоа были организованы в последние десятилетия. (Bloch 1992:174). В 2010 году появился первый институт еврейской социальной работы при университете Эрфурта в сотрудничестве с ZWST и Центральным Советом евреев в Германии. Первые выпускники этой программы обучения уже начали свою работу в системе еврейской социальной работы и смогли профессионализировать предложения.

7. Выводы

Причины, почему особые центры по уходу для переживших Шоа были созданы более 50 лет назад по окончании нацистского террора, могут обсуждаться учеными-социологами и психологами. После почти 10-летнего изучения опыта настало время пересмотреть предположения, сделанные ранее до создания начальной концепции и адаптировать их к различным потребностям и ожиданиям разных групп клиентов. Задача эта состоит в выявлении этих потребностей, понимании их психологического фона и выработке подходящих решений для разрешения этих проблем. Люди, травмированные антропогенными катастрофами, ведут себя по-разному. Их помощники, будь то социальные работники, медсестры или терапевты должны научиться справляться с непредсказуемым поведением, быть терпеливыми и приобрести умение проводить переживших Шоа через море их страхов к принятию необходимости помощи. Большинство социальных работников или психологов в контексте еврейской социальной работы являются представителями Второго поколения. Сделать так, чтобы они поняли мотивацию и перспективы своей работы является одной из целей профессионализации социальной работы с людьми, пережившими Шоа.

¹⁰ В 2013 году уже в 10 городах Германии существовали различные предложения для переживших Шоа и их близких, за основу была взята франкфуртская модель

Chaos und Muster

Die Entwicklung einer transkulturellen Organisation am Beispiel eines jüdischen Altenpflegeheims in Deutschland

Einleitung

Das Bild einer für Deutschland untypischen Institution kann man als Chaos und Muster beschreiben.

Es wird ein Ort vorgestellt, wo Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen zusammenkommen und zusammen leben. Es handelt sich um das Altenzentrum der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt/Main, das über einige Jahre hinweg ein Laboratorium für praxisbezogene Forschung und Organisationsentwicklung war.

Dabei ging es um den Aufbau von Führungsstrukturen, um biographische Forschung, um Qualitätsentwicklung und um Rationalisierung. Ein buntes Feld, wie gleich zu Beginn deutlich wird. An einigen Projekten waren Studenten der FH-Erfurt beteiligt. Es waren Projekte zur Qualitätsentwicklung und Befragungen zur subjektiven Sicht über Qualität im ethnischen Vergleich, und es ging in einem Projekt um biographische Forschung zum jüdischen Alter in Deutschland. Dieses Projekt habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Marlene Bock durchgeführt, in dem wir Tiefeninterviews mit Bewohnern des Jüdischen Altenzentrums in Frankfurt und anderen älteren Juden in Deutschland und Israel aufgezeichnet haben.

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten dienen dazu, das Muster im Chaos zu finden und in der Vielfalt das Gemeinsame aufzuspüren. Obgleich die Biographiearbeiten eine zentrale Quelle für das Erkennen der Muster und der typischen Spuren, die die Shoah im Leben der alten Menschen hinterlassen hat, sind, widme ich nicht den Biographien und damit dem Leben der einzelnen Menschen diesen Beitrag, sondern der Institution, in der sie gemeinsam leben, der Organisation und den Gruppenprozessen.

Ein zentrales Thema ist das Zusammenleben der unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Im Fokus stehen die Analyse von Gruppenprozessen, die Fragen nach Identität und Wandel und die Wirkung dieser Prozesse auf Institutionen und Organisationen. Die Geschichte der Zuwanderung nach der Shoah stellte die Jüdischen Gemeinden in Deutschland vor die Aufgabe, soziale Dienstleistungen und Versorgungsstrukturen grundsätzlich aufzubauen und sie den immer wieder veränderten Anforderungen anpassen zu müssen. Dieser Entwicklungsprozess ist Gegenstand der Betrachtung, verbunden mit dem analytischen Blick auf die Organisationsentwicklung, die unter den gegebenen Bedingungen zwangsläufig stattfindet.

Das, was sich am Ort der Recherche abspielt, steht deutlich als Muster für das Typische. Deshalb werden hier Konfliktmuster beschrieben, die unter den gegebenen Umständen an jedem anderen Ort zu erwarten und auch vorhanden sind.

Bei der Suche nach typischen Mustern gibt es einiges, was grundsätzlich auf alle multiethnischen Organisationen übertragen werden kann, weil bestimmte Grundmuster bei Gruppenprozessen und Führung gleich sind.

Die jüdische Institution zeichnet sich durch eine hohe und für die Bundesrepublik eher untypische Komplexität aus. Bekanntlich ist Komplexität abstrakt leichter zu reduzieren als zu erweitern; deshalb können die gewonnenen Erkenntnisse durchaus anderen Institutionen als Beispiel dienen.

Worauf sich zur Zeit in größerem Ausmaß in der Bundesrepublik eingestellt werden muss, ist die wachsende Zahl alter Migranten, die ehemals als Gastarbeiter ins Land gekommen sind. Wenn für diese Gruppen in ethnisch gemischten Einrichtungen Betreuung oder Pflege angeboten werden soll, sind ähnliche Prozesse und Konfliktmuster zu erwarten, wie ich sie hier beschreibe und dementsprechend sind Organisationsentwicklung und Führungskompetenz von Bedeutung. Zur Debatte stehen Kulturbegriffe und Stereotypen, ein Thema, das nicht nur im jüdischen Kontext von Belang ist, sondern immer da Bedeutung gewinnt, wo unterschiedliche ethnische Gruppen zusammentreffen, zumal dann, wenn sie unter einem Dach leben wollen.

Im Rahmen von Organisationsentwicklung werden die einzelnen Schritte eines Lernprozesses beschrieben, wo am Ende eine neue Konzeption für das Zusammenleben unterschiedlicher ethnischer Gruppen steht.

Die einzelnen Schritte der Entwicklung habe ich begleitet und analysiert. Das Bild, das hier gezeichnet wird, ist demnach nicht das vollkommene Werk, sondern eine weit vorgeschrittene Entwurfsskizze.

Chaos und Muster ist die Beschreibung der Entwicklung einer transkulturellen Organisation, und es ist die Darstellung eines Modells. Die Transferleistungen, die zur Verständigung unterschiedlicher Kulturen notwendig sind und die im Rahmen einer Institution von Arbeitskräften, die dafür Zeit brauchen und Geld kosten, erbracht werden müssen, können dennoch einen Rationalisierungseffekt bewirken, weil die Zeit, die in die Verständigung und das Verstehen investiert wird, nicht aufgebraucht wird mit der Bearbeitung von Missverständnissen und Kränkungen. Dafür den empirischen Beweis zu erbringen wird nicht gelingen, weil die Zeit für die Bearbeitung von Missverständnissen und Kränkungen niemals zu messen ist.

Dennoch, das ist eine Botschaft des nachfolgenden Textes, ist zu vermuten, dass ein ganz wesentlicher Teil der Arbeitszeit in Institutionen in diesem ‚schwarzen Loch‘ der Missverständnisse und Vorurteile verschwindet.

Kulturbegriffe

Zur Konzeptualisierung des Transkulturellen in einer Organisation gehört eine Auseinandersetzung mit Kulturbegriffen und kulturellen Zuschreibungen zur Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses, das alle, die an einem Prozess der Gestaltung dieser Organisation teilhaben und mitwirken, möglichst teilen sollten. Zumindest sollte davon ausgegangen werden, dass eine Auseinandersetzung mit Kulturbegriffen und die eigene Verortung bezüglich der Definition des Fremden und des Eigenen reflektiert werden können.

Ohne ein geschriebenes Konzept, das wie das vorliegende Konzept den Anspruch hat, auch die ‚heimlichen Orte‘ der Organisation auszuleuchten, ist ein gemeinsamer Verstehenszugang, in dem auch das Trennende seinen Platz hat und benannt werden kann, nicht möglich. Ohne diese Gemeinsamkeit wird es keine verbindende Kommunikation geben, und deshalb sollen hier gleich zu Beginn die Kulturbegriffe reflektiert werden, die im gegebenen Kontext von Bedeutung sind.

Mit Kulturbegriffen wurde sich im Altenzentrum der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt zunächst im Zusammenhang mit der Pflege alter Menschen befasst und dann mit eigenen Deutungen und Zuschreibungen. An anderer Stelle wird über die Klischees und Zuschreibungen berichtet und über die Reflektionen, die Mitarbeiter und Bewohner in Workshops angestellt haben.

Über das, was Kultur ist, haben sich berufene Forscher Gedanken gemacht und ihre Überlegungen in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht. Der Kulturbegriff ist vieldeutig und deshalb muss hier die Entscheidung getroffen werden, unter welchem Aspekt Kultur und ihre Deutung von Bedeutung sind.

Schon Griechen und Römer akzeptierten als Kultur nur die Werte ihrer eigenen Gesellschaft. Alles, was außerhalb ihrer eigenen Welt lebte, gehörte zu den Barbaren, denen ein Leben außerhalb kultureller Werte zugeschrieben wurde.

Lange Zeit war in der europäischen Forschungsgeschichte der Ethnozentrismus vorherrschend, was bedeutet, dass die andere Kultur aus dem Blickwinkel der eigenen Kultur betrachtet wurde und somit die eigene Kultur der Maßstab für das Verständnis und die Bewertung des Anderen, des Fremden war.

Für die Pflegewissenschaften hatte das Kulturverständnis von Tylor große Bedeutung erlangt, der die Kulturen als in sich abgeschlossen betrachtet, eine Sicht, die in der Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts steht und die eng verbunden ist mit der europäischen Geistesgeschichte und der Geschichte des Kolonialismus. Tylor bezeichnet

„Kultur oder Zivilisation als ‚komplexes Ganzes‘ welches ‚das Wissen, den Glauben, die Kunst, die Moralauffassung die Gesetze, die Sitten und alle anderen Fähigkeiten und Gewohnheiten umfasst, die sich der Mensch als Mitglied der Gesellschaft aneignet“¹.

Insbesondere in der Zeit des Kolonialismus entwickelte sich die europäische Sicht auf die „anderen“ Kulturen. Kultur wurde verstanden als „Lebensform von Völkern“ oder auch als „Ausdruck der Volksseele“ und so wurden die einzelnen Menschen als Mitglied eines Volkes betrachtet, das eine organisch gewachsene Einheit darstellt.

In dieser Sicht auf Kultur sind schon kulturrassistische Elemente erhalten.

Wichtig ist heute, dass die Definition von Kultur als ein abgegrenztes, abgeschlossenes Ganzes für ideologische Zwecke genutzt wird. Es gab immer die Sicht von Innen und Außen. Im Mittelalter wurde das Verhältnis von Innen und Außen über Religion geregelt. In der Zeit der Industrialisierung und des Kolonialismus wurde die Rasse bemüht, um die Grenzen zu ziehen. Die Begriffe Volk und Nation waren im 19. Jahrhundert eine Semantik der Abgrenzung. Im 20. Jahrhundert wurde die Debatte auf den Begriff der Kultur als Grenzziehung zwischen dem Eigenen und dem Fremden genutzt, was heute auch in der Debatte um die „Leitkultur“ wieder zum Vorschein kommt.

Diese Tradition in der Definition von Kultur hatte lange Zeit großen Einfluss auf die Pflegewissenschaften und die Konzeptualisierung der transkulturellen Pflege. M. Leininger² begann in den 40er Jahren ihre Forschungsarbeit in den USA und entwickelte Kulturbegriffe, die sich an dem Verständnis von Tylor orientierten. In ihrer Forschungspraxis entwickelte sie ein Modell, wo sie aufgrund von Messungen und Beobachtungen für jede Kultur Zuschreibungen entwickelte, die nach ihrem Verständnis für die Pflege und die Genesung von Menschen bedeutsam sind. Ihr richtiger Ansatz, eine kultursensible Pflege zu konzipieren, mündete dann allerdings in Stereotypen, die sich wie eine Ansammlung von Vorurteilen lesen.

Insbesondere ihren Schülern Andrews und Boyle³ ist die Erweiterung der Erkenntnisse im Bereich der Pflegeforschung zu verdanken, sie lenken den Blick auf die Interaktion und den Augenblick der Begegnung zwischen Menschen und auf die Frage, inwieweit sich Individuen in ihren Deutungsmustern von ihrer Umwelt beeinflussen lassen und inwieweit daraus dann auch kollektive Deutungsmuster entstehen.

Es wird davon ausgegangen, dass es so etwas wie standardisierte Deutungsmuster gibt, die der einzelne Mensch aus seiner Umgebung aufnimmt. Jeder Mensch modifiziert aber für sich diese Deutungsmuster soweit, wie dies für das Kollektiv bzw. seine Umgebung noch akzeptabel ist. Kollektive Deutungsmuster existieren unabhängig vom Individuum.

¹ Dornheim, J. in Domenig, D., Hrsg.: Kultur als Begriff und als Ideologie. Bern 2001. S. 32

² vgl. Leininger, M.: Kulturelle Dimensionen menschlicher Pflege. Freiburg, 1998

³ vgl. Domenig, D.: Einführung in die transkulturelle Pflege, a.a.O. S. 142

Wenn der einzelne das Kollektiv verlässt, bleiben die Deutungsmuster; sie werden in Lebenspraxis umgesetzt (realisiert) und weitergegeben (tradiert); sie zeigen sich in Verhaltensweisen und Handlungen.

Im Kontext einer transkulturellen Institution stellt sich nun die Frage, wie das Fremde und das Eigene zu finden und zu deuten sind. Habermas meint, dass der Kulturbegriff der Moderne strukturell durch Dezentrierung und vollständige Reflexivität bestimmt sei. Selbstreflexivität sei der Verstehenszugang für kulturelle Phänomene; deshalb gehe es beim Verstehen des Fremden zunächst um die Klärung der jeweils eigenen Auffassung.⁴

Es stellt sich die Frage, inwieweit Individuen sich in ihren Deutungsmustern von ihrer Umwelt beeinflussen lassen und inwieweit daraus dann kollektive Deutungsmuster entstehen. Es ist davon auszugehen, dass jedes Individuum die reale Welt so deutet, wie sie als gegeben vorgefunden wird. Im Kontext der hier beschriebenen transkulturellen Institution dienen die Gruppenprozesse auch als Nährboden für neue, kollektive Deutungen. Das Fremde wird kommuniziert und gemeinsam vor dem Hintergrund tradierter Werte aus der verlassenen Gesellschaft neu gedeutet. Inwieweit dann Einzelerfahrungen als kollektive Erfahrungen wahrgenommen werden, hängt sicherlich auch von der institutionalisierten Kommunikation ab. Konkret bedeutet dies, dass zumindest die informellen Gruppenführer eine entscheidende Bedeutung für die Bearbeitung von Deutungen und Erfahrungen haben.

Was ist nun das Transkulturelle, und welche Gründe stehen für die Entscheidung, diesen Begriff zu verwenden und nicht andere, die längst gängig geworden sind?

Die multikulturelle Gesellschaft kennen wir als Anspruch an die gesellschaftliche Wirklichkeit aus klassischen Einwanderungsländern und auch die europäischen Länder sehen sich zunehmend dem Anspruch ausgesetzt, ihre Auffassung von Kultur und Ethnie in diese Richtung zu verändern und das Miteinander verschiedener und unterschiedlicher Kulturen zu akzeptieren und rechtlich abzusichern.

Welsch hat die Kulturbegriffe unter dem Aspekt von Integration und Abgrenzung reflektiert und kommt zu der Erkenntnis, dass die Konzepte der multikulturellen Gesellschaft wie wir sie insbesondere aus den USA kennen, immer noch von dem Denken in Einzelkulturen ausgehen, die wohl abgegrenzt und homogen in sich, nebeneinander existieren, ohne zwangsläufig miteinander in Berührung zu kommen und auch ohne sich unbedingt akzeptieren zu müssen. Im Zeitalter der Globalisierung sieht Welsch den Bedarf an neuen Konzepten, wo sich die einzelnen Kulturen begegnen und sozusagen durchlässig werden und eine gegenseitige Bereicherung sind. Als Beweis für diese These sieht Welsch globale Konsumgewohnheiten, wobei allerdings die Entstehung solcher Gewohnheiten jeweils auf unterschiedliche kulturelle Ressourcen zurückzuführen

sind. Welsch konstatiert, dass „die Trennschärfe zwischen Eigenkultur und Fremdkultur dahin“ ist.⁵

Dieser Feststellung wird entgegengehalten, dass in Zeiten der Globalisierung eine Verstärkung nationaler Abgrenzung zu beobachten ist, wo Menschen in begrenzten Räumen ihre kulturellen Wurzeln suchen, um damit auch Identitätskrisen zu begegnen.

Diese Gegenposition zu Welsch formuliert Cesana⁶, der feststellt, dass von kultureller Einheit, von der gegenseitigen Durchdringung der Kulturen keine Rede sein kann. Auch S. Huntington verfolgt die gleiche Argumentationslinie, wenn er auf der globalen Bühne fünf konkurrierenden und sich bekämpfenden Kulturkreise einen Platz gibt. Cesana vertritt die Auffassung, dass gegenwärtig eine Pluralität von unterschiedlichen Wertvorstellungen und Glaubensüberzeugungen besteht, die die Kommunikation erheblich erschweren, weil sie durch Unvergleichbarkeit gekennzeichnet sind. Cesana verdeutlicht dies am Beispiel des Schächtens. Was das deutsche Tierschutzgesetz verbietet, wird im religiösen Kontext zum Gebot. Schächten ist demnach einmal das Übertreten eines Verbotes und im anderen Zusammenhang die Befolgung eines religiösen Gebotes. Eine gemeinsame Bewertung dieses Vorganges gibt es nicht, und aus diesem Grund ist eine transkulturelle Verständigung zu diesem Thema kaum möglich.⁷

Auf den Kontext einer transkulturellen Organisation bezogen scheint mir bedeutsam, einige Grundsätze zu formulieren, die das Gemeinsame fördern: Dabei dienen alle hier vorgetragenen Thesen als Grundlage.

Im Kapitel Gruppenprozesse wird aus analytischer Sicht auf die ethnisch bestimmten Identitäten von Gruppen hingewiesen. Daraus lässt sich ableiten, dass es auch im Kontext der hier beschriebenen transkulturellen Organisation ethnische Unterschiede gibt, die nicht durch den theoretischen Anspruch der transkulturellen Verständigung einfach aufgehoben werden können.

Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, in welcher Weise Kommunikation und Interaktion, sowie die stattfindende Deutung des Neuen zu einem gemeinsamen transkulturellen Milieu heranwachsen können und ob dergleichen geschieht. Ich unterstelle, dass alle Gruppen im Heim voneinander lernen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie eine gemeinsame Vision entwickeln, Lernen kann hier auch bedeuten, dass Vermeidungsstrategien und die Fähigkeit zur Abgrenzung verbessert werden.

Habermas stellt fest, dass die kulturelle Identität und die menschliche Identität zwei Seiten einer Medaille sind und dass wir das eine ohne das andere nicht wirklich erfassen können. Im vorliegenden Kontext macht diese Feststellung das Verstehen noch schwieriger. Tatsächlich bleiben neben dem gegenseitigen Durchdringen des Fremden und des Eigenen auch Strömungen erhalten, die die Abgrenzung forcieren. Und so bleibt neben dem Globalen und Universellen, dem Grenzenlosen, eine eigene, kleine Kollektivität

⁴ Habermas, J.: Theorie des Kommunikativen Handelns, Bd.1, Frankfurt, 2001

⁵ Welsch, W.: Transkulturalität. Zwischen Globalisierung und Partikularisierung. In: Interkulturalität. Grundprobleme der Kulturbegegnung. Mainzer Universitätsgespräche. Sommersemester 1998. Mainz, op.J. S. 45-72, zitiert nach Dornheim, J.: Kultur als Begriff und als Ideologie. In: Domening, D.: a.a.O.S.39

⁶ vgl. Dornheim, J. a.a.O. S. 37

⁷ vgl. dazu Dornheim, J. a.a.O. S. 18

erhalten, wo Eigenheiten gepflegt werden und damit wird dann auch die jeweils eigene soziokulturelle Identität verbunden. Im Kontext des jüdischen Heimes können die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gruppen dafür als Beispiel benannt werden. Einem großen Teil der russisch-sprechenden Bewohnern ist es wichtig, Teile der Gepflogenheiten und Rituale aus der Zeit der Sowjetunion zu erhalten, wie z.B. das Zelebrieren des 9. Mai (Tag der Befreiung), 8. März (Internationaler Frauentag), 16. Juni (Lehrerinnentag) oder auch Puschkins Geburtstag. Die Überlebenden begehen die Gedenktage, und Mitarbeiter in der Pflege haben bemerkt, dass viele Überlebenden schon vor diesen Gedenktagen unruhig und besorgt werden, weil ihre Erinnerungen sie quälen. An diesen Beispielen soll deutlich gemacht werden, dass es ein universelles, rationalisiertes Verständnis und Verstehen nicht geben kann.

Das Gemeinsame bezieht sich auf das Hier und Jetzt, das jeweils kulturell Eigene bleibt bestehen und hat seine Wurzeln in den eigenen Lebenserfahrungen und der soziokulturellen Umgebung, in der diese Erfahrungen gesammelt wurden.

Was das Hier und Jetzt allerdings betrifft, so müssen in einer transkulturellen Institution immer wieder aufs Neue Interessen ausbalanciert werden, denn alle, die Migranten und diejenigen, die schon länger hier sind, bringen ihre Fähigkeiten, Normen und Werte aus ihren Herkunftsländern oder auch den Ländern ihres Exils mit und sie mischen diese mit den Strukturen, Normen und Werten ihrer neuen Umgebung. Klar ist, dass gerade im jüdischen Kontext die klassischen Integrationsmodelle keine Bedeutung haben. Die neuen Migranten müssen die Spielregeln ihrer neuen Umgebung lernen und sie werden dabei begleitet von den Erwartungen, die diejenigen haben, die schon länger hier sind und denen es an Erfahrungen im Umgang mit Neuem nicht fehlt.

Es stellt sich nun die Frage, wie in dieser Gemengelage Handlungskonzepte entwickelt werden können, die den Anspruch an einen kultursensiblen Umgang miteinander erfüllen, was in einer Pflegeeinrichtung dann zur Konzeptualisierung der kultursensiblen Pflege führt.

Die Gefahr der stereotypen Zuschreibungen wurde schon angedeutet, wenn der Versuch unternommen wird, die Gruppen ethnisch zu definieren und jeder Ethnie sozusagen messbare und nachvollziehbare Eigenschaften, Interessen und Gewohnheiten zuzuordnen. M. Leininger hat dazu die Vorlage geliefert und die Anwendung ihres Konzepts bleibt eine andauernde Versuchung.

Um diesen Zuschreibungen zu entgehen, muss immer wieder verdeutlicht werden, dass jeder Mensch sein eigenes subjektives Konzept entwickelt und zwar auf der Folie der kollektiven Konzepte von Verhaltensmustern, die ihm im Laufe seiner Sozialisation begegnet sind. An dieser Stelle darf der Hinweis nicht fehlen, dass Sozialisation nicht nur eine kulturelle Prägung hat, Sozialisation verläuft auch schichtenspezifisch.

Ein Verstehenszugang, der im vorliegenden Kontext geeignet scheint, ist der von M. Andrews und M. Boyle entwickelte Ansatz für die Pflegeforschung. Sie teilen das Leben in Lebensphasen und untersuchen die gemeinsamen Symbole für die jeweils typischen Ereignisse dieser Lebensphasen, wie z.B. Heirat, Geburt der Kinder, Versorgung der Eltern, Arbeit, Arbeit von Mann und Frau, Großelterndasein etc.

Dieser Verstehenszugang ist zum einem ein heuristischer und zum anderen dienen Biographien als die Quellen, die über die typischen Ereignisse der jeweiligen Lebensphasen Auskunft geben können. Deshalb ist eine der Grundlagen für die Datensammlung Biographiearbeit. Dafür ist Empathie das Fundament und zwar die Empathie für das Entdecken des Neuen, des Anderen, des Fremden und damit vielleicht auch die Entdeckung des eigenen Selbst.

Das führt zum Kern der transkulturellen Kompetenz. Die Grundlage für den Umgang mit dem Anderen, mit dem Fremden ist Selbstreflexion, das Kennen seiner selbst. Damit ist verbunden, sich auch eingestehen zu können, dass man nicht alles versteht.

Diese Fähigkeiten sind in erster Linie für die professionelle Arbeit in transkulturellen Organisationen von Bedeutung. Kurz soll an dieser Stelle auf einige Ergebnisse der Biographiearbeit eingegangen werden, die auf die Unterschiede und auf das Gemeinsame der ethnischen Gruppen im Heim hindeuten und die für die Konzeptualisierung der transkulturellen Pflege von Bedeutung sind.

Unter dem Aspekt der Betrachtung der Lebensphasen ergeben sich Gemeinsamkeiten von allen Gruppen und Trennendes.

Eine wichtige Gemeinsamkeit aller Heimbewohner ist die extreme Erfahrung mit drohender Vernichtung. Alle russisch-sprechenden Bewohner berichten von der Evakuierung, die sie gemeinsam mit allen Bewohnern der großen Städte während des Krieges erlebt haben. Einige berichten, dass sie in der Zeit des Weltkrieges Erfahrungen gemacht haben mit der Massenerschießung von Juden durch die Deutschen und alle berichten von dem spürbaren Antisemitismus in der Stalin-Zeit.

Was demnach alle Gruppen im Heim gemeinsam haben, ist eine extreme Erfahrung mit Bedrohung und Vernichtung. Auffällig ist auch in den Biographien, die bei Heimaufnahme abgefragt werden, die Bedeutung der Berufstätigkeit. Alle russisch-sprechenden Bewohner waren berufstätig und zwar unabhängig vom Geschlecht. Wenig Bedeutung haben dementsprechend für die Frauen Tätigkeiten wie Handarbeiten und Kochen. Das teilen sie wiederum mit den nicht russisch-sprechenden Heimbewohnern, die entweder im Exil erfolgreich berufstätig waren oder nach dem Krieg in Deutschland zu Wohlstand gekommen sind und dann für solche Tätigkeiten Dienstpersonal hatten.

Im Bezug auf die Bedeutung von Ehe und Partnerschaft gibt es individuelle, aber kaum Gruppenunterschiede. Über alle Gruppengrenzen hinweg berichten einige Interview-

partner von der Bedeutung ihrer Ehe, von den Kindern und von Verlusten, die sie hart getroffen haben, und andere wiederum stellen ihr Berufsleben in den Mittelpunkt und die geschäftlichen Erfolge.

Methoden

Das breit gefächerte Sujet erfordert ein entsprechendes Datenmaterial. Dazu gehören Aussagen, die Betroffene in Workshops zu Protokoll geben, biographische Daten, die im Kontext der Heimaufnahme gewonnen wurden, Einschätzungen von Mitarbeitern des Heimes, die sie in entsprechenden Maßnahmen zur Weiterbildung gegeben haben, Ergebnisse von Bewohner- und Angehörigenbefragungen sowie Tiefeninterviews, deren Bearbeitung dem Setting der biographischen Forschung und dem der Fallstudien folgen.

Es wird bunt und vielleicht chaotisch, jedenfalls wird neues Terrain betreten.

Die meisten Gesprächspartner, mit denen ein Tiefeninterview geführt wurde, sind Bewohner des Jüdischen Altenzentrum in Frankfurt.

Deshalb geht es auch um Aspekte der Organisationssoziologie. Transkulturelle Pflege und das Management von transkulturellen Organisationen stehen dabei im Mittelpunkt. Jüdische Organisationen sind in Deutschland und anderswo in der Welt immer transkulturell, sie bilden einen Mikrokosmos, an den im Bezug auf Führung alle Anforderungen der transkulturellen Kommunikation gestellt werden. Was das Jüdische Altenzentrum von anderen Organisationen, die sich auf die Versorgung von Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern konzentrieren, unterscheiden mag, ist die Tatsache, dass die neuen Zuwanderer inzwischen die größte sprachlich homogene Gruppe im Heim bilden und dementsprechend an Gewicht gewonnen haben. Wer sind eigentlich die Fremden? Das ist eine Frage, die in diesem Kontext häufig zu hören ist, und auch der werde ich nachgehen.

Methodenvielfalt ist das Konzept und die Methode der Deutung ist die Hermeneutik.

Phänomene aufzuspüren und sie im Kontext von unterschiedlichen Theoriekonzepten zu deuten, deren Auswahl nach „inneren“ Kriterien erfolgt, was bedeutet, dass sie in der hermeneutischen Deutung plausibel und nützlich erscheinen, das ist die Methode der Bearbeitung und Darstellung des Sujets.

Die Phänomene liefern der Ort und die Menschen, auf die sich die Recherche beziehen. Die Phänomene als Praxisbeispiele werden im vorliegenden Text kursiv gedruckt, sie dienen als Bezug und Anhaltspunkt für unterschiedliche Deutungen und Belege für theoriegeleitete Thesen. Mein Bemühen geht dahin, den Leser mitzunehmen auf eine Reise in eine komplexe Welt, die bisher so noch nicht ausgeleuchtet wurde. Nicht immer gelingt es mir, Brüche im Text

zu vermeiden und dem Leser Überraschungen zu ersparen, wenn es wieder um etwas Neues geht oder darum, die Perspektive oder auch das Theoriekonzept zu wechseln. Vom Blick des Analytikers zur Hermeneutik, von der Beschreibung zur Frage nach der Evidenz und dazwischen kommen immer wieder die Menschen selbst zur Wort oder es wird ihr Schicksal gezeichnet. Das ist die Spannbreite, auf die es sich einzustellen gilt. Am Ende des Textes geht es dann aber doch sehr pragmatisch zu. Das Ergebnis ist ein Handlungskonzept für die Gestaltung des Zusammenlebens von Menschen in einer transkulturellen Organisation.

Orte und Menschen

Alle sind Fremde

Die Bewohner

Die Bewohner des Altenzentrums der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt kommen aus 10 unterschiedlichen Herkunftsländern, wovon die Länder der ehemaligen Sowjetunion als ein Land gezählt werden. Die Bewohnerstruktur ist das Spiegelbild der jüdischen Gemeinschaft in der Bundesrepublik.

Displaced Persons, die Auschwitz oder andere Konzentrationslager überlebt haben, oder auch diejenigen, die in den Wäldern Polens und Weißrusslands mit den Partisanen oder als Einzelkämpfer dem Tod entronnen sind, leben gemeinsam mit ursprünglich deutschen Juden, die im Alter aus dem Exil zurückgekehrt sind, gemischt mit Zuwanderern, die in der ersten Welle der Zuwanderung aus Ost- oder Südosteuropa nach Deutschland gekommen sind und solchen, die sich erst in den 90er Jahren auf den Weg gemacht haben oder auch erst kürzlich in die BRD eingereist sind.

Alte Fremde und neue Fremde mischen sich und diese ethnische Vielfalt der Bewohner wird ergänzt durch die ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt der Mitarbeiter, die genauso wie die Bewohner mehrheitlich aus den Ländern der ehemaligen UdSSR stammen.

Das ist der Hintergrund, vor dem im Altenzentrum der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt die Konzeptualisierung der Transkulturellen Pflege und die Reflexion über die Beschaffenheit einer transkulturellen Organisation begannen. Die unterschiedlichen Herkunftsländer, die unterschiedlichen Sprachen, die die Bewohner sprechen, und die unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen, die sie im Laufe ihres Lebens gesammelt haben, bilden eine Komplexität, die im Pflegealltag häufig den Wunsch nach einfachen Mustern des Verstehenszugangs wecken.

Dementsprechend wurde der Beginn des Prozesses deutlich von den kulturalistischen Zuschreibungen bestimmt, wo die Mitarbeiter in der Pflege und Betreuung

handlungsleitende Rezepte zur kulturellen Orientierung erwarteten und zum Teil auch aufgrund ihrer eigenen Migrationserfahrungen selbst entwickelt haben.

Um diesen Prozess näher zu beleuchten, sind zwei Aspekte von Bedeutung. Zum einen geht es darum, dass die größte nach Sprache und Kultur homogene Gruppe die der Migranten aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion ist. Dementsprechend wird diese Bewohnergruppe holistisch wahrgenommen, sozusagen als ein kulturell komplexes Ganzes. Dass diese Wahrnehmung brüchig wird im Alltag hat seinen Grund darin, dass die ethnischen Zugehörigkeiten nie so selbstverständlich und ursprünglich sind. „Entscheidend ist nicht die Gemeinsamkeit, sondern der Gemeinsamkeitsglaube“⁸. Abstammung ist, so der Soziologe Gerd Baumann, „eine soziologische Konstruktion, nicht eine biologische Tatsache“.⁹

Wenn wir schon bei diesen Reflexionen angelangt sind, sollte die Gelegenheit genutzt werden, einen Blick auf das diffuse Bild der jüdischen Abstammung zu werfen. Woher kommen die Migranten, welche ethnische Zuschreibung geben sie sich selbst und wie sehen diejenigen sie, in deren Gemeinschaft sie sich integrieren sollen oder wollen?

Bevor einige Antworten auf diese Fragen gesucht werden, muss unterstrichen werden, dass diese Fragen auch die alten Migranten und insbesondere die Bewohner eines jüdischen Altenzentrums bewegen. Sie leben in unmittelbarer Nähe mit den anderen, die schon länger in Deutschland sind, die als Fremde hier ankamen und in der Zwischenzeit ein brüchiges Zugehörigkeitsgefühl entwickelt haben. Sie reagieren heute hin und wieder mit Verbitterung und stellen fest, dass die Zuwanderer „denken, sie kommen zu den Reichen und erwarten Wunder“. Vermisst wird Eigeninitiative und es folgen Beschuldigungen, sich anzueignen, wozu kein Recht besteht.¹⁰

Noch komplizierter wird die Sache, wenn wir die Frage stellen, wer überhaupt Jude ist, und wie die Antwort dann für die alten Migranten ausfällt,

Nach der Halacha¹¹ ist die Sache eindeutig und so sehen es auch die Rabbiner und ihre Gemeinden in Deutschland. Wer eine jüdische Mutter hat, ist Jude.

Mit dieser „religiösen Logik“ kommen aber viele Migranten nicht zurecht.

Der Blick in die authentischen Berichte meiner Gesprächspartner zeigt, was gemeint ist:

Nach der Halacha ist Frau B. Jüdin, so hat sie sich aber ihr Leben lang nicht gefühlt, denn ihrem Vater, einem Russen mit deutscher Abstammung, war es gelungen, sie als Russin einschreiben zu lassen und davon, so meint sie, habe sie in ihrem Berufsleben sehr profitiert. Herr O. hat erstmals in Deutschland erfahren, was Judentum überhaupt ist.

Frau K. hat sich immer als Jüdin gefühlt, aber nie als Jüdin gelebt, hätte sie sich für ein jüdisches Leben entschieden, wäre ihr Leben ganz anders verlaufen.

„Passjuden“ wurden in der UdSSR diejenigen, die ein jüdisches Elternteil hatten, egal ob Vater oder Mutter, und wer den Zusatz „Evrej“ im Pass hatte, fühlte sich als Jude, was wiederum dann nicht im Einklang steht mit der Halacha, wenn nur der Vater Jude war.

Für die Nationalsozialisten waren alle Juden, die nur „einen Tropfen jüdisches Blut in den Adern“ hatten. Zwar wurde der Kreis der Verfolgten erst allmählich¹² erweitert, aber im Jahr 1941, als die Wehrmacht in die Sowjetunion einmarschierte, galt diese Regel und deshalb waren alle Menschen mit jüdischer Herkunft gefährdet, auch dann wenn die jüdische Gemeinschaft sie nicht als Mitglied anerkennt.

Viele alte Migranten haben die Zeit des Krieges miterlebt und sind Zeuge von der Tötung von Juden geworden, die sich nicht mehr vor der SS retten konnten.

Frau S. weiß, dass die Familie ihres Bruders in Nezin, unweit von Kiew, von den Deutschen umgebracht wurde, weil sie Juden waren. „Der Schwiegervater und mein Bruder mussten ein Grab ausheben und dann wurden alle, auch die Kinder, erschossen“.¹³

Die Mitarbeiter

Der andere Aspekt betrifft die Mitarbeiter des Heimes, die wie die Bewohner, aus unterschiedlichen Herkunftsländern stammen.

Die Mehrzahl der Mitarbeiter stammt nicht aus Deutschland. Ihre Herkunftsländer sind die ehemalige Sowjetunion, von ihnen sind einige als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen und andere haben als Nachfahren der Wolgadeutschen ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland erworben. Diese Gruppe der Mitarbeiter nimmt für sich in Anspruch, sich sowohl sprachlich als auch mental auf die Bedürfnisse der russisch sprechenden Bewohner einstellen zu können. Ein anderer Teil der Mitarbeiter stammt aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, einige kommen aus den neuen Bundesländern, andere aus Polen und fast alle haben zumindest Grundkenntnisse in der russischen Sprache, mit Ausnahme der Mitarbeiter, die aus dem Iran oder aus Afghanistan oder aus den alten Bundesländern stammen.

Die sprachliche Kommunikation ist sozusagen sichergestellt, und dennoch ist mit der multikulturellen Herkunft der Mitarbeiter nur das Fundament für transkulturelle Kompetenz geschaffen, das nur dann zu einem fachlich fundierten Werk gedeihen kann, wenn zu den eigenen transkulturellen Erfahrungen Hintergrundwissen kommt und die Bereitschaft zur Selbstreflexion.

Im Heim werden immer wieder Mitarbeiter gebeten, zu dem Thema „Fremdheit“ eigene Empfindungen zu notieren. Einmal lautete die Frage, was ihnen in Deutschland oder auch im Heim das Gefühl des Fremdseins hervorruft.

⁸ Vgl. dazu Beck-Gernsheim, E.: Juden, Deutsche und andere Erinnerungsländschaften, 1999, S. 19

⁹ Beck-Gernsheim, E.: a.a.O. S. 25

¹⁰ Vgl. Schoeps, J.-H., Jasper, W., Vogt, B.: (Hrsg.) Ein neues Judentum in Deutschland. 1999 S.107

¹¹ die Gebote der 5 Bücher Mose – schriftliche Thora und deren mündliche Überlieferung

¹² vgl. Friedländer, S.: Das Dritte Reich und die Juden, 1998 und Beck-Gernsheim, E. a.a.O. S. 55

¹³ vgl. Christopher Browning, der in seinen neuesten Recherchen zur Shoah-Forschung nachgewiesen hat, dass der erste Schritt vom „Verschwinden durch Vertreibung zum Massenmord in der Sowjetunion getan wurde. Unter diesem Aspekt ist die Geschichte der russischen Juden und damit auch unserer Interviewpartner und der alten Migranten zu betrachten. Die Spuren dieser Erinnerungen ziehen sich durch fast alle Interviews. (Die Entfesselung der ‚Endlösung‘, Nationalsozialistische Judenpolitik 1939-1942. C.Browning, München, 2003)

Folgende Antworten wurden von einer Gruppe von 10 Mitarbeitern, die aus 8 unterschiedlichen Ländern stammen, notiert:

- Trotz der vielen Möglichkeiten, die es in Deutschland für ein „gutes Leben“ gibt, besteht Herzlosigkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen und es gibt keinen Respekt für alte Leute.
- Die Arroganz oder die überhebliche Art der Menschen und auch, dass sie wenig bereit sind, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, das heißt auch dass sie keine soziale Verantwortung haben.
- Ich fühle mich sehr fremd in Deutschland.
- Es muss im Allgemeinen um jeden Preis alles verkauft werden, der Umsatz muss stimmen, die Qualität der Ware ist egal.
- Die Küche im Heim ist mir fremd (gemeint ist die koschere Küche) und wird mir fremd bleiben.
- Ich musste in Deutschland einen anderen Beruf erlernen und ich habe alles geschafft, ich bin jetzt Altenpflegerin und ich bin zufrieden.
- Fremd ist mir der Arbeitsablauf im Heim, dass ich Verantwortung übernehmen muss, die Kultur der jüdischen Menschen und wie man sich jüdischen Menschen gegenüber verhalten sollte.
- In Russland sind die Leute offen, hier in Deutschland sind sie verschlossen.
- Jeder ist auf sich alleine gestellt. Da wo ich herkomme, ist die ganze Familie zusammen und auch die Nachbarschaft hält zusammen. Hier in Deutschland wird die Tür hinter sich zugemacht, und gut ist es.
- Das Essen war am Anfang Gewohnheitssache.

Grundlage für die Bearbeitung kulturell bedingter Verhaltensmuster und -Erwartungen war die Biographie eines russisch-sprechenden Heimbewohners, der offen über seine aktuellen Schwierigkeiten berichtet. Er empfindet, dass ihm von den jungen Mitarbeitern kein Respekt entgegengebracht wird, was sich darin äußert, dass jüngere „Schwestern“ nicht aufstehen, wenn er z.B. das Dienstzimmer betritt, um eine Auskunft zu bekommen. In der nach Herkunft und Ethnie gemischten Gruppe der Mitarbeiter entwickelte sich sofort eine rege Debatte, ob alte Menschen tatsächlich heute in Deutschland derartige Respekterweise erwarten können.

Einig waren sich die Mitarbeiter aus Südosteuropa, aus Asien und Russland darüber, dass diese Respekterweise zu erwarten sind und sie bestätigten, dass sie in jedem Fall aufstehen würden, wenn eine ältere Person das Dienstzimmer betritt.

Die deutschen Mitarbeiter fanden dies befremdlich, sie stellten ihre Arbeit, die sie zu verrichten haben, wenn sie am Schreibtisch sitzen, in den Vordergrund und betonten, dass sie dies allerdings in keiner Weise als Respektlosigkeit deuteten.

Klar wurde aber auch, dass diese unterschiedlichen Auffassungen von Verhalten und Benehmen Anlass zu Missverständnissen und Spannungen bieten. Für die alten Migranten muss sich das Bild noch verworrener darstellen. Sie machen nicht die Erfahrung, dass es in Deutschland nicht die Erwartung gibt, für eine ältere Person aufzustehen, sondern sie werden mit höchst unterschiedlichen Verhaltensweisen konfrontiert. Einige Mitmenschen (hier Mitarbeiter) entsprechen ihren Erwartungen und die anderen nicht und deren Verhalten wird als Kränkung wahrgenommen. Die Kränkung erzeugt Wut gegenüber denjenigen, die sie verursacht haben, und diese wiederum sind sich keiner Schuld bewusst, weil man sich ja in Deutschland schon lange von derartigen Respekterweisen befreit hat und keiner es übel nimmt - nur einige alten Migranten.

Diese Übungen mit den Mitarbeitern fördern die Bereitschaft zur Selbstreflexion, die umso notwendiger ist als das auch von denjenigen, die aus anderen Ländern stammen, individuelle Akkulturationsprozesse durchlaufen werden, die häufig nicht hinterfragt werden. Der Mangel an Reflexion bewirkt, dass neben der kulturellen Zuschreibung auch die Anpassungsprozesse in der Fremde holistisch gesehen werden. Schnell kommt es dann zu Stereotypen wie die Verpflichtung zur Anpassung, die in folgenden Zitaten ihren Ausdruck findet: „Ich kam auch aus Polen und musste mich hier anpassen“, oder „wer in ein anderes Land geht, der weiß doch, worauf er sich einlässt“. Andere Zuschreibungen finden ihren Ausdruck in der nicht auflösbaren Trauer über den Verlust der Heimat, die nicht nur geographisch, sondern im Fall der Migranten aus der ehemaligen UdSSR auch mental zu beklagen ist.

Dieser Anspruch an Selbstreflexion führt zu der Frage nach der eigenen Kultur und der Kultur des anderen, deren Beantwortung in der Erkenntnis mündet, dass die „Welt in Stücken“ liegt (Geertz, 1996, S. 74f) und dass sich schließlich jedes Individuum seine eigene Lebenswelt konstruiert. Diese eigene Lebenswelt wird von biographischen Erfahrungen geprägt, von äußeren Lebensbedingungen, die bisweilen eine Kohorte betreffen, und von soziokulturellen Hintergründen. Auf dieser Folie sehen die anderen uns und wir die anderen, sehe ich den Fremden, und der Fremde sieht mich.

Im Abschnitt Kulturbegriffe habe ich Leinigers Konzept der Transkulturellen Pflege und das zugrunde liegende Kulturverständnis erwähnt. M. Leininger hat als erste Forscherin sich der Frage nach der Implementierung des Transkulturellen in die Pflege gewidmet. Leinigers kulturalistische Theorie der Pflege mündet in pflegerelevanten Handlungsweisen, die sie und ihre Forschergruppen für ca. 60 Kulturen entwickelt haben.

Von den Mitarbeitern des Jüdischen Altenzentrums wird die Binnenstruktur des Heimes als eine komplizierte wahrgenommen. Die Bewohner gelten im Vergleich zu anderen ethnisch eher homogenen Einrichtungen als besonders anspruchsvoll. Darin liegt auch das Geheimnis des Erfolgs für Leinigers Werk. Es bedeutet für die Praxis eine andauernde Versuchung, diesen konkreten Handlungsanweisungen, die den Charakter von Stereotypen haben, zu folgen in der Hoffnung, dass damit die Dinge einfacher würden. Daraus entwickelt sich im Heimalltag immer wieder das Bedürfnis, die einzelnen ethnischen Gruppen einer jeweils in sich geschlossenen Kultur zuzuordnen, um auf diese Weise Konflikte im Alltag verstehen und lösen zu können.

Dies mündet dann zum Beispiel in der Feststellung einer Mitarbeiterin aus der ehemaligen Sowjetunion: „Ich weiss, meine Landsleute sind schrecklich, sie sind gierig, sie nehmen sich alles, auch das, wozu sie kein Recht haben“. Gemeint war, dass anlässlich einer Feier im Heim, Angehörige von russisch-sprechenden Bewohnern in großer Zahl gekommen waren und ohne einen finanziellen Beitrag zu leisten, sich großzügig am kalten Buffet bedient hatten. Eine an und für sich normale und über alle Kulturen hinweg anzutreffende Verhaltensweise, sich zu bedienen, wenn etwas kostenlos geboten wird, wird dann, wenn daraus Konflikte entstehen (hier z.B. weil dann das Essen nicht reichte) dem typischen Verhalten einer Ethnie zugeschrieben, kulturalistisch gedeutet und damit Nährboden für Vorurteile gegenüber der ganzen Gruppe, woraus dann leicht interkulturelle Konflikte entstehen können, die das Klima vergiften.

Zuschreibungen und Klischees

Wenn solche interkulturellen Konflikte in einer Institution nicht thematisiert werden, drohen Krisen. In der Entstehungsphase einer solchen Krise wurde im Heim ein Workshop mit Mitarbeitern durchgeführt. Der Ausgangspunkt dieser Krise war die hohe Anspruchshaltung der Bewohner aus der ehemaligen UdSSR, und diese Krise wurde dann schließlich der Anstoß zu weiteren Forschungen.

Die Unterstellung einer hohen Anspruchshaltung seitens der Zuwanderer gehört zwischenzeitlich zu einem gängigen Klischee.¹⁴ Im Heimalltag werden diese Klischees ständig bedient, denn es mangelt nicht an älteren

Zuwanderern, die hohe Ansprüche an ihre Betreuung stellen und sich wenig an den vorgegebenen und über Heimvertrag geregelten Leistungsumfang halten. Betrachtet man die Sonderwünsche etwas näher, dann sind sie in drei Kategorien zu fassen:

1. Bedarf an Zuwendung, Aufmerksamkeit und Zeit
2. Bedarf an Mehrleistungen über den Leistungsumfang hinaus, wie z.B. stündliches Blutdruckmessen, Mehrleistungen an Medikamenten, Ablehnung von Generika
3. Bedarf an Hilfsmitteln und Therapien, die nicht verordnungsfähig sind.

Schnell werden die Forderungen und Ansprüche einzelner dann der ganzen Ethnie zugeschrieben und als charakteristisch empfunden.

Ohne Gegensteuerung droht die Kommunikation zwischen den Bewohnern und den Mitarbeitern zu vergiften. Und selbst die Mitarbeiter mit eigener Migrationserfahrung fühlen sich überfordert und von den Bewohnern für die Durchsetzung von Ansprüchen, für die es keine Grundlage oder Rechtfertigung gibt, missbraucht. Im Verlauf des Workshops entwickelte sich das Typische.

Stereotype Zuschreibungen, wie z.B. die Anspruchshaltung der Privilegierten in der ehemaligen Sowjetunion, zu denen einige der Bewohner zählen, rechtfertigten das Urteil der Mitarbeiter über sie und ihre Ablehnung und Zurückweisung. In einer Moderation wurden dann diese Muster aufgebrochen und die Mitarbeiter wurden gebeten, ihre typischen Erfahrungen mit den russisch-sprechenden Bewohnern aufzuschreiben und diese in positive und negative Erfahrungen und Eigenschaften zu gliedern.

Unter der Rubrik „positiv“ wurden folgende Erfahrungen genannt:

- Zufriedenheit und Dankbarkeit
- die russisch-sprechenden Bewohner lernen schnell, sich auf die neue Lebenslage einzustellen
- wir erhalten positives Feedback von Bewohnern und Angehörigen
- die russisch-sprechenden Bewohner bedanken sich für alles
- die Angehörigen bewundern oft die „guten Nerven“ der Mitarbeiter.

Unter der Rubrik „negativ“ wurden folgende Erfahrungen genannt:

- Angehörige und Bewohner haben unerfüllbare Forderungen
- Angehörige nehmen die Sozialhilfe der Bewohner für sich
- Neid ist weit verbreitet
- Bewohner wollen häufig Nahrungsmittel, die sie nicht essen, nur weil ihr Nachbar diese Lebensmittel bekommen hat
- sie haben hohe Ansprüche, was Hilfsmittel und Medikamente angeht
- manchmal untermauern sie ihre Anspruchshaltung mit Drohungen, insbesondere damit, sich bei der Leitung des Heimes oder beim Vorstand der Gemeinde zu beschweren.

In einem weiteren Schritt versuchte die Arbeitsgruppe anlässlich des Workshops die persönliche und psychosoziale Lage der Zuwanderer zu beschreiben. Es wurde festgestellt, dass viele der Migranten unter Depressionen leiden. Nach Einschätzung der Mitarbeiter haben diese ihre Wurzeln in der schwierigen persönlichen und psychischen Lebenslage, in der sich die alten Menschen befinden. Zudem wurde festgestellt, dass es erhebliche Unterschiede im Anspruchsverhalten und im allgemeinen Verhalten gibt zwischen den Migranten, die in der Sowjetunion hohe Positionen begleitet haben und solchen, die eher aus bescheidenen Verhältnissen stammen und dementsprechend nie Privilegien hatten. Diejenigen, die hohe Positionen inne hatten, fallen den Mitarbeitern im Heim durch chronische Unzufriedenheit auf. Immer wieder versuchen sie, ihrer subjektiv empfundenen Bedeutungslosigkeit in ihrer neuen Lebenssituation zu entfliehen, indem sie ihre persönliche Bedeutung, die sie aus ihrer Biographie ableiten, unterstreichen. Diese Gruppe muss, so meinen die Mitarbeiter, die Spielregeln des Lebens neu erlernen. Sie haben mit Prestige- und Statusverlust zu kämpfen und sie verlangen Beachtung. Sie sind kampferprobt und gewohnt zu siegen.

In der weiteren Debatte konnte herausgearbeitet werden, dass es keine stereotypen Zuschreibungen gibt, sondern nur subjektive und individuelle Verhaltensweisen, die bisweilen einen soziokulturellen Kontext haben.

Die Einschätzungen der Mitarbeiter konnten in den Tiefeninterviews nicht bestätigt werden. Alle befragten Bewohner aus der ehemaligen Sowjetunion zeigten sich in den Tiefeninterviews dankbar dafür, dass sie in Deutschland eine neue Bleibe gefunden haben, und sie äußerten ihre Wertschätzung gegenüber dem deutschen Gesundheitswesen und dem System der sozialen Sicherung. Diese Diskrepanz zwischen der reflektierten Kommunikation, die die Interviews gestaltet, und der Alltagskommunikation,

begründet die These, dass die Kommunikation im Pflegealltag nicht von Sachlichkeit getragen ist. Hier werden Verhandlungen über die Verbesserung der Teilhabe an Zuwendung geführt, auf die die Bewohner bei rationaler Betrachtung eigentlich keinen Anspruch erheben.

Im Heimalltag werden in diesem Zusammenhang ganz praktische Fragen gestellt:

Darf man verlangen, was man denkt zu brauchen? Was trägt zum Wohlbefinden bei und wie kann Wohlbefinden hergestellt werden?

Diese mehr oder weniger abstrakte Näherung an die Wirklichkeit kann Probleme bergen, die grenzüberschreitend sind. Mehrmals in der Nacht den Blutdruck messen, ein Wunsch, der genährt ist aus Hypochondrie oder aus dem eigenen Verständnis von Wohlbefinden, nicht nachvollziehbar und doch vorhanden und es bleibt die Frage: Wer zahlt für all das, dafür dass ein Mensch Wünsche hat, die vielleicht nur genährt sind von Illusionen, falschen Ansprüchen und Hoffnungen auf Versorgung?

Und ist den Gefühlen, die die Erwartungen nähren überhaupt mit Rationalität zu begegnen? Pflichtleistungen, Kann/Muss-Leistungen und Leistungen, auf die sich Pflegekräfte keinesfalls einlassen dürfen, weil sich nach dem banalen Gesetz der Arithmetik diese Leistungen nicht rechnen lassen, obwohl sie unbestritten zum unverzichtbaren Anteil menschlicher Bedürfnisse gehören. Damit hadern einige alte Migranten, wenn sie in den Zustand der Hilfsbedürftigkeit geraten sind. Als sie noch in ihrer alten Heimat lebten, haben sie von Deutschland gehört und insbesondere von der guten Versorgungslage, die sie hier zu erwarten haben. Enttäuschte Erwartungen bewirken Kränkungen. So haben sich viele Deutschland nicht vorgestellt, dass es Begrenzungen gibt, dass es einen Leistungskatalog gibt, den die Pflegeversicherung oder andere Kostenträger vorschreiben und der deutlich Überversorgung verbietet und klar definiert, dass sich der Betreuungsgrad eben an Standards misst und dementsprechend andauernd die Grenzlinie gezogen wird.

Im Kapitel „Gruppenprozesse“ werde ich die Hintergründe für diese alltäglichen Konflikte näher beleuchten und zunächst aber auf die emotionalen Aspekte von Gesundheit und Wohlbefinden eingehen.

Nicht versäumt werden soll, darauf hinzuweisen, dass es auch Zuschreibungen seitens der Bewohner gibt, die ihre Wirkung nicht verfehlen. „Den Gojim¹⁵ kann man nicht trauen“, oder „alle Gojim sind Diebe“, ist häufiger zu hören und soll den Kern der Spaltung in die Mitarbeiter treiben. Ohne die „Gojim“ wäre die Arbeit nicht zu verrichten, weil jüdische Pflegekräfte nicht in ausreichender Anzahl vorhanden sind, im Gegenteil, sie sind in der Minderheit. Seitens der Bewohner werden diese pauschalen

Zuschreibungen verstärkt ins Spiel gebracht, wenn sie schon in den Zustand der Demenz geraten und alles außer Kontrolle gerät. Die Umwelt ist nicht mehr zu begreifen und man selbst weiß nicht mehr genau, was man tut. Dann sind solche Zuschreibungen hilfreich, sie erklären das eigene Chaos und sie zeigen auch noch Wirkung, die auf Seiten der Mitarbeiter nur über Wissen kompensiert werden kann, und das ist der Anspruch, den es zu verwirklichen gilt. Diese Zuschreibung fördert allerdings nur zutage, was lange in der Seele hauste. Die schlechte Erfahrung mit den „Anderen“, die nicht zu „uns“ gehören, die gab es im Leben, und im Heim ist man dann auf die „Gojim“ angewiesen. So lange der Verstand die Seele beherrscht, bleibt es möglich, die Angst unter Kontrolle zu halten. Nur im Notfall werden bewusst Hilfsmittel von den Bewohnern gebraucht, die die Helfer ohnmächtig machen, und dazu gehören Beschuldigungen wie „hier geht es zu wie im KZ“. Eine Beschuldigung, die auch in Israel von Überlebenden und ihren Kindern häufiger zu hören ist, was Nathan Durst¹⁶ bestätigte. Aus fachlicher Sicht geht es darum, sich mit den Phänomenen auseinander zu setzen, zu hinterfragen, was damit bewirkt werden soll und wie die Institution damit umzugehen hat. Wissen ist die Basis und eine gemeinsame Haltung, wo Wert darauf gelegt wird, diese Gefühle, die die Menschen haben, nicht an einen heimlichen Ort zu verbannen, sondern sie offen zu legen und ihre Berechtigung anzuerkennen, ohne dass die Mitarbeiter sich in der Rolle der Schuldigen wiederfinden, ohne dass sie sich ausgeliefert fühlen und dann nur mit Aggression und Zurückweisung reagieren können.

Soziokulturelle Symbole von Gesundheit und Krankheit

In dem weiteren Prozess der Konzeptualisierung des Transkulturellen im Heim werden Orientierungen gefördert, die das Leben in Lebensphasen gliedern und hier die Übereinstimmung oder die Differenzierung der soziokulturellen Symbole bezüglich Gesundheit, Krankheit und Pflege aufspüren, die im Pflegealltag von Bedeutung sind. Hilfreich sind hier die Forschungen von Andrews und Boyle, die die Interaktion zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen ins Zentrum rücken. Dabei geht es in erster Linie um das Verständnis davon, was sich in der Interaktion abspielt. Alle an der Interaktion Beteiligten bringen Anteile von sich und ihrer Kultur ein und der jeweils andere nimmt Elemente aus der Kommunikation auf, die dann auch das Eigene werden können. In der Interaktion entstehen Anpassungsprozesse, es wird ausbalanciert, wie man miteinander umgehen und sich verständigen kann. In diesem Zusammenhang soll auf ein interessantes Ergebnis aus der Bewohnerbefragung hingewiesen werden, die seit 10 Jahren jährlich durchgeführt wird. Die

Ergebnisse werden getrennt nach deutsch-sprechenden und russisch-sprechenden Heimbewohnern ausgewertet. Eine der Fragen, die auf kulturelle Prägungen deuten, lautet: „Legen Sie Wert darauf, dass die Mitarbeiter Sie mit ‚Sie‘ ansprechen?“ Im ersten Jahr der Befragung antworteten 100% der russisch-sprechenden Heimbewohner, dass dies ihnen sehr wichtig sei. Von den deutsch-sprechenden Bewohnern meinten das nur 24%. Im zweiten Jahr reduzierte sich der Anteil der russisch-sprechenden Bewohner für die die Ansprache mit ‚Sie‘ sehr wichtig ist, auf 80% und in den kommenden Jahren glichen sich die Ergebnisse immer mehr an.

Im Konsens mit den russisch-sprechenden Mitarbeitern wurden die Ergebnisse so gedeutet, dass die russisch-sprechenden Bewohner die korrekte Ansprache mit Respekterweis deuten. Deshalb haben sie in der ersten Befragung alle die Frage positiv beantwortet. Im Laufe der Zeit haben sie allerdings bemerkt, dass in ihrer neuen Umgebung die Deutungen andere sind. Die Anrede und der Respekt gehören für die Deutschen nicht mehr unmittelbar zusammen. Der Respekterweis wird eher im allgemeinen Verhalten gegeben und über die fachlich korrekte Arbeit und nicht so sehr in der äußeren Form. Je länger sich die russisch-sprechenden Bewohner in der anderen Kultur aufhalten, um so besser können sie dann auch den Umgang und die Verhaltensweisen deuten und kommen zu dem Schluss, dass die Anrede mit ‚Sie‘ doch nicht so entscheidend ist. Sollten sich die Ergebnisse im Trend fortsetzen, könnte man von einem Akkulturationsprozess sprechen. Auch die Forschungen des Medizinethnologen Kleinman¹⁷ dienen als Folie für die Konzeptentwicklung und hier insbesondere die Unterscheidung zwischen „Illness“ und „Disease“, die im transkulturellen Milieu von großer Bedeutung ist. In der Pflegeforschung haben sich Differenzierungen herauskristallisiert, die bei nicht Beachtung zu großen Spannungen führen können. Hier geht es insbesondere um die subjektive Sicht auf die Krankheit und damit um das Erleben von Beeinträchtigungen und Schmerz. Diese Perspektive kann sich völlig unterscheiden von der medizinischen Diagnose, die mit Hilfe standardisierter diagnostischer Verfahren erstellt wird und die Behandlung und die Versorgungspfade bestimmt. Das Krankheitserleben ist häufig soziokulturell geprägt und dennoch individuell. Menschen türkischer Herkunft deuten bisweilen ihre psychosomatischen Beschwerden als „gefallener Nabel“ und beschreiben diese Beschwerden als ein sehr intensives Erlebnis von physischem Schmerz und seelischen Problemen. Im jüdischen Kontext mischen sich diese Perspektiven und verdichten sich zu höchster Komplexität. Bei den Überlebenden der Shoah mischen sich traumatische Erinnerungen und die Prozesse der Retraumatisierung in die medizinische Diagnose und führen so eher zur Perspektive von „Illness“. Die russischen Migranten haben bei aller individueller Prägung eigene Vorstellungen von

¹⁵ Nicht-Jude

¹⁶ Nathan Durst s.A. war Überlebender und Psychologe bei der israelischen Organisation AMCHA, die sich um die psychische Betreuung der Überlebenden in Israel kümmert. Quelle für Nathan Dursts Zitate ist ein Interview, das mit ihm in Tel Aviv am 9.9.2001 geführt wurde und als Transkription vorliegt.

¹⁷ Vgl. Domenig, D.a.a.O.S. 149

Gesundheit und Krankheit im Alter. Ihr physisches Wohlbefinden hängt in der Regel von der Ernährung ab, an die sie die Ansprüche stellen, dass sie so sein soll, wie sie es gewohnt waren, sie hängt davon ab, ob sie genügend frische Luft genießen konnten, wo ihr Bedarf sehr ausgeprägt und erstaunlich unabhängig von der Witterung ist, und sie hängt davon ab, dass sie eine große Menge von Medikamenten erhalten, wobei sie auch einige vertraute Präparate wünschen.

Allerdings findet auch die Migration als subjektives Erlebnis ihre Wege in die subjektive Perspektive von „Illness“, was sich häufig nicht als behandlungsfähig aus medizinischer Sicht erweist.

Wittgenstein stellt in seinen Überlegungen zum „Sprachspiel des Empfindens“ am Beispiel des Schmerzes fest, dass das Benennen das Ergebnis eines Sozialisationsprozesses ist. Die Worte, die ein Kind von seinen Eltern oder in seiner Umgebung hört, wenn es einen Schmerz ausdrückt und die es beschwichtigen sollen, bringen ihm bei, dass es das Schreien durch Worte ersetzen soll. Und die Wahl der Worte ist kulturell geprägt. Ähnliches gilt für Angst und alle anderen tiefen Empfindungen. Wir können demnach nicht von vornherein davon ausgehen, dass wir mit unserem eigenen Verständnis von Empfindungen auch die Empfindungen der anderen verstehen.¹⁸

Das Jüdische als bindendes Element zwischen den Kulturen

In einer Institution, wo Menschen aus unterschiedlichen Kulturen leben, besteht die Gefahr der Atomisierung, was den Verfall der Gemeinschaft zur Folge hätte. Deshalb stellt sich die Frage, was ist das Gemeinsame, das Bindende für die alten Menschen, die aus allen Teilen der Welt hierher gekommen sind, um die letzten Tage ihres Lebens in einer jüdischen Gemeinschaft zu leben?

Sind Religion und Tradition stark genug, um die Menschen zusammenzuführen?

Im Heim werden Shabbat und die jüdischen Feste und Hohen Feiertage in der Gemeinschaft zelebriert. Es stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Bindungen die alten Menschen an ihre Tradition und Religion behalten haben, und im Falle der russisch sprechenden Heimbewohner muss sogar gefragt werden, ob sie jemals eine Bindung zur jüdischen Religion herstellen konnten.

Um dies herauszufinden, ist die Teilnahme am G'ttesdienst im Heim und die Partizipation an den jüdischen Feiertagen nicht der geeignete Parameter, weil aufgrund der Gebrechlichkeit viele Menschen nicht in der Lage sind, an den Veranstaltungen teilzunehmen.

Ein verlässlicher Zugang sind die Rekonstruktion des eigenen Lebens und die Deutungen, die die Menschen selbst im Erzählen ihrer Biographie vortragen.

Die Bearbeitung der Tiefeninterviews, die ich im Rahmen der Forschungsarbeit erhoben habe, zeigt, dass alle Gesprächspartner, unabhängig von ihrer Herkunft einen individuellen Zugang zur jüdischen Religion und Tradition haben. Die Gesprächspartner spiegeln die Buntheit des Judentums. Deutlich wird, dass einige der deutschen Juden niemals eine religiöse Erziehung hatten, genauso wenig wie die Mehrheit der russisch-sprechenden Interviewpartner.

So berichtet Frau R., (deutsche Jüdin), dass sie aus einem liberalen Elternhaus stammt, wo Wert auf die Tradition gelegt wurde, die Religion aber in den Hintergrund trat. Dies ging soweit, dass Frau R. in ihrer Kindheit mit ihrem katholischen Kindermädchen die Messe besuchte und Frau R. ihr die Frage stellte: „Kennst du eigentlich den Herrn Jesus?“ Worauf das Kindermädchen antwortete, „dass die Juden, die Verbrecher, ihn ans Kreuz geschlagen haben“. Als Frau R. ihrer Mutter davon berichtete, wurde in der Familie beschlossen, mehr für die religiöse Erziehung des Kindes zu tun und Frau R. wurde fortan regelmäßig mit in die Synagoge genommen. Eines Tages stellte sie ihrer Mutter in der Synagoge die Frage: „Wo ist denn hier der Herr Jesus?“ Die Mutter antwortete: „Der ist nicht da!“ Worauf Frau R. erwiderte: Aber Mutter, das kannst du doch nicht sagen, dass der liebe G'tt am höchsten Feiertag seinen einzigen Sohn nicht mit in die Synagoge nimmt“ (Interview Frau R. S. 16)

Die Interviewpartner, die aus Polen stammen, erklären alle, dass sie in der jüdischen Tradition aufgewachsen sind und dass sie über ein solides Wissen über die Rituale und den inneren Sinnzusammenhang der jüdischen Religion verfügen, ohne damit allerdings zwangsläufig eine religiöse Bindung entwickelt zu haben.

Sie kennen sich alle aus in den Ritualen und in der Tradition, beides ist wichtig, für den Zusammenhalt der Juden und das Überleben des Judentums.

Die russisch-sprechenden Gesprächspartner und Heimbewohner unterscheiden sich demnach nicht von den anderen im Bezug auf den individuellen Zugang zur Religion. Jeder hat seine eigene Beziehung zu G'tt.

Frau K. (Migrantin) hat im hohen Alter ihre alltägliche Zwiesprache mit G'tt begonnen und ein tiefes religiöses Empfinden entwickelt. Sie weiß wenig über die Tradition und das unterscheidet sie von den anderen nicht russisch-sprechenden Heimbewohnern.

Der Zugang zum Jüdischen als Tradition und Glaube ist ein persönlicher und das trifft auf alle Gesprächspartner zu. Der große Unterschied liegt beim Wissen über die Rituale und die Glaubensinhalte.

Die Analyse der Interviews mit den russisch-sprechenden alten Menschen in der kleinen Stichprobe bildet die

¹⁸ Zitiert nach Dan Bar-On. Furcht und Hoffnung. Hamburg, 1997, S. 57

Grundlage für die These, dass diejenigen, die eine höhere Position im sowjetischen System inne hatten und dementsprechend auch über eine hohe Bildung verfügten, kaum noch Zugang zur jüdischen Tradition haben.

Fast alle Befragten erinnern sich an Elemente des Jüdischen aus ihrer Kindheit. Die meisten Erinnerungen an ihre jüdische Herkunft haben sie allerdings durch das Erleben von Verfolgung und Tötung von Juden, die zeitlich in die Epoche der Oktoberrevolution zu verorten ist. Demnach handelt es sich um Kindheitserinnerungen, die im Alter häufig wieder Bedeutung erlangen¹⁹.

In den Biographiegesprächen variieren die Deutungen über das Jüdische von der Feststellung, dass es in der Sowjetunion keinerlei Möglichkeiten gab, ein jüdisches Leben zu leben, der Erinnerung daran, dass es bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges durchaus möglich war, die Beziehung zum Jüdischen zu erhalten, bis hin zur Feststellung, dass das ganze Leben in der jüdischen Tradition gelebt werden konnte und wurde.

Die Interpretation der Biographien lässt durchaus den Schluss zu, dass die Juden, die in der ehemaligen Sowjetunion höhere Positionen innehatten und einen höheren Bildungsabschluss hatten, sich dafür entschieden haben, ihre Wurzeln zu verleugnen, bzw. Religion oder Bindungen an Traditionen zur Privatsache zu erklären. Eine andere Entscheidung hätte die Karriere gefährdet, die ohnehin fragil war, weil das „Evrej“ im Pass vermerkt war, um die Ethnie zu kennzeichnen. Die Ethnie „R“ für russisch genoss, so die Erinnerung der Befragten, alle Privilegien und hatte Zugang zu allen Möglichkeiten, die die sowjetische Gesellschaft zu bieten hatte. Die Ethnie „Evrej“ für jüdisch hatte gewisse Beschränkungen hinzunehmen, insbesondere wenn es darum ging, Zugang zu einigen Studiengängen zu erhalten, oder eine gute Position in der Verwaltung einzunehmen. Obgleich in der Sowjetunion nur 0,7% der Bevölkerung jüdisch war, stellten Juden in den 70er Jahren einen Anteil von 10,8% aller Wissenschaftler und 14,7% aller Ärzte. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den älteren Migranten wider, wobei auch der Anteil von Künstlern, Musikern und Journalisten beträchtlich ist. Die alten Menschen im Heim sind ein Spiegelbild der beruflichen und gesellschaftlichen Herkunft der alten Migranten.

Eine grobe Zuordnung nach Bildung und Bindung an das Judentum lässt folgende Muster erkennen: Akademiker, die auf dem direkten Weg in hohe Positionen in der sowjetischen Gesellschaft gelangten, haben ihre Bindung an das Judentum verloren, bzw. sie haben nicht jüdisch gelebt. Die meisten von ihnen haben noch Erinnerungen an ein jüdisches Elternhaus und insbesondere an Erfahrungen mit der Verfolgung und Ermordung von Juden. Daneben gibt es eine weitere Gruppe von Befragten, die zunächst keinen Zugang zu Bildung und Karriere hatten, dann aber im Zuge von Qualifizierungsmaßnahmen ihren Platz in der

Gesellschaft der UdSSR eingenommen haben und es dann für angebracht hielten, sich dem Jüdischen fern zu halten. Die dritte Gruppe, die ich im Rahmen meiner Recherchen treffen konnte, ist eher der Bevölkerungsschicht zuzuordnen, die keine Chancen in der sowjetischen Gesellschaft hatte, und in den Erinnerungen war es ihnen dann möglich, ihr Leben im jüdischen Kontext zu leben, wenn auch nicht in einer aktiven jüdischen Gemeinschaft, so doch im Privaten, in dem der Shabbat und die Feiertage eingehalten wurden. Die Quellen für diese Annahmen sind zum einen die Tiefeninterviews, die im Heim geführt wurden, zum anderen Biographien, die bei Heimaufnahme abgefragt werden, und zudem Ergebnisse von Workshops, die mit den kognitiv rüstigen Heimbewohnern durchgeführt wurden.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Erhebung des Datenmaterials mit einigen Problemen behaftet ist, die sich stellen, weil in der Regel die Interviews mit einem Dolmetscher durchgeführt werden und weil Methoden wie Workshops den alten Menschen nicht vertraut sind. Die Teilnahme am Workshop ist grundsätzlich freiwillig. Die Menschen können die einzelnen Fragen auf Kärtchen beantworten oder es auch sein lassen. Ich möchte mich im Kontext dieser Abhandlung auf die Vorstellung von zwei Themen beschränken, die anlässlich eines Workshops behandelt wurden. Dabei ging es einmal um die Frage, welche Bedeutung der jüdische Glaube für die Bewohner hat und zum anderen um Heimat bzw. darum, was die Menschen vermissen, seit sie in Deutschland sind.

50% der Anwesenden beantworten die Frage nach der Bedeutung des Jüdischen. Dabei wurden folgende Antworten gegeben:

- Ich bin in einer jüdischen Familie aufgewachsen, die Feiertage wurden nach Möglichkeit jüdisch gefeiert.
- Früher hat die Familie nach den jüdischen Traditionen und Regeln gelebt, mit meiner Mutter habe ich jiddisch gesprochen.
- Ich lebte mit meinem Großvater, der war gläubig, wir haben alle Feiertage gefeiert.
- Die Feiertage haben wir immer gefeiert, aber in die Synagoge zu gehen, war verboten.
- Bei mir zu Hause haben wir nach dem jüdischen Ritus gelebt.
- Nach dem jüdischen Glauben zu leben, war unmöglich, aber die Feiertage haben wir gefeiert, wie es sich gehört, z.B. Jom Kippur gefastet, an Pessach Matze gegessen.
- Ich bin stolz, dass ich Jüdin bin, aber die Sprachen wie jiddisch und hebräisch kann ich nicht sprechen.

¹⁹ Im Erwachsenenalter sind sie wieder Zeuge geworden von der Verfolgung und Tötung der Juden, als der Krieg ausbrach und die Deutschen ihren Vernichtungsplan in der SU ausführten. Davon wird noch die Rede sein, weil diese Ereignisse in der biographischen Rekonstruktion andere Erinnerungen wach rufen.

- Ich bin Jüdin und habe Bezug zum jüdischen Glauben.
- Ich war und bleibe eine Jüdin.
- Ich esse nur koscher. Am Freitag und am Samstag gehe ich in die Synagoge.
- Meine Beziehung zum Judentum ist positiv.
- Leider habe ich keinerlei Beziehung zum Jüdischen.

Die Antworten, die die Bewohner anlässlich des Workshops zu ihrer Beziehung zum Jüdischen, zur Religion und der Tradition gegeben haben, deuten auf eine tiefere Beziehung hin, als die Bewohner, die zu diesem Thema im Tiefeninterview ihre Einschätzung abgegeben haben, zum Ausdruck bringen wollten.

Diese Diskrepanz kann auf die unterschiedlichen Erhebungsmethoden zurückzuführen sein oder auch auf die zufällige Auswahl der Stichprobe.

Der Unterschied in der Erhebungsmethode liegt darin, dass die Fragen, die auf den Moderationskärtchen zu beantworten sind, keiner tieferen Reflektion bedürfen, wohingegen im Tiefeninterview die Rekonstruktion der Erinnerung stattfindet, wo das Gesagte und die Erinnerung in einen sinnhaft aufeinander bezogenen Zusammenhang als Teil des gelebten Lebens gebracht werden müssen. Dabei wird der Anspruch an sich selbst, einen eigenen Sinnzusammenhang herzustellen, über die mögliche Anpassung an gewünschtes Verhalten gestellt. Dementsprechend sind den Aussagen aus den Interviews zu diesem Thema eine größere Aussagekraft zuzuschreiben.

Schoeps u.a. haben in zwei Studien über die jüdischen Zuwanderer nach Deutschland auch die Entwicklung der religiösen Bindung der Zuwanderer untersucht und festgestellt, dass sich bei den Zuwanderern keine religiöse Neuorientierung vollzieht. Ein großer Teil der Zuwanderer wird nicht Mitglied einer jüdischen Gemeinde und von denjenigen, die sich für die Mitgliedschaft in einer jüdischen Gemeinde entscheiden, geben nur 23,3% an, dass sie nach der Migration eine Annäherung an das Judentum vollzogen haben. In dieser Gruppe überwog, laut Schoeps u.a. die ältere Generation.²⁰ Das Interesse am Judentum ist groß unter den älteren Zuwanderern; das bestätigen die Bewohnerbefragungen, die im Frankfurter Altenzentrum das 3. Jahr in Folge durchgeführt wurden und deren Ergebnisse unter dem Aspekt der kulturellen Differenzierung an anderer Stelle vorgestellt werden. Alle Jahre wünscht sich ein höherer Anteil der Migranten, in die Vorbereitung der jüdischen Feiertage einbezogen zu werden, und mehr über den Kultus und die Rituale des Judentums zu erfahren. Entsprechende Angebote werden im Heim nachgefragt und sind bei den Zuwanderern sehr beliebt.

Migration im Alter

Gründe für die Migration im Alter

Warum wurde Russland oder irgendein anderes Land der ehemaligen UdSSR verlassen, was war der Grund für die Emigration?

Schoeps u.a. haben in ihren Studien festgestellt, dass die Gründe nach Zeit und Region variieren. Gaben die Migranten der ersten Einwanderungswelle noch vor, den Antisemitismus in ihrem Herkunftsland zu fürchten, so überwiegen heute wirtschaftliche Gründe. Dabei gibt es aber noch regionale Unterschiede, so dass festgestellt werden kann, dass Zuwanderer aus den Randstaaten der ehemaligen SU heute hauptsächlich wirtschaftliche Gründe angeben und Zuwanderer aus Russland und der Ukraine immer noch Antisemitismus fürchten.

Bei den Alten gibt es eigentlich nur einen Grund: Sie sind ihren Kindern oder anderen Familienmitgliedern in die Fremde gefolgt, weil sie ohne die Hilfe eines familiären Netzwerkes in ihrer Heimat nicht hätten überleben können.

Nur eine Migrantin berichtete, dass sie die Ukraine verlassen habe, weil ihr die Lage dort zu unsicher geworden sei. Alle anderen sind ihren Kindern oder nahen Familienangehörigen gefolgt.

Dabei können auch so groteske Geschichten berichtet werden, wie die der Frau K. Frau K. hatte eine sehr gute berufliche Stellung in der Sowjetunion, ihr Leben bestand, so sagt sie, nur aus Arbeit – Rabota.

Sie hatte keine Kinder, aber dafür eine große Verwandtschaft und viele Neffen und Nichten. Fast alle waren in Mischehen verheiratet und alle hatten einen engen Zusammenhalt. Eines Tages beschloss der Clan, die Ausreise in die BRD zu beantragen. Dafür brauche man aber eine „richtige jüdische Oma“ und man kam auf Frau K. Es wurde vereinbart, dass Frau K. als erste Russland verlassen sollte, alle anderen wollten ihr folgen. Als sie schließlich in Deutschland war, beschloss der Rest der Familie, in Moskau zu bleiben und Frau K. blieb ohne Verwandtschaft in der BRD. Bereut hat sie diesen Schritt allerdings nicht, weil sie sich über ihre schwere Erkrankung im Klaren war und sie wusste, dass sie in Deutschland eine bessere Versorgung zu erwarten hatte.

Herr B. war alleine in Moskau geblieben. Schließlich kam sein Sohn zu Besuch und sagte ihm, dass er in Russland nichts mehr zu tun habe und nahm ihn mit nach Deutschland. Herr B. hat sich damit abgefunden und über seine Gefühle will er nicht reden: „Jeder fühlt sich so, wie er meint, sich fühlen zu müssen“.

²⁰ Schoeps, u. a.: a. O. S. 122

Für die Familie von Frau A. waren wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend. Frau A. folgte ihren Kindern, mit denen sie ihr Leben lang die Wohnung geteilt hatte, nach Deutschland. Hier wird die Familie auseinander gerissen und daran zerbricht sie fast.

Herr O. kommt gemeinsam mit seinem Sohn nach Deutschland. Er ist schwer erkrankt und noch relativ jung. Auch er ist sich darüber im Klaren, dass seine Versorgung hier besser ist als in seiner Heimat.

Weggehen und ankommen – gibt es eine neue Heimat?

Migration wird allgemein in der Fachwelt mit seelischen Leiden und Verlust assoziiert. Ob Migration andere Perspektiven zulässt, soll an dieser Stelle reflektiert werden. Gibt es einen anderen Blick auf diese Erfahrung? Dieser Frage geht Elisabeth Beck-Gernsheim nach. Sie unterstreicht, dass die Zahl derjenigen wächst, die sich komfortabel zwischen den Welten einrichten, die gerne zwischen den Stühlen sitzen und die sich das ihnen Passende aus zwei oder vielen Kulturen zusammensuchen. „Jeder Mensch hat“, so Habermann „Anteil an unterschiedlichen Welten“²¹. Ob diese Thesen auch im Alter von Bedeutung sind, lässt sich nicht eindeutig beantworten.

Wenn man das Ankommen in einer anderen Welt mit der Entwicklung von Heimatgefühlen deutet, dann gibt es für die älteren Migranten keine Heimat mehr. Denn dass die alten Migranten keine Heimatgefühle für ihren neuen Wohnort entwickeln, wird in den Interviews von den alten Zuwanderern eindeutig bestätigt.

Heimat ist der Gedanke an seine Eltern, sagt Herr B, alle Orte, wo er mit ihnen gelebt hat, sind bis heute seine Heimat. Damit entbindet er Heimat von einem Ort, er kleidet Heimat in Gefühle und Erinnerungen, die er überall hin mitnehmen kann.

Alle anderen Interviewpartner geben an, dass die Städte, in denen sie früher gelebt haben, ihre Heimat geblieben sind: Moskau, Kiew und Sankt Petersburg.

Aber sind sie deshalb hier nicht angekommen? Dieser Frage sind wir im Workshop nachgegangen, indem die Teilnehmer gebeten wurden aufzuschreiben, was sie am meisten vermissen, seitdem sie in Deutschland sind. Zunächst muss erwähnt werden, dass nur 25% der Anwesenden diese Frage beantwortet haben. Die Frage nach den Lieblings Speisen hingegen beantworteten alle.

Was vermissen sie?

- Die russische Kultur
- Die Stadt, wo ich herkomme

- Ich vermisse nichts, weil meine ganze Familie hier ist
- Ich vermisse nichts, ich habe alle und alles hier
- Ich vermisse gar nichts

Die Alten wissen, dass sie nicht mehr zurückkehren können, dorthin, wo sie hergekommen sind. Ihnen ist es nicht möglich, sich real in zwei Welten einzurichten. Das gesammelte Datenmaterial deutet darauf hin, dass sie aber doch innerlich da angekommen sind, wo sie sich befinden. Konkret im jüdischen Altenzentrum, wo sie Ansprüche an ihre Versorgung stellen, wo sie über das Essen klagen oder auch Lob aussprechen, wo sie neue Freunde finden und sich rege an den Freizeit- und Kulturangeboten beteiligen. Viele scheinen sich in der kleinen Welt, in ihrem Mikrokosmos, den sie mit gestalten, eingerichtet zu haben. Ihre Verbindung zur alten Heimat halten sie über die russischen Fernsehsender und über ihre Erinnerungen.

Herr. U. hat gemeinsam mit seiner Ehefrau beschlossen, sich in Sankt Petersburg, das für ihn Leningrad geblieben ist, ein Grab zu kaufen, dort will er hin, denn da haben alle, die ihm je etwas im Leben bedeutet haben, ihre letzte Ruhe gefunden.

Das ist seine Möglichkeit, das jeweils beste für ihn aus zwei Welten auszusuchen.

Für die alten Migranten steht allerdings fest, dass ihre Versorgung und Betreuung im Alter in Deutschland wesentlich komfortabler ausfällt als sie dies jemals in ihrer alten Heimat hätten erwarten können.

Der wirkliche Bruch in ihrem Leben geschah nicht mit der Emigration, sondern mit dem Systemwechsel in der UdSSR, als alles in die Brüche ging, was sie sich aufgebaut und worauf sie vertraut hatten und dazu gehörte auch die Sicherheit der Versorgung im Alter. Aus dieser Perspektive betrachtet war die Emigration der Alten eine Folge des Systemwechsels. Immerhin war es seit Anfang der 70er Jahre für Juden möglich, die Sowjetunion zu verlassen. Der Weg war beschwerlich und nicht ganz ungefährlich. Deshalb kann angenommen werden, dass die ersten Möglichkeiten dieser Art nur von jungen Menschen und von solchen genutzt wurden, deren Verhältnis zum kommunistischen Staat zerrüttet war. Zu diesem Personenkreis gehören meine Gesprächspartner nicht. Sie repräsentieren eher die große Mehrzahl derjenigen, die sich gut oder weniger gut mit dem System arrangiert hatten, oder keine andere Lebensperspektive als das Bleiben entwickeln konnten.

Frau K. hatte große Hoffnungen in die Perestroika gesetzt, aber dass es so enden würde, das hätte sie nie erwartet. Gerne würde sie das „Rad der Geschichte“ zurückdrehen und was sie am meisten schmerzt ist, dass sich die Menschen mit dem Wechsel der Systeme gewandelt haben.

„Das Schlimmste ist, dass sich die Leute nicht mehr verstehen. Sie sprechen nicht mehr wie früher miteinander, sie sind sich fremd geworden.“

Und deshalb gibt es die Heimat als Bezugspunkt für die Seele nicht mehr. Heimat ist Gefühl und Erinnerung und die können überall hin mitgenommen werden.

Wenn alle Fremde sind wie im Jüdischen Altenzentrum, „dann wird Fremdsein eine generalisierte Erfahrung und daraus konstituiert sich ein eigenes Milieu. Dieses eigene Milieu wird auch nach außen sichtbar. Besucher assoziieren den Eindruck, den sie beim Betreten der Eingangshalle des Heimes gewinnen, mit dem Bild von der Wartehalle eines Moskauer Bahnhofes, das vor allem in der kälteren Jahreszeit entsteht. Alte Frauen sitzen dort in dicke und immer viel zu enge Wollmäntel gehüllt und mit Kopftuch bekleidet, um zu erleben, was sich an diesem zentralen und wichtigen Ort abspielt.“²²

In der Interaktion mit der neuen Umgebung entsteht dann ein neuer Ort, den alle, die dort wohnen, leben, arbeiten und mit einander kommunizieren, gemeinsam gestalten. Vielleicht eine neue Heimat auf Zeit, die Heimat für den letzten Lebensabschnitt.

Gruppen und Gruppenprozesse

Gruppenprozesse

Die Entstehung eines „neuen Ortes“, eines Milieus, wo sich das Eigene und das Fremde mischen, hat eine virtuose Begleitung, zumal der Ort des Geschehens in unserem Beispiel eine Institution ist, zu deren Kernaufgabe die Pflege und Betreuung gebrechlicher alter Menschen gehört.

Gebrechlichkeit alleine fördert Abhängigkeit und der Zustand der Abhängigkeit ist ein guter Nährboden für Regression. Was sich auf der Ebene der Persönlichkeit abspielt, wirkt im Rahmen einer Institution auf allen Ebenen der Organisation.

Einleitend zu dem folgenden Kapitel möchte ich kurz den Blick auf die jüngere Geschichte des Jüdischen Altenzentrums lenken und meine These von der wechselnden Dominanz einzelner ethnischer Gruppen formulieren. Die bisher verfolgte Diktion der reinen Beschreibung und Deutung einzelner Phänomene wird nachfolgend erweitert um den analytischen Blick auf Gruppenprozesse und auf die Rezeption von Lebensgeschichten unter dem Aspekt der seelischen Schäden, die die Shoah angerichtet hat. Das Jüdische Altenzentrum in Frankfurt ist wie alle anderen jüdischen Institutionen in der Bundesrepublik ein Spiegelbild der wechselhaften Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland nach der Shoah. Das ehemalige jüdische Krankenhaus in Frankfurt diente nach dem

Krieg als Obdach für jüdische Menschen, die über ihre eigene Zukunft und ihre Bleibe noch nicht entschieden hatten. Es wurde dann der Ort für die Älteren, die keine Möglichkeit mehr sahen, sich eine neue Existenz zu begründen. Mitarbeiter, die über 30 Jahre in dem Heim gearbeitet haben, berichten heute noch begeistert von der Zeit, als das Haus kein Ort für Gebrechliche war, sondern eine Heimat für ältere Juden, die außerhalb des Schutzes einer Institution keinen Neuanfang nach dem erlebten Schrecken mehr wagen wollten oder konnten. Dementsprechend gestaltete sich das Binnenleben im Heim. Die seelische Verfassung der Menschen schwankte zwischen den posttraumatischen Belastungen und einer neuen „Sehnsucht“ nach Leben. Ethnisch waren diejenigen, von denen hier die Rede ist, in der Mehrzahl polnische Juden, die nach dem Krieg als Displaced Persons in Deutschland geblieben sind. Seit Mitte der 50er Jahre kamen Juden aus Südosteuropa nach Deutschland und Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre kam eine größere Zahl deutscher Juden aus Südamerika zurück. Die politische Lage war dort zu instabil geworden, die wirtschaftlichen Verhältnisse schwierig und die eigene Gesundheit machte den älter gewordenen deutschen Juden im Exil zunehmend zu schaffen. Dies sind zumindest die Gründe, die sie in unseren Interviews angeben und die an dieser Stelle als Beleg dienen sollen:

Für Frau R. war die Bindung an Deutschland immer sehr stark geblieben, und so entschied sie gemeinsam mit ihrem Mann, nachdem sie zwei Urlaubsreisen nach Deutschland gemacht hatte, nach Deutschland zurückzukehren. „... Mein Mann war ein großer, ein sehr guter Jude. Ich war nicht eine so großartige Jüdin, aber wir waren Deutsche... wir haben immer einen deutschen Pass gehabt, wir sind nie Chilenen geworden ... ich bin nun mal eine deutsche Jüdin.“ (Interview Frau R. S. 11,12) Frau P., für die Chile eigentlich Heimat geworden war, entschied sich gemeinsam mit ihrem Ehemann zur Rückkehr nach Deutschland, „Und da danke ich heute noch Chile, denn da habe ich meine richtige Zugehörigkeit, die haben uns im letzten Moment aufgenommen“ Trotz der guten Beziehung zu diesem Land, traut Frau P. nach dem Sieg der Sozialisten unter Allende den politischen Verhältnissen nicht mehr. „Allende kam. Also ein Mensch, der links war. Und da ging es schon wieder los..., dass das, was man sich erarbeitet hatte...es ging ums Geld“. Frau P. bedauert, Chile verlassen zu haben, es bleiben ihr viele Vorbehalte Deutschland gegenüber und so bleibt der Abschied von Chile eine Erinnerung, die mit Trauer verbunden ist. Herr S. verlässt Brasilien, wo er 55 Jahre lang gelebt hat, um in Israel zu leben. Dort kann er das Klima nicht vertragen, ein schweres Herzleiden und die Hoffnung auf eine gute medizinische Versorgung begründen den Entschluss, sich in Deutschland niederzulassen, in einem Land, das er schon als Kind verlassen musste.

²² Weitzel-Polzer, E. Demenz, Trauma und transkulturelle Pflege. In: Z.Gerontol. Geriat 35:190-198, 2002

„Eigentlich bin ich Israeli“ sagt Herr S., denn für Deutschland kann er kein Heimatgefühl entwickeln. „Juden raus aus Deutschland...das ist mir eingefleischt worden mit fünf, sechs Jahren“.

Die Gruppen, ihre Bedürfnisse und die Wirkung auf die Leitung der Organisation

Deutsche Juden im Heim

Frau R., Frau P. und Herr S. stehen als Beispiel für die Gruppe von Heimbewohnern, die als deutsche Juden nach Deutschland zurückgekehrt sind und die für eine kurze Epoche der dominanten Gruppe im Heim angehörten. Juden, die nach Deutschland zurückkehren, haben vielfach Identitätskonflikte zu bestehen, das haben Kruse und Schmitt in ihrer Studie festgestellt. Deutsche Juden, die sich nach der Shoah in Deutschland niederlassen, riskieren schwerwiegende Vorwürfe von Juden aus aller Welt, und sie laufen Gefahr, in Deutschland „in starkem Maße mit den Erinnerungen an die Zeit des Nationalsozialismus konfrontiert zu werden“.²³ Die Gefahr der Retraumatisierung, die Kruse/Schmitt in ihrer breit angelegten Studie feststellen, haben unsere Gesprächspartner bestätigt, indem sie immer wieder Selbstzweifel bezüglich ihrer Rückkehr äußern.

Nur Frau R. ist sich ganz sicher, den richtigen Entschluss gefasst zu haben, sie ist „deutsche Jüdin“ und sie gehört nach Deutschland. Für Frau P. ist Chile Heimat geblieben und Herr S. würde eigentlich lieber in Israel leben.

Die Einschätzungen der anderen Gesprächspartner bestätigen den Eindruck von Identitätskrisen und Selbstzweifeln.

In den Beiträgen von Paul Arnsberg, die er zum „Verhältnis von Deutschen, Juden, Israelis“ im Laufe seiner langen publizistischen Tätigkeit veröffentlicht hat, wird gleich zu Beginn auf die schwierige politische Debatte in Israel in den 50er Jahren hingewiesen, und Paul Arnsberg tritt mit Entschiedenheit für den Dialog mit Deutschland ein. Die Argumente, die er zur Begründung seiner Position entwickeln muss, zeigen mit aller Deutlichkeit, dass es sich um eine tiefe seelische Zerrüttung handelte, die es für lange Zeit der Mehrheit der Juden unmöglich machte, auch mit einem „neuen“ Deutschland in den Dialog zu treten, und sei es nur, um die Zahlungen zur sogenannten „Wiedergutmachung“ auszuhandeln.²⁴

Vor diesem komplexen Hintergrund, der seelische Dimensionen einschließt, möchte ich hier die Gruppenprozesse und möglichen Identitätskrisen der einzelnen beleuchten.

Displaced Persons – oder die ehemals polnischen Juden im Heim²⁵

Die Displaced Persons haben die jüdischen Gemeinden nach der Shoah in Deutschland zum Leben erweckt. Sie wollten mehrheitlich nicht bleiben, die „gepackten Koffer“ waren lange Zeit die Metapher, die ihre Existenz umschrieb und die es ihnen ermöglichte, das Leben in Deutschland auszuhalten. Auch wenn Rafael Seligmann (1991) die Aussage vieler ehemaliger polnischer Juden in Deutschland „man sitze immer noch auf gepackten Koffern“ als Lebenslüge deutet, muss doch in Bezug auf die alten ehemals polnischen Juden davon ausgegangen werden, dass sie keine nationale Identität hatten, ihre Identität war immer eine jüdische.

Frau F. nimmt sich selbst so wahr, dass sie wohl in ihrer Jugend polnisch gedacht hat und von der polnischen Kultur maßgeblich beeinflusst war. Heute ist sie eine Jüdin, ohne Heimat. Herr Z. blieb unfreiwillig in Deutschland. Er weigert sich, die deutsche Sprache zu sprechen. Jiddisch ist seine Sprache geblieben und die Heimat seines Denkens und Fühlens bleibt sein polnisches Shtetl, dessen Bewohner alle von den Nazis umgebracht wurden.

Unter dem Aspekt der kulturellen Prägung ist festzustellen, dass die ehemaligen Displaced Persons dem jüdischen Leben in Deutschland die Orientierung gegeben haben und sich hier Traditionelles und Modernes vermischte²⁶. Ihr Alltagsleben war bestimmt von der Begründung einer neuen Existenz. Alle, die nur die Kraft dazu hatten, verpflichteten sich zu einem übermäßigen Arbeitspensum und das half in vielen Fällen, eine Struktur zu gewinnen, die dazu diente, die Seele zusammenzuhalten, nach all dem, was sie erlebt hatten und verkraften mussten. Sie gestalteten das jüdische Leben, sie bauten die jüdischen Institutionen wieder auf und sie gaben sozusagen den Ton an.

Im Altenzentrum der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt, wurde über die Person des Leiters, der das Haus aufgebaut hatte und der der Institution über 3 Jahrzehnte lang als Leiter vorstand, die Tradition des „deutschen Judentums“ bewusst gepflegt und erhalten; dies durchaus auch in bewusster Abgrenzung zu der Gruppe der ehemals polnischen Juden. Was sie über alle Grenzen der Herkunft und der kulturellen Prägung hinweg verband, waren ihre gemeinsamen Erfahrungen des Überlebens. Überleben im KZ, im riskanten Versteck oder in den Wäldern Polens und Weißrußlands. Für die Mehrzahl der Überlebenden scheint aber die Identifikation mit dem Judentum wichtiger geworden zu sein als die Identifikation mit einer Staatsangehörigkeit.²⁷

²³ Kruse, A. Schmitt, E. Wir haben uns als Deutsche gefühlt, Darmstadt, 2000. S. 221

²⁴ Arnsberg, P., Zivilcourage zum Widerstand, Wir und Deutschland – Ein offenes Wort, Frankfurt, 1998, S. 19-27

²⁵ zu den Displaced Persons gehören nicht nur die Juden polnischen Ursprungs, es sind im Prinzip alle Juden, die in Ost- und Südosteuropa überlebt haben und nach dem Krieg zunächst in Deutschland in Lagern untergebracht waren, um von dort ihren weiteren Lebensweg zu organisieren. Hier nenne ich nur die polnischen Juden, weil sie die Gruppe der Heimbewohner darstellen, um die es hier geht.

²⁶ Auch wenn die deutschen Juden in der Minderheit waren, soll hier nicht der Hinweis auf ihren geistigen Einfluss auf das Gemeindeleben fehlen, wovon es heute noch viele Zeugnisse gibt.

Die Gemeinsamkeiten der Überlebenden unter dem Aspekt von Gruppenprozessen im Heim

Die deutschen Juden, die nach Deutschland zurückkamen, gehörten über einen längeren Zeitraum zur dominanten Gruppe im Heim. Das Heim wurde ihnen zur Heimat, der Leiter zu einer Vaterfigur, er umsorgte die Bewohner persönlich, er kümmerte sich um ihre Angelegenheiten und sie blieben ihm verbunden, auch nach seiner Pensionierung. Er war der idealisierte Leiter, dem es immer gelang, (so die Erinnerungen der Interviewpartner) die Gruppenbedürfnisse zu befriedigen. Nach seiner Pensionierung drohte der Zusammenbruch der Organisation, die dominante Gruppe hatte ihren idealisierten „Führer“ verloren und damit das Objekt der Identifizierung. Zeitgleich veränderte sich die Bewohnerstruktur des Heimes. Der große Zustrom der Juden aus der ehemaligen Sowjetunion trat ein, und die Alten unter ihnen hatten Anspruch auf Versorgung in einer jüdischen Institution. Die dominante Gruppe hatte zeitgleich zwei bedeutende Verluste zu verkraften, einmal den idealisierten Leiter und zum anderen die Dominanz der eigenen Gruppe.

Als Frau P. während des Interviews auf diese Verluste zu sprechen kommt, beginnt sie zu weinen. Ihre Umgebung nimmt sie nach dem Leitungswechsel als „falsch und intrigant“ wahr, die Mitbewohner sind ihr fremd und den neuen Leiter lehnt sie ab.

„Die russischen Juden hier, ich meine, sie mögen auch mitgemacht haben. Aber wir haben doch gezittert, wenn es geklingelt hat!...Und das ist das, was mich so ärgert“.

Kernberg weist darauf hin, dass der Verlust der gewohnten Sozialstruktur, mit der ein Verlust von gewohnten Rollen und Objektbeziehungen einhergeht, eine Bedrohung der persönlichen Identität zur Folge haben kann, was die Regressionsneigungen der Person befördert. Treffen dann Menschen, die ihre gewohnte Sozialstruktur verloren haben, auf andere Menschen, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden, werden die eher unstrukturierten neuen Beziehungen dazu beitragen, dass sich Gruppenprozesse mit einer ganz eigenen Dynamik entwickeln. In solchen Situationen gewinnt die Führung der Gruppe eine symbolische und überhöhte Bedeutung. Die Regressionsprozesse fördern die Abhängigkeit der Gruppenmitglieder von der Führung, die Führung wird idealisiert, und die Abhängigkeit bewirkt, dass die Abhängigen immer gieriger werden. Wie sich solche Prozesse im weiteren Verlauf gestalten, hängt wesentlich von den Persönlichkeitsmerkmalen des idealisierten Führers und von dem „politischen System“ der Umgebung, das Einfluss auf die Gruppe, den Führer und die Organisation hat, ab. Werden die Bedürfnisse der Abhängigen nicht befriedigt, folgt automatisch die Entwertung des idealisierten Führers und dem folgt dann schnell der Ruf nach einem neuen Führer. Damit ist zu

erklären, dass unter bestimmten strukturellen Bedingungen sich Konfliktmuster etablieren, was zur Folge haben kann, dass es zu einem mehrfachen Wechsel der Führungspersonen kommt, ohne dass eine Konfliktlösung folgt.²⁸ Wenn die analytische Betrachtung auf die institutionellen Bedingungen des Jüdischen Altenzentrums gerichtet wird, dann sind zumindest zwei wichtige Voraussetzungen für regressive Gruppenprozesse gegeben:

Zum einen leben Gebrechliche und Pflegebedürftige im Heim, was Abhängigkeitsgefühle und die damit verbundene Angst und Abwehr fördern, und zum anderen haben alle Bewohner einen Verlust ihrer gewohnten Sozialstruktur hinnehmen müssen, und sie kommen in neue, für sie persönlich eher unstrukturierte Beziehungen. Ich habe zunächst den Blick auf die wechselnde Dominanz der ethnischen Gruppen gelenkt und festgestellt, dass die deutschen Juden einige Jahre zur dominanten Gruppe gehörten. Ich habe zudem die schwierige persönliche Entscheidung zur Rückkehr nach Deutschland beleuchtet und hier Identitätskrisen mit ihren bekannten Folgen ausgemacht. Wenn jetzt der Blick auf zwei weitere Gruppen gelenkt wird, die im Heim eine Rolle spielen, kommen weitere Prozesse zum Vorschein, die für die Führung einer solchen Institution eine Herausforderung sind, und die eine bedeutende Wirkung auf das Funktionieren der Organisation haben.

Die Biographien der ehemals Displaced Persons, der Juden polnischen Ursprungs, unterscheiden sich deutlich von den Biographien der deutschen Juden, die im Exil überlebt haben und sich im Alter zur Rückkehr nach Deutschland entschlossen haben.

Vom Leben auf „gepackten Koffern“ als Selbstkonzept war schon die Rede. Auf ihre Weise haben die ehemals polnischen Juden den Aufbau der Bundesrepublik miterlebt und sogar in einigen Regionen beachtlich mitgestaltet. Auffällig ist im Heim, dass sie sich nicht wirklich als Gruppe formieren. Darin gleichen sie den zurückgekehrten deutschen Juden, sie konzentrieren sich vielmehr auf die Durchsetzung von Partikularinteressen. Deutlich wird, dass ihre Lebenserfahrung des Überlebens sie gelehrt hat, dass sie sich nur auf sich selbst verlassen können, und dafür brauchen sie auch im hohen Alter noch Bestätigung. Andererseits zeigt die Analyse von Überlebensschicksalen deutlich, dass alle Überlebenden nur überleben konnten, weil sie einen Helfer gefunden haben. Auf diesen Zusammenhang weist Nathan Durst²⁹ hin, und er zitiert das bekannte Beispiel von Anne Frank, die sich auf ihre ältere Schwester verlassen konnte, und als sie starb, konnte sich auch Anne Frank nicht mehr retten.

Diese hoch ambivalente Lebenserfahrung macht das Selbstkonzept noch schwieriger. Deutlich wird im Heim, dass die Überlebenden einerseits scheinbar ihre Bestätigung für ihre Durchsetzungsfähigkeit brauchen und andererseits suchen sie Helfer, Menschen, die nur für sie da sind, was sich dann im Pflegealltag häufig als Überforderung für die Mitarbeiter darstellt.

²⁷ vgl. dazu auch die Untersuchung von Kruse/Schmitt, a.a.O., S. 73 ff

²⁸ vgl. Kernberg, Otto F., *Ideologie, Konflikt und Führung*, Stuttgart, 1998, S. 52, 67 ff, 71, 89 ff

Zusammenfassend kann als Gemeinsamkeit festgehalten werden, dass sowohl die ehemaligen Displaced Persons als auch die aus dem Exil zurückgekehrten Bewohner die biographische Erfahrung der Verfolgung, des Überlebens und der Wiederbegründung einer eigenen Existenz verbindet, was im allgemeinen nur durch unbotmäßige Arbeit gelang.

Frau P. ist stolz darauf, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann in Chile aus dem Nichts heraus, mit etwas Glück, eine finanziell sehr stabile und befriedigende Existenz neu begründen konnten. Herr Z. war schon in Polen ein guter Geschäftsmann, schon als Jugendlicher musste er seinen verstorbenen Vater ersetzen und seine Familie ernähren. Nachdem er Auschwitz überlebt hatte, gelang es ihm, nach einigen gescheiterten Versuchen dann doch in Deutschland sehr gute Geschäfte aufzubauen, was ihm bis ins hohe Alter ein gutes Einkommen und eine unabhängige Existenz bescherte.

Im Heimleben wird die Fähigkeit, Partikularinteressen durchzusetzen, immer wieder erprobt. Auch das scheint zum Selbstkonzept der Überlebenden zu gehören.

So fordert z.B. Frau X., dass sie von der Sozialarbeiterin des Heimes zum Flughafen begleitet wird, Herr Y. möchte von der Wohnbereichsleitung zum Zahnarzt begleitet werden, Herr Z. hat den Wunsch, dass die Sozialarbeiterin persönlich jeden Freitag seinen Lottoschein abgibt. Nur ihr vertraut er, und sein Vermögen verdankt er einem Lottogewinn.

Die kurze und nur als exemplarisch zu bewertende „Wunschliste“ der Bewohner, die nicht zu den russischsprechenden Bewohner gehören, macht deutlich, dass die Wünsche sehr individuell sind. Die Wünsche sind teilweise konstant und teilweise wechseln die Gegenstände und Zielobjekte. Deutlich wird aber, dass den beiden Gruppen von Bewohnern, Raum gegeben werden muss für das Durchsetzen von Partikularinteressen. Die Ablehnung der Wünsche kann bei einzelnen psychische Krisen auslösen, die im Kontext von Verfolgung, Trauma, Überleben und Retraumatisierung zu deuten sind. Vielleicht können die Wünsche als Banalität gewertet werden. Die Vielzahl solcher Wünsche allerdings, die eindeutig nicht im Rahmen des Leistungsumfanges einer solchen Institution zu verorten sind, bringt unter den gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen die Organisation an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Interessant ist auch, dass alle Möglichkeiten, die zu Gebote stehen, z.B. die genannten Leistungen durch Ehrenamtliche erbringen zu lassen, auf strikte Ablehnung stoßen. Hier könnte auch ein Zusammenhang mit regressiven Prozessen vermutet werden, was allerdings nicht schlüssig ist. Bei den Überlebenden geht es

vielmehr um den Erhalt des Selbstkonzepts, kämpfen und sich durchsetzen können, denn so und nur so hat man überlebt. Es geht auch um die Abwehr einer drohenden Retraumatisierung. Nicht ohnmächtig einer Institution ausgeliefert zu sein, sondern Beweis zu führen, dass man als Individuum wahrgenommen wird, dessen Bedürfnisse Berücksichtigung finden, schützt davor, in der Masse und mit ihr unterzugehen.

Die alten Juden in Deutschland „bezahlen einen hohen Preis“ dafür, dass sie sich für Deutschland entschieden haben, meint Nathan Durst. Neben den typischen posttraumatischen Belastungsstörungen wie Schlafstörungen, Depression und Angst, die Überlebende unabhängig von dem Ort, wo sie wohnen, überall auf der Welt heimsuchen, müssen die alten Juden in Deutschland „um irgendwie in der Balance zu bleiben (...) immer so tun, als ob die Realität, die ich sehe, nicht die Realität ist“. Darin, so Nathan Durst, haben alle Überlebenden Übung, denn wenn sie in der Zeit der Verfolgung die Realität wahrgenommen hätten, so wie sie ist, dann wäre der Suizid der einzig mögliche Ausweg gewesen.

Diese Realitätsverleugnung wird in Deutschland mehr benötigt und muss deshalb, sozusagen als lebenslanges Überlebenskonzept, praktiziert werden und das hat seinen Preis. „Überhaupt glaube ich, dass die Leute, die es geschafft haben, in Deutschland zu leben, zu überleben, die bezahlen da einen hohen Preis. Aber das ist ihre Wahl. (...) Einen hohen seelischen Preis von mehr Ulkus, mehr Cholesteroll, mehr, mehr...“³⁰

Sehr eindrucksvoll schildert Menachem Stern in seiner Geschichte „Mein Holocaust“, was ihn heimsuchte, als er zum ersten Mal im Jahr 1987 nach Deutschland fuhr. Da kam ihm eine Erinnerung und das Trauma war erwacht. Als Kind war er in einem Lager und alles war dunkel um ihn herum. Ein Mann gab ihm ein Kissen mit Federn gefüllt, das Kissen hatte ein Loch und die Federn flogen herum, weiße Federn in der Dunkelheit. 1987 führte ihn sein Weg nach Mainz. Dort übernachtete er in einem Hotel und wieder hatte das Federkissen ein Loch. Wieder flogen die weißen Federn herum und der Schmerz war wieder da.³¹ Deutlich wird in diesem Zusammenhang, dass die „seelische Balance“ der Überlebenden nie zu finden ist, und das ist im Zusammenhang der hier beschriebenen Institution von großer Bedeutung³². Einzelinteressen, Gruppeninteressen, Identitätskonflikte und alle anderen Möglichkeiten, sich irgendwie am Leben zu erhalten und sich der Achtung und des Respekts seiner Umwelt zu versichern, sind menschliche Reaktionen, die überall zu finden sind. Nur hier haben sie eine tiefere Dimension. Das hat auch Auswirkungen auf den Pflegealltag, die nicht zu übersehen sind. Häufig stellt sich die Frage, ob Grenzen zu ziehen sind, und ob eine Grenzziehung nicht wiederum das Risiko der Retraumatisierung fördert. Das ist eine innere Auseinandersetzung, eine grundsätzliche Entscheidung, die

²⁹ Interview mit Nathan Durst in Tel Aviv am 10.9.2001

³⁰ Interview mit Nathan Durst in Tel Aviv am 9.9.2001

³¹ Menachem Stern, Mein Holocaust. In: Berliner Zeitung, Nr. 20, 24.25.1.2004

im Pflegealltag immer wieder neu getroffen werden muss und die einzelnen Mitarbeiter überfordert. Nathan Durst erklärt den Zusammenhang in dem er darauf hinweist, dass Überlebende und Menschen, die Trauma und Verlust in ihrem Leben als ein bestimmende Lebenserfahrung hatten, leicht den Versuch unternehmen, aus der Opferrolle in die Rolle der Aktivität zu gelangen. Die Helfer werden dann die Opfer, sie sollen als Kompensation für alles, was man im Leben verloren hat, für alles, was man erlitten hat, Wünsche erfüllen, und das hat seine Grenzen, weil das, was die Überlebenden vermissen, ihnen niemand auf der Welt zurückgeben kann.

Deshalb ist es wichtig, Grenzen zu ziehen und zwar genau an dem Punkt, wo die Helfer in die Rolle der Schwachen manövriert werden, was dann darin enden kann, dass sie ihre Kraft verlieren und nicht mehr helfen können. Dass diese Prozesse sich in einer schwierigen psychischen Gemengelage abspielen, in Gefühlen von Schuld und in der Sehnsucht nach der Beruhigung eines schlechten Gewissens, macht die Grenzziehungen schwierig. Auch in diesem Punkt müssen sich die Leitung der Institution und die Führung der Organisation über den Sachverhalt, über die Hintergründe und die seelische Dimension austauschen, um dann klare Signale an die Beschäftigten darüber zu geben, was erwartet wird, und wo tatsächlich die Grenzziehung verlaufen soll.

Im Heim wurde festgestellt, dass in einem Wohnbereich, wo vorwiegend Überlebende wohnen und zwar deutsche Juden und ehemals Displaced Persons, die Mitarbeiter in relativ kurzer Zeit verschlissen waren und ausgetauscht werden mussten. Die Leitung des Heimes entschloss sich, Nathan Durst als Supervisor zu bitten und die seelischen Bedürfnisse der Überlebenden und die Deutungen ihres Verhaltens offen zu legen. Dieser Prozess brachte eine sichtbare Beruhigung, wobei zwischenzeitlich wieder darauf zu achten ist, dass nicht nur die Grenzziehung funktioniert, sondern auch die Berücksichtigung der Bedürfnisse. Dieses Wechselspiel zwischen Zuwendung und Zurückweisung als Teil eines Verhaltensrepertoires in einer Institution wird Gegenstand der Betrachtung im Kontext von Organisationsentwicklung. An dieser Stelle soll der Hinweis darauf genügen, dass in der hier beschriebenen Institution mit ihren Menschen, dem vielfältigen Leiden und der Lebenserfahrung, die diese Menschen verkörpern, dieses Wechselspiel als Teil des innerinstitutionellen Lernprozesses im Auge behalten werden muss.

Die Gruppe der russisch-sprechenden Bewohner im Heim unter dem Aspekt von Gruppenprozessen

Am Anfang dieses Abschnittes möchte ich darauf hinweisen, dass nach der Definition von AMCHA³³ zum Kreis der Überlebenden alle Menschen jüdischer Herkunft zählen, die in der Zeit von 1933 bis 1945 in Europa gelebt haben

und zwar in Europa, das am Ural endet, denn bis dahin reichte der tödliche Arm des NS-Regimes. Relativ unbekannt ist bis heute das Überleben der russischen und ukrainischen Juden, was in den biographischen Interviews und in den Biographien zur Heimaufnahme zur Sprache kommt und als Dokument in den Portraits der Bewohner bearbeitet wird. An dieser Stelle soll dazu erwähnt werden, dass Juden in der Kriegszeit in der Sowjetunion dreifach bedroht waren.

Ihre Bedrohung war der Krieg, wie dies für alle Sowjetbürger dieser Zeit galt, der Antisemitismus, der sich in der Stalin-Ära ausbreitete und die Deutschen, die ihren Vernichtungsplan bis in die Sowjetunion hinein mit aller Brutalität umsetzten. In den Interviews berichten Bewohner von Erschießungen und Grausamkeiten, so dass die Definition von AMCHA auch hier Gültigkeit hat. Das wird im übrigen auch durch neueste Forschungsergebnisse bestätigt.

Die dritte Gruppe im Heim ist die größte und sprachlich homogene Gruppe der russisch-sprechenden Bewohner, die häufig als holistische Gruppe wahrgenommen wird, was erheblich Risiken in sich birgt, worauf am Ende dieses Abschnittes näher eingegangen wird. Knapp 40% der Heimbewohner gehören dieser Gruppe an.

Klar ist, dass es sich bei dieser Gruppe nicht um eine Gruppe mit homogenen Interessen handelt, sie ist heterogen unter den Aspekten von Bildung, Biographie, Herkunft, beruflicher Stellung, Neigungen und Gewohnheiten. Dafür liefern die einzelnen Biographien die Beweise. Deutlich wird allerdings im Heimleben, dass sie sich klarer als Gruppe formieren, um Gruppeninteressen durchzusetzen. Dabei geht es insbesondere um die Verbesserung einer für diese Gruppe entwickelten Infrastruktur im Heim, wie spezielle Gruppen- und Einzelbetreuung, Übersetzungsleistungen, die Abstimmung des Speiseplanes auf die Essgewohnheiten dieser Bewohnergruppe und die Absicherung von Gruppenprivilegien bei der Gestaltung des Kulturprogramms im Heim. Deutlich wird auch, dass die Gruppe kollektiv und relativ homogen mit Kränkung reagiert, wenn die genannten Bedürfnisse nicht befriedigt werden.

Als ein Beispiel von kollektiver Kränkung soll hier die Erfahrung mit dem Umzug der Bewohner reflektiert werden, der nötig wird, weil das Heim saniert wird. Nur die Hälfte der Bewohner ist von dem Umzug betroffen, und es wurde entschieden, dass vorzugsweise die russisch-sprechenden Bewohner umziehen sollten, weil nur an einem Standort die zweisprachige Infrastruktur mit Betreuung und Dolmetscherleistungen aufrecht erhalten werden kann. Anlässlich einer Informationsveranstaltung erklärte die Leitung den Bewohnern die Absicht, was zunächst einsichtig aufgenommen wurde, entwickelte sich in eine dramatische Kränkung, verbunden mit Aggressionen und Entwertungen.

³² dass dies auch einzelnen Menschen gelingen kann, so wie es unserer Interviewpartnerin Frau R. ganz offensichtlich gelungen ist, möchte ich hier ausdrücklich erwähnen, denn auch im Umgang mit den Überlebenden sollen keine pauschalen Zuschreibungen den Blick auf die Differenzierung von Lebensentwürfen und innerpsychische Prozesse trüben.

³³ AMCHA – National Israeli Center for Psychosocial Support of Survivors of the Holocaust and the Second Generation

Die Gruppe überließ einem informellen Führer das Wort, der ihre Ansichten und Interessen artikulierte, was darin mündete, dass die russisch-sprechenden Bewohner der Leitung den Vorwurf machten, mit ihnen so umzugehen, wie seinerzeit die Nazis mit den Juden umgegangen seien. Es gehe hier um einen „Mini-Holocaust“, so trug der Wortführer die Empfindungen der Gruppe vor, und damit hatte er ein Tabu gebrochen, er hatte die Grenzen überschritten, und es schien so, dass dies beabsichtigt und gewollt war.

Kernberg weist darauf hin, dass in Großgruppen-Sitzungen, was hier stattgefunden hatte, das eigentlich Heimliche, was sich in Institutionen abspielt, in der verbalen Kommunikation ans Licht kommt. Damit werden die Emotionen offengelegt, man stößt auf den Kern des Problems, ohne damit jedoch zwangsläufig auch eine Lösung finden zu können.³⁴ Eine gewisse Ausweglosigkeit deutet sich hier an. Anders als in der Psychoanalyse des Einzelnen, wo über Offenlegung Erkenntnis- und Veränderungsprozesse bewirkt werden, gelingt es im Gruppenprozess kaum, über Offenlegung, Rationalisierung und erkenntnisgeleitete Veränderungsprozesse die emotionale Realität der Gruppe zu beeinflussen. Ob diese Realität zu beeinflussen ist und wie sie zu beeinflussen ist, hängt wesentlich von den Persönlichkeitsmerkmalen der Führung ab, eine Betrachtung, die an anderer Stelle vertieft werden soll.

Dieser Aspekt scheint mir im transkulturellen Kontext von zentraler Bedeutung zu sein. Hier geht es darum, dass jede ethnische Gruppe mehr oder weniger deutlich, eine eigene emotionale Realität kultiviert. Die russisch-sprechenden Bewohner agieren und reagieren offener als Gruppe, wohingegen die beiden anderen Gruppen eher subtilere Gruppenbeziehungen pflegen; wobei von Bedeutung ist, dass die beiden anderen Gruppen jeweils zu unterschiedlichen Epochen zur Dominanzgruppe gehörten, was einzelne Bewohner noch in Erinnerung haben.

Nach Kernberg stellt die emotionale Realität der Gruppe ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar, was sich darin ausdrückt, dass sich Regression wie ein Schneeballeffekt ausbreiten kann, eine Folge von Kränkung und Wut.

Neben den genannten Gruppeneffekten bleiben auch bei den russisch-sprechenden Bewohnern die Partikularinteressen erhalten und werden virulent zum Ausdruck gebracht. In der Wahrnehmung der Mitarbeiter, auf die bereits im Abschnitt ‚Zuschreibungen und Klischees‘ hingewiesen wurde, fallen diejenigen der russisch-sprechenden Bewohner besonders durch chronische Unzufriedenheit auf, die in der ehemaligen Sowjetunion hohe Positionen inne hatten. Sie artikulieren Sonderwünsche, und die Erfüllung der Wünsche erhöht nicht die Zufriedenheit. Oft ist das Gegenteil der Fall, die Gier wird größer, was auch als Reaktion auf den Verlust der eigenen Sozialstruktur, auf das gewohnte Umfeld, die Rolle, die man im Leben inne hatte, und das Land, wo man gewohnt hat, gedeutet werden kann. Migration im Alter bedeutet, sich neu zu definieren,

sich neue Strukturen zu schaffen, neue Beziehungen zu finden, Herausforderungen, denen sich junge Migranten genauso stellen müssen. Nur dass das Leben noch vor ihnen liegt, macht einen Unterschied. Und die Alten sind zudem Hilfebedürftige, was als guter Nährboden für Abhängigkeit und Regression gilt. Vor diesem Hintergrund sind die Gruppenprozesse im Heim zu deuten. Manchmal gibt es keinen Ausweg, und nicht alle Probleme können gelöst werden. Das Wissen um die Hintergründe, die seelischen und emotionalen Dispositionen der Menschen, ist ein Deutungszugang, Problemlösungen brauchen allerdings Rationalität als Grundlage und die ist in der hier vorgestellten Gemengelage oft schwer zu finden.

Wird einem russisch-sprechenden Heimbewohner die Erfüllung eines Sonderwunsches, wie z.B. die Beschaffung eines elektrischen Rollstuhles aus rational nachvollziehbaren Gründen abgelehnt, bleibt neben seiner persönlichen Kränkung die eigene Überzeugung, dass diese Entscheidung sich auch gegen die ethnische Gruppe richtet, und würde man dieser Gruppe nicht angehören, dann hätte der Erfüllung des Wunsches nichts im Wege gestanden. Diese Argumente begleiten die täglichen Auseinandersetzung um Partikularinteressen und in Großgruppen-Sitzungen wird dann verbalisiert, was sich insgeheim in den Köpfen und Seelen der Menschen abspielt. Die Angst, nicht willkommen zu sein, die Sorge um Benachteiligung und das Gefühl, dass es an Beachtung und Respekt fehlt. Die Mitglieder der beiden anderen Gruppen zeigen hohe Aufmerksamkeit bezüglich der Behandlung der ethnisch größten Gruppe und dabei ist von besonderem Interesse, dass gerade diejenigen, „die sich hier keine Rechte erworben haben“, auch keine Privilegien genießen sollen.

Kernberg deutet die hier beschriebenen Zuschreibungen und Prozesse als Zeichen der Regression, und er weist darauf hin, dass die Mitarbeiter in solchen Institutionen, die ich hier beschreibe, schnell in die Lage geraten, die individuellen Unterschiede der Menschen zu negieren und dann stillschweigend davon ausgehen, dass alle Bewohner oder Patienten die gleichen Bedürfnisse haben und daher alle auf ähnliche Weise reagieren werden. Diese Grundannahme der Mitarbeiter befördert die Regression.³⁵ Ich habe auf das Problem im Abschnitt ‚Zuschreibungen und Klischees‘ hingewiesen und möchte in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Wissens um Gruppenprozesse und die Kommunikation im transkulturellen Milieu unterstreichen, wo sich zumindest die Führungskräfte auf allen Ebenen der Organisation darüber im Klaren sein müssen, welchen Nährboden die Konflikte haben und welche Mittel zu Gebote stehen, „transkulturelle Konflikte“ zu entschärfen. Welche Mittel zur Wahl stehen, um die auftretenden Konflikte zu entschärfen, möchte ich im nachfolgenden Abschnitt erläutern, in dem ich mich mit günstigen und weniger günstigen Fähigkeiten des Leiters für die

Wirkung auf Gruppenprozesse befasste und darüber hinaus die anderen Ebenen der Organisation beleuchtete.

Die Leitung und ihr Einfluss auf Gruppenprozesse

Verschiedene Studien über Gruppenprozesse schreiben der Persönlichkeit des Leiters aus Sicht der Psychoanalyse von Organisationen eine entscheidende Rolle zu. Neben dem Leiter spielen die Strukturen eine wichtige Rolle.³⁶ Kein geringerer als Freud begann im Jahr 1921 die Erforschung von Gruppenprozessen. „Seiner Ansicht nach empfinden Menschen in Massen ein Gefühl unmittelbarer wechselseitiger Nähe, das sich aus der Projektion ihres Ich-Ideals auf den Führer sowie aus ihrer Identifizierung mit diesem Führer und den übrigen Gruppenmitgliedern herleitet“.³⁷

Weitere Erkenntnisse zu Gruppenprozessen gehen auf Bion zurück, der in den 50er Jahren seine Studien begann. Er untersuchte hauptsächlich das Geschehen in Kleingruppen unter den Bedingungen von unstrukturierten Beziehungen.

Dabei unterschied er drei Grundannahmegruppen.

- a. die Grundannahme Abhängigkeit
- b. die Grundannahme Kampf-Flucht-Gruppe
- c. die Grundannahme Paarbildung

Im vorliegenden Kontext dienen die Grundannahmetypen a und b als Grundlage für ausführlichere Betrachtungen. Die Paarbildung möchte ich nur kurz erwähnen und damit ein allgemein vertrautes Terrain beschreiten. Es geht dabei um die Suche nach einem Vertrauten, nach Koalitionen in der Zweierbeziehung. Diese Verbindungen können libidinös unterlegt sein, oder auch nur eine gemeinsame Empfindung oder Interpretation und Verstehen der Umgebung als Basis haben.

Auf ein Praxisbeispiel möchte ich in diesem Kontext hinweisen, das unter dem Aspekt des Lebens in der Fremde zu verstehen ist. Im Heim bilden sich Zweierbeziehungen, die dann wie ein Bollwerk gegen die Umgebung stehen. Paarbildungen sind wesentlich häufiger bei den Migranten festzustellen, bei den Überlebenden findet sich diese Beziehungsstruktur kaum.³⁸ Auch Beziehungen zwischen Verwandten sind zum Teil übermächtig. Als Beispiel soll eine Mutter-Sohn-Beziehung mit vollständiger gegenseitiger Fixierung dienen. Beide scheinen symbiotisch in allem, was sie tun und fühlen. Der Sohn spricht für die Mutter, ohne diese zu entmündigen. Alles gemeinsam erleben, Zeit miteinander verbringen und jeder auf seine Weise die Verantwortung für den anderen tragen, das sind die Signale dieser starken Beziehung an die Umgebung.

Es besteht tatsächlich eine Einheit, sogar in den Schmerzen, die man sich gegenseitig zufügt. Sicherlich bezeichnet dieses Beispiel eine extreme Beziehung. Unter dem Eindruck des Fremdseins finden sich hier aber auch Züge von typischen Beziehungsstrukturen, von Paarbildungen als Bollwerk gegen die fremde und vielleicht als feindlich empfundene Umgebung.

Als typisch für die Grundannahmegruppe Abhängigkeit gilt die Regression und die Idealisierung des Führers. Im Heim wird deutlich, dass sowohl die Durchsetzung von Partikularinteressen als auch die Durchsetzung von Gruppeninteressen über das Führungspersonal auf den unterschiedlichen Ebenen der Organisation versucht werden. Die Entscheidungen, die im Pflegealltag zu treffen sind, werden mit den Pflegekräften und hier insbesondere mit den Leitungen der einzelnen Wohnbereiche geklärt. Als zentrale Figur allerdings hat der Leiter des Heimes bei der Durchsetzung von Wünschen seine Rolle zu erfüllen. Zu beobachten ist, dass solange der Prozess der Entscheidungsfindung andauert, das von Bion beschriebene Abhängigkeitsverhalten dominant ist, das sich in der Idealisierung des Leiters ausdrückt. Werden die Wünsche dann nicht erfüllt, folgt eine rasche Entwertung, die sich im Heimalltag in regelmäßiger Beschwerdeführung der zurückgewiesenen einzelnen Bewohner oder Bewohnergruppen auf der nächst höheren Ebene der Hierarchie entlädt.

Bion³⁹ beschreibt das typische Abhängigkeitsverhalten von Gruppen als ein Erlebnis bei dem sich die Gruppenmitglieder selbst als ohnmächtig empfinden und den Leiter als allmächtig und allwissend. Über die Idealisierung versuchen sie an seiner Macht und an seinem Wissen teilzuhaben. Diese Gruppenmitglieder sind, so Bion, immer unzufrieden und gierig. Wenn der Leiter dann dem Ideal nicht entspricht, kommt es zur Entwertung und es beginnt die Suche nach einem Ersatz. „Primitive Idealisierung, projizierte Omnipotenz, Verleugnung, Neid und Gier sowie die entsprechenden Abwehrmechanismen kennzeichnen somit die Abhängigkeitsgruppe“.⁴⁰

Für den Grundannahmetypus Kampf-Flucht gilt die Ambivalenz als das typische Merkmal. Diese Grundannahme trifft mehr auf die Mitarbeiter einer Institution zu. Ihr Verhältnis gegenüber dem Vorgesetzten ist grundsätzlich von Ambivalenz gekennzeichnet. Die Ambivalenz äußert sich in der Parallelität von Idealisierung und Ablehnung.⁴¹ Damit eine Organisation ihren Aufgaben gerecht werden kann, sind sowohl Merkmale der Persönlichkeit des Leiters und Gruppenprozesse als auch Strukturmerkmale von Bedeutung.

Was die Struktur anbelangt, so ist es zwingend, dass die administrative Struktur den Aufgaben der Organisation entspricht. Nur dann kann eine Organisation ihre Aufgaben effizient erfüllen.

³⁶ vgl. Kernberg, Otto, F. a.a.O. S. 29

³⁷ in der Managementforschung wird die mangelnde empirische Evidenz der eigenschaftstheoretischen Hypothesen im Bezug auf Führungskräfte und ihren Erfolg festgestellt. Daraus entwickelte sich dann die Überzeugung, dass die Situationstheorien der Führung besser geeignet sind, dem Management Instrumente an die Hand zu geben, um das Führungsverhalten der jeweiligen Situation anzupassen. Die Grundlage des „situational approach“ ist die Annahme eines betrieblichen Kontextes, wo Führer und Geführte miteinander interagieren, unter dem Aspekt, dass sie eine gemeinsame Aufgabe unter bestimmten strukturellen und politischen Rahmenbedingungen zu erfüllen haben. Im Kontext transkultureller Organisationen ist es m. E. von Bedeutung, das dafür angemessene Führungskonzepte des situativen Ansatzes um den analytischen Blick zu erweitern, was zudem ausgesprochen passend ist, weil sich auch in der Forschung herausgestellt hat, dass die analytischen Fähigkeiten des Führers, die sich auf die Analyse der Aufgabe, der Situation und der Gruppe beziehen, die Achillesferse für Erfolg oder Misserfolg sind.

³⁸ Kernberg, Otto, F. a.a.O. S. 17

³⁹ Die Paarbildung bei den Migranten wird offenbar, weil sie gemeinsam für ihre Interessen kämpfen. Die Helferbeziehung, die die Überlebenden suchen und die auch dem Muster der Paarbildung folgt, bleibt dort, wo sie zustande gekommen ist eher im Verborgenen.

⁴⁰ vgl. Bion, W.R. Erfahrungen in Gruppen, Stuttgart, 1971

Um nun die These von der ambivalenten Beziehung der Mitarbeiter zur Person des Leiter näher zu beleuchten, muss auf die Beschaffenheit des Grundannahmetypus Kampf-Fluchtgruppe, den die Mitarbeiter solcher Institutionen eher repräsentieren, näher eingegangen werden. Dann wird auch deutlich, welchen Anforderungen die Person des Leiters gewachsen sein muss und welche Herausforderungen die Führung auf jeder Ebene der Organisation bestehen muss.

Wenn wir ein Altenzentrum mit einer hoch differenzierten Bewohnerstruktur vor Augen haben, fällt es nicht schwer sich vorzustellen, dass die Organisation auf sehr vielen Ebenen erfolgreich agieren muss. Dabei geht es einmal um die Kernaufgabe, die Pflege der Menschen, es geht um Betreuung und therapeutische Intervention. Die Kernaufgabe dreht sich um Menschen in einem höchst fragilen physischen und psychischen Zustand. Um die Bewohner gruppieren sich Angehörige und Betreuer, und um die Institution sind das politische Umfeld, die gesellschaftlichen Gruppen, der Gesetzgeber, Kontrollinstanzen und Instanzen der Normsetzung tätig.

In diesem Geflecht agiert die Leitung, und sie wird von unterschiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Erwartungen belegt.

Von den internen Gruppen, zu denen die Bewohner und die Mitarbeiter zählen, werden Leistungen und Gratifikationen erwartet. In Bezug auf das politische Umfeld werden zum Teil widersprüchliche Erwartungen artikuliert, die zwischen der Erfüllung einer möglichst hohen Anzahl von Partikular- und Gruppeninteressen und einem guten wirtschaftlichen Resultat oszillieren können. Vom strukturellen und normativen Umfeld, das von den Kontrollinstanzen des Staates oder des Gesetzgebers sowie von der Seite der Kostenträger auf die Institution einwirkt, wird eine korrekte und effiziente Erfüllung der Kernaufgabe erwartet, wofür eine große Anzahl von Regelungen und Vorschriften einzuhalten ist.

Die Erwartungen der einzelnen Bewohnergruppen und ihre jeweils individuelle Färbung mit den daraus sich entwickelnden Gruppenprozessen waren schon Gegenstand der Betrachtungen. Dazu zählen auch die Erwartungen an die Person des Leiters. An dieser Stelle soll der Blick auf die Mitarbeiter und ihr Verhältnis zur Führung, sowie auf das Erreichen und den Erhalt der Funktionsfähigkeit der Organisation gelenkt werden.

In der Organisationsberatung und -analyse konnte laut Kernberg beobachtet werden, dass strukturelle Mängel, die sich in einer nicht der Aufgabe angepassten Struktur darstellen, sowie ungeklärte Prioritätensetzung oder ein Mangel an Kommunikation über die Aufgaben und Ziele der Organisation zu einem Zusammenbruch der Funktionsfähigkeit der Organisation führen können.

Dem Zusammenbruch der Funktionsfähigkeit geht ein Verlust der Moral und der gemeinsamen Werte voraus; der

Prozess mündet in der Regression der gesamten Organisation. Unter solchen Umständen ist es gut möglich, dass Leiter, die immer aufgabenorientiert gearbeitet haben, ihre Führungsfähigkeit verlieren. Dem geht voraus, dass sich die Leitung mehr auf die emotionalen Bedürfnisse der Mitglieder der einzelnen Gruppen oder auf die Erwartungen der politischen und normativen Umwelt konzentrieren muss als auf die Erfüllung der Aufgaben der Organisation. Diese Gefahr im Auge zu behalten, scheint mir im vorliegenden Kontext von großer Bedeutung, weil neben den für solche Institutionen typischen Gruppenprozessen und Konfliktmustern die hochdifferenzierte Bewohnerstruktur besteht, und dazu die Mitarbeiter und die politische Umgebung eine Quelle der Gefahr sind.

An anderer Stelle wurde erwähnt, dass die Mitarbeiter die Ambivalenz der Kampf-Flucht-Gruppe in sich tragen, was bedeutet, dass die ganze Gruppe in ihren Erwartungen an die Leitung schwankt zwischen Idealisierung und Ablehnung. Zur Idealisierung und der damit verbundenen Gefahren wurden schon einige Ausführungen gemacht, was nun die Ablehnung beinhaltet, soll weiter expliziert werden. Die Ablehnung manifestiert sich in dem ständigen Gefühl der Mitarbeiter, von ihrem Leiter nicht verstanden zu werden. In Pflegeeinrichtungen findet dieses Gefühl seinen Ausdruck in dem überall vorhandenem Wunsch, der Leiter möge doch selbst in der Pflege tätig sein, denn nur über diese Erfahrung wird im Verständnis zugetraut. Ein weiteres Gefühl, das die Ablehnung birgt, ist die ständige Angst vor Kontrolle, die Phantasien zur Blüte bringen kann. Der analytische Blick auf das Innenleben von Organisationen deckt die Wechselwirkung zwischen dem Verhalten der Leitung und dem der Mitarbeiter auf. Nicht immer hat ein Leiter seine Rolle schlecht ausgefüllt, wenn ihm die Mitarbeiter eine Rolle zuschreiben, der er sich nicht entziehen kann. In diesem Sinne hat jede Organisation die Leitung, die sie verdient. Selbstverständlich gibt es auch schlechte Leiter, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsmerkmale der Organisation und den Menschen Schaden zufügen.

Freud bemerkte, dass ein gesundes Maß an Narzissmus dem Führer einer Organisation nützlich sein kann, insbesondere bei der notwendigen Abwehr der vielfältigen Erwartungen, denen er ausgesetzt ist, und der Zuschreibungen, mit denen er umgehen muss. Pathologischer Narzissmus ist allerdings schädlich für eine Organisation und dennoch unter Führungskräften nicht selten anzutreffen. Insbesondere die Idealisierung des Führers, die er über die Gruppe der Abhängigen erfährt, fördert narzisstische Reaktionen, weil Idealisierung in Schmeicheleien daherkommt. „Méfiez vous des flatteurs“, ist ein Rat Voltairs, den Führungskräfte beherzigen sollten, und dies gilt umso mehr in einer von Komplexität gekennzeichneten Umgebung. Wachsamkeit in Grenzen ist eine gute Voraussetzung für Führer, paranoide Züge hingegen sind schädlich.

⁴⁰ Kernberg, Otto, F. a. a. O. S. 17

⁴¹ In den nachfolgenden Ausführungen orientiere ich mich an dem systemischen Organisationsverständnis, das davon ausgeht, dass soziale Organisationen offene Systeme sind.

Kernberg beschreibt die positiven Merkmale, über die Leiter von sozialen Einrichtungen verfügen sollten, und er befindet sich inhaltlich in der Nähe von Stogdill⁴², der seine Erkenntnisse aus Ergebnissen breit angelegter Studien entwickelte. Kernberg kommt zu dem Schluss, dass „die Persönlichkeit der Führungskraft ein moderates Maß an narzisstischen Tendenzen, ein gewisses paranoides Potential, Intelligenz und ein gut entwickeltes Moralgefühl aufweisen sollte, um dem auf sie einwirkenden Regressionsdruck optimalen Widerstand entgegenzusetzen zu können“.⁴³ Darüber hinaus sollten Führungskräfte nach Klerman und Levinson über fachliche, menschliche und konzeptuelle Fähigkeiten verfügen. Mit höherer Komplexität einer Organisation steigen die Ansprüche an die konzeptuellen Fähigkeiten. Stogdill definiert die Eigenschaften, über die eine Führungskraft verfügen sollte und nennt:

Fähigkeiten (Intelligenz, Vigilanz, Ausdrucksfähigkeit, Originalität, Urteilskraft)

Leistungen (Schulerfolg, Wissen, sportliche Erfolge)
Partizipation (soziale Aktivitäten, Kooperation, Anpassungsfähigkeit, Humor)

Verantwortung (Zuverlässigkeit, Initiative, Selbstsicherheit, Ausdauer)

Status (sozio-ökonomische Position, Popularität)

Situation (geistiges Niveau, Status, Fertigkeiten, Bedürfnisse und Interesse der Geführten, Aufgabenziele).

Die Untersuchungen, auf die sich Stogdill bezieht, haben zutage gefördert, dass „direkte Zusammenhänge zwischen den einzelnen Persönlichkeitszügen und Führungspositionen ... in den Studien (jedoch) nur selten in konsistenten Mustern aufzufinden (sind).“⁴⁴ Festgestellt wurde aber dennoch, dass die Führungskräfte in der Untersuchung einige signifikante Eigenschaften und Erfolge aufzuweisen haben, die sie in dieser Hinsicht von ihren Untergebenen unterscheiden. Dazu gehören: Intelligenz, Schulerfolg, Erfolg bei sportlichen Leistungen, Zuverlässigkeit bei der Übernahme von Verantwortung, Aktivität und soziale Integration und der sozio-ökonomische Status.

In der soziologischen Rollentheorie wird Wert darauf gelegt, dass der Führer mit seinen Persönlichkeitsmerkmalen in der Rolle aufgeht, die er zu erfüllen hat. Zudem wird in diesem Kontext auch auf die Eigenschaften der Geführten hingewiesen und die Bedeutung von Kommunikation und Interaktion unterstrichen. Dieser Hinweis soll deutlich machen, dass die begrenzte Tauglichkeit der Eigenschaftstheorien im Management in meine Reflexionen eingeht. Im Kontext der Betrachtung des Binnenlebens einer transkulturellen Organisation scheint mir allerdings der Blick auf die psychischen Prozesse, die die Menschen

durchleben, auf ihre Gefühle, Kränkungen, ihre Grandiosität und ihre Obsessionen ein Schlüssel zum Verständnis von heimlichen und offenen Konflikten zu sein.

Inwieweit diese Konflikte offen und konstruktiv ausgetragen und gelöst werden können, hängt sicher wesentlich von der Persönlichkeit des Leiters und von den Interessen der nächst höheren, der politischen Ebene, ab.

Wenn der Leiter in der Lage ist, Gruppenprozesse zu analysieren und die Gefühle der Menschen wahrzunehmen, wird es ihm besser gelingen, die Prozesse zu steuern. Im transkulturellen Kontext sollten diese Fähigkeiten verbunden mit konzeptuellen Fähigkeiten dazu dienen, die negative Wirkung von Stereotypen und ethnischen Zuschreibungen teilweise zu neutralisieren. Ein positiver Einfluss hat die Einführung von Regelungen und insgesamt die Wertschätzung und die Erhaltung einer maßvollen Bürokratie.

Allgemeingültige und transparente Regelungen schützen den Einzelnen vor Willkür, und das vermittelt das Gefühl von Sicherheit, was wiederum eine gute Voraussetzung für Rationalität im Umgang mit Wünschen und Erwartungen ist. Rationalität begrenzt die Phantasie und reguliert die unkontrollierten Zuschreibungen, aus denen oft Gerüchte mit großer Verbreitung werden können.

Zu den Kompetenzen der Führung sollte auch die Nutzung von Führungsinstrumenten gehören, wozu der gezielte Informationsfluss, die Aufrechterhaltung von Kommunikation, Zielorientierung und bewusste Führung mit der Orientierung auf die Beeinflussung des Verhaltens von Mitarbeitern über Kommunikation, Information, Kontrolle und Feedback zählen.

Die Entwicklung transkultureller Kompetenz

Skizze eines Lernprozesses

Das Ziel der Organisationsentwicklung, des Lernens der Menschen in der hier vorgestellten Organisation, ist die Entwicklung transkultureller Kompetenz.

Ich möchte mich bei diesem Schritt hin zum Lernen auf Jakob Moreno und Kurt Lewin besinnen, weil die bahnbrechenden Erkenntnisse dieser beiden Forscher darauf zielen, dass kein Einzelner lernen kann ohne die Unterstützung seines Umfeldes.

Auf Morenos Forschungen geht die Erkenntnis zurück, dass Menschen in Organisationen nur lernen, wenn das Lernen von Menschen und Systemen das Merkmal des theoretischen und methodischen Konzeptes ist.

Den ersten Lernschritt beschreibt Kurt Lewin als den Prozess des „Unfreezing“, des Auftauens, den zweiten als „Moving“, der Bewegung, und den dritten als „Refreezing“, des Verfestigens.

⁴² Stogdill, R.M. (1948) Personal factors associated with leadership, zit. nach Staehle, Wolfgang, H. München, 1994, S. 313

⁴³ Kernberg, Otto, F., a.a.O. S. 132

⁴⁴ Staehle, Wolfgang, H., a.a.O., S. 313

Kurt Lewin hat die einzelnen Schritte des Lernprozesses definiert. Ausgangspunkt für Lewins Forschung war die Analyse von Gruppenprozessen, und er kam zu der Erkenntnis, dass es zunächst nötig ist, die Kultur der Gruppe zu verändern, was in unserem Kontext bedeutet, die Kultur der Umgebung zu verändern, bevor in dem Individuum Veränderungen stattfinden können. Die neuen Werte müssen von der Umgebung, von der Gruppe angenommen und verinnerlicht, sie müssen gelebt werden, und dann kann das Individuum darin etwas so großes sehen, dass es lernen und die neuen Ansichten genügend festigen kann, um sie gegen Stimmungsschwankungen und andere Einflüsse, denen das Individuum unentwegt ausgesetzt ist, zu verteidigen.

Es stellen sich die Fragen, was erreicht und was verändert werden soll.

Das Ergebnis des Lernprozesses soll es sein, dass eine Institution und die ihr übergeordnete Organisation die Fähigkeit erlangen, im Kontext des Transkulturellen mit den unterschiedlichen kulturellen Orientierungen umzugehen, eine Sensibilität zu gewinnen und methodische Konzepte zu entwickeln, die geeignet sind, ein transkulturelles Milieu zu gestalten, wo es jedem Einzelnen möglich ist, sowohl in seiner kulturellen Orientierung als auch in seiner individuellen Prägung zu leben und mit Respekt behandelt zu werden und an einer neuen transkulturellen Gemeinschaft teilzuhaben.⁴⁵ Das ist zunächst ein Konzept, das gegen den Ethnozentrismus und die damit verbundene Typisierung und die Bildung von Stereotypen gerichtet ist. Es ist ein Konzept gegen Klischees und Zuschreibungen und für die Entwicklung von Fähigkeiten zur interkulturellen Kommunikation.

Die Lewinschen Lernschritte sehen vor, dass zunächst die vorhandenen Denkmuster ‚aufgetaut‘ werden. Das heißt, dass die Lernphase des „Unfreezing“ gesteuert wird von Selbstreflexion, dem Aufdecken des ethnozentrischen Blicks in der eigenen Wahrnehmung des Fremden. Die geeigneten Rahmenbedingungen bieten dafür Workshops und Teamtage, die im Heim durchgeführt werden. Aus den Theoriekonzepten, auf die sich die Organisationsentwicklung stützen, wissen wir, dass das hochsensible Thema der kulturalistischen Zuschreibungen und die kritische Reflektion darüber nicht nur auf der Ebene der einzelnen Institution abzuhandeln ist, es ist ein Thema, das die gesamte Organisation, das das gesamte Umfeld angeht. Auf der Ebene des Managements ist es möglich, die im Rahmen der Qualitätssicherung stattfindenden Managementreviews um das Thema Transkulturalität zu erweitern und hier in regelmäßigen Abständen auf der Führungsebene das Thema und die Entwicklung des Lernprozesses zu betrachten und weitere Schritte zu vereinbaren.

Auf der Ebene der Institution sind in der Phase des „Unfreezing“ konkrete Arbeitsschritte nötig.

In einer Leitungskonferenz konstatierten alle Abteilungsleiter des Heimes, dass hier Handlungsbedarf besteht, wobei die Sicht auf die Problematik unterschiedlich war. Insbesondere die Mitarbeiterinnen des sozialen Dienstes bemerkten eine Haltung der Zurückweisung gegenüber Einzelinteressen ganz allgemein und insbesondere die Zurückweisung der Migranten, wenn sie Sonderwünsche äußern oder auch den Versuch unternehmen, Gruppeninteressen durchzusetzen. Die Auflösung dieser Feststellungen, die seitens der Pflege häufig als Vorwurf empfunden wird, geht unmittelbar auf die im gesamten Feld der stationären Altenhilfe stattgefundenen Rationalisierungsprozesse zurück, wo die Mitarbeiter gezwungen werden, zeitgleich mehreren Herausforderungen gerecht zu werden: Qualitätsanforderungen zu genügen, die sich in erster Linie in einer lückenlosen Dokumentation der Verrichtungen und in der Aufzeichnung des Pflegeprozesses niederschlagen, Zeitvorgaben einzuhalten und emotionale und kommunikative Kompetenzen unter Beweis zu stellen.

Es scheint tatsächlich kaum möglich, diesen Paradigmenwechsel, der mit Rationalisierung verbunden ist und mit einem völlig neuen Anspruch an soziale Dienstleistungen, in Einklang zu bringen mit dem Erfüllen von einzelnen Wünschen, die für die Betroffenen häufig ein Zeichen von Zuwendung und Respekt sind. Im Kontext von Fremdheit gewinnen diese Aspekte ein eigenes Gewicht, es geht dabei auch immer darum, ob man in der Fremde akzeptiert wird oder nicht. Die Mitarbeiter in der Pflege stehen unter dem doppelten Druck, einerseits ihre Arbeit im Rahmen der vorgegebenen finanziellen und materiellen Bedingungen zu leisten und gleichzeitig ohne das Zeichen der Zurückweisung Grenzen ziehen zu müssen und andererseits zum Wohlbefinden der Menschen ihren Beitrag zu leisten, was häufig nur über ein hohes Maß an persönlicher Zuwendung geschehen kann, und daran ist Zeit gebunden, die knapp bemessen ist. Das ist der Hintergrund, vor dem sich der Lernprozess im Bezug auf die Mitarbeiter und die Institution abspielt.

In der Phase des „Unfreezing“ muss zunächst der Blick auf die typischen Lebensphasen und auf die seelischen Belastungen in Folge der Migration gelenkt werden sowie auf die seelischen Belastungen des Überlebens nach der Shoah. Damit soll erreicht werden, dass die Menschen mit ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt treten und nicht die ethnische Zuschreibung, wo aus dem jeweils eigenen ethnozentrischen Blick bewertet oder auch entwertet wird. Darüber hinaus muss die Institution, hier das Heim und die Organisation, d.h. die Jüdische Gemeinde für Rahmenbedingungen sorgen, damit ganz praktische Dinge geregelt werden, die symbolische und inhaltliche Zeichen setzen.

Die Pflege und Betreuung der Überlebenden der Shoah und die Sorge um die 2. Generation brauchen die Fähigkeit des sensiblen Umgangs mit Traumatisierung.

Die Helfer können diese Fähigkeit aus sich selbst nicht erhalten, sie brauchen Supervision.

Die Migranten brauchen einen kultursensiblen Umgang mit ihnen und entwickelte Fähigkeiten zur interkulturellen Kommunikation. Zudem sind eher banale Dinge von Bedeutung, die allerdings in der Summe wiederum hohe Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der Institution stellen. Dazu gehören Dolmetscherleistungen, was konkret heißt, dass Bewohner, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, sich in ihrer Sprache verständigen und informieren können.

Das Erbringen dieser Dienstleistung für die alten Migranten muss ganz allgemein eine Selbstverständlichkeit sein. Zu den Rahmenbedingungen, die vorhanden sein müssen, gehört auch die Möglichkeit der Wissensaneignung, wozu Zeit zur Verfügung gestellt werden muss.

An anderer Stelle habe ich schon darauf hingewiesen, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter im Jüdischen Altenzentrum über eigene Migrationserfahrungen verfügt und damit auch Erfahrungen gesammelt hat, wie der Prozess der Akkulturation verlaufen kann. Viele Mitarbeiter übertragen ihre eigenen Erfahrungen auf die Bewohner und sehen die Ansprüche, die die Bewohner stellen, im Spiegel ihrer eigenen Anpassung an neue Lebensbedingungen. Auf den Anpassungszwang, den es in der Fremde gibt, wird häufig verwiesen und damit werden dann Ansprüche und Wünsche zurückgewiesen, was vielleicht auch ein Hinweis auf die eigene erlittene Kränkung in der Fremde sein kann.

Beim Schreiben des Konzeptes stellte sich mir immer wieder die Frage, an welcher Stelle welche Inhalte und Informationen am besten platziert sein sollten.

Über den ersten Schritt des Lernprozesses habe ich schon in dem Kapitel gesprochen, wo die Menschen in der Organisation und die Organisation selbst vorgestellt werden. Beim ersten Workshop mit den Mitarbeitern ging es darum, ein Bild zu zeichnen von den im Heim gängigen Klischees und Zuschreibungen und um die „Entgiftung“ des Klimas. Das war der erste Schritt in die Richtung des „Unfreezing“, wobei aber der Prozess nur in Gang gebracht wurde, ohne ihn abzuschließen, um damit die nächste Stufe des „Moving“ zu erreichen.

Dieser Schritt ist geprägt von dem gemeinsamen Lernen der Menschen in Organisationen.

Menschen und Organisation lernen gemeinsam und in der Bewegung gehen sie dann aufeinander zu. In der Phase des „Moving“ steht die Wissensaneignung, die sich auf die Menschen, ihre Herkunft, ihre Erlebnisse und Denkweisen konzentriert, im Mittelpunkt. Die Grundlage dafür bilden die Biographien der Bewohner, die im jüdischen

Kontext immer im Zusammenhang mit der Geschichte der Shoah betrachtet werden müssen, was auch für die Migranten zutrifft.

Die typischen Ereignisse in den unterschiedlichen Lebensphasen der Bewohner werden anhand der Tiefeninterviews und der Biographien, die im Heim für die Heimaufnahme erhoben wurden, herausgearbeitet.

Am Ende steht die Entwicklung eines neuen Wohnkonzeptes, wo die Bewohner in Kleingruppen miteinander leben und wo jede Gruppe im Rahmen der Institution ihr eigenes Gruppenleben gestalten kann.

Damit ist der 3. Lernschritt des „Refreezing“ erreicht.

Jeder ist einzig

Arbeit mit Überlebenden der Shoah

Meine erste Erinnerung daran, dass ich begann, die versteckten Worte und Andeutungen meiner Familie zu verstehen, war im jüdischen Hotel meiner Tante Thea, dem „Grand Hotel Motke“ in Knokke, dem einzigen koscheren Hotel in Europa nach der Shoah. Knokke ist ein Badeort in Belgien. Das Hotel war ein großer, viktorianischer Kasten, der an der Uferstraße lag, am Zeedijk. Wenn man den Deich herunterrutschte, waren da nur noch der Strand und das Meer.

Ich war damals acht oder neun Jahre alt. Bei uns zu Hause und bei Gesprächen meiner Mutter mit ihrer Schwester hatte ich oft die Worte „umgekommen“, „verschwunden“, „verschleppt“, „deportiert“ und „vergast“ gehört. Ich wusste nicht, worum es dabei ging. Aber wenn ich diese Worte hörte, kamen mir lange Reihen von dunkel gekleideten Menschen an Bahnhofsgleisen vor Augen und ich hatte ein körperliches Gefühl von Übelkeit und Leere. Dann sagte ich meiner Mutter: ich fühle mich ganz fremd. Sie streichelte meinen Bauch und alles war gut.

Wir besuchten meine Tante Thea in Knokke oft. Sie war die einzige überlebende Schwester meiner Mutter. Ich liebte Knokke, da hatte ich endlich Familie, Onkel, Tante, Cousins, Cousinen, wie meine Schulkameraden, die ich heimlich darum beneidete. Ich hatte jede Menge Spielkameraden, und ich hatte das Meer. Das Hotel war immer voll. Die Gäste – dass sie alle Überlebende der Shoah waren, verstand ich erst später – kamen aus ganz Westeuropa, vor allem aus Frankreich, Belgien, England und aus Frankfurt. Es gab einen Bridge-Salon, das war das Heiligtum, in das wir Kinder nicht vordringen durften. Eine sehr dünne Dame in einem sehr roten Kleid fiel mir besonders auf. Sie hatte rot geschminkte Lippen, schwere Goldarmbänder, schwarze, hochgesteckte Haare und sehr lange, rotlackierte Fingernägel. Sie sprach oft mit sich selbst. An diesem Tag saß sie alleine im Bridgezimmer. Ich weiß noch, wie ich in der halboffenen Türe stand. Ich musste diese Frau ständig anschauen, weil ich sie so seltsam fand und weil mich ihre Selbstgespräche neugierig machten. Sie hatte Spielkarten in der Hand, als sie plötzlich zu schreien anfang in einer Sprache, die ich nicht verstand. Niemand war im Zimmer außer ihr. Sie schrie und schrie und warf mit den Karten. Mein Innerstes erfror, aber ich konnte nicht wegschauen. Ich sehe noch meine Mutter, wie sie zu mir rannte und mich dort wegriss. Ich fragte gar nichts. Sie sagte nur: Sie ist aus dem Lager. An diesem Tag begann ich zu verstehen. Was ich genau verstand, weiß ich nicht.

Heute weiß ich, was das bedeutet: „Sie waren bei christlichen Familien“ und „gerettet“. Nämlich, dass ich zwei Cousins habe. Ich weiß, was „in der Résistance überlebt“ heißt.

Nämlich, dass ich eine Tante und einen Onkel habe.

Aber ich weiß nicht, wann mein Großvater David Melech Langerman begriffen hat, dass er nicht zum Arbeiten nach Polen gebracht wird. War es, als ihnen am Antwortpener Bahnhof der Koffer abgenommen wurde, ihm, seinen kleinen Töchtern und seiner zweiten Frau, bevor sie in den Zug gepfercht wurden? Die Koffer mit den Sachen, die sie gemäß den Listen gekauft haben, die die Deutschen ihnen gegeben haben: Unterwäsche und Waschzeug und Hausschuhe. Oder im Zug, als man ihnen nichts zu Essen und Trinken gab und sie ihre Notdurft nicht verrichten durften? Oder in Auschwitz? Wann hat man sie getrennt? Was geschah mit seinen Töchtern, die heute meine Tanten wären, der kleinen Lea, die damals 10 Jahre alt war? Was mit Hanna, die 16 Jahre war, als sie nach Auschwitz kam, wenn sie überhaupt ankam? Was geschah mit seinem Sohn, meinem Onkel Jakob? Mit der Oma meiner Mutter, meiner Urgroßmutter Großmutter Rachel, die damals 80 Jahre alt war? Wenn sie den Transport überlebt hat, ist sie gleich ermordet worden.

Heute gedenke ich meiner Mutter, Mathilde (Marijam) Moneta, geborene Langerman s.A., an ihre Fotos aus dem Palästina der dreißiger Jahre, Fotos einer schönen und befreiten, lachenden und von der Sonne gebräunten jungen Frau in Shorts und einer lockeren, hellen, weichen Bluse, mit ihren kurzen, dunkel lockigen Haaren, ihren rot geschminkten Lippen und einer dicken Holzperlenkette. Zu Hause hätten ihr frommer, aus Galizien stammende Vater und ihre nicht so sehr fromme, sehr lebensstüchtige Großmutter ihr dies niemals erlaubt.

Ich sehe ihre großen, grauen, tiefraurigen Augen auf den Fotos von 1945 in Jerusalem mit meinem Vater, als sie wusste, dass sie ihren so sehr geliebten Vater, ihren großen Bruder, an dem sie so sehr hing, ihre zwei kleinen Halbschwestern und ihre gute, großmütige und warmherzige Großmutter niemals wiedersehen wird. Wann hat sie erfahren, was geschehen ist, wann sie deportiert wurden und wohin? Ich werde es nie erfahren. Ich war zwölf Jahre alt, als sie 1962 in Paris starb.

Arbeit mit Shoah-Überlebenden in Deutschland:

Die Überlebenden der Shoah mussten nach ihrer Befreiung im Mai 1945 noch lange Zeit in Auffanglagern bleiben und wurden von internationalen, jüdischen Hilfsorganisationen versorgt. Wer an seinen Heimatort zurückkehrte, musste erfahren, dass niemand und nichts mehr da war: Die Familie war ausgelöscht, das Hab und Gut geraubt und geplündert. Das Ausmaß der Zerstörung wurde da erst allmählich offenbar.

Bertold Scheller¹, der erste Sozialreferent der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) nach dem Krieg, beschrieb diese Situation aus eigenem Erleben: „Nie wieder jüdische Gemeinden in Deutschland“; – das war 1945 die einhellige Option der jüdischen Organisationen in aller Welt. Die Nachkriegsgeschichte in Deutschland verlief jedoch anders. Hunderttausende von Juden waren in Deutschland gestrandet – krank, entwurzelt und von den Jahren der Verfolgung gezeichnet. Zum weitaus größten Teil handelte es sich um DPs (Displaced Persons), also aus ihrer Heimat Verschleppte und Geflüchtete. Keiner von ihnen kam nach Deutschland, um hier Wurzeln zu schlagen. Sie wollten von hier aus ihre Weiterwanderung nach Palästina in die USA betreiben. Dem schoben die restriktiven Einwanderungsvorschriften dieser Länder einen Riegel vor. Palästina stand damals noch unter britischem Mandat, das die jüdische Einwanderung minimierte, und die USA verabschiedeten erst 1948 ein Einwanderungsgesetz für DPs. So blieben sie in Deutschland im Wartestand. Ihre Lage war prekär.²

„Nie wieder jüdische Gemeinden in Deutschland“, – doch es kam anders: Nach der Befreiung hatte in der ganzen Welt keine jüdische Gemeinschaft eine so hohe Geburtenrate wie die in den DP-Camps in Deutschland. Dem Völkermord und der Traumatisierung der Überlebenden wie zum Trotz: Die Vernichtung sollte nicht den Sieg davontragen: Es wurden Hochzeiten gefeiert, Beschneidungen, Bar- und Bat- Mizwahs, die jüdischen Feste und Feiertage begangen. Man wandte sich dem Leben zu. Und doch: Ein Foto von einer Hochzeit im DP-Lager zeigt das Ausmaß der Zerstörung: Darauf sind keine Kinder zu sehen und keine Alten. Wenn jemand überleben konnte, war er arbeitsfähig gewesen.

Die Überlebenden in Deutschland schufen neue Gemeinden wie in Frankfurt am Main, wo die erste Jüdische Gemeinde nach der Shoah im Jahr 1949 gegründet wurde. Sie lebten in Deutschland und doch nicht wirklich in Deutschland. Die meisten waren keine deutschen Juden, dieses Land war ihnen niemals vertraut gewesen.

Sie waren meist aus Osteuropa in die Ghettos und Vernichtungslager deportiert worden. Dieses Land der Täter war ihnen fremd und unwirtlich. Sie schufen sich eigene kleine Welten, Freundeskreise, in denen sie sich sicher fühlten. Häufig waren es Menschen aus derselben Stadt oder Menschen, die im gleichen Lager überlebt hatten, die verstanden, ohne dass man etwas sagen musste. So lief man weniger Gefahr, durch unbedachte Äußerungen verletzt zu werden.

Man blieb im Wartestand in dieser deutschen Welt, die vielen heute noch fremd ist, auf gepackten Koffern. Es war eine fragile Konstruktion, eine Situation von höchster Ambivalenz, die zudem noch von Juden außerhalb Deutschlands mit Argwohn betrachtet wurde.

Juden, die in Deutschland lebten, wurden verdächtigt, nur des Geldes wegen hier geblieben zu sein, wegen der Wiedergutmachung. Dies war auch häufig der Fall, doch wollte nach dem Entschädigungsverfahren niemand hier bleiben. Die Verfahren, die Anfang der 50er Jahre begannen, dauerten oft sehr lange und bedeuteten häufig eine erneute Traumatisierung. Man musste das Geschehene, das Furchtbare nochmals schildern, musste sich demütigenden Verfahren aussetzen. Die Überlebenden standen vor gutachterlichen Ärzten, die sie nicht nur an die SS-Ärzte erinnerten, sondern es häufig auch waren, sie wurden als Simulanten diskriminiert und schikaniert. Ihrem Schicksal wurde von diesen Behörden in der Regel kein Mitgefühl entgegengebracht, sondern nur Hohn. Viele gaben auf und erlebten dieses Aufgeben als Versagen und zusätzliche Demütigung. Gleichzeitig suchten viele noch nach überlebenden Familienangehörigen.

In der Zwischenzeit wurden Kinder geboren, Existenzen geschaffen.

Doch waren viele Überlebende von der Shoah so schwer traumatisiert, dass sie seelisch dauerhaft krank blieben und nicht mehr Fuß fassen konnten. Sie brauchten langfristige Hilfen, aber von wem?

Die blühende, moderne und engagierte jüdische Sozialarbeit aus der Zeit vor der Naziherrschaft war vernichtet. Es fehlte an Fachkräften und an vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den „deutschen“ Behörden, die als feindselig oder zumindest als verständnislos erlebt wurden.

Die ZWST, die 1917 als Zentralwohlfahrtsstelle der Deutschen Juden, als eine der Trägerinnen der Freien Wohlfahrtspflege Deutschlands geschaffen wurde, gründete sich nach ihrer Zerschlagung und nach der Shoah im Jahre 1951 neu. Der neue Name: „Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland“, zeigte bewusst die Entwurzelung, die Ambivalenz und das Provisorische. Und doch stand die ZWST fest in der Tradition jüdischer Sozialarbeit, deren primäre Aufgabe es ist zu helfen. Es ging darum, unmittelbare Not zu lindern.

Die wenigen jüdischen Sozialarbeiter, die damals in Deutschland die jüdischen Hilfsorganisationen ablösten, waren selbst von der Shoah betroffen, zumindest aber von Vertreibung und Entwurzelung.

Von Anfang an hatten diese jüdischen Sozialdienste es mit massiv traumatisierten Menschen zu tun, die körperlich und seelisch schwer krank waren und wenig Ressourcen hatten, um hilfreiche Bewältigungsstrategien zu mobilisieren. Die jüdischen Sozialarbeiter benötigten um helfen zu können nicht nur die jüdischen Gemeinden und die ZWST, sondern auch die kommunalen Behörden, wie Sozialbehörden, Krankenkassen und Gesundheitsämter, sie benötigten Ordnungsämter, um Aufenthalte zu sichern, Institutionen der Jugendhilfe, wenn Familien ihre Kinder nicht alleine großziehen konnten. Mit diesen Institutionen mussten jüdische Sozialarbeiter zusammenarbeiten, man

¹ Bertold Scheller, geb. am 28.11.1916 in Berlin war der erste Sozialarbeiter der ZWST nach dem Krieg. Er emigrierte 1933 nach Dänemark und 1936 nach Palästina. Er kehrte 1950 mit seiner Frau Susi und seiner Tochter Dorith nach Deutschland zurück, um an der Dortmunder Sozialakademie Pädagogik zu studieren. Prof. Dr. Berthold Simonsohn holte ihn 1951 als Sozialarbeiter zur ZWST. Bertold Scheller baute die Jüdische Sozialarbeit in den sich neu gründenden Gemeinden auf, half bei der Einrichtung jüdischer Kindergärten und setzte Schwerpunkte in der Seniorenarbeit mit Shoah-Überlebenden. Er war Sozialdezernent der ZWST bis zu seiner Pensionierung 1981. Bertold Scheller starb am 17. Sep. 1997 in Frankfurt am Main.

² SCHELLER, BERTOLD, Zedaka in neuem Gewand. Neugründung und Neuorientierung der „Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland nach 1945.“ In: Zedaka. Jüdische Sozialarbeit im Wandel der Zeit. 75 Jahre Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 1917 - 1992, Jüdisches Museum der Stadt Frankfurt am Main (Hrsg.), 1992, S. 142

musste sie für sich zu gewinnen obwohl viele ihrer Mitarbeiter bis hin zu den Leitungskräften ehemalige Nazis waren. Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme deutscher Behörden bedeutete, das eigene Leid der Jüdischen Gemeinschaft zu outen und sich möglicherweise zum Subjekt erneuter Diskriminierung und Traumatisierung zu machen.

Und das alles angesichts von schwachen, aus der Vernichtung, aus dem Nichts, von traumatisierten Überlebenden geschaffenen Gemeinden nach der Shoah, angesichts von Gemeindestrukturen, die als Provisorien angelegt waren. Und doch half die Gemeinschaft der Überlebenden, halfen Gemeindeglieder mit großer Selbstverständlichkeit, so gut sie konnten und wo sie nur konnten. Diese Strukturen waren unglaublich vielfältig: Sie halfen mit wie auch immer geartetem Wohnraum und kleinen Jobs, die man heute als prekär bezeichnen würde, als Kellner, als Putzfrau, als Zimmermädchen im Hotel, als Türsteher, als Laufbur-sche. Diese Jobs waren nicht nur dringend notwendiger Gelderwerb, sie waren auch für die Selbstachtung und das psychische Überleben für die, die nichts und niemanden mehr hatten, unglaublich wichtig, auch um in der Gemeinschaft der Überlebenden integriert zu bleiben. Und um nicht von „deutschen“ Behörden abhängig zu sein.

Ich gedenke hier Shmulik Kleinbaums, s. A., des Marathon-Manns, der im Café Tiptop quasi lebte. Ich gedenke Zilia Karmaszyns, s. A., des „Eintänzers“, der erst wirklich zusammenbrach, als der Schmatte-Laden am Bahnhof, in dem er arbeitete und in dem er für alles zuständig war, wegen des Todes seines Besitzers schließen musste.

Wenn ich all dies schreibe, wird mir wieder klar, was für ein unfassbares Wunder es ist, dass Überlebende unmittelbar nach der Shoah in Deutschland wieder Gemeinden gründeten, Menschen halfen und Sozialarbeit implementierten, Kindergärten schufen, ein Altenheim unterhielten, Religionsunterricht und koscheres Essen anboten, kurz, einer jüdischen Gemeinschaft wieder ein Fundament gaben, auch wenn es zunächst vielleicht nur als Provisorium gedacht war, quasi als Zelt, das man jederzeit abbrechen konnte. Wie viel Kraft zeigt das, trotz des Versuchs der totalen Vernichtung und der Vernichtung zum Trotz.

Ich muss aber auch etwas zur deutschen Nachkriegs-Gesellschaft sagen, zumindest über Frankfurt: Wenn ich mir alte Akten meiner Klienten anschau, bin ich häufig darüber erstaunt, mit welcher Behutsamkeit und Sensibilität deutsche Sozial- und Jugendämter damals halfen. Eine Behutsamkeit und Sensibilität, die ich heute häufig vermisse, nicht nur gegenüber Juden, überhaupt gegenüber menschlichen Schicksalen, menschlichem Leid.

Jüdische Sozialarbeit konnte sich von Anfang an nicht nur auf die dringend notwendigen materiellen und gesundheitlichen Bedürfnisse beschränken.

Bertold Scheller, s. A., der für die ZWST arbeitete und für die wenigen jüdischen Sozialarbeiter in den neu

gegründeten Gemeinden Mentor und Supervisor war, unterstützt von dem damaligen Direktor Berthold Simonsohn, s. A., hat sofort erkannt, dass die Überlebenden der ersten Stunde zwar in erster Linie materielle Unterstützung zur Linderung ihrer erschütternden sozialen Not brauchten, aber auch seelischen Beistand, Ansprache und Verständnis. Er war der geistige Vater der psychosozialen Betreuung der Überlebenden des Holocaust und ihrer Familien.

Für die ZWST und deren Direktoren Prof. Dr. Simonsohn, Max Willner und Alfred Weichselbaum, die durch die Jahre im Ghetto und Lager geprägt waren, hieß das: Wir müssen uns um die Alten kümmern, sie zusammenbringen, ihnen etwas anbieten, das an die Zeit vor der Zerstörung ihrer Familien und ihres Lebens anknüpft. Dies geschah mit Seniorenerholungen, beim gemeinsamen Feiern von jüdischen Festen und Feiertagen und beim Essen der traditionellen Speisen, die sie von zu Hause kannten. Es hieß auch: Wir müssen uns dringend um unsere Jugend kümmern, sie darf uns nicht verloren gehen. Unsere Jugend soll ihre jüdische Religion und Tradition kennen lernen, sie soll stark und selbstbewusst werden, sie soll sich gegen Feindseligkeiten wehren können, sie soll in ihrer Jüdischen Geschichte verwurzelt sein. Unsere Jugend soll zusammenkommen, keiner soll alleine sein. Dies geschah in den jüdischen Ferienfreizeiten, auf den Machanot. Und es hieß: Jüdische Sozialarbeit soll etwas Besonderes sein, sie soll jüdische Werte vermitteln und soll sich um den einzelnen Menschen bemühen. Sie soll an das Gute anknüpfen, an das Leben und die Menschen auf einen guten Weg bringen.

Dieses Verständnis, diese Empathie stehen in der jüdischen Tradition, der Tradition der Gmilut Chessed*, der Empathie des Herzens. Bertold Scheller bestand darauf, dass Sozialarbeit nicht über menschliche Schicksale zu urteilen habe. Dass sie die Lebensentwürfe ihrer Klienten zu respektieren und Distanz zu üben habe, auch wenn viele der jüdischen Sozialarbeiter der ersten Stunde selbst Betroffene der Shoah waren. Distanz insofern, als sie ihre eigenen Vorstellungen über Lebensentwürfe und Moral zurückstellen müssen. Aus dieser Tradition der Gmilut Chessed entstammt die Essenz der heutigen Arbeit der Sozialabteilung der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main.

Sie soll nicht nur dazu verhelfen, einen Ausgleich zu schaffen für materielle Not. Sie soll vor allem dies sein: ein Ort für Menschen, die Rat, Verständnis und Beistand brauchen und oft auch Lebensbegleitung durch aufsuchende Arbeit.

*Neben die biblische Zedaka stellen die Rabbiner das Konzept der „Gemilut Chassadim“, der Mildtätigkeit, welcher Barmherzigkeit und Herzengüte unterliegen. „Größer als Zedaka“, heißt es im Talmud (Sukka 49b), ist

Gemilut Chassadim, und der Akt der Zedaka wird am Maß der darin enthaltenen Barmherzigkeit gemessen. So wird dem Reichen und dem Armen gleichermaßen ermöglicht, das Gebot der Mildtätigkeit zu erfüllen, sei es in Form materieller Unterstützung, sei es als persönlicher Beistand. (Zitat aus: Die religiösen Grundlagen der Zedakah von Esther Alexander-Ihme.)

Aus dieser Erkenntnis heraus ist der ambulante, psychosoziale Dienst der Sozialabteilung der Jüdischen Gemeinde entstanden, der sich aus einer ambulanten Hilfe für Shoah-Überlebende durch Gemeindeschwestern entwickelt hat. Diese Hilfe erfolgte von Anfang an kostenlos und unabhängig davon, ob materielle Bedürftigkeit vorliegt oder nicht.

Was ist das Besondere an dieser Arbeit?

Das Besondere daran ist, dass wir uns darauf einlassen, dass eine begonnene Klienten-Beziehung wahrscheinlich nicht mit einem Ergebnis aufhört. Dass wir einen Klienten nicht immer einfach auf seinen Weg schicken können. Uns ist von Anfang an bewusst, dass wir hier möglicherweise eine lange, lebensbegleitende Beziehung eingehen.

Worin besteht die Notwendigkeit für eine solche intensive Klientenbeziehung?

Viele Überlebende haben keine Familien, bei denen sie sich Rat und Beistand holen können. Manche, weil ihre Kinder oder ihre Familienangehörigen nicht in Frankfurt, häufig im Ausland leben, manche, weil sie nach der Vernichtung ihrer Familien keine neue mehr gründen konnten. Manche können die Nähe von Familienangehörigen, von ihren Kindern nicht ertragen. Sie haben seit Jahren keinen Kontakt. Sie brauchen jemanden, mit dem sie sich austauschen können und der ihnen nicht so nahe steht wie ihre Kinder. Die Überlebenden, die in der ersten Zeit nach der Shoah noch jung waren und sich ein neues Leben aufbauen konnten, sind heute teilweise über 80 Jahre alt. Die schlimmsten Erinnerungen lassen sich durch Arbeit nicht mehr verdrängen, alles ist wieder da. Das Alter hat die Wunden nicht geheilt, sie waren nur durch ein aktives Leben verdeckt. Jetzt liegt alles wieder offen da, und die Kraft, zu verdrängen, schwindet. Viele Überlebenden sind heute zu alt und zu gebrechlich oder zu depressiv, um das Haus zu verlassen. Sie vereinsamen und sind ihren Erinnerungen ausgeliefert. Sie brauchen jemanden, mit dem sie reden oder schweigen können, jemanden, der um ihre Geschichte weiß, ohne dass sie darüber sprechen müssen.

Der Verlust vitaler Kräfte wird von Überlebenden der Shoah als bedrohlich empfunden. Es war ihre Gesundheit und Kraft, die sie im Lager oder im Versteck am Leben erhalten hat. Krankheit bedeutete Tod. Aufgeben bedeutete Tod.

Todesangst kann heute, im Alter, Tod bedeuten, bevor die Stunde gekommen ist. So müssen Krankenhausaufenthalte eng begleitet werden, da Ärzte und Krankenhauspersonal, besonders in Deutschland, als sehr bedrohlich empfunden werden können. Die Ursache für die Angst der Menschen, mit denen wir arbeiten, muss dem Hausarzt, dem Krankenhausarzt, dem Pflegepersonal in Krankenhäusern und Heimen erklärt werden. Es ist auch die Angst vor dem Eindringen in die Intimsphäre, vor Kontrollverlust, vor dem Ausgeliefertsein. All dies kann eine erneute Traumatisierung auslösen.

Gedenktage wie die Geburtstage der Eltern und Geschwister, deren Todestage, der Tag der Deportation, Tage wie Yom Ha Shoah, der 9. November oder der 8. Mai können die furchtbaren Erinnerungen wieder aufleben lassen, die dann alleine vor dem Fernseher erlebt werden. Jüdische Feste und Feiertage sind besonders kritische Tage. Die Erinnerung an die Familienfeiern aus den Zeiten vor der Shoah können als unerträglich schmerzhaft erlebt werden. Besonders beängstigende Tage sind auch die, in denen Israel bedroht ist. Israel ist für viele Überlebende das Symbol für Schutz, für Wehrhaftigkeit und für ihre Anerkennung als Individuen, als menschliche Wesen, als Juden, die ein Lebensziel haben: Dass Israel leben möge, auch wenn sie selbst nicht dort leben. Israel, das ihnen sagt, dass jeder von ihnen wichtig ist, nachdem sie in der Shoah vernichtet, zu nichts werden sollten.

Die Türen unserer Sozialabteilung stehen den Überlebenden offen. Es gibt Menschen, die einen Witz loswerden wollen und eine Tasse Kaffee und ein Schwätzchen brauchen, andere, die immer mal wieder ein wenig Geld benötigen und ein Gespräch dazu. Manche kommen, weil sie mit einer Behörde nicht zurecht kommen oder weil ihr Geld am Ende ist, von dem sie lange Zeit tapfer gelebt haben, ohne ein Amt in Anspruch nehmen zu wollen. Oder man kommt, weil man einfach einen Rat braucht. Oder weil man sich einfach mal beschweren will. Für viele ist die Sozialabteilung der einzige Ort, an dem sie sich nicht erklären müssen, in dem sie einfach da sein können und so sein können wie sie eben sind. Wie Herr W. der in Sibirien überlebt hat und als Kind mit ansehen musste, wie seine Mutter und seine Schwester erfroren sind und der von einem Bauern gerettet wurde, der ihn mit erfrorenen Kartoffeln durchbrachte. Er hat nicht nur uns als Anlaufstelle. Kürzlich sah ich Herrn W. im Foyer eines Hotels eines unserer Gemeindemitglieder, wie er Schach spielte. Und als ich ihn freudig begrüßte, kam mir der Hotelbesitzer entgegen, gab mir die Hand und sagte stolz: „Wir sind hier auch eine Sozialabteilung. Das wussten sie nicht!“

Über die aufsuchende, psychosoziale Arbeit mit Überlebenden der Shoah

Der Besuch in ihrem häuslichen Umfeld ist für viele Menschen, die die Shoah überlebt haben, von zentraler Bedeutung. Sie brauchen diesen intimen Kontakt bei ihnen zu Hause auch, wenn sie noch mobil sind. Doch können viele ihre Wohnung nicht mehr ohne Mühe oder gar nicht mehr verlassen, um sich in eine vertraute Gesellschaft zu begeben. Sie brauchen einen Menschen, der sich um sie sorgt, mit dem sie sich austauschen können, der ihnen in kritischen Phasen ihres Lebens oder auch nur beim Ausfüllen von Formularen oder der Bezahlung der Stromrechnung hilft. Sie wünschen sich, auch ohne etwas sagen zu müssen, verstanden zu werden. Umso wichtiger ist es, dass wir es sind, die Mitarbeiter/innen aus der Sozialabteilung ihrer Jüdischen Gemeinde, die zu ihnen nach Hause kommen, die auf ihrer Seite stehen und oft auch eine Lebensbegleitung sind. Dass es ihre Gemeinde ist, die zu ihnen steht, bedeutet einen besonderen Schutz, den sie auch dringend nötig haben, auch wenn sie vielleicht immer wieder auf die Gemeinde schimpfen wie auf eine Mutter, die ihnen nicht alles gibt, was sie brauchen. Und sie brauchen so viel.

Die Nähe, die wir mit Hausbesuchen schaffen, kann aber auch zunächst bedrohlich sein, wenn man diese Nähe nicht mehr gewohnt ist. Es entstehen Angst und Misstrauen, mit denen wir arbeiten müssen.

Damit wir selbst die Prozesse verstehen, die wir durch diese Nähe einleiten, ist es wichtig, biographische Hintergründe zu thematisieren. Die eigenen wie auch die, der Menschen, mit denen wir arbeiten.

Unsere eigene Biographie ist für uns selbst, für unsere Arbeit mit traumatisierten Menschen von Bedeutung, weil sie unserem Verstehen und unserem Handeln eine eigene, unverkennbare Handschrift gibt.

Welche Bedeutung hat die biographische Erfahrung von traumatisierten Menschen bei unserer Arbeit?

Ich halte es für wesentlich, dabei zwei Dinge zu unterscheiden: die individuelle biographische Erfahrung und die kollektive Erfahrung derjenigen, die die Shoah überlebt haben.

Das Trauma der Shoah ist nur ein Teil des Lebens eines Traumatisierten. Es ist ein alles durchdringender Teil. Es ist ein Teil, der das ganze weitere Leben geprägt hat und auch das Leben vor der Shoah. Die Mörder wollten nicht nur morden und zerstören, sie wollten auslöschen.

Um dem entgegenzuwirken, müssen wir das einzelne Schicksal sehen, die ganz individuelle biographische Erfahrung würdigen.

Sie (oder er) „hat die Shoah überlebt“ bezeichnet dennoch nur einen Teil, einen Abschnitt des Lebens. Es sagt nichts darüber aus, dass die Mutter vielleicht Sängerin war und der Vater aus einer Rabbinerfamilie kam, dass man in Künstlerkreisen verkehrte, bis die Deutschen kamen

und alle ins Ghetto gesperrt und ermordet haben. Es sagt nichts darüber aus, wie man nach der Befreiung die Jugendliebe wieder getroffen und geheiratet hat, zwei prächtige Söhne zur Welt kamen und Rechtsanwalt und Arzt wurden - oder man konnte und wollte niemanden mehr heiraten, weil man nicht noch einmal die Zerstörung der Familie erleben wollte.

Die Erfahrung der Shoah selbst ist nicht nur eine kollektive Erfahrung, sondern ebenfalls eine ganz individuelle. Die individuelle, ganz persönliche Erfahrung ist hier wichtig für das Verständnis von Krisen, die wir nicht verstehen und die lebensbedrohlich werden können. Erlebnisse aus dem Ghetto, dem Versteck oder dem Lager, aber auch vor und nach der Shoah können in unserer Arbeit, im Verstehen von Symptomen von großer Bedeutung sein. Wie bei einer Frau, über die wir von ihrer Tochter erfuhren, dass sie sich nach einem Beinbruch weigerte, ins Krankenhaus zu gehen. Sie versteckte sich unter ihrem Bett und ließ sich nur von einer Roma-Frau anfassen und pflegen, bis sie wieder gehen konnte. Dies entspricht ihrem Erlebnis aus der Zeit der Shoah, als sie sich im Lager das Bein brach, sich verstecken musste, um nicht ermordet zu werden und von einer Zigeunerin gesund gepflegt wurde.

Für unsere Klienten ist es sehr wichtig, dass wir sie als Individuen anerkennen, mit ihrem einzigartigen Schicksal, auch, wenn sie uns nichts oder wenig darüber erzählen möchten. Wir müssen immer darauf achten, dass wir nicht typisieren, klassifizieren, oder ständig von ihrer Abwehr oder ihrer Verleugnung sprechen, dass wir sie nicht pathologisieren. Die Anerkennung ihrer Einzigartigkeit bedeutet, dass wir sie wertschätzen und ihre Stärke, ihre Ressourcen sehen und hervorheben, ohne die sie niemals überlebt hätten.

Wer sind unsere Klienten?

- Z. B. eine verzweifelte Frau, die sich verfolgt fühlt und wegen des Gegenterrors, den sie bei ihren Nachbarn macht, von Wohnungsverlust und Psychiatrisierung bedroht war. Beides konnte durch gezielte Interventionen verhindert werden.
- Ein Ehepaar, das bisher ziemlich unauffällig war und sich plötzlich einschließt und niemanden mehr hereinlässt, nicht mehr isst und verwahrlost. Das die eigenen Kinder ablehnt und beschuldigt. Jetzt kennen wir endlich ihre Geschichte und haben Ansätze, helfen zu können.
- Ein Mann, der klar für sich einfordern kann, dass er jemanden braucht, mit dem er Dinge des Alltags besprechen kann, weil er einsam ist und niemanden hat.

- Eine Frau, die sich vor Jahren in einer Krise befand, weil der Ehepartner verstorben ist, und die sich sicherer fühlt, weil sie regelmäßig „von der Gemeinde“ besucht wird.
- Ein Mann, der stets seine Hilfslosigkeit inszeniert, doch nie da ist, wenn man ihn besucht und es sehr genießt, dass man dennoch für ihn da ist.
- Eine Frau, die uns immer wieder beschuldigt und beschimpft, die ihre schlechte Laune an uns auslöst und ihre Helferinnen quält und uns doch unendlich braucht. Und wenn sie anruft und, wie es doch hin und wieder geschieht, aus tiefstem Herzen anerkennt, dass wir für sie da sind und „Danke“ sagt, geht die Sonne für uns alle auf. Weil sie das Gute noch sehen kann.
- Männer, Frauen und Paare, die pflegebedürftig sind und Hilfe bei der Antragstellung von Pflegegeld und bei der Organisation von Pflege benötigen, wie auch bei der Unterstützung bei ergänzender Pflege. Und die es brauchen, dass diese Pflege überwacht und bei Bedarf optimiert wird.
- Menschen, die sich überlegen, ob sie nicht vielleicht ins Jüdische Altenzentrum umziehen möchten, und bei ihrer Entscheidung und der Überleitung Beistand brauchen.
- Es können Menschen sein, die nur einmal in der Woche einen Anruf brauchen und uns nur einmal im Jahr sehen wollen (höchstens).
- Jemand, der einmal in der Woche angerufen werden möchte, und dann nie da ist und sich darüber beschwert, dass er nicht angerufen wurde.
- Es können Menschen sein, die es beruhigt, dass wir da sein werden, wenn sie uns brauchen.
- Es sind noch viel mehr.

Wir betreuen in dem Wortsinne von „Care“ mehr als 150 Menschen zu Hause, von denen 120 unmittelbar Überlebende der Shoah sind. Davon einige Jüngere, die 1945 Kinder waren und die versteckt überlebt haben. Die Ältesten sind 104 und 102 Jahre alt. Die Dame, die 102 Jahre ist, hat in den Wäldern überlebt. 30 sind jüngere Menschen mit Behinderungen und Kinder von Überlebenden. Alle Klienten kommen aus allen sozialen Schichten, es gibt Arme, Sozialhilfeempfänger, Menschen mit mittleren Einkommen, Reiche und sehr Reiche. Die Shoah hat vor keinem Halt gemacht.

Unsere Klienten werden regelmäßig von 4 Mitarbeiterinnen besucht oder haben telefonischen Kontakt zu ihnen: Zwei jüdische und zwei nicht-jüdische Mitarbeiterinnen, zwei Krankenschwestern und zwei Altenpflegerinnen. Sie arbeiten 18, 22, 29 und 30 Jahre in der Sozialabteilung. Sie haben als „Gemeindefrauen“ angefangen, als es noch keine Pflegeversicherung gab. Sie betreuen manche Klienten bereits seit 30 Jahren.

Was qualifiziert uns für unsere Arbeit und wie qualifizieren wir uns weiter?

Wir sind ausgebildete Pädagoginnen, Sozialhelfer, Krankenschwestern und Altenpflegerinnen und eine Sekretärin, die häufig die erste Kontaktperson ist. Wir arbeiten alle zwei Wochen in unserer Supervision daran, unsere Klienten und unser eigenes Handeln besser zu verstehen und zu reflektieren. Ohne unseren Supervisor kann sich das Team die Arbeit nicht mehr vorstellen. Er hilft uns dabei, unsere Klienten und uns selbst besser zu verstehen. Er gibt uns Hoffnung und hilft uns zu verstehen, wo wir weitergehen können und wo unsere Grenzen sind.

Wir arbeiten einzelfallbezogen. Wir suchen auch nach ungewöhnlichen Lösungen, wir sind phantasievoll und haben ein klares Konzept der Verlässlichkeit unserer Angebote und der Empathie im Sinne der Gmitut Chessed, der Wertschätzung unserer Klienten, ihres Lebens, ihrer Kraft, mit der sie überlebt und weitergelebt haben, ihres Humors, den sie alle haben, auch wenn sie noch so geschädigt sind. Manches mal sind wir müde und erschöpft, aber wir fühlen uns reich und belohnt, wenn wir gemeinsam mit dem Klienten einen Erfolg hatten.

Was ist ein Erfolg?

Zum Beispiel: Eine Frau, die zwei Söhne hatte, die sie nicht selbst großziehen konnte, weil sie nach Flucht, Versteck und Vertreibung zu krank dazu war. Beide Söhne sind in verschiedenen Ländern aufgewachsen und sprechen keine gemeinsame Sprache. Sie hatten keine gute Beziehung zu ihrer Mutter und kaum Kontakt zueinander. Die Mutter wurde über Jahrzehnte von der Sozialabteilung ambulant betreut, bis zu ihrem Tod. Als ihre Mutter starb, kamen sie beide zur Levaie, um Kaddish zu sagen. Der eine musste um die halbe Welt fliegen, um rechtzeitig hier zu sein. Vor dem Grab der Mutter sanken sie sich weinend in die Arme. Zu dem einen Sohn hielten wir stets Kontakt. Als die beiden Brüder ein langes Gespräch miteinander führen wollten und sich sprachlich nicht verständigen konnten, haben wir gedolmetscht.

Ein Erfolg ist, wenn jemand wieder Kontakt zum Sohn oder der Tochter hat. Wenn eine alte Dame, die im Sterben liegt und das auch weiß, darauf besteht, dass ich ihr einen

ziemlich zotigen jüdischen Witz erzähle. Wenn sich eine Frau wieder schick macht und ins Café geht. Wenn wir nach langen Verhandlungen und Widerständen in die Wohnung gelassen werden und sich eine Beziehung aufbauen lässt. Wenn wir für jemanden Pflegegeld durchsetzen konnten und einen Pflegedienst, den er/sie mag und akzeptiert. Wenn jemand in der Wohnung bleiben kann, weil er das will, obwohl er schwer pflegebedürftig ist. Wenn wir mal ein bisschen aufräumen durften, nur ein kleines bisschen. Wenn die Frau eines an Alzheimer Erkrankten uns nach langen Jahren erlaubt, mit ihr zusammen entlastende Hilfe zu suchen. Wenn wir verhindern konnten, dass jemand die Wohnung verliert, weil er psychisch krank ist und die Nachbarn stört. Wenn jemand sich wieder streiten kann nach einer langen, depressiven Phase.

Wenn unsere Klienten strahlen, weil unsere Mitarbeiterinnen ihnen zu den Feiertagen Jewish Soulfood mitgebracht haben, Tscholent, Latkes, Hammantaschen, Kigel. Ich danke Alina, Judit und Ella für diesen besonderen Beitrag, sie werden ohnehin von ihren Klient/innen geliebt, aber dafür besonders. Und das verstehen wir sehr gut, weil auch wir von ihren Kochkünsten profitieren.

Warum habe ich betont, dass in unserer Arbeit mit Überlebenden der Shoah auch nicht-jüdische Mitarbeiterinnen arbeiten? Sie haben für die Überlebenden eine besondere Bedeutung, die ich hier hervorheben möchte, weil sie sehr zum Verständnis der inneren Welten unserer Klienten beiträgt. Zu erleben, dass Solidarität und Empathie, eine über Jahre lebensbegleitende und verlässliche Beziehung von jemandem kommt, der nicht jüdisch und sogar deutsch ist, hat etwas ungemein Tröstliches und Versöhnendes.

Die Sozialabteilung beschäftigte sich bis in Anfang der 90er Jahre vor allem mit Überlebenden der Shoah und ihren Familien. Sie veränderte sich mit der jüdischen Zuwanderung, die auch die Gemeinden völlig veränderten. Als die Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen UdSSR begann, waren die jüdischen Gemeinden rettungslos im Schrumpfen begriffen. Der Kahlschlag durch die Shoah war deutlich sicht- und spürbar.

Für Überlebende der Shoah, die sich nach der Wende wiederum fragten, was sie hier, im Land der Täter zu suchen hatten, war die Vorstellung, Juden nach Deutschland zu holen, einfach unerhört! Juden gehörten doch eigentlich nach Israel, wenn nicht, dann doch wenigstens in die USA! Es war für sie unvorstellbar, dass Juden freiwillig in Deutschland leben wollten.

Für die Zuwanderer waren wir „die deutschen Juden“. Als ich unseren neuen Klienten erzählte, dass mein Vater an der Grenze zur Ukraine geboren wurde und die Eltern meiner Mutter aus einem polnischen Grenzstädtchen gleich neben Lemberg, nämlich Przemysl, stammen, freuten sie sich und glaubten, ich sei vielleicht deswegen so nett zu ihnen und eine große Ausnahme. Die Zuwanderer sahen diese wohlhabende, große jüdische Gemeinde von Frankfurt am

Main mit einem schönen, modernen Gemeindezentrum, einer Schule, einem Kindergarten, einem Jugendzentrum, einem Seniorenclub, einem Rabbiner und mit der großen, prächtigen Synagoge im feinsten Stadtteil. Sie konnten nicht verstehen, dass wir eben nicht die wohlhabenden, deutschen Juden von damals sind, die sie aus der Literatur, aus den Romanen von Feuchtwanger kennen.

Die Integrationshilfe, die von unseren neuen Klienten erwartet wird, kommt von einer Gemeinschaft aus Migranten, von Entwurzelten, Sich-fremd-Fühlenden von denen eine Mehrheit sich immer noch nicht so recht heimisch fühlen kann in diesem Land, in dem man nun schon so lange Jahre lebt. Es ist kaum möglich, unseren neuen Gemeindemitgliedern zu erklären, dass das Selbstbewusstsein, das dieses schöne, neue Gemeindezentrum vermittelt, sehr fragil und so gebrochen ist wie seine Fassade, ein deutliches Symbol unserer Seelenlage. Wir können unsere zwiespältigen Gefühle vor den Erwartungen der jüdischen Zuwanderer, sie ausgerechnet in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, kaum verbergen. Unser Verhältnis zu Deutschland ist zu sehr von der Shoah überschattet. Wir sind hellhörig und dünnhäutig.

Es entstand eine neue Kränkung: Viele der Alteingesessenen fühlten sich zurückgesetzt und zogen sich gekränkt aus dem Gemeindeleben zurück: „Es wird alles nur noch für die Russen getan“ und „Ich erkenne meine Gemeinde nicht wieder, hier wird ja nur noch Russisch gesprochen“, das hörte man oft. Die Älteren unter den Gemeindemitgliedern stellten den Vergleich an mit ihrer eigenen Migrationsgeschichte, ohne Deutschkurse und Sozialhilfe, ohne Sozialwohnungen, ohne all diese Aufmerksamkeit und Zuwendung, alleine auf sich gestellt nach all dem Entsetzlichen, das sie erlebt hatten. Und ohne diese ungeheuren Mengen an Verwandten. Wer von ihnen, wer von uns hat so viele Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen! Da mussten und müssen noch viele Brücken gebaut werden.

Auch in den Reihen derjenigen, die wir „die Russen“ nennen, hat die Shoah gewütet. Unsere neuen Mitglieder haben lange Zeit nicht darüber gesprochen. Wir haben sie nicht gefragt. Etwas ist bei ihnen anders. Ist es das viel bessere Identitätsangebot, nicht Opfer, sondern Sieger zu sein? Ist es die Vorstellung eines kollektiven Verfolgungsschicksals mit dem ruhmreichen sowjetischen Volk? Und wie haben unsere neuen Mitglieder den blutigen Terror Stalins erlebt?

Bei einer Initiative der Jugend- und Erziehungskommission der Jüdischen Gemeinde zum Yom-Ha-Shoah haben die jüdischen Zuwanderer begonnen, darüber zu sprechen. Wir sollten ihnen zuhören. Doch wissen wir bis heute noch nicht viel über ihr Vernichtungsschicksal während der Shoah. Die Klienten, die wir betreuen, die zu den Zuwanderern gehören, schweigen nicht alle. Es gibt für die Shoah noch keine Worte in der Sprache unserer Mitglieder aus der

ehemaligen Sowjetunion. Und doch haben sie gesprochen: in ihren Anträgen bei der Claims-Conference haben sie ihre Geschichte dargestellt.

Auch ich hatte in den Jahren, bevor ich begann, mich der Geschichte meiner Familie anzunähern, noch keine Worte. Der Geschichte meines Großvaters David Melech Langerman und seiner Töchter, der kleinen Lea und der 16-jährigen Chana, seines Sohnes Jakob, der mein Onkel wäre, und seiner Schwiegermutter Rachel, von meines Großvaters zweiten Frau Shaindel und ihres Sohnes Salomon. Ich wusste nichts vom Schicksal von Salomons Sohn Arthur, der, 1941 geboren, auf wundersame Weise überlebte und von dessen Existenz ich erst vor 10 Jahren erfuhr, den ich kennen lernte und der unser wunderbarer, neuer Cousin ist.

Каждый из них уникален

Работа с пережившими Шоа

Мои первые воспоминания о том, что я начала понимать скрытые намеки и слова, произносимые в моей семье, относят меня к еврейской гостинице моей тети Теа. Гостиница располагалась в Кнокке, называлась «Гранд Отель Мотке» и была единственной kosherной гостиницей в Европе после Шоа. Кнокке – это курорт в Бельгии. Отель представлял собой большой дом в викторианском стиле, который находился на улице Ам Зеедийк, идущей параллельно береговой линии. При спуске с плотины перед нами открывался весь пляж и море.

Мне было тогда восемь или девять лет. У нас дома и в разговорах моей мамы с ее сестрой я часто слышала слова «погибли», «исчезли», «насиленно угнаны», «депортированы» или «отравлены газом». Я не знала, что это означало. Но когда я слышала эти слова, у меня перед глазами появлялись длинные шеренги одетых в темную одежду людей на железнодорожном полотне и физически я ощущала тошноту и опустошение. И я сказала своей маме: я чувствую себя совсем чужой. Она погладила меня по животу и все опять стало хорошо.

Мы часто навещали мою тетю Теа в Кнокке. Она была единственной оставшейся в живых сестрой моей мамы. Мне нравилось в Кнокке, ведь там у меня была семья – дядя, тетя, двоюродные сестры и братья. Я всегда тайно завидывала своим одноклассникам – у них все это было. У меня было, с кем поиграть, у меня было море. Гостиница всегда была заполнена. Гости – а то, что это были пережившие Шоа со всей Западной Европы – я поняла уже потом, были в основном из Франции, Бельгии, Англии и из Франкфурта. В гостинице был салон для игры в бридж, который считался священным местом и нас, детей, туда не пускали. Одна очень худая дама в ярко-красном платье запомнилась мне особенно. У нее были ярко-красные накрашенные губы, тяжелые золотые цепочки, высокая копна черных волос и очень длинные ногти, покрытые красным лаком. Она часто разговаривала сама с собой. В тот день она сидела в бридж-салоне одна. Я хорошо помню, как я стояла в полуоткрытых дверях салона. Я испытывала острую необходимость наблюдать за этой женщиной, потому что своими разговорами она возбуждала мое любопытство. В руке у нее были игральные карты. Внезапно она начала кричать. Кричать на языке, который я не могла понять. В комнате, кроме нее, не было никого. Она кричала, кричала и разбрасывала вокруг себя игральные карты.

Все во мне внутри замерло, но я не могла отвести от нее глаз. Я хорошо помню, как моя мама подбежала ко мне и буквально оторвала меня от двери. Я ни о чем ее не спросила. Мама только сказала: «Она из лагеря». С того дня я начала понимать. Но что именно понимать, я не знаю.

Сегодня я знаю, что означает «они были в христианских семьях» и «были спасены». А именно – у меня два двоюродных брата. Я знаю, что означает «выжил в Соппротивлении». А именно – у меня есть тетя и дядя.

Но я не знаю, в какой именно момент мой дед, Давид Мелех Лангерманн понял, что в Польшу его везут не на работу. Было ли это тогда, когда на вокзале Антверпена у него отобрали чемодан, маленькую дочку и его вторую жену перед тем, как загнали его в вагон? Чемодан с вещами, купленными точно по списку, который дали немцы? Нижнее белье, умывальные принадлежности, домашние тапочки? Или в поезде, когда не давали ничего ни есть, ни пить, ни справлять естественные надобности? Или в Освенциме? Когда их разлучили? Что произошло с его дочкой, маленькой Леей, которая сегодня была бы моей тетей? Которой в ту пору было 10 лет? Что произошло с Ханной, которую привезли в Освенцим шестнадцатилетней, и довели ли ее туда вообще? Что случилось с сыном деда, моим дядей Якобом? С бабушкой моей мамы, прабабушкой Рахиль, которой было 80 лет? Если ей и удалось пережить эшелон, то ее убили сразу же.

Сегодня я вспоминаю мою маму, Матильду (Марьям) Монету, урожденную Лангерманн, по фотографиям из Палестины 30-ых годов, фотографиям красивой, свободной, смеющейся и загорелой молодой женщины в шортах и свободной, мягкой блузке, с короткими, темными вьющимися волосами, накрашенными губами и толстыми деревянными бусами. Дома маме такого никогда не позволяли ее набожный, родом из Галиции отец и не такая набожная и чрезвычайно жизнелюбивая бабушка.

Я вижу ее большие, серые, глубоко печальные глаза на фотографиях 1945 года в Иерусалиме с моим отцом, когда она узнала, что так сильно любимого ею отца, старшего брата, к которому она так была привязана, двух маленьких сводных сестер и ее замечательную, добрую, сердечную бабушку она больше никогда не увидит. Когда узнала она, что произошло, когда они были депортированы и куда именно? Я это никогда не узнаю. Мне было двенадцать лет, когда она умерла в Париже в 1962 году.

Работа с пережившими Шоа в Германии

После своего освобождения в мае 1945 года выжившие должны были еще долгое время оставаться в лагерях беженцев, в которых им помогали международные и еврейские организации. Те, кто возвращался в родные места, обнаруживали, что там нет никого и ничего: семья уничтожена, все нажитое добро разграблено и украдено. Только тогда стал понятен весь масштаб разрушений.

Бертольд Шеллер,¹ первый социальный референт Центральной благотворительной организации евреев в Германии (ZWST) описал эту послевоенную ситуацию так, как он ее видел: «Не бывать больше еврейским общинам в Германии» - это было единодушное мнение всех мировых еврейских организаций. Однако, послевоенная история Германии сложилась несколько иначе. Сотни тысяч евреев оказались заброшенными в Германию – больные, лишенные корней и несущие печать многолетних преследований. В большей степени речь шла о перемещенных лицах (DP), вывезенных или бежавших из своих стран. Никто из них не приехал в Германию, чтобы пустить корни в этой стране. Они рассчитывали из Германии отправиться дальше, в Палестину или США. Но эти страны приняли максимально ограничительные порядки процедуры въезда. Палестина в то время находилась под британским мандатом, ограничивающим въезд евреев, а в США закон о въезде в страну перемещенных лиц был принят лишь в 1948 году. Евреи оставались в Германии в состоянии ожидания. Их положение было критическим.²

«Не бывать больше еврейским общинам в Германии» - но вышло по-другому: после освобождения ни в одном еврейском сообществе во всем мире не было такого высокого уровня рождаемости, как в лагерях для перемещенных лиц в Германии. Геноцид и травматизация выживших, уничтожение упорно не признавались поражением – игрались свадьбы, устраивались брит-мила, бар- и батмицва, отмечались еврейские праздники. Люди хотели жить полной жизнью. И тем не менее: на фотографии одной свадьбы в лагере для перемещенных лиц, которую нам показал Изи Каминер, виден весь размах уничтожения: на фото нет ни детей, ни стариков. Если кто-то и выжил, то только потому, что он мог работать.

Пережившие Шоа начали создавать новые общины, как, например, во Франкфурте на Майне, где первая после Шоа община появилась в 1949 году. Они жили в Германии, но как бы и не в Германии. Большинство из них не были немецкими евреями, а Германии они не верили никогда. В основном это были евреи из Восточной Европы, депортированные в гетто и лагеря смерти. Страна палачей была им чуждой и

негостеприимной. Они не могли создать здесь свой собственный мир, у них не было круга друзей, в котором они чувствовали бы себя уверенно. Часто это были люди из одного и того же города, люди, которые вместе пережили концентрационный лагерь, которые все прекрасно понимали и без слов. Так было проще - неосторожными высказываниями можно было кого-нибудь ранить.

Люди пребывали в ожидании в этом немецком мире, который и сегодня остается для многих чуждым, на упакованных чемоданах. Это была очень хрупкая конструкция, ситуация высочайшей степени двойственности, на которую евреи вне Германии смотрели с недоверием.

Евреев, оставшихся жить в Германии, подозревали, что они сделали это из-за денег, из-за компенсаций. Нередко именно так оно и было, но после выплаты компенсаций никто в Германии оставаться не хотел. Процесс выплат, который начался в 50-ых годах, длился очень долго и часто приводил к новой травматизации. Чтобы доказать свое право на компенсацию, людям приходилось заново описывать происшедшие с ними ужасные события. Пережившие Шоа представляли перед врачами-экспертами, которые не только напоминали им врачей СС, но ими зачастую и были, их обвиняли в симуляции и к ним придирались. Все эти комиссии не выказывали никакого сострадания и часто это было похоже на издевку. Многие сдавались и не хотели ничего делать, считая все происходящее дополнительным унижением. Тем временем они продолжали разыскивать своих родственников.

Шло время, рождались дети, создавались фирмы.

Но многие пережившие Шоа все-таки были настолько тяжело травмированы, что они постоянно испытывали душевные расстройства и не могли найти себе места. Им требовалась постоянная помощь, но кто мог им ее дать?

Развивающаяся, современная и активная еврейская социальная работа времени, предшествовавшего наступлению периода национал-социализма, была уничтожена. Не хватало специалистов и доверительной работы с «немецкими» учреждениями, которые воспринимались как враждебные, или по крайней мере, не сочувствующие.

ZWST, созданная в 1917 году, как Центральная благотворительная организация немецких евреев, одна из организаций свободной благотворительности Германии, вновь начала свою работу после разгрома и Шоа в 1951 году. Новое название «Центральная благотворительная организация евреев в Германии» сознательно указывало на искоренение, двойственность и временный характер жизни в Германии после Шоа. И, тем не менее, ZWST действовала в традициях еврейской социальной

¹ Bertold Scheller, geb. am 28.11.1916 in Berlin war der erste Sozialarbeiter der ZWST nach dem Krieg. Er emigrierte 1933 nach Dänemark und 1936 nach Palästina. Er kehrte 1950 mit seiner Frau Susi und seiner Tochter Dorith nach Deutschland zurück, um an der Dortmunder Sozialakademie Pädagogik zu studieren. Prof. Dr. Berthold Simonson holte ihn 1951 als Sozialarbeiter zur ZWST. Bertold Scheller baute die Jüdische Sozialarbeit in den sich neu gründenden Gemeinden auf, half bei der Einrichtung jüdischer Kindergärten und setzte Schwerpunkte in der Seniorenarbeit mit Shoah-Überlebenden. Er war Sozialdezernent der ZWST bis zu seiner Pensionierung 1981. Bertold Scheller starb am 17. Sep. 1997 in Frankfurt am Main.

² SCHELLER, BERTOLD, Zedaka in neuem Gewand. Neugründung und Neuorientierung der „Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland nach 1945.“ In: Zedaka. Jüdische Sozialarbeit im Wandel der Zeit. 75 Jahre Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 1917 - 1992, Jüdisches Museum der Stadt Frankfurt am Main (Hrsg.), 1992, S. 142

работы, первоначальная задача которой – помогать. Речь шла о помощи в сложных жизненных ситуациях. Немногочисленных еврейских социальных работников, которые заменили тогда еврейские организации по оказанию помощи, Шоа тоже не обошла стороной, по крайней мере в плане изгнания и лишения корней.

С самого начала этим еврейским социальным службам пришлось иметь дело с сильно травмированными людьми и нехваткой ресурсов для мобилизации стратегии преодоления травмы. Для оказания такой помощи еврейским социальным работникам требовались не только еврейские общины и ZWST, но также такие коммунальные структуры, как социальные ведомства, больничные кассы и отделы здравоохранения, им нужны были управления по вопросам правопорядка для обеспечения законного проживания, учреждения для помощи молодежи и детям, если семьи были сами не в состоянии воспитывать своих детей. Еврейские социальные работники должны были работать со всеми этими организациями, нужно было располагать их к себе, хотя многие сотрудники этих организаций вплоть до их руководителей были бывшими нацистами. Необходимость использования немецких учреждений означала, что требовалось переложить все негативные явления с еврейских общин и предстать субъектом дискриминации и травматизации.

И все это на фоне слабых, практически уничтоженных, с реанимированными травматизациями, пережившими Шоа людьми, на фоне структур общин, созданных лишь на короткий отрезок времени.

И тем не менее, общество помогало выжившим, помогало членам общин как нечто самой собой разумеющееся, настолько хорошо, как только могло и там, где только могло. Эти структуры были удивительно многогранны: они помогли найти подходящее жилье и работу, которую сегодня многие посчитали бы крайне неуместной – официанта, уборщицы, горничной в гостинице, швейцара, рассыльного. Эти работы были очень важны не только с точки зрения срочно необходимого небольшого заработка – они служили своего рода самоутверждением и физическим выживанием для тех людей, у которых не было больше ничего и никого; очень важны также и для интеграции в общество переживших Шоа. И для того, чтобы больше не быть зависимыми от «немецких» учреждений.

Я чту память Шмулика Кляйнбаума, который практически жил в кафе «Типтоп», Я чту память Цили Карамзина, «наёмного партнера для танцев», который буквально потерял смысл жизни, когда магазинчик на вокзале, в котором он работал и отвечал в нем буквально за все, должен был закрыться в связи со смертью владельца.

Когда я пишу эти строки, мне вновь становится ясно, какое это удивительное чудо, что выжившие буквально сразу же после Шоа вновь создали в Германии еврейские общины, помогали людям и занимались социальной работой, организовали детские сады, содержали дом престарелых, предлагали уроки религии и кошерное питание, за очень короткий срок вновь создали фундамент еврейской жизни в Германии, хотя вначале и казалось, что все это временно, ненадолго и в любой момент может оборваться вновь. Какую силу это показывает, несмотря на попытку тотального уничтожения и назло этому.

Я должна сказать несколько слов о немецком послевоенном обществе, по крайней мере, во Франкфурте. Когда я просматриваю старые дела моих клиентов, меня часто поражает, с какой бережливостью и чуткостью оказывали в то время помощь немецкие социальные и молодежные ведомства. Бережливость и чуткость, которой мне не хватает сегодня, и не только в отношении евреев, а вообще в отношении человеческих судеб и страданий. Еврейская социальная работа с самого начала не ограничивалась лишь удовлетворением необходимых материальных и медицинских потребностей.

Бертольд Шеллер, который работал в ZWST был для тех немногих еврейских социальных работников в заново созданных общинах и наставником, и супервизором. Его поддерживал тогдашний директор Бертольд Симонсон, который сразу же понял, что выжившие нуждались в первую очередь не только в материальных средствах для облегчения своего финансового положения, но также и в душевной поддержке, знакомствах и понимании. Он был духовным отцом психосоциальной работы с пережившими Шоа и членами их семей.

Для ZWST и ее директоров, профессора доктора Симонсона, Макса Вильнера и Альфреда Ваксельбаума, на жизнь которых наложили отпечаток гетто и лагеря, это означало: мы должны заботиться о пожилых людях, свести их вместе, предложить им что-то, что вернет их к старым добрым временам до разрушения их семей и их жизней. Это происходило во время совместного отдыха пожилых людей, во время еврейских праздников и во время обедов с традиционной еврейской едой, которую они хорошо знали по дому. Это означало также: нам срочно необходимо побеспокоиться о молодежи, чтобы не потерять это поколение. Наша молодежь должна знать еврейскую религию и традиции, она должна уметь дать отпор враждебным проявлениям, она должна быть вплетена в историю еврейского народа. Это происходило в еврейских молодежных лагерях, маханот. И это означало: еврейская

социальная работа должна стать чем-то особенным, она должна знакомить с еврейскими ценностями и заботиться о каждом отдельной человеке. Она должна проповедовать все хорошее, чтобы принести максимальную пользу нуждающимся людям.

Это понимание, это сопереживание является неотъемлемой частью еврейской традиции Гмилут Хессед, сопереживания сердца. Бертольд Шеллер считал, что социальная работа не должна выносить никаких решений по человеческим судьбам. Социальные работники должны уважать жизненные планы своих клиентов и соблюдать определенную дистанцию, даже если многие социальные работники того начального периода были сами затронуты Шоа. «Соблюдать дистанцию» означало держать при себе свои собственные жизненные представления и мораль. Из этой традиции Гмилут Хессед берет начало сущность сегодняшней работы социального отдела еврейской общины Франкфурта на Майне. Социальный отдел не должен просто помогать людям, имеющим какие-либо материальные трудности. Он должен быть прежде всего местом для людей, которые ищут совета, понимания и защиты и иногда и сопровождения в течение всех их жизни.

*Наряду с библейской Цедакой раввины выделяют концепцию милосердия «Гемилут Хассадам»: сострадание и сердечная доброта.

«Больше, чем Цедака» говорит нам Талмуд (Сукка 49б) о «Гемилут Хассадам», и акт Цедаки измеряется степенью содержащейся в ней сердечной доброты. Таким образом, и бедным и богатым предоставляется равная возможность исполнить заповедь сердечной доброты, будь то в виде материальной поддержки или какого либо личного участия и сострадания.

На этой основе возникла амбулантная психосоциальная служба еврейской общины, которая получила свое развитие из амбулантной помощи пережившим Шоа медицинскими сестрами общины. С самого начала эта помощь является бесплатной и независимой от того, существует ли материальная нуждаемость или нет.

Каковы особенности этой работы?

Основная особенность состоит в том, что мы решили, что начавшиеся отношения с клиентом не прекращать и после того, как проблема решена. Особенность в том, что мы не можем просто так отправить нашего клиента по указанному пути. С самого начала нам понятно, что мы начинаем длительные отношения, которые сохраняются на протяжении всей жизни клиента.

В чем же заключается необходимость такой интенсивной связи с клиентами?

У многих переживших Шоа нет семьи, у которой они могли бы искать и получить совет или сочувствие. У многих, потому что их дети или члены семьи живут не во Франкфурте, а зачастую за границей, а у других, потому что после уничтожения их семей они так и не смогли вновь завести новую. Некоторые не могут переносить близость своих членов семей, их детей. Годами у них нет никаких семейных контактов. Им нужен кто-то, кто может обменяться с ними мнениями и не так близок им, как их дети.

Выжившие, которые в первые годы после Шоа были еще молодыми людьми и могли начать строить новую жизнь, сегодня в основном уже 80-летние старики. Работа уже не может заслонить собой самые страшные воспоминания и эти воспоминания возвращаются. Возраст не смог залечить раны, они были просто замаскированы активной жизнью. Теперь все вернулось, а силы, чтобы бороться с воспоминаниями, просто тают. Многие пережившие Шоа сегодня слишком стары, хрупки или просто депрессивны для того, чтобы выйти из своего дома. Они становятся все более и более одинокими, оставаясь один на один со своими воспоминаниями. Им нужен кто-нибудь, с кем бы они могли поговорить или помолчать, кто бы знал их историю, но не говорил бы с ними о ней.

На потерю жизненных сил пережившие Шоа реагируют очень болезненно, Именно здоровье и жизненные силы в свое время помогли им выжить в укрытии или в лагере. Болезнь в то время означало смерть. Сдаться – значит погибнуть. Смертельный страх может сегодня, в престарелом возрасте, тоже означать смерть еще до того, как наступил смертный час. Этих людей необходимо особенно внимательно опекать в больницах, поскольку врачей и медицинский персонал, особенно здесь, в Германии, они порой рассматривают, как врагов. Причину такого рода страхов мы, социальные работники, должны объяснить домашнему врачу, врачу больницы, персоналу по уходу в больницах и домах престарелых. Это также страх перед проникновением в интимную сферу, перед потерей контроля над собой, страх быть высланным. Все это может привести к новой травматизации.

Памятные даты, такие, как дни рождения родителей, братьев и сестер, даты их смерти, день депортации, такие даты, как Йом Ха Шоа, 9 ноября или 8 мая могут заставить их заново переживать страшные воспоминания. Они встречают их в одиночку. Еврейские праздники – это особенно критические дни. Воспоминания о семейных праздниках времен до Шоа могут восприниматься особенно болезненно.

Особенно страшно им в те дни, когда исходит какая-либо угроза Израилю. Израиль представляется многим выжившим символом защиты, обороноспособности, их признания как личностей, как евреев, которые имеют одну цель в жизни – чтобы Израиль жил, даже если они сами там и не живут. Израиль, который говорит им, что каждый из них важен для него после того, как их пытались уничтожить, стереть с лица Земли.

Двери нашего социального отдела всегда открыты для переживших Шоа. Приходят люди, которые просто хотят рассказать понравившийся им анекдот, выпить чашечку кофе или просто поболтать. Приходят и другие люди, которым вновь необходимо помочь материально и при этом поговорить с ними. Многие приходят, потому что они не могут справиться с какой-нибудь проблемой в государственном учреждении или у них заканчиваются деньги, на которые они мужественно жили все последние годы, не обращаясь к государству за помощью. Кто-то приходит за советом. Кто-то приходит просто пожаловаться. Для многих из них социальный отдел общины является единственным местом, где им не надо никому ничего долго объяснять – они приходят такими, какие они есть. Как, например, господин В., который выжил в Сибири и ребенком видел, как замерзли от холода его мать и сестра и его спас крестьянин, откормивший его мороженой картошкой. Он приходит не только к нам. Недавно я видела господина В. в вестибюле гостиницы одного из наших членов общины, где он играл в шахматы. И когда я его сердечно поприветствовала, он протянул мне руку и гордо произнес: «У нас тут тоже социальный отдел. Вы этого не знали!».

О психосоциальной работе с людьми, пережившими Шоа.

Для многих людей, переживших Шоа, центральное значение имеют посещения их на дому. Им необходим этот интимный контакт дома даже тогда, когда они еще мобильны. Но многие не могут выйти из своей квартиры совсем или могут это сделать с большим трудом для того, чтобы вновь встретиться с теми, кого они знают и кому они доверяют. Им нужен человек, который о них заботится, с кем они могут обмениваться мнениями, кто поможет им в критические фазы их жизни или просто при заполнении формуляров или оплате счета за электричество. Они хотят, чтобы их понимали даже тогда, когда они просто молчат. И тем важнее, что именно мы, работники социального отдела их еврейской общины, приходим к ним домой, предлагаем нашу помощь и зачастую ведем их по жизни. То, что это их община, которая им помогает,

означает совершенно особое чувство защищенности, которое им так необходимо, даже если они порой ругаются на общину, как мать, которая не делает для детей того, что им нужно. А им нужно так много.

Близость, которую мы создаем, посещая этих людей на дому, может стать опасной в том случае, если к такой близости не привыкли. Бывают страхи и агрессивное поведение, с этим нам тоже приходится работать.

С тем, чтобы мы понимали те процессы, которые происходят вследствие создания близости, очень важно тематизировать биографические истории наших клиентов.

Наша собственная история имеет значение для нас самих, для нашей работы с травмированными людьми, поскольку они придают нашему восприятию и пониманию свой собственный, неповторимый почерк.

Какое значение имеет биографический опыт травмированных людей в нашей работе?

Я считаю крайне важным различать две вещи: индивидуальный биографический опыт и коллективный опыт тех людей, которые пережили Шоа.

Травма Шоа является только лишь частью жизни травмированных людей. Это очень пронзительная часть. Эта часть жизни, которая наложила отпечаток на всю последующую жизнь и на жизнь ДО Шоа. Убийцы хотели не просто убивать и разрушать, они хотели стереть с лица земли.

Чтобы помогать этим людям, мы должны понимать их отдельные судьбы и ценить и уважать их совершенно индивидуальный биографический опыт.

Он (или она) «пережили Шоа» означает, тем не менее, только одну часть, один отрезок жизни. Нам неизвестно, например, что мама могла быть певицей, а отец происходил из семьи раввинов, что человек вращался в кругах, близких к искусству до того момента, как пришли немцы, заперли всех в гетто и убили. Этот отрезок жизни ничего не говорит о том, как человек после освобождения вновь встретил свою возлюбленную и женился, родилось двое прекрасных сыновей, которые стали адвокатом и врачом – или же человек не мог и не хотел ни на ком жениться, поскольку не хотел вновь испытать горе разрушения семьи.

Сам по себе опыт Шоа не является только лишь коллективным опытом, а, скорее, очень индивидуальным. Индивидуальный, личный опыт здесь очень важен для того, чтобы понять кризисы, которые мы не понимаем и которые могут стать опасными для жизни. Воспоминания о гетто, жизни в укрытии или лагере, также как и о жизни до Шоа, могут в нашей работе иметь очень большое значение для понимания симптомов. Как, например, в случае

с одной женщиной, о котором мы узнали от ее дочери. Эта женщина отказывалась от госпитализации после того, как сломала ногу. Она спряталась под кроватью и допускала до себя только одну цыганскую женищну, которая и осуществляла уход за ней до того момента, когда она вновь смогла ходить. Это прямое следствие ее опыта в годы Шоа, когда она в лагере сломала ногу и спряталась для того, чтобы ее не убили. Одна цыганская женщина выходила ее.

Для наших клиентов крайне важно, что мы относимся к ним, как к индивидуальностям, с их собственной судьбой, даже если они о ней мало или совсем ничего не рассказывают. Нам надо следить за тем, чтобы мы не типизировали, классифицировали или постоянно говорили об их защите или отречении, чтобы мы их не патологизировали. Признание их индивидуальности означает, что мы их ценим, видим их силу и ресурсы, без которых они никогда бы не выжили.

Кто же они, наши клиенты?

- Например, одна отчаявшаяся женщина, которая чувствует себя преследуемой и из-за скандалов, которые она устраивает соседям, ей грозит потеря квартиры и помещение в психиатрическую клинику. Этого мы смогли помочь избежать за счет своевременного вмешательства.
- Супружеская пара, которая была раньше вполне незаметна, а теперь внезапно закрывается в квартире, никого в неё не впускает, ничего не ест и полностью дезориентирована. Отказывается от собственных детей и обвиняет их. Теперь мы знаем, наконец, их историю и знаем подход к ним.
- Мужчина, который решил для себя, что ему нужен кто-нибудь, с кем он мог бы поговорить о повседневных вещах, поскольку он одинок и у него никого нет.
- Женщина, которая уже многие годы находится в кризисе, потому что у нее умер муж и она чувствует себя увереннее, если приходит «кто-нибудь из общины».
- Мужчина, который инсценирует свою беспомощность, но никогда не оказывается дома, когда мы к нему приходим, но рад тому, что кто-то может ему помочь.

- Женщина, которая нас постоянно в чем-нибудь обвиняет и ругается, вымещает на нас свое плохое настроение, мучает своих помощниц и все равно очень в нас нуждается. И когда она время от времени нам звонит и всем сердцем признает нашу готовность ей помочь и говорит «спасибо», для всех для нас встает солнце. Потому что она может видеть и хорошее.
- Мужчины, женщины и супружеские пары, которым требуется уход и помощь при подаче заявления на пособие по уходу и организации этого ухода, а также помощь при дополнительном уходе. И им необходимо, чтобы за уходом следили и при необходимости оптимизировали его.
- Люди, которые раздумывают над возможным переездом в еврейский дом престарелых и нуждаются в помощи при принятии такого решения и самом переезде.
- Это могут быть люди, которым достаточно лишь одного звонка в неделю и которые хотят нас видеть (максимально) раз в год.
- Кто-то, кто хочет, чтобы ему звонили раз в неделю, но дома никогда не оказывается и затем недоволен, что ему никто не звонит.
- Это могут быть люди, которые спокойнее себя чувствуют, когда знают, что мы приедем тогда, когда им только будет нужно.
- И еще многие-многие.

Мы ухаживаем в прямом смысле слова «уход» («Care» – забота) на дому более, чем за 150 людьми. 120 из них непосредственно являются пережившими Шоа. В их числе и более молодые люди, которые в 1945 году были еще детьми и выжили в укрытии. Самым старым 102 и 104 года, соответственно. Дама, которой сегодня 102 года, выжила, прячась в лесах. Тридцать человек-это молодые люди-инвалиды и дети переживших Шоа. Все клиенты, которые приходят к нам, принадлежат к самым разным социальным слоям. Есть бедные люди, получатели социального пособия, люди со средним достатком, богатые и очень богатые люди. Шоа не пощадила никого из них.

Наших клиентов постоянно посещают или имеют телефонный контакт с ними четыре сотрудницы социального отдела. Две сотрудницы - еврейки и две – нееврейки, две медицинских сестры и две сестры по уходу за престарелыми. Они уже 18, 22, 29 и 30 лет

работают в социальном отделе общины. Они начали работать, как «сестры общины», когда еще не было страхования по уходу. Они ухаживают за некоторыми клиентами уже 30 лет.

Каковы наши квалификации, как оценивают нашу работу и как мы совершенствуемся?

Мы – дипломированные педагоги, социальные работники, медицинские сестры и сестры по уходу, а также одна секретарша, которая часто является для клиентов первым контактным лицом. Каждые две недели мы работаем в группе супервизии, чтобы лучше понимать наших клиентов, наши собственные действия. Без нашего супервизора представить нашу команду уже невозможно. Огромное спасибо Изи Каминеру, который нам очень помогает лучше понять наших клиентов и самих себя, который дает нам надежду и указывает, куда мы можем идти и где находятся наши границы.

Мы работаем с каждым случаем индивидуально. Мы ищем нестандартные решения, фантазируем и имеем четкое представление о наших предложениях и сочувствии в духе Гмилут Хессед, уважения к нашим клиентам, их жизни, их силы, с помощью которой им удалось выжить и жить дальше, их чувству юмору, которым они все обладают, хотя они часто травмированы. Иногда мы чувствуем усталость и опустошенность, но испытываем чувство обогащения и радости, когда нам удается добиться совместного успеха с нашими клиентами.

Что такое успех?

Вот пример: одна женщина, у которой было два сына, которых она сама воспитать не могла, потому что после многих лет бегства, жизни в укрытии и изгнании она для этого была слишком больна. Оба сына выросли в различных странах и говорили на разных языках. У них не было ни хороших отношений со своей матерью, ни постоянной связи. За этой женщиной сотрудниками общины десятилетиями осуществлялся амбулантный уход. Когда их мать умерла, они приехали на похороны для того, чтобы прочесть кадиш. Одному из сыновей пришлось для этого облететь полмира. На могиле своей матери они заключили друг друга в объятия и разрыдались. С одним из них мы постоянно поддерживали контакт. Когда братья захотели поговорить друг с другом обо всем и не могли этого сделать из-за языковых проблем, мы выступили в роли переводчика.

Успех – это когда кто-то вновь налаживает контакт со своим сыном или дочерью. Когда одна пожилая

женщина лежит при смерти и знает об этом, и просит рассказать ей какой-нибудь не совсем приличный еврейский анекдот. Когда одна женщина с шиком одевается и отправляется в кафе. Когда после долгих уговоров и сопротивления нас впускают в квартиру и нам удается завязать отношения. Когда нам удается добиться для клиентов пособия по уходу и такой фирмы по уходу, которая им нравится и они ее принимают. Когда кто-то хочет остаться жить в своей квартире, несмотря на то, что за ним требуется очень интенсивный уход. Когда нам удается навести в квартире порядок, ну совсем немножко. Когда жена одного клиента с болезнью Альцгеймера после долгих лет позволяет нам помочь ей и разгрузить ее заботы. Когда нам удается избежать выселения из квартиры психического больного, мешающего соседям. Когда кому-то после длительной депрессивной фазы вновь хочется с нами ругаться.

Когда наши клиенты сияют, потому что наши сотрудницы приносят им на еврейские праздники чолнт, латкес, хоменташен, кигель.

Я хочу поблагодарить Алину, Юдит и Эллу за этот особый вклад. Их и без этого обожают их клиенты, но за это им особое спасибо. И мы это очень хорошо понимаем, потому что тоже в выигрыше от их кулинарного искусства.

Почему я подчеркнула, что в нашей работе с пережившими Шоа участвуют сотрудницы, которые не являются евреями? Они имеют для переживших Шоа особенное значение, о котором мне бы хотелось здесь сказать. Они вносят очень большой вклад в понимание внутреннего мира наших клиентов. Осознание того, что солидарность и сострадание на протяжении стольких лет исходит от людей, которые являются не евреями, а даже немцами, имеет в себе нечто утешительное и примирительное. Я бы хотела особенно поблагодарить Анну, Бригитту и Сюзанну за их работу. Это – одна команда и они имеют для наших клиентов бесконечную ценность.

В начале 90-ых годов социальный отдел общины занимался в основном людьми, пережившими Шоа и их семьями. Работа отдела полностью изменилась с началом еврейской эмиграции, которая изменила и сами общины.

До начала волны эмиграции из бывшего Советского Союза, численность еврейских общин Германии стремительно сокращалась. Урон, нанесенный Шоа, был очевиден и чувствителен.

Для переживших Шоа, которые после объединения Германии постоянно задавали вопрос, что они делают здесь, в стране преступников, решение разрешить евреям приезжать в Германию было невероятным. Евреи же должны ехать в Израиль, или, в крайнем случае, в США! Для них было немыслимо, что евреи

добровольно захотели жить в Германии. Для эмигрантов мы были «немецкими евреями». Когда я рассказала нашим новым клиентам, что мой отец родился на границе с Украиной, а родители моей матери родом из Пшемысля, крохотного городка на польской границе рядом с Лембергом, они обрадовались и посчитали, что я именно поэтому так к ним добра и, безусловно, являюсь исключением. Приехавшие увидели богатую, большую еврейскую общину Франкфурта на Майне, прекрасный, современный Центр общины, школу, детский сад, молодежный центр, клуб пожилых людей, раввина и огромную, роскошную синагогу в прекрасном районе города. Они не могли понять, что мы уже не те благополучные немецкие евреи прошлого, о котором они узнавали из литературных произведений, из романов Фейхтвангера.

Интеграционную помощь, которую ожидают наши новые клиенты, оказывает общество, состоящее из мигрантов, людей с зачастую вырванными корнями и, несмотря на долгие годы проживания, до сих пор чувствующими себя чужими в этой стране. Практически невозможно объяснить новым членам нашей общины, что чувство собственного достоинства, которое излучает этот красивый, новый Центр общины, очень хрупко и ломко, как и его фасад, наглядный символ нашего душевного состояния. Мы с трудом можем скрыть наши двойственные ожидания по интеграции еврейских иммигрантов именно в это немецкое общество. Наше отношение к Германии очень сильно омрачено тенью Шоа. Мы очень чутки и чувствительны.

Появилась новая обида: многие из старожилы почувствовали себя обойденными и с обидой перестали участвовать в жизни общины. «Здесь все делается только для русских» и «я не узнаю больше свою общину, тут говорят теперь только по-русски» - эти фразы приходилось слышать все чаще. Самые старые члены общины сравнивали эту ситуацию со своей собственной миграционной историей, без курсов немецкого языка и социального пособия, без социальных квартир, без всего этого внимания и пособий, предоставленные практически только сами себе. И без этих бесчисленных родственников. Кто из вас, кто из нас имел столько бабушек и дедушек, тётюшек и дядюшек, кузенов и кузин! Нам предстоит построить еще очень много мостов.

Я благодарю Эфрема, Герда, Светлану и Эллу за то, что они являются чуткими, ангажированными межкультурными переводчиками для наших новых членов общины.

В рядах тех, кого мы называем «русскими», тоже бушевала Шоа. Наши новые члены общины долго об этом не разговаривали. Мы их никогда и не

спрашивали. Что-то в них другое. Может быть, это другая самоидентификация, позволяющая чувствовать себя не жертвами, а победителями? Или это представление коллективной судьбы преследования с доблестным советским народом? А как пережили наши новые члены общины кровавые годы сталинского террора?

После одной из инициатив молодежной и воспитательной комиссии еврейской общины к Йом-Ха-Шоа еврейские иммигранты из бывшего СССР начали об этом рассказывать. Мы слушали их. Но и до сих пор мы немного знаем об их судьбах в годы Шоа. Клиенты, которых мы опекаем, принадлежащие к новым иммигрантам, молчат не все. Юлия Бернштайн считает, что для обозначения Шоа на языке наших новых членов из бывшего Советского Союза нет соответствующих принятых и понятных слов. И тем не менее, они рассказывали: в своих заявлениях на получение компенсации от Клеймс Конференс они описывали свои истории. Я благодарна Алле и Элле за то, что они помогли им найти нужные слова. Это замечательная работа.

И у меня не было никаких слов, пока я не начала внимательнее заниматься историей своей семьи. Историей моего деда Давида Мелеха Лангерманна и его дочерей, маленькой Леи и 16-ти летней Чаны, его сына Якоба, который был моим дядей и его тещи Рахиль, второй жены моего деда Шайндель и ее сына Саломона. Я ничего не знала о судьбе сына Саломона Артура. Он родился в 1941 году, удивительным образом выжил и я узнала о его существовании только 10 лет назад. Я познакомилась с ним и теперь он мой новый, замечательный двоюродный брат.

Mitverantwortliche Lebensführung als eine mögliche Antwort auf Traumatisierung

In dem folgenden Beitrag werde ich zwei Themen aufgreifen. Zum Einen möchte ich gerne kurz über eine Studie berichten, die ich gemeinsam mit meinem Kollegen Eric Schmidt durchgeführt habe. Es geht darin um das Thema der Erinnerungen an Zeiten der Lagerhaft beziehungsweise um Erinnerungen an die Erfahrung von Immigration bei betagten oder hochbetagten jüdischen Bürgerinnen und Bürgern – nicht nur solchen, die ihren Lebensabend in Deutschland verbringen, sondern auch solchen, die in anderen Ländern der Welt leben. In einem zweiten, etwas kürzeren Teil stelle ich eine Untersuchung vor, in der ich mit Eric Schmidt und anderen aus dem Institut für Gerontologie die Frage untersuche, wie eigentlich ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der ehemaligen Sowjetunion, die in Deutschland Zwangsarbeit leisten mussten, auf ihre Vergangenheit beziehungsweise auf ihre gegenwärtige und zukünftige Situation blicken.

Zunächst möchte ich jedoch auf die erste Studie eingehen, die wir im Jahre 2000 als Monografie zum Thema „*Wir haben uns als Deutsche gefühlt*“ veröffentlicht haben.¹

Auf der einen Seite widmete sich diese Studie dem Lebensrückblick der ehemaligen Internierten bzw. Immigranten, auf der anderen Seite aber auch der Frage, wie sich diese Menschen heute fühlen, welche Identität sie im Alter zeigen, wie eigentlich ihre Zukunftsperspektive aussieht. Diese Studie ist aus einer Überlegung heraus entstanden, die ich Ende der 1980er Jahre gemeinsam mit Eric Schmidt und Vertretern der Allgemeinen Hypothekbank hier in Frankfurt angestellt hatte. Wir beschäftigten uns mit der Frage, ob es nicht notwendig sei, über die primär psychopathologische Analyse der Überlebenden und Immigranten hinaus auch einen Ansatz zu entwickeln, der untersucht, welches die zentralen Identitätsmerkmale der ehemaligen Vernichtungslagerhäftlinge und von Immigranten sind, das heißt wie diese Menschen heute ihr Alter und ihre Möglichkeiten erleben, Erfahrungen an nachkommende Generationen weiterzugeben. Dazu trat die Frage, wie man ihre Situation als Zeitzeugen und ihr Potenzial zur Zeitzeugenschaft und zur politischen Sensibilisierung der Jüngeren verstehen kann. Gewiss ist uns – als Vertretern des sehr stark interdisziplinär ausgerichteten Instituts für Gerontologie – die psychopathologische Perspektive durchaus bewusst. Wir wollten jedoch über die Psychopathologie hinausgehen und uns der Frage der Identität zuwenden bzw. herausfinden, welche Bedeutung die Überlebenden der Shoah sich als Menschen zusprechen, die einmalige historische Erfahrungen an nachfolgende Generationen weiterzugeben imstande sind.

Folgendes möchte ich vorausschicken, bevor ich auf einzelne Aspekte der Studie eingehe: Wir haben im Grunde im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Schicksal der Überlebenden und mit ihrer Art und Weise, das Leben zu gestalten, die Basis für eine Theorie des Alters geschaffen, die heute in der Bundesrepublik Deutschland und auch darüber hinaus Beachtung findet. Wir haben nämlich darzulegen versucht, dass sich die Überlebenden nicht einfach als Menschen verstehen, die bis ins Alter hinein nur Opfer dieser traumatisierenden Erfahrungen gewesen oder geblieben sind, und herausgearbeitet, dass sie sich immer auch als Menschen sehen, die in den öffentlichen Raum streben und diesen mitgestalten, also ein mitverantwortliches Leben führen wollen. Mitverantwortung möchten sie insofern übernehmen, als sie den nachfolgenden Generationen kommunizieren wollen, was sie in der Zeit des Nationalsozialismus und zum Teil auch schon davor erlebt haben, wie sie mit diesen Erlebnissen fertig geworden sind, soweit man das überhaupt kann, und wie wichtig es ist, dass sich auch die jüngeren Generationen für die Gefahren eines neuen Faschismus oder Antisemitismus sensibilisieren lassen. Dieses Streben nach mitverantwortlichem Leben, das mit dem Wissen der Betroffenen zusammenhängt, dass für sie in der Weitergabe des Erlebten ein wichtiges Moment von gelingendem gesellschaftlichen Leben beschlossen liegt, war für uns im Zuge unserer Studie eine zentrale Erkenntnis, die wir dann zu einer Theorie des Alters ausgeweitet haben, in der der Aspekt des mitverantwortlichen Lebens eine große Rolle spielt.

Wir hatten die Möglichkeit, 248 Überlebende des Holocaust ausführlich zu interviewen. Darunter befanden sich 68 Überlebende der Vernichtungslager und 180 Immigrantinnen und Immigranten, die in drei Zielländer ausgewandert waren: Palästina, die Vereinigten Staaten und Argentinien. Wir haben uns aus folgendem Grund auf diese drei Länder konzentriert: Während die Vereinigten Staaten ein primäres Zielland der Immigration waren, wurde Palästina bzw. später Israel zu einem Ort, mit dem sich – nicht zuletzt auch durch die Verfolgung im Nationalsozialismus – immer mehr jüdische Bürgerinnen und Bürger in hohem Maße identifiziert haben, insofern sie den Aufbau des Landes als Antwort auf die katastrophalen Erlebnisse und Erfahrungen betrachteten. In Argentinien dagegen bestand – kulturell wie sozial – eine gewisse Affinität zu Deutschland, die darin zum Ausdruck kam, dass es schon zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg eine bemerkenswerte Migration nach

Argentinien gegeben hatte, dass zur Zeit des Nationalsozialismus viele Menschen dort Zuflucht gesucht hatten und dass nicht wenige, die in dieser Zeit Verbrechen begangen hatten, ebenfalls dorthin ausgewandert waren. Diese 248 Personen konnten wir ausführlich interviewen, das heißt nicht nur 30 Minuten, 60 Minuten oder 2 Stunden lang, sondern zum Teil über mehrere Tage hinweg. Diese Interviews wurden intensiv vorbereitet durch ausführliche Schreiben an jüdische Gemeinden und Altenheime, in denen wir die Intention unserer Studie darlegten und erklärten, auf welche Themenkreise sich diese Interviews konzentrieren sollten. Dadurch, dass wir immer auf die Vermittlung durch jüdische Gemeinden bzw. jüdische Altenheime zurückgreifen konnten, hat nur eine minimale Anzahl von Personen – insgesamt nicht mehr als 17 – unsere Bitte um ein Interview abgelehnt, meist aus gesundheitlichen Gründen. Wir fanden es bemerkenswert, dass der Großteil der Menschen, die wir um ein Interview gebeten hatten, bereit waren, mit der Nachfolgegeneration derer, die ihnen dieses ganze Leid zugefügt hatten, zu sprechen. Dabei haben wir mit vielen Menschen kommuniziert, die nicht bereit waren, Deutsch zu reden, oder bei denen es relativ lange dauerte, bis sie Deutsch zu sprechen begannen. Was uns deutlich wurde, war, dass die Menschen ein zentrales Motiv ansprachen: Sie wollten uns nicht nur als Wissenschaftlern, sondern auch als Angehörige der nachfolgenden Generationen des Landes, das sie geliebt und mit dem sie sich identifiziert hatten, zeigen, dass ihnen Deutschland auch heute alles andere als gleichgültig war. Sie wollten mit uns als Vertreter dieser Generation aus Deutschland sprechen, um uns zu sagen, wie es ihnen jetzt erging, auch um ihnen mitzuteilen, welche problematischen oder welche positiven Entwicklungen sie in der Gegenwart in diesem Land beobachteten.

Dazu sollte bekannt sein, dass wir jene 180 Personen aus unserer 248 Personen umfassenden Stichprobe, die Immigranten gewesen waren, in zwei Gruppen von je 90 Personen eingeteilt hatten. Da waren einmal diejenigen, die sich im Alter dafür entschieden hatten, wieder nach Deutschland zurückzukehren und die wir dann auch in Deutschland interviewt haben. Dies waren also Personen, die aus Argentinien, aus den Vereinigten Staaten oder aus Israel wieder nach Deutschland zurückgekommen waren, sei es auf Dauer oder zumindest für relativ lange Aufenthalte. Die anderen 90 Personen, die wir befragt haben, waren jene, die in den Ländern geblieben waren und auch nicht beabsichtigten, nach Deutschland zurückzukehren.

Der erste Eindruck ist ein eher bildlicher. Ich erwähnte bereits, dass diese Interviews – außer bei der größeren Anzahl jener, die nach Deutschland zurückgekehrt waren, – vielfach nicht in deutscher, sondern in englischer Sprache geführt wurden. Das galt vor allem für die, die

in den Vereinigten Staaten lebten. Anfänglich fragten wir uns, was das eigentlich für eine Sprache sei, die da gesprochen wurde, denn sie erschien uns als eine Mischung aus Englisch und Elementen der deutschen Sprache. Warum sprachen die Menschen mit uns, die wir aus Deutschland kamen, nicht in der Sprache, die sie früher immer gesprochen hatten und die sie im Grunde immer noch perfekt sprechen konnten? Das Beindruckende war, dass diese Interviews über Stunden hinweg in Englisch geführt wurden und dann, wenn Beispiele für die Darstellung der aktuellen oder früheren emotionalen und affektiven Situationen gegeben wurden, deutsche Literatur, vor allem deutsche Lyrik rezitiert wurde – und zwar auswendig und auf sehr bemerkenswerte, geradezu musikalisch wunderbare Art und Weise.

Ein Beispiel ist mir noch gut in Erinnerung. Ich weiß noch, wie mir eine Bewohnerin eines jüdischen Altenheims in Chicago, die in Auschwitz interniert gewesen war, ein wunderbares Gedicht von Rilke rezitierte: „Ich liebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, den uralten Turm, und kreise Jahrtausende lang und ich weiß nicht, was ich bin, ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang.“ Das ging mit einer wunderbaren Melodik einher, sehr eindrucksvoll in der Sprache, auch in der Rezitation. Danach folgte ein Erschrecken darüber, Deutsch gesprochen zu haben, und dann wurde wieder Englisch gesprochen. Oder ein anderes Beispiel: Eine Dame erzählte mir, in Chicago gebe es im Sommer immer mehrere Freiluftkonzerte, betonte, wie gespannt sie sei, die akademische Festouvertüre von Johannes Brahms zu hören, und rezitierte dann den entsprechenden Text in deutscher Sprache. Es gilt zu verstehen, dass auch dann, wenn wir die gegenwärtige Situation dieser Menschen ausführlich analysieren, die Identität ein sehr wichtiges Element darstellt und im Kontext dieser Identität das Herkunftsland Deutschland durchaus eine zentrale Rolle spielt – eine Rolle, die bis ins Alter hinein sehr bedeutsam, zugleich aber ambivalent und ungeklärt ist. Auf der einen Seite sind da die Bindungen an die Kultur, Literatur, Musik, darstellende Kunst oder die Natur, aber auf der anderen Seite ist stets auch das erlebte Wissen darum gegenwärtig, in diesem Land schlimmsten Verfolgungen oder Qualen ausgesetzt gewesen zu sein. Diese Identitätsproblematik, das wurde uns auf Befragen hin immer wieder bestätigt, spielt bis in die heutige Zeit hinein eine große Rolle.

Ich habe bereits gesagt, dass diese gesamte Untersuchung nicht unter dem Aspekt der Psychopathologie stand, doch wir wissen natürlich schon, dass es gerade im Alter die posttraumatischen Belastungsstörungen gibt, die auch von Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der

psychosomatischen Medizin und der Psychiatrie, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, theoretisch und empirisch erforscht und sehr gut beschrieben worden sind. Im Alter scheint die Neigung zum Lebensrückblick immer stärker zu werden. Das hat zum einen damit zu tun, dass sich mehr und mehr das herauskristallisiert, was wir als Langzeitgedächtnis oder Langzeitspeicher bezeichnen, während das Kurzzeitgedächtnis und die Kurzzeitspeicherleistungen schwächer werden. Infolgedessen wird die Bedeutung des Langzeitgedächtnisses und damit natürlich auch jener Erlebnisse und Erfahrungen, die frühere Lebensphasen bestimmt haben, immer wichtiger. Das ist aber nur ein Motiv. Ein zweiter Grund liegt darin, dass angesichts der eigenen Endlichkeit und des antizipierten Sterbens und Todes die Frage „Was ist eigentlich Dein Leben in seiner kompletten Gestalt?“ immer mehr Raum einnimmt. Dabei handelt es sich um ein Motiv, das, folgt man den bedeutenden Entwicklungspsychologen, im Alter eine immer größere Rolle spielt. Dazu kommt schließlich drittens, dass man sich vor allem dann, wenn man viele wichtige Menschen verloren hat, oft gerade an den Geburtstagen dieser Menschen, immer wieder mit der Frage konfrontiert sieht: „Was wäre eigentlich, wenn diese Menschen noch lebten?“ Dieser Lebensrückblick gewinnt demnach im Alter an Bedeutung, und infolgedessen können auch die posttraumatischen Belastungsstörungen zunehmen, die natürlich in allen Phasen des Lebens klinisch, psychologisch, psychopathologisch oder psychiatrisch wichtig sind. Sie sind zum Teil stark maskiert, zum Teil körperlich, zum Teil auch gekennzeichnet durch Wahnbilder oder Halluzinationen. Das wissen wir aus der Psychopathologie. Aus unserer Sicht werden diese posttraumatischen Belastungsstörungen im Alter deshalb noch einmal besonders bedeutsam, weil sie sich mit dem zentralen Motiv des Lebensrückblicks verbinden, dessen drei Ursachen ich gerade genannt habe. So haben uns Überlebende – ebenso wie Immigranten – erzählt, die Intensität der Bilder und Erinnerungen, vor allen aber deren Grad der Intrusion nehme im Alter noch einmal erheblich zu. Wir hatten einige Überlebende, überwiegend Überlebende der Vernichtungslager, die berichteten, sie hätten bisweilen den Eindruck, die Intensität der Bilder sei genauso stark wie zu dem Zeitpunkt, an dem sie den Qualen und dem Terror ausgesetzt gewesen waren. Andere erzählten, es könne durchaus vorkommen, dass sie abends in einem Sessel im Wohnzimmer säßen und zunächst an nichts Bestimmtes dächten, aber auf einmal draußen einen Gleichschritt hörten, etwa von vielen Menschen, die von irgendeiner Party oder aus dem Kino kämen, und dann glaubten, es handele sich um die SS. Die Gefahr einer solchen Intrusion von Erlebnissen und Bildern kann im Alter zunehmen, wenn auch nicht zwangsläufig. Man muss also für eine bestimmte Komponente eines solchen psychopathologischen Syndroms, wie man es eben nennt,

wenn man über posttraumatische Belastungssyndrome spricht, sensibel sein. Eine zweite Komponente ist die Hyperreagibilität, die etwa auftreten kann, wenn man in den Nachrichten hört, dass irgendwo ein Krieg ausbricht. Manche Menschen reagieren dann teilweise mit einer Hyperreagibilität, ein Symptom dafür, dass eine starke Verletzlichkeit vorliegt oder dass vorübergehend depressive Episoden auftreten, deren auslösendes Moment man nicht unmittelbar benennen kann. Im Zuge dieser depressiven Symptomatik wird dann jedoch bisweilen deutlich, dass die Betroffenen durch die Erlebnisse während der Shoah außerordentlich verletztlich geworden sind.

Aber das sind natürlich Aspekte von Verletzlichkeit, die man sehr ernst nehmen muss, die möglicherweise auch eine Intervention erfordern oder auslösen. Das rechtfertigt jedoch nicht die Aussage, alle Überlebenden, Häftlinge der Vernichtungslager oder Immigranten hätten so etwas erlebt oder zeigten so etwas wie ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Für einen Teil von ihnen gilt das gewiss, aber wir würden nicht sagen, dass damit die Gruppe der Überlebenden oder die Gruppe der Immigranten insgesamt präzise charakterisiert wäre. Natürlich sind wir im Rahmen unserer Studie auf Menschen gestoßen, bei denen uns sofort eine tiefe posttraumatische Belastungsstörung auffiel, auf Menschen, die zum Teil überhaupt nicht in der Lage waren, über ihre Erlebnisse und Erfahrungen zu sprechen, oder nur unter Tränen, Menschen, die sich mehr und mehr aus dem Interview zurückzogen. Aber das war, wie gesagt, nur ein Teil. Es ist daher in der Tat notwendig, sich einerseits für die spezifischen Bedingungen zu sensibilisieren, die das Alter auch mit Blick auf solche posttraumatischen Belastungsstörungen mit sich bringt, aber andererseits auch vorsichtig zu sein, hier nicht vorschnell zu verallgemeinern. Was wir aber keinesfalls vernachlässigen dürfen, ist die Tatsache, dass das hohe Lebensalter eine bedeutsame Komponente für den Lebensrückblick darstellt. Und der Lebensrückblick ist vielfach kein bewusst geführter, sondern einer, der sich der jeweiligen Person mehr und mehr – mit ganz bestimmten Themen, Erfahrungen, Erlebnissen – aufdrängt. Es ist nicht so, dass der Betreffende sich zurücklehnt und sagt: „Jetzt fange ich einmal an, in einer sehr rationalen Art und Weise Rückblick auf mein Leben zu halten.“ Es ist vielmehr so, dass einen dieser Lebensrückblick teilweise geradezu überfällt und damit zu einer bedeutsamen psychologischen Aufgabe wird, was mit den eben genannten drei Gründen zu tun hat. Dabei sind Eric Schmidt und ich durchaus der Ansicht, dass die Begleitung eines Menschen in einem solchen Lebensrückblick (und dazu gibt es sehr viele gute Erfahrungen und Literatur) eine bedeutsame psychologische und soziale Hilfe sein kann. Schließlich ist der Lebensrückblick, vielfach kein geführter, sondern einer, der in hohem Maße durch Erlebnisse oder Erfahrungen angestoßen wird, die man in

ihrer Fortwirkung in Psychen nicht so ohne weiteres kontrollieren kann.

Nun zu einem zweiten Punkt. Was uns – neben der Verarbeitung des Leids – am meisten beeindruckt hat, war das Element der Mitverantwortlichkeit. Wir sind in der Charakterisierung der Mitverantwortung als einer zentralen Haltung des Menschen stark von Hannah Arendt beeinflusst, die in ihrer eindrucksvollen, für die Politikwissenschaft konstitutiven Schrift *„Vita activa oder Vom tätigen Leben“* (in der amerikanischen Ausgabe: *„The Human Condition“*) sehr schön dargelegt hat, dass wir den Menschen als ein ‚zoon politicon‘ beziehungsweise die Menschen als ‚zoa politica‘, begreifen müssen – als politische Wesen, die in den öffentlichen Raum streben und diesen mitgestalten wollen. Menschen wollen nicht nur im Privaten bleiben – im *oikos*, sondern sie wollen in die *polis* eintreten, in den öffentlichen Raum, wo man miteinander spricht, sich austauscht, sich gegenseitig befruchtet, und möchten diesen mitgestalten. Wir fanden bei vielen Überlebenden der Shoah ebenso wie bei Immigranten ein zentrales Motiv: Wir wollen nicht – oder jedenfalls nicht ausschließlich oder primär – als Menschen angesprochen werden, bei denen ein psychopathologisches Syndrom vorliegt. Wer uns psychopathologisiert, so ihre Sichtweise, lädt uns gegenüber möglicherweise ein zweites Mal schwere Schuld auf sich. Denn das, was wir zeigen, ist ja nicht einfach nur Psychopathologie, sondern das Resultat einer historisch-politisch katastrophalen Entwicklung, die uns in schlimmste Zustände gebracht hat, so dass wir uns bisweilen wundern, dass wir sie überlebt haben: So die Stimme der Überlebenden der Vernichtungslager.

Aber das gilt auch für die Immigranten, die uns immer wieder sagten: „Glauben Sie nicht, dass eine Immigration etwas Leichtes gewesen wäre. In ein Land zu kommen, dessen Sprache man nicht beherrscht. In ein Land zu kommen, dass allein von den klimatischen Verhältnissen her Bedingungen stellt, die wir gar nicht gewohnt waren. In ein Land zu kommen, in dem wir komplett neue Berufe erlernen mussten, die in vollkommenem Gegensatz zu den Berufen standen, die wir früher ausgeführt haben. In summa, wir haben im Gefolge der Shoah etwas geleistet, und es ist ungerechtfertigt, dass man uns in der Öffentlichkeit als Leidende, Traumatisierte behandelt. Wir wollen, dass diese Lebensleistung ausdrücklich anerkannt wird.“

Diese Lebensleistung aber assoziiert sich häufig mit dem Begriff des mitverantwortlichen Lebens. „Wir haben etwas für die jeweilige Gesellschaft getan und wir wollen das im Alter auch tun.“ Nun kommt etwas Wichtiges: Das Alter ist für uns bereits laut gerontologischer Theorie eine sehr

bedeutsame Lebensphase. Nach dem Ausscheiden aus dem Beruf muss der Mensch lernen, mit einem möglicherweise nicht strukturierten, durch externe Verpflichtungen definierten Alltag umzugehen, und den Versuch unternehmen, diesen Alltag nun neu selbstverantwortlich zu gestalten. Wir haben in unserer Studie erfahren, dass dies nicht wenigen Menschen schwer fällt. Das gilt vor allem auch für Menschen, die beispielsweise in der Immigration oder auch nach der Rückkehr nach Deutschland Verantwortung übernommen haben. Sie sagen: „Wir waren sehr gut in Beruf und Familie eingepasst, hatten den Eindruck, hier wirklich mitverantwortlich handeln zu können. Aber als dann das Ausscheiden aus dem Beruf vollzogen werden musste, als dann die Kinder aus dem Haus waren und auch die Kontakte zu den Kindern und den Enkelkindern weniger wurden, merkten wir, wie schwer es ist, den Alltag in einer selbstverantwortlichen Art und Weise zu gestalten, und auch, wie schwer es sein kann, dies zu tun, wenn man in besonderer Weise psychisch verletzlich ist.“

Das zeigt, wie wichtig dieses mitverantwortliche Leben in der Hinsicht ist, dass Menschen in soziale Kontexte eingebunden sind. Doch es geht nicht nur um Integration, sondern vor allem auch darum, dass Menschen die Möglichkeit haben, diese sozialen Kontexte aktiv mitzugestalten. Das hörten wir immer wieder, und zwar nicht nur in Israel, sondern etwa auch in den Vereinigten Staaten. Es ist vielen ein großes Bedürfnis, beispielsweise in die Schulen zu gehen und mit nachfolgenden Generationen darüber zu sprechen, was der Einzelne dazu beitragen kann, dass das hohe Gut der Demokratie, der Freiheit, der Menschenwürde und des unbedingten Respekts vor der Würde des Einzelnen gewahrt bleiben.

In einer solchen Lebensweise, die wir als „mitverantwortliche Lebensführung“ bezeichnen würden, steckt ein großes Entwicklungspotenzial. Das hat Hannah Arendt in so bemerkenswerter Weise in ihrem Buch *„Vita activa oder Vom tätigen Leben“* zum Ausdruck gebracht. Gerade im öffentlichen Raum, wenn Menschen immer wieder aus dem Privaten herauskommen und die Möglichkeit haben, mit anderen Menschen zusammenzutreffen, sich mit ihnen auszutauschen, etwas weiterzugeben oder etwas aufzunehmen, gerade in diesem öffentlichen Raum liegt ein ganz großes Entwicklungspotenzial beschlossen: das Potenzial, Neues zu beginnen. Deshalb verwendet Arendt ausdrücklich den Begriff der „Natalität“, der Geburtlichkeit, um deutlich zu machen, wie sehr wir in der Kommunikation mit anderen Menschen auch neu werden können. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Erfahrungen

abstreifen, – was ja gar nicht geht, – sondern dass wir diese Erfahrungen möglicherweise in einen ganz anderen intergenerationellen Kontext hineinstellen. Jene jüdischen Bürgerinnen und Bürger, die wir befragt haben, sagten: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man an unserem Wissen, an unseren Erlebnissen, an unseren Lebenserfahrungen interessiert ist, und wir haben erlebt, dass daraus sozusagen eine gewisse Verantwortungsübernahme von uns im Sinne der Weitergabe von Erlebnissen und Erfahrungen liegt.“ Sie konnten mit der Situation im Alter – auch mit den traumatischen Erlebnissen – ungleich besser umgehen, diese auch ganz anders kommunizieren als andere, die sagten: „Wir haben den Eindruck, die Menschen sind überhaupt nicht an unseren Erlebnissen und Erfahrungen interessiert, wir haben bisweilen das Empfinden, dass man uns noch immer mit Reserviertheit, Skepsis, wenn nicht sogar mit Ablehnung begegnet, wenn deutlich wird, dass wir jüdische Bürgerinnen und Bürger sind.“

Damit wird deutlich, dass unsere Gesellschaft eine Verantwortung hat, die über die individuelle, fachlich und ethisch fundierte Begleitung weit hinausgeht. Es ist die Verantwortung, das Streben nach einem mitverantwortlichen Leben bei den Überlebenden der Shoah zu erkennen und Kontexte zu schaffen, in denen dieses Streben verwirklicht werden kann. Es geht ja noch einmal weit über das Individuelle hinaus, auch wenn dieses individuelle Begleitungselement für uns auch ganz wichtig ist – sei es ein therapeutisches oder eines, das auf eine Wahrhaftigkeit und Offenheit in der Kommunikation zielt, die dem anderen gestattet, mir zu schildern, was er erlebt oder erfahren hat, aber nicht nur aus der Perspektive der Pathologie, sondern so, dass sein Gesprächspartner bereichert oder sensibilisiert wird und ihm ein hohes Maß an Mitgefühl schenkt.

Ich würde gerne noch einen Perspektivenwechsel vornehmen. Die EVZ hat angeboten, eine Untersuchung in Russland, Weißrussland und der Ukraine zu fördern, in der es darum geht, die Frage zu beantworten, wie es um die psychische Situation jener Menschen bestellt ist, die als Zwangsarbeiter in Deutschland waren, oder derer, die nachher in der Sowjetunion interniert wurden, weil man ihnen Kollaboration mit Deutschland vorwarf. Das aber ermöglicht es außerdem, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich die Identität dieser Menschen in der Weise ausdifferenziert, dass sie etwas für nachfolgende Generationen tun, ihnen bedeutsames historisches Wissen weitergeben können. Wir haben nicht einfach nur die Frage gestellt, was

helfen kann, damit es ihnen besser geht, – das wäre uns viel zu naiv. Vielmehr ging es uns um eine Differenzierung der Identität. Wie ist es möglich, dass jemand zu dem Schluss kommen kann: „Ich bin nicht nur jemand, der sehr viel Leid in seiner Biographie erfahren hat, sondern zugleich jemand, der den Generationen und damit auch der Gesellschaft Bedeutsames weitergeben kann“?

Mit dieser Studie haben wir vor zweieinhalb Jahren begonnen. Wir haben sehr viele Analysen durchgeführt und verfügen mittlerweile über eine Stichprobe von weit über 500 Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen, die wir nicht nur intensiv untersuchen, sondern die wir auch miteinander ins Gespräch bringen, um beispielsweise den Generationenaustausch zu fördern. Dabei geht es um handlungsbezogenen Austausch, also darum, irgendetwas gemeinsam zu machen, etwa ein Theaterstück einzustudieren oder etwas zu lesen, aber auch um Austausch in der Hinsicht, dass man beispielsweise in der Schule sehr ausführlich darüber spricht, welche Erlebnisse und Erfahrungen Menschen gemacht haben und welche Bedeutung der Begriff der Freiheit, der Würde, des Respekts dafür hat, dass nachfolgende Generationen das Wiederaufleben von Diktaturen zu verhindern versuchen. Wir haben Gesprächskreise und Handlungskreise etabliert sowie eine Methode angewandt, die wir als „Mikrolängsschnittstudie“ bezeichnen. Dabei geht es darum, wirklich psychische oder soziale Veränderungsprozesse in ihrer Mikroperspektive zu erfassen. Wir haben die Ergebnisse sehr ausführlich ausgewertet und kommen eigentlich heute schon, obwohl das Projekt ja noch lange nicht abgeschlossen ist, zu einem bemerkenswerten Befund: Die Möglichkeit, nachfolgenden Generationen etwas weiterzugeben, mit jüngeren Menschen in einen offenen, wahrhaftigen Diskurs einzutreten, wird nicht nur von älteren Menschen, die selbst diese Schicksale während des Zweiten Weltkriegs, der Zeit des Nationalsozialismus und später dann im Kommunismus erlebt haben, als eine große Bereicherung empfunden, nämlich im folgenden Sinne: „Wir sind mitverantwortlich Handelnde, wir können nachfolgenden Generationen etwas geben.“ Auch jüngere Menschen empfinden es als bemerkenswert, welches historisches, persönliches und existenzielles Wissen die älteren Menschen besitzen, und erleben es als Bereicherung, wenn auf lokaler und kommunaler Ebene Kontexte und Möglichkeiten geschaffen werden, in denen dieser Austausch stattfindet.

Das bringt mich abschließend zu einer Theorie, die für Eric Schmidt und mich im Kontext der Gerontologie insgesamt sehr wichtig ist, aber gerade auch im Kontext unserer Fragestellung von Bedeutung zu sein scheint. Es geht um die Theorie der Generativität. Der Begriff der Generativität stammt aus dem Lateinischen („genus“ = das Geschlecht) und will zum Ausdruck bringen, dass jemand einen Beitrag für das Menschengeschlecht leisten möchte.

Das entspricht ganz dem, was in dem Briefwechsel zwischen Gotthold Ephraim Lessing und Moses Mendelssohn geschrieben steht. Was wir dort in der Auseinandersetzung dieser beiden Geistesgrößen finden, ist ein wunderbarer Beitrag zur Freundschaft, zu dem Anliegen, etwas für das Menschengeschlecht zu tun. Es ist kein Zufall, dass eine der bedeutendsten philosophischen und bildungsbezogenen Schriften Lessings den Titel „Die Erziehung des Menschengeschlechts“ trägt. „Generativität“ meint den Willen, der nachfolgenden Generation etwas zu geben an Wissen oder reflektierten Erfahrungen, sie zu motivieren, zu stimulieren und zu sensibilisieren. Nun wurde dieser Begriff zunächst von dem bedeutenden Psychoanalytiker oder Ich-Psychologen Erik H. Erikson in seine Entwicklungslehre integriert. Erikson vertrat die Auffassung, diese Generativität sei vor allen Dingen für den zweiten Teil unseres gesamten Lebenslaufes ein sehr wichtiges Motiv. Es gibt jedoch auch Kollegen, beispielsweise aus Großbritannien, die behaupten, man dürfe die Generativität nicht nur als ein persönliches Motiv konzeptualisieren, so als sei der Mensch von dem Motiv beseelt, von anderen gebraucht zu werden, symbolisch unsterblich zu werden, indem er in den folgenden Generationen fortlebt. Vielmehr verhalte es sich so, dass auch die Gesellschaft entsprechende kulturelle Skripta brauche. Das heißt: Wir brauchen kulturelle Erwartungshaltungen in dem Sinne, dass wir hoffen, wünschen oder auch erwarten, dass diese älteren Generationen ihr historisches, persönliches und existenzielles Wissen weitergeben. Wenn also gleichsam der kulturelle Rahmen geschaffen ist und mit dem inneren Wunsch oder Motiv korrespondiert, dann kann Generativität gelingen. Daher sind wir der Stiftung EVZ außerordentlich dankbar, dass sie uns nicht bloß die Möglichkeit bietet, die psychologischen Prozesse genauer zu untersuchen, die zur Generativität beitragen, und herauszufinden, was eine wahrhaftige, offene Kommunikation zwischen den Generationen in Gang zu setzen vermag, sondern uns auch dabei unterstützt, in den betreffenden Ländern für ein besseres Verständnis für die ehemaligen Zwangsarbeiter und von den Kommunisten Internierten zu werben. Es gilt, sie nicht nur als Menschen

zu betrachten, die Leid erfahren haben und mit schweren Belastungen konfrontiert waren, als Menschen, die dennoch heute ein selbstständiges und selbstverantwortliches Leben führen, sondern auch und zuallererst als Menschen, die politisch sind. Politisch im Sinne der alten Philosophie des Aristoteles, die von Hannah Arendt so schön in die Gegenwart übersetzt wurde. Politisch nämlich in der Hinsicht, dass sie den öffentlichen Raum mitgestalten, dass sie generativ sein wollen.

Wenn wir so argumentieren, dürfen wir nicht das hohe Maß an Vulnerabilität oder Verletzlichkeit bei Menschen übersehen, die Opfer schlimmster Formen der Diktaturen gewesen sind. Gewiss, Eric Schmidt und ich gehören einer Generation an, die den Nationalsozialismus nicht mit zu verantworten hat. Aber wir stehen in der Tradition eines Landes, das einen Völkermord begangen hat und dessen nachfolgende Generationen die große Aufgabe haben, die Erinnerung an das Geschehene wachzuhalten. Wir übersehen nicht, wie tief die depressiven Zustände sein können, wie ausgeprägt die Hyperreagibilität oder die Intrusion sein können, die Menschen in der Gegenwart immer wieder erfahren. Wir sind zudem der Ansicht, dass dies auch offen ausgesprochen werden muss, um deutlich zu machen, welche schlimmen Folgen die Diktatur, der Faschismus und der Antisemitismus für Menschen gehabt haben, deren gesamter Lebenslauf davon überschattet ist. Aber wir denken auch, dass wir uns mit unserem Bestreben, deutlich zu machen, welches Potenzial an mitverantwortlichem Leben und Generativität diese Menschen haben und in welchem Maße viele dieses Potenzial zu verwirklichen suchen, eine Bringschuld einlösen, die mit unseren Interviews und unseren Untersuchungen verbunden ist. Wir müssen der Öffentlichkeit deutlich machen, dass diese Menschen ein hohes Maß an Verantwortung für das Gelingen von Gesellschaft und Gemeinschaft spüren und auf diese Verantwortung angesprochen werden wollen. „Die Rede ist uns gegeben, dass wir nicht allein für uns nur sollen leben und fern von Menschen sein. Wir sollen uns befragen und sehen auf guten Rat, das Leid einander klagen so uns befallen hat.“ So schrieb im 17. Jahrhundert der große Königsberger Literaturwissenschaftler Simon Dach und betitelte diesen Vers mit dem Begriff „Freundschaft“.

Активная жизненная позиция как ВОЗМОЖНЫЙ ОТВЕТ НА ТРАВМАТИЗАЦИЮ

В рамках моего доклада я хотел бы коснуться двух аспектов этой темы. Во-первых, я хотел бы вкратце рассказать об исследовании, которое я проводил со своим коллегой Эриком Шмидтом. Речь идет о воспоминаниях людей о временах лагерного заключения, а также об опыте иммиграции пожилых или очень пожилых еврейских граждан - не только тех, кто доживает свой век в Германии, но и тех, кто живет в других странах мира. Во второй, более короткой части я хотел бы представить исследование, в котором я вместе с Эриком Шмидтом и другими коллегами из Института геронтологии рассматриваю вопрос, как именно бывшие работники принудительного труда из бывшего Советского Союза, угнанные на работы в Германию, смотрят на свое прошлое, а также на нынешнюю и будущую ситуацию. При этом речь идет об исследовании, которое непосредственным образом актуально для нашей аудитории, так как среди членов общин есть много выходцев из России, Беларуси и Украины - а это именно те три страны, которые мы исследуем наиболее интенсивно.

Сначала, однако, мне хотелось бы обратиться к первому исследованию, которое мы опубликовали в 2000 г. в виде монографии «Wir haben uns als Deutsche gefühlt. Lebensrückblick und Lebenssituation jüdischer Emigranten und Lagerhäftlinge».¹

С одной стороны, данное исследование посвящено жизненным воспоминаниям бывших интернированных или иммигрантов. С другой стороны, однако, ставится вопрос о том, как эти люди чувствуют себя сегодня, какую идентичность они имеют в старости, и как, собственно, выглядят их перспективы на будущее. Это исследование является результатом одной идеи, которая была сформулирована в конце 1980 года вместе с Эриком Шмидтом и представителями Генерального Ипотечного Банка здесь, во Франкфурте. Мы задали себе вопрос: существует ли необходимость развивать первичный психопатологический анализ выживших и иммигрантов и, кроме того, выработать подход к исследованию, каковы основные идентификационные признаки бывших узников лагерей смерти и иммигрантов, то есть, как эти люди сегодня в их возрасте и с их опытом видят их сегодняшнюю ситуацию и возможности для передачи опыта будущим поколениям. В-третьих, ставится вопрос

о том, как они понимают свое положение в качестве свидетелей и каков потенциал их пригодности для дачи свидетельских показаний и политической сенсбилизации молодого поколения. Конечно, нам - представителям Института геронтологии с его мощной междисциплинарной структурой - хорошо известны психопатологические перспективы. Мы хотели выйти за рамки психопатологии и обратиться к вопросу об идентификации, а также выяснить важность для переживших Шоа иметь возможность выступать как люди, имеющие уникальный исторический опыт и быть в состоянии передать его будущим поколениям.

Вот о каких предпосылках я бы хотел сказать, прежде чем углубиться в некоторые аспекты исследования: в принципе в ходе нашей работы с судьбами переживших Шоа и их способами обустроить свою жизнь, нам удалось создать основу теории возраста, которая в Федеративной Республике Германии и за ее пределами привлекает сегодня внимание. Фактически мы попытались показать, что выжившие не просто определяют себя, как люди, которые до старости представлялись или оставались лишь жертвами травматических переживаний, но и которые выявили, что они постоянно видят себя также в качестве людей, которые стремятся к публичному пространству и сами создают эту форму, поскольку хотят иметь активную жизненную позицию.

Они хотят взять на себя ответственность, потому что хотят рассказывать будущим поколениям о том, что им пришлось испытать в период национал-социализма, а иногда и до него, как они справились с этим опытом, насколько это только можно, и как важно, чтобы молодое поколение было осведомлено об опасностях нового антисемитизма и фашизма. Это стремление к активной жизненной позиции, связанное со знаниями этих людей, которые решили, что передача их опыта является для них моментом успешной общественной жизни, было для нас центральным моментом в ходе нашего исследования. Мы использовали это для дополнения теории возраста, в котором активная жизненная позиция играет важную роль.

У нас была возможность провести подробное интервью с 248 выжившими жертвами Холокоста. Среди них было 68 человек, выживших в лагерях смерти, а

также 180 иммигрантов, которые эмигрировали в три страны: Палестину, США и Аргентину. У нас имелись следующие причины сосредоточиться именно на этих трех странах: в то время, как Соединенные Штаты были основной целевой страной иммиграции, Палестина, а затем Израиль стали местом, с которым - не в последнюю очередь из-за преследований при национал-социализме - все больше и больше еврейских граждан идентифицировали себя в значительной степени, поскольку они считали, что развитие страны явится их ответом на катастрофические события и переживания. В Аргентине, напротив, была - как в культурном, так и в социальном плане - определенная близость к Германии, поскольку между Первой и Второй мировыми войнами в Аргентину была значительная эмиграция в связи с тем, что многие люди в период национал-социализма искали убежище. Многие, совершившие преступления в этот период, также эмигрировали в эту страну.

Мы имели возможность опрашивать 248 человек подробно, то есть не только в течение получаса, часа или двух, но иногда и на протяжении нескольких дней.

Эти интервью были тщательным образом подготовлены с помощью писем с обстоятельными разъяснениями, направленными в еврейские общины и дома престарелых. В письмах были изложены намерения нашего исследования и разъяснено, какие именно темы являются основной целью этих интервью. Учитывая, что мы всегда могли рассчитывать на содействие еврейских общин и еврейских домов престарелых, лишь минимальное количество людей - не более 17 - отклонили нашу просьбу об интервью, в основном сославшись на состояние здоровья. Мы сочли примечательным, что большинство людей, к которым мы обратились за интервью, были готовы разговаривать с представителями следующего поколения тех, кто причинил им все эти страдания. При этом вы должны себе представить - и вы наверняка знаете это из своей практики - что мы общались со многими людьми, которые не были готовы говорить по-немецки или должно было пройти относительно долгое время, прежде чем они начинали говорить по-немецки. Что нам стало ясно - это то, что люди откликнулись на наш главный мотив: они хотели, чтобы мы действовали не только как ученые, но и как представители последующих поколений страны, которую они любили и с которой они себя идентифицировали и доказали им, что сегодня Германия совсем не равнодушна к этой теме. Они хотели разговаривать с нами, как с представителями этого поколения из Германии, чтобы рассказать нам, как им живется сегодня и услышать от нас, какие

проблемные или позитивные сдвиги наблюдаются в Германии в настоящее время.

Вам следует также знать, что 180 человек из нашей полной выборки из 248 иммигрантов были разделены на две группы по 90 человек. В этих группах были те люди, которые уже в пожилом возрасте решили вернуться в Германию и которых мы интервьюировали и в Германии. Это были люди, которые вернулись в Германию из Аргентины, США или Израиля, на постоянное жительство либо, по крайней мере, для достаточно длительного пребывания. Остальные 90 человек, которых мы интервьюировали, были теми, кто остался в тех странах и в Германию возвращаться не собирался. Позвольте сделать несколько замечаний о ключевых наблюдениях и впечатлениях, полученных нами.

Первое впечатление скорее более наглядное. Я уже говорил, что эти интервью - за исключением большего числа тех, кто вернулся в Германию - часто проводятся не на немецком, а на английском языке. Это особенно относится к тем, кто жил в Соединенных Штатах. Первоначально мы задавались вопросом, какой же это был язык на самом деле, потому что это, как нам казалось, была смесь английского языка с вкраплениями немецкого. Почему люди разговаривали с нами, приехавшими из Германии, не на том языке, на котором они разговаривали всегда и которым они, в принципе, еще владели в совершенстве? Весьма примечательно, что эти интервью часами проводились на английском языке, а затем, когда нужно было привести примеры нынешнего или предыдущего эмоционального и аффективного состояния, то такие ситуации часто передавались с помощью примеров из немецкой литературы, и особенно немецкой поэзии и декламировались практически наизусть, причем в очень трогательной, замечательной, почти музыкальной манере.

Один пример надолго остался в моей памяти. Я помню, как один житель еврейского дома престарелых в Чикаго, который во время войны был интернирован в Освенцим, продекламировал мне замечательное стихотворение Рильке: «Круги моей жизни все шире и шире - надвещные - вещи суть. Сомкнули последний? Но, видя в мире суть, я хочу рискнуть. Покуда вокруг Господа, башни веков, не вскинется дней моих тьма... Не важно кто - сокол я, вихрь с облаков, высокий ли стих псалма».

У стихотворения была очень красивая мелодика, которая очень впечатляюще звучала на языке, даже в такой декламации. Затем внезапно последовал испуг от того, что зазвучал немецкий язык и он снова перешел на английский.

Еще один пример: одна дама рассказывала мне, что летом в Чикаго всегда проводится ряд концертов под открытым небом, и подчеркнула, что она хотела бы услышать Академическую праздничную увертюру Иоганна Брамса и после этого прочитала соответствующий текст на немецком языке. Я рассказываю вам об этом потому, что очень важно понимать, что даже и тогда, когда мы подробнейшим образом анализируем нынешнюю ситуацию этих людей, их идентичность является крайне важным элементом и в контексте этой идентичности Германия, как страна происхождения действительно играет главную роль, которая до старости очень важна, но в то же время амбивалентна и неопределенна. С одной стороны, есть связи с культурой, литературой, музыкой, исполнительским искусством или природой, но с другой стороны, постоянно присутствует опыт пережитых в этой стране преследований и мучений. Эта проблематика идентичности постоянно подтверждалась во время наших опросов и продолжает играть важную роль и в настоящее время.

Я уже говорил, что это расследование рассматривалось не только в аспекте психопатологии, но, конечно, нам хорошо известно, что именно в пожилом возрасте наблюдаются посттравматические стрессовые расстройства, которые коллеги в области психосоматической медицины и психиатрии, с которыми мы очень тесно сотрудничаем, теоретически и эмпирически исследовали и подробным образом описали. В пожилом возрасте тяга оглянуться на прожитую жизнь становится сильнее. Это связано с тем, что активизируется все больше и больше то, что мы называем долгосрочной памятью, в то время как краткосрочная память и способности для ее реализации становятся слабее. Вследствие этого возрастает важность долгосрочной памяти и, конечно, тех событий и того опыта, которые были определяющими на предыдущих стадиях жизни.

Но это только одна причина. Второй причиной является то, что перед лицом своей тленности и ожидаемого умирания и смерти, вопрос «Что собственно представляет твоя жизнь в полном виде?», занимает все больше и больше места. При этом речь идет о мотиве, который, согласно ведущим психологам развития, в старости играет все более важную роль. Затем, наконец, появляется третья причина, когда выживший, потерявший много очень значимых для него людей, как раз в дни рождения этих людей сталкивается с вопросом: «Что бы было, если эти люди были еще живы?» Этот «флэшбэк» приобретает все большее значение в старости, и в результате могут также усиливаться

посттравматические стрессовые расстройства, которые, конечно, на всех этапах жизни являются с клинической, психологической, психиатрической или психолого-патологической точек зрения очень важными. Они часто сильно замаскированы, частично физически, частично бредом или галлюцинациями. Нам знакомо это из психопатологии. На наш взгляд, эти посттравматические стрессовые расстройства в пожилом возрасте еще более значимы, поскольку они связываются с центральным мотивом жизненных воспоминаний: о трех причинах я уже говорил ранее. Поэтому выжившие, также как и иммигранты рассказывали нам, что интенсивность образов и воспоминаний и прежде всего степень вторжения с возрастом значительно усиливаются.

У нас были некоторые выжившие, в основном, пережившие лагерь смерти, которые рассказывали, что у них подчас создавалось впечатление, что интенсивность образов так же сильна, как в то время, когда они подвергались пыткам и террору. Другие рассказывали, что когда они сидели в вечернее время в кресле в гостиной и в принципе ни о чем конкретном не думали, но слышали за окном мерный шаг большого количества людей, которые шли с какой-нибудь вечеринки или из кинотеатра, они представляли себе, что за окнами марширует СС. Опасность такого вторжения переживаний и образов с возрастом может возрастать, хотя и не обязательно.

Необходимо быть чувствительным к определенным компонентам такого психопатологического синдрома, как его еще называют, когда говорят о посттравматическом стрессовом синдроме. Вторым компонентом является гиперреактивность, которая может возникать, когда человек слышит в новостях, что где-то началась война. Некоторые люди реагируют на это с гиперреактивностью, верным признаком, что существует сильная уязвимость, или происходят временные депрессивные эпизоды, начальный момент которых не всегда удается определить. При депрессивных симптомах такого рода становится понятным, что те, о котором идет речь, чрезвычайно уязвимы из-за того следа, который оставила Шоа.

Но, уважаемые дамы и господа, именно аспекты уязвимости, к которым мы должны отнестись очень серьезно, могут вызвать или потребовать вмешательство. Тем не менее, это не оправдывает утверждения, что все пережившие лагерь уничтожения или иммигранты пережили что-то подобное или индицируют что-то вроде посттравматического стрессового синдрома. Для части из них, конечно так оно на самом деле и есть, но я бы не сказал, что это могло

бы точно характеризовать всю группу переживших Шoa и группу иммигрантов. Конечно, мы столкнулись в нашем исследовании с людьми, у которых мы сразу заметили глубокие посттравматические стрессовые расстройства, с людьми, которые совсем были не в состоянии рассказать о своем опыте и событиями, которые с ними произошли, или могли это сделать только в слезах, с людьми, которые во время интервью все больше и больше хотели из него выйти. Но это была, как я уже говорил, только одна часть. Поэтому необходима, на самом деле, с одной стороны, сенсбилизация специфических условий, которые возраст приносит особенно в свете посттравматических стрессовых расстройств, но с другой стороны мы должны быть осторожными, чтобы не допустить опрометчивых обобщений. Мы ни в коем случае не должны относиться небрежно к тому факту, что пожилой возраст является одним из самых значимых компонентов для ретроспекции. И эта ретроспекция часто оказывается не сознательной, а такой, которая все чаще и чаще навязывается человеку с вполне определенными темами, опытом и событиями. Это совсем не означает, что человек расслабляется и говорит: «Теперь я начинаю оглядываться на свою жизнь и буду делать это очень рационально».

Это, скорее, так, что один из этих обзоров жизни может быть доминантным и, следовательно, становится важной психологической задачей, что имеет отношение к вышеупомянутым трем причинам. В этом случае Эрик Шмидт и я безусловно считаем, что сопровождение человека с такой ретроспекцией (к этому имеется очень много хорошего опыта и литературы) может быть важной психологической и социальной помощью. В конечном счете ретроспекция, хочется подчеркнуть еще раз, является процессом не управляемым, а таким, который возникает в значительной степени за счет событий или опыта, которые человек в их развитии в психике не в состоянии просто так контролировать.

Теперь я перейду ко второму пункту. То, что нас – наряду с переработкой страданий – впечатлило больше всего, был элемент активной жизненной позиции. Я уже в начале сделал наброски, как мы ее понимаем. При характеристике активной жизненной позиции как основной позиции людей на нас оказывает сильное влияние Ханна Арендт в своей влиятельной, определяющей для политологии работе «Vita activa, или о деятельной жизни» (в американском издании: «Ситуация человека»), которая очень хорошо высветила, что мы должны понимать людей, как «общественное существо» или как «общественные

существа» - как политические существа, которые стремятся к публичному пространству и хотят участвовать в его устройстве.

Люди не хотят оставаться лишь в рамках частной жизни - в ойкос, они хотят войти в полис, в публичное пространство, где люди общаются друг с другом, обмениваются мнениями, взаимно обогащают друг друга, и хотят принимать участие в его формировании. Мы обнаружили и у многих людей, переживших Шoa, и у иммигрантов один мотив – «мы не хотим, или по крайней мере чтобы это было не исключительно или главным образом – чтобы нас рассматривали как людей, у которых есть психопатологический синдром. Те, кто пытается их психопатологизировать, по их мнению, во второй раз взваливает на себя тяжелое чувство вины. Поскольку то, что мы показываем, не является только психопатологией, а, скорее, результатом катастрофического исторического и политического развития, поставившего нас в такие тяжелейшие условия, что мы иногда задаемся вопросом, как вообще удалось все это пережить. Это голос тех, кто пережил лагерь уничтожения».

Но это также относится и к иммигрантам, которые говорят нам снова и снова: «Не думайте, что иммиграция была чем-то легким. Приехать в страну, на языке которой ты не говоришь. Приехать в страну с климатическими условиями, к которым ты не привык. Приехать в страну, в которой ты должен осваивать совершенно новую профессию, совершенно отличающуюся от профессии, в которой работал раньше. Таким образом, мы что-то сделали после Холокоста, и это несправедливо, что в общественном мнении нас представляют лишь как страдающих и травмированных. Мы хотим, чтобы наша жизнедеятельность была однозначно принята».

Эта жизнедеятельность, однако, часто ассоциируется с понятием активной жизненной позиции. «Мы уже сделали кое-что для тогдашнего общества, и мы хотим сделать это в старости». Сейчас очень важный момент: согласно геронтологической теории пожилой возраст для нас - очень важный этап жизни. После ухода из профессиональной жизни человек должен научиться справляться с вероятно неструктурированной, определяемой внешними обязательствами повседневной жизнью, и попытаться сделать эту новую жизнь самостоятельной и ответственной. В нашем исследовании мы узнали, что немало людей испытывают с этим трудности.

Это особенно относится к людям, которые, например, в иммиграции или после возвращения в Германию взяли на себя ответственность. Они говорят: «Мы прекрасно вписывались в рабочую и семейную жизнь, и у нас было впечатление, что мы можем действовать здесь ответственно. Но когда настало расставание с профессиональной деятельностью, когда дети покинули дом, и контакты с ними и внуками стали реже, мы поняли, как трудно самостоятельно и ответственно обустроить повседневную жизнь, а также, насколько трудно это делать, когда человек по-особому уязвим психологически».

Это свидетельствует о том, насколько важна активная жизненная позиция в смысле участия людей в социальном контексте. Тем не менее, речь идет не только об интеграции, но прежде всего о том, чтобы люди имели возможность принимать активное участие в этих социальных контекстах. Мы слышали об этом постоянно, и не только в Израиле, но и в Соединенных Штатах. Для многих существует большая потребность, пойти, например, в школы и поговорить с будущим поколениям о том, как каждый человек может внести вклад в великое благо демократии, свободы, человеческого достоинства и сохранить при этом безусловное уважение достоинства личности отдельных людей.

В таком образе жизни, который мы описали бы как «активная жизненная позиция», скрыт большой потенциал для развития. Ханна Арендт выразила это таким замечательным образом в своей прекрасной книге «Vita activa, или о деятельной жизни». Именно в публичном пространстве, куда люди приходят из своей частной жизни и имеют возможность встретиться с другими людьми, поговорить с ними, поделиться чем-то, что-то взять и что-то получить, очень велик потенциал рождения чего-то нового. Потому Арендт пользуется именно термин «Natalität», рождаемость, чтобы было понятно, насколько мы можем теперь быть в контакте с другими людьми. Это не означает, что мы избавляемся от нашего опыта - что в принципе и невозможно - а что мы можем перенести этот опыт в совершенно другой контекст опыта различных поколений. Те еврейские граждане, которых мы опрашивали, говорили: «Мы пришли к выводу, что люди заинтересованы в наших знаниях, нашем прошлом, нашем опыте жизни, и мы испытали чувство, что на нас лежит определенная ответственность в смысле обмена опытом и знаниями о прошлом». Они могли совладать со своей ситуацией в старости - даже с травмируемыми событиями - гораздо лучше, а также совершенно по-другому общались в отличие от людей, которые говорили:

«У нас складывается впечатление, что люди вовсе не являются заинтересованными в нашем опыте и нашей истории, и у нас есть ощущение, что нас все еще встречают с отчужденностью, скептицизмом, если даже не отрицанием, когда выясняется, что мы еврейские граждане и гражданки».

Отсюда ясно, что наше общество несет ответственность, которая выходит далеко за рамки индивидуального, профессионального и этически обоснованного сопровождения. Это ответственность признать у переживших Шoa стремление к активной жизненной позиции и к созданию условий, в которых это стремление может быть реализовано. Это уходит далеко за пределы личности, даже когда этот отдельный элемент сопровождения для нас тоже очень важен - будь он терапевтическим или таким, который направлен на правдивость и открытость в общении, которые позволяет другим описать мне то, что он видел или пережил, но не только с перспективы патологии, но и так, что его собеседник становится обогащенным или сенсibilизированным и наделяют его высокой степенью способности разделить совместные переживания.

Я бы хотел еще раз сменить ракурс. Я был очень впечатлен тем, что генеральный директор EVZ, господин Сальм, который вчера выступал на открытии конференции с вступительным словом - сказал, что он был чрезвычайно рад, когда его однажды попросили прочитать в Берлине доклад об активной жизненной позиции, и он в этой связи определенно сослался на нашу работу по Шoa. Затем он подошел ко мне и сказал: «Господин Крузе, в настоящее время мы занимаемся вопросом о том, что происходит в психологическом плане с людьми, которые живут в России, Белоруссии и Украине и во время войны были угнаны на принудительные работы в Германию. Но мы также задаем вопрос о том, как чувствуют себя люди, которые при Сталине были интернированы в лагеря ГУЛАГа, в том числе из-за обвинения в сотрудничестве с немцами». Затем он добавил: «Возможно, мы можем сделать эту перспективу сильнее, когда, с одной стороны, не будем уходить от психической травматизации и ее последствий, а с другой стороны, мы зададимся вопросом: не должны ли мы к этому людям обращаться совершенно по-другому, а именно - в публичном пространстве, в полисе?» Это восхитило нас. Я спросил моего коллегу Эрика Шмидта, может ли он себе это представить, и он ответил: „Несомненно. Это была бы на самом деле очень хорошая попытка, аспекты и соображения нашего исследования относительно понимания ситуации перенести в совершенно другой

исторический контекст, даже если человеческие судьбы сравнивать между собой невозможно».

А затем EVZ предложил финансировать исследования в России, Беларуси и на Украине, в которых речь идет об ответе на вопрос, как же обстоит дело с психологической ситуацией тех людей, которые были на принудительных работах в Германии, или тех, кто впоследствии были интернированы в Советском Союзе из-за обвинений в сотрудничестве с Германией. Это также дает нам возможность внести свой вклад в то, чтобы соответствующим образом дифференцировать личности этих людей, чтобы они сделали что-нибудь для будущих поколений, и смогли передать им свои значительные исторические знания. Мы не просто попросили их ответить на вопрос, что может помочь им чувствовать себя лучше - это было бы слишком наивно. Речь, скорее, шла о дифференциации идентичности. Как это возможно, чтобы кто-то смог прийти к выводу: «Я не просто тот, кто пережил много страданий в своей жизни, но и тот, кто может передать свой опыт и знания поколениям и обществу»?

Это исследование мы начали два с половиной года назад. Мы провели очень много обследований и теперь у нас есть выборка из более чем 500 человек в разных возрастных группах, которые мы не только интенсивно изучаем, но и также объединяем их в группы с тем, чтобы они разговаривали друг с другом для создания определенного обмена между людьми различных поколений. Это включает в себя не только желание сделать что-то вместе, как, например, репетировать театральную постановку или что-то совместно читать, но и обмен в том смысле, что человек очень подробно расскажет, например, в школе, о своем опыте и переживаниях и какое значение имеют понятия свободы, достоинства, уважения для того, чтобы последующие поколения пытались не допустить больше возрождения диктатур. Мы создали дискуссионные группы и группы действий и использовали метод, который мы называем «микрлонгитюдное исследование». Цель состоит в том, чтобы зарегистрировать реальные психологические или социальные процессы изменения в их микроперспективе. Мы проанализировали результаты в мельчайших подробностях и уже сегодня, несмотря на то, что исследование еще не закончено, можем сделать достойный внимания вывод: возможность передачи опыта и знания будущим поколениям в открытом, правдивом дискурсе, воспринимается как обогащение не только пожилыми людьми, которые пережили свою судьбу во время Второй мировой войны, в период национал-социализма, а позднее и коммунизма, а

именно в следующем смысле: «Мы действующие лица с активной жизненной позицией, мы можем дать что-то будущим поколениям». Молодые люди также признают значительным то, какими историческими, личными и экзистенциальными знаниями обладают пожилые люди, когда на местном и муниципальном уровне создаются контексты и возможности для проведения такого рода обмена.

Это подводит меня, наконец, к теории, которая для Эрика Шмидта и для меня очень важна в целом в общем контексте геронтологии и особенно в контексте нашей постановки вопроса о значении. Речь идет о теории генеративности. Концепция генеративности происходит от латинского (*genus* = «пол»), и отражает желание внести свой вклад на благо человечества.

Это вполне соответствует тому, чему посвящена замечательная переписка между Готхольдом Эфраимом Лессингом и Мозесом Мендельсоном. То, что мы находим в противостоянии этих двух мыслителей, является замечательным вкладом в дружбу, в желание сделать что-нибудь для человеческого рода. Это не случайно, что один из основных философских и образовательных трудов Лессинга вышел под названием «Воспитание человеческого рода». «Генеративность» означает решимость передать следующему поколению свои знания или опыт, чтобы их мотивировать, стимулировать и сенсублизировать. Этот термин был впервые использован выдающимся психоаналитиком или эго-психологом Эриком Х. Эриксоном в его теории развития личности. Эриксон придерживался мнения, что генеративность является очень важным мотивом прежде всего для второй половины всего нашего жизненного пути. Тем не менее, есть и коллеги, как, например, из Великобритании, которые полагают, что генеративность не следует концептуализировать только лишь как личный мотив, как будто бы человек вдохновлен мотивом, когда его используют другие, и он символически становится бессмертным, продолжая жить и в последующих поколениях. Скорее всего, это выглядит таким образом, что общество нуждается в соответствующих культурных сценариях. Это означает: нам необходимы культурные ожидания в том смысле, что мы надеемся, хотим или также ожидаем, что эти старшие поколения свои исторические, личные и экзистенциальные знания передадут дальше. Если таким образом создаются как бы культурные рамки, соответствующие внутреннему желанию или мотиву, то можно говорить об успехе генеративности.

Поэтому мы чрезвычайно благодарны EVZ, что он не только дает нам возможность точнее изучить психологические процессы, которые способствуют генеративности, но и выяснить, что может привести в движение открытое, искреннее общение между поколениями и как это поможет нам добиться лучшего понимания бывших подневольных работников и людей, интернированных коммунистами. Это означает, что мы рассматриваем этих людей, которые испытали горе и были вынуждены сталкиваться с тяжелыми нагрузками, как людей, которые, тем не менее, сегодня ведут независимую и деятельную жизнь, и в первую очередь, как людей, которые политизированы. Политизированы в смысле старой философии Аристотеля, которая была так изящно переведена в настоящее время Ханной Арендт. Политизированы именно в том смысле, что эти люди помогают формировать общественное пространство и хотят быть генеративными.

Заканчивая, хочется отметить, что если мы приводим такую аргументацию, то мы не должны упускать из виду высокую степень уязвимости людей, которые являются жертвами самых страшных форм диктатуры. Конечно, Эрик Шмидт и я принадлежим к поколению, которое не отвечает за деяния эпохи национал-социализма. Но мы находимся в стране, совершившей геноцид и чьи последующие поколения имеют важнейшую задачу сохранить память о том, что произошло. Мы не можем не замечать, какими глубокими могут быть депрессивные состояния, как явно могут быть выражены гиперреактивность или отклонения, которые люди сегодня испытывают вновь и вновь. Мы также считаем, что об этом следует говорить открыто, чтобы наглядно показать, какие страшные последствия имели диктатура, фашизм и антисемитизм для людей, в жизни которых они имели место быть. Но мы также думаем, что в наших силах сделать наглядным имеющийся потенциал и генеративность и тот масштаб, с которым многие люди пытаются реализовать многое из этого потенциала и оплатить долг, связанный с нашим интервью и нашими исследованиями.

Мы должны ясно дать понять общественности, что эти люди чувствуют высокую степень ответственности за успех общества и сообщества и хотят, чтобы к ним обращались за этой ответственностью. «Мы мы не должны жить только для себя, в одиночку и быть вдали от людей. Мы должны задавать себе вопросы и сообщать друг другу, о страданиях, постигших нас». Так писал в XVII веке великий кенигсбергский литературный критик и профессор литературы Симон Дах, который назвал этот произведение словом

«дружба». И это как раз то слово, который обязательно должно принадлежать нашей дискуссии – вполне в духе активной жизненной позиции в генеративности.

Verletzte Helfer

Ich möchte meinem Beitrag eine Bemerkung darüber voranstellen, wie es zu der Studie gekommen ist, deren Ergebnisse ich in dem Buch *„Verletzte Helfer. Umgang mit dem Trauma: Risiken und Möglichkeiten sich zu schützen“* (2009) veröffentlicht habe. Ich habe selbst fast zwanzig Jahre lang in Einrichtungen für traumatisierte Flüchtlinge gearbeitet und in einem internationalen Netzwerk Einblicke in Institutionen auf der ganzen Welt gewonnen, die sich mit dem Thema Trauma befassen. Dabei handelt es sich um Behandlungseinrichtungen, die psychotherapeutisch, sozialarbeiterisch und ärztlich arbeiten. Mir ist zudem während meiner Tätigkeit in meiner eigenen Organisation aufgefallen, dass es innerhalb dieser Teams doch sehr viele Spannungen und Konflikte gibt, sehr viel Stress, sehr viel Burnout. Ich bin Menschen begegnet, die die Arbeit nach einiger Zeit wieder aufgeben, weil sie diese Spannung einfach nicht aushalten.

Ich habe dann im Rahmen eines Forschungsprojekts, das von der Hamburger Reemtsma-Stiftung finanziert wurde, versucht, dieser Erscheinung auf den Grund zu gehen. Weil ich in verschiedenen Einrichtungen immer wieder auf ähnliche Phänomene gestoßen bin, habe ich eine Untersuchung in 13 verschiedenen Institutionen weltweit durchgeführt und dabei 72 Helfer ausführlich interviewt. Es waren Psychologen, Sozialarbeiter, Ärzte, Dokumentare, Menschen, die nur in der Öffentlichkeitsarbeit tätig waren, sich jedoch auch mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Auch Supervisoren, die solche Einrichtungen betreuen, waren Gegenstand meiner Untersuchung. In diesem Zusammenhang habe ich Muster herausgefiltert, die erklären, was in diesen Einrichtungen eigentlich genau passiert und welche Dynamik innerhalb dieser Teams herrscht.

Ich habe herausgefunden, dass sich gemeinnützige Einrichtungen im karitativen Bereich, um die es sich ja hier handelt, durch etwas Typisches auszeichnen. Sie sind meist von charismatischen Persönlichkeiten mit einer Vision gegründet worden, und in den Aufbaujahren, also in der Pionierphase, überwiegt der Idealismus, man ist erfüllt von einer Mission, alle ziehen an einem Strang, es herrscht ein familiär-kameradschaftliches Klima. Das kollektive ‚Du‘ suggeriert Nähe und Vertrautheit, es herrschen vorwiegend informelle Arbeitsbeziehungen, alles wird im Team diskutiert und entschieden, es muss permanente Beziehungsarbeit geleistet werden. Damit hängt ein eher improvisierter ad-hoc Arbeitsstil zusammen, es geht

locker zu, und Konflikte werden familiär-kompromisshaft geglättet. Diese Struktur herrscht in der Aufbauzeit vor, die ich auch als „Honeymoon“ bezeichne, weil sie so etwas von einer Hochzeitsreise hat. Alle sind happy, alle sind unheimlich erfüllt, voller Energie und Elan. Diese Struktur kann wunderbar funktionieren, solange die Hochzeitsreise dauert, aber leider ist sie ja irgendwann zu Ende, und dann tritt der Alltag ein.

Was ich hier beschrieben habe, sind die typischen Strukturmerkmale von Nonprofit-Organisationen, wie sie von der Soziologin Ruth Simsa herausgearbeitet worden sind, unter anderem in ihrem Buch *„Gesellschaftliche Funktionen und Einflußformen von Nonprofit-Organisationen. Eine systemtheoretische Analyse“* (2001). Das Besondere an Nonprofit-Organisationen besteht darin, dass sie immer mit etwas zu tun haben (etwa mit Unrecht, Leid und Missständen in der Welt), was grenzenlos und praktisch nie ganz zu bewältigen ist. Die Ziele werden daher auch nie ganz erreicht, und deshalb übersteigt die Arbeitslast der Mitarbeiter immer die personellen und finanziellen Ressourcen. Das heißt, man wird nie fertig, man hat immer das Gefühl, nicht genug getan zu haben. Das ist ein enorm hoher moralischer Anspruch. Manche meiner Interviewpartner haben das unter dem Stichwort „Wir leiden alle an einem Märtyrerkomplex“ zusammengefasst. Es herrscht also ein hoher Grad an Selbstaufopferung, bis zum „Workaholismus“ – bis zur Arbeitssucht. Das kann so starke Formen annehmen, dass Leute bis spät in die Nacht hinein oder an Wochenenden arbeiten, dass sie zum Teil ihren Jahresurlaub gar nicht voll nehmen, einfach weil der moralische Druck so hoch ist. Man will den Menschen helfen, denen es so schrecklich ergangen ist, man will Gutes tun und wird doch nie damit fertig, und deswegen überfordert man sich selbst permanent. Das wird in den Zitaten meiner Interviewpartner deutlich, etwa wenn einer sagt: „Ich trage die Welt auf meinen Schultern“, – so wie die Atlas-Allegorie aus der griechischen Mythologie. Oder ein Anderer sagt: „Ich wurde zu einer Mutter Theresa.“ In vielen Interviews habe ich dieses „Mutter-Theresa-Gefühl“ entdeckt, und die folgenden Zitate aus einigen Gesprächen ließen sich unter der Überschrift „Narzisstische Größen- und Retterfantasien“ zusammenfassen: „Wir sind hier etwas Besonderes. Niemand macht so eine Aufgabe wie wir.“ „Wir waren überdurchschnittlich narzisstisch, irgendwie beschäftigt.“ Das sind alles Helfer, die hier sprechen: „Wir sind so eine Art Elite der Gutmenschen. Da kam so viel Wertschätzung von der Öffentlichkeit rüber: Das ist toll,

was ihr da macht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ein Erleuchteter bin, so ein Gefühl von Stolz.“ Oder ein Kollege sagt etwas über einen anderen: „Vielleicht fand er, dass er etwas Fantastisches werden konnte wie Mutter Theresa, ein guter Samariter, der Retter der Welt.“ Auf Grund des enormen Leids und massiven Unrechts, mit dem man konfrontiert ist, findet man in diesen Einrichtungen vielfach eine starke Identifizierung mit den betreuten Patienten und Klienten. Hier einige Zitate zu diesem Thema: „Ich muss die Spannung aushalten, die durch diese extreme Position von Opfer und Täter entsteht. Es gibt einen starken Identifikationsdruck mit den Opfern. Ich kann dem gar nicht entgehen.“ Oder: „Wir waren alle eigentlich recht überidentifiziert. Wir haben die Klienten rückblickend in Watte gepackt.“ Oder ein anderes Zitat: „In der ersten Zeit waren wir eindeutig auf der Seite der Opfer. Die Opfer sind gut und die Täter sind schlecht. Heute würde ich sagen, auch die Opfer haben ihre Macht.“

Es gibt ein weiteres typisches Phänomen, das alle verbindet, die im humanitären Bereich arbeiten, – nämlich eine gemeinsame Ablehnung jeglicher hierarchischer, missbräuchlicher Macht. Das ist sehr verständlich. Man hat es ja in Diktaturen und bei den Tätern von Menschenrechtsverletzungen mit Menschen zu tun, die ihre hierarchische Stellung und ihre Macht missbrauchen und die in diesem Zusammenhang furchtbare Dinge tun. Dieses Wissen eint die Menschen, die in solchen Organisationen arbeiten, so dass sie sich überhaupt gegen jegliche Formen von Hierarchie und Macht wenden. Ich zitiere: „Der Kampf gegen Hierarchie ist das Motiv für die Mitarbeit in humanitären Organisationen.“ Oder: „Wir haben uns ein Team von geplagten, sehr wohlmeinenden und auch kompetenten Menschen zusammengebaut, denen es aber in diesem Machtapparaten ein Stück weit übel ergangen ist. Wir sind so ein bisschen die Outlaws in diesem Gebiet, die aber durchaus das Herz auf dem rechten Fleck haben.“ Eine weitere Stimme: „Das Hauptanliegen war, nichts mehr zu erleben, was uns kontrolliert, sondern alles selbst in der Hand zu haben. Wir sind so etwas wie die Wachsamten in der Gesellschaft, wir müssen alternativ und anders sein.“ Ich komme nun noch einmal auf die soziologischen Studien von Ruth Simsa und anderen über Nonprofit-Organisationen zurück, die meine Ergebnisse zum Teil untermauern oder auch von einer anderen Perspektive her beleuchten. Diese Studien diagnostizieren bei Mitarbeitern solcher Organisationen eine Haltung, der zufolge alles, was mit Organisation und Management zu tun hat, „die böse Welt da oben“ ist. Das ist gleich Bürokratie und Entfremdung. Außerdem wird, wie schon gesagt, Hierarchie mit Unterdrückung und Tyrannei gleichgesetzt. Jegliche Form von Leitung in einer Einrichtung erscheint als Tyrannei, und Regeln bedeuten dann Zwang und Verlust an Autonomie sowie eine Einschränkung der Freiheit. Auch

Regeln werden also als etwas Unterdrückendes erfahren. Auf diese Weise entsteht so etwas wie ein Gegensatz zwischen „kaltem Management“ und dem heißen Herzen des Engagements für das Gute. Deshalb gibt es auch häufig Widerstand gegen die Forderung von Qualitätsnachweisen seitens der Förderer oder Aufsichtsbehörden. Da tun sich viele Organisationen sehr schwer und geben zu verstehen, dass letztere sowieso nichts davon verstehen: „Wir machen hier eine gute Sache. Das geht keinen etwas an, – sie sollen aufhören, uns in die Karten schauen zu wollen.“ Lassen Sie mich ein Bild benutzen, das in den Interviews mit den Mitarbeitern einer Einrichtung begegnete, die nach einer schweren, konflikthaften Phase die Hilfe eines Team-Supervisors, eines Organisationsberaters, gesucht hat. Mehrere im Team beschrieben die Situation ihrer Einrichtung mit einem Schiff ohne Steuermann auf stürmischer See.

Im folgenden Fall handelt es sich um einen Helfer, der eine Leitungsfunktion inne hatte. Er beschrieb in dem ausführlichen Interview die Konfliktkultur in seiner Organisation als für ihn als Leiter überaus belastend. Am schwierigsten war vor allem das Ungewisse und Unberechenbare. Es gab ständig irgendwelche Spaltungen im Team, Grabenkämpfe gegeneinander, und er musste stets unter den Bedingungen unberechenbarer Konflikte arbeiten. Er sagte: „Ich wusste, wenn ich morgens zum Dienst kam, nicht, woher heute der nächste Hieb kommen würde. Von welcher Seite bekomme ich wieder eine rein?“ Er erlebte das als äußerst belastend und sah es als eine Parallele zum Erleben seiner Klienten. Das aber war für mich ein Schlüssel, weil es mich auf eine andere Fährte geführt hat, die ich gleich noch ausführen werde. Ich zitiere hier diesen Interviewpartner:

„Die Klienten beschreiben, was im Verhörraum passiert“ (er meinte Menschen, die im Gefängnis waren und dort misshandelt wurden), „vor allem aber die Zeit dazwischen, das Gefühl, nicht zu wissen, wann kommt er, der Peiniger, der Wächter, wann kommt er wieder, wie wird er anfangen, in welchem Raum wird es sein, werde ich mich schützen können, werde ich mich nicht schützen können? Die Zeit dazwischen ist das Schlimmste. Dieses Warten, diese Ungewissheit.“

Das hat mich auf die Spur der Erkenntnis gebracht, dass offensichtlich in diesen Teams, in diesen Einrichtungen, etwas stattfindet, das man als Reinszenierung der traumatischen Situation in der Gefängniszelle deuten kann, die die Klienten während der Haft oder während der Verfolgung erlitten haben. In diesem Interview habe ich einige Elemente gefunden, die mich alle auf diese Fährte geführt haben. Das gilt insbesondere für solche Einrichtungen, in denen ein sehr hoher Stress- und Konfliktpegel herrscht. Hinweise auf solche Erscheinungen habe ich in mehreren

Interviews immer wieder gefunden, etwa die Furcht vor der Gegenwart von Spitzeln und Geheimdiensten, wechselseitige Verdächtigungen, mit einem repressiven Regime unter einer Decke zu stecken, oder das Phänomen, dass die Helfer sich von anderen Helfern verfolgt fühlen, dass man überall Feinde wittert, dass man in Kollegen Gegner sieht, die einem irgendwie ans Leder wollen. Charakteristisch sind auch die starken Spaltungstendenzen und die Tatsache, dass das Gegenüber in Konflikten oder Debatten sehr schnell in die Täterrolle gesteckt wird, oder aber, dass man den anderen zum Opfer macht, dass man überhaupt den anderen ständig in diesen Täter- und Opferkategorien sieht und dass sehr viel Misstrauen, Angst und Aggressionen herrschen. Dazu kommt ein gewisses Besessen- und Fasziniert-Sein von Gewalt-Themen. Das zeigt sich darin, dass in vielen Einrichtungen, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel – zum Teil sehr grausame – Szenen aus dem Leben ihrer Klienten gezeigt werden, etwa Szenen aus dem Gefängnis. Häufig werden im Übermaß schockierende Zeichnungen oder Fotografien in der Öffentlichkeitsarbeit verwendet, obwohl dies im Grunde kontraproduktiv ist und Helfer oder Sympathisanten der Einrichtung eher abschreckt, ja sogar einen gewissen Voyeurismus fördert. Und schließlich gibt es das Phänomen, dass man sich oft ausgeliefert fühlt, als ob man sich in den Händen des Täters befinde, so wie es das oben angeführte Zitat eines Interviewpartners widerspiegelt.

Im Folgenden sollen noch einige Interviewzitate angeführt werden, die diese Phänomene der Reinszenierung noch einmal vertiefen und veranschaulichen.

a) Zur Wahrnehmung in Täter- / Opferkategorien:

„Wenn jemand irgendwas kritisiert hat, dann hieß es: ‚Jetzt verhältst du dich wie ein Täter.‘ Ganz schnell gab es bei dieser Auseinandersetzung die Ebene der Frage, wer hier Täter und wer hier Opfer sei!“

„Man wird von beiden Seiten beeinflusst. Sowohl in der Rolle des Täters als auch in der des Opfers. Man verinnerlicht es, wenn man keine rekreative Sphäre innerhalb und außerhalb hat.“

b) Zum Phänomen der Vermutung von Feindschaft:

„Er hat eine pathologische Fähigkeit, Feinde zu sehen und auf andere Leute zu projizieren. Das ist nach Außen nützlich, denn damit kann er ein Auditorium in den Bann ziehen – dieses ‚Seht her, da sind sie die Täter!‘ Aber intern ist das gefährlich. Das könnte ein Teil der Erklärung für das giftige Klima sein, das wir hier haben“ (hier redet ein Kollege über einen anderen).

c) Zum Phänomen der Abspaltungstendenzen:

„Ich denke, dass die Hälfte der Kollegen gut abspalten kann [...], und ich halte Abspaltung für etwas Pathologisches. Ich finde es schwierig für Klienten, wenn sie einen Therapeuten vor sich haben, der abspaltet und nicht weiß, was er da abspaltet. Immer dieses ‚Es muss besser werden und wir müssen jetzt helfen‘, aber nicht wirklich mittragen können, was da los ist.“

Und jetzt komme ich zum Strukturproblem. Ich habe herausgefunden, dass diese Phänomene der Reinszenierung des Traumas sowie der hohe Stress- und Konfliktpegel etwas mit der Struktur der Einrichtung zu tun haben. Bei den insgesamt 13 Einrichtungen, die ich untersucht habe, habe ich nicht nur die Helfer befragt, ich habe mich in diese Teams hineingesetzt, an Teamsitzungen teilgenommen, die Dynamik beobachtet, externe Organisationsanalysen von Geldgebern, von Förderern und von Qualitätsnachprüfern gelesen, die mir diese Organisation dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben, und ich habe herausgefunden, dass es meistens eine ganz starke Differenz gibt zwischen der offiziellen Struktur, die nach außen hin vermittelt wird, und einer informellen Struktur, die die wirklichen Verhältnisse, das heißt die tatsächlichen Allianzen, Freundschaften, Feindschaften oder Abhängigkeiten widerspiegelt.

Ich habe das Beispiel einer Einrichtung zur Behandlung von Traumatisierten vor Augen, einen gemeinnützigen Verein, wie das bei vielen Nonprofit-Organisationen der Fall ist, mit einem Vorstand als Aufsichtsorgan, einem Leiter und vier Helferteams, für die er verantwortlich ist. Der Vorstand ernennt den Leiter, und Vorstand und Leiter sind wiederum dem Trägerverein als oberstem Rechtsorgan der Organisation rechenschaftspflichtig. Das ist die formale Organisationsstruktur, so wie es in den Jahresberichten und Rechenschaftsberichten an die Förderer steht. Eine Organisationsanalyse auf Grundlage der Interviews ergibt dagegen ein ganz anderes Bild: Alle Angestellten, also alle Helfer, die in diesen Teams arbeiten, sind auch Mitglieder des Trägervereins, – das heißt, alle Mitarbeiter sind in einer Person zugleich Arbeitnehmer und ihr eigener Arbeitgeber. Das führt notwendigerweise zu einer Rollenkonfusion, etwa dann, wenn der Leiter eine Entscheidung in Gehaltsfragen fällt, die irgendeinem nicht passt, oder aber, wenn der Leiter zum Beispiel entscheidet, dass die Fallkonferenz jede Woche mittwochs eine Stunde lang sein soll: Wenn jemand aus dem Helferteam dies ablehnt, kann er eine außerordentliche Mitgliederversammlung

einberufen und per Mehrheitsbeschluss die Entscheidung des Leiters aushebeln. Das schafft ein erhebliches Durcheinander. Es gibt eigentlich niemanden, der richtig verantwortlich ist, – es herrscht gleichsam die Extremform einer Basisdemokratie, in der alle mitreden. Das ist zwar einer Einrichtung möglich, in der vielleicht sechs oder acht Leute arbeiten, nicht aber in einer größeren Einrichtung, die Arbeitsteilung, Absprachen oder Koordination erfordert. Die Folge sind dann Unsicherheit und Auseinandersetzungen, da der Leiter selbst und auch der Vorstand relativ machtlos sind, also beide eigentlich keine Vollmachten etwa in Personalfragen haben. Innerhalb der Helferteams treten dann informelle Leiter in den Vordergrund, – etwas, was immer dann geschieht, wenn die Leitungsfrage nicht richtig geklärt ist. Das sind Menschen, die besonders gut und laut reden können, die besonders massiv und imponierend auftreten, vielleicht auch Ältere, die erfahren und Jüngeren gegenüber eher dominant sind. Diese informellen Leiter bekämpfen sich dann nicht selten auch gegenseitig. Genau das schafft dann auch dieses Durcheinander, die Unsicherheit, von welcher der vorhin zitierte Interviewpartner geredet hat.

Ich habe sodann einen Vergleich angestellt zwischen Einrichtungen, die einen besonders hohen Stress- und Konfliktpegel aufweisen, und solchen, bei denen letzterer niedrig ist, bei denen es also einigermäßen gut funktioniert. In Einrichtungen, in denen ein niedriger Stress- und Konfliktpegel herrscht, gibt es vielfach eine professionelle Leitung, im Gegensatz zu solchen mit hohem Stress- und Konfliktpegel, die oft keine richtige autorisierte oder nur eine schwache Leitung besitzen, in denen so etwas wie Basisdemokratie herrscht und keiner wirklich Verantwortung übernimmt. In Einrichtungen mit niedrigem Stress- und Konfliktpegel gibt es eine klare Delegation von Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie eine klare Definition von Rollen und Kompetenzen: Die Psychotherapeuten machen Psychotherapie, die Sozialarbeiter kümmern sich um die Sozialarbeit, die Sekretärinnen machen die Schreibarbeit und bedienen das Telefon. In Einrichtungen mit hohem Stress- und Konfliktpegel dagegen läuft alles durcheinander und ist nicht klar voneinander abgegrenzt. Es gibt dort zudem sehr schwerfällige, lange und intransparente Entscheidungsprozesse, und es kommt immer wieder zu Grenzüberschreitungen. Die Mitarbeitenden machen zu viele Überstunden, dehnen die Therapiestunden endlos aus, gehen mit den Patienten nach Hause oder erledigen irgendwelche Dienste für die

Klienten oder Patienten, die im professionellen Sinne gar nicht dazu gehören. Es kommt hier auch zu einer gewissen Überversorgung oder Bemutterung der Patienten, weil die Mitarbeitenden sich mit den Patienten überidentifizieren und in deren Geschichte verstricken lassen.

In einer Einrichtung mit niedrigem Stress- und Konfliktpegel achtet die Leitung auf die Einhaltung professioneller Grenzen, und es herrscht eine Balance zwischen Empathie und professioneller Distanz, die ja in dieser Arbeit unbedingt erforderlich ist. Es gilt zudem hervorzuheben, dass in den Einrichtungen mit hohem Stress- und Konfliktpegel sehr häufig die Reinszenierung des Traumas stattfindet, ohne dass ein geschützter Raum für die Bearbeitung vorhanden wäre. In Einrichtungen mit niedrigem Stress- und Konfliktpegel gibt es dagegen immer einen geschützten Raum für die Bearbeitung der destruktiven Dynamik, die naturgemäß mit dieser Arbeit einhergeht. Dazu dienen etwa klinische Supervision, regelmäßige Fallkonferenzen und auch ein gewisser Ausgleich. Wichtig ist auch, dass man das Privatleben vom Beruf abgrenzt, dass man seine Hobbys und Freundschaften pflegt, dass man sich Kultur und Entspannung gönnt und dass die Arbeit nicht immer mehr in das Private hinüberwächst.

In einem Traumazentrum muss eine geschützte Atmosphäre herrschen. Das ist ein Intimraum, in dem Menschen ihr Innerstes preisgeben – nicht nur die Klienten, sondern auch die Helfer. Man muss sich so ein Traumazentrum wie einen einzigen großen Therapieraum vorstellen.

Zum Abschluss noch einige Überlegungen zur Selbstfürsorge. Die Arbeit mit Traumatisierten kann ja manchmal belastend sein. Klienten sind nicht immer nur nette Menschen, sie können auch sehr nervend sein, manchmal sehr fordernd oder übergriffig. Es kommt daher auch bisweilen zu Gefühlen der Aggression gegenüber den Patienten. Das ist etwas ganz Normales, dass man die Nase voll hat oder man nicht mehr kann. Dann ist es wichtig, dass man solche Gefühle zulässt und nicht unterdrückt, dass man darüber mit einem Kollegen sprechen und sich entlasten kann, dass man in einer Supervision sagen kann: „Ich kann meinen Klienten nicht mehr ausstehen. Jedes Mal vor dem Termin bekomme ich Schweißausbrüche und Herzklopfen.“ Darüber muss man reden können. Nur dann kann man der Sache auf den Grund gehen: Warum nervt mich dieser Klient so? Wenn man es einfach hinunterschluckt, nagt es an einem, und dann kommt es irgendwo anders

raus, etwa indem man einen Streit mit einem Kollegen beginnt oder den Klienten dann auch zurückweist. Es ist wichtig, darüber zu reflektieren. Man braucht einen Raum mit Kollegen, einen geschützten Raum, in dem man diese Probleme miteinander teilen kann. Das fällt unter das Stichwort „Gegenübertragung“.

Dann gibt es Einrichtungen, in denen es nichts zu lachen gibt, in denen Kollegen nicht mal Spaß miteinander haben. Um diese Einrichtungen würde ich mir große Sorgen machen. Es muss auch Gelegenheiten geben, wo man locker bei einem Glas Sekt zusammen sitzt, wo man mal miteinander feiert, auch mal Blödsinn macht oder einen Witz über einen Klienten reißt. Das darf man durchaus gelegentlich tun, denn das ist entlastend. Wo das nicht der Fall ist, wo alles furchtbar ernst, grau und bleischwer ist, da stimmt etwas nicht. Sehr wichtig sind auch gemeinsame Freizeitaktivitäten. Das haben wir bei uns im Team häufig gemacht, das entspannt und ist gut für die Seele.

Ich reise viel in der Welt herum und mache Supervision für Traumateams in anderen Ländern. Häufig bin ich auch in Georgien. Was ich bei den Kollegen in diesem Land bewundere, ist ihr „savoir-vivre“ – ihre Lebensfreude, ihre Kreativität, ihr Humor. Und das in einem kleinen Land, das seit 20 Jahren von Krieg, Bürgerkrieg und Diktatur gezeichnet ist. Es ist wirklich bewundernswert, wie die Leute sich ihre Lebensfreude in ihrem Land bewahrt haben, wie sie wunderbar Musik machen, tanzen und so weiter, – von ihnen, so denke ich immer, müsste man sich in dem Stil der Arbeit etwas abschauen.

In den Interviews wurden die Ressourcen erkennbar, aus denen die Befragten ihre Kraft schöpfen. An erster Stelle werden Familie und Kinder als wichtigste Kraftquelle und Ausgleich zu der Schwere und Last der Arbeit genannt. Dazu kommt der Wille, sich realistische Ziele zu setzen, sich also nicht durch unerreichbare Ziele zu überfordern. Was auch ein sehr guter Ausgleich ist, ist einfach mal eine Auszeit aus der Klientenarbeit. Man kann an einer Publikation schreiben, – das schafft Raum zum Reflektieren. Man kann über die Arbeit nachzudenken, – das schafft Distanz, Abstand von den Kollegen und Klienten. Das hat also auch etwas im Sinne von „care for caregivers“. Auch Aus- und Weiterbildung sind sehr wichtig.

Viele Befragte nennen ein eigenes Trauma als Antriebskraft für diese Arbeit. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich hier nicht vertiefen kann. Ich habe herausgefunden,

dass 33% meiner Interviewpartner ein eigenes Trauma angeben. Ein Trauma, das sie motiviert hat, diese Arbeit zu machen. Sie sind also selbst verfolgt worden, waren im Gefängnis oder haben ein sexuelles Trauma erlitten. Dies ist also eine sehr starke Antriebskraft, sich überhaupt für diese Arbeit zu engagieren. Das ist ja auch natürlich: Wenn man diese Dinge selbst durchgemacht hat, will man seinen Leidensgenossen helfen. Das ist wirklich eine große Ressource, allerdings, wie ich in den 20 Jahren meiner Tätigkeit auf diesem Gebiet herausgefunden habe, nur unter einer Voraussetzung: Man muss dieses eigene Trauma in einem eigentherapeutischen Prozess durchgearbeitet haben. Man muss auch eine Therapieausbildung mit einem großen Selbsterfahrungsanteil gemacht und diese eigene Verletzung verarbeitet haben. Sonst besteht die Gefahr, dass man sie unverarbeitet auf den Klienten oder die Kollegen überträgt. In Zentren und Einrichtungen, wo ein hoher Stress- und Konfliktpegel herrscht, finden sich häufig Kollegen, die eine nicht richtig verarbeitete eigene Trauma-Geschichte haben und diese innere Spannung innerhalb des Teams ausagieren. Das schafft erhebliche, oft nicht zu lösende Probleme. Dann ist der Austausch unter Kollegen wichtig, ebenso wie kulturelle Aktivitäten sowie Sport, Natur, aber eben auch, dass man sich Auszeiten nimmt, Hobbys nachgeht, meditiert oder Entspannungsübungen macht – alles, was hilft, Distanz zu gewinnen und neue Kraft für diese wichtige Arbeit zu sammeln.

Травмированные помощники

Вначале мне хотелось бы объяснить, как именно я пришел к исследованию, результаты которого опубликованы в книге: *«Пострадавшие помощники. Работа с травмой: риски и возможности себя защитить»* (2009). Я работал в течение почти двадцати лет в учреждениях для травмированных беженцев и познакомился с опытом, полученным в международной сети учреждений, занимающихся темой травмы. Речь в данном случае идет о терапевтических учреждениях, работающих в области психотерапии, социальной работы и медицины. Во время работы в своей организации я также заметил, что существует очень много напряженности, конфликты, стресс, эмоциональное выгорание: люди через некоторое время отказывались от работы, потому что просто не могли совладать с напряжением. В контексте исследовательского проекта, финансируемого Гамбургским Фондом Реemtсма, я попытался найти причины этого явления. Я не раз сталкивался с подобными явлениями в различных учреждениях, провел исследования в 13 учреждениях по всему миру; при этом были проведены 72 подробнейших интервью. Респондентами были психологи, социальные работники, врачи, специалисты в области информации, люди, которые работали только в общественных организациях. Даже супервизоры, которые руководят такими учреждениями, были объектом моего исследования. В этом контексте я разработал своего рода модель, которая реально действует в этих учреждениях и показал, какая динамика существует в их командах. Об этом, собственно, и пойдет речь в статье.

Что касается методов, которые были использованы при проведении данного исследования, то я бы не хотел углубляться в детали. Я обнаружил, что благотворительные некоммерческие организации, о которых мы ведем речь, имеют между собой очень много общего. Они были созданы в основном харизматическими личностями с перспективным видением, а в годы своего становления, то есть в начальной фазе, у них преобладал определенный идеализм: все были объединены одной идеей, все дергали за одну и ту же веревочку, царил семейная товарищеская атмосфера. Коллективное «ты» предполагало близость и доверие, в основном преобладали неформальные трудовые отношения, команда обсуждала и принимала решения совместно,

между участниками поддерживалась постоянная тесная связь. Присутствовал определенный импровизированный рабочий стиль, не было напряжения, внутренние конфликты сглаживались путем компромиссов. Такая структура преобладает в период становления, который я бы обозначил, как «медовый месяц», потому что это действительно чем-то напоминает свадьбу. Все счастливы, самодостаточны, полны энергии и воодушевления. Эта структура может работать великолепно, пока длится медовый месяц, но к сожалению, он в конечном счете заканчивается и наступают будни.

То, что я здесь описал - это типичные структурные характеристики некоммерческих организаций, как они были описаны социологом Рут Симсой и представлены в ее книге *«Общественные функции и влияние некоммерческих организаций. Системно-теоретический анализ»* (2001).

Особенностью некоммерческих организаций является то, что они всегда имеют отношение к чему-нибудь (определенной несправедливости, страданиям и беспорядкам), что не имеет границ и практически никогда полностью не может быть преодолено. Цели, следовательно, полностью никогда не могут быть достигнуты и поэтому нагрузка на персонал всегда будет превышать человеческие и финансовые ресурсы. Это означает, что работа никогда не заканчивается, у сотрудников есть постоянное ощущение, что сделано недостаточно. Это чрезвычайно высокие моральные требования. Некоторые из моих партнеров по интервью подвели под это заголовок «Мы все страдаем комплексом мученика». Присутствует высокая степень самопожертвования, переходящая в «трудоголизм» - болезненную тягу к работе. Это может принимать такую сильную форму, что люди работают до поздней ночи или в выходные, они не полностью используют свой ежегодный отпуск просто потому, что моральное давление слишком высоко. Они хотят помочь людям, которые в этой помощи нуждаются, они хотят делать добро, никогда не прекращают свою работу и поэтому постоянно перегружены. Об этом свидетельствуют высказывания моих собеседников, когда один, например, говорит: «Я несу мир на своих плечах» - как аллегорию греческого мифа об Атласе. Или кто-то другой говорит: «Я стал Матерью Терезой». Во многих своих интервью я обнаружил

это чувство «Матери Терезы» и следующие цитаты из некоторых интервью можно обобщить под заголовком «Нарциссические фантазии спасителей»: «Мы – некто особенные. Ни у кого нет таких задач, как у нас» «Мы были чересчур самовлюбленными, каким-то образом ущербными». Все помощники говорили: «Мы - своего рода элита рода человеческого».

Существует также значительная доля признательности со стороны общественности: «Это так здорово, что вы делаете. У меня было чувство, что я – просветитель, настолько велико было чувство гордости». Или один коллега говорит о другом: «Может быть, он чувствовал, что может стать кем-то фантастическим – Матерью Терезой, добрым самаритянином, спасителем мира». В связи со значительными страданиями и массовой несправедливостью, с которыми каждый сталкивается, можно обнаружить в этих учреждениях гораздо более сильную идентификацию с опекаемыми пациентами и клиентами. Вот несколько цитат на эту тему: «Я должен выдержать напряжение, которое возникает в крайнем противостоянии жертвы и палача. Существует очень сильная идентификация с жертвами. Я не могу этого совсем избежать». Или: «Мы все были на самом деле чрезмерно идентифицированы. Мы буквально заворачивали наших клиентов в вату». Еще одна цитата: «В первое время мы были явно на стороне жертв. Жертвы - хорошие, а палачи - плохие. Сегодня я сказал бы, что жертвы обладают своей властью».

Думаю, многие коллеги будут согласны с этим и я этому рад. Я всегда бываю удивлен, когда присутствую на конференциях или встречаюсь с другими командами, перед которыми выступаю с докладами, что подобные явления существуют во многих учреждениях. Возможно, этот анализ поможет глубже понять то, что происходит в других учреждениях и каким образом ситуацию можно улучшить.

Существует еще одно типичное явление, которое объединяет всех, кто работает в гуманитарной сфере, а именно - общее неприятие любой иерархической, оскорбительной власти. Это вполне понятно. При диктатуре и режимах, виновных в нарушениях прав человека, приходится иметь дело с людьми, которые злоупотребляют своим положением и иерархией власти и в этом контексте делают ужасные вещи. Сознание этого объединяет людей, которые работают в этих организациях, так что они выступают против любых форм иерархии и власти. Я цитирую: «Борьба против иерархии является мотивом для работы в гуманитарных организациях». Или: «Мы собрали команду компетентных людей, наделенных благими

намерениями, но им, однако, при этом аппарате власти исключительно плохо. Мы чувствуем себя в этой области вне закона, но, безусловно, наше сердце находится в нужном месте». Еще один голос: «Главной заботой было более не испытать то, что нас контролируют, а самим иметь все в своих руках. Мы являемся своего рода стражами в этом обществе, мы должны быть альтернативными и совсем другими».

Теперь я хотел бы вернуться еще раз к социологическим исследованиям Рут Симса и других специалистов по некоммерческим организациям, которые частично подтверждают мои результаты или проливают свет с несколько другой точки зрения. Эти исследования диагностировали у сотрудников этих организаций такое отношение, что всё, что имеет отношение к организации и управлению, есть проявление «злобного мира сверху». То есть бюрократии и отчуждения.

Кроме того, иерархия, как я уже указывал, ассоциируется с угнетением и тиранией. Любая форма руководства в организации рассматривается, как тирания, а правила подразумевают принуждение и потерю автономии, а также ограничение свободы. Кроме того, любые правила начинают восприниматься, как некое подавление. Это создает своего рода контраст между «холодным руководством» и горячими сердцами приверженцев добра. Поэтому очень часто существует сопротивление требованиям доказательств качества от финансирующей организации или контролирующих органов. При этом многие учреждения начинают доказывать вышестоящим организациям, что те в их работе все равно ничего не понимают: «Мы делаем здесь доброе дело. Это никого больше не должно касаться – они должны просто прекратить подглядывать в карты через наше плечо». Я попробую использовать представление, полученное в интервью с сотрудниками учреждения, которые после тяжелой конфликтной фазы искали помощь супервизора. Многие члены команды описывали ситуацию, сравнивая их учреждение с кораблем без штурмана в бурном море. Почему они это описывали таким образом? Я хотел бы представить результаты моего исследования, которые помогут сделать это понятнее. Я должен начать с того, что в публикации проведенных интервью результаты всех респондентов даны в мужском роде для того, чтобы защитить их идентичность. К слову сказать, более половины моих интервьюируемых были женщины. В следующем случае речь пойдет об одном помощнике, который взял на себя руководящую роль. В обширном интервью он описал культуру конфликтов в своей

организации, которые для него, как лидера, были крайне стрессовыми. Самым сложным была неизвестность и непредсказуемость. В команде постоянно происходили конфликты, шла окопная война и ему постоянно приходилось работать в условиях непредсказуемых конфликтов. Он сказал: «Когда я утром приходил на работу, то не знал, с какой стороны ожидать очередного удара». Он считал это чрезвычайно обременяющим и видел в этом параллели с опытом своих клиентов. Это был своего рода ключ для меня, потому что он привел меня на другую дорогу, на которой я буду работать. Я цитирую этого партнера по интервью:

«Клиенты описывали, что происходило в комнате для допросов» (он имел в виду людей, которые были в тюрьме и там над ними надругались), «прежде всего перерывы между допросами, это ужасное чувство: не знать, когда же придет он, мучитель, охранники, когда они придут снова, как это все начнется, в какой комнате это будет, смогу ли я себя защитить? Время между допросами – это самое страшное. Это ожидание, эта неопределенность».

Это привело меня к осознанию того, что, очевидно, в командах этих учреждений что-то происходит - нечто, что может быть интерпретировано, как инсценировка травматической ситуации в тюремной камере, в которой страдал клиент, находясь в заключении или в ходе преследования. В этом интервью я обнаружил некоторые элементы, которые привели меня к этому выводу. Это особенно верно для тех объектов, где существует очень высокий уровень стресса и конфликтов. Доказательства наличия такого явления я снова и снова находил в некоторых интервью: страх, наличие шпионов и спецслужб, взаимные подозрения о нахождении с репрессивным режимом в одной лодке, или явление, когда помощники чувствуют себя преследуемыми другими своими коллегами. Повсюду подозреваются враги, в коллегам видят соперников, которые за кем-то неотступно наблюдают. Характерны также сильные тенденции к расщеплению и тот факт, что другой человек в конфликтах или спорах быстро определяется в качестве палача, или из другого человека делают жертву. Постоянно происходит определение в категории палачей и жертв, царит недоверие, страх и агрессия. Кроме того, существует определенная одержимость и увлечение темами насилия. Это нашло свое отражение в том, что во многих организациях, и например, даже публично - иногда показывают очень жестокие сцены из жизни своих клиентов, как, например, сцены в тюрьмах. Часто публично используются шокирующие рисунки или фотографии, хотя это в принципе контрпродуктивно, пугает помощников или симпатизантов учреждения,

и даже способствует определенному вуайеризму. И, наконец, существует явление, которое проявляется в том, что человек ощущает себя находящимся в руках палача, как это отражает приведенная выше цитата одного из респондентов.

Ниже приводятся еще некоторые цитаты из интервью, которые помогут углубить и более наглядно продемонстрировать такие явления реинсценировок.

а) к восприятию категории палач / жертва:

«Если кто-то что-то критикует, то это означает: «Теперь ты ведешь себя, как палач». Очень быстро на уровне этой дискуссии о противопоставлении палача и жертвы возникает вопрос: кто, собственно, палач, а кто жертва?».

«Влияние оказывается с обеих сторон. Как в роли палача, так и в роли жертвы. Человек вживается в эту роль, если у него нет рекреационной сферы как внутри, так и извне».

б) к явлению подозрений во враждебности:

«У него патологическая способность видеть врагов и проецировать это на других людей. Это полезно снаружи, потому что тогда он может привлечь аудиторию, скажем, на вокзале и воскликнуть - вот, смотрите, это они – палачи! Но внутри это крайне опасно. Этим можно частично объяснить ядовитую атмосферу, которая царит в учреждении» (один коллега говорит о другом).

в) к явлению расщепляющих тенденций:

«Я думаю, что половина коллег может успешно расщеплять [...], и я считаю расщепление чем-то патологическим. Мне кажется, что клиентам трудно, если они имеют терапевта, который расщепляет и не знает, что при этом происходит. Постоянно звучит: «должно стать лучше, и нам прямо сейчас надо оказать помощь», но на самом деле непонятно, что происходит».

А теперь перейдем к проблеме структуры. Я обнаружил, что все явления реинсценировки травм и высокого уровня стресса и конфликтов имеют непосредственное отношение к структуре учреждения. Вот в качестве примера: в 13 учреждениях, которые я исследовал, я не только опрашивал помощников, но и принимал участие в работе команды, присутствовал на собраниях, отслеживал динамику, читал внешние организационные анализы финансирующих организаций, спонсоров и контролеров качества, которые мне любезно предоставили эти организации, и я обнаружил, что в основном существует очень

большая разница между официальной структурой, которая представлена наружу, и неформальной структурой, фактическим положением вещей, т.е. фактическими альянсами, дружбой, враждой или зависимостями. У меня перед глазами стоит пример одного учреждения для лечения травмированных пациентов, некоммерческой организации, как и в случае с многими другими аналогичными организациями, с правлением в качестве руководящего органа, одним руководителем и четырьмя командами помощников, за которую руководитель несет ответственность. Правление назначает руководителя, и вместе они, в свою очередь, подотчетны перед финансирующей организацией, как высшей юридической структурой. Это формальная организационная структура, как она представлена на бумаге в годовых отчетах и бухгалтерских проверках финансирующей организации. Организационный анализ, основанный на проведенных интервью, дает, однако, совершенно иную картину: все сотрудники, то есть все помощники, которые работают в этих командах, одновременно являются членами ассоциации - сотрудники в одном лице являются как работниками, так одновременно и работодателями. Это неизбежно приводит к смешению ролей, и когда руководитель принимает решение по вопросам заработной платы, которое кого-то не устраивает, или если руководитель, например, решает, что конференция по обсуждению частных случаев будет проводиться каждую неделю по средам в течение часа, и если кто-то из команды выступает против, то он имеет право созвать внеочередное общее собрание и отменить решение руководителя простым большинством голосов. Это создает значительную путаницу.

В принципе нет никого, кто действительно берет на себя ответственность - царствует экстремальная форма низовой демократии, при которой все имеют право голоса. Это в принципе возможно в учреждении, в котором работают может быть, шесть или восемь человек, но не в более крупной организации, где требуется разделение труда, договоренности и координация. Это приводит к неопределенности и конфликтам, поскольку сам руководитель и правление относительно беспомощны, так как на самом деле они не имеют никаких полномочий для принятия решений по кадровым вопросам. В рамках команды помощников на первый план выходят неформальные лидеры - то, что всегда происходит, когда вопрос с руководством решен не до конца правильно. Это люди, которые действительно хорошо и громко умеют говорить, производить хорошее впечатление, как правило более старшие по возрасту, пытающиеся

доминировать над более опытными и молодыми членами команды. Эти неформальные лидеры затем нередко начинают воевать друг с другом. Именно тогда возникает эта путаница, неопределенность, о которой и говорил интервьюируемый.

Затем я проводил сравнение учреждений, которые имеют особенно высокий уровень стресса и конфликтов и тех, в которых этот уровень низок, т.е. там, где учреждения работают достаточно хорошо. В учреждениях с низким уровнем стресса и конфликтов руководство часто гораздо более профессионально, в отличие от учреждений с высоким уровнем стресса и конфликтов, в которых нет по-настоящему авторитетного руководства или оно очень слабое, где процветает низовая демократия и никто не берет на себя ответственность. В учреждениях с низким уровнем стресса и конфликтов существует четкое распределение задач и обязанностей: психотерапевты занимаются психотерапией, социальные работники заботятся о социальной сфере, секретари занимаются документацией и отвечают на телефонные звонки. В учреждениях с высоким уровнем стресса и конфликтов все перепутано, обязанности четко не разграничены. Существуют также очень громоздкие, затянутые и непрозрачные процедуры принятия решений и постоянно наблюдается нарушение границ. Сотрудники делают слишком много сверхурочной работы, терапия бесконечно затянута, пациентов посещают на дому или клиентам и пациентам оказываются услуги, которые не относятся к профессиональным обязанностям. Существует также чрезмерная опека или материнская забота о пациентах, поскольку персонал идентифицирует себя с пациентами и «влезает» в их историю.

В учреждениях с низким уровнем стресса и конфликтов руководство следит за соблюдением профессиональных границ, есть здоровый баланс между сочувствием и профессиональной дистанцией, что очень важно при такой работе. Следует также отметить, что в учреждениях с высоким уровнем стресса и конфликтов происходит реинсценировка травмы, поскольку не существует требующегося защищенного пространства для ее обработки. В учреждениях с низким уровнем стресса и конфликтов, однако, всегда есть безопасное пространство для обработки разрушительной динамики, которую эта работа с собой неизбежно приносит. Этому служит клиническая супервизия, регулярные конференции по отдельным случаям, а также разумные компромиссы. Важно также, что сотрудники отделяют свою личную жизнь от профессиональной, занимаются своими хобби, строят дружеские отношения, уделяют время культуре и отдыху и не пускают работу в сферу личной жизни.

Позвольте мне вкратце показать вам, почему я думаю, что структура так важна для тех объектов, где многие из моих коллег работают. Недавно я со своей коллегой Норой Балке организовал один семинар, в котором приняло участие 26 человек. Нашей целью была демонстрация одного супервизионного случая.

Один наш коллега был готов представить трудный случай из своей практики. Нора Балке взяла супервизию на себя и мы сидели вместе в большом зале, но каким-то образом окружающая обстановка абсолютна не соответствовала необходимым условиям. Это был ресторан и работа на кухне была все еще в полном разгаре. Сквозь тонкую дверь можно было слышать громкие разговоры поваров, грохот кастрюль и тарелок, постоянно открывалась дверь и какой-нибудь работник ресторана проходил через зал. В конце концов, кто-то сел за стол в конце зала и начал ужинать в то время, как у нас шла супервизия. При всем желании в такой обстановке сконцентрироваться не предоставлялось возможным. Супервизия – это нечто очень интимное, та ситуация, при которой помощник рассказывает о сложном случае из своей практики, затрагивающей также его собственную личную травму, слабость и чувства. Поэтому такая супервизия должна проводиться в полностью защищенной и стабильной обстановке. Но когда с этим возникают проблемы, человек постоянно отвлекается, это также является нарушением его интимной сферы. Человек предоставляет супервизору нечто очень личное.

Поэтому расстройство является нарушением этой конфиденциальности. Ничто не должно выходить наружу – а тут рядом сидит повар и ужинает! Так просто не должно быть. Я заметил по себе, что при попадании в такую ситуацию я начинаю испытывать стресс. Некоторые в группе были недовольны и начали вести совершенно посторонние разговоры. Я чувствовал, что мой уровень адреналина непрерывно повышается и в какой-то момент я бросился к повару, в очередной раз появившемуся из двери кухни и оскорбил его. Конечно, это было не очень вежливо, но я был действительно очень раздражен тем, что вокруг очень плохая атмосфера. Изменить это можно только в том случае, если заранее позаботиться о соответствующей обстановке. Если бы ранее прошла консультационная встреча между руководством семинара и кухней с просьбой не мешать во время семинара, то все было бы замечательно. В центре терапии травмы должна преобладать защищенная атмосфера. Это интимное пространство, в котором люди раскрывают свои сокровенные чувства - не только клиенты, но и помощники.

Вы должны представлять себе центр терапии травмы, как один большой лечебный кабинет. Он должен быть закрытым, чтобы обеспечить определенный уровень интимности, также это должно быть и для конференции, которая имеет дело с травмой. Потому так или иначе должна сохраняться дискретность, а когда дело доходит до постоянного вмешательства извне, это может привести к травмированию помощников. Я испытал это на себе. Это было не слишком драматично, но это иллюстрирует то, что я имею в виду.

Теперь я постепенно подхожу к заключению и хочу немного рассказать о самопомощи. Работа с травмированными иногда действительно может вызвать стресс. Клиенты не всегда могут быть приятными людьми, они также могут иногда раздражать, быть чересчур требовательны или грубы. Поэтому иногда это может вызывать чувство агрессии по отношению к пациенту. Это вполне нормальное явление – когда все надоело и человек больше «уже не может». В этом случае важно, чтобы эти чувства проявлялись, а не подавлялись, об этом необходимо поговорить с коллегой и «выпустить пар». Важно сказать на супервизии: «Я терпеть не могу своих клиентов. Каждый раз, когда у меня встреча с клиентом, меня прошибает пот и начинается сердцебиение». Об этом нужно уметь говорить. Только в этом случае можно добраться до причины: почему меня так нервнрует клиент? Если на это просто не обращать внимания, то это проявится где-то в другом месте, например, в конфликте с коллегой или клиентом. Важно, чтобы было время осмыслить происходящее. Вам с коллегами нужно отдельное помещение, защищенное пространство, где вы можете поделиться этими проблемами. Это называется «контртрансфером».

Кроме того, есть учреждения, в которых нет никаких причин для смеха, где коллеги никогда вместе не веселятся. Такие учреждения меня очень беспокоят. Должны быть случаи, когда нужно посидеть вместе с бокалом шампанского и расслабиться, отпраздновать вместе какое-нибудь событие, совершить какую-нибудь безобидную глупость или пошутить о клиентах. Это периодически следует делать, потому что это своего рода освобождение. Там, где это по-другому, где все ужасно серьезно, серо и свинцово, что-то не так. Очень важно также совместное проведение досуга. Мы делали это в нашей команде часто - это расслабляет и хорошо для души.

Я много путешествую по всему миру и делаю супервизию в группах терапии травмы в других странах. Часто я бываю в Грузии. Что меня восхищает в коллегам из этой страны - их «умение жить» - их радость жизни, их креативность, их юмор. В небольшой стране, на которую за 20 лет наложили отпечаток война, гражданская война и диктатура. Это действительно удивительно, как люди сохранили свою жизнерадостность, как они замечательно исполняют музыку, танцуют. Глядя на их стиль работы, у них можно многому научиться.

В интервью стало понятно, из каких источников респонденты черпают свою силу. В качестве наиболее важного источника силы и баланса для компенсации тяжести и бремени работы на первом месте называются семья и дети. Сюда же относится желание ставить перед собой только реальные цели и не перегружать себя недостижимыми. Отдых от работы с клиентами также является очень хорош для баланса. Можно издавать публикации - это создает пространство для осмысления происходящих событий. Можно поразмышлять о работе - это позволяет держать дистанцию от коллег и клиентов. Это, следовательно, что-то вроде «заботы о тех, кто обслуживает больных». Образование и профессиональная подготовка также очень важны.

Многие респонденты называют свои собственные пережитые травмы в качестве движущей силы их работы. Это очень важный пункт, который я не могу раскрывать подробнее. Я обнаружил, что 33% моих собеседников указали на свои собственные травмы. Травмы, которые побудили их делать эту работу. Они сами были преследуемы, находились в тюрьме или испытали сексуальное надругательство. Это очень сильная побуждающая причина вообще заняться этой работой. И это вполне естественно: когда человек сам все испытал, он имеет желание помочь людям, оказавшимся в аналогичной ситуации. Это действительно большой ресурс, но, только, как я выяснил за 20 лет своей работы в этой области, при одном условии: человек должен переработать свою травму в рамках собственного терапевтического процесса.

Человек должен получить терапевтическое образование и с большой долей самосознания переработать свою травму. В противном случае существует риск того, что эта переработанная травма будет перенесена на клиентов или коллег. В центрах травмы и учреждениях, где уровень стресса и конфликтов высок, часто можно встретить коллег, имеющих историю собственной переработанной

травмы. Тем самым они вносят в команду внутреннюю напряженность. Это создает значительные, часто неразрешимые проблемы. Тогда очень важен обмен между коллегами, а также культурные мероприятия, спорт, поездки на природу. Следует сделать паузу, заняться любимым хобби, медитацией или делать упражнения на расслабление - все, что помогает «держать» дистанцию и зарядиться новой энергией для этой важной работы.

Strukturelle Ursachen von Helferbelastung in Traumazentren¹

Einführung

Mc Cann & Pearlman waren im Jahre 1990 unter den ersten, die untersuchten, inwiefern traumatische Erfahrungen von Klienten auf den Therapeuten übertragen werden. Sie nannten dieses Phänomen „stellvertretende Traumatisierung“. Die meisten darauf folgenden Studien haben stellvertretende Traumatisierungen ebenfalls auf der individuellen Ebene zwischen Klient und Therapeut untersucht (Danieli, 1988; Chrestman, 1995; Figley, 1995; Stamm, 1999). Die umgebenden Faktoren – etwa die Organisationsstrukturen, die Organisationskultur, die Teamdynamik und das Verhältnis der Organisation zur Außenwelt – wurden jedoch ausgeklammert oder nur am Rande behandelt. In einer kritischen Analyse von Studien zum Thema „stellvertretende Traumatisierung“ kommen Rachel Sabin-Farell und Graham Turpin zu dem Schluß, die Beweislage für eine stellvertretende Traumatisierung unter Traumatherapeuten sei dürftig, und stellen die Validität des Begriffs in Frage. Die Unterschiede zwischen stellvertretender Traumatisierung und Burnout seien fließend, die Begriffe „Mitleidser schöpfung“ (*compassion fatigue*) (Figley, 1995), „sekundärer traumatischer Stress“ (Stamm, 1999) und „stellvertretende Traumatisierung“ (Mc Cann & Pearlman, 1990) seien tautologisch und überschneiden sich gegenseitig (Sabin-Farell und Turpin, 2003). Die Daten der hier vorgelegten Studie bieten genügend Anhaltspunkte dafür, dass Folgeerscheinungen von arbeitsbedingtem Stress sich in trauma-ähnlichen Phänomenen manifestieren. Trotzdem ist es fraglich, ob diese als eine Störung ähnlich der Posttraumatischen Belastungsstörung angesehen werden können bzw. ob es sich dabei um eine unvermeidliche, ansteckende Nebenwirkung der Arbeit mit traumatisierten Klienten handelt – insbesondere angesichts unserer Erkenntnis, dass Helfer in gut strukturierten Einrichtungen über deutlich weniger Symptome berichten. Die von Mc Cann & Pearlman, Figley und Stamm entwickelten Ansätze waren für die Formulierung der Ausgangshypothesen dieser Studie sehr nützlich. Dennoch führte uns der Prozess der Datensammlung und -analyse über diese Konzepte hinaus.

Methodik

Insgesamt wurden 13 Institutionen untersucht, die sich mit extremen Traumatisierungen wie Folter, politischer, ethnischer und religiöser Verfolgung, häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch beschäftigen. 82 Personen wurden für Interviews kontaktiert, und 72 davon stimmten einem Interview zu. 47 davon waren Helfer mit direktem Klientenkontakt, zehn waren Supervisoren, sieben waren Traumaexperten und acht waren Personen aus Menschenrechtsorganisationen. Die Probanden waren zwischen 33 und 75 Jahren alt, 52,8% von ihnen waren weiblich und 47,2% männlich. Das Durchschnittsalter war 53 Jahre, was bedeutet, dass es hauptsächlich Personen waren, die über langjährige Berufserfahrungen verfügen. Die beteiligten Berufsgruppen waren Ärzte (45,8%),² Psychologen (23,6%), Sozialarbeiter (12,5%), Pflegekräfte und Lehrer. Von den 47 Interviewpartnern mit Klientenkontakt waren 48,9% in Leitungspositionen tätig, 66,6% waren in Psychotherapie ausgebildet, und ein Drittel (33,3%) hatte keine therapeutische Ausbildung. 57 der interviewten Personen, stammten aus westlichen Ländern und 15 aus nicht-westlichen Ländern, die sich im Übergang von einer Diktatur zur Demokratie befinden.³

Weitere Daten stammen aus eigenen Beobachtungen der Autoren in zahlreichen Traumazentren und Netzwerken, aus Jahres- und Rechenschaftsberichten, Veröffentlichungen und Organigrammen sowie aus Organisationsanalysen und Leistungsbewertungen, die im Auftrag von Förderern oder Aufsichtsorganen von externen Beratern durchgeführt wurden, um die Arbeitsleistung und die Effizienz der Organisation zu bewerten.

Die Gespräche wurden auf Grundlage der problemzentrierten Interviews nach Witzel geführt (Witzel, 2000). Dabei entwickelt der Interviewer fortlaufend neue Hypothesen und prüft und verändert sie entsprechend dem kontinuierlichen Dialog. Die Interviews wurden transkribiert und – zusammen mit den anderen Quellen – mittels qualitativer Datenanalyse in Anlehnung an die *Grounded Theory* (Strauss & Corbin, 1998) untersucht. Die Analyse dieser großen Datenmenge wurde computergestützt durchgeführt (mit ATLAS-ti, Muhr & Friese, 2001). Nachdem die Interviews miteinander und mit den Daten der anderen Quellen verglichen wurden, konnten sich wiederholende Muster und Häufungen identifiziert und unter bestimmten Kodes subsumiert werden. Die Schritte des Kodierens – offen, axial und selektiv – führten zu einer jeweils höheren Abstraktionsebene, die in einer Theorie mündete, die die beobachteten Phänomene erklärt.

¹ Eine ausführliche Fassung dieser Studie ist erschienen in der Monographie von Christian Pross, *Verletzte Helfer. Umgang mit dem Trauma: Risiken und Möglichkeiten sich zu schützen*, Stuttgart 2009.

² Von diesen (n=33) waren 58% Psychiater.

³ Um die Anonymität der Interviewpartner zu wahren, werden sie alle in der männlichen Form genannt.

Die aus diesen Quellen gesammelten Daten erlaubten es, formelle mit informellen Organigrammen der 13 Organisationen in ihren unterschiedlichen Phasen der Organisationsentwicklung zu vergleichen. Formelle Organigramme zeigen die offizielle Struktur einer Organisation, so wie sie sich nach außen präsentiert. Informelle Organigramme zeigen die verborgenen, tiefen Strukturen und die tatsächliche Dynamik innerhalb einer Einrichtung: persönliche Allianzen, verdeckte Interessen und informelle Machthaber (Malik, 1989). Aus dem Vergleich der Daten aus den Interviews mit Führungskräften und Mitarbeitern sowie aus Beobachtungen der Teamdynamik konnten die informellen Strukturen erkannt und die Diskrepanz zwischen äußerem Erscheinungsbild und Innenleben der Organisation aufgezeigt werden.

Die Aussagekraft der Studie ist dadurch begrenzt, dass die Probanden nicht nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, sondern über die Netzwerke der Autoren kontaktiert wurden. Dies war unumgänglich, weil externe Forscher, die Traumazentren untersuchen, häufig mit Vorbehalten und einer gewissen Verleugnungstendenz in Bezug auf Fragen sekundärer Traumatisierung konfrontiert werden. In ihren Selbstzeugnissen neigen einige Probanden zu Übertreibungen oder starker Zurückhaltung. Es liegt in der Natur der Studie, dass sie retrospektiv ausgeführt wurde. Die Etablierung von Traumazentren in den letzten 20 Jahren – mit relativ wenig Vorwissen und Vorerfahrungen auf diesem Feld – war ein Experiment für sich.

Ergebnisse

Modelle der Gruppenentwicklung

Die in Traumateams beobachteten Phänomene spiegeln sich in Theorien über die Bildung von Gruppen, wie Bions Modell der „Abhängigkeits-, Kampf/Flucht und Paarbildungsgruppe“ (Bion, 1970) und Tuckmans Modell der Phasen von *Forming* (Einstieg und Findung), *Storming* (Auseinandersetzung und Streit), *Norming* (Regelung und Übereinkunft) und *Performing* (Arbeit und Leistung) in der Gruppenbildung (Tuckman, 1965). In der frühen Pionier- oder „Flitterwochen“-phase der Traumazentren ähneln die Teams der Abhängigkeits- oder der Forming-Gruppe. Die Gruppe fühlt sich in einem gemeinsamen Gefühl der Unsicherheit vereint und ist vom Leiter abhängig, der sie vor der feindlichen Außenwelt schützt (Abhängigkeitsgruppe, Bion). Das ist eine Periode des gegenseitigen Kennenlernens, in der man ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickelt, sich über Ziele und Aufgaben einigt und einen Minimalkonsens erzielt (*Forming*, Tuckman). Später entdecken die einzelnen Teammitglieder

die Unterschiede untereinander und wetteifern um unterschiedliche Ideen und Ziele (*Storming*, Tuckman). Die Gruppe legt ein regressives Verhalten an den Tag und spaltet sich in konkurrierende Fraktionen. Ein Teil schlägt sich auf die Seite des Leiters, der andere Teil versucht diesen zu attackieren oder ergreift die Flucht (Kampf/Fluchtgruppe, Bion). Diese Phase kann sehr unangenehm, schmerzhaft und destruktiv sein. Doch sie ist ein notwendiger Teil der Gruppenbildung. Sie wird abgelöst von einer Phase gegenseitiger Anpassung, in der man sich auf Regeln, Werte, professionelle Standards, Arbeitsmittel und -methoden einigt (*Norming*, Tuckman). Die Gefahren des Kampf-/Fluchtkonflikts veranlassen die Gruppe, eine integrative Leitfigur zu suchen, meist ein männlich-weibliches Leitungspaar, welches das Überleben der Gruppe sichert und ein Zeichen von Reife ist (Paarbildungsgruppe, Bion). Tuckman fügt eine weitere Stufe hinzu: *Performing*. Das Team ist in der Lage, effektiv als eine Einheit zu funktionieren, die Mitglieder sind voneinander abhängig, motiviert und sachkundig. Meinungsverschiedenheiten werden erwartet und sind erlaubt, solange sie auf akzeptable Weise ausgetragen werden. Die von uns untersuchten Teams machten alle mehr oder weniger diese Schritte durch. Einige blieben in der Storming- bzw. Kampf/Flucht-Phase stecken. Einige verfielen in einer überaus rigiden Normingkultur, die individuelle Kreativität behinderte und ein betriebsblindes „Gruppendenken“ erzeugte. Einige Gruppen durchliefen diese Schritte wieder und wieder, während sich in anderen Gruppen Elemente von Forming, Norming und Storming überschneiden und gleichzeitig auftraten.

Die Pionierphase von Traumazentren - Forming

Die meisten der untersuchten Einrichtungen wurden von charismatischen und visionären Pionieren mit unternehmerischen Fähigkeiten und einem Missionsgeist gegründet, die sie dazu befähigte, ihre Projekte aufzubauen und gegen widerborstige Bürokratien und die vorherrschende Verleugnung und Gleichgültigkeit seitens der Gesellschaft zu verteidigen. Weil sie jedoch strukturelle Fragen ignorieren und vernachlässigen sowie zu Selbstüberschätzung neigen, behindern manche Pioniere die Transformationen ihrer Organisation in eine professionell geleitete Gesundheitseinrichtung. Die Organisationskultur während der Pionierphase hat einen Anflug von Flitterwochen, sie ist geprägt von einem freundschaftlichen, kumpelartigen Arbeitsklima, von Begeisterung, informellen Beziehungen ohne Kontrolle und Rechenschaftspflicht. Solch eine Pionierorganisation kann ziemlich gut funktionieren, solange Größe und Programm überschaubar bleiben.

Einige Zitate aus den Interviews mögen dies veranschaulichen:

„Es gab damals keine vergleichbare Institution in unserem Land und diese Situation hat den Beginn sehr stark geprägt, wir waren ein Stück weit euphorisch, erfüllt von unserer Mission.“

„Wir waren so eine verschworene Gemeinschaft. Wir haben zusammen gefeiert, dadurch waren Arbeit und Privat nie richtig getrennt... das erlebte ich als was sehr Angenehmes, wir waren froh, uns gefunden zu haben.“

„In den ersten Jahren waren wir sehr naiv, alle Geschichten berührten uns sehr stark.“

„Wir hofften, dass wir das Establishment in der Medizin und der Psychologie überzeugen können, dass das ein neues Gebiet ist und dass es sehr wichtig sei, dass Ärzte und Psychologen über die Folgen von Trauma aufgeklärt werden.“

Wenn jedoch die Belegschaft, das Budget und die Vielfalt der Aufgaben wachsen, wird eine Differenzierung dieser „Gemeinschaft von Freunden“ in eine mehr professionell geführte Einrichtung mit Arbeitsteilung und einer gewissen Hierarchie der Entscheidungsebenen unumgänglich. Einrichtungen, die diesen schmerzhaften Veränderungsprozess erfolgreich bewältigten, funktionierten letztendlich recht gut und schufen ein gesundes Klima sowie gute Arbeitsbeziehungen. Mit erheblichen Problemen zu kämpfen hatten hingegen jene Einrichtungen, in denen die Pioniere sich als unfähig erwiesen, loszulassen und sich von der dysfunktionalen Struktur der „Flitterwochenphase“ zu verabschieden.

Organisationen mit niedrigem Stresspegel – konstruktives Norming

Drei einigermaßen gut funktionierende Organisationen mit geringen Stress- und Konfliktpegeln wurden untersucht. Es stellte sich heraus, dass es ihnen gelang, die Storming-Phase unbeschadet zu überstehen und die strukturellen Defizite der Pionierphase im Zuge eines Transformationsprozesses in Richtung professionelleren Managements mit klarer Rollen- und Aufgabenverteilung zu überwinden. In der Folge sanken der Stress- und Konfliktpegel der Storming-Phase. Tabelle 1A zeigt strukturelle Besonderheiten, die wir in diesen Organisationen vorfanden.

Schlüsselemente einer gut funktionierenden Organisation

Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Funktionieren sind ein unabhängiger Aufsichtsrat/Vorstand, eine klar

autorisierte Leitung nach dem „good parenting principle“ (positive Elternrolle, siehe 5.5), wie es ein Interviewpartner ausdrückte, und eine klare Definition von Rollen, Vollmachten, Verantwortung und Rechenschaftspflichten von Mitarbeitern.

Ein Leiter, der die Organisation nach einer langen Krise übernommen und stabilisiert hatte, sagte:

„Früher war unser Aufsichtsrat aus Betroffenen zusammengesetzt, die nicht neutral waren, und es gab damit große Probleme ... jetzt wurde ein Aufsichtsrat gebildet, der absolut unabhängig ist, mit einem Unternehmer, einem Parlamentarier, etc. ... Ich als Leiter brauche solch einen rationalen Aufsichtsrat, der mich leitet, denn ich kann auch in die Emotionen des Mitarbeiterteams verwickelt werden. Ich brauche ein solches Gremium, das mich korrigiert.“

Ein Supervisor meinte:

„Es muss eine transparente und gut vom Team getragene Leitung sein. Es kann ein autoritärer oder ein sehr demokratischer Leiter sein, ein Mann oder eine Frau, das spielt keine Rolle, aber es muss eine klar definierte Leitung sein.“

Helfer in diesen Einrichtungen neigen zu einer weniger idealistischen und stärker realistischen Haltung. Sie legen mehr Wert auf Professionalität als auf Politik. „Die Herausforderung ist es, Ziele zu haben, die erreichbar sind, damit man nicht die Hoffnung verliert ... andernfalls hören die Menschen auf zu glauben.“

„Am Anfang gab es sehr viel mehr Idealismus, vielleicht brauchten sie das, weil es viel mehr ‚Guerilla-Arbeit‘ gab. Aber nun, wo sich das Team entwickelt hat, ist die Kultur vielleicht nicht mehr so bestimmt von Leuten, die idealistisch sind.“ „Wenn du nicht professionell bist, wirst du nicht ernst genommen. Du kannst politisch sein, aber das hält am Ende nicht lange. Wenn Du Dich als ernsthaft professionelle Person etablierst hast, dann wirst Du nicht so leicht zur Seite geschoben, als wenn Du nur als politischer Aktivist auftrittst.“

Klinische Fallsupervision und Intervention sind entscheidende Instrumente, um mit dem zerstörerischen Material umzugehen, das dieser Arbeit inhärent ist. (Lansen, 1996; Lansen & Haans, 2004). Da es eine starke Tendenz gibt, sich entweder mit dem Opfer oder dem Täter zu identifizieren, benötigt man einen geschützten Raum zur Selbstreflexion aus der Vogelperspektive. Ein Leiter schilderte das Beispiel eines Kollegen aus seinem Team: „Er zog sich zurück, er war sehr bitter und isolierte sich ... es war ein Fall von Überengagement, wo man keine Distanz mehr hat und sich im Leid des Patienten verliert im narzisstischen Glauben, das man ihn retten könne. Jeder Traumatherapeut erlebt das eine oder andere Extrem ... entweder ist es Abkopplung oder Überengagement im Behandlungsprozess. Aber in der Intervention kann es gelingen, die ‚Helikopterperspektive‘ einzunehmen. Und die besagte Person ist dann in der Lage, sich zu korrigieren.“

Ein weiteres Mittel zum Schutz und zur Stressprophylaxe sind Forschung und Lehre, die es einem ermöglichen, von der täglichen Klientenarbeit Abstand zu gewinnen und diese zu reflektieren und zu analysieren. Ein Interviewpartner nannte als seine Richtschnur „*Reframing instead of containing*“ (Umwandeln statt Auffangen). „*Wenn man einfach nichts tut, dann wird man traumatisiert. Aber wenn man sich umdreht, seine Erfahrungen nimmt, sie umwandelt, in die Ausbildung, die Lehre und die Beratung einbringt zum Beispiel ...Von Folter zu hören, ist für sich schlimm. Wenn man aber diese schlimmen Dinge als Beispiele nimmt, mit denen man andere dazu bringt, Besseres zu tun, dann verliert es seine negative Macht in mir selbst.*“

Ressourcen der Helfer und Selbstfürsorge

Die Probanden nannten eine ganze Reihe von Ressourcen und erfüllenden Aktivitäten, die sie befähigten, die Herausforderungen ihrer Arbeit zu meistern. So zum Beispiel ein eigenes – in therapeutischer Ausbildung durchgearbeitetes – Trauma als Antriebskraft, die Empathie mit den Klienten, der Kampf gegen Ungerechtigkeit, politisches Engagement, das Eintreten für die Klienten, Medienarbeit, Fundraising, Erfolgserlebnisse in der Klientenarbeit, Unterstützung von und Austausch mit Kollegen, Fortbildung, Forschen, Publizieren, Lehren, realistische Ziele, pragmatischer Ansatz, keine Dogmen und Freiheit von moralischem Druck.

Als spezifische Strategie der Selbstfürsorge erwähnten sie die Reduktion auf eine Teilzeitstelle, die Rotation in andere Tätigkeitsfelder, „Tage der psychischen Gesundheit“ (*mental health days*), ein Sabbatjahr, Abschirmen des Privatlebens vom Berufsleben, Zeit verbringen mit Familie, Kindern und Freunden, Zeit zur Pflege von Hobbys wie Literatur, Theater, Kino, Musik, Kunst, Tanzen, Natur, Sport oder Kochen, den Sinn für Humor bewahren als Gegenmittel zu den düsteren Inhalten dieser Arbeit.

In Einrichtungen mit niedrigem Stress- und Konfliktpegel unterstützen und fördern die Leitungskräfte diese Selbstfürsorge-Strategien. Saakvitne et al. haben Trainingsmodule zur Selbstfürsorge entwickelt, die größtenteils auf den gleichen Ressourcen aufbauen (Saakvitne et al., 2000). Ähnliche Konzepte werden von Reddemann (2003) vertreten.

Tabelle 1

A. Struktur von Einrichtungen mit niedrigem Stress- und Konfliktpegel	B. Struktur von Einrichtungen mit hohem Stress- und Konfliktpegel
Professionelle Leitung mit pro cura, nach dem „good parenting principle“	Fehlen von oder nur pro forma Leitung zum Schein
Delegation von Aufgaben und Verantwortlichkeiten nach Kompetenz	Basisdemokratie, alle entscheiden alles, keiner übernimmt Verantwortung
Klare Definition von Rollen und Kompetenzen	Rollen- und Kompetenzdiffusion, alle machen alles
Effektive, transparente Entscheidungsprozesse	Schwerfällige, langwierige, intransparente Entscheidungsprozesse
Konfliktmanagement durch Leitung	Grabenkämpfe zwischen informellen Leitern
Leitung schützt schwächere Kollegen vor Übergriffen	Machtmissbrauch durch informelle Leiter
Klar geregelte Arbeitsorganisation	Chaotische Arbeitsorganisation
Einhaltung von Grenzen	Grenzüberschreitungen
Balance zwischen Empathie und professioneller Distanz	Überidentifizierung und Verstrickung mit Patienten
Gemeinsame realistische Ziele, gemeinsame Behandlungsphilosophie	Fehlen gemeinsamer Ziele und Behandlungsphilosophie
Externe klinische Supervision	Keine oder nur sporadische klinische Supervision
Geschützter Raum für die Bearbeitung destruktiver Dynamik	Reinszenierung des Traumas ohne geschützten Raum für Bearbeitung
Selbstfürsorge, Care for Caregivers	Selbstaufopferung
Sorgfältige Auswahl von Personal nach Professionalität und Persönlichkeit	Mangelnde professionelle Qualitätsstandards
Kontrollorgan (Vorstand/ Aufsichtsrat) von unabhängigen externen Personen	Fehlen eines unabhängigen Kontrollorgans, Vermischung der Ebenen von Personal, Leitung und Kontrollorgan
Therapeutische Ausbildung mit Selbsterfahrung für Helfer mit Patientenkontakt	Unzureichende therapeutische Ausbildung, keine Selbsterfahrung
Stabile Finanzsituation	Instabile Finanzsituation, Leben von der Hand in den Mund

Einrichtungen mit hohem Stresspegel - permanentes Storming

Einrichtungen mit einem hohen Stress- und Konfliktpegel sind nie über die Pionierphase hinausgekommen. Sie blieben in ausweglosen und zermürbenden Auseinandersetzungen stecken, es gelang ihnen nicht, einen Transformationsprozess auf den Weg zu bringen, und die Kultur der Pionierphase verhinderte auf Dauer ein effektives Funktionieren der Organisation. Tabelle 1B zeigt die Charakteristika dieser Einrichtungen.

Ein typisches Beispiel ist die Struktur, die wir in Organisation „A“ vorgefunden haben. Figur 1 bildet das formelle Organigramm ab.

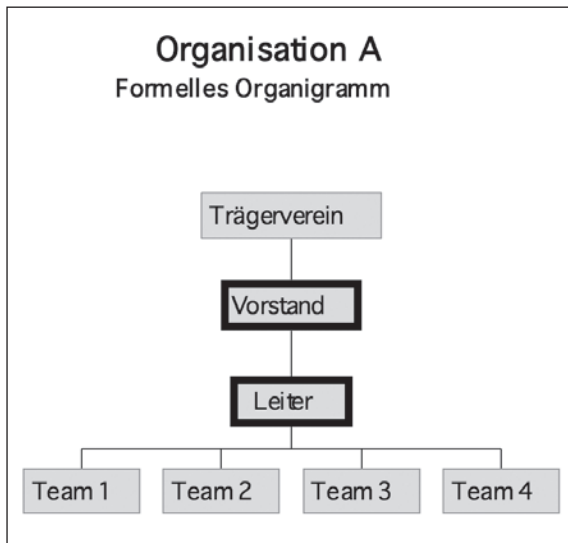
Es zeigt die offiziellen Organe: den Träger, einen gemeinnützigen Verein, dessen Mitglieder einen Vorstand wählen. Dieser beruft und kontrolliert den Leiter, welcher verantwortlich ist für die verschiedenen Behandlungsteams, die mit den Klienten arbeiten. Die Mitgliederversammlung in gemeinnützigen Vereinen sollte aus unabhängigen Persönlichkeiten aus verschiedenen Berufen und Repräsentanten gesellschaftlicher Gruppen zusammengesetzt sein und einmal im Jahr tagen. Der von der Mitgliederversammlung gewählte Vorstand besteht somit aus unabhängigen Personen, die sich bis zu sechs Mal im Jahr treffen. Sie arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich, sollten keine „Aktien“ im – d.h. keine Eigeninteressen am – Unternehmen haben und nicht in das Alltagsgeschäft der Einrichtung involviert sein. Ihre Aufgabe besteht darin, den Haushalt zu kontrollieren, die allgemeinen Richtlinien festzulegen und den Leiter zu ernennen und zu kontrollieren. Die Belegschaft ist in verschiedene Helferteams unterteilt, die gegenüber dem Leiter rechenschaftspflichtig sind. Auf den ersten Blick ist diese gegenüber der Außenwelt und den Geldgebern präsentierte Oberflächenstruktur die einer gewöhnlichen Einrichtung der Gesundheitsversorgung oder der sozialen Dienstleistung.

Figur 2 zeigt das informelle Organigramm, wie es sich aus den Beschreibungen der Interviewpartner, den Organisationsanalysen und externen Evaluationen darstellt. Es zeigt die wirkliche Dynamik, die eigentlichen Verbindungen und Machtstrukturen. De facto sind alle Mitarbeiter gleichzeitig Mitglieder des gemeinnützigen Trägervereins, was bedeutet, dass sie eine Doppelrolle haben, gleichzeitig Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind, d.h. „Aktien“ im Unternehmen haben. Das führt zu einem Interessenskonflikt. In der Praxis haben Mitarbeiter bei einigen Gelegenheiten unliebsame, unpopuläre Entscheidungen des Leiters und Vorstandes zu Gehaltsfragen, Arbeitsabläufen und Verhaltensregeln per Mehrheitsentscheidung einer außerplanmäßigen Mitgliederversammlung wieder ausgehebelt. Es kam vor, dass vor einer solchen Versammlung zwecks Majorisierung kurzfristig neue Mitglieder rekrutiert wurden.

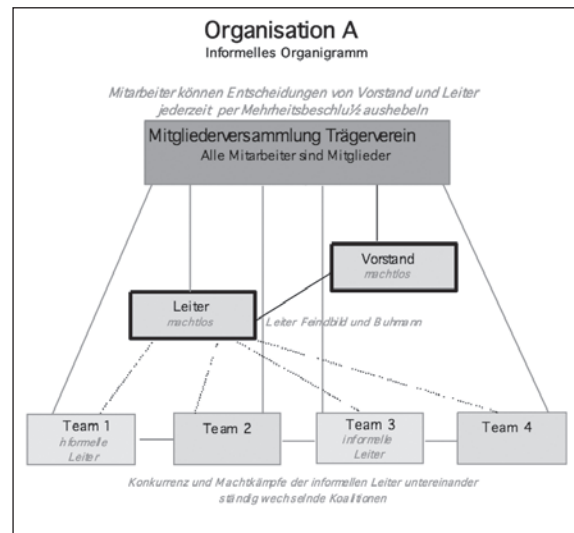
Da die Mitgliederversammlung des Vereins das höchste rechtliche Organ darstellt, kann sie den Leiter und den Vorstand überstimmen.

Leiter und Vorstand sind praktisch machtlos und ohne wirkliche Entscheidungsbefugnis. Stattdessen tauchen in den verschiedenen Teams informelle Leiter auf, die miteinander konkurrieren. Es kommt zu wechselnden Koalitionen und permanenten Grabenkämpfen darüber, wer wozu etwas zu sagen hat. Die Entscheidungsprozesse sind unklar und nicht transparent. Es herrscht ein Mythos, dem zufolge alle Entscheidungen gemeinsam im Team getroffen werden und jeder bei allen Angelegenheiten mitreden kann. Dies ist unmöglich zu erreichen und erweist sich in einer Organisation dieser Größe (mit einer Belegschaft von über 30 Personen) als dysfunktional. Infolgedessen wird nichts entschieden, und Probleme werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Oder Entscheidungen werden von informellen Leitern gefällt, können aber durch neue Allianzen und populistische Strömungen im Team jederzeit ausgehebelt werden. Der Leiter wird zum Sündenbock gemacht für alles, was schief läuft.

Es herrschen allgemeines Chaos und eine Stimmung von Argwohn, Feindseligkeit und Misstrauen. Fraktionen innerhalb des Teams schikanieren den Leiter und einzelne Teammitglieder. Die Teams sind zersplittert in „Freund und Feind“. Es gibt kaum Regeln, und vorhandene Regeln werden nicht befolgt. Es gibt keine gemeinsame Behandlungsphilosophie, und jeder Helfer hegt sein eigenes kleines Reich, das er ängstlich gegen äußere Einmischung und Kontrolle verteidigt. Patientenakten werden nur sporadisch und mangelhaft geführt. Grenzen werden überschritten in Form von ausgedehnten Therapiesitzungen, unnötigen zusätzlichen Dienstleistungen für die Alltagsbewältigung der Klienten, Überarbeitung und politische Aktivitäten, die nicht unter das Mandat der Einrichtung fallen. Die Helfer verlieren die professionelle Distanz und überidentifizieren sich mit den Klienten. In einigen Fällen kam es zu intimen Beziehungen zu Klienten oder Klienten wurden von Therapeuten in deren arbeitsrechtliche Konflikte hineingezogen. Das konfliktbeladene und angespannte Arbeitsklima führte zu einer hohen Fluktuation innerhalb der Belegschaft und einem häufigen Wechsel der Leitung. Die Folgen sind fehlende Kontinuität sowie ein Mangel an institutionellem Gedächtnis.



Figur 1



Figur 2

Besonderheiten der Kultur von Traumazentren

In der Organisationskultur von Traumazentren lassen sich spezifische traumabezogene Merkmale wieder finden, welche die Ursache dauerhafter Konflikte und Reibereien sein können, wenn die Einrichtung in der Storming-phase stecken bleibt und es versäumt, sich einem Reformprozess zu unterziehen. Bei gut funktionierenden Strukturen und einem gesunden Arbeitsklima müssen diese Merkmale sich nicht zwangsläufig negativ auswirken.

Märtyrerkomplex, Selbstopferung, Überidentifizierung

Die Themen Gewalt und Unterdrückung rufen starke Gefühle von Empathie hervor, verbunden mit hohen moralischen Ansprüchen an einen selber: für die Opfer Partei zu ergreifen, sich selbst aufzuopfern. Eigennützige Impulse wie Karrierestreben und Gehaltsforderungen, die in anderen Branchen ganz selbstverständlich sind, werden eher abgespalten und unterdrückt.

„... Man entwickelt einen Märtyrerkomplex. Die ganze Welt lastet auf Deinen Schultern. Jeden Tag fühle ich mich überarbeitet und dass ich nicht genug getan habe.“

„...Ich muss ein guter Mensch sein, und ich bin ein guter Mensch, weil ich mich auf die Seite der Opfer stelle. Ich muss in einem erheblichen Ausmaß meine eigenen destruktiven Tendenzen, egoistisch sein, Geld haben wollen, unterdrücken...“

„Alle, die hier arbeiten, sind hochgradig engagierte Personen, die sehr große Anforderungen an sich selbst stellen und deshalb sehr streng mit sich selbst und anderen sind.“

„... Es gab eine Person, die in keiner Situation weinen würde und das hat sie offensiv vertreten.“

„... Ich muss eine Spannung aushalten, die entsteht durch diese extreme Position von Opfer und Täter ... es gibt einen starken Identifikationsdruck mit den Opfern, ich kann dem gar nicht entgegen.“

„... Wir waren alle überidentifiziert, wir haben die Klienten in Watte gepackt.“

Narzissmus, Größenfantasien

Einige Pioniere und Helfer in Traumazentren neigen zu Selbstüberhöhung, zu einem missionarischen Sendungsbewusstsein mit einem Gefühl von Einzigartigkeit.

„... Wir (Traumatherapeuten d.V.) sind etwas ganz Besonderes. Niemand macht so eine Aufgabe wie wir.“

„...wir waren überdurchschnittlich narzisstisch, irgendwie beschädigt ... ein schlechtes Selbstwertgefühl. Wir sind so eine Art Elite der Gutmenschen ... Eine Größenfantasie kompensatorischer Art im Nebeneinander mit der Hilflosigkeit, über die man kaum spricht ... Ich habe das gehabt, dass ich ein Erleuchteter bin, so ein Gefühl von Stolz...“

„...vielleicht fand er, dass er etwas Fantastisches werden konnte wie Mutter Theresa, der Welt guter Samariter, der Retter der Welt...“

Eigenes Trauma – Ressource und Risiko

31,1% der interviewten Helfer berichten, selbst ein Trauma erlitten zu haben. Für viele war dies das Motiv, diesen Beruf zu ergreifen und eine Quelle des Verstehens und sich Einfühlens in die Klienten. „Ich habe selbst Folter erfahren ... und für mich persönlich war die Arbeit in solch einer Institution gleichzeitig eine Rehabilitierung meiner eigenen Geschichte.“

„Bei zwei Kollegen weiß ich es (das Helfer-Trauma, d.V.) explizit... ich sehe es als eine Ressource ... Sie haben ihre Geschichte genügend gut integriert, um gut arbeiten zu können.“

Jedoch wird es zum Risikofaktor, wenn diese Erfahrungen nicht in einer therapeutischen Ausbildung mit Selbsterfahrung genügend durchgearbeitet worden sind.

„Die meisten Kollegen haben keine gute Traumatherapie gemacht... und das ist der Grund, warum sie sich nicht an das Trauma ihrer Klienten herantrauen ... weil in dem Moment, wo ich in die Traumaexposition gehe, kommt mein eigenes hoch und dann kann ich die Distanz nicht mehr halten.“

Einer der befragten Supervisoren schildert seine Beobachtung so: „Man sieht z. B. bei Leuten, die selbst gefoltert wurden und dann Berater für Folteropfer geworden sind, dass sich dort eine Art von Fixierung zeigt, dass sie nicht mehr die Flexibilität haben, um die neuen Erfahrungen (zu verarbeiten, d. V.), ... sie sind oft sehr misstrauisch ... (so)dass sie viel zu wenig Vertrauen geben können.“

Die Reinszenierung des Traumas

Die Atmosphäre in Organisationen mit hohem Stress- und Konfliktpegel ist gekennzeichnet von einer Reinszenierung der traumatischen Welt der Klienten, eines Klimas von Angst und Verfolgung, Phantasien über die Präsenz von Geheimdiensten, Täter-Opfer-Beziehungen, Besessen-Sein von Gewaltthemen und Spaltungstendenzen wie Kategorisierung von Kollegen in Gut und Böse, Freund und Feind. Das chaotische, unstrukturierte und unberechenbare Umfeld spiegelt die totale Struktur- und Orientierungslosigkeit, die das Opfer erlebt hat, während es der Willkür des Täters ausgeliefert war.

Das Besessen-Sein von Gewaltthemen

Helfer berichten ausführlich und bis ins kleinste Detail von den Greuelthaten, die der Klient erlebt hat. In Broschüren für die Öffentlichkeitsarbeit werden Fotos von Verstümmelungen, grausamen Szenen in der Folterkammer und Vergewaltigungen gezeigt. In Filmstreifen sieht man Gefangene, die mit Knüppeln geschlagen werden, unterhalb von Schreien und düster-bedrohlicher Musik.

„Ich fragte den Kollegen nach einem langen Arbeitstag, als wir bei einem Glas Wein zusammensaßen und er unablässig weiter von der Arbeit sprach: ‚Sag mal, hast Du eigentlich ein Hobby?‘ Daraufhin antwortete ein Kollege an seiner statt: ‚Ja, Folter!‘“

Täter-Opfer-Beziehungen

„...wenn jemand irgendwas kritisiert hat, dann (hieße es), jetzt verhältst Du Dich wie ein Täter... ganz schnell gab es bei dieser Auseinandersetzung die Ebene: ‚Wer ist hier Täter, wer ist hier Opfer?‘...“

„...man wird von beiden Seiten beeinflusst, in der Rolle des Täters und des Opfers. Man verinnerlicht es, wenn man keine rekreative Sphäre innerhalb des Zentrums und außerhalb im Privatleben hat.“

Feindbilder

„...die Organisation hatte die Tendenz, nach einem Feind zu suchen, den man beschuldigen konnte. Und wenn diese Person gegangen war, trat nach kurzer Zeit ein neuer Feind auf.“

„...Er (der Leiter) hat eine pathologische Fähigkeit, Feinde zu sehen und auf andere Leute zu projizieren. Das ist nach außen nützlich, denn damit kann er ein Auditorium in Bann ziehen, dieses ‚Seht her! Da sind sie, die Täter!‘ Aber intern ist das gefährlich. Das könnte ein Teil der Erklärung für das giftige Klima sein, das wir hier haben...“

„...Diese Art von klaren Feindbildern, die gibt es ja hier⁴ so nicht. Man hat so einen Generalverdacht, der sich gegen die Gesetzgeber richtet, der die Opfer, die MigrantInnen irgendwie benachteiligt. Sei es die Polizei oder die Anhörer, in Wirklichkeit sind es doch ganz Böse, sind das kleine Folterer.“

Spaltungstendenzen

„...Es ist sehr schwer, diese Spannung auszuhalten, die entsteht durch diese extreme Position von Opfer und Täter, wenn man keine Selbsterfahrung, keine Vorbildung hat im Sinne der Selbsterfahrung ... diese Spannung muss dann irgendwohin. Und dann ist plötzlich der mein Feind, der sich mit der Gegenseite im Gespräch identifiziert ...“ Das Traumazentrum „hat eine Tendenz zur Borderline-Struktur, wo es den ganz archaischen Abwehrmechanismus der Spaltung gibt ... diese absolute Trennung in Gut und Böse. Da gibt es keine Integration und nichts, was da zusammenführen kann. Dass ich einen Menschen sowohl als auch sehen kann, diese Integrationsleistung ist kaum möglich ...“

„...der Kollege hat eine starke Tendenz zu spalten. Ich glaube, dass er misshandelt worden ist. Ich sehe in ihm ein verletztes Kind ...“

„...Ich denke, dass die Hälfte der Kollegen gut abspalten kann ... Und ich finde Abspaltung was Pathologisches. Ich finde es schwierig für Klienten, wenn die einen Therapeuten vor sich haben, der abspaltet und nicht weiß, was er da abspaltet. Immer in diesem ‚es muss besser werden und wir müssen jetzt helfen‘ und nicht wirklich mit tragen können, was da los ist ...“

Sich verfolgt fühlen

Ein Helfer beschuldigt einen anderen öffentlich in einer Teamsitzung, für den Geheimdienst eines Verfolgerstaates zu arbeiten.

„... er sagte oft, dass dies ein Ort sei, wo der Geheimdienst versuchen würde, in den Besitz von Informationen zu gelangen ...“

„... das Klima war so, dass Gerüchte genährt wurden, dass (von der Leitung) Telefone abgehört und E-Mails kontrolliert werden ...“

„... der Kollege versuchte, mich zu überzeugen, dass jemand ihm folge und die Luft aus den Reifen seines Autos herauslasse. Jede Woche sei der Reifen platt. Ich habe es zunächst geglaubt, aber ich habe es nie gesehen. Es war ein Phantasieprodukt.“

In der Gewalt des Täters

Ein Helfer erinnert sich an eine spezielle Methode von Expositionstherapie in seiner Einrichtung, die von den Kollegen satirisch ‚Bulldozer Methode‘ genannt wurde: „Das ist eine Methode, das Opfer zum Reden zu bringen. Wenn das Opfer nichts von der erlebten Gewalt erzählen will, dann hatte der Therapeut Bilder von Gewaltszenen in seiner Schublade ... erst zeigte er ihm eine leichtere Szene, legte sie vor ihm auf den Tisch und fragte: ‚Erinnert Sie das an etwas?‘ Und wenn das Opfer nicht reagierte, zusammenbrach oder gestand, zeigte ihm der Therapeut eine schlimmere Szene ...“

Ein Helfer beschreibt, wie die Intrigen in seiner Einrichtung, dieses „nicht wissen, woran man ist“, ihn an das erinnern, was seine Klienten erlebt haben: „Ständig bildeten sich neue Allianzen in den verschiedenen Teams, die Leute haben sich ständig gegenseitig bekämpft, und mir, als dem Chef, wurde die ganze Schuld gegeben. Ich saß wie versteinert in meinem Büro, weil ich nicht wusste, von wo und von wem der nächste Angriff kommen würde. Es spiegelte in gewisser Weise die Erfahrungen unserer Klienten wider, die mir oft erzählten, dass die schlimmsten Zeiten nicht die im Verhörraum waren sondern die Zeit zwischen den Verhören, wenn man in seiner Zelle wartete und nicht wusste, was als nächstes passieren würde, nicht zu wissen, wann kommt er (der Peiniger) wieder? Wie wird er anfangen, in welchem Raum wird es sein? Werde ich mich schützen können, werde ich mich nicht schützen können?...“

Der Mythos von einer Gemeinschaft ohne Hierarchie, informelle Macht

Viele Gründer von Traumazentren glauben, dass Hierarchie, Macht und Leitung per se etwas Gefährliches seien und zu Missbrauch und Unterdrückung verleiteten.

„... Der Kampf gegen Hierarchie ist das Motiv für die Mitarbeit in humanitären Organisationen ...“

„...wir haben uns ein Team zusammengebaut von geplagten, sehr wohlmeinenden und auch kompetenten Menschen, denen es aber in diesen Machtapparaten ein Stück weit übel ergangen ist ... wir sind so ein bisschen wie Outlaws in diesem Gebiet ... aber durchaus das Herz auf dem rechten Fleck ...“

„...das Hauptanliegen war, nichts mehr zu erleben, was uns kontrolliert, alles selbst in der Hand zu haben ... wir sind so die Wachsamkeit in der Gesellschaft, wir müssen alternativ und anders sein ...“

Ein Helfer sieht in den ständigen Kämpfen mit Leitungsorganen „eine Art von Parallelprozess, der damit zu tun hat, dass wir gegen alles waren, das irgendwie eine Autorität symbolisiert, genauso wie unsere Patienten auch gegen die staatliche Autorität eingestellt waren“.

Unter der Oberfläche eines scheinbar egalitären Teams bilden sich jedoch informelle Machthaber heraus, die ihre Macht missbrauchen. „In jeder Institution gibt es eine Hierarchie des Wissens, der Erfahrung, des Alters ... Aber das ist eine unregulierte, nicht formell festgehaltene Hierarchie, die ihre eigenen Gefahren birgt.“

„In der Vermischung von Persönlichem und Politischem, dass nicht mehr deutlich wird, wo ist die persönliche Befriedigung, ... da sehe ich Parallelprozesse ... es ist die Frage, wie man sie erkennt und wie man sie auch deutet, und das, fand ich, lief bei uns häufig sehr gewalttätig ab, immer auch mit Geheimnissen verbunden, auf keinen Fall offen.“

„Wir haben eine Hierarchie, die aber keine richtige Hierarchie ist. Denn hinter dieser Hierarchie verbergen sich Allianzen ... das System ist sehr stark von missbräuchlichen Strukturen geprägt. Es gibt sie, es gibt Tabus, es gibt Geheimnisse und es gibt Allianzen ... einige Kollegen aus diesem Bereich empfinde ich als absolut grenzverletzend und absolut Macht missbrauchend.“

Es ist auffallend, dass diejenigen, die am stärksten eine anti-hierarchische Struktur und Basisdemokratie propagieren, selbst am stärksten informelle Macht ausüben. Sie kaschieren ihre persönlichen und materiellen Interessen, ihr Streben nach Ruhm und Macht mit dem Nimbus des selbstlosen Vertreters von Teaminteressen, des Anwalts der Benachteiligten. Die informelle Macht, die im hierarchiefreien Raum entsteht, birgt ein höheres Missbrauchsrisiko als formelle Macht, die in einer klar definierten Struktur von Regeln und Rollen eingebettet ist. Die informelle Macht operiert im Verborgenen, sie ist weder greifbar noch transparent, sie ist niemandem Rechenschaft schuldig und unterliegt keiner Kontrolle durch unabhängige Organe wie einem Vorstand oder Aufsichtsrat.

Aus diesem Grund ist der Missbrauch informeller Macht viel schwieriger zu erkennen und aufzudecken als der Missbrauch von öffentlich kontrollierter formeller Macht. Der Mythos eines hierarchiefreien Raumes ignoriert die Tatsache, dass eine Hierarchie sehr wohl eine schützende Funktion im Sinne des „good parenting“ erfüllt. Eltern schützen kleinere Kinder vor ihren älteren Geschwistern, eine Führungsperson schützt schwächere bzw. jüngere vor älteren oder dominanten Teammitgliedern.

Der Mythos vom egalitären Team

Ein weiterer allgemein verbreiteter Glaube ist, alle seien gleich und alle Entscheidungen müssten im Konsens im Team getroffen werden. Das mag bei einer kleinen Pioniergruppe in der „Flitterwochenphase“ der Einrichtung funktionieren. Es erweist sich jedoch als dysfunktional, wenn die Einrichtung wächst und Aufgaben, Ziele und die Belegschaft immer unterschiedlicher werden.

Interviewpartner berichten, dass manche Teamsitzungen sehr lange dauern, in manchen Einrichtungen teilweise bis zu sechs Stunden die Woche:

„... ich habe das Gefühl, dass viel geredet wird. Einmal vergeht viel Zeit... und dann gibt es unter der Decke so einen Sud von diesem und jenem, und am Ende weiß nämlich keiner, wer ist zuständig, und meistens ist überhaupt nichts gemacht...“

„... es kostet sehr viel Zeit und sehr viel Kraft. Mich machen diese Team-Sitzungen immer völlig fertig. Das ist der schlimmste Tag für mich in der Einrichtung ...“

“Wenn Du da immer wieder kämpfen musst für eigentlich selbstverständliche Sachen, dann kommst Du in solche Gefühle von ‚Ich bin hier Sisyphus.‘“

„... es ist wirklich ein Gegen-Windmühlen-Anlaufen. Ich laufe wie der Hamster im Rad. Ich mache immer weiter, immer weiter. Ich verausgabe mich eigentlich in jeder Richtung.“

Es gibt Einrichtungen, die so weit gehen, Klienten in Entscheidungsgremien aufzunehmen. Einige Berliner Anti-Gewaltprojekte etwa propagieren in einer Selbstdarstellung unter der Überschrift „Betroffenen-kontrollierter Ansatz“, dass den Klienten bzw. Patienten die Möglichkeit gegeben werden soll, selbst Therapeuten und Angestellte der Einrichtung zu werden: „Diese grundsätzlich Option der formalen Gleichberechtigung ist Ausdruck einer Haltung, die getragen ist von der perspektivischen Möglichkeit der Aufhebung der Machtverhältnisse.“⁵

Die Analyse des Datenmaterials zeigt, dass das Fehlen einer formellen Hierarchie, die den Missbrauch von Macht verhindern soll, in Wirklichkeit den Missbrauch durch informelle und keiner Kontrolle unterliegende Macht fördert.

Organisationsanalysen gemeinnütziger Einrichtungen

Organisationsanalysen von Heimerl-Wagner & Meyer, Zauner & Simsa und Eckardstein & Zimsa (1999) schildern ähnliche wie die oben beschriebenen Strukturmerkmale als typisch für gemeinnützige Non-Profit-Organisationen (NPOs). NPOs seien – so die Autoren – davon gekennzeichnet, dass ihre Aufgaben grenzenlos sind wie z.B. die Armutsbekämpfung und der Umweltschutz. Deshalb übersteige das Arbeitsvolumen immer die personellen und finanziellen Ressourcen. Man sei von öffentlichen Geldern abhängig, und das Denken in ökonomischen Kategorien werde meist abgelehnt. NPOs würden von charismatischen, visionären Personen gegründet, die dazu neigen, organisatorische Angelegenheiten zu vernachlässigen. In der Pionierphase seien folgende Strukturen zu beobachten:

- Familiär direkter und persönlicher Umgangsstil
- Ad hoc-, improvisierter Arbeitsstil ohne Planung
- Freundschaftlich kumpelhaftes Arbeitsklima
- Erwartung gegenseitigen Vertrauens unter Mitarbeitern statt Kontrolle
- Rechenschaftslegung und Kontrolle erfolgen informell
- Konflikte werden familiär kompromisshaft geglättet
- Das Austragen von Konflikten wird vermieden und sie schwelen unter der Oberfläche
- Formelle/offizielle Organisationsstrukturen sind resistent gegen Veränderungen

Erinnernd an Tuckmans Modell der Gruppenbildung ist laut Heimerl et al. das Herauswachsen von NPOs aus den Flitterwochen der Pionierphase von Krisen begleitet mit genau den gleichen Phänomenen, wie wir sie in Traumazentren beobachtet haben:

- Machtkämpfe
- Geringe Motivation, Burnout
- Angst von Team und Mitarbeitern vor Autonomieverlust

- Widerstreben, der Leitung mehr Macht und Verantwortlichkeit zuzugestehen
- Die Folge: Mangel an Disziplin, niemand fühlt sich für die Erfüllung von Aufgaben verantwortlich
- Das Fällen notwendiger (unangenehmer) Entscheidungen wird hinausgeschoben oder vermieden
- sachliche und professionelle Angelegenheiten und Probleme werden personalisiert
- Einsatz von Totschlagargumenten in Konflikten: „unsozial“, „unmenschlich“, „undemokratisch“
- unklare Kriterien für Arbeitsleistung, unklare Ziele verursachen Orientierungslosigkeit und Unsicherheit
- Die Folge: ein permanenter Diskussionsbedarf aller über alles
- Zu viele Menschen sind an den Entscheidungsfindungen beteiligt

Das Einbeziehen dieser Erkenntnisse soziologischer Studien über NPOs kann den Konflikten in Traumazentren etwas von ihrer Sprengkraft nehmen und Ängste reduzieren. Man wird gelassener und souveräner damit umgehen können, wenn man weiss, dass der Übergang von der Pionierphase zur Professionalisierung von Reibungen und Turbulenzen begleitet ist und dies notwendige und unumgängliche Begleiterscheinungen der Organisationsentwicklung sind.

Diskussion

Die Rolle von Struktur wurde in bisherigen Studien kaum untersucht. Smith et al. (2000, 2001, 2007) identifizierten organisatorische Faktoren als eine Ursache von arbeitsbedingtem Stress, präzisierten diese jedoch nicht weiter. In einer vergleichenden Studie zwischen Traumatherapeuten und Therapeuten, die in anderen Arbeitsfeldern tätig sind, konnten sie keinen Unterschied bezüglich des arbeitsbedingten Stresspegels feststellen. Therapeuten erleben laut Smith in der Tat die Auswirkungen zwischenmenschlicher Gewalt, der ihre Klienten ausgesetzt waren. Diese scheinen jedoch eher normale Anpassungsreaktionen als destruktive Prozesse zu sein (Smith et al., 2000). In einer Untersuchung von 129 Traumatherapeuten fanden Smith et al. einen hohen Grad an emotionalem Stress in Verbindung mit Angst- und Schweregrad von PTSD bei Patienten. Burnout schien dagegen mehr mit organisatorischen als

klientenbezogenen Faktoren zu tun zu haben. Emotionaler Stress stand besonders im Zusammenhang mit Gefühlen von Angst, Zwiespältigkeit und Unklarheiten bezüglich Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Die Autoren sehen wenig Anhaltspunkte dafür, dass arbeitsbedingter Stress zu sekundärer bzw. stellvertretender Traumatisierung führt. Sie folgern, dass präventive Maßnahmen auf Angstreduktion in schwierigen Situationen abzielen sollten, auf eine bessere Unterstützung durch Teamkollegen und klarere Aufgabenverteilungen und Verantwortlichkeiten (Smith et al., 2001). Smith fand ebenso wie wir ein bei Traumatherapeuten hohes Maß an (Über-)Identifizierung. Und sie fand, dass die Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen eine Mischung aus großer Anteilnahme und überwältigenden sowie negativen Gefühlen hervorruft, wobei Borderline-Patienten eher Distanzierung auslösen (Smith 2009).

In einer quantitativen Untersuchung von Helfern in Ambulanzen für traumatisierte Flüchtlinge (n=101) identifizierte Gurriss (Gurriss, 2005, Deighton et al., 2007) als Hauptursache von Burnout und stellvertretender Traumatisierung die Erschwernisse einer erfolgreichen Traumatherapie aufgrund des unsicheren Status der Klienten als Asylbewerber und die häufigen Teamkonflikte. Symptomauslöser seien der zermürbende Kampf um das Asyl und das Scheitern einer Traumabearbeitung mit den Patienten. Therapeuten mit dieser Kombination litten besonders unter Mitleidser schöpfung (*compassion fatigue*) und Burnout. Diese Ergebnisse werden von Smith bestätigt, die niederländische Therapeuten, die mit traumatisierten Flüchtlingen und Asylbewerbern arbeiten, mit Therapeuten für Überlebende des Zweiten Weltkrieges verglichen hat. Sie fand bei Ersteren einen höheren Grad von emotionalem Stress als bei Letzteren. In einer Untersuchung an 25 Helfern konnte Birck (2001) zeigen, dass der Hauptstressfaktor nicht die Konfrontation mit den traumatischen Erfahrungen der Klienten war, sondern die permanente Belastung durch die Asylsituation mit drohender Abschiebung und die konfliktträchtige Teamdynamik. Munroe (2006) und Walkup (2002) identifizierten strukturelle Mängel in großen humanitären Organisationen als eine Ursache für sekundäre Traumatisierung und bezeichneten diese als „organisational PTSD“ bzw. „*self-deceiving organizations*“.

Einen wertvollen Einblick in die Dynamik zwischen Helfer und Patient geben Wilson und Lindy (1994) in ihrer Analyse von Gegenübertragungsreaktionen von Therapeuten, die entweder zu viel Distanz und Mangel an Empathie an den Tag legen oder die Distanz verlieren, indem sie sich mit den Patienten in eine Konfluenz und Überversorgung verstricken, welches zu gegenseitiger Abhängigkeit führt. Hafkenscheid (2003, 2005) sieht die Ursache nicht primär in den vom Klienten eingebrachten destruktiven Inhalten und unterzieht den empirischen Nachweis und den klinischen Nutzen der Konzepte von Gegenübertragung (*event countertransference*) und stellvertretender

Traumatisierung einer kritischen Analyse. Er meint, Therapeuten übernehmen diese Sichtweisen zu bereitwillig, um vom eigenen Versagen abzulenken. In der Überidentifikation mit den Patienten versäumten sie es, ihren Patienten auf einer Metaebene deren dysfunktionale persönliche Kommunikationsmuster zu spiegeln und zu korrigieren. Diese Kommunikationsmuster seien meist durch die Erfahrungen des Krieges und der Verfolgung entstanden. Stattdessen verbündeten sich die Therapeuten mit den Klienten unter dem Mythos „Wir sind alle Opfer Deines Traumas“. Die oben beschriebenen Phänomene in Traumazentren mit hohem Stress- und Konfliktpegel können in der Tat als Gegenübertragungsreaktionen oder Inszenierungen eigener ungelöster Konflikte der Helfer verstanden werden, ebenso als Inszenierungen von Patienten, die ihre Erfahrungen von Misshandlung auf den Therapeuten projizieren, der dann ähnlich pathologisch agiert wie der Patient (Gabbard, 2001). Holloway (1995) beobachtete ähnliche Übertragungsphänomene in der Beziehung zwischen Supervisor und Supervisand. Sie beschreibt, wie die pathologischen Beziehungsmuster, die der Patient unbewusst in der Beziehung zum Therapeuten agiert/reinszeniert, sich parallel dazu ebenfalls unbewusst in der Beziehung zwischen Supervisand und Supervisor spiegeln, und bezeichnet dies als Parallelprozesse. Diese Inszenierungen sind unvermeidbar und ein wertvoller Schlüssel zum Verständnis der Probleme des Patienten. Die Helfer bzw. die Einrichtung muss einen Mittelweg zwischen einem teilweisen Zulassen von Inszenierungen und gleichzeitiger Bewahrung der Fähigkeit zur Reflektion in einer klinischen Supervision finden, in der die Interaktion erforscht werden kann (Gabbard, 2001). Zur Bedeutung des Helfertraumas als Ursache von Stress und Dysfunktionalität in Organisationen haben Wilson und Thomas (2004) wichtige Erkenntnisse beigetragen. In einer Studie an 345 Therapeuten haben sie herausgefunden, dass 54% selbst ein Trauma erlebt hatten. 88,5% dieser Helfer behandelten die gleichen Arten von Missbrauch und Traumata, die sie selbst erlitten hatten. Nach Auffassung der Autoren lassen diese Daten interessante Interpretationen zu. Zum Beispiel könnte es sein, dass die Therapeuten ein bewusstes oder unbewusstes Bedürfnis haben, ihr eigenes Trauma „durchzuarbeiten“, indem sie sich mit in ähnlicher Weise traumatisierten Patienten beschäftigen. Kassam-Adams (1999) fand heraus, dass Therapeuten (n=100), die in Zentren für Opfer sexuellen Missbrauchs arbeiteten, in 60% der Fälle als Kind und in 66% der Fälle als Erwachsene missbraucht worden waren. Sie fanden bei den Therapeuten eine signifikante Korrelation zwischen Kindheitstrauma und PTSD-Symptomen.⁶ Die Daten dieser Studie lassen darauf schließen, dass ein unverarbeitetes Helfer-Trauma ein hohes Risiko für Stress und Dysfunktionalität mit sich bringt. Andererseits kann das Helfer-Trauma eine wichtige Ressource sein, wenn es im Rahmen einer therapeutischen Ausbildung durchgearbeitet worden ist.

Die oben genannten Studien bieten wertvolle Einblicke in die Dynamik der Beziehung zwischen Helfer und Klient. Sie untermauern und ergänzen unsere Hypothesen. Allerdings befassen sie sich nur am Rande mit strukturellen und organisatorischen Aspekten.

Schlussfolgerung

Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass strukturelle Mängel eine wesentliche Ursache für arbeitsbedingten Stress und Konflikte in Einrichtungen sind, die sich mit den Folgen von Extremtraumatisierung befassen. Organisationen mit hohem Stress- und Konfliktpegel zeigen erhebliche Mängel und dysfunktionale Strukturen: mangelnde Einhaltung von Grenzen, Über-Identifikation mit Klienten, Mangel an professioneller Distanz, Fehlen gemeinsamer Ziele und Behandlungskonzepte, Rollen- und Kompetenzdiffusion, Mangel an professioneller Betriebsführung und -leitung, Mythos vom egalitären Team, schwerfällige und langwierige Entscheidungsprozesse, in Grabenkämpfe verwickelte informelle Leiter, nicht vorhandene oder nur sporadische klinische Supervision, hektische und unkoordinierte Interventionen, Workaholismus, Selbstaufopferung, unzureichende oder nicht vorhandene Selbstfürsorge, mangelnde professionelle Qualitätsstandards, Fehlen eines unabhängigen Kontrollorgans, Vermischung der Ebenen von Personal, Leitung und Kontrollorgan mit der Folge von Interessenskonflikten. Das Klima ist geprägt von einer Reinszenierung der traumatischen Welt der Klienten, die sich in einer allgemeinen Atmosphäre von Angst widerspiegelt, von Fantasien über die Präsenz von Geheimdiensten, Opfer-Täter-Beziehungen, dem Besessensein von Gewaltthemen, einem Märtyrerkomplex gepaart mit Größen- und Rettungsphantasien, Spaltungstendenzen mit Kategorisierung von Kollegen in Gut und Böse, Freund und Feind.

Organisationen mit geringem Stress- und Konfliktpegel zeigen dagegen eine weitaus klarere und weniger dysfunktionale Struktur mit Einhaltung von Grenzen, einer Balance zwischen Empathie und professioneller Distanz, klar autorisierter Leitung, Delegation von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, klarer Definition von Rollen und Kompetenzen, sorgfältiger Auswahl von Personal nach Professionalität und Persönlichkeit, Förderung von Fort- und Weiterbildung, gemeinsamer Behandlungsphilosophie, externer klinischer Supervision und kollegialer Intervention, Coaching für Leitungskräfte, Selbstfürsorge (*Care for Caregivers*), einem Kontrollorgan von unabhängigen Experten, die Leitung und Mitarbeiter unterstützen und in Konfliktsituationen als Vermittler fungieren.

Unsere Studie wirft die Frage auf, ob die bei Helfern zu beobachtenden Stresssymptome als „sekundäre Posttraumatische Belastungsstörung“ bezeichnet werden können.

Die Helfer in Einrichtungen mit strukturellen Defiziten zeigten Symptome, die von anderen als sekundäre Traumatisierung klassifiziert werden. Diese Symptome lassen jedoch im Zuge struktureller Reformen nach, und Helfer in gut strukturierten Einrichtungen zeigen so gut wie keine derartigen Symptome. Die sekundäre Traumatisierung ist offenbar keine unvermeidliche Nebenwirkung der Arbeit mit Opfern von Gewalt. Deshalb meinen wir im Einklang mit anderen kritischen Autoren (Hafkenschied, 2003; 2005; Sabin-Farell & Turpin, 2003), dass das Ansteckungsmodell der stellvertretenden Traumatisierung von Pearlman und Saakvitne (1990) sowie das Compassion-Fatigue-Modell von Figley (1995) neu überdacht werden sollten.

Traumazentren sollen Orte der Zuflucht und ein sicherer Ort für Menschen sein, die Schrecken und Zerstörung sowie die völlige Zerrüttung ihres gewohnten sozialen Umfelds erlebt haben. Menschen, die Opfer menschlich verursachter Traumata („*man made disaster*“) wie Folter und sexuellem Missbrauch wurden, haben ihr Grundvertrauen in die Menschheit verloren. Für sie gibt es nichts Gutarziges mehr in der Welt. In der Gewalt des Täters erlebten sie extreme Willkür, die vollkommene Abwesenheit von Struktur. Sie hatten keinerlei Möglichkeit, die Geschehnisse zu beeinflussen oder sich darauf einzustellen. Das erzeugt Unsicherheit, Angst und Orientierungslosigkeit. Der einzelne Therapeut kann all diese Zerstörung nicht allein auf sich gestellt innerhalb der Klient-Therapeut-Beziehung auffangen. Er braucht dazu die Unterstützung eines Teams mit empathischen Kollegen sowie Schutz und Halt seitens eines kompetenten und erfahrenen Leiters. Ein gewisser Grad an Reinszenierung des Traumas durch die Helfer ist unvermeidlich und kann eine nützliche Quelle zum Verständnis der Probleme des Patienten sein. Von gleicher Bedeutung ist jedoch, dass die Einrichtung als Ganzes den Klienten ein heilsames Klima von Vertrauen, Sicherheit und Schutz bietet. Sie muss ihnen die Chance geben, wieder selbst über ihr Leben bestimmen zu können. Strukturlosigkeit und ein chaotisches Umfeld dagegen fördern Stress und Konflikte innerhalb von Teams und spalten die Einrichtung – das aber wird als eine Wiederholung, eine Reinszenierung des Traumas erlebt. Dies beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit der Helfer und schadet letztendlich den Klienten.

Empfehlungen

Zu allererst brauchen Traumazentren eine klare Struktur mit einer autorisierten Leitung. Das basisdemokratische Modell kann in der Pionierphase gut funktionieren, wird aber im Zuge des Wachstums und der Professionalisierung dysfunktional. Geldgeber und Aufsichtsorgane sollten sich darüber im Klaren sein, dass charismatische Gründer, welche die treibende Kraft in der Aufbauphase einer Einrichtung sind, möglicherweise abgelöst werden müssen, wenn sie sich unumgänglichen organisatorischen Veränderungen und Entwicklungen in den Weg stellen. Traumazentren brauchen – wie alle professionell geführten Einrichtungen – unabhängige externe Personen wie Supervisoren, Organisationsberater und Moderatoren, die organisatorische Veränderungen und Entwicklungen begleiten, die Einrichtung in Krisenzeiten unterstützen und helfen, interne Konflikte zu lösen. Jede Einrichtung sollte über einen unabhängigen Vorstand/Aufsichtsrat verfügen. Des Weiteren sollten in jedem Traumazentrum regelmäßig klinische Supervision für die Helfer angeboten werden und ein Arbeitsstil herrschen, der das gemeinsame Reflektieren über die Arbeit und die Dynamik zwischen Klient und Therapeut aus der Vogelperspektive ermöglicht. Gleichmaßen müssen die Helfer regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen, und diejenigen mit therapeutischer und beratender Funktion müssen eine therapeutische Ausbildung mit Selbsterfahrung absolviert haben.

Einrichtungen und ihre Leitungskräfte sollten größten Wert auf die Selbstfürsorge und Psychohygiene der Mitarbeiter legen. Dazu gehören eine Begrenzung der Fallzahlen, das Vermeiden von Überstunden, die Möglichkeit, in andere, nicht trauma-bezogene Arbeitsfelder zu rotieren, Zeit (z.B. ein Sabbatjahr) für Forschung und Lehre, Geselligkeit innerhalb des Teams in Form gemeinsamen Kochens, Feste Feierns, und von Klausurtagungen. Die Helfer sollten ein Leben außerhalb des Arbeitsplatzes haben und kultivieren, sich Zeit nehmen für Familie und Freunde, für Reisen und Hobbys, sowie gut auf sich achten, auf ihren Körper und ihre Seele hören und alles tun, was dazu beiträgt, Anspannung und Stress zu mindern, etwa mit Hilfe von Meditation und Entspannungsübungen.⁷

⁷ Wir danken der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur für die Unterstützung dieser Forschungsarbeit.

Literatur

- Birck, A. (2001). Secondary Traumatization and Burnout in Professionals Working with Torture Survivors. *Traumatology*, 7 (2), 87-91.
- Bion, W. R. (1970). *Experiences in Groups*. London: Tavistock Publications.
- Chrestman, K.R. (1995). Secondary Exposure to Trauma and Self Reported Distress among Therapists. In B. H. Stamm (Hg.), *Secondary Traumatic Stress: Self-care Issues for Clinicians, Researchers and Educators* (S. 29-36). Lutherville, MD: Sidran Press.
- Danieli, Y. (1988). Psychotherapists' Participation in the Conspiracy of Silence about the Holocaust. *Psychoanalytical Psychology*, 1, 23-42.
- Deighton, R. M., Gurrin, N., Traue, H. (2007). Factors Affecting Burnout and Compassion Fatigue in Psychotherapists Treating Torture Survivors: Is the Therapist's Attitude to Working Through Trauma Relevant? *Journal of Traumatic Stress*, 20, 63-75.
- Eckardstein, D.v. & Simsa, R. (1999). Entscheidungsmanagement in NPOs. In C. Badelt (Hg.), *Handbuch der Nonprofit Organisation. Strukturen und Management* (S. 389-403). Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.
- Figley, C. F. (Hg.). (1995). *Compassion Fatigue, Coping with Secondary Traumatic Stress Disorders in Those who Treat the Traumatized*. New York: Brunner and Mazel.
- Gabbard, G. O. (2001). A Contemporary Psychoanalytic Model of Countertransference. *Psychotherapy in Practice*, 57 (8), 983-991.
- Gurrin, N. (2005). *Stellvertretende Traumatisierung und Behandlungseffizienz in der therapeutischen Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen*. Unpublished Dissertation. Med. Biol. Diss. Universität Ulm.
- Hafkenschied, A. (2003). Objective Countertransference: Do Patients' Interpersonal Impacts Generalize across Therapists? *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 10, 31-40.
- Hafkenschied, A. (2005). Event Countertransference and Vicarious Traumatization: Theoretically Valid and Clinically Useful Concepts? *European Journal of Psychotherapy, Counselling and Health*, 7, 159-168.
- Heimerl-Wagner, P. & Meyer, M. (1999). Organisation und NPOs. In C. Badelt (Hg.), *Handbuch der Nonprofit Organisation. Strukturen und Management* (S. 209-240). Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.
- Holloway, E. L. (1995). *Clinical Supervision. A Systems Approach* (97-98). Thousand Oakes: Sage Publications.
- Kassam-Adams, N. (1999). The Risks of Treating Sexual Trauma: Stress and Secondary Trauma in Psychotherapists. In B.H. Stamm (Hg.), *Secondary Traumatic Stress. Self-Care Issues for Clinicians, Researchers and Educators* (S. 34-48). Lutherville MD: Sidran Press.
- Lansen, J. (1996). What Does This Work Do to Us? In S. Graessner, N. Gurrin, C. Pross (Hg.), *At the Side of Torture Survivors. Treating a Terrible Assault on Human Dignity* (S. 198-211). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Lansen, J. Haans, A. H. M. (2004). Clinical Supervision. In J. P. Wilson & B. Drozdek (Hg.), *Broken Spirits* (S. 317-353). Philadelphia: Brunner-Routledge.
- Malik, F. (1989). *Strategie des Managements komplexer Systeme* (S. 492). Bern/Stuttgart: Haupt.
- McCann, L. & Pearlman, L. A. (1990). Vicarious Traumatization: A Framework for Understanding the Psychological Effects of Working with Victims. *Journal of Traumatic Stress*, 3 (1), 131-149.
- Muhr, T., Friese, T. (2001): Computerunterstützte Qualitative Datenanalyse. In T. Hug (Hg.), *Wie kommt Wissenschaft zu Wissen? Band 2: Einführung in die Forschungsmethodik und Forschungspraxis* (S. 380-399). Hohengehren: Schneider Verlag.
- Munroe, J. (2006). Secondary Trauma: Denial, Transmission and Organizational PTSD. Presentation at the IX. IRCT International Symposium on Torture in Berlin, 12-10-2006.
- Pross, C. (2009). *Verletzte Helfer*. Stuttgart: Klett-Cotta
- Reddemann, L. (2003). Einige Überlegungen zur Psychohygiene und Burnout-Prophylaxe von TraumatherapeutInnen. *Erfahrungen und Hypothesen. Zeitschrift für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin*, 1 (1), 79-85.
- Saakvitne, K.W., Gamble, S., Pearlman, L.A., Lev, B.T. (2000). *Risking Connection. A Training Curriculum for Working with Survivors of Childhood Abuse* (S. 157-187). Baltimore: The Sidran Press.
- Sabin-Farell, R. & Turpin, G. (2003). Vicarious Traumatization: Implications for the Mental Health of Health Workers? *Clinical Psychology Review*, 23, 449-480.
- Smith, A. J. M., Klein, W. C., Stevens, J. A. (2000). '...en wir proberen te luisteren...' Reacties van therapeuten op traumatische ervaringen van hun patienten. *Tijdschrift voor Psychotherapie*, 26, 289-307.
- Smith, A. J. M., Kleijn, W. C., Stevens, J. A. (2001). De posttraumatische stressstoornis: bedrijfsrisico voor behandelaars? Een onderzoek naar werkstress bij traumatherapeuten. *Tijdschrift voor Psychiatrie*, 43, 7-19.
- Smith, A. J. M., Kleijn, W. C., Trijsburg, R.W., Hutschemaekers, G. J. M. (2007). How Therapists Cope with Clients' Traumatic Experiences. *Torture*, 17 (3), 203-215.
- Smith, A. J. M. (2009). *Listening to Trauma. Therapists' Countertransference and Long-Term Effects Related to Trauma Work*. Heemstede: Proefschrift (PhD thesis).
- Stamm, B. H. (1999). *Secondary Traumatic Stress. Self-Care Issues for Clinicians, Researchers and Educators*. Lutherville: Sidran Press.
- Strauss, A. & Corbin, J. (1998). *Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. Thousand Oaks/London: Sage Publications.
- Tuckman, B. W. (1965) Developmental Sequence in Small Groups. *Psychological Bulletin*, 63 (6), 384 – 399. Retrieved from http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3954/is_200104/ai_n8943663. Retrieved on 2008-11-10. Reprinted with permission in *Group Facilitation*, Spring 2001.
- Walkup, M. (2002): Humanitarianism at Risk: From Threatened Aid Workers to Self-Deceiving Organizations. In Y. Danieli (Hg.), *Sharing the Front Lines and the Back Hills: International Protectors and Providers, Peacekeepers, Humanitarian Aid Workers and the Media in the Middle of Crisis* (S. 353-359). New York: Baywood Publishing Company.
- Wilson, J. P. & Lindy, J. D. (1994). *Countertransference in the Treatment of PTSD*. New York: Guilford Press.
- Wilson, J. P. & Thomas, R. B. (2004). *Empathy in the Treatment of Trauma and PTSD* (S. 158ff). New York: Brunner-Routledge.
- Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview. *Forum qualitative Sozialforschung*, 1 (1) [On-line serial]. Retrieved from <http://Hostname: qualitative-research.net Directory: fqs-texte File: 1-00/1-00witzel-d.htm>
- Zauner, A. & Simsa, R. (1999). Konfliktmanagement in NPOs. In C. Badelt (Hg.), *Handbuch der Nonprofit Organisation. Strukturen und Management* (S. 405-418). Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.

Структурные причины перегрузки помощников в центрах травмы¹

Введение

МакКанн и Перлманн были в 1990 году первыми, кто исследовал степень переноса травматического опыта клиентов на терапевтов. Они назвали это явление «репрезентативной травматизацией». Большинство из исследований, последовавших позже, также изучали репрезентативную травматизацию клиентов и терапевтов на индивидуальном уровне (Даниели, 1988; Чрестман, 1995; Фигли, 1995; Штамм, 1999). Сопутствующие факторы – такие, как организационные структуры, культура организации, групповая динамика и отношения организации с внешним миром – не принимались в расчет совсем или затрагивались весьма в незначительной степени. В одном из критических анализов исследований по теме «репрезентативная травматизация» Рахель Сабин-Фаредд и Грэм Турпин пришли к выводу, что доказательная база репрезентативной травматизации среди терапевтов весьма скудна и поставили валидность этого термина под сомнение. Разница между репрезентативной травматизацией и синдромом эмоционального выгорания практически отсутствует, термины – это тавтология и они взаимозаменяемы (Сабин-Фаредд и Турпин, 2003).

Данные представленного здесь исследования предлагают достаточно отправных пунктов для того, чтобы выразить в травмоподобных явлениях, вызванного работой. Тем не менее, напрашивается вопрос, может ли это рассматриваться как расстройство, аналогичное посттравматическому стрессовому расстройству, либо речь идет здесь о неизбежном, приобретаемом побочном явлении работы с травмированными клиентами – особенно в свете нашего понимания того, что помощники в хорошо структурированных стационарах гораздо реже заявляют об этих симптомах.

Основы, разработанные МакКанном и Перлманом, оказали большую пользу для исходных гипотез настоящего исследования. Тем не менее, процесс сбора данных и их анализ завел нас гораздо дальше этих концепций.

Методика

Всего было обследовано 13 учреждений, которые занимаются экстремальной травматизацией, возникающей в результате насилия, политического, этнического и политического преследования, бытового насилия и сексуального надругательства. С просьбой об интервью мы обратились к 82 лицам, 72 из них согласились на интервью. 47 из них были помощниками с непосредственным контактом с клиентами, 10 человек были супервизорами, семеро были экспертами по травме и восемь человек были представителями организаций по защите прав человека. Респонденты находились в возрасте от 33 до 75 лет, 52,8% были женщины и 47,2% – мужчины. Средний возраст респондентов составил 53 года, что означает, что это были в большинстве своем люди с многолетним опытом работы.

Среди профессий на первом месте были врачи (45,8%)², психологи (23,6%), социальные работники (12,5%), персонал по уходу и преподаватели. Из 47 партнеров по интервью с непосредственным контактом с клиентами 48,9% занимали руководящие должности, 66,6% имели образование в области психотерапии и одна треть (33,3%) не имела терапевтического образования. 57 интервьюируемых были из западных стран и 15 – из других стран, находящихся на пути от диктатуры к демократии.³

Остальные данные взяты из собственных наблюдений авторов в многочисленных центрах травмы и сетях, из годовых и финансовых отчетов, публикаций и схем организационной структуры, а также из анализов организаций и оценок деятельности, которые по поручению контролирующих органов проводились независимыми консультантами с целью оценки производительности труда и эффективности учреждения.

Интервью проводились на основе проблемно-центрированных интервью, разработанных Витцелем (Витцель, 2000). При этом интервьюер непрерывно разрабатывает новые гипотезы и проверяет, а также изменяет их в соответствии с продолжающимся диалогом. Интервью транскрибировались и – вместе с другими источниками – изучались посредством

¹ Eine ausführliche Fassung dieser Studie ist erschienen in der Monographie von Christian Pross, *Verletzte Helfer. Umgang mit dem Trauma: Risiken und Möglichkeiten sich zu schützen*, Stuttgart 2009.

² Von diesen (n=33) waren 58% Psychiater.

³ Um die Anonymität der Interviewpartner zu wahren, werden sie alle in der männlichen Form genannt.

качественного анализа данных по образцу так называемой Обоснованной теории (Grounded Theory) (Страусс и Корбин, 1998). Анализ этого огромного объема данных проводился с помощью компьютера (программа ATLAS-ti, Мур и Фризе, 2001). После того, как данные интервью прошли сравнение друг с другом и с данными из других источников, стало возможно определить повторяющиеся образцы и совпадения и подвести под них соответствующие коды. Этапы кодировки – открытой, аксиальной и селективной – приводили каждый раз к более высокому абстрактному уровню, переходя в теорию, объясняющую наблюдаемые явления.

Данные, полученные из вышеуказанных источников, позволяют сравнить формальные и неформальные схемы организационных структур тринадцати учреждений на различных стадиях их развития. Формальные схемы организационных структур показывают официальную структуру учреждения так, как она представляет себя внешне. Неформальные схемы организационных структур представляют скрытые, глубокие уровни и действительную динамику в рамках одного учреждения: личные связи, скрытые интересы и неформальных лидеров (Малик, 1989).

При сравнении данных из интервью, проведенных с руководящими работниками и сотрудниками учреждений, а также из наблюдений групповой динамики, можно распознать неформальные структуры и показать разницу между внешним представлением и внутренней жизнью учреждения.

Достоверность опроса ограничивается тем, что респонденты выбирались не по случайному принципу, а из круга общения авторов. Это было неизбежно, поскольку сторонние исследователи, изучающие центры травмы, часто с предубеждением и определенной отрицательной тенденцией конфронтируют с вопросами вторичной травматизации. Исследования проводились ретроспективно. Становление центров травмы в последние 20 лет – с учетом очень малых знаний и опыта в этой области – было, по существу, экспериментом.

Результаты

Модели развития групп

Явления, наблюдавшиеся в группах, находят свое отражение в теориях о формировании групп, как, например, в модели Биона «зависимость-борьба/бегство и образование пар» (Бион, 1970), а также модели Такмана (1965): формирование (вход и поиск), конфронтация (критический разбор и спор), нормирование (урегулирование и соглашение) и выполнение (работа и результат). На ранней «пионерской» фазе, или фазе «медового месяца» центров травмы команды зависимости и формирования схожи между собой. Группу объединяет чувство неуверенности и она зависит от руководителя, который защищает ее от враждебного внешнего мира (группа зависимости, Бион). Это период взаимного знакомства, в котором появляется чувство взаимной принадлежности, достигается единство мнений о целях и задачах и минимальный консенсус. (фаза формирования, Такман). Позднее отдельные члены команды узнают разницу между друг другом и начинают состязаться за различные идеи и цели (фаза конфронтации, Такман). Группа ведет себя в течение дня регрессивно и разделяется на конкурирующие группировки. Одна часть принимает сторону руководителя, другая часть пытается ее атаковать или пытается скрыться (группа борьбы/бегства, Бион). Эта фаза может быть очень неприятной, болезненной и деструктивной. Но она является важной составной частью формирования групп. Ее сменяет фаза взаимного «притирания», во время которой договариваются о правилах, ценностях, профессиональных стандартах, рабочих средствах и методах (фаза нормирования, Такман). Опасность конфликтов заставляет группу искать интегративную фигуру лидера, в основном пару – мужчину и женщину, которая гарантирует выживание группы и является знаком зрелости (группа образования пар, Бион). Такман вводит еще одну, следующую фазу: стадию выполнения. Команда находится в состоянии функционировать как одно целое, сотрудники зависят друг от друга, они мотивированы и квалифицированы. Различие мнений ожидается и поощряется до тех пор, пока это происходит в приемливой форме. Все команды, которые мы обследовали, в той или иной мере проходили все эти фазы. Некоторые застряли в фазе конфронтации или борьбы/бегства. Некоторые находятся в абсолютно жесткой культуре нормирования, которая не дает развиваться творчеству и способствует развитию слепого «группового мышления». Некоторые

группы вновь и вновь по кругу возвращаются к этим шагам, в то время как в других группах элементы формирования, конфронтации, нормирования и выполнения частично накладывались друг на друга и проявлялись одновременно.

Пионерская фаза центров травмы - формирование

Большинство обследованных учреждений были основаны харизматичными и дальновидными пионерами с предпринимательскими способностями и духом новизны, которые были в состоянии выстроить проекты и защитить их от строптивых бюрократов и преобладающего непризнания и равнодушия. Но поскольку важность структурных вопросов они игнорировали и недооценивали, а также были склонны к собственной переоценке, многие основопологатели не смогли претворить в жизнь трансформацию и создать из своих учреждений профессионально управляемые заведения здравоохранения. Организационная структура во время ранней стадии была своего рода подобием медового месяца, она характеризовалась дружеской, панибратской рабочей атмосферой, восхищением, неформальными отношениями, отсутствием контроля и отчетности. Такое учреждение в ранней фазе может функционировать хорошо до тех пор, пока ее размер и программа достаточно ограничены.

Несколько цитат из проведенных интервью могут это наглядно продемонстрировать:

«В то время в нашей стране не существовало подобных организаций и это обстоятельство в значительной степени определяло тогда нашу работу. Мы пребывали в эйфории, преисполненные гордости за нашу миссию»
«Мы были таким дружным сообществом. Мы вместе отмечали праздники, практически не разделяли работу и личную жизнь... я воспринимал это как нечто очень приятное, мы были так рады, что нашли друг друга»

«в первые годы мы были слишком наивные, любая история оказывала на нас очень сильное впечатление»
«мы надеялись, что мы сможем убедить истеблишмент в медицине и психологии, что мы открыли новую область и очень важно, чтобы врачам и психологам были разъяснены последствия травмы».

Когда, однако, количество персонала, бюджет и многообразие задач вырастают, происходит преобразование этого «сообщества друзей» в более профессионально управляемую организацию с выстроенной иерархией принятия решений.

Со значительными проблемами столкнулись те учреждения, в которых основопологатели показали себя неспособными отказаться от дисфункциональной структуры «медового месяца».

Учреждения с низким уровнем стресса – конструктивное нормирование

Были обследованы три хорошо функционирующих учреждения с низким уровнем стресса и конфликтов. Выяснилось, что им удалось без потерь пройти фазу конфронтации и преодолеть организационные дефициты пионерской фазы в ходе трансформационного процесса перехода в направлении профессионального менеджмента с четко прописанным распределением ролей и заданий. В результате уровень стресса и конфликтов во время фазы конфронтации снизился. В Таблице 1А приведены структурные особенности, которые характерны для данных организаций.

Ключевые элементы хорошо функционирующего учреждения

Предпосылками для успешного функционирования организации является наблюдательный совет/правление, явно авторитарное управление в соответствии с принципом «добротного родительского подхода» (позитивная родительская роль, см. 5.5.), как это выразил один из интервьюируемых, а также четкое определение ролей, доверенностей, ответственности и обязательств сотрудников по отчетности.

Один руководитель, который после длительного кризиса взял на себя управление организацией и стабилизировал положение, сказал: *«Раньше наш наблюдательный совет состоял из клиентов, которые не могли быть нейтральными и в связи с этим постоянно возникали проблемы... теперь мы выбрали наблюдательный совет, который абсолютно независим: с одним предпринимателем, одним парламентарием, и т.д... Мне, как руководителю, нужен именно такой рациональный наблюдательный совет, который управляет и моей работой, поскольку я тоже могу быть эмоционально связан с работниками. Мне нужен такой гремиум, он меня исправляет».*

Один из супервизоров заметил: *«Руководство должно быть «прозрачным» и поддерживаться всеми работниками группы. Это может быть авторитарный или демократический руководитель, мужчина или женщина, это не имеет никакого значения, но это должно быть четко обозначенное руководство».*

Помощники в этих учреждениях имеют предрасположение к менее идеалистической и более реалистичной манере поведения. Они больше полагаются на профессиональность, чем на политику. *«Вызовом является иметь цели, которые достижимы, чтобы человек не терял надежду...в противном случае люди просто перестают верить».*

«Вначале присутствовало слишком много идеализма, может им это и нужно было, поскольку было очень много «партизанины». Но теперь, когда команда стала сильной, теперь, вероятно, культура не так сильно определяется людьми с идеалистической позицией». «Если ты не профессионален, тебя просто не будут принимать в расчет. Ты можешь быть политизирован, но в конце концов это долго не продлится. Если ты проявил себя настоящим профессионалом, то тебя будет уже не так просто подвинуть, как это было бы, если бы ты был просто политическим активистом».

Клиническая супервизия и интервизия случаев являются решающими инструментами при обращении с разрушительным материалом, который заключен в этой работе (Лансен, 1996; Дансен и Хаанс, 2004). Поскольку существует достаточно явная тенденция идентифицировать себя либо как жертву, либо как палача, требуется защищенное пространство для саморефлексии со стороны, так сказать, с высоты птичьего полета. Один руководитель дал пример коллеги из его рабочей команды: «он ушел в себя, он был очень расстроен и изолировал себя от остальных...это был типичный случай чрезмерной активности, когда человек теряет дистанцию и погружается в горе пациента в нарциссической вере, что его можно спасти. Каждый терапевт травмы испытывает такое в большей или меньшей степени... это либо размежевание, либо чрезмерная активность в процессе лечения. В случае вмешательства может удасться занять позицию «перспективы с вертолета». И тот, кого это касается, может сделать соответствующую корректировку».

Еще одним средством для защиты и профилактики стресса являются исследования и учение, которые в каждодневной работе позволяют держать дистанцию с клиентами, рефлексировать и анализировать ее.

Один интервьюируемый назвал в качестве своего руководящего принципа «рефрейминг [то есть рассмотрение феномена в другом контексте] вместо компенсации» «Если человек совсем ничего не предпринимает, то он травмируется. Но если он все поворачивает, берет с собой свой опыт, образование, учение и консультации, например...

слушать о мучениях само по себе тяжело. Если человек, однако, представляет все эти ужасные вещи в качестве примеров, с помощью которых он пытается сделать так, что другие люди сделают что-то хорошее, то негативная сила в нем самом ослабевает».

Ресурсы помощников и забота о себе

Респонденты называли целый ряд ресурсов и видов активной деятельности, которые могут им помочь хорошо справляться с вызовами их работы. Так, например, собственная – проработанная в терапевтическом образовании – травма в качестве движущей силы, эмпатия с клиентами, борьба с несправедливостью, политическая активность, представление интересов клиентов, работа со средствами массовой информации, сбор средств, опыт успеха в работе с клиентами, поддержка коллег и обмен опытом с ними, повышение квалификации, исследования, публикации, обучение, реальные цели, прагматический подход, отсутствие догм и свобода от морального давления.

В качестве специфической стратегии для заботы о себе может выступать сокращение рабочего времени или ротация полей деятельности, «дни ментального здоровья», саббатикал [семестр или год для исследовательских работ, освобождающий от обычных обязанностей на работе], разделение личной и профессиональной жизни, проведение времени с семьей, детьми и друзьями, время для таких увлечений, как литература, кино, музыка, искусство, танцы, природа, спорт или кулинария, юмор - все это служит противовесом тяжелому содержанию рутинной работы.

В учреждениях с низким уровнем стресса и конфликтов руководители поддерживают такие стратегии заботы о себе. Сааквинте и др. разработал тренировочные модули для заботы о себе, которые в большей степени используют те же самые ресурсы (Сааквинте и др.). Аналогичные концепции представил также Реддеман (2003).

Таблица 1

А. Структура учреждений с низким уровнем стресса и конфликтов	В. Структура учреждений с высоким уровнем стресса и конфликтов
Профессиональное управление по «принципу добрых родителей»	Отсутствие руководства, как такового или лишь формальное руководство
Делегирование заданий и ответственности в зависимости от компетенции	Основная демократия, все решают всё, никто не берет на себя ответственность
Четкое определение ролей и компетенций	Смешение ролей и компетенций, все заняты всем
Эффективные, прозрачные процессы принятия решений	Тяжелые, медленные и непрозрачные процессы принятия решений
Менеджмент конфликтов осуществляется руководством	Окопные войны между неформальными лидерами
Руководство защищает слабых коллег от нападок	Злоупотребление властью неформальными лидерами
Четко отработанная организация работы	Хаотичная организация работы
Соблюдение границ	Несоблюдение границ
Баланс между эмпатией и профессиональной дистанцией	Избыточная идентификация и столкновения с пациентами
Общие реалистичные цели, общая философия проведения терапии	Отсутствие общих целей и философии проведения терапии
Внешняя клиническая супервизия	Отсутствие или лишь нерегулярная клиническая супервизия
Защищенное пространство для обработки деструктивной динамики	Неинсценировка травмы без защищенного пространства для ее обработки
Забота о себе	Самопожертвование
Тщательный подбор персонала в зависимости от профессионализма и личных качеств	Недостаточные профессиональные стандарты качества
Контрольный орган (Правление / Наблюдательный совет) из независимых людей со стороны	Отсутствие независимого контрольного органа, смешение уровней персонала, руководства и контроля
Терапевтическое образование с собственным опытом для помощников, имеющих контакт с пациентами	Недостаточное терапевтическое образование, отсутствие собственного опыта
Стабильная финансовое положение	Нестабильное финансовое положение, едва сводят концы с концами

Учреждения с высоким уровнем стресса – постоянная конфронтация

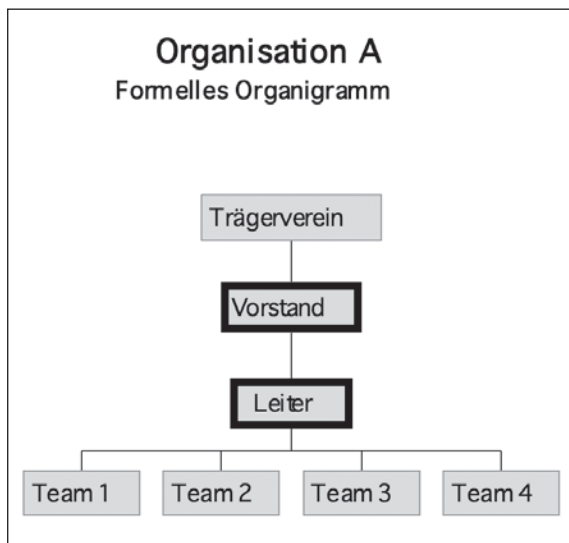
Учреждения с высоким уровнем стресса и конфликтов так и не выросли из пионерской фазы. Они постоянно испытывают безвыходные и разрушающие конфликтные противостояния, им не удается наладить процесс трансформирования и культура пионерской фазы длительное время не позволяет эффективное функционирование организации. Таблица 1 В представляет характеристики такого рода организаций.

Типичным примером является структура, которую мы наблюдаем в учреждении А. На Рисунке 1 представлена формальная схема учреждения.

Там приведены официальные органы: финансирующая организация, некоммерческая организация, чьи члены выбирают правление. Это правление назначает и контролирует работу руководителя, который отвечает за различные терапевтические группы, которые работают с клиентами. Собрание членов некоммерческой организации должно состоять из независимых представителей из различных областей и общественных групп и проводиться ежегодно. Правление выбирается, таким образом, из независимых людей, которые встречаются шесть раз в год. Они работают на общественных началах, не получают денег за свою работу, не должны иметь никаких «акций» предприятия и быть вовлечены в его будни. Их задача состоит в том, чтобы управлять хозяйством, определять основные направления работы, выбирать руководителя и контролировать его работу.

Коллектив разделен на несколько групп помощников, которые отчитываются перед руководителем. На первый взгляд, это представленная для внешнего мира и финансирующих организаций поверхностная структура стандартного здравоохранительного социального учреждения.

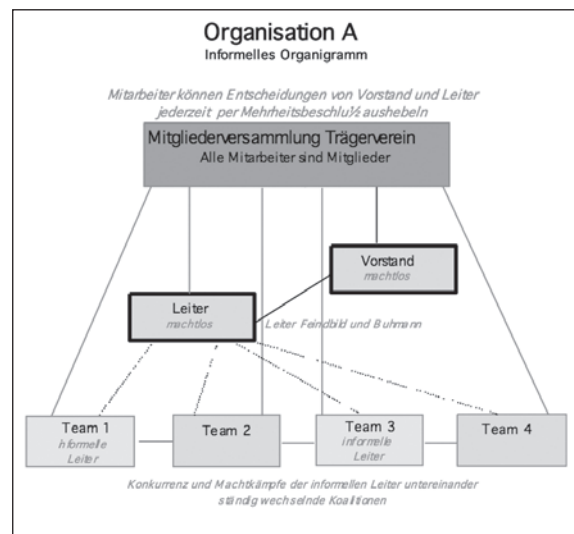
На рисунке 2 изображена неформальная структура учреждения, которая складывается из описаний интервьюируемых, анализов учреждения и оценок извне. Это реальная динамика, фактические связи и структуры власти. Де-факто все сотрудники одновременно являются членами некоммерческой организации, что означает, что они играют как бы двойную роль, являясь работодателями и наемными работниками одновременно, то есть имеют «акции» организации. Это приводит к конфликту интересов. На практике сотрудники в определенных случаях



Figur 1

могут отменить простым большинством голосов на чрезвычайном собрании членов учреждения непопулярные решения руководителя и правления относительно вопросов заработной платы, рабочих процессов, правил поведения. Возникали случаи, когда перед такими собраниями с целью использования большинства голосов внезапно появлялись новые члены. Поскольку собрание членов учреждения является верховным юридическим органом, оно может победить руководителя или правление простым большинством голосов.

Руководитель и правление в этом случае практически бессильны и у них нет рычагов влияния на решение собрания. Вместо этого в различных рабочих группах проявляются неформальные лидеры, конкурирующие между собой. Дело доходит до варьирующихся коалиций и постоянных окопных войн на предмет того, кто, когда и где может что-то сказать. Процессы принятия решений совершенно неясны и непрозрачны. Существует миф, в соответствии с которым все решения принимаются в группе совместно и что каждый может высказать по этому поводу свое собственное мнение. Этого невозможно добиться и признано в организации такого размера (при 30 человек персонала) дисфункциональным. В итоге никакие решения не принимаются и все проблемы задвигаются на второй план. Либо решения принимаются неформальными лидерами и могут в любую минуту отмениться новыми альянсами и популистскими течениями. Руководитель становится козлом отпущения за все, что идет не так, как надо.



Figur 2

Повсюду царит хаос и настроение подозрительности, неприязни и недоверия. Группировки в команде издеваются над руководителем и отдельными членами команды. Команды разделены на «друзей» и «врагов». Практически не существует никаких правил, а тем правилам, которые уже есть, никто не следует. Не существует общей философии проведения терапии и каждый помощник создает свое собственное маленькое княжество, которое он защищает от вмешательств и контроля извне. Дела пациентов ведутся или в недостаточном объеме, или лишь рассеяно. Границы нарушаются в форме чрезмерно длинных терапевтических сеансов, ненужных дополнительных услуг при ежедневной работе с клиентами, переработки и политических акций, которые совершенно не попадают под мандат учреждения. Помощники теряют профессиональную дистанцию и чрезмерно идентифицируют себя с пациентами. В отдельных случаях доходит до интимных отношений с клиентами или иногда клиенты оказываются вовлеченными терапевтами в какой-нибудь рабочий конфликт. Конфликтотенная и напряженная атмосфера приводит к высокой флуктуации среди персонала и частой смене руководства. Следствием является отсутствие преемственности, а также недостаток организационной памяти.

В организационной структуре центров травмы то и дело встречаются специфические особенности, связанные с травмой, которые могут явиться причиной длительных конфликтов и трений. Это происходит, когда учреждение застревает в фазе конфронтации и не прилагает никаких усилий по реформированию. При хорошо функционирующих структурах и здоровом производственном климате эти особенности могут и не действовать в обязательном порядке негативно.

Комплекс жертвы, самопожертвование, чрезмерная идентификация

Темы насилия и подавления вызывают сильные чувства эмпатии, связанные с высокими моральными притязаниями к себе: моментально вступаться за жертву, жертвовать собой. Собственные импульсы, такие, как строительство карьеры или требования к зарплате, которые в других областях воспринимаются совершенно нормально, становятся скорее подавленными и принимают двойственный характер.

«... у человека развивается комплекс жертвы. Весь мир покоится на его плечах. Каждый день я чувствую себя переработавшим и тем не менее, кажется, что что-то недоделал»

«.. я, должно быть, хороший человек, наверное, так оно и есть, поскольку я всегда стою на стороне жертвы. Я должен в значительной степени подавлять деструктивные тенденции во мне самом – эгоизм, желание иметь больше денег...»

«Все, кто здесь работает, очень ангажированные, проявляющие повышенный интерес и инициативу люди, которые предъявляют к себе высокие требования и поэтому очень строги как сами с собой, так и с другими»

«...есть женщина, которая не плакала ни при каких обстоятельствах и воинственно это отстаивала...»

«... я должен выдержать это напряжение, которое является экстремальной позицией жертв и преступников...присутствует очень сильный груз идентификации с жертвами, которое я не в состоянии больше выдерживать»

« у нас у всех была чрезмерная идентификация, мы буквально заворачивали клиентов в вату».

Некоторые пионеры и помощники в центрах травмы имеют тенденцию к самовозвышению, к миссионерскому порогу сознания с чувством исключительности.

«...мы (травмотерапевты) – это совершенно нечто особое. Никто не имеет таких заданий, как мы»

«...мы были чересчур нарцисстичны, в какой-то степени ущербны...плохая самооценка. Мы- своего рода элита хороших людей...Большая фантазия компенсаторного типа у людей с беспомощностью, о которой никто практически ничего не говорит. У меня это было, я чувствовал себя озаренным, такое чувство гордости...»

«...возможно, он посчитал, что он может стать кем-то вроде Матери Терезы, хорошим самаритянином, спасителем мира...»

Собственная травма – ресурс и риск

31,1% помощников, которые давали интервью, сообщали о собственной травме. Для многих из них это было мотивом начать работать в этой области, а также источником понимания и чувств к клиентам.

«Я сам испытал мучения...для меня лично работа в таком заведении была одновременно реабилитацией моей собственной истории».

«У двух коллег это есть точно (травма помощников)...я рассматриваю это, как некий ресурс...они вполне хорошо интегрировали свою историю, чтобы успешно работать».

Тем не менее, когда такой опыт не до конца будет переработан с помощью собственного терапевтического образования, это становится фактором риска.

«Большинство коллег не делали хорошей терапии травмы... и это причина того, что они не могут правильно оценивать травмы своих клиентов... поскольку в тот момент, когда я иду в диспозицию травмы, моя собственная затмевает ее и я не могу больше сохранять дистанцию».

Один из опрошенных супервизоров видит это таким образом: «у людей, которые сами подвергались какому-нибудь насилию и впоследствии сами стали консультантами жертв насилия, видна определенная фиксация, у них нет больше гибкости, чтобы новый опыт (переработать)...они часто недоверчивы...(так) что что они могут от себя дать очень мало доверия».

Реинсценировка травм

Атмосфера в организациях с высоким уровнем стресса и конфликтов характеризуется реинсценировкой травматического мира клиентов, обстановкой страхов и преследования, фантазиями о повсеместном присутствии секретных служб, отношениями палач-жертва, одержимостью темами насилия и тенденциями расщепления, такими, как категоризация коллег на плохих и хороших, друзей и врагов. Хаотичное, бессистемное и непредсказуемое окружение отражает общую бессистемность и отсутствие ориентации, которые испытывали жертвы, находившиеся во власти преступников.

Одержимость темами насилия

Помощники подробно, в мельчайших деталях сообщают о страшных событиях, через которые пришлось пройти клиентам. В брошюрах, выпускаемых для общественности, публикуются фотографии увечий, страшные сцены в камерах пыток и изнасилований. На кинолентке видно, как заключенного бьют дубинками на фоне криков и мрачной угрожающей музыки.

«Я спросил своего коллегу после долгого рабочего дня, когда мы сидели за бокалом вина и он, не переставая, продолжал говорить о работе: «Послушай, у тебя есть хобби?» И он ответил незамедлительно: «Да, пытки!»

Отношения преступник-жертва

«...если кто-нибудь что-нибудь критиковал, то (это означало) ты ведешь себя, как преступник»... очень быстро при этом возникал спор: «Кто тут, собственно палач, а кто жертва?»

«...на человека оказывают влияние с обеих сторон: и со стороны преступников, и со стороны жертв. Человек вживается в это, если в центре травмы или в личной жизни вне его нет рекреативной сферы».

Образы врага

«...в учреждении наблюдалась тенденция найти врага, которого можно было обвинить во всех грехах. И если такой человек уходил, через некоторое время появлялся новый враг».

«...Он (руководитель) имеет патологическую способность повсюду видеть врагов и проецировать

это на других людей. Вне центра он может привлечь аудиторию хоть на железнодорожном вокзале, когда закричит: «Вот, смотрите! Вот они, преступники!». Но в пределах центра травмы это крайне опасно. Это может быть частичным объяснением ядовитой обстановки, которая у нас присутствует».

«... это манера создавать мелких врагов, у нас это⁴ не проходит. У человека есть тотальное подозрение, которое он обращает против законодателя, который в той или иной степени ущемляет жертвы, мигрантов. Будь то полиция или слушатели, в действительности это очень злые, маленькие истязатели».

Тенденции расщепления

«...это очень трудно, выдержать это напряжение, возникающее из этой экстремальной позиции преступника и жертвы, когда у человека нет собственного опыта, никаких примеров в смысле собственного опыта...это напряжение куда-то надо направить. И вдруг кто-то оказывается моим врагом и он определяет меня в ходе разговора...» Центр травмы «имеет тенденцию к структуре граничных линий, при которой существует совершенно древний механизм расщепления...это абсолютное разделение Добра и Зла. Никакой интеграции не существует, ничто не может мирно сосуществовать. При такой ситуации интеграция оказывается практически невозможной...»

«...коллега склонен к расщеплению. Я думаю даже, что над ним когда-то надругались. Я представляю его раненым ребенком...»

«...мне кажется, что добрая половина моих коллег может расщеплять...и я вижу в этом нечто патологическое. Я нахожу это трудным для клиентов, когда перед ними терапевт, который расщепляет и не знает, что именно. Постоянно под лозунгом «должно стать лучше и мы должны теперь помочь» а в реальности и не знали, что происходит на самом деле...»

Чувствовать себя преследуемым

Один помощник во время собрания рабочей группы открыто обвиняет другого, что тот работает на секретную службу одного из государств-противников. «...он часто говорил, что тут у нас такое место, в котором секретные службы обязательно попытаются получить доступ к информации...»

«...климат у нас был такой, что постоянно распространялись слухи, что телефоны

прослушивались (руководством) и электронная почта проверялась...»

«...коллега попытался меня убедить, что за ним кто-то следит и постоянно выпускает воздух из шин его автомобиля. Каждую неделю шины оказывались скачанными. Я вначале поверил ему, хотя ни разу этого не видел. Это был продукт его фантазии.»

Во власти преступника

Один помощник вспоминает о специальном методе экспозиционной терапии в своем учреждении, который его коллеги иронически называли «метод бульдозера»: «Это способ заставить жертву говорить. Если жертва не хочет говорить о пережитом насилии, то терапевт достает из ящика своего письменного стола и показывает ему фотографии насильственных сцен... вначале это более легкие сцены, фотографии которых он раскладывает на столе и спрашивает: «Вы можете вспомнить это?» - И если жертва не реагирует, не выносит этих фотографий или признается, то терапевт показывает ему еще более жестокую сцену...»

Один помощник описывает, как интриги в его заведении напоминают ему о том, что пришлось испытать его клиентам: «постоянно в учреждении создаются новые группировки в различных командах, люди постоянно борются друг против друга и пытаются всю вину свалить на меня, их шефа. Я сижу, как каменный в своем собственном бюро и не знаю, где и от кого мне ожидать следующего нападения. Это в определенной мере является зеркальным отражением опыта наших клиентов, которые часто рассказывают мне, что самые страшные часы они провели не в комнате для допросов, а в своей камере между допросами, когда они ждали и не знали, что произойдет в ближайшее время – когда он (мучитель) придет снова? Как это начнется, в каком помещении это будет? Смогу ли я себя защитить или я не смогу этого сделать?..»

Многие основатели центра травмы считают, что иерархия, власть и руководство сами по себе являются чем-то опасным и ведут к злоупотреблениям и подавлению.

«...борьба против иерархии – это своего рода мотив для работы в гуманитарной организации...»

«...мы собрали вместе команду из одержимых, доброжелательных и также компетентных людей, которым на всех этажах аппаратной власти было очень плохо... мы-своего рода разбойники в этой области...но тем не менее, мы - сердце на этом пятне правых сил...»

«...главной целью было больше ни разу не испытать, что нас контролируют, чтобы все зависело только от нас... мы должны быть бдительными в этом обществе, мы должны быть альтернативны и вообще быть другими...»

Один помощник видит в постоянной борьбе с руководящими органами «своего рода параллельный процесс, который имел отношение к тому, что мы были против любого проявления авторитаризма, также, как и наши пациенты были настроены против власти государства».

Под поверхностью, казалось бы, эгалитарной команды формируются, тем не менее, неформальные лидеры, которые злоупотребляют своей властью.

«В любом заведении существует иерархия знаний, опыта, возраста...но это нерегулярная, неформально выстроенная иерархия, в которой таятся угрозы.»

«При смешивании личности и политики становится непонятным, в чем, собственно, заключается личное удовлетворение, ...я вижу параллельные процессы... вопрос в том, как их можно распознать и как их нужно истолковывать и, как я считаю, у нас это было достаточно жестко, с какой-то завесой тайн, ни в коем случае не открыто»

«У нас была иерархия, но это была неправильная иерархия. Поскольку за ней скрывались сплошные группировки...система имеет очень четко выраженные структуры, которые злоупотребляют своим положением. Есть эти структуры, есть тайны, есть табу, есть группировки...некоторых коллег в этой области я считаю до предела травмированными и злоупотребляющими властью»

Бросается в глаза, что те, кто громче всего пропагандирует за анти-иерархические структуры и основы демократии, сами являются яркими пользователями неформальной власти. Они маскируют свои личные и материальные интересы, их стремление к славе и власти под нимбом самоотверженных представителей интересов команды, защитников угнетенных.

Неформальная власть, которая образуется в пространстве без какой-либо иерархии, скрывает гораздо более высокий риск злоупотреблений, чем формальная власть, характеризующаяся четко прописанной структурой и ролями. Неформальная власть функционирует тайно, ее невозможно ощутить, она непрозрачна, она никому не подотчетна и не подчиняется никакому контролю со стороны независимых органов, таких, как правление или наблюдательный совет.

В связи с этим злоупотребления неформальной властью гораздо сложнее различить и раскрыть, чем злоупотребления официально контролируемой формальной властью. Миф о пространстве без какой-бы то ни было иерархии не учитывает тот факт, что доброкачественная иерархия выполняет защитную функцию в смысле «добротного родительского подхода». Родители защищают маленьких детей от их страшных братьев и сестер, лидер защищает слабых или молодых сотрудников от более опытных или доминантных коллег по команде.

Миф об эгалитарной команде

Еще одним широко распространенным мнением является то, что в команде все равны и решения принимаются коллегиально. Это могло функционировать в учреждении в маленьких пионерских группах периода «медового месяца». Это является, однако, дисфункциональным, если учреждение расширяется и ее цели, задачи и персонал становятся все более разнообразными.

Интервьюируемые сообщали, что некоторые собрания рабочих групп очень продолжительны, в некоторых учреждениях порой до шести часов в неделю.

«...у меня такое чувство, что мы слишком много болтаем. На все это уходит очень много времени...а потом все начинается снова, и в конце концов никто не знает, кто за что отвечает и в итоге вообще ничего не делается...»

«...на это уходит очень много времени и очень много сил. После таких собраний рабочей группы я уже полностью измочален. В моей организации такие дни – сами плохие для меня...»

«...если тебе постоянно приходится бороться за какие-то, в принципе совершенно очевидные вещи, то на ум приходит выражение: «Я тут в роли Сизифа».

«...это совершенно точно борьба с ветряными мельницами. Я кручусь, как белка в колесе. Я что-то делаю, что-то делаю. Я работаю практически во всех направлениях».

Существуют заведения, которые идут еще дальше и вводят клиентов в органы, которые принимают решения... Некоторые берлинские проекты, направленные против насилия, в собственной презентации под рубрикой «заинтересованно-контролируемое участие» призывают к тому, что клиентам или пациентам должна быть предоставлена возможность самим стать терапевтами или сотрудниками заведения. «...эта основополагающая опция формального равноправия является выражением позиции, которая определяется перспективой снятия всех властных отношений».⁵

Анализ материалов показывает, что отсутствие какой-либо формальной иерархии, которая призвана препятствовать злоупотреблениям властью, на самом деле способствует злоупотреблениям за счет неформальной и не поддающейся никакому контролю власти.

Анализ структур некоммерческих организаций

Обследования организаций, проводимые Хаймерль-Вагнер и Майер, Цаунер, Экардштайн и Цимса (1999) представляют аналогичные уже описанным выше характеристики, как типичные для некоммерческих организаций. Некоммерческие организации – согласно утверждениям авторов – характеризуются тем, что их задачи безграничны, как, например, борьба с бедностью или охрана окружающей среды. В связи с этим объем работы превышает все человеческие и финансовые возможности. Существует зависимость от общественных средств, мышление в экономических категориях почти всегда отвергается. Некоммерческие организации были в свое время созданы харизматичными, дальновидными людьми, которые зачастую не особенно обременяли себя организационными вопросами. В пионерской фазе выделяются следующие структуры:

- Фамильярный, прямой и личный стиль обращения
- Импровизированный стиль работы без плана, ad hoc
- Дружественный, панибратский рабочий климат
- Ожидание взаимного доверия среди сотрудников, а не контроля
- Ответность и контроль осуществляются неформально
- Конфликты улаживаются с помощью дружеских компромиссов
- Вынос конфликтов наружу избегается и они тлеют под поверхностью
- Формальные/официальные структуры организации устойчивы к изменениям любого рода

Напоминая о модели образования групп Такмана, Хаймерль и др. считает, что рост некоммерческих организаций из медового месяца пионерской фазы сопровождается кризисами с теми же самыми явлениями, которые наблюдаются в центрах травмы:

- Борьба за власть
- Низкий уровень мотивации, эмоциональное выгорание
- Страх у рабочей группы и отдельных сотрудников за потерю автономности
- Внутреннее сопротивление предоставлению руководству больше власти и ответственности
- Следствие: недостаток дисциплины, никто не чувствует за собой ответственности за выполнение задания
- Принятие необходимых (неприятных) решений затягивается или его не происходит вообще
- Функциональные и профессиональные вопросы и проблемы персонифицируются
- Введение в конфликты аргументов, не терпящих возражений: «антисоциальный», «нечеловечный», «недемократичный»
- Нечеткие критерии выполненной работы, нечеткие задачи приводят к отсутствию ориентиров и неуверенности
- Следствие: бесконечная необходимость обсуждения всего и для всех
- В механизме принятия решений участвует слишком большое число людей

Привлечение результатов социологических исследований о некоммерческих организациях может помочь немного разрядить взрывоопасные ситуации в центрах травмы и уменьшить страхи сотрудников.

Человеку просто будет легче и спокойнее работать, если он будет знать, что переход от пионерской фазы к профессионализации сопровождается турбулентностью и трениями и они являются необходимыми и неизбежными эффектами, сопровождающими развитие учреждения.

Обсуждение

Роль структуры в предыдущих исследованиях практически не рассматривалась. Смит и др. (2000, 2201, 2007), определяли организационные факторы как одну из причин стресса, возникающего в процессе работы, но дальнейшего уточнения не делали. В одном сравнительном исследовании между травматерапевтами и терапевтами, которые работают в других областях, они не смогли обнаружить никакой разницы относительно уровня стресса. Терапевты, по Смицу, испытывают в действительности влияние межличностного насилия, которому подвергались их клиенты. Это, однако, представляется, скорее, вполне нормальной реакцией присособления, а не деструктивным процессом (Смит и др., 2000). При обследовании 129 терапевтов Смит и др. обнаружили очень высокую степень эмоционального стресса, находящуюся в зависимости от степени страхов и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у пациентов. Эмоциональное выгорание, напротив, связано больше с организационными проблемами или факторами, связанными с клиентами. Эмоциональный стресс был тесно связан с чувством страха, внутренними противоречиями и неопределенностью в отношении задач и ответственности. Авторы видят немного отправных точек для утверждения, что стресс, связанный с работой, приводит к вторичной или репрезентативной травматизации. Они делают вывод, что превентивные мероприятия должны направляться на снижение страха в тяжелых ситуациях, на лучшую поддержку со стороны коллег по работе и четко обозначенное распределение ролей и ответственности (Смит и др., 2001). Смит также, как и мы, обнаружил у травматерапевтов высокую степень (сверх-) идентификации. Они считают, что работа с травмированными беженцами представляет собой некую смесь между значительной долей участия и значительными, равно как и отрицательными чувствами, хотя у граничных пациентов скорее наблюдается дистанцирование (Смит, 2009).

В одном количественном обследовании помощников в амбулаториях для травмированных беженцев (101 человек), Гуррис (Гуррис, 2005, Дейтон и др., 2007) идентифицировал главную причину эмоционального выгорания и репрезентативной травматизации затруднениями успешной терапии травмы из-за ненадежного статуса клиентов-соискателей политического убежища и частых конфликтов в группе. Причиной возникновения симптомов является изматывающая борьба за признание статуса беженца и неудача терапии травмы у пациентов. Терапевты с таким сочетанием особенно страдали от

утомления, связанного с проявлением сострадания (compassion fatigue) и эмоциональным выгоранием. Эти результаты подтверждены Смитом, голландским терапевтом, работавшим с травмированными беженцами и соискателями политического убежища, который проводил сравнение с терапевтами, работавшими с людьми, пережившими Вторую мировую войну. У первой группы он обнаружил более высокую степень эмоционального стресса, чем у второй. В одном обследовании двадцати пяти помощников Брик (2005) смог показать, что главным фактором стресса является не конфронтация с травматическими клиентами, а постоянное бремя ситуации, когда грозит высылка из страны, а также динамика рабочей группы, чреватая конфликтами.

Мунро (2006) и Уолкап (2002) идентифицировали структурные недостатки в больших гуманитарных организациях как причину вторичной травматизации и описали их, как «организационный посттравматический синдром» или «организации, обманывающие сами себя».

Интересный вклад в исследование динамики отношений между пациентами и помощниками вносят Вилсон и Линди (1994) в своем анализе взаимных реакций терапевтов, которые либо держали в течение дня с пациентами слишком большую дистанцию и испытывали недостаток эмпатии, либо теряли дистанцию, при этом входили в конфлюэнцию и с излишним рвением заботились о пациентах, что приводило к взаимной зависимости. Хафкеншид (2003, 2005) видит причину в основном не в деструктивном поведении, привносимым пациентом и подвергает критическому анализу эмпирическое доказательство и клиническое использование взаимопередачи (event countertransference), а также репрезентативную травматизацию. Он полагает, что терапевты чересчур охотно принимают эту точку зрения, чтобы отвести от себя собственные неудачи. Из-за избыточной идентификации с пациентами терапевты не могут показать и скорректировать дисфункциональные личные образцы коммуникации пациентов на мета-уровне. Эти образцы коммуникации возникают в основном в результате опыта войны или преследований. Вместо этого терапевты пытались внушить клиентом представление «Мы все являемся жертвами вашей травмы».

Описанные выше явления в центрах травмы с высоким уровнем стресса и конфликтов могут в действительности быть поняты как реакции взаимной передачи или инсценировки собственных неразрешенных конфликтов помощников, а также

инсценировки пациентов, которые опыт жестокого обращения проецируют на терапевта, который затем действует аналогично патологически, как и пациент (Габбард, 2009). Холлоуэй (1995) наблюдал подобные явления переноса в отношениях между супервизором и супервизандом. Он описывает, как патологический образец отношений, который пациент несознательно вырабатывает в своих отношениях с терапевтом, параллельно этому также несознательно переносится на отношения между супервизором и супервизандом и она описывает это, как параллельные процессы. Эти инсценировки неизбежны и являются ценным ключом к пониманию проблем пациентов.

Помощники или учреждение должны найти некую золотую середину между частичным разрешением инсценировок и одновременным сохранением способности к рефлексии при клинической супервизии, в ходе которой можно изучить такое взаимодействие (Габбард, 2001).

Вилсон и Томас (2004) внесли важный вклад в понимание значения травмы помощника как причины стресса и дисфункциональности в организациях. В рамках одного опроса 345 терапевтов они обнаружили, что 54% из них сами пережили травму. 88,5% этих помощников работали с теми же видами травмы и насилия, которые они испытали сами. По мнению авторов, эти данные допускают интересные интерпретации. Например, вполне может быть, что терапевты имеют сознательную или бессознательную потребность «проработать» свою собственную травму, работая с пациентами, травмированными аналогичным образом. Кассам-Адамс выяснила, что терапевты (100 человек), которые работали в центрах для жертв сексуальных надругательств, стали этими жертвами в 60% случаев ребенком, и в 66% случаев как взрослые. У терапевтов они обнаружили значительную корреляцию между детской травмой и посттравматическим стрессовым синдромом.⁶ Данные этого исследования позволяют заключить, что незалеченная травма помощников представляет собой большой риск для образования стресса и дисфункциональности. С другой стороны, травма помощников может являться важным ресурсом, если она обрабатывается в рамках терапевтического обучения.

Вышеприведенные исследования представляют ценную информацию для рассмотрения динамики отношений между помощниками и клиентом. Они подтверждают и дополняют наши гипотезы. Тем не менее, они лишь поверхностно затрагивают структурные и организационные аспекты.

⁶ Es gibt zahlreiche Studien über den „Wounded Healer“ (Maeder, 1989; Kleinman, 1988; Kardiner, 1977; Nord et al., 2000; Stadler, 1990), die hier nicht alle aufgeführt werden können.

Результаты этого исследования свидетельствуют, что структурные недостатки являются важной причиной связанных с работой стрессов и конфликтов в учреждениях, которые занимаются последствиями экстремальной травматизации. Учреждения с высоким уровнем стресса и конфликтов имеют значительные недостатки и дисфункциональные структуры: недостаточное соблюдение границ, избыточная идентификация с клиентами, нехватка профессиональной дистанции, отсутствие общих задач и концепций терапии, рассеивание ролей и компетенции, нехватка профессионального управления учреждением и руководящих работников, миф об эгалитарной команде, тяжелые и длительные процессы принятия решения, неформальные лидеры, вовлеченные в окопную войну, отсутствие или лишь спорадическое использование клинической супервизии, хаотичные и некоординированные интервенции, трудоголизм, самопожертвование, недостаточная или совсем отсутствующая забота о себе, недостаток профессиональных стандартов качества, отсутствие независимого контролирующего органа, смешивание различных уровней персонала, руководства и контроля, приводящее к конфликту интересов. Рабочий климат характеризуется реинсценировками травматического мира клиентов, воспроизводящегося в общей атмосфере страха, фантазиями присутствия секретных служб, отношениями преступник-жертва, одержимостью темами, связанными с насилием, комплексом жертвы в сочетании с фантазиями спасения, тенденцией расщепления с категоризацией коллег на хороших и плохих, друзей и врагов.

Организации с низким уровнем стресса и конфликтов представляют, напротив, гораздо более четкую и менее дисфункциональную структуру с соблюдением границ, балансом между эмпатией и профессиональной дистанцией, авторитарным руководством, делегированием заданий и ответственности, четким определением ролей и компетентности, тщательным подбором персонала с учетом его профессиональности и личных качеств, стимулированием образования и повышения квалификации, общей философией терапевтических мероприятий, внешней клинической супервизией и коллегиальной интервизией, обучением руководящих работников, заботой о себе, контролирующим органом из независимых экспертов, оказывающим поддержку руководству и персоналу и действующим в конфликтных ситуациях в качестве посредника.

Наше исследование ставит вопрос, можно ли назвать симптомы стресса у помощников «вторичным посттравматическим стрессовым синдромом». Помощники в заведениях со структурными дефицитами показывают симптомы, которые другие определяют, как вторичная травматизация. Эти симптомы, однако, ослабевают в ходе структурных реформ и помощники в хорошо структурированных учреждениях практически не имеют таких симптомов. Вторичная травматизация очевидно не является неизбежным побочным эффектом работы с жертвами насилия. Поэтому мы, наряду с другими критичными авторами (Хафкеншайд, 2003; 2005; Сабин-Фаредд и Турпи, 2003) считаем, что модель репрезентативной травматизации Перлмана и Саакитне (1990), а также модель вторичной травматизации (compassion-fatigue modell) Фигли (1995) следует переработать.

Центры травмы должны стать надежным местом прибежища для людей, которые испытали ужасы и разрушение, а также полное уничтожение своего привычного социального окружения. Люди, которые стали жертвами травм, причиненных людьми: таких, как насилие или сексуальное надругательство, которые потеряли главную веру в человечество. Для них в этом мире ничего хорошего больше не существует. В руках преступников они испытали экстремальное бесправие, полное отсутствие какой-либо структуры. У них не было ни малейшей возможности повлиять на происходившее или приспособиться к этому. Это вызывает неуверенность, страх и потерю ориентации. Один терапевт не в состоянии восстановить все эти разрушения в рамках простых отношений пациент-терапевт. Для этого ему нужна поддержка команды, состоящей из эмпатических коллег, а также защита и руководящая рука компетентного и опытного руководителя. Определенная степень реинсценировки травмы помощниками неизбежна и может явиться полезным источником для понимания проблем пациента.

Важно также то, что учреждение предлагает клиентам благоприятный климат доверия, надежности и защиты. Вы должны дать им шанс вновь научиться самим определять свою жизнь. Бесструктурность и хаотическое окружение, напротив, провоцируют стресс и конфликты внутри команды и расщепляют учреждение – что неизбежно будет принято, как повторение, как реинсценировка травмы. Это оказывает отрицательное влияние на помощников и в итоге наносит вред клиентам.

Во-первых, центры травмы нуждаются в четкой отлаженной структуре с авторитарным руководством. Основанная на демократии модель может прекрасно функционировать в пионерской фазе, но в ходе роста и профессионализации заведения она будет дисфункциональной. Финансирующие организации и контролирующие органы должны отдавать себе отчет в том, что харизматичные лидеры, которые были движущей силой заведения на начальной фазе его строительства должны быть освобождены, если они стоят на пути неизбежных организационных изменений и развития. Центры травмы нуждаются – как и все профессионально управляемые заведения – в независимых внешних экспертах, таких, как супервизоры, консультанты по организации и модераторы, которые будут сопровождать организационные изменения и разработки, будут помогать в критическое время и во время разрешения внутренних конфликтов. Каждое учреждение должно иметь независимое правление/наблюдательный совет. В каждом центре травмы должна регулярно проводиться клиническая супервизия для работающих помощников и царить рабочий стиль, который позволяет получить общее представление о работе и динамике отношений между клиентом и терапевтом с высоты птичьего полета. Точно так же помощники должны регулярно принимать участие в курсах по повышению квалификации, а люди, наделенные терапевтическими и консультационными функциями, должны пройти терапевтические обучение и набраться определенного опыта.

Учреждения и их сотрудники должны уделять значительное внимание заботе о себе и психогигиене. К этому должно привести ограничение случаев на каждого сотрудника, сокращение переработки, возможность ротации и работы в областях, не связанных непосредственно с травмой, время (например, саббатикл) для исследований и обучения, общение в рамках команды и в виде совместных праздников, приготовления еды, семинаров. Помощники должны иметь собственную жизнь и вне своего рабочего места и культивировать ее, уделять время семье и друзьям, путешествиям и хобби, следить за собой, за своей душой и телом и делать все то, чтобы снизить напряжение и стресс, возможно, и с помощью медитации и упражнений для расслабления.⁷

Autorenverzeichnis / Список авторов

Dr. Martin Auerbach
Klinischer Direktor AMCHA, Jerusalem

Dr. Julia Bernstein
Institut für vergleichende Bildungsforschung und Sozialwissenschaften, Universität Köln

Benjamin Bloch
Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. (ZWST)

Dr. Mario Erdheim
Psychoanalytiker und Ethnologe, Zürich

Prof. Dr. Doron Kiesel
Fachhochschule Erfurt

Prof. Dr. Andreas Kruse
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg

Dr. Johan Lanser
Psychiater und Psychoanalytiker, Amsterdam

Dr. Kurt Grünberg,
Jüdisches Psychotherapeutisches Beratungszentrum, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt am Main

Dr. David Pelcovitz
Yeshiva University, New York

Prof. Dr. Christian Pross
Zentrum Überleben, Berlin

Prof. Dr. Ilka Quindeau
Fachhochschule Frankfurt am Main

Miriam Victory Spiegel
Paar- und Familientherapeutin, Zürich

Noemi Staszewski
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. (ZWST)
Leiterin des ‚Treffpunkts für Überlebende der Shoah und ihrer Familien‘, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Esther Weitzel-Polzer
Fachhochschule Erfurt

Dalia Wiszgott-Moneta
Leiterin der Sozialabteilung der Jüdischen Gemeinde, Frankfurt am Main

Impressum:

Herausgeber: Claims Conference, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.

Konzept und Redaktion: Prof. Dr. Doron Kiesel

Beratung und Koordination: Noemi Staszewski, Prof. Dr. Esther Weitzel-Polzer

Lektorat: Claudia Neffgen

Layout: Dan Krumholz

Foto Cover: Michael Bause

Druck: Andrej Kulakowski

Der Holocaust ist ein Trauma der europäischen Zivilisation, und es wird zu einer Existenzfrage für diese Zivilisation werden, ob dieses Trauma in Form von Kultur oder Neurose, in konstruktiver oder destruktiver Form in den Gesellschaften Europas weiterlebt.

*Imre Kertész: Die exilierte Sprache. Essays und Reden
(Suhrkamp, Frankfurt 2004, S. 220)*